С. КАРОНИН

2

С. КАРОНИН



С. КАРОНИН

(Н. Е. ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ)

СОЧИНЕНИЯ

в двух томах

ТОМ ВТОРОЙ

Государственное Издательство
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

Составление

В. А. БРАЙЛОВСКОГО
и М. М. СМИРНОВА

Подготовка текста и примечания

Г. П. БЕРДНИКОВА

Рисунки художника

И. С. АСТАПОВА

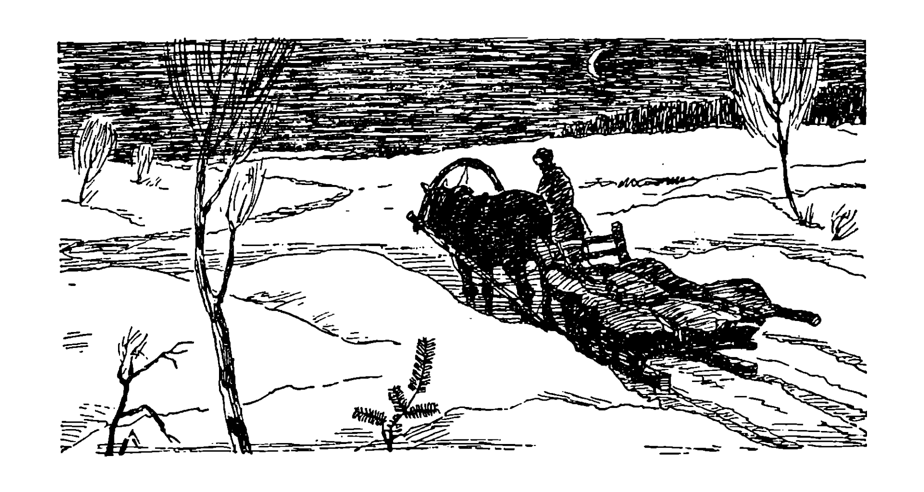
Оформление художника

Б. В. ВОРОНЕЦКОГО

ПОВЕСТИ

и

рассказы



ДИКАРЬ

(Рассказ)

Когда зимнее солнце стало склоняться к западу, а над поверхностью лесов повисли мрачные тени, Николай решил оставить охоту. В его руках еще дымилось ружье от выстрела, который им был дан по зайцу, но надо было ехать. Он положил на кошеву ружье, сбросил туда же свой желтый халат и в одном коротеньком полушубке стал пробираться к убитому зайцу между соснами, утопая в снегу по самый пояс. Заяц лежал шагах в тридцати от него; но чтобы добраться к нему, нужно было пробить ногами целый коридор в глубоком снегу. Парень, после продолжительного ырянья в рыхлой снежной массе, поднял, наконец, зайца и тем же коридором добрался до лошади.

Он сильно вспотел, ему захотелось пить, и, чтобы удовлетворить жажду, он взял в горсть снегу и съел его. Это, в свою очередь, напомнило ему, что он с самого утра ничего не ел. Тогда он вынул из-под кошмы замерзший хлеб и принялся обедать.

Но солнце быстро подвигалось к черной туче, облегавшей верхушки лесов, а до города еще было далеко. Мать и отец поручили

ему свезти в город мешок картошки и убитых зайцев, а на вырученные деньги купить плитку кирпичного чаю, фунт сальных свечей и тысячу серняков. По дороге он приметил свежие следы, бросил лошадь и с ружьем в руках пробрался к опушке леса, чтобы прибавить к убитым раньше четырем зайцам еще новых. Он бродил по опушке леса и не заметил, как прошел день. Теперь надо было торопиться.

Он влез в сани, привязал к передку вожжи, сам закрылся войлоком, лег и съел весь мерзлый каравай, взятый им из дому. Его стало клонить ко сну. Хлестнув лошадь раза два прутом, он окончательно спрятался под кошму и быстро заснул, надеясь вполне на опытную лошадь, знавшую дорогу в город; он надеялся также вовремя быть разбуженным ямой, которая была при въезде в город; ухаб этот был так велик, что обыкновенно всякого, проезжавшего через него, выбрасывало из саней на снег.

Через минуту он уже спал. В окрестных лесах и на полянах водворилась торжественная тишина. Только сани хрустели, скользя по снегу, да иногда лошадь, тихо трусившая, фыркала ноздрями, стряхивая намерзшие сосульки. Солнце закрылось тучей. В воздухе стали носиться пушинки снега; падая на спину лошади, на сани, на кошму, они скоро закрыли эти предметы тонким слоем, и пустынное место как будто совершенно замерло в торжественном безмолвии. Здесь не было человека — здесь была одна природа: мрачные сосны, голые березы, снег, лошадь, Николай...

Лошадь, с косматою шерстью и с толстыми ногами, тихо трусила по дороге и через несколько часов аккуратно доставила своего беспечного хозяина к известному овражку, который должен был встряхнуть и разбудить Николая. Это действительно случилось; подбежав к краю глубокой ямы, мохнатая лошадка вытянула передние ноги и стала сползать вниз, надеясь тихо спуститься, но не выдержала тяжести и нырнула в глубину, после чего спавший Николай перевернулся несколько раз в санях кубарем, ударился головой о передок и проснулся. Но не вылетел.

Перед ним, когда он совсем очнулся, уже был город. Наступили сумерки. Снег хлопьями падал на землю и еще более увеличивал темноту наступающей ночи. Это обеспокоило парня. Где ночью продать картошку и зайцев? Приходилось оставаться до утра в городе. Но где он будет ночевать?

По улицам он смотрел на дома и старался решить вопрос, в который дом заехать, чтобы продать свой товар; но не решался ни на что. Он обратился к первому мещанину, который попался ему на глаза, не знает ли тот, кто ест в городе зайчатину?

— Мало ли тут всяких, которые употребляют эту нечисть! — возразил мещанин. — Да ты с зайцами?

— С зайцами и картошкой, — ответил Николай.

Мещанин зачем-то похлопал мешок с картошкой и пощупал зайцев.

— Не знаю, куда тебе указать. Ну, да попробуй зайди во-он в тот деревянный дом с железными ставнями, еще на воротах горшок выставлен, — во-он в ту калитку, из которой собака-то сейчас выскочила... Там барин один живет, из Расеи летом прибыл.

— Зайцóв ест?

— С удовольствием кушает... Мало ли тут, которые жрут...

Николай простился с обязательным мещанином и направил лошадь к указанному дому; подъехав к воротам, он взвалил на плечи зайцев и прошел в дом. Но войдя в дом, он остановился в прихожей. Его ослепил яркий свет, среди которого он вдруг очутился; в смежной комнате стоял кипящий самовар, а за ним сидели господа.

— Кто здесь? — окликнул его барин.

— Зайцóв не надо ли? — проговорил Николай.

Его окружили сейчас все трое, сидевшие за столом: сам барин, барыня и барышня. Расспросили его, откуда он, почему ночью явился и сколько просит за зайцев. На все он ответил обстоятельно и немедленно продал свой товар. Только картошку барин сначала не хотел брать, но Николай так спустил цену за нее, что барыня позвала кухарку и велела перенести картошку из кошевы в кухню.

— Ты и вперед зайцев вози; я у тебя всегда буду брать. Ты охотник?

— Так, по малости. Да ничего — попаливаем. Штук с полсотни никак убил в зиму-то.

— Хорошо. Ты озяб, должно быть? Не хочешь ли чаю?

— Отчего же, можно, — сказал Николай, поправил волосы, отряхнул пимы и без всякой робости присел к столу, где сервирован был чай.

Он спокойно сел в кресло и с любопытством стал осматриваться. Таких людей и такой обстановки он никогда не видал.

Как все сибиряки, он был горд и с достоинством. Насмешливый с равными, он был серьезен с высшими. Нигде, даже перед большим начальством, он не терял самообладания. Иногда он конфузился, но только потому, что замечал, что сделал нечто неладное. Боясь быть смешным, он во всяком постороннем обществе держал себя дипломатически: говорил мало, слушал много; вообще держался той истины, что человеку дан язык затем, чтобы скрывать свои мысли. Когда он замечал, что над ним смеются, он обидчиво улыбался.

Но он был уверен, что ни в каком обществе он не сделает *безобразия* какого-нибудь. Когда барыня подала ему стакан чаю, он с плавными движениями принял его и тихо поставил перед собой на стол, как это и следовало. Затем он налил из стакана в блюдечко и отлично знал, что блюдечко надо поставить на три пальца; но эта артистическая штука ему не удалась, после чего он решил, что никто не будет смеяться, если он даже поставит блюдечко на четыре пальца, подует и будет пить. Так он и сделал, и некоторое время в комнате слышалось только, как он дул на блюдечко. На вопросы отвечал с большим тактом.

Некоторое время с той и с другой стороны длилось молчание, только девочка, сидевшая по другую сторону стола, отчего-то то и дело фыркала; но он был уверен, что это не над ним. Хозяева и гость с любопытством осматривали друг друга. Николай смотрел на барыню, и ему понравились ее черные брови, но он усомнился насчет подлинности удивительно длинной косы; у барина его внимание обратила на себя часовая цепочка и газета с картинами; но сам барин ему не понравился — слишком худой и мозглый, «все одно как облупленный заяц».

— Ты отчего без сахару пьешь? — спросила его барыня.

— Я кусаю. Больно сахар-то дорог по нашим местам, — заметил Николай.

— И все вы без сахару пьете? — спросил барин.

— Бывает, и с сахаром. А в будни с хлебом. Матушка вон моя с луком пьет, беда как любит лук, — сахару не надо. А я люблю, например, чай пить с щучьим пирожком.

Девочка фыркнула и спрятала смеющееся лицо в платок.

— Ты женат? — спросила барыня.

— Нет еще, нынче зимой меня женят, — возразил Николай и оскалил свои белые зубы.

— Красивая невеста-то, чай? — спросил барин.

— Кто ее знает. По мне — ладно. Все же уж не такая, как вот твоя хозяйка-то, — сказал Николай и еще раз осмотрел прекрасное лицо барыни.

— Какая же, по-твоему, хозяйка моя?

— Бассинькая. [1]

Все засмеялись этому откровенному комплименту. Улыбался и Николай. Он видел радушие и сам повеселел. Застенчивый и осторожный вначале, он теперь все более и более делался болтлив. К барину он обратился с вопросом, отчего он такой худой и мозглый? У барыни спросил, как это можно отрастить такую косу? Чтобы убедиться вполне в правильности своего

---

[1] Красивенькая. (*Примеч. автора.*)

наблюдения, он осторожно взял двумя пальцами великолепную косу и пощупал ее. Потом почему-то покачал головой и сказал:

— Гм... А правду говорят, что бывают плешивые барыни? Волос своих нет, — ну, они, говорят, и навешивают чужие? — спросил он затем.

Девочка не могла больше сидеть и убежала в другую комнату, не в состоянии дольше удерживать душивший ее смех. Самая наружность Николая вызывала в ней неудержимую потребность хохотать. Лицо его было в самом деле странное, какое-то белобрысое: белые, едва заметные брови, белые волосы, похожие на мочку льна, белая маленькая борода, белые ресницы; веснушчатое лицо его, облупившееся от ветра, казалось пегим. Природа, создавая его, поскупилась на краски. Одни только глаза выручали этого степного человека: это были большие, серые, «любопытные» глаза.

— Ишь какая смешная! — заметил Николай, когда девочка убежала в другую комнату, чтобы хохотать в подушку.

Муж и жена переглянулись, а барин заметил, что люди не только чужие волосы приклеивают себе, но и еще многое другое, что у них отняла «фальшивая цивилизация».

— Зубы вставляют, глаза подделывают, чужие мысли закладывают... — говорил с улыбкой барин.

— О зубах я, точно, слышал; только из чего их делают? — спросил Николай.

— Из серебра, из золота, из слоновой кости...

— И ничего, крепко?

— Иногда выпадают, — отвечала барыня.

— А жевать как же ими? Кость, например, раскусить?

— Перед обедом их вынимают, но мягкую пищу можно и фальшивыми зубами пережевывать.

Николай смеялся, ерзал на стуле, вообще казался возбужденным. Лицо его выражало живейший интерес.

— Ну, а глаза как вставляют? Из чего они? — спросил он.

— Стеклянные.

— И видят?

— Они сделаны так искусно, что их не отличишь от настоящих, но видеть ими нельзя.

— Нельзя же?

— Конечно, нельзя; только для красоты.

Николай, по-видимому, разочаровался этим ответом.

— На кой же они пес? — сказал он презрительно.

Возбужденный, с загоревшимся любопытством, он осматривал все вещи, какие были на столе, обводил глазами комнату, болтливо расспрашивал, часто смеялся. Расспросив обо всем, что он

только заметил своим любопытным взором в этой комнате, он стал заглядывать в смежные комнаты, — ему и там хотелось оглядеть все.

— Ты хочешь посмотреть, что там? — спросила барыня и пригласила Николая пойти посмотреть на все.

Он пошел, но осторожно ступал по полу; глаза его были широко раскрыты. К ним скоро присоединилась и дочка барыни. А сам барин сел в отдаленный угол и оттуда наблюдал за всем происходившим. На его лице блуждала улыбка удовольствия.

Он принадлежал к тому многочисленному классу господ, которые страдают всеми «благородными» недугами, а в том числе и «прострацией». С прострацией в груди, он имел настоятельную потребность от времени до времени видеть здоровых людей; для этого он иногда приглашал первого попавшегося лесного человека, от которого пахнет сосной, сеном, курятником, и вел с ним беседу «о фальшивой цивилизации». И один вид лесного человека вливал в него бодрость к дальнейшей жизни. Он говорил тогда себе: живут же люди!.. Летом он забирался на целый месяц в какую-нибудь трущобу и там жил «естественною жизнью», то есть вдыхал запах горящего навоза, пил парное молоко, ел свежих кур и спал на мешке, набитом свежим сеном; в свободное время он забирался в лес и там лениво валялся на траве, наблюдая, как по небу плывут облака, как солнце играет сквозь зеленые листья и как летают насекомые среди ярких цветов. Опьяненный этою беспечною жизнью, он возвращался к своим занятиям бодрым и совершенно свежим. Понятно, он в мечтах стремился к деревне, вздыхал о ней.

Но деревню он представлял не настоящую, народ ее был деланный, а любовь к нему была платоническая; и здорового во всем этом было только его неизгладимое стремление к природе.

Теперь он сидел в дальнем углу и восторгался всем, что наблюдал в белобрысом парне; восхищался его любопытством, его здоровым смехом, наивными вопросами, неожиданными ответами. И думал: «Его радует моя жизнь, а я хотел бы жить его жизнью, — кто же из нас прав?»

Между тем Николай, окруженный барыней и ее дочкой, с возбужденным видом осматривал все, что ему показывали. В доме сделалось шумно и весело. Он смеялся, качал головой, болтал без умолку. Ему показали все безделушки, какие находились на столе, каждую из них он осторожно вертел в руках, боясь разломать, и качал головой. Большая часть вещей вызывала на его лице неопределенную улыбку, но некоторые предметы поражали его. В особенности он изумился будильнику, стоявшему на столе.

Барыня завела часы, повернула ключ и пустила машинку; раздался пронзительный звон и треск. Николай стоял взволнованный. Потом, придя в себя, он попросил рассказать устройство этой дьявольской штуки.

— Ишь, проклятая, как трещит! — сказал он наконец, переводя дух.

Потом его подвели к трюмо. Пристально осмотрев себя в зеркало, он грустно покачал головой, выражая этим, что белобрысая рожа, отражавшаяся в зеркале, не нравится ему.

— А я думал, что лик у меня лучше! — проговорил он с грустною улыбкой.

— Хочешь, у тебя сейчас переменится лицо? — спросила барыня и стала рыться в туалетных принадлежностях.

Она часто принимала участие в любительских спектаклях, которые в худых, бедных городишках заменяют театр, и держала у себя большую часть принадлежностей гримировки. Разложив теперь их, она объяснила Николаю их употребление.

— И голову мажут этою мазью? — спросил он несколько брезгливо.

— Да, красят.

— И усы, стало быть?

— Да, все можно выкрасить, — отвечала барыня и объяснила, кто и когда красится.

А девочка, крутясь вокруг него, предложила ему загримироваться. Николай сначала сконфузился. Но предложение прельстило его.

— А ну-ко, в самом деле, наведи мне брови! Больно мои-то неприметные. Я люблю черные брови, — сказал он.

Барыня провела кисточкой по его белым бровям. Он взглянул в зеркало и сначала расхохотался; но вдруг тень пробежала по его лицу, он задумался и стал рукавом поспешно вытирать краску.

— Что же, не нравится?

— Нет, бог с ними, с бровями... Супротив бога не пойдешь, а мою Лукерью не обманешь, — сказал он с тою же задумчивостью и еще раз провел рукавом по лицу.

Здесь он вспомнил, что ему надо уже уходить, потому что он не закупил еще того, за чем ехал. Был уже поздний вечер. Лавки везде закрылись, так что только на дому какого-нибудь лавочника можно было еще купить нужные вещи. Но все стали просить его остаться. Что ему нужно? Он сказал: плитку чаю, фунт сальных свечей и тысячу серняков. Барыня отрядила за этими вещами прислугу, а Николая уговорила еще побыть. Всем им было весело, забавно и не хотелось отпустить такого человека, который внес необыкновенное оживление в их скучный вечер.

Чтобы занять, барыня провела Николая в другую комнату. С потолка ее свешивалась лампа с сильною горелкой, освещая всю комнату ровным светом. Здесь был шкаф с книгами, круглый стол с газетами и журналами, рояль с нотами. На шкафе стояла статуэтка. Николай прежде всего на нее обратил внимание.

— Истукан еще какой-то, — проговорил он нерешительно.

Барыня достала со шкафа бюст и стала объяснять, что за человек вылеплен здесь... Его все русские люди знают. И барыня назвала имя.

Николай отрицательно покачал головой.

— Не слыхать что-то у нас про такого, — сказал он смущенно и смотрел на статуэтку равнодушным взглядом. Потом, вглядываясь в фигуру, он заметил:

— Должно быть, лысый был.

Только это он и заметил. Всем сделалось неловко и неприятно. Барыня тихо поставила бюст на место и больше ни одного слова не сказала по поводу его.

Девочка в это время предложила показать картинки. Между газетами и журналами лежал толстый том иллюстраций. Николай с величайшею охотой стал рассматривать показываемые ему рисунки. Все трое уселись за круглым столом и перелистывали книгу. Но внимание Николая, сначала напряженное, быстро утомилось, и он равнодушно пропускал гравюры. Взор его скользил по поверхности, — картины не производили на него никакого впечатления. Заметив это, барыня выбрала лучшую гравюру и рассказала ее содержание. Но Николай растерянно смотрел; он замечал отдельные фигуры, не понимая целого; он видел мертвые лица, не в состоянии оживить их воображением, и все нарисованные предметы он видел в пространстве, но не во времени.

Вероятно поэтому ему понравилась только одна картинка; на ней представлен был осел, опустивший морду к земле, с прижатыми ушами и с приподнятою заднею ногой, которою он старается лягнуть лающую сзади его собачонку. Но Николай даже и в этой картинке не понял комической идеи и обратил внимание отдельно — сперва на осла, потом на собаку.

— Жеребенок-то какой славный! — заметил он с удовольствием, найдя понятный для него предмет.

— Это не жеребенок, а осел! — запротестовала девочка и рассказала, что знала про это животное.

— А я думал жеребенок! Осел... ну, ослов по нашим местам нет. Ишь какой лопоухий!

За исключением этого осла, все остальное не возбудило ни

малейшего интереса со стороны Николая, и по мере того, как листы с гравюрами переворачивались, он делался все более и более невнимательным. Наконец ему сделалось скучно, и он стал смотреть по сторонам.

Барин в это время поднялся с места и вытащил толстую книгу.

— Хочешь посмотреть небо? — спросил он просто.

Но Николай недоверчиво посмотрел на всех.

Барин между тем раскрыл книгу. Это была астрономия со множеством рисунков; здесь были звездные атла́сы, фигуры планет на темном фоне, радужные отражения, чертежи, телескопы, даже обсерватория парижская. Барин с оживлением рассказал о земле, какое она место занимает среди других небесных светил и какую дорогу проложила она себе между ними; о ближайших планетах, какую фигуру они представляют и что открыли на них; о самом солнце, как оно далеко и сколько свету оно несет на темную землю.

Николай, слушая эти чудеса, был сильно взволнован. Яркая краска то и дело заливала его лицо; но в некоторые мгновения впечатление было так огромно, что он бледнел.

— Неужели все это допытано? — спросил он наконец.

— Да, все допытано! — возразил барин.

Николай напряженно рассматривал рисунки и слушал объяснения. Его возбуждение, начавшееся с минуты прихода в этот новый мир, возрастало все сильнее и сильнее. Но когда ему стали рассказывать о небе, он притих, перестал болтать и сжал руками наклоненную над столом голову. Что-то тоскливое отразилось на его лице.

— А мы как живем... ничего-то мы не знаем! — вдруг вырвалось у него

— Когда-нибудь и вы будете знать. Настанет светлый день, когда лучи сознания озарят самые темные людские углы, — сказал как бы про себя барин.

— Это верно — темные углы! Живем мы вроде как трава, либо подобно лесу! Родимся, и растем, и ходим, а ничего не знаем. Как трава! Сойдет снег весной, пригреет солнышко, и трава родится из земли, от старых корней. И растет эта трава, ежели бог попустит... Согреет солнышко, дождик вовремя падет — трава и живет, а спрячется солнце за тучи, подует холодом с полуночной стороны или засуха одолеет — и трава хилая делается, пожелтеет вся, как перед смертью, и пропадет... Но не знает трава, что́ к чему... Вот какая мысль-то мне пришла! — сказал с улыбкой Николай и тряхнул головой, как бы желая отогнать от себя что-то тяжелое.

Барин, видя, какое впечатление произвела на него толстая

книга, убрал ее и стал перебирать газеты, чтобы еще чем-нибудь занять гостя.

— Это газеты? — спросил Николай и, получив утвердительный ответ, осведомился: — Что же пишут?

— Да много пишут здесь разных разностей... Вот, кстати, тут и о вас есть, даже об округе вашем, хочешь прочитаю? — спросил барин.

— Неужели и о нас думают? — И, говоря это, Николай выразил недоверие.

— Конечно, думают... Да и вообще о крестьянах много думают.

Николай недоверчиво молчал; что-то подозрительное виднелось в его лице.

— И что же... большой вред от этого будет? — спросил он загадочно.

— От чего «от этого»?

— Да вот, что думают-то о нас много.

— Какой же от этого вред? — удивленно выговорил барин.

— Да кто его знает... Старики наши так говорят. Вон мой родитель часто поминает, что не к добру, ежели кто задумывается об нашем брате. Заседатель, примерно, задумается о нашей деревне, — ну, и сейчас вред, каверза! Как только задумается, так уж тут припасай две сотельных, а то и боле, рубля по три с души!

Барин уверил его, что он говорил не в этом смысле. Николай выслушал, но мнения своего, принятого от стариков, не изменил и упрямо твердил, что думать о них вредно.

В зале воцарилось молчание. Упрямство Николая перешло в угрюмость. Он перестал болтать как ребенок, замолчал. Выражение лица его сделалось жестким и хитрым; он вспомнил все рассказы стариков о том, как господа вредно думают «об ихнем брате», и, разумея под господами заседателей, не мог признать доброты с их стороны. Кроме того, у него мелькнула мысль: «А что́, ежели и этот господин чего-нибудь выпытает у меня, да и навредит?» И, думая это, он исподлобья оглянул хозяина.

Все заметили внезапную перемену, происшедшую мгновенно в парне, но никто не обиделся; напротив, барину даже понравилось это неумение скрыть следы своих мыслей. Настроения Николая сейчас же отражались наружу; за это короткое время он испытал и обнаружил все чувства и способности, какие в нем были: грусть и радость, задумчивость и любопытство, иронию и хитрость, смех и хохот — все это мгновенно появлялось на его лице; казалось, все способности его организма вдруг проснулись, как после долгого сна, и наперерыв одна перед другой вырыва-



лись наружу, отражаясь на белобрысом лице, как облака на водной поверхности.

После долгого молчания Николай вздохнул и опять стал прощаться, думая, что он уже надоел. Но в эту минуту барыня открыла крышку рояля, присела на табурет и взяла несколько полных аккордов. Раздавшийся по зале странный гул поразил Николая. Он приподнялся с места и с широко раскрытыми глазами смотрел на чудный ящик. Потом он подошел к самому роялю и пытливо оглядел его.

— Машина? — спросил он и притронулся пальцем к одной из клавиш. Когда в воздухе замер звук, изданный ею, он поочередно взглянул на всех и засмеялся от удивления.

Барыня сначала сыграла ему трескучую увертюру, начавшуюся громом пушечных выстрелов и окончившуюся стонами раненых и проклятиями сражающихся. Когда замер последний звук шумной пьесы, Николай взволнован был в сильнейшей степени; но музыка произвела на него впечатление только своим грохотом, наполнившим всю залу. Удовольствия он не испытал никакого, растерявшись в этом непонятном для него сочетании сотни звуков. Ему доступна была только простая гармония тонов, и только простыми мелодиями можно было его тронуть.

Барыня поняла это.

— Не нравится тебе? — спросила она; но Николай ничего не отвечал, не в состоянии отдать себе отчета в том, приятна или нет ему эта музыка. Он только был оглушен и взволнован.

Тогда барыня, порывшись в нотах, заиграла вдруг медленную и тихую мелодию; звуки шли откуда-то издалека, из-за леса или из-за горы, и часто прерывались, как бы относились от слушателя ветром. Это была пьеса старика Баха, настолько же простая, насколько и трогательная. Николай сидел неподвижно, очарованный; он устремил широко раскрытые глаза в одну точку на полу и подпер голову руками. Он замер в этой позе и не заметил тишины, когда барыня кончила играть; потому что в ушах его все еще раздавались чудные звуки.

После долгого молчания он, наконец, поднял голову и с удивлением оглянул комнату.

— Я, кажись, умер, — заметил он серьезно.

— Хорошо? — спросила барыня.

— Даже больно что-то в груди... — сказал он. На глазах его были слезы.

Барыня после этого проиграла несколько веселых вальсов, но Николай смутно их слушал, не в силах отделаться от глубокого впечатления тихой музыки, которая шла как будто из-за леса и прерывалась, как будто относимая ветром... Но когда барыня

заиграла камаринского, Николай оправился, повеселел и стал хохотать.

— Эх, вот бы поплясать-то где! — воскликнул он радостно и отбивал такт ногой.

— Так что же, валяй! — посоветовала барыня.

— Да совестно, — проговорил Николай, сконфузился и окончательно стал собираться домой.

Поблагодарив хозяев за ласку, он в сильном смущении остановился возле двери. Ему вдруг сделалось стыдно при мысли, что он ничем не может отплатить за этот чудный вечер. Путаясь в словах, он стал приглашать господ побывать весной у него и уверял, что он приедет сам на паре лошадей с колокольчиком и прокатит куда угодно. Но, несмотря на это приглашение, он волновался тем, что не может отплатить господам за гостеприимство.

— Сделайте милость!.. пожалуйте к нам, ежели когда грибов побрать, ягод, а то пострелять зайцо́в... и дух у нас в лесу хороший... Родитель у меня старик хороший, умный!.. — просил он бессвязно.

Была уже глубокая ночь, когда он возвращался домой. Попрежнему вожжи были привязаны к передку, и мохнатая лошадь тихонько трусила по знакомой дороге, среди кустов и сугробов, через пригорки и ухабы. Но Николай не обращал внимания на окружающее. Голова его горела. Масса впечатлений и мыслей, явившихся в нем, теперь подавляла его своею беспорядочностью. Взволнованный, он беспокойно ворочался в санях и громко говорил с собой. Среди снежной пустыни иногда вдруг раздавалось: д-да! — и эхо высоких сосен повторяло это восклицание потрясенного человека.

Окружающая дикая пустыня не изменилась за несколько часов. Как и днем, когда проезжал Николай, здесь так же высились над снегом сосны с темно-зелеными ветвями и голые березы, а над ними стояла черная тень в виде мрачной тучи; только тогда светило холодное солнце, а теперь кое-где на небе мерцали звезды. Николай смотрел на все это и не видел. А когда волнение его утихло и он посмотрел вокруг себя, он не узнал окружающего. Эти сосны и березы, утопающие в сугробах, эта мрачная туча над лесом и эти слабо мерцающие звезды были чужды ему. Он как будто не узнавал их.

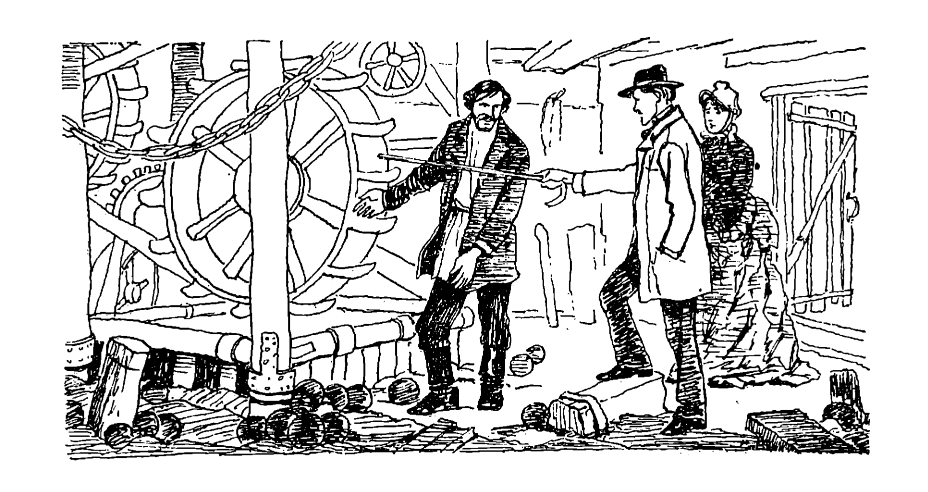
Еще недавно он составлял неразрывную часть природы; теперь, после пробуждения сознания, он отделился от нее, стал чужой для нее и почувствовал, что он одинок среди этого дикого простора. Тогда его сердце вдруг сжалось невыразимою печалью. Он с удивлением оглянулся по сторонам вокруг себя, как будто после тяжкой болезни, — и ничего не понимал; не понимал ни

этого темного леса, который окружал его теперь, ни того светлого дома, где он сейчас был. И он вдруг громко сказал:

— Много тайн знают господа, но скрывают их от простых людей!

Эхо высоких сосен смутно повторило эти слова.

Ночь проходила. Близилось утро. Звезды потухли.



PERPETUUM MOBILE

I

Вершины дальних гор покрылись лиловою пеленой вечерней мглы; ущелья и долины ближайших утесов наполнились уже дымчатым сумраком, но лесистые бока их еще освещены были золотыми полосами вечернего солнца. Ольга Александровна взглянула на всю эту чудную панораму, и ей захотелось туда, на озеро, ближе к синеватым утесам. Бросив еще раз беглый взгляд на обширный ландшафт, открывающийся из окон управительского дома, она торопливо пошла к брату.

— Поедем кататься! — сказала она, входя в кабинет.

Брат медленно повернул голову к ней и потянулся в кресле.

— Ты хочешь? Пожалуй...

Дым от его сигары наполнял весь кабинет; в комнате стоял полумрак; но молодой человек, по-видимому, не беспокоился окружающим и продолжал лежать в кресле. Когда сестра затормошила его, он должен был подняться, но на равнодушном лице его не отразилось ни малейшего желания кататься на лодке. Движения он делал тихие, как бы вынужденные; на его лице лежала печать глубокого равнодушия; веки его тяжело опускались и поднимались, в складках губ запечатлелась холодная ирония.

Странный контраст представляли фигуры брата и сестры. Он провел бурную молодость, испробовал все ее прелести и теперь жил, плохо веря в людей, всегда насмешливый, ко всему индифферентный, иногда циничный. Он попробовал любовь, богатство, власть, но эти вещи уже не возбуждали в нем теперь желаний, а люди, которые его любили или валялись у его ног, вызывали в нем только холодное бездушие. Таким по крайней мере он хотел казаться. Сестра его также попробовала жизни, но первый же ее шаг вышел неудачный; она поскользнулась и упала, разбитая дрянным человеком, которого любила. Воспользовавшись ее богатством, он принялся топтать в грязь ее и не церемонился в средствах унижения ее. Потребовалось вмешательство брата; последний обо всем узнал, приехал и взял молодую женщину к себе. На прощанье с ее мужем он сказал, не изменяя выражения лица:

— Послушайте... советую мне не попадаться на пути, потому что мне лень будет перешагнуть через вас.

С той поры она жила у брата. От нечего делать она занималась немножко ботаникой, немножко минералогией, немножко зоологией. Это — за неимением других предметов любви. И вот эти два странные существа жили вместе. Брат, испытавший все роды наслаждений, кончил равнодушием ко всему; фигура его застыла, как бронзовая статуя. Сестра, разбитая вдребезги, стала только более любящею, чуткою и беспокойною. Худое, страдальческое лицо ее беспрерывно меняло выражение: малейшие оттенки мысли отражались на нем, и всякое, даже мимолетное чувство вызывало в ее фигуре какое-нибудь порывистое, непредвиденное движение.

Теперь, задумав прогулку по озеру, она живо оделась и торопила брата. Тот несколько раз потянулся, прежде чем начать собираться. Потом он позвонил слугу и приказал заложить коляску. Но сестра вдруг заволновалась и настойчиво принялась уговаривать брата идти до лодок пешком.

— Ты желаешь пешком? Мне все равно... Иван, не надо закладывать!

Они отправились по заводским улицам вниз к берегу озера, где стояли лодки. По дороге встречные подобострастно раскланивались с главным управляющим и его сестрой. Он едва замечал эти поклоны; она стыдилась за такое всеобщее внимание к ней и поспешно улыбалась на поклоны. В одном переулке их встретил нищий и запел заученную песню. Ольга Александровна заволновалась, смущенно прося брата что-нибудь подать нищему. Брат лениво вынул из жилета какую-то монету и бросил ее нарочно трясущемуся человеку.

— На косушку этого тебе довольно, — сказал он.

— Разве он пропьет? — спросила быстро сестра, когда они уже отошли от нищего.

— Я думаю. Разве тебе не все равно? Странный народ эти благотворители: подадут пятак и требуют, чтоб он был истрачен по их собственному усмотрению! Да и разве вообще не все равно, пропьет он пятак или проест?

Сестра видела, что брат брюзжит, и замолчала. Они уже спускались к берегу озера. Прямо перед ними стояла купальня, а по всему побережью колыхались на воде ялики; между ними не было, однако, заводской лодки с флагом. Управляющий искал глазами сторожа, а Ольга Александровна осматривала дальние горы, освещенные разнообразными тенями. Стояла мертвая тишина. Поверхность озера как бы застыла, и в водах его ясно отражались силуэты ближайших островов.

Заметив управляющего, сторож купальни подбежал к берегу и стал боязливо объяснять, почему не оказалось заводского ялика. Хмурый вид управляющего привел его в такое смятение, что он принялся бесцельно метаться по берегу, словно надеясь отыскать все-таки лодку, которой не было близко, как он отлично знал.

— Пойдем, возьмем лодку у Андрея Пыхтина, — предложила вдруг сестра, и брат кивнул головой в знак согласия.

Они пошли вдоль берега. Этот Пыхтин был знакомый им мастер-кустарь, занимавшийся, кроме слесарного мастерства, ловлей рыбы по праздникам и содержанием лодок для гуляющих; последние занятия явились благодаря тому, что дом его стоял на берегу. Когда господа подошли к дому, то никого внутри его не заметили: ни Андрея, ни жены его не было дома. Им пришлось долго ждать, причем Ольга Александровна нетерпеливо ходила по песку, а брат сидел на опрокинутой лодке и посылал одного за другим нескольких мальчуганов отыскивать Пыхтина.

Наконец позади их во дворе заскрипели ворота, и перед ними предстал искомый Андрей.

— Лодочку?.. Уж извините, что долго, — сказал он и побежал за веслами.

Через минуту весла были принесены, выбрана лучшая лодка, и Андрей принялся приготовлять ее; надо было вычерпать воду, вытереть скамейки, привязать якорь, поставить весла на уключины и спустить лодку в воду. Андрей торопливо принялся за эти дела, но почему-то ничего у него не клеилось: не то он был с похмелья, не то мысли его чем-то посторонним были заняты, но приготовление лодки производилось им без всякой системы; так, он сначала вытер скамейки, а потом принялся выливать воду; забрызгав этим путем лодку, он снова принужден был вытирать ее.

— Ну, ты, брат, сегодня не на высоте положения, — сказал управляющий и вошел в лодку.

Вслед за ним прыгнула и Ольга Александровна. Они стали уже отчаливать; брат взялся за весла.

Но Андреем овладело крайнее волнение. Его круглые глаза беспокойно переходили с предмета на предмет, а вся его фигура приняла вид вопросительного знака. Он видел, что управляющий уезжает, и им овладело сильнейшее беспокойство.

— Ты что-то, кажется, забыл? — спросил небрежно управляющий, замечая неспокойное состояние Пыхтина.

— Не то что забыл... А видите ли, поговорить я думал об одном деле... Ну, да я опосля...

— Говори сейчас. Что тебе надо?

Волнение Андрея дошло до последней степени. Но он начал окольными путями:

— Выставка-то, позвольте спросить, скоро будет?

— Скоро. — Управляющий был одним из распорядителей выставки.

— А будут там машины, выдуманные простыми людьми?

— Вероятно.

— И мне, стало быть, можно будет туда сунуться с своим предметом?

— А у тебя какой предмет?

— Видите ли... с позволения сказать, извините... вечную машину я выдумал. То есть двигатель конца не имеет... вот что: Давно уж я пробовал ее и долго таки побашковал над ней, и даже года два, пожалуй, и теперь она у меня окончательно поставлена.

Говоря это, Пыхтин от сильного волнения топтался на берегу, а при последних словах, сказанных тихим шепотом, потянулся даже в воду, чтобы быть поближе к лодке. Ольга Александровна с любопытством слушала. Один только управляющий оставался холодным зрителем.

— Так мне можно на выставку-то? — переспросил Андрей.

— Отчего же, глупостей там много будет, и лишняя не помешает. А впрочем, мне надо посмотреть твой предмет. Готова, говоришь? Отлично. Когда вернемся, мы зайдем к тебе.

Управляющий при этих словах ударил веслами, и лодка отошла от берега.

Пыхтин сначала неподвижно застыл на одном месте, но когда лодка скрылась из его глаз, он принялся терзаться ожиданиями ее приезда. На его тонком лице отражалась быстрая смена разнородных чувств, из которых радость и уныние составляли крайние пределы. Он ходил по песку, садился на лавочку перед домом, смеялся про себя, гордо представляя изумление народа перед его выдумкой, но вдруг лицо его омрачалось, он съеживался, выражая полное отчаяние всем своим видом.

Между такими крайностями он ждал возвращения господ, не обращая ни малейшего внимания на возвратившуюся жену с ребятами, которая, не ожидая вызова, сию же минуту принялась

укорять его за лень, за безумство и пр. Как истинная Ксантиппа, она не была сдержанна в выражениях и говорила с ним в высшей степени образно, называя его именами разных домашних животных. Но так как эти объяснения повторялись ежедневно, в особенности в последнее время, когда машина окончательно отделывалась, то Пыхтин привык молча выслушивать их, только рассеянно огрызаясь.

— Молчи, дура! Сейчас подъедут господа и зайдут смотреть машину... А ты лаешься! Приберись лучше, нечем страмиться!.. Машину поставят на выставку, и все будут любопытствовать насчет ее... А может, и медаль выдадут. Тогда и мы поправимся... А ты лаешь по-собачьи! Поди лучше утрись, страм один с тобой!

На этот раз жена присмирела и в самом деле поправила свой костюм в ожидании господ.

Солнце закатилось между двух гор. Небо на западе вспыхнуло багровым пожаром; горы потемнели; поверхность озера приняла цвет свинцового блеска. Погода изменилась. С севера подул ветерок, и озеро сморщилось от мелкой ряби. Холодная сырость пропитала воздух. Надвигалась ночь.

Вдали слышался гром заводских машин, прокатывавших железо, и гул доменной печи; из жерла последней, как из вулкана, вылетали брызги огненных искр.

Брат и сестра долго плыли вперед. Они не говорили между собой. Он никогда первый не нарушал молчания, а она задумалась. Ее сильно заинтересовал Пыхтин со своею «вечною машиной»; любопытство, жалость, сочувствие, недоверие — все это быстро промелькнуло в ее душе по поводу странного человека.

— Послушай, — вдруг печально заговорила она, — ты бы лучше отказался принять этот двигатель... Над ним насмеются, и это принесет только одно страдание ему... Вероятно, из-за своего изобретения он бросил домашние дела, растратил последние средства, а тогда еще больше обеднеет.

— Ты думаешь, если я откажу ему в месте на выставке, он бросит свою затею? Он упрямо будет продолжать заниматься ею, — возразил управляющий.

— По крайней мере он не испытает боль насмешки.

— Смех — единственное лекарство от глупости.

Оба опять замолчали. Погода быстро изменялась. Ветер креп и делался холодным. Озеро волновалось. Волны уже сильно бились о каменные берега того острова, возле которого они держались. Не говоря ни слова, брат повернул лодку назад.

— А странно, в самом деле... человечество, по-видимому, никогда не бросит этой мечты — создать вечный двигатель, — сказала вдруг задумчиво Ольга Александровна.

— Человечество? — небрежно переспросил брат.

— Ну да, человечество... Люди никогда не бросят решать неразрешимые задачи.

Насмешливая улыбка заиграла на губах брата.

— Человечество? — с преднамеренною иронией повторил он. — Такого объекта в действительности не существует. Человечество — это сброд зверей, мало похожих между собой, ненавистных друг другу и смертельно враждующих. Вернее сказать, человечество состоит из множества различных видов, которые пожирают друг друга с бóльшим удовольствием, чем различные виды животных. Поистине глупая иллюзия! Я встречаю то и дело людей, между которыми такое же сходство, как между слоном и крысой или как между обезьяной и поросенком... Скажи на милость, что общего между Спинозой и менялой или между Белинским и живодером?.. Ах, ты вот, кстати, балуешься зоологией, — вот тебе задача: займись-ка классификацией... Как ты об этом думаешь?

— Смеяться можно над всем, — тихо прервала Ольга Александровна, на которую ирония брата каждый раз нагоняла сильнейший переполох.

— Я вижу, что ты принимаешь мое предложение. Очень рад. Я, пожалуй, тебе помогу на первый случай. Сначала разделим на классы. Первый класс — *ползающие*... Впрочем, я должен объяснить, что главным естественным признаком деления я признаю личной угол, отлично совпадающий с возрастанием мысли... Итак, *ползающие*. Второй класс — *малоголовые*. Третий класс — *неполноголовые*. Четвертый класс — *головобрюхие*, многочисленные представители которого играют довольно заметную роль в духовной деятельности. Следующий класс — *хищные*, которым принадлежит настоящее; мысль их уже страшно развита, но она проявляется лишь ловкостью и размерами пожирания. Следующий класс — *мыслящие*, и, наконец, последний — *любящие*; это уже приметы человечества, и, быть может, им принадлежит будущее... Ты видишь, как постепенно главный признак деления возрастает, а в последнем классе мысль уже воплощается в живые образы любви ко всему миру...

— К какому же классу принадлежит Пыхтин? — спросила Ольга Александровна, слабо улыбаясь.

— А! ты, я вижу, поняла меня? Отлично. Позволь мне только окончить. Так называемыми мировыми задачами человечества занимаются только последние два класса. Они же поддерживают и perpetuum mobile. В сущности, что такое вечный двигатель? Это — мир, беспрерывно изменяющийся, лишенный покоя, вечно двигающийся, и чтобы создать вечный двигатель, надо только представить точную модель мироздания. Впрочем, Пыхтин сумасшедший! И я не знаю уже, к какому классу его причислить. Между тем я не могу сказать, чтобы идея вечного двигателя

была безусловно нелепа... Пыхтин, черт его возьми, дал худую лодку!

Управляющий вдруг так выругался потому, что лодка наполнилась водой. Разговор мгновенно был забыт, и все внимание брата и сестры вдруг было поглощено течью в лодке и волнами на озере. В тот момент, когда он думал высказать еще несколько замечаний, выражавших его презрение к людям, лодка сильно покачнулась, зачерпнула воды, и он забыл обо всем. Небо покрылось свинцовыми тучами. Ветер уже порывами метался по поверхности озера и взволновал его в несколько мгновений, избороздив его глубокими впадинами и высокими хребтами. Белые лохмотья воды с шумом крутились, лодка вертелась между ними и плохо слушалась весел управляющего. Он бесился, потеряв самообладание, — он бесился, когда лодка повертывалась в другую сторону, а холодные брызги мочили его лицо и одежду.

Наконец лодка подъехала к берегу. Ее схватил ожидавший здесь Пыхтин и сильно потянул на песок, надеясь, что сейчас будет произведен осмотр его машины.

— Ну, брат, придется, видно, отложить до завтра, — хмуро сказал управляющий. Слуги догадались прислать на берег коляску; он с сестрой сел в нее и уехал.

Пыхтин растерялся. Все время он ожидал их возвращения с напряженным нетерпением, а теперь, когда они уехали, он вдруг опустился. Понуро свесив голову, он поплелся в избу.

Тучи совсем нависли, и через минуту полил сильный дождь.

II

Ремесло Пыхтину досталось от отца, считавшего своим священным долгом научить всех своих детей делать жестяные ведра; другого наследства Андрей не получил от родителей. Правда, побывал он в уездном училище, куда был отдан, собственно, затем, чтобы «не мозолил глаза», не болтался дома, но через полтора года со дня поступления в училище отец однажды решительно сказал: «Будет, Андрюшка, учиться. Садись за ведра».

С той поры он и производит ведра. Внешняя жизнь его мало чем отличалась от жизни других кустарей; в свое время он женился, через правильные промежутки крестил детей и ежедневно делал ведра. На подмогу себе он держал помощника, который обязан был в продолжение пяти дней работать, а в воскресенье и понедельник имел право ложиться плашмя под забором, предварительно подравшись с кем-нибудь в кабаке; но этот помощник не улучшал его материального положения. Пыхтин продолжал оставаться истинным кустарем, необеспеченным, вечно угнетаемым нуждою.

Но зато внутренняя жизнь его резко отличалась от всех других жизней. Еще ребенком — это было нервное, беспокойное существо, одаренное пытливым умом. Училище дало ему несколько клочков знаний, которые только раздражали его живую мысль. Во все он пытался вносить новизну, усовершенствование, одухотворяя самые мертвые предметы. Кажется, на что уж глупая вещь — ведро, но и в его устройство он внес несколько улучшений, изменял его форму, изобретал прочную окраску, применял его к житейским удобствам. Но беспрерывно работающая фантазия его лишена была обильного и здорового материала; не обладая знаниями, мысли его блуждали в полутьме, как в густых зарослях, растущих по болотам.

А между тем они, мысли его, росли, переплетаясь между собой, и занимали все его существо. Со временем взгляд его круглых глаз сделался беспокойным, нервы — постоянно раздраженными, характер стал неровный, колебавшийся от гнева к бессилию, от воодушевления к отчаянию. Не находя простора, творческие силы его растрачивались на ненужные поступки и бесцельные слова.

Ко всему этому прибавилась обстановка кустаря, бедная, часто унизительная. Что́ бы он ни думал и о чем бы ни мечтал, но он всегда должен был помнить, что возле него пять ртов, требующих удовлетворения, что накормить их он может только ведрами и что каждый пропущенный им день отзовется сейчас же криком ртов, бранью его Ксантиппы и отсутствием обеда. Одним словом, свободного времени для любимых занятий у него не было. Чтобы завоевать время для умственной работы, он должен был наделать следующих дел: усмирить еловым поленом ругань жены, надрать уши надоедавшим детям или совсем расшвырять их по двору, побить несколько предметов из домашней утвари и захлопнуть дверь, — только после такой расчистки почвы для умственной работы он мог часа на два отдаться чертежам.

С течением времени раздражительность его стала проявляться уже без всякого порядка. Всегда задумчивый, он приходил в неистовое раздражение каждый раз, когда кто-нибудь из домашних надоедал ему, отвлекая его от мыслей. Вне себя от гнева, он тогда совершал несколько неистовств и убегал из дому, чаще всего в трактир. Там он успокаивал себя несколькими глотками водки и затем перед собравшеюся публикой одушевленно рассказывал о своих изобретениях, причем всегда оказывалось, что он уже изобрел одну машину, представил ее высшему начальству и получит скоро золотую медаль, а также две тысячи рублей; впрочем, он получал и по десяти тысяч, потому что наболевшее самолюбие не в состоянии удовлетвориться небольшими размерами.

Чем больше зарастала его живая мысль, чем длиннее становился ряд неудач, тем больнее становилась его недюжинная душа. На заурядную, однообразную жизнь мастера ведер он уже не был

способен, а другой жизни он не мог добиться и потому день ото дня делался все более беспорядочным человеком. Он переходил от одной крайности к другой: то падал ниже пропасти, то вдруг проявлял необычайную энергию, то делался слабее ребенка.

Иногда он по целому месяцу ночевал в лужах, вымазанный грязью, покрытый синяками, которые испещряли его лицо подобно бронзовым медалям, выдаваемым на выставках за плохие произведения. За этим падением следовал бесконечный стыд, тогда он с страшною энергией всех нервных людей за какой-нибудь месяц исправлял все недостатки дома, производил невероятное количество ведер, расплачивался со всеми долгами и зашибал много денег, отдавая все их жене.

Но когда порыв стыда и раскаяния проходил, он вдруг начинал неизвестно о чем тосковать. Темная грусть овладевала всем его существом, и он, тревожный, покидал дом, чтобы бродить по горам с ружьем или на островах с удочками, бродил он там один, по нескольку дней никого не видя.

Среди таких крайностей в заросшую сором голову его пала мысль о вечном двигателе. Существование этого вопроса он знал из клочков, какими подарила его наука уездного училища. Мысль глубоко заняла его, но он не знал, как воспользоваться ею; о невозможности же осуществить ее он нисколько не думал. Напротив, его могла удовлетворить теперь только поразительно огромная идея, которая ударила бы прямо в сердце и вызвала тысячи искр из засоренной головы.

С год он блуждал в этом направлении.

Наконец однажды, постукивая по ведру молотком, он вдруг выронил на пол и молоток и ведро, встал, взволнованный, с места и задумчиво смотрел в одну, невидимую в пространстве точку. Постояв немного, он, как лунатик, вышел на двор, со двора на улицу, прямо на берег озера, отсюда в лодку и на лодке поплыл к большому каменному острову, высоко поднимавшему из воды свои дикие гранитные глыбы, меж щелей которых росло несколько кривых сосен. Выйдя на берег, он принялся чертить палкой на песке эскиз машины. Он твердою рукой водил палкой, и скоро контуры perpetuum mobile ясно обрисовались на отлогом берегу. Кончив главную работу, он стал другою палочкой рисовать более мелкие части; тогда на песке появилась сложная ткань линий и кругов, — рисунок был готов.

Вскоре за тем он сел в лодку и поплыл домой, сдерживая восторг, овладевший его душой.

С этого дня, в продолжение года, он не переставал работать над своим изобретением. Исполняя его, он, как истинный кустарь, обтяпал его топором. Обыкновенные домашние дела он выполнял механически, весь погруженный в делание машины. Это были лучшие дни его жизни. Любовь и счастье впервые посетили его,

и жизненный путь его ярко был освещен. Он перестал раздражаться, бросил пить, сделался кротким со всеми. Даже жена не могла взбесить его, даже тупой Максим, последний его помощник, не выводил его больше из терпения своею глупостью.

Только к своему изобретению он был чуток, и малейшее замечание насчет его годности могло смертельно оскорбить его.

III

На другой день к домику Пыхтина подъехала коляска, в которой сидели управляющий и сестра его. Пыхтин с раннего утра поджидал их и теперь встретил их у ворот, улыбающийся, но, видимо, взволнованный мыслью предстоящего испытания.

— Ну, Андрей Петрович, показывай нам свою выдумку, — сказал управляющий, перешагивая через порог калитки под руку с сестрой. Последняя сильно была возбуждена, и взор ее с нескрываемым удивлением переходил с предмета на предмет незнакомой для нее обстановки мастера. Заметив, что из окна домика глазеют на двор ребятишки, а из-за дверного косяка подсматривает жена Пыхтина, она внезапно сконфузилась.

— Вы побеспокойтесь вот сюда... она у меня под сараем стоит... Уж извините, грязновато там, да поставить-то некуда больше, — говорил Пыхтин и повел гостей под сарай.

Пройдя, сильно нагнувшись, дверь сарая, все трое очутились в полутемном помещении с земляным полом и остановились: прямо перед ними стояла странная машина больших размеров, с первого взгляда похожая на тот станок, в котором подковывают лошадей; виднелись плохо отесанные деревянные столбы, перекладина и целая система колес, маховых и зубчатых; все это было неуклюже, не остругано, безобразно. В самом низу под машиной лежали какие-то чугунные шары; целая куча этих шаров лежала и в стороне.

Прошла незаметно для всех троих минута молчания.

— Это она и есть? — спросил управляющий, ткнув пальцем в хитрую постройку.

— Она-с...

— Какое чудовище!.. Ты бы хоть немного обтесал ее.

Нельзя было подметить, смеется управляющий или нет, — на его лице не было ничего определенного. Но сестре не понравился его тон; со свойственною ей чуткостью она понимала, какою болью отзывается на Пыхтине каждая двусмысленность; ей стало больно. Странное сходство было между этими двумя людьми, так удаленными друг от друга социальными перегородками. Нервный, теперь взволнованный Пыхтин, с постоянно меняющимся выражением лица, мог бы быть истинным братом этой

подвижной и вечно тревожной барыни, — это были родные. Впрочем, Пыхтину некогда было в эту минуту следить за доброю барыней, но зато последняя чутко слушала его, безусловно понимая каждую тень его лица. И когда брат ее небрежно произнес свои слова, она как-то съежилась и взглянула на мастера, глубоко чувствуя, как тому больно.

— Да, она, точно... не отесана малость, — возразил Пыхтин. — Но для чего и стараться-то? Вы уж не смотрите на нее больно сурьезно... Так себе, шутка ведь!.. — Говоря это, Пыхтин пытался насмешливо взглянуть на свое неуклюжее детище, но вся встревоженная фигура его противоречила такому намерению. И Ольга Александровна опять поняла его.

— Что же, вертится она? — продолжал управляющий.

— Как же, вертится...

— Да у тебя есть лошадь, чтобы вертеть-то ее?

— Зачем же лошадь? Она сама, — отвечал с улыбкой Пыхтин, глотая колкость, и принялся показывать устройство чудища.

Главную роль играли те чугунные шары, которые сложены были тут же в кучу. Для первого раза надо было с размаху ударить таким шаром в один из черпаков, прикрепленных на окружности махового колеса, и машина начнет двигаться; затем остается только в свое время и на свои места подложить остальные шары — и механизм будет совершать беспрерывное круговращение... Объясняя устройство машины, Пыхтин разгорячился и одушевленно говорил. Ольга Александровна следила за каждым его словом.

— Главная сила в этих вот шарах... Вот глядите: наперво он буцнется на этот черпак... отсюда свистнет, подобно молнии, вон по этому желобу, а там его подденет тот черпак, и он перелетит как сумасшедший на то колесо и опять даст ему хорошего толчка — такого, то есть, толчка, от которого он зажужжит даже. А пока этот шар летит, там уж свое дело делает другой... Там уж он опять летит и — буц! вот сюда. Тут уж он опять по желобу летит... бросится на тот черпак, перескочит на то колесо и опять р-раз! Так и далее. Вот она в чем штука-то...

Кончив объяснение, Пыхтин с пылающим лицом стал перебирать шары.

— Что же, ты пробовал пускать?

— Пускал.

— Вертится?

— Страсть как! Жужжит даже... Я сейчас...

— А голову не оторвет? — лениво спросил управляющий, и в первый раз на углах его губ проскользнула усмешка. Сестра с гневным укором взглянула на него.

— Помилуйте! Ход у ней правильный. Вреда она не сделает... Вот я, господи благослови, пущу ее...

Пыхтин торопливо метался по сараю, собирая разбросанные шары. Наконец, свалив их в одну кучу подле себя, он взял один из них в руку и с размаху бухнул его на ближайший черпак колеса, потом быстро подхватил другой, за ним третий... В сарае поднялось что-то невообразимое; шары лязгали о железные черпаки, дерево колес скрипело, столбы стонали. Адский свист, жужжание, скрежет наполнили полутемное место... Но творец этого чудовища ничего не слыхал; он стоял возле вертящихся колес с шарами в руках и с пылающим лицом смотрел на кружившуюся систему, которая не останавливалась, как бы повинуясь нравственной силе стоявшего подле нее создателя. Лицо Ольги Александровны, за минуту перед тем сомневавшейся в возможности движения, теперь озарилось радостью.

— Вот дьявольское изобретение! И как это тебе пришло в голову выдумать такого зверя? — сказал раздраженно управляющий, выведенный из себя свистом и лязгом. — Ну его к черту, останови! — попросил он.

Через несколько минут Пыхтин остановил движение, но продолжал стоять возле машины. Лицо его светилось гордостью.

— Черт знает какая нелепость! Хорошо еще, что этот не в состоянии долго вертеться! — проговорил как бы про себя управляющий и вынул записную книжку.

— Как, неужели движение скоро остановилось бы? — воскликнула Ольга Александровна и взглянула на Пыхтина. Последний беспокойно устремил глаза на управляющего.

Управляющий не отвечал, продолжая писать, и только когда кончил, то выговорил:

— Да! было бы ужасно, если бы эта деревянная скотина могла долго вертеться! К счастью, достаточно, чтобы один шар свалился, и скотина потеряет всякую способность к движению... Впрочем, вот тебе листок; ты его подай одному из распорядителей, и тебе позволят поставить...

Сказав это, управляющий вырвал листок из записной книжки, подал его остолбеневшему Пыхтину и направился к выходу. Ольга Александровна торопливо пожала руку мастеру и бросилась за братом с такою поспешностью, словно здесь, под сараем, она потерпела поражение. Ей было больно за Пыхтина. А последний все стоял на месте и сильно упал духом; лениво брошенные слова вдруг открыли ему убийственный недостаток его машины. И еще многое он вдруг заметил и затосковал...

Тем временем брат и сестра ехали в коляске домой. Ольга Александровна была недовольна грубостью брата, и ее лицо носило следы раздражения. Она долго не говорила.

— Какой он несчастный! — наконец сказала она.

Брат промолчал.

— Но он совсем упадет духом; ты, право, лучше бы отговорил его показываться на выставку, — издеваться будут...

— Зачем? — возразил брат. — Обдумывая такое чудовище, он все-таки несколько лет жил облагороженный, зачем же я лишу его такого счастья? Им оно не часто выпадает. Скучна и бессмысленна их жизнь... Ум молчит, все духовные потребности заглушены однообразною нелепою работой... Положим, он делает топор... всю жизнь топор делать! миллионы топоров! Тупое затмение, нелепая жизнь. Удовольствий и развлечений у него также нет. Придет праздник — в кабак. Напьется, упадет носом в грязь, пуская пузыри... А назавтра опять топор. Вечный, неумолимый, до самой смерти топор. А этот по крайней мере испытал человеческую жизнь... узнал чарующую привлекательность создания, гордость победы, очаровательность чистой мысли... Ну и пусть... Кстати, я уже распорядился принять его на завод...

Кончив так неожиданно, он отвернулся и осматривал далекие окрестности. Ольга Александровна изумленно посмотрела на него и хотела пожать ему руку, но этот порыв не был приведен в исполнение, потому что управляющий уже не обращал внимания на то, что происходит рядом с ним.

Такой характер брата всегда изумлял сестру. Всегда неприступный и холодный, он часто говорил и делал не дурно... во всяком случае, не был совсем равнодушным. Много было напускного в его презрительном скептицизме. В действительности чуткий, он старался казаться безучастным; беспокойный, он хотел казаться апатичным; по природе мягкий, он желал казаться озлобленным. Всю жизнь он стремился не походить на себя. Он воспитывался в той среде напускного приличия, где всякий порыв откровенности и правдивости считается неотесанностью, и потому он ненавидел себя, когда обнаруживал волнение. Он не мог простить себе, если приходилось от чего-нибудь растеряться; и если бы кто-нибудь подметил, как он плакал над одним письмом сестры, оскорбленной негодяем, то он умер бы от стыда и злости на себя. Вообще быть добрым очень смешно, по его мнению; он, наоборот, любил казаться беспощадным.

С первого раза он оценил Пыхтина и решился чем-нибудь помочь ему. О его честности он раньше знал, теперь же он убедился в его недюжинности и распорядился дать ему место на заводе. Таким способом он желал дать выход неутомимой изобретательности кустаря. Но, высказав свое решение сестре, он боялся показаться сентиментальным.

IV

Посреди обширного двора выставки играла музыка. Недалеко слышался шум водопада, брызги которого радужным туманом играли на солнце. Солнце ярко освещало пеструю картину выставки: павильоны, цветы, разодетых дам, толпу посетителей. Мужчины околачивались больше около ресторана, и только побывав там, толкались возле витрин.

Пыхтин потерялся среди толпы и бродил как во сне.

В первые дни он обежал всю выставку, на все взглянул, но внешний блеск предметов и людей смутно отпечатлелся на его сосредоточенной душе. На свою машину, запрятанную где-то в темном углу, он только раз взглянул и отошел прочь, стыдясь даже близко подходить к ней. Его внимание было обращено на груды чужих машин, повсюду блестевших стальным отливом. Некоторые он сейчас же разобрал, перед другими останавливался в изумлении, пораженный их сложным устройством. Но все они произвели на него угнетающее действие. Чистота, блеск, вложенное в них остроумие почти оскорбляли его; он сравнил их со всем тем, что сам думал и производил, и совершенно упал в своем собственном мнении.

Но в особенности он был подавлен огромною массой никогда не виданных им и непонятных вещей. Его давило это бесконечное множество предметов, о которых он ничего не знал, а смотря на них теперь, ничего не в силах был понять. Для таких же мыслящих натур, как он, непонимание равносильно смерти. Привыкнув отдавать себе отчет во всем, он теперь, среди такого разнообразия непонятных вещей, чувствовал себя бессильным и глупым. Мысль его билась непрерывным пульсом, а теперь перед пестрою и блестящею кучей разнородных предметов, собранных из неизвестных стран, она как будто остановилась.

Бездушный и бессмысленный, он робко ходил по выставке, стараясь не обращать ничьего внимания. Он сильно опустился. Такая слабость на него нашла, что он по целому часу сидел где-нибудь в полутемном углу и не мог пошевелиться с места. И страшная тоска на него напала. Целый неведомый мир людских дел вдруг представился ему в одной волшебной картине, но этот мир был чужой ему; он его не понимал и чужой здесь был.

От этой слабости он несколько оправился тогда, когда стал осматривать родные и понятные ему вещи своего же брата, захолустного мастера. Его внимание главным образом обращено было на изобретения и «выдумки». Здесь он осмысленно все осмотрел и перезнакомился с экспонентами. Народ все рабочий, темный. На выставку они попали прямо из-за печки, подобно сверчкам, и, очутившись среди чуждого им освещения, чувствовали себя в высшей степени неладно; боязливый взгляд их как бы

говорил: «А что, не погонят нас по шее отсюда?» Их изобретения также были затеяны неладно, невпопад; было ясно, что творцы их начали думать не с того конца. Кроме того, поделки их поражали небрежностью.



Осматривая эти поделки, Андрей Пыхтин внимательно разбирал их устройство и насмешливо качал головой.

— Одно слово — наши! Издали еще приметишь, что наши это глупости! — сказал он однажды в кучке собратьев-изобретателей.

— Да, уж это верно. Издали приметно, которая наша... Сейчас приметишь. Потому как только, господи благослови, взглянул на нее, так и покатился со смеху, — ответил один из кустарей, веселый малый.

В кучке многие засмеялись. Ирония к самим себе давно уже созрела у всех.

— Инструмента мы не любим — вот отчего, надо так думать, — прибавил кто-то.

— Инструмент у нас от бога, а другого мы не любим. Первое дело — топор, очень мы его уважаем... Где топор не возьмет — зубы. Третье дело — ногти... Вот и весь наш инструмент.

— И башка еще, чай, — поправил кто-то.

— Башка сама собой!.. Первый инструмент!

— У иного страсть какая толстая башка! — заметил с веселою улыбкой веселый малый. — А все ни к чему... нет ей, башке, назначения...

— Ни к чему, ей-богу! Потому я так думаю, что, ничему не учимшись, ничего не видавши, с одною толстою башкой все равно никуда... Сколько ни мотай ей, а все ни к чему.

— Нет, вот вы послушайте, что я вам скажу, — начал опять веселый малый, приготовляясь сказать что-то забавное. — Срам один! Уж я просился, чтобы выпустили меня отсюдова, — нет, не пускают!.. Совестно даже в глаза глядеть... А ведь дома-то как о себе думал... и не подступайся! Как, мол, покажусь со своею вещью, так все и ахнут. На, скажут, тебе золотую медаль за выдумку и, ради бога, больше не выдумывай... Я вот свою-то подлость уж под скамью запрятал, чтоб не смеялись, — так нет, вытаскивают и из-под скамьи, обсматривают!.. Ну, мочи моей нет! Вчерась я уж ее, машинку-то мою, накрыл тазом... С тазами тут кто-то около меня стоит... Сиди, говорю, милая, тут под тазом и не показывайся, — так нет, пришли какие-то господа, открыли

таз, вытащили ее оттуда и давай ее по всем косточкам... Завтра хочу ее посадить в мешок и в воду...

— А как пымают? — спросил кто-то тем же тоном.

— Ну, тогда уж и не знаю, что мне делать с ей... Разве нечаянно сесть на нее... да живучая больно, не разломаешь!

Рассказчик смеялся; смеялись добродушно и другие над собой; это был честный смех русского человека, умеющего иронически отнестись к своим слабым сторонам, а подчас жестоко оплевать себя. Но что стоил этот смех честным кустарям, одному богу известно. Видно, не раз каждому из них приходилось бороться с овладевающею грустью.

Пыхтин также улыбался, слушая разговор. Только о своей машине он ничего не сказал. Этот разговор, однако, перевернул его настроение. В начале выставки растерявшийся от своей горькой неудачи, он теперь быстро оправился от удара и с обычною стремительностью бросился изучать поразившие и непонятные для него предметы. Но это была только новая форма энергии, заключенной в нем.

Половину дня он проводил на заводе, а другую половину — на выставке. Здесь он неустанно разбирал хитрые механизмы, неведомые двигатели. Когда ему не удавалось собственными силами разобраться в сложном устройстве, он настойчиво приставал к знающим людям. Усвоив одно, он принимался за другое. Скоро он мог отдать себе отчет в каждой мелочи, которую встретил, и понял все, что еще недавно давило его сложностью.

Но не одни машины его интересовали. Изучив их все, он с такою же пытливостью принялся осматривать и другие вещи, расспрашивая обо всем, что сам не в силах был уразуметь. Он как-то просветлел весь; знания его расширились. Через месяц пестрый базар, представляемый выставкой, не поражал уже его разнообразием; он освоился с ним и внутренно привел его в порядок.

Вслед за тем он вдруг исчез с выставки и отдался весь заводу, где уже занимал порядочное место. Управляющий, незаметно следивший за ним, удивился этой внезапной перемене и, встретив его однажды, спросил:

— Разве не ездишь больше на выставку?

— Нет уж, будет! — возразил Пыхтин.

— А как же твоя машина?

— Машина? — задумчиво переспросил Пыхтин и долго ничего не отвечал. Он как будто припоминал что-то из далекого прошлого, которое уже не возвратится.

— Ну ее к шуту! — вдруг сказал он с энергией.

— Не нужно бы было выставлять...

— Прикажите уж изрубить ее на дрова! — сказал Пыхтин и сильно покраснел.

Управляющий холодно пожал плечами.

— К сожалению, выставка не отопляется. Тепло и так.

Сказав это, он отвернулся и уехал. Но на самом деле он был рад, что Пыхтин так дешево отделался от своей идеи, сводившей многих в могилу. С этого дня он высоко оценил своего нового служащего, поняв, какая богатая энергия у этого бедняка и как бесконечно он силен.

В непродолжительное время Пыхтин отдался всею душой заводу, который дал выход его стремлениям. Сначала несколько недель он все там осматривал, обдумывал, наблюдал. Оставаясь на заводе с несколькими служащими во время шабаша, он пытливо изучал все мелочи заводской деятельности, расспрашивая товарищей и подчиненных. Затем в нем зароились планы работ и усовершенствований. Наряду с этим он читал много книг, находящихся в распоряжении у одного техника.

Когда в неунывающей голове его зароились планы, он стал, сначала робко, потом более решительно, сообщать их управляющему при всех встречах. Но, не удовлетворяясь этими встречами, он раз осмелился проникнуть в самое жилище магната и, ласково встреченный, пустился с волнением выкладывать все, что заметил. Он заметил лень, недобросовестность, воровство. Затем он подробно стал объяснять все, о чем он передумал за это время. Управляющий равнодушно слушал, но не останавливал.

— Дайте мне побольше работы!

— Разве у тебя мало ее? — спросил управляющий.

— Какая же это работа? Пустяки. Дайте, ради бога!

— Хорошо, Андрей Петрович, мы еще с тобой сладимся, а ты пока не горячись. Всё успеем сделать, — так говорил управляющий, провожая Пыхтина, и тут же решил, что он даст ему повышение, чтобы еще более расширить круг его деятельности.

К сожалению, неожиданная случайность разбила и это намерение управляющего, и мысли Пыхтина, да и самого Пыхтина. А быть может, это не была случайность? Ведь русский человек все свои силы убивает на поиски развития, а на самую жизнь у него нет уже сил...

Занятый всецело своими новыми планами, поглощенный внутреннею работой, происходившей в нем, он стал страшно рассеянным. Еще среди толпы или дома, охлаждаемый присутствием людей, он на минуты сбрасывал с себя овладевшую им задумчивость, но вне своей семьи, в особенности когда ему приходилось оставаться с немногими служащими во время перерыва работ, он совершенно отдавался во власть мечтам. Свист и грохот машин только еще более возбуждали его; задумчивый, он бродил между вертящимися механизмами и не думал о том, где он и что с ним.

Однажды, бродя в глубокой рассеянности по заводскому зданию, он незаметно подошел близко к одному чугунному колесу

со стальными пальцами, тяжело рассекавшими воздух. Молодой дежурный рабочий заметил это и обомлел от ужаса: недалеко от колеса вчера выломалась доска, и ее не успели заделать. Заметив, что Пыхтин подошел к этому месту на полу, он хотел ему крикнуть, но не мог, вдруг потеряв голос. Пыхтин между тем шагнул к сломанной половице... Это было мгновение. Один из стальных пальцев ударил его, подхватил, подбросил вверх и грохнул на пол уже исковерканным.

По заводу пронесся страшный крик молодого рабочего. Сбежались другие рабочие и служащие и столпились около разбитого товарища. Прискакал управляющий, но обыкновенно холодное лицо его судорожно сжалось, и слезы текли по его щекам. Но он резким голосом делал распоряжения. Пригласили фельдшера. У Пыхтина был разбит позвоночный столб, перебиты ноги.

Но он ни на минуту не потерял сознания, только удивленно смотрел вокруг себя. Его положили на носилки и отнесли домой.

Туда приехала сию же минуту и Ольга Александровна и с ужасом смотрела на это изорванное тело. Пыхтин продолжал пытливо осматриваться и думал о чем-то. Он не мог говорить, но сознательно смотрел на жену, на детей, на Ольгу Александровну и на рабочих, столпившихся у порога в доме. Он смотрел из окна, около которого лежал, на озеро, на острова, на дальние горы. Но вдруг он с смертельным удивлением повел глазами вокруг себя; он увидел, что стена дома заходила вокруг него, острова перевернулись, с грохотом падая в воды озера, небо надвое раскололось и потемневшее солнце полетело с высоты в разверстую пропасть...



ЖИВОЙ КЛЮЧ

(Предание)

Та гора, из которой вытекал ключ, находилась во владении богатого человека.

Людская молва приписывала последнему несметные богатства, безграничную власть и силу. Он мог, по произволу, иметь все, чего хотел. Его поля покрыты были тучными нивами и пастбищами; в его садах и оранжереях росли самые редкие фрукты; а все, чего не было поблизости, присылалось ему из далеких стран. Казалось, все желания его были исполнены и не осталось уже ничего, что могло бы вызвать в нем жажду приобретения.

Но однажды, скучая, он объезжал свое имение и вдруг обратил внимание на ключ, выбегавший с веселым шумом из горы. Это был чистый, прозрачный, холодный родник. Но куда он бежал?

Вырываясь из недр горы, он катился к ее подножью с веселым шумом, как бы радуясь свету, воздуху и свободе; отсюда по ложбине он бежал дальше, по полям, по лугам, через лес и сады и, наконец, пропадал за далеким горизонтом. И всюду, где он проходил, все живое радовалось его появлению. Травы ярко зеленели возле него; хлебные колосья частыми рядами теснились

на всем его пути, и леса густо обступили крутые берега его, охраняя его покой и свободу.

Усталый путник садился возле него и, утолив жажду его чистой, свежей водой, засыпал под его тихие песни. Издалека приходили к нему — жнец, мочивший свой черствый хлеб в его воде, и конь его, понуро опускавший голову над его струями. В него, как в зеркало, заглядывала девушка, радуясь своему румянцу; дети резвились на его лужайках.

Но куда он бежал? Сначала его течение принадлежало богатому человеку, но дальше, за горизонтом, он выходил из его владений и делался достоянием всех людей, живших в той стороне.

Когда богатый человек узнал об этом, ему пришло на мысль всецело завладеть чудным родником. Ему казалось, что предоставленный себе родник только портится, теряя всю свою красоту; он течет между грязными берегами; через него во многих местах проложены броды; скот мутит его прозрачную воду; местами болота окружают его берега.

— Лучше я проведу его в свои сады и сделаю фонтаном, — решил богатый человек.

И на следующий же день он нанял работников и послал их к ключу. Вооружившись лопатами, ломами и топорами, работники принялись за дело. На том месте, где на свет божий вырывался родник, они выкопали обширный водоем, обложили его камнем и скрепили железом; кругом вывели еще высокие стены с железною крышей и только в одной стене оставили двери с тяжелым замком. Никто больше не мог видеть, откуда берет начало родник.

После того на протяжении нескольких верст прокопали канаву, вложили туда чугунные трубы и все это засыпали землей. В саду же, до которого доведены были трубы, поставили мраморный фонтан с гротом посредине.

Когда вся эта каменная постройка кончилась, повесили замок над родником; с той поры никто, кроме богатого человека и его челяди, не слыхал веселого шума бойкого ручейка. Русло его высохло, а сам он, запертый среди камня и железа, не видя света, с ревом устремлялся в чугунные трубы и глухо рычал под землей. Так он добегал до фонтана; здесь он с шипением и свистом взлетал на воздух, но, обессиленный в борьбе, падал слезами на мраморные плиты. Живой ключ для всех умер, и, казалось, не вырваться ему больше из неволи никогда.

Прошло немного времени. Богатый человек несколько дней полюбовался на свой чудесный фонтан и затем забыл о нем. Скучая, он не мог долго останавливать внимание на одном предмете. Ему все надоедало, и его похолодевшее сердце требовало новых желаний.

Далеко вокруг он пользовался почетом, — не было человека в той стороне, который не знал бы его. Встречаясь с ним, все низко кланялись, разговаривая с ним, каждый выражал на своем лице величайшее счастье. Местные власти исполняли малейшее его желание, считая его лучшим гражданином; служитель церкви молился за здравие его души. Но богатый человек низко ценил это всеобщее уважение и почти не замечал его.

Но однажды, скучая, он задумался: чему люди в нем поклонялись и какую цену имеют их поклоны? — спросил он себя.

Задумав это, он решился испытать людей. Быть может, это была новая причуда от скуки, но быть может, тоскующая душа его искала правды; только однажды, для испытания людей, он вдруг притворился разорившимся. Распустил всех слуг, притворно продал все свое имение, роздал неизвестным кредиторам все деньги и внезапно очутился нищим, без угла и приюта. Одевшись в рубище, он покинул свой опустевший дом и стал обходить все те места, где его знали и где ему низко кланялись.

Желание его было исполнено: он скоро узнал то, чему люди поклонялись в нем и какую цену имели их поклоны. Все почти сразу изменились к нему. Одни при виде его еще раскланивались, но уже стыдились своих поклонов; другие при встрече отворачивались от него, словно не замечая его присутствия; третьи же нагло смотрели на него и открыто выражали презрение к его грязному виду. Перестали молиться о его грешной душе, видимо обреченной на муки ада; местные власти грозили посадить его в тюрьму за бродяжество.

Нашелся только один человек, изменивший к лучшему свои прежние отношения к недавнему богачу. Это был один из тех несчастливцев, которым злая судьба дала тонкий ум и гордое сердце, — таким несчастным блага жизни не даются в руки. Всю жизнь он провел в борьбе с несчастиями и плохо ладил с людьми. Его называли злым, хотя он был только справедливым; считали его безумцем, между тем как он только видел вещи такими, каковы они были в действительности. Так же он относился и к богатому человеку: никогда не кланялся ему и не обращал на него никакого внимания. Но теперь, при виде его нищеты, он с улыбкой поклонился ему и подал ему руку.

Это удивило богача.

— Разве я тебе нужен, что ты кланяешься мне? — спросил он.

— Нет, я именно потому и кланяюсь тебе, что ты мне совсем не нужен, — ответил бедняк.

— Почему же ты отворачивался от меня, когда я был богат?

— Чтобы не быть просителем твоим.

— Ты радуешься моей нищете?

— Нет, я только радуюсь тому, что ты стал братом моим, равным мне.

На мгновение богатый человек задумался над этими словами, но скоро забыл их. Мысли его были заняты той всеобщей неблагодарностью, которую так скоро он узнал, лишь только сделался бедным. Все отвернулись от него.

Когда эту правду он окончательно понял на своем опыте, то сбросил с себя рубище. Ненадолго он совсем скрылся из своей страны, а когда возвратился, то опять объявил себя богачом. Приобрел снова имение свое, украсил дом редкими предметами и зажил с прежней роскошью. Говорили даже, что он еще более разбогател. Ослепленные его блеском, люди снова принялись отвешивать ему поклоны — одни из страха перед его силой, другие ради поживы на его счет.

Но сам богач с злой улыбкой смотрел на все это и никому больше не отвечал на поклоны. Кто бы ни встретился с ним, он не давал себе труда снимать шапку. Вместо этого обычая он придумал другой. Выходя из дома, он всегда брал с собою кошель, туго набитый деньгами, и когда встречные люди кланялись ему, он вынимал кошель и мотал им, делая такое движение, как будто кошель отвечает на поклоны.

Одни прощали новую причуду богача, другие обижались этой явной насмешкой.

— Зачем ты мотаешь кошелем, вместо того чтобы снять шапку? — спрашивали у него третьи, слабоумные.

— Но ведь вы не мне кланяетесь, а этому набитому кошелю? Пускай же он, набитый дурак, и отвечает на ваши поклоны! — возражал богатый человек.

Он смеялся, но, к удивлению его, смех этот не приносил ему радости; вместо смеха и радости зло и гнев зародились в его душе. Чтобы облегчить душу, он отправился к тому гордому несчастливцу, который протянул ему руку в дни его нищеты. Тот, всегда верный себе, равнодушно встретил его и холодно стал слушать его жалобы. Богатый человек жаловался на низость людей...

— Они хуже собак! — говорил он. — Собаки могут без корысти любить, человек же никогда!

— Да; люди ценят только тех, кто им служит, — возразил бедняк.

— Неправда! — сказал богач, — они настолько низки, что ценят только грубые вещи, деньги, имущество.

— А ты что же ценил в людях, когда наживал свое богатство? — спросил бедняк.

— Правда, я пользовался их трудом, их деньгами, их имуществом; но я не притворялся преданным, беря от людей все нужное мне, я не говорил, что делаю это из любви к ним.

— То же самое делают и они по отношению к тебе; притворство же их есть только одно из тех орудий наживы, которыми и ты не брезговал.

— Но я никогда не смешивал человека с набитым кошелем! — сказал богач.

— И тебя не смешивают с твоим кошелем.

— Зачем же кланяются моему кошелю под видом поклонения мне?

— Затем, что кошель имеет действительную цену, а ты... Что ты в жизни сделал, чтобы придать себе дорогую цену в глазах людей?

Это были грубые и жестокие слова. Но богатый человек не обиделся, погруженный в задумчивость. Ему пришла в голову страшная мысль: чем помянут его люди, когда его не будет?

И он спросил:

— Что же нужно сделать, чтобы заслужить непритворное уважение и память в людях?

— Спроси сам себя, что в тебе есть лучшего и дорогого? — возразил бедняк.

— Я не знаю, — сказал богач.

— На что же ты жалуешься! И что ты можешь дать людям, когда ты сам не знаешь, что в тебе есть лучшего и дорогого?

Бедняк сказал это грубо и замолчал; он сам не знал, что делать, чтобы заслужить память людей. С детства преследуемый нищетой и неудачами, он научился только отбиваться от несправедливости и гордо смотреть в глаза неправде; сказать же, как служить людям, он не умел. Да и кто умеет? Это вечная загадка, которую еще никто не отгадал, хотя много людей пыталось ее отгадать.

Когда богатый человек расстался с гордым нищим, то почувствовал себя совсем одиноким. Никому он больше не верил, подозревая каждого, кто к нему подходил, во лжи и притворстве. Он прогнал от себя всех друзей и льстецов, всех знакомых и притворщиков, перестал показываться в народе и повел одинокую жизнь.

Только собаки неотлучно окружали его, их он развел великое множество, полон двор и дом, и в их обществе проводил все свои дни и ночи. С самыми преданными и любимыми он разговаривал и был уверен, что ни одна из них, виляя хвостом, не попросит его денег.

Так прошли многие годы. Нельзя жить человеку без человека. В одиночестве несчастный человек стал диким и страшным. Мало-помалу все живое разбежалось от него. Слуги, расхищая его имущество, один по одному оставили его; родные уехали от него далеко и оттуда ожидали его смерти; соседи боялись показываться ему на глаза; дети и женщины даже близко к его дому не подходили, пугая друг друга его именем.

Никто не видел, как и когда он скончался. Только однажды, в глухую полночь, проходившие мимо соседи услыхали сплошной

вой всех собак, живших в его доме, и догадались, что настал последний смертный час богатого человека.

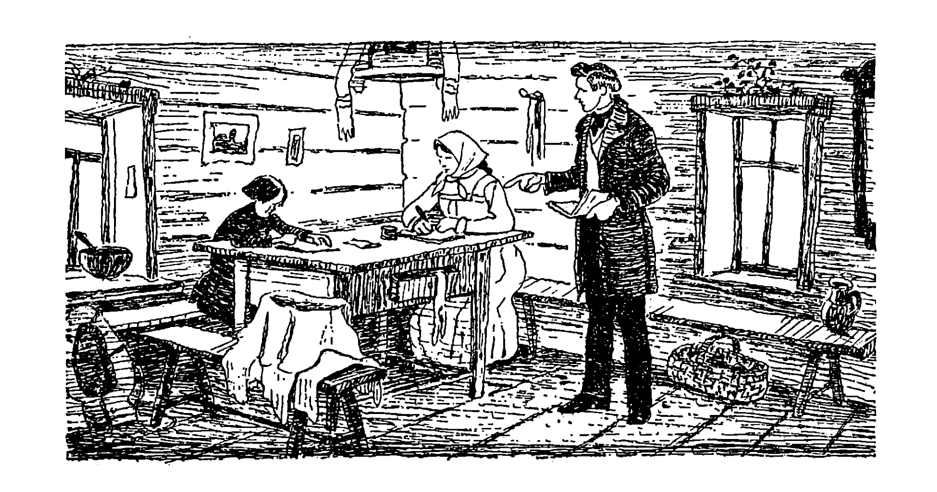
Еще при жизни его половина богатства была расхищена, после же смерти его быстро все разрушилось. Наехавшие родственники увезли все ценное и дорогое; соседи тащили кто что мог. Непогода, — солнце, холод, буря и дождь, — ускорила смерть всего, что было у богатого человека. И скоро от чудного жилища не осталось камня на камне. Самое имя богача не осталось в памяти людей.

Но разве умирает что-нибудь истинно живое? Нет, только мертвое умирает.

Когда камни богатого дворца разрушились, а подгнившие и проточенные червями столбы упали, когда все твердыни сровнялись с землей и лишь бурьян густо разросся по старому пепелищу, в это самое время один ручей с силой продолжал бить под землей. Ему теперь предстояла работа — вырываться на волю. Трубы давно проржавели и засорились; мраморные плиты фонтана вросли в землю или растасканы были соседями; вся тюрьма его медленно разрушалась, но он все еще не мог сбросить с себя железных оков и продолжал глухо рычать под землей.

Наконец час его освобождения настал. Он подкопался под каменный фундамент канавы, разрезал твердую землю, прорвал последний верхний пласт ее и с шумом очутился на склоне горы. Отсюда он ринулся вниз, скатился на старое русло свое и побежал, играя солнечными лучами, туда, за горизонт, где некогда он был.

И снова все живое ожило при его появлении. Трава ярко зазеленела, устилая весь путь его цветами. Деревья приблизились к его берегам и, вдыхая его влагу, ограждали его своею тенью от зноя. Птицы и звери стекались к нему ежедневно, люди протягивали к нему руки, набирая его чистую воду. Тысячи услуг и радостей он давал всем, кто приближался к нему.



МОЙ МИР

I

Я ехал из столицы, а куда и зачем — сам не знал. Нравственное состояние мое было самое неопределенное, словно я был вне времени и пространства. Помню, впечатления от внешних предметов, мимо которых летел поезд, не оставляли на мне и во мне ни малейшего следа, хотя ум мой механически отмечал все, что было возле меня, что пролетало надо мной, на что взор мой случайно падал.

В вагоне было тесно, накурено, шумно, и мой ум это отмечал; когда двое из пассажиров разругались между собой и раскричались на весь вагон, мой ум отметил: «Вот сейчас они будут драться», а когда неуживчивые пассажиры действительно подрались и высажены были с протоколом на ближайшей станции, то ум мой, не замечая их больше, совершенно забыл о них. Точно с такою же правильностью мой ум отмечал все, что ему природа предлагала: он отметил рыхлый мартовский снег, ослепительное солнце, отражавшееся в крупных кристаллах этого снега, голубое небо, голые, но как будто повеселевшие леса; но, отмечая все, он ничего не оставлял для меня, и я по-прежнему оставался пустою посудиной, из которой вылили содержимое. Лично для себя я не знаю ничего более страшного, как то состояние, о котором

я говорю. Я принадлежу к тем людям, которые не могут абсолютно существовать без внутреннего мотива, без определенной цели, без руководящей причины, без убеждений, без веры. Мне непременно нужна определенная цель, чтобы чувствовать себя живым; мне нужен хотя какой-нибудь принцип, чтобы я ощущал радость. Лишь только такая руководящая мысль исчезнет из меня, я моментально падаю и ощущаю невыносимый гнет жизни. Тогда организм мой как будто распадается на отдельные составные части и все органы выходят из-под моей власти: ноги идут туда, куда мне вовсе не хочется; руки делают движения, которых мне не нужно; рот и язык действуют в полной независимости от того, что я думаю; сердце, неизвестно от чего, сжимается в смертельном испуге. Все тело мое тогда похоже на тесто, и моя душа становится подобной пару.

Вот в таком-то состоянии я ехал неизвестно зачем из столицы. Места я себе нигде не находил; не мог ни сидеть, ни смотреть, ни лежать, ни слушать. Беспрестанно меняя положения, я то и дело выходил из вагона на площадку и подставлял горячую голову свистевшему ветру; без сомнения, я в эти минуты не думал о здоровье и решительно не боялся, что схвачу простуду.

Припоминая все эти мелочи, я должен сказать, что такое состояние я испытывал в первый раз. Раньше оно случалось, но не в такой массовой форме. Не было еще месяца в моей жизни, когда бы я не ощущал в себе той или иной движущей мысли. Если же и приходилось испытывать пустоту, то происходило это от невозможности слить в одно целое убеждения и поступки, веру и дела, мысль и жизнь.

Эта же невозможность быть целым существом угнетала меня с самого детства. По крайней мере я не в состоянии в точности указать тот именно день, когда я раскололся надвое. Быть может, это событие произошло еще в детстве, когда я жил в нашей плохо сколоченной семье; отец мой был либеральный исправник и совершал в один и тот же день поступки, взаимно уничтожающие друг друга: утром, например, он с обычными приемами разгневанного начальника дергал какого-нибудь старшину за бороду, топал на него ногами и нередко, вне себя от гнева, кубарем спускал его с лестницы; а вечером, в кругу домашних и знакомых, горячо рассуждал о благородной и умной статье любимого тогда журнала. Как мирились в душе отца такие вещи, я не знаю; не знаю также, мучился он противоречием или нисколько не мучился. Но я знаю, что на моей-то детской душе вся эта лживость отражалась самым подлым образом: еще ребенком я привык видеть в одном человеке два лица, друг друга оплевывающие, но зачем-то живущие вместе.

Но, быть может, раскололся я в школе, когда мне зачастую приходилось на парте держать раскрытым Юлия Цезаря, а под

партой — Гоголя и показывать вид, что я напряженно слежу за переводом той главы латинского автора, где описывается, как римские легионы застали врасплох диких галлов.

— Варин! повторите, кто первый перешел в наступление? — однажды врасплох спросил меня учитель.

— Ноздрев! — ответил я, увлеченный тою сценой, где Ноздрев, со свойственною ему искренностью, стал наступать на Чичикова, в намерении потрепать его бакенбарды.

Проклятые галлы! Они, показавшие перед Юлием Цезарем пятки, забыли меня, и я, при всеобщем хохоте товарищей, был отведен в плен, в карцер, а *мертвые души*, подобранные на поле сражения, отнесены были к директору. После этого случая я всегда был на плохом счету у начальства, да и за дело, потому что я сделался отчаянно лживым.

Только университет был перерывом: это — самая счастливая пора моей жизни... Это во всяком случае было время, когда мое существо, молодое и сильное, не казалось расколотым пополам.

А дальше пропасть между моими половинами становится все шире и шире. Тотчас, как я получил «кандидата прав», пришлось отыскивать себе место, корм, положение; вот здесь-то я сейчас заглянул в глубину жизненной пропасти. Юношеские иллюзии как-то сразу разлетелись, и на их место появилось черт знает что. Я был просто поражен тою быстротой, с какою я вдруг из мечтательного юноши сделался поросенком.

Я, по обыкновению, в качестве помощника приписался к патрону, известному адвокату, блестящее красноречие которого одинаково гремело как в светлых, так и в темных процессах. Примазавшись к этой знаменитости, я прибил на двери своей квартиры дощечку: «Помощник присяжного поверенного Иван Николаевич Варин», и стал ожидать, когда появится за советом ко мне первый дурак; кроме того, я завел фрак и белые перчатки, а из одной своей комнаты ухитрился сделать великолепную приемную. Все это и многое другое я сделал серьезно и не без увлечения.

Не надеясь на собственные привлекательные средства, я просил патрона доставить мне первую защиту. А чтобы не умереть с голода, мне пришлось, скрывая от всех знакомых, брать переписку по четвертаку за лист. Мысли мои в это время были самые свинские, или, лучше сказать, человеческие. Я мечтал о громком процессе, в котором сразу покажу свету бесконечную гибкость языка, жар красноречия, блеск остроумия; мечтал о том, как я, к удивлению всех, огненным красноречием оправдаю невинность и получу за это пятнадцать тысяч; мечтал затем (по получении пятнадцати тысяч) о квартире в десять комнат, о невесте необычайной красоты и доброты и обо многом другом

в том же роде. Но, чтобы отдать себе справедливость, я должен сказать, что еще мечтал рядом с этим о бескорыстной службе; видя себя уже прославленным, уже блестящим, я еще мечтал, что буду защитником бедных, стану адвокатом нищих и голодных, буду защищать невинных жуликов, добрых воров, несправедливо угнетаемых головорезов. Много счастливых слез будет пролито при имени моем, а пока, переписывая кляузы по четвертаку, я сам плакал, представляя себя защитником страждущих.

В таких невинных занятиях прошло немного времени. Быстро действительность стала стучаться в мою дверь, и я должен был окунуться в протухлую жизнь с головой.

Сначала явилась нужда. Ни один дурак, конечно, не пришел ко мне, никто не знал меня и решительно никто не думал воспользоваться советами помощника присяжного поверенного Варина. Переписка же кляуз моего патрона держала меня впроголодь.

Большинство моих товарищей уже ловко устроились. Я один только ни к чему не мог примазаться. Зависть и злость стали мучить меня. Чтобы догнать сверстников, я также принялся рыскать в поисках за местами. Но, видно, ловкости и цепкости во мне недоставало, — нигде не отыскивалось места для меня. Это была беспрерывная цепь унижений и злости. Сколько прихожих я потоптал своими разорванными калошами, сколько спокойных лакеев я возмутил против себя, какой калейдоскоп сытых господ промелькнул передо мной... Нигде ничего! Увы! фрак я заложил, белые перчатки продал; даже доску с своим именем хотел превратить в табак, но, к несчастью, за «помощника присяжного поверенного Варина» никто не хотел дать даже пяти копеек. Унизительна эта свалка эгоизмов и самолюбий, унижений и поражений из-за места, но я был столь наивен, что только удивлялся, когда принял участие в этой свалке. В особенности изумлялся той массе низости и суетности, которую вдруг открыл в себе.

Вероятно, патрон мой сжалился надо мной и предложил мне поступить к нему в фактические помощники. Это на время успокоило меня. Но разбитые мысли уже не могли собраться; я окончательно раскололся.

Меня не могло успокоить даже и то обстоятельство, что все люди около меня были также расщеплены надвое; я не видел человека, который представлял бы полный замкнутый мир: кого я ни наблюдал, все казались мне двуязычными, лживыми и вероломными, у каждого мысли были одно, а дело — другое. Неужели этого обмана никто не видит?

Некоторые по привычке плавают в этой атмосфере двуязычия с легкостью пуха. По-видимому, их нисколько не мучило лганье перед собой. В этом отношении мой принципал был просто пре-

восходен: защищая сегодня утром с необыкновенным жаром банковского дельца, он вечером, в кругу близких, также с необыкновенным жаром молол о правде и справедливости, об идеалах, о вере и т. д. Вчера он вилял хвостом перед одним барином, имевшим силу, а сегодня, в интимной беседе, он уже либеральничает, смеется и третирует, как последнего каналью, ту силу, перед которой вчера он мотал хвостом с такою покорностью. И либеральничал и мотал хвостом он с одинаковым талантом. И в то же время это был человек добрый, несомненной честности, часто великодушный и сострадательный; если кто усомнится в этом, то пусть взглянет на себя в зеркало. Защищая по назначению какое-нибудь жалкое существо, он нередко плакал искренно над несчастием, а по окончании защиты вынимал пять рублей и клал в руку клиента.

Что ему по временам делалось тошно, в этом я убеждался из неоднократных его речей покаяния... Правда, каялся он только в пьяном виде; но всякий русский человек вполне сознает себя только тогда, когда совершенно пьян. Не составляя исключения, мой патрон также приходил в трагическое настроение, когда его под руки приводили домой из ресторана.

— Иван Николаич! — восклицал он с драматическим жестом, употребляемым на суде, но с искренним страданием на лице, — Иван Николаич, голубчик, не презирайте меня! Цели, побудительной цели в моей жизни нет!

— Не знаете, чему верить и как жить? — спросил я однажды в полночь, когда вся семья патрона уже спала, а он сидел передо мной в позе убитого человека, положив голову на руки и от времени до времени икая.

— Я знаю, чему верить, но живу не по своей вере.

— Почему же это?

— Потому что я делаю не то, что мой язык говорит! — возразил адвокат, хлопая рукой по столу с величайшим гневом. — Душа моя полна благородства, а дела мои трусливые и узкие! Сердце мое сострадательное и бьется за всех погибающих, а язык мой болтается дурно... У меня есть идеал, а я освобождаю бубновых тузов! Вот... положение!

— Скверное! — возразил я.

— Чему вы смеетесь? Вы еще ребенок, дитя!.. Вы еще не знаете, голубчик, что значит иметь мыслишки и не иметь мужества открыто признавать их! Нет, не виновен я, но жертва!..— Адвокат опять сделал трагический жест.

— Жертва... чего? — спросил я с интересом.

Пьяный человек тупо посмотрел на меня и с воодушевленным гневом проговорил:

— Жертва своего желудка, рта, рук, ног — жертва всей вообще шкуры! Невинный младенец, я завидую вам! Вам не

пришлось еще делать выбор между мыслишками и собственною кожей. Вы откровенны и чисты, и жизнь ваша пойдет прямою дорогой. Заклинаю вас, не сворачивайте с прямой дороги, идите напролом и забирайтесь глубже!..

Принципал делал красивые ораторские жесты, к каким он прибегал, защищая мазуриков, но бледное лицо его проникнуто было величайшим волнением.

— Почему же вы сами не делаете того, что мне советуете?

Адвокат опять тупо посмотрел на меня и глубоко вздохнул. Затем он выговорил, отчеканивая каждое слово:

— Оттого, что нельзя опрокинуть вместе с собой тот стул, на котором сидишь. Я — жертва положения! А у вас и положения-то никакого нет. Ваш выбор свободен: идеал или свинство! Свободно можете выбирать... А я — жертва!..

Впоследствии эти покаянные разговоры часто повторялись, но они всегда оканчивались тем, что мой принципал засыпал на полуслове, как вышло и на этот раз: обозвав себя жертвой, он вдруг трагически захрапел.

Мне становилось все хуже и хуже. Какая-то хворь овладела моею душой, всем моим организмом. Расколотый пополам, я едва владел собой в обществе: то злоба и холод нападали на меня, то я испытывал острое страдание от малейшего пустяка. Все знакомые и друзья мои как-то странно стали смотреть на меня — не то с сожалением, что я не мог до сих пор пристроиться, не то с боязнью, что я слишком откровенен.

— Ну, брат, ты уж слишком требователен. Все устраиваются, а ты один мечешься! Вероятно, честолюбие твое ненасытно. Ты сразу, должно быть, хочешь попасть наверх, говори?

Положим, говоривший был истинный поросенок, еще на школьной скамье потерявший божеский облик, но меня подобные обвинения до крови ранили, попадая прямо в цель. Я в самом деле желал слишком многого, мечтал слишком глупо, когда надеялся быстро прославиться и разбогатеть на поросячьем поприще. Как все люди, живущие больше умственно, чем материально, я и в поросячьих мелочах хватал через край и отвертывался с презрением от предлагаемых мест, казавшихся мне мизерными. В этом мой благоразумный товарищ, сразу присосавшийся к теплому, хотя и незаметному местечку, был прав. Не подозревая того, он прямо бил меня в сердце. Но, с другой стороны, меня бесконечно оскорбляло и то, как он смел заподозрить во мне поросячьи мечты? Ведь я еще недавно верил в «измы», и сердце мое было полно любовью к людям!

Но факт был налицо: вчера еще насквозь пропитанный многими «измами», я сегодня уже исключительно забочусь об устройстве своих делишек: ищу богатого места, обиваю пороги, раздражаю благородных лакеев, вывожу из себя знатных господ и

в то же время осмеливаюсь считать себя обладателем каких-то секретов, борцом, чуть не героем.

Но кто же я в самом деле — герой или поросенок? и чем я буду завтра? и кто победит: герой поросенка или поросенок героя? Где граница между моим и общественным? И когда я должен забыть себя и «положить душу за други своя»? Жить же двойником, делая одно, болтая другое, я не в силах, для этого я слишком неловок и откровенен. Если победит поросенок, то я так прямо и скажу: «Господа, я — поросенок!» Только и всего.

А лгать не стану. Я прямо посоветую убираться к черту со всеми бреднями, которые только глубже вбивают клин, разрывающий меня пополам. Я передал лишь сотую долю тех мук и сомнений, какие в ту пору угнетали меня. В действительности беда была бо́льших размеров: я уже готовился быть одним из тех выброшенных жизнью подкидышей, для которых нет места на людском торжище. Расщепленный на две половины, я становился бессильным и негодным, с изорванными нервами, с разодранным умом, без воли и порядка в поступках. То безграничное отчаяние, когда весь мир кажется сплошною ночью, почти не покидало меня, и я не мог сделать ни малейшего усилия, чтобы стряхнуть с себя эту болезнь. Были минуты, когда меня отделял один шаг от самоубийства или сумасшествия.

II

Лишний день, прожитый в таком состоянии, делал меня все более и более неспособным приладиться к обыденной жизни. Самые пустые делишки были уже выше моих сил. Совершилось как-то так, что где другие успевали, я оказывался глупым. Я неспособен был приискать себе какое бы то ни было занятие. Ротозей или глупец, я возбуждал искреннее сожаление во всех моих товарищах, живо приладившихся к краешку одного из столов, как будто эти столы были уже давно накрыты для них.

Наконец ближайшие из моих друзей стали советовать мне уехать куда-нибудь, развлечься и на досуге подумать об устройстве дел. Все они смотрели на меня как-то странно, не то с тайным ужасом, не то с жалостью, словно ожидали, что я выкину какую-нибудь неслыханную штуку.

— Ты что-то расстроен... Знаешь что? — однажды сказал лучший мой приятель, с которым мы долго жили вместе и привыкли считаться друзьями, обязанными взаимно помогать друг другу, — знаешь что? Поезжай в деревню к одному моему знакомому и там живи сколько хочешь. Малый он теплый, хороший охотник, рыболов, непосредственная натура, толст, как

откормленный бык, без нервов, без сомнений, а может быть, и без головы. А теплый человек, от которого пышет паром, как от кипящего самовара, просто клад для нашего брата. Поживешь лето и, быть может, увидишь, что твой маленький мирок страданий и надежд не наполняет еще всей вселенной... По крайней мере я, когда меня начинает больно жалить какая-нибудь идейка, сейчас же иду на толкучку и там отрезвляюсь. Прихожу на толкучку и вижу, положим, оборвыша, который, шлепая в жидкой грязи, продает, например, рыжие голенища. Наблюдая, как он божится и взволнованно возражает направо и налево против нападок покупателей, чтобы выторговать лишние две копейки, я сразу отрезвляюсь, и мои волнения, мои страдания кажутся уже мне забавными и преувеличенными, как преувеличен тот азарт, с каким человек на толкучке рассказывает о своих голенищах, сыпля ругательства, ложь, божбу и острые словечки... «Нет, ты воткни свои буркалы-то сюда, взгляни, чем пахнет, а тогда уж и чеши язык-то!.. Тут товар, прямо сказать, хамбурцкий, товару эвтому, если по совести говорить, цены нету, а ты возражаешь, как баба! Надо дело говорить!» Сейчас же отрезвлюсь я, и идейка моя перестает меня жалить... Подумай, живет на земле несколько тысяч народишек, и каждый народишко, самый тощий и ничтожный, гуляющий без панталон, имеет свои терзания, свои надежды, свою веру, свои дела; какое же я имею право считать свою веру, свои дела и интересы единственными в своем роде, такими, из-за которых надо непременно терзаться до безумия или разбивать себе пулей голову? Ведь и тот дикарь, который в охоте за ящерицей не успел поймать ее, имел бы право повеситься на первом стволе пальмы. Если твоя идейка для тебя смертельно важна, то ведь и для того голого человека ящерица была необходима для удовлетворения голода. Ты не можешь схватить за хвост идейку, а он не успел поймать ящерицу, — и неужели из-за этого следует, чтобы ты себя хватил револьвером, а он — бумерангом?.. Вот в Корсике пропарывают другу другу живот из-за того только, что прадед одного оскорбил прадеда другого... Мужик нередко бьет до смерти свою хозяйку из-за того, что она не приготовила ему онучи в то время, когда он вернется из кабака... Людишкам свойственно безумие, но развитому человеку гнусно участвовать в безумии, — он должен быть терпимым и широко понимать мир... Мы оттого несчастны, что непременно хотим всунуть весь мир в себя, забывая, что мы сами должны приспособиться к нему. Это так же резонно, как желать поместить весь земной шар в кармане... А тот теплый человек служит управляющим в имении...

— К чему ты это говоришь? — вскричал я, взбешенный несколькими прозрачными намеками, вкрапленными в длинную и, по-видимому, беззаботную болтовню.

— Да так... пришло в голову. Ты знаешь, я не особенно к тебе равнодушен и... Поезжай, куда я тебе говорю, я напишу письмо этому управляющему, и ты отлично проведешь весну и лето. Жизнь там, конечно, ничего не стоит, а на дорогу и на разные случайности мы живо достанем денег... Как ты думаешь?

Говоря это, приятель с плохо скрытым состраданием посмотрел на меня, а затем продолжал болтать. Взбешенный сначала намеками на мое душевное состояние, я вдруг почувствовал глубокий стыд при мысли, что я становлюсь предметом общественных забот, что меня разгадали и убеждают не делать глупостей, не пускать пули в лоб! Я готов был зарыдать.

И вот через несколько дней я уже ехал в неизвестное место, без определенной цели, с рассыпавшимися мыслями в голове. И благодаря этому-то в ту минуту, с которой я начал рассказ, я походил на тесто.

Живого во мне осталось только бесконечная раздражительность да способность констатировать бежавшие мимо меня впечатления. В вагоне было сыро и душно, все помещения были битком набиты; сидели купцы, разночинцы, женщины всех сословий, но в особенности много было податных душ, возвращавшихся к пасхе из столицы по своим углам. Впрочем, податные души помещались больше под лавками, откуда дымили махоркой. Беспрерывная толкотня, гам, махорка, папиросы, купеческая икота к концу дороги сделались для меня невыносимы; чтобы вздохнуть свежим воздухом, я то и дело выходил на площадку и подставлял раскрытую грудь свистевшему ветру. Голова у меня уже горела, пульс отчаянно бил тревогу, но душевная пустота во мне была до такой степени огромна, что я ни о чем не думал и ничего не боялся.

Смутно помню, как я доехал до той станции, где мне следовало слезть с поезда и нанять лошадей до имения. Помню только необычайное озлобление против всего и всех. Голова моя горела, а тело дрожало до мозга костей. Не понимаю, как я не бросил вещей в вагоне, когда выходил, потому что поднявшаяся толкотня (станция была большая) вызывала во мне бессильное бешенство. Ноги еле двигались; затертый в мечущуюся толпу, я едва не был сбит с ног. Оттертый в залу, я был притиснут к стене и посажен на скамейку. Мне казалось, что я между бесноватыми, которым ничего не стоит столкнуть меня с лавки на пол и растоптать. Сознание путалось во мне, но я злобно смотрел, как пассажиры бегали по зале, кричали, толкались и с вытаращенными глазами тащили свои огромные узлы. Я ненавидел всех. Если бы люди могли слиться в одно лицо, я плюнул бы в это лицо.

Потом звонки, свисток, топанье сотен ног — и все стихло. И я остался в пустой зале, с горящею головой и с окоченевшим телом. Дальше все устроилось как-то само собою. Артельщик,

который неизвестно о чем меня спросил и которому я неизвестно что ответил, привел мне мужика, взял мои вещи и попросил следовать за собой. За вокзалом на снегу стояли дровни с едва заметными признаками сиденья.

Лошаденка в их оглоблях стояла крохотная, но мужик был большой и веселый. Он что-то говорил мне.

— Ничего, доедем... небось! Садись, барин... Лошаденка у меня все равно что ветер, одним махом откатаем двадцать-то верст до нашего села... С характером она у меня... нрав ейный такой, что первую версту надо ее хлестать на обе стороны, и тогда она зачнет чесать, пока в ворота не влетит... Чисто как сумасшедшая... Ну, господи благослови, буду теперь хлестать.

И в моих ушах стало раздаваться: «вжик! вжик!»

Я уже смутно сознавал, где я, что со мной. Последняя фраза, которую я запомнил, принадлежала, вероятно, моему вознице: «Господи боже мой! да ведь он хворый, помирает!»

А дальше настал полный кошмар. Огненные круги стояли перед моими глазами; темнота вдруг окружила меня; воздух казался мне угаром. Потом на меня напал ужас. Я чувствовал, как мужик положил меня вниз саней, навалил мне на грудь чемодан, а на чемодан сам сел и душил меня, в то же время крича: «вжик! вжик!»

III

Долго я спал.

Открыв глаза, я стал не торопясь осматривать все, что меня окружало; при этом я нисколько не удивлялся своей обстановке.

Я лежал на лавке, в углу возле двери, прикрытый собственною шубой. Прямо против меня, у противоположной стены, стояла неизмеримая русская печь, а надо мной висели полати. По потолку над печкой ползали тараканы, в одиночку и кучами путешествуя по всем направлениям; один из них долго ползал по нижней стороне полатей, но, очутившись прямо против моей груди, остановился, пошевеливая усиками и раздумывая, что ему делать, потом повернулся, но, вероятно, не рассчитал своих шагов и свалился вниз, на мою грудь, откуда поспешно удрал к моим ногам. Я почему-то был очень доволен, что он легко разделался за свой неверный шаг... Мне было легко, хотя я лежал без движения.

Я продолжал осматриваться кругом. Недалеко от стола, стоявшего в переднем углу, я увидал молодую женщину. Она сидела на донце и пряла конопляную мочку. Веретено в ее руках с необычайною быстротой кружилось по полу, а мочка, вытягиваемая в нитку, заметно уменьшалась. Я залюбовался этою артистическою работой и с радостью наблюдал, как исчезала кудель, как

она под мокрыми пальцами женщины вытягивалась, закручивалась в нитку, с какою ловкостью женщина подхватывала вертевшееся веретено с пола и как быстро наматывала на него скрученную нитку. Но всего больше мне понравилось лицо молодой девушки. Она, по-видимому, вся погрузилась в работу, но на самом деле мысли ее где-то были далеко от этой прялки. Молодое лицо то улыбалось, то делалось задумчивым. Не слыша своего дыхания, не двигаясь ни одним членом, я любовался этим лицом.

Потом глаза мои с трудом повернулись в другую сторону, и я увидел еще такое же лицо, только совсем молодое. По-видимому, это была девушка, судя по ее косе с вплетенною лентой на конце. Она что-то шила, но медленно и как-то лениво. Какое-то неуловимое сходство было в чертах обеих женщин, но я не мог допустить, чтобы девушка была дочь молодой женщины; та же задумчивая улыбка блуждала на ее лице, но улыбка эта была молодая, неопределенная, а в больших серых глазах ее светилось много счастья и довольства. Меня охватила тихая радость; я медленно переводил глаза с одной женщины на другую и с величайшим вниманием следил за всеми их движениями.

В избе, кроме тараканов и двух этих женщин, находилось еще одно живое существо. Это был недельный теленок, рыженький, с розовыми копытцами; он стоял недалеко от моей постели и глупо посматривал по сторонам. Чистенькая мордочка его, черные большие глаза, наивные, как у ребенка, бархатные уши, движениями которых он так еще неумело управлял, — все это возбудило во мне почему-то живое удовольствие. У меня явилось сильное желание погладить его по спине, потрепать его уши, почувствовать на своей руке теплое дыхание его розовых ноздрей, и я уже хотел протянуть руку, чтобы выполнить свое намерение. Но дело оказалось выше моих сил; сделав страшное усилие, чтобы освободить руку из-под шубы, я почувствовал полное изнеможение, а рука, помимо моей воли, упала мне на грудь. Тут только передо мной промелькнула мысль, где я был, зачем я здесь и что случилось.

Вероятно, сделанное мною слабое движение обратило внимание девушки, потому что она посмотрела в мою сторону, и на ее лице отразились вдруг испуг, радость, волнение.

— Тёта! барин-то смотрит! — сказала она шепотом.

Это сразу нарушило мирную тишину, царствовавшую в избе. По крайней мере мне показалось, что все задвигалось вокруг: тараканы целыми эшелонами поползли по стенам запечья; теленок вздрогнул и в детском испуге озирался по сторонам, полный недоумения; луч солнца, чем-то до сих пор загороженный, прямо ударил мне в глаза; обе женщины поднялись с своих мест, и старшая из них подошла ко мне.

— Проснулся, родимый? Ну, слава богу, — сказала она. В эту минуту в избу вошли еще двое: тот самый мужик, что меня вез со станции, и мальчик лет пяти. Все они тотчас окружили мою постель и удивленно смотрели на меня.

— Вишь, проснулся!.. А ты с ветру-то не подходил бы близко, — сказала женщина мужу, и тот с величайшею поспешностью отошел подальше. Но оттуда, радостно взволнованный, с широкою улыбкою на широком лице, он заговорил, перебивая себя:

— Проснулся? Ну, и слава богу! А долгонько-таки поспал, в аккурат три недельки... Ну, да уж теперь дело пойдет на поправку... И напужал же ты меня... то есть страсть как ты меня перепужал, как мы с тобой со станции-то сели! Не отъехали еще за околицу, слышу вдруг я, что барин мой что-то лопочет. Ну, думаю, это он промежду собой на иностранном языке... да оглянулся и вижу — ба-атюш-ки! — глаза-то у тебя красные, как угли горят, и бормочешь ты невесть что... Так меня в башку ударило: ну, говорю, захворал барин, абы не помер! Стал я стегать на оба бока лошаденку, а сам наблюдаю за тобой, дую ее и снизу и сверху, а сам все наблюдаю. Ужас на меня напал!.. Да еще такую штуку-то ты отколол со мной... В одном месте я остановился поправить шлею, а ты вдруг хвать из саней, да тягу, да в степь, да в снег, по это место влетел! Я за тобой; сохватал тебя на руки, приволок к саням, посадил, сам сел рядом и одною рукой тебя держу, чтобы не удрал, а другою меринишку нахлестываю, чтобы поскорее до села добраться... Скачу так-то, а у самого, чую, волосы под шапкой шевелятся от великого страху. Потому ты кричишь и бьешься на руках у меня, лошаденка скачет, снег ошметьями бьет меня по роже, а мысли мои ходуном ходят. Помрет, думаю, барин, и завинят меня невесть в чем. Ну, однако, прискакал ко двору, кричу баб, а сам ничего не понимаю. Да уж, дал бог, бабы тут надоумили меня, — в этом разе бабы завсегда выручают!.. «Что же ты, говорят, как бревно, стоишь? Ведь в избу надо внести барина-то, спокой ему дать, в тепло его, — что же, мы нехристи, что ли?» То есть чисто надоумили, а то я бы сам, как дурак, стоял, хлопал глазами, а чтобы понять, что надо делать, — не могу. Внесли мы тебя в избу, раздели, положили, — ну, уж тут женское дело пошло, отхаживать стали тебя, поить, беречь, да три недельки отхаживали!.. Я было побежал к старосте, да он ничего мне путного не сделал. «Ты, говорит, привез хворого барина, ты и вожжайся». Ну, плюнул я, — известно, что с эдаким одром говорить? Поехал я к уряднику, тот успокоил. «Пущай, говорит, лежит у тебя, я, говорит, и пашпорта не спрошу, а коли помрет, — ну, тогда пашпорт...»

— Будет болтать-то! — вдруг ласково прервала молодая женщина, стоя возле моего изголовья.

— Да я ничего, рад только! — возразил мужик, и действительно, все лицо его было воодушевлено радостью; он то садился, то вставал, все время сильно волнуясь.

— Урядник — дай ему бог здоровья! — и насчет фершала меня натакал. Я к фершалу. А фершал у нас, прямо сказать, на все руки. Всех лечит, кто ни попадет. Баба после родов занеможет — к нему. Господин какой расстроился — к нему, к фершалу нашему. Намедни собака, легаш, у писаря черноозерского хвост опустила — к фершалу. Мерин у соседа вон на передние ноги ослаб — к нему же. То есть всякую животную он берется лечить... кошку только не пробовал!

— Будет уж, будет! — возразила молодая женщина. — Спокой ему нужен, а ты болтаешь зря!

— Да я ничего... я говорю только: слава тебе, господи, что дело на поправку пошло!

Женщина стала поправлять мою постель, и в то время как глаза ее ласково смотрели на меня, руки ее ловко и быстро сделали все, что мне было нужно. Она поправила мне подушку, закрыла мою грудь и нежно отвела мои волосы со лба. А девушка стояла поодаль и с радостным испугом следила за мной, как бы готовая сделать все, что я ни попрошу.

— Испить не хочешь ли ты? Тепленькое молочко у меня есть... Выпей!.. Выпей!..

Я мог только глазами изъявить согласие, потому что вместо слов у меня вышел невнятный шепот. Я посмотрел себе на руки: они почти высохли за эти три недели, и я чувствовал, как кожа обтянулась на моих щеках, а глаза мои ушли глубоко внутрь. Я не мог от слабости разжать губ и не в силах был кивнуть головой. Но обе женщины угадали мой взгляд: девушка устремилась к печке, вынула оттуда молоко, налила в чашку и передала ее тетке, а эта последняя одною рукой приподняла мою голову, а другою поднесла осторожно к моим губам чашку.

— Господи благослови!.. Пей, сердешный! — говорила она, когда я с трудом разжал губы и сделал несколько глотков. Больше я не мог.

В эту минуту опять заговорил мужик:

— Ничего, пущай пьет... Пей, барин... Ведь вот эти бабы какие! Я бы вот совсем тут лишился головы, а уж они знают свое дело, — и молочка, и водицы, и подушку надо поправить, и волосья... А я бы тут только хлопал глазами, как дурак, — помощи в этом разе у меня нет... Ничего, пущай поправляется... Уж теперь мы скоро бегать будем!..

Он говорил весь взволнованный, его широкое лицо светилось улыбкой, и он, по-видимому, не мог удержаться от выражения своего восторга по случаю моего выздоровления. Да и на всех трех добрых лицах семьи сияла радость, желание помочь мне

и простая доброта. Эта радость перелилась и в меня. Что-то вдруг забилось в груди у меня, слезы выступили на моих глазах; мне хотелось выразить благодарность, но я только в состоянии был невнятно прошептать слова любви...

Это волнение утомило меня; веки мои сами опустились, но, закрыв глаза, я все-таки видел всю обстановку: тараканов, теленка с розовой мордочкой и с черными глазами, девушку, ее тетку и широкое лицо мужика, которое постепенно расплылось в необъятную улыбку и окрасило все мои видения розовым светом. Невыразимое счастье и глубокий покой овладели всем моим организмом, и я заснул в каком-то упоении.

IV

Когда я снова открыл глаза после двенадцати часов глубокого сна, в избе было пусто и царила мертвая тишина; не было ни людей, ни теленка, только тараканы за печкой продолжали свои путешествия. Я слышал собственное тихое дыхание и мог сосчитать медленные удары своего сердца. На меня вдруг напала тоска, как будто я что-то потерял. «Где они все?» — думал я и искал глазами людей, к которым так непонятно привязался. С тоской ожидая их, я тут только смутно вспомнил отрывки того бреда, в котором я метался несколько недель. Посреди ужасов отвратительных видений мне припомнились, как в тумане, два женских лица, ласковых, добрых, сострадательных; они отгоняли мои огненные образы и веяли на меня прохладой... Вот когда я привязался к ним.

Но мое волнение продолжалось недолго: дверь вдруг отворилась, и в избу вошла сначала молодая женщина, потом девушка с мальчиком, а вслед за ними вскоре и сам хозяин. Разбрелись они все по делам, а меня не боялись оставить одного, потому что я спал здоровым сном. Я обрадовался как ребенок, когда всех их снова увидал. Женщина принялась сейчас же хлопотать около меня, мальчуган залез на печку и оттуда, не сводя глаз, наблюдал за мной, а сам хозяин по-прежнему болтал, будучи не в состоянии удержаться от выражения своих чувств, которые все целиком ярко рисовались на его открытом лице.

— Ловко! Мы тут все кое-куда разбрелись, а наш гость вон уж молодцом смотрит. Молочка? — Ну, ничего, пущай пьет... Пей, Иван Миколаич! (Откуда-то он уж и имя мое узнал.) Фершал нынче обещал побывать и говорит: «Вы, черти, не вздумайте его кормить толокном!.. Теперь, говорит, ему следует курицу, мясо, суп, чтобы живот ему не пучило!» Что ж, это можно... Больному человеку и в пост, в случае чего, полагается — бог

простит!.. Завтра же всё раздобудем... Ловко! Полчашки уж выпил... молодец!..

Это он меня так воодушевлял, когда я пил молоко, поданное мне хозяйкой. Невозможно было удержаться от улыбки. В этот день я сделал несколько шагов вперед по пути выздоровления, в первый раз заговорил, хотя шепотом, и нашел в себе силу двигать руками и ногами. Впрочем, несколько часов участия моего в разговоре семьи утомили меня, и я снова закрыл глаза, полный покоя и счастья.

С этого дня я быстро стал поправляться и как бы вновь вырастал телом и душой. Через несколько дней я уже сам поворачивался на постели, а еще через несколько дней мог сидеть. Участие всей семьи ко мне проявлялось ежеминутно в сотне мелочей; мы как будто несколько лет жили вместе и привыкли во всем друг к другу. Между нами происходили постоянные разговоры, не возбуждавшие никаких недоразумений. Отношения становились дружеские, родные. Впрочем, к различным членам семьи у меня были различные отношения.

Дольше всех не признавал меня равным себе мальчуган Васька, упорно выглядывая дикарем. Забегая после игр на дворе в избу, он или влезал на печку и оттуда пытливо наблюдал за всеми моими движениями, или уходил в дальний угол и там, засунув пальцы в рот, молчал на все мои шутки.

— Пес его знает, в кого и уродился эдакий волчонок! — говорила с улыбкой мать его. — Васька! ты это чего глазищи-то косишь от Ивана Миколаича? У, дурак!

Васька на все эти упреки пуще косил глазами и глубже засовывал пальцы в рот. И долго впоследствии он дичился меня.

Девушка Даша, племянница моих друзей-хозяев, то и дело старалась услужить мне, болтала со мной, по-видимому, свободно, но в ее лице постоянно мелькала застенчивость, которая перешла и на меня; я даже больше, пожалуй, стеснялся, когда глядел на это молодое лицо. Мы свободно смотрели друг на друга только в присутствии самой Василисы.

Эта молодая хозяйка с первого же взгляда казалась одною из тех умных женщин, с которыми так легко говорить и к которым чувствуешь невольное уважение. Ловкая в движениях, тихо, но с необычайной быстротой работающая, Василиса все делала с величайшим тактом. На лице ее блуждала чуть заметная улыбка, глаза светились лаской, и в то же время каждое движение ее было твердое, как результат заранее обдуманного плана, а каждое ее слово, по-видимому незначительное, вытекало логически из целого ряда разумных мыслей. Никого в семье не насилуя, она пользовалась неоспоримым влиянием. Я никогда не слышал с ее стороны приказаний ни племяннице, ни мужу, но оба они делали с удовольствием все, о чем она говорила. Она



никогда не советовала, но просто говорила, и, однако, слова ее принимались за последнее решение; никого не принуждая что-нибудь сделать, она сама работала, но все старались взять на себя начатую ею работу. Даша питала к ней безграничное доверие, а муж постоянно обнаруживал неравнодушие к ней.

Проводили мы время тихо. Иногда я что-нибудь рассказывал, но чаще молчал, наблюдал за работами по дому обеих женщин, что мне доставляло непонятное удовольствие.

Но картина менялась, когда в избу входил сам Петр Митрофаныч. Когда он, с шумом отворив дверь, входил в избу, с ним врывался свежий воздух, шум, движение, громкий разговор, запах сена, солнечный свет, смех и оживление. Шапка его была сдвинута на затылок; ворот расстегнут. Лицо открытое, само по себе возбуждающее веселье. Экспансивная натура его способна была оживить, кажется, мертвого. Каждое слово его, само по себе вовсе не смешное, вызывало в окружающих смех и счастливое настроение. Едва он открывал свой широкий рот, как уже все улыбались. Размахивая большими лапами, он говорил беспорядочно, но сам увлекался и хохотал так, что смех его вырывался наружу и раскатывался по всей улице. Курчавые волосы покрывали его голову в живописном беспорядке, а пальцы его рук всегда торчали в разные стороны всею пятерней. Все у него было широко: спина, ноги, нос, пятерни, разговор, мысли, волнения, и все это ползло врозь, ширилось. Когда он что-нибудь объявлял, то ноги расставлял врозь, растопыривал пальцы и говорил, делая неожиданные сопоставления.

Кажется, скрыть в себе он ничего не мог; всякое чувство сейчас же вырывалось из него наружу, как пар и пузыри из клокотавшего в печке чугуна. Это чувство сейчас же разливалось у него по лицу, по рукам, растопыривало его пятерни и заставляло размахивать ими по воздуху. Что-нибудь описывая, он преувеличивал каждую вещь, придавая ей страшные размеры.

В десятый раз рассказывая, как он вез меня со станции и как от ужаса шевелились у него под шапкой волосы, он и меня приводил в ужас. Он никогда не врал, только всему придавал необъятные размеры.

Неумеренный в своих чувствах, он и темные стороны описывал с огромными преувеличениями. Я не видал его еще разгневанным и мрачным, но когда в первый раз увидал его таким, то вообразил, что постель подо мной падает, а наша изба лопнула и разваливается.

Это было во вторник на страстной неделе: Даша, Василиса и я — все мы втроем — мирно беседовали, делая длинные промежутки молчания. Васька лежал на полатях и, свесив белесую голову свою вниз, от времени до времени искоса поглядывал на меня. Вдруг дверь широко распахнулась, и вместе с кучей холодного воздуха вошел Митрофаныч. Шапка его, как всегда, была сдвинута на затылок; в бороде висела щепка; ворот рубахи и полушубка был расстегнут. Но лицо его было темно, а над разгневанными глазами густые брови его мрачно были сдвинуты, как у кота, прицелившегося прыгнуть на мышь.

Не говоря ни слова, он взял с головы шапку и — бац об пол! Развязал кушак с полушубка и — бац его за печку! А сдернув с плеча полушубок, он швырнул его на лавку так, что тот плашмя растянулся по полу и разбросил рукава. Опять не говоря ни слова, Митрофаныч сел на лавку и поглядел на всех таким темным взором, что я ожидал уже какого-нибудь несчастия. «Что за диковина!» — думал я.

Вдруг он проговорил мрачно:

— Сволочь!

Никто ему не возразил.

— Толстомордый дьявол! — еще брякнул он.

Я недоумевал. Василиса также молчала, только лицо ее сделалось задумчивее и строже.

— Хуже пса такой человек... Вот тебе и светлое Христово воскресение... без говядины! — закричал он бурно, весь красный.

Василиса слегка сдвинула брови и задумчиво продолжала работать. Наконец, бросив пытливый взгляд на мужа, она тихо спросила:

— В лавочке, что ли, был?

— А то где же больше! Конечно, у толстомордого Микитки. Пришел, прошу к празднику говядины, а он, как пес бесчувственный, зачал лаять... Не дает. «Ты, говорит, забрал уже на два целковых, — не дам!» Ах ты, шкура поганая! Целый год берем у него, а тут вдруг перед праздником лишает! Где же теперь возьмешь, — у черта под хвостом?

— Можно и в другом месте взять... — как бы про себя возразила Василиса.

Митрофаныч мрачно посмотрел на нее, но, видимо, слова жены подействовали на него охлаждающим образом, — несколько складок на его лице разгладились, а брови приподнялись.

— Не дает Микитка, и пес с ним, — свет не клином сошелся. Бог даст, не останемся без говядины...

Говоря это, Василиса задумчиво посмотрела вокруг себя и что-то соображала. Митрофаныч глядел на нее, и его широкое лицо мало-помалу расплывалось. Здесь я вмешался, сказав, что я еще не заплатил за дорогу, и предложил Митрофанычу свои услуги. Моментально гнев его пропал, и на поверхности его лица появился сильный конфуз.

— Да разве я, Иван Миколаич, из-за денег?.. Да я что... как же можно, чтобы я даже подумал попрошайничать у тебя? Господи боже мой! ведь я только про толстомордого Микитку разговаривал, потому как он говядины мне не отпущает! Чай, ты гость наш!..

Только с помощью Василисы удалось убедить его, что деньги мои, заработанные им, получить можно сейчас же и что в этом никакого срама нет. Вообще Митрофаныч был чуткий ко всему. Так, чтобы его не заподозрили в какой-нибудь корыстной мысли, он во время моей горячки спрятал мой кошелек за божницу, за икону святителя Макария, и теперь, достав оттуда его, подал мне, причем побожился, что «лопни его утроба, он пальцем, то есть, не шевелил чужие деньги».

Вскоре с его крайними способами выражения чувств я ближе познакомился и привык не удивляться, когда он вдруг неожиданно переходил от хохота к мрачному взгляду. Как все люди, наделенные чрезмерным воображением, он часто из пустяка создавал слона, но кто привык к этой необузданности, тот уж ее не замечал. К тому же чрезмерная радость и необузданный гнев его выражались сравнительно невинным способом; чаще всего за мрачное состояние его отвечала шапка, которую он без милосердия бацал об пол.

— Вот и говядина у нас будет... Незачем было шуметь, только шапку рвешь... — сказала Василиса с тихим упреком, когда вопрос о говядине мы разрешили.

В это время, на страстной неделе, я уже стал понемногу ходить. Мирное нравственное настроение, душевный покой, простая, но здоровая пища быстро восстановляли угасшие мои силы. На последних днях я принимал уже живое участие в приготовлениях к празднику; вспомнив несколько кухонных секретов, я передал их Василисе и Даше; кроме того, сам своими руками сделал из досок посуду для сырной пасхи и сильно волновался, когда мы втроем составляли смесь из творогу, сахару и пр. Праздник мы встретили и провели скромно и с сияющими лицами, причем сам Митрофаныч целый день находился в востор-

женном настроении и выражал его, по обыкновению, необузданно, так что даже дикий Васька усомнился в трезвом состоянии отца.

На третий день я в первый раз вышел на улицу, тепло одетый и под руку с Митрофанычем. Голубое небо, яркое солнышко, весенние ручейки, скрещивающиеся по всем направлениям, привели меня в такое настроение, что я с трудом удерживался от слез. Митрофаныч привел меня на высокий берег реки, уже совершенно высохший и сплошь облепленный народом. Я не подозревал, что меня уже все село знает, интересуется мною и выражает мне по всякому поводу сочувствие. Усаженный на удобном месте, я очутился среди нескольких десятков мужиков и был подавлен сострадательными взглядами, одобрительными словами, сочувственными советами. Мне нужно было много времени, чтоб оправиться от волнения, вызванного наивными пожеланиями, и только успокоившись, я принял участие в праздничном настроении мужиков. А настроение это было поистине праздничное.

Весенний воздух ласкал мне лицо, солнце грело мое тело, обширный ландшафт успокоивал мои взоры. Прямо под ногами нашими бурлила река, мутные воды которой несли льдины; по всему протяжению крутого берега шумели водопады, низвергаясь пенистыми потоками вниз; тут же вокруг гармонически журчали ручейки, с тихим шепотом сливаясь с рекой. Вдали виднелась мельница с соломенною крышей, а кругом луга, покрытые тальником, который издали белелся пушистыми цветами.

Быть может, личное мое настроение все окрашивало в радужные цвета, но я видел, что настроение всех облепивших берег было необыкновенное. И здесь, на месте, я в первый раз понял тайну воскресения мужика. Раньше эта тайна была недоступна мне. Когда я в газетах читал о голоде, положим, малмыжских мужиков и подробности описания их последних предсмертных судорог, я с ужасом констатировал факт: «Ну, теперь малмыжские мужики померли, погубленные бесчеловечием людей и гневом природы»; но когда через несколько месяцев из тех же известий узнавал, что малмыжские мужики успешно обделывают свои поля, я с недоумением думал: «Но ведь малмыжские мужики погибли, — как же они, мертвые, могут обделывать поля?» И я ничего не понимал.

Теперь я на месте почувствовал эту тайну воскресения из мертвых. Малмыжские мужики действительно ежегодно помирали, но ежегодно весной, вместе с возрождением земли, они воскресали, как умершие и похолодевшие корни растений. Их оживляло это голубое бездонное небо и этот теплый воздух; а когда яркое солнце вскрывало реки и растопляло землю, когда взволнованные им воды с грохотом уносили всю грязь и смрад, накопившиеся в продолжение целого года, в сердце малмыжских

мужиков разбивалось отчаяние, и они мужественно принимались снова за прерванную жизнь.

Я каждый день стал выходить, с помощью Митрофаныча, на берег и по нескольку часов проводил среди шумной воскресшей толпы. Парни и девки играли в горелки; мальчишки боролись, бегали, играли в бабки; мужики и бабы обменивались шутками и веселыми рассказами; подвыпившие орали песни, дрались или целовались. Это была жизнь.

V

За праздник, сидя на берегу бушевавшей речки, среди кучи веселого, воскресшего народа, я незаметно для себя перезнакомился со всею деревней. Дойти от нашего дома до берега мне всегда помогал Митрофаныч; но обратный путь я часто совершал при поддержке какого-нибудь другого мужика, и это сблизило меня со старыми и малыми. Сам не желая того, я скоро узнал всю подноготную каждого. Откровенность между нами установилась как-то само собой. Один рассказывал про свою домашнюю жизнь, другой — про свои мытарства на заработках, третий в подробностях объяснял тот случай, когда потерял последнюю корову. Опять-таки сам не желая советовать и учить, я должен был принять участие в решении множества крошечных вопросов.

А через несколько дней я был уже завален мелкими делишками. Одному мужику, плотно поевшему баранины и расстроившему брюхо, я как-то посоветовал выпить касторки. Тот выпил и выздоровел; этого было достаточно, чтобы ко мне, к моему удивлению, полезли все хворые. Пришел даже мужик, у которого от дурной болезни все лицо превратилось в лепешку.

— Пожалуйста, уж полечи меня, господин... мочи моей нет!— говорил он, с верой смотря на меня.

Едва преодолев свое отвращение, я посоветовал ему обратиться в городскую больницу, уверяя, что я — не лекарь.

— А говорили, будто бы больно хорошо пользуешь. Вон Семену-то помог же? Ну, и мне подсоби.

Что мне было делать? Я продолжал убеждать отправиться в город и лечь в больницу.

— Да и там доктор только немного поможет тебе... Новый нос, во всяком случае, не приставит, — возразил я.

— Да нос-то мне наплевать! Черта ли мне в носу-то! Хоть бы остановить-то, ходу-то хоть бы не дать — вот об чем я говорю. Дай, ради бога, чего ни на есть!

Насилу я отвязался от этого мужика, уверенного, что моим лекарством (касторкой) можно вылечить его болезнь.

Одной старухе я написал письмо к сыну ее, солдату, — и

этого опять было достаточно, чтобы ко мне полезли с письмами. В другой раз я написал просьбу одному мужику, и с этого дня я должен был написать разных прошений десятка два. В начале Фоминой недели пришел ко мне какой-то косоглазый мужичонко и с таинственным видом стал упрашивать меня написать ему просьбу на другого мужика, с которым он судился. Долго я не мог понять сущности дела; наконец после долгих расспросов мне удалось узнать, что косоглазый хочет повредить своему соседу.

— Ты уж такую мне сочини грамоту, чтобы Микитку сразу пригвоздить... Садануть его в таком роде, чтоб он присел и ополоумел, — вот ты какое мне составь ходатайство!

Я был один в нашей избе: ни Митрофаныча, ни женщин, с которыми бы я мог посоветоваться, не было в эту минуту, и я недоумевал, как мне быть? Наотрез отказать в просьбе косоглазому мужику неловко было, потому что сущности дела я все-таки не понимал, согласиться написать ему просьбу также не мог. Не понравился он мне с первого взгляда. В косых его глазах бегало плутовство; низкий, заросший шерстью лоб его, раздувавшиеся ноздри, постоянные гримасы его — все это было скверно в нем. Говорил он тихо и беспрестанно оглядывался, словно боялся, что его застанут на месте преступления. Но нашего брата можно всегда подкупить лохмотьями, а этого добра на нем было достаточно, — все одеяние: и глянцевитый, с бахромой на подоле, полушубок, и рваная шапчонка, и еле державшиеся опорки — все это представляло одни лоскутки; вдобавок от него пахло каким-то мускусом, как от козла. Мог ли я отнестись к нему круто? Кроме того, я всегда избегал определять людей по наружному виду. Благодаря всему этому я сказался нездоровым (я был в самом деле утомлен) и велел мужику прийти завтра.

Он ничего, не настаивал, но, понизив свой голос еще на один тон, вдруг попросил дать ему до завтра двугривенный; по его словам, этот капитал страсть как был ему нужен, и притом только до завтра. Ну что же, я дал. Он ушел, только мускус долго еще после его ухода стоял в избе.

Когда вернулись все мои домашние, я рассказал про этот случай. Даша рассмеялась, Василиса нахмурилась, а Митрофаныч вдруг разозлился. На широком лице его показалась черная туча, и он с гневом сел на лавку против меня.

— Приходил Васька? — спросил он с яростью.

— Я не спросил, кто он.

— Да, он самый, Васька Сайкин. Косой?.. Ну, он! Ах ты боже мой!.. И он просил тебя просьбу ему сочинить?.. Ах он, поганец эдакой!

— Да, просил сочинить, — сказал я.

— А ты ему по уху не дал? — спросил Митрофаныч с любо-

пытством и надеждой, что я уже это сделал. — И в загорбок не наклал? Хорошего, например, тумака в затылок?

— Да не за что было...

— Ну, так! Так я и знал! — закричал Митрофаныч, весь красный.

— Что же тут такого? — спросил я с недоумением.

Митрофаныч только с отчаянием посмотрел на меня.

— Боже ты мой! Да ведь это поганец-то какой! Пронюхал, что ты добер, а нас никого нет, и прилез! Ну да ладно, завтра я ему накладу. Завсегда его надо дуть, иначе это такой поганец!.. Пожалуйста, не привечай его! Самый гиблый мужичонко, кляузник, обманщик, наглый врун!

Митрофаныч на мои вопросы рассказал несколько случаев из жизни Васьки Сайкина, и я должен был отчасти согласиться, что прогнать его стоило, хотя дать ему по уху, при первом же знакомстве, трудно было решиться. Впоследствии этот мужичонко напомнил о себе.

На этот раз я только посмеялся над собой, успокоил необузданный гнев Митрофаныча и дал себе слово осторожно вмешиваться во взаимные отношения мужиков. С этого дня мне пришлось кое в чем отказывать приходящим, — я боялся сделать промах. Кроме того, писание писем, прошений и кляуз мне совсем было не по душе.

Впрочем, эти делишки занимали незначительное место в деревенской жизни; вскоре я увидал, что окружающие меня во всем нуждались, и будь мои знания в тысячу раз больше, они быстро были бы впитаны деревней, которая, как губка, жадно вбирает в себя все, что притекает к ней извне. И мужики и бабы невинно эксплуатировали меня всем, чем только могли. Думаю, что то же самое проделывают они и со всяким свежим человеком. Той заскорузлой косности и тупоумия, которые приписываются мужику, я вовсе не заметил; напротив, всякое слово, слух, обрывок разговора, кусочек новости — все это жадно подхватывалось деревенским умом и при помощи воображения претворялось в глубокое убеждение, отчего нередко какая-нибудь вещь, возникшая где-нибудь далеко, превращалась в деревне в вычурную сказку; с тем вместе, голодный деревенский ум способен поглотить бесконечную груду знаний.

VI

Снег повсюду сошел, поля обнажились, и серый тон их покрова кое-где уже переходил в чуть заметный зеленый цвет. Обогреваемая горячим солнцем, земля, казалось, тяжело дышала, пар густыми клубами поднимался из нее, а по утрам на заре до-

лины залиты были туманом. Быстро подходило время весенней пашни.

Картина деревни изменилась. Нигде больше нельзя было заметить кучек праздного народа; берег речки опустел; цветные платья заменились посконными; на улице не было ни души. Но зато на дворах шло деятельное приготовление к выезду в поле. Это еще не была страда, но уже мысли были полны тревог. Все хозяева беспокойно копошились во дворах, починивая бороны, поправляя косы, повсюду раздавался стук топоров и визг пил. У многих оказались недочеты. У того лемех заржавел; другой ручек от сохи не находил; третьему надо было подкармливать лошадь, которая за зиму превратилась в пустую шкуру. У иного вовсе не было ни лошади, ни сохи, но он все-таки беспокойно копошился во дворе, ломая голову над тем, с кем из соседей ему соединиться, чтобы кое-как наковырять ярового поля. Все были заняты.

Я один не знал, за что приняться. В первый раз мне здесь стало скучно. Силы мои заметно восстановились; я чувствовал, как я рос и креп, но теперь вдруг мне скучно и неловко сделалось среди занятых и обеспокоенных людей. Это, впрочем, продолжалось только один день.

На следующий день я не вышел из дому; помогая Митрофанычу, я отыскал много работы, которая сейчас же заинтересовала и заняла мое время. Мы осмотрели вместе всю сбрую, соху, борону, колеса и повсюду открыли недостатки. Но главный недостаток был в лошади, заморенной во время зимы извозом; Митрофаныч, правда, уверял, что его лошадь особенная, с исключительным характером, но факт нельзя было скрыть: ребра ее выставились наружу, мослы крупа обострились, и она держала голову книзу; очевидно было, что хотя мерин был и особенный, но к весенней работе не годился. И я видел, с какою тайною заботой Митрофаныч занялся откармливанием его.

Оставив его за этим делом, я придумал сделать новую борону. Еще мальчуганом я баловался пилой и топором. Кроме того, я уверен, что для интеллигентного человека не существует недоступного труда, — он всему может скоро научиться. Теперь, осмотрев старую борону, я увидел, что сделать новую — задача нехитрая. Топор и пила у нас были, бурав и рубанок где-нибудь можно было достать; я попросил только Митрофаныча дать мне лесу. Он недоверчиво отнесся к моим плотничьим способностям, но по доброте указал мне несколько лесин. Я сейчас же принялся за работу. К моему удовольствию, Митрофаныч целый этот день бегал где-то, и я мог на свободе предаваться тяпанью. Обтесав лесины, я обстругал их, пригнал и сбил; потом выколотил из старой, гнилой бороны зубья и принялся вертеть дыры. К вечеру я устал страшно, но борона была все-таки готова.

Когда Митрофаныч увидал плод моих торопливых стараний, то пришел сначала в изумление, а затем, со свойственною ему необузданностью, принялся в восторге хохотать. Перевертывая на все стороны мое изделие, он хохотал так, что перепугал кур, быть может соседей и наших женщин, которые собрались также около бороны. Мне с трудом удалось уверить моих друзей, что не всякий барин — синоним неумелого бездельника; впрочем, разница между интеллигентным человеком и барином таки осталась для них на этот раз темной, и только впоследствии я нашел случай провести наглядную границу. А теперь, удовлетворенный хохотом и одобрительными взглядами, я пока согласился быть исключительным барином.

В следующие дни я уже сам, в качестве знатока, исполнил несколько необходимых работ: поправил телегу, пригнал старую рукоятку к новой сохе, поправил забор, свернувшийся набок, и мог бы найти бесконечное множество возни по дому. Мои поделки выходили недурно, но от одного недостатка я никак не мог отвязаться: мой труд был торопливый, нервный, беспорядочный. Очевидно, я целиком переносил все свойства умственной деятельности на физический труд. Между тем разница между обоими родами труда громадная: в то время как быстрая смена сильных возбуждений и полного покоя составляет необходимое условие успешного умственного труда, физический труд требует равномерности и правильности; для умственного труда и самое сильное возбуждение есть в то же время самое богатое по результатам, а физический труд от лишнего возбуждения только страдает. Перенося целиком один род работы на другой, я часто буквально одними нервами работал, отчего страшно уставал и должен был делать длинные промежутки между двумя делами.

— Брось ты, голубчик, этот забор-то — успеешь еще! Отдохни лучше, — то и дело советовала мне Василиса, видя, как я изнемогаю.

Вскоре я должен был отложить придуманные мною постройки и починки, отвлеченный другими, более спешными занятиями.

Дело шло все о той же лошади. Я видел, что Митрофаныч тайно был сильно смущен некрасивым видом характерного мерина, который никак не поправлялся, несмотря на все хлопоты хозяина. Митрофаныч набивал ему брюхо чем попало: рубленая солома, облитая болтушкой, сено, отруби — все это Митрофаныч тащил под сарай и поспешно набивал мерина всякою всячиной. На последние деньги он купил полтора пуда овса, всыпал в мерина и наблюдал, что из этого выйдет. Когда овес вышел, Митрофаныч сбегал к дьячку, достал с десяток караваев, оставшихся у него от пасхального сбора, и также положил в мерина. Но видимых результатов не оказалось. Мерин все жрал, однако не поправлялся. Несколько раз Митрофаныч тайком

от Василисы припрятывал куски и другие объедки от обеда; один раз он впопыхах утаил остатки рыбного пирога; характерный мерин все это съел, не исключая и рыбного пирога, но не поправлялся. Только брюхо у него непомерно раздулось и уже не помещалось в оглобли, мослы же его продолжали торчать по-прежнему.

Митрофаныч, видимо, впал в заблуждение, надеясь из чучела сделать живое существо. Наконец завеса на его глазах открылась, и он впал моментально в мрачное отчаяние. Вернувшись однажды с мельницы, он выпряг, или, лучше сказать, вырвал лошадь из оглоблей и стал сдирать с нее хомут. Потом, взяв хомут на руки, он поглядел на него и вдруг — бац его об землю! Стащив затем недоуздок, он размахнулся им и — бац его в стену амбара! Я думал, что вот он сейчас и с шапкой так же поступит; однако его гнев нашел другой выход — это была подвернувшаяся под ноги дуга, которую он швырнул куда-то на задний двор. Лицо его было темнее тучи, несущей гром и молнию. Было очевидно, что в глазах его все вдруг приняло мрачный оттенок — и небо, и земля, и люди, и в особенности талантливый мерин. Заметив меня на дворе, он вдруг вскрикнул:

— Окончательно моя прорва ни к чему!

— Неужели не будет работать? — спросил я.

— Какого черта дожидать от этого брюхана!.. Сам посуди, с мельницы чуть дотащился!.. Ни в жисть ему не стащить соху...

— Как же быть?

— А я почем знаю! Окончательно руки у меня отвалились, не на чем мне выезжать в поле... Чистая прорва! Брюхан! Свинья эдакая! Вот смотри на эдакую живодерню!

Я едва успел следить за отборными ругательствами, посылаемыми в сторону несчастного инвалида, который понуро все это время стоял под сараем и жевал сено, тощий и печальный.

На крик вышла из дому Даша (Василиса полоскала белье на речке), и мы втроем стали обсуждать критическое положение. Через два-три дня Митрофанычу предстояло выезжать в поле, а настоящей лошади не было. Я раньше обдумывал все это, но до последнего дня колебался; денег у меня осталось мало, — совсем остаться без них я боялся; между тем и лошадь в доме была необходима. Теперь я решился.

— Знаешь что, Митрофаныч, давайте поговорим и авось что-нибудь придумаем... Знаешь, что я придумал?

— Ну, что? — возразил Митрофаныч, все еще мрачный. Но зато Даша смотрела на меня во все глаза.

— Что бы ты сказал, — продолжал я, — если б я остался у вас на все лето?

— Что же, это хорошо... Тут у нас славно, вот скоро лес, луга, поля — все зазеленеет. Чудесно у нас... И река, и мельница — очень тут хорошо.

На мрачном лице Митрофаныча появилась улыбка.

— Так остаться?

— Отчего же, ежели мы тебе ничего... Ты нам полюбился, а мы тебе — не знаю, может не угодили?

— Так я останусь.

Туча на лице Митрофаныча вдруг расплылась в широкую улыбку, как солнце, прорвавшее темные облака. Даша пристально посмотрела на меня своими счастливыми глазами.

— Вот мы и решили всё... Ты видел, сколько у меня денег, как раз на лошадь. Если я останусь у вас — деньги мне не нужны. Давайте купим лошадь?

Митрофаныч перестал улыбаться и пристально посмотрел на меня, недоумевая. Чуткий во всех отношениях, он теперь сильно смутился, не зная еще, как ему принять мое предложение. Он как будто боялся, что проронит какое-нибудь неосторожное слово, оскорбительное для меня. Совершенно растерянный, он смотрел на меня, на Дашу и по сторонам.

— Купим лошадь, работать будем вместе, я у вас за лето поправлюсь, а там увидим. Как ты думаешь?

— Да чего ты, дядя, молчишь? То от твоего крику уши звенят, а тут замолчал.

— Да я ничего... я только рад, больше ничего!

— Ну так, значит, дело мы покончили, и говорить больше об этом не стоит, — сказал я, сам сильно взволнованный.

Решение это во мне как-то сразу сказалось и вышло так естественно, что я сам был удивлен. Не задавая себе после болезни вопроса о будущем, я инстинктивно жил день за днем; я поправлялся после пережитого переворота, чувствовал себя отлично и ни о чем не думал; но в эту минуту я вдруг определил себя к месту на целое лето. А что же потом, по истечении лета? Об этом я не спрашивал себя, смутно ожидая, что там, дальше, что-то хорошее, счастливое пойдет...

Быть может, некоторую долю этого оптимизма надо отнести на счет моего вновь растущего организма; известно, что переживший какую-нибудь тяжелую болезнь как бы второй раз родится и детски приветствует весь мир. Но, помимо этого, было еще кое-что. Я имел счастие попасть в хорошую семью, которую невольно полюбил. Вероятно, над головой этой семьи не пролетело еще ни одной из тех деревенских бурь, которые сбивают с ног деревенских людей, подкашивают их силы и обессиливают их характеры, и вот почему жизнь моих друзей текла правильно, а их взаимные отношения были добрые и дружеские.

Затем было еще кое-что...

Одним словом, среди этих людей я жил, как свой, и сознавал себя довольным, как никогда. А после выяснения вопроса о моем житье наша дружба еще более закрепилась.

На другой же день Митрофаныч поехал покупать себе лошадь, а мы с Василисой и Дашей завели оживленный спор об огороде. Я давно об этом думал, но боялся осрамиться. В детстве я с большим удовольствием участвовал в огородничестве матери, которая знала это искусство и любила его; теперь ребяческие шалости мне пригодились. Когда Василиса стала приготовляться к обработке огорода, я решился вмешаться в работу. Василиса сажала только лук и картофель, а мне хотелось поучить ее возделывать множество других огородных растений, ценных за барскими столами. Мне казалось, что из огорода можно сделать доходную статью. Но в то же время я боялся осрамиться. Мною овладело сильное волнение, когда я принялся сообщать Василисе свой план.

Василиса недоверчиво слушала меня и, видимо, не верила; она сомневалась, чтоб из огорода можно было сделать что-нибудь большее; кроме того, перечисленные мною растения просто затмили ей голову, и она тупо слушала меня. «Редиска», «салат», «цветная капуста», «спаржа» — эти словечки ужаснули ее, и мне было очевидно, что она упрямо не понимает. Всякая новинка была противна ее спокойной, рассудительной натуре, и она боялась всего, что могло нарушить правильное течение ее обыденной жизни.

— А где же мы будем продавать? — вдруг спросила Даша, с явным намерением помочь мне.

— В городе. Василиса будет ездить в город и разносить овощи по домам, и поблизости можно будет найти покупщика. Дорогие овощи все любят, — говорил я.

— Да будет ли польза-то? — спросила недоверчиво Василиса.

— Во всяком случае более, чем от лука и от картошки, — возразил я.

— Да кабы знатье... кабы кто первый зачал сажать.

— Мы первые и начнем. Ведь говорю, что я знаю это дело, — возразил я храбро и очертя голову бросился вперед, чтобы победить или осрамиться с своим салатом.

Но тут вмешалась Даша.

— А разве, тетя, он не сделал борону? — спросила серьезно девушка.

Как это ни было смешно — сравнить борону с цветною капустой, но этот аргумент подействовал на Василису больше всего,— она растерялась.

А тут приехал Митрофаныч, и когда узнал наш спор, то мгновенно перебежал на мою сторону. Его широкая голова быстро оценила все выгоды моего плана, а его любовь ко всяким новинкам довершила мою победу. По обыкновению он даже все преувеличивал и увидал то, чего еще не было.

На общем совете было постановлено: немедленно навести справки, где приобрести семян, и отрядить за их покупкой

Василису с приготовленным мною списком. Василису потому отрядили, что, умея торговаться до изнеможения, она все покупала дешево.

Целых две недели с этого дня я волновался, выражал нетерпение, без устали копался в земле с Дашей и Василисой. У меня просто замирало сердце при одной мысли, что овощи не взойдут или погибнут от моего невежества. А когда все взошло, тревоги мои еще больше увеличились. Я боялся сильного дождя, горячего солнца, ветра и тумана. Раз десять я бегал на зады и осматривал пытливым оком гряды. Я стал ненавидеть свиней, которые зря шлялись по улицам, и камнями отгонял их на сто сажен от своего дома, боясь, что они пронюхают про наш огород. Когда однажды наш же теленок проник в святилище, я так вдруг озлился, что сбил его с ног и, конечно, убил бы, если бы заметил, что он выдернул хоть одну редиску. Волнуясь так днем, я и по ночам не знал покоя, — бредил спаржей и другими кореньями, — а когда раз во сне какой-то большой, фантастических размеров, козел на моих глазах пробил дыру в плетне и стал гулять по грядам, то я чуть не задохнулся от этого страшного кошмара.

Быть может, это объяснялось моим все еще болезненным состоянием, а быть может, этот ужас перед силами природы и случайностями жизни есть общий закон для всех, имеющих дело с землей. Не знаю.

Я успокоился только тогда, когда наш огород густо зарос разноцветною зеленью. Что касается Василисы, то она перешла на сторону салата и прочих мудреных вещей только после того, как получила первые семь гривен за два решета редиски.

VII

Весна проходила для меня среди забот и развлечений. Это время перед страдой и для мужиков не тяжело; все трудятся не торопясь, отдыхают много, а по праздникам от малого до большого высыпают на улицу. Мы также пользовались этими днями, как только могли. Раза два я делал большие путешествия по окрестным лесам вдвоем с Васькой, который перестал при мне косить глаза; но самым любимым местом для меня сделалась мельница; мы втроем — Даша, Васька и я — уходили туда после обеда и оставались до позднего вечера.

Иногда, сидя у плотины, мы ловили мелкую рыбешку; но к этому занятию только я один относился добросовестно; устремив неподвижный взгляд на удочку, я терпеливо по целому часу ожидал, пока не заклюет какой-нибудь окунь в вершок, и не сердился, если в продолжение часа ни один из

ожидаемых окуней не обнаруживал глупости попасться на крючок.

Остальные члены нашей компании не выдерживали характера и уходили, кто куда желал. Васька, бросив удочку, обыкновенно отправлялся на охоту за лягушками; здесь он проявлял страшную жестокость: вооруженный прутом, он с дьявольским искусством пробирался сквозь крапиву к береговым лужам, подкрадывался к неприятелю и бил его по головам; затем трупы убитых врагов он сажал на тот же прут и с торжеством носил их. Если эта борьба была успешна, он вслед за тем отправлялся к тополевой роще, недалеко от мельницы, и производил там рекогносцировки между вороньими гнездами. Когда на плотине появились, с наступлением жаров, ужи, то он с увлечением стал сражаться и с ними. Вообще Васька, воспитанный одною природой, проявлял кровожадное стремление разорять и убивать.

Даша уходила на другой берег реки и там бродила по лугам, между кустов, рвала цветы, пела песни. Румяное лицо ее то и дело мелькало между ветками кустов.

Здесь, на этой мельнице, я сидел как очарованный; мельница была ветхая, с заплатанными колесами, и вся позеленевшая в тех частях, которые омывались водой. Плотина, набитая хворостом и соломой, качалась, как трясина, всякий раз, когда по ней проходили или проезжали. Пруд был покрыт водорослями, образовавшими около берегов густую зеленую ткань, а самые берега обросли бояркой и шиповником, сквозь которые трудно было пробраться, не изорвав платья. Но я любил это место.

Мне все здесь нравилось: мельница, побелевшая от мучной пыли, запах разогретой жерновами муки, самые жернова, старые и стертые, как зубы старика, но неутомимо кружившиеся; внизу я с удовольствием наблюдал тяжелый ход черных и с грибами по бокам маховых колес, быстрое движение зубчатых колес, облепленных мучным бусом, и сверкание шестерней.

Когда мне наскучивали удочки, я располагался удобнее на берегу, повыше, и по целому часу бесцельно наблюдал, как два потока воды сперва бежали по шлюзам, потом низвергались на колеса, бросали здесь снопы сверкавших брызг на оба берега и, наконец, двумя широкими лентами падали вниз реки, где вода пенилась и крутилась водоворотами. Несколько сажен дальше речушка уже тихо бежала, омывая торчавшие со дна коряги, и терялась под зеленым сводом черемухи и рябины. В воздухе стоял неумолкаемый шум; влажный берег обдавал свежестью, а ветхий остов мельницы дрожал сверху донизу.

Быть может, это место мне нравилось потому же, почему мне всегда нравилось движение. Я не люблю тихого вечера, когда вся природа, покрытая ночью, засыпает; не люблю томительного знойного дня, когда всем живущим, кроме холодных гадов,

овладевает мертвая неподвижность; не понимаю прелести лунной ночи, когда влюбленные целуются, освещаемые мертвым светилом, как лампадой в темном склепе. Но я люблю тот час, когда на краю неба подымается черная мгла и растет, издали грозя блестящими стрелами, и, наконец, обрушивается на помертвевшую от зноя землю крупным дождем, выстрелами грома и светом молнии; с самого раннего детства душевные бури были так неразлучны со мною, что только созерцанием внешних бурь я мог восстановлять равновесие между мной и окружающим. Оттого мне было всегда покойно, когда вокруг меня что-нибудь шумело, крутилось.

А на старой мельнице всего этого было вдоволь. Копошился около поставов засыпка Филат, обсыпанный пудрой с ног до головы; тут же копошились приезжие с возами мужики. Если мне надоедало бесцельное сиденье на берегу, я подсаживался на бревно к кучке мужиков, большая часть которых мне были знакомы, и принимал участие в их разговорах. А в это время взгляд мой следил за всем, что окружало меня; и с того берега речки между ветвями кустов я часто видел серые, счастливые глаза Даши.



Здесь я все любил, каждой мелочи придавал радужный цвет и красивую форму. Любил этот гнилой с лопухами пруд, любил речку, покрытую черными корягами, мужиков с трубками в зубах, лошадей, пасшихся вдали, тень под навесом, солнечные лучи на соломенной крыше, кусты черемухи, жестокого Ваську, ползавшего среди лопухов с горящими глазами. Все любил, природу и людей, показавшихся мне в новом освещении. Быть может, это состояние и есть то, которого бесплодно ищут люди. Любить все — разве это не единственная цель бытия? А работа и мысль — только неразлучные с любовью средства. Мое состояние поймет только тот, кто

хоть раз стоял близко над пропастью и проклинал все. Недавно еще я был страшно несчастлив, потому что искусственно сделал себя одиноким. Я и мир — вот была формула моей жизни. Искусственно оторвав себя от окружающего, я чувствовал себя лишним, питал ненависть, вел войну за свое одинокое существование и не знал конца отчаянию. Все внешнее мне казалось чем-то мертвым и враждебным. Теперь вдруг все ожило вокруг меня. Все вокруг меня задвигалось, и все неподвижное стало для меня живым. Шум падающей воды, кваканье лягушек, разговор мужиков, колебание веток черемухи, тихий ветерок, носящаяся пыль в воздухе, жужжание мух, шелест лопухов на пруду — все-то дышало и жило. И я понимал жизнь и дыхание всего, что еще недавно было мертво для меня.

К вечеру мы все утомлялись: Васька — охотой, Даша — беганьем по лугам и кустам, я — сильными ощущениями и кучей мыслей, которые толпились в моей голове. Тогда мы собирались домой или сумерничали у засыпки Филата.

Засыпка жил работником у арендатора мельницы. Сам арендатор, городской мещанин, никогда не жил здесь; говорили, что он разорился и забросил мельницу, так что Филат оставался полным властелином и сдавал отчет только несколько раз в год.

Это был прямой, высокий старик, из отставных солдат. Жил он один, сам себе стряпал, сам управлялся с мельницей. Маленькие синеватые глаза его смотрели остро; говорил он мало, но всегда значительно. Говорили, что он колдует. Кажется, что-то в этом роде было; но по крайней мере несколько раз я видел в его избе больных мужиков и баб, которым он давал есть что-то. Но я не расспрашивал о его медицинских познаниях, а он никогда об этом не упоминал. Только по вечерам он рассказывал нам о чертях, которыми кишела, конечно, мельница.

При этом Васька впивался глазами в рассказчика и плотно прижимался ко мне, Даша иногда насмешливо вставляла несколько слов, а я старался понять этого седого ребенка. Уверять Филата в недействительности того, что он видел, о чем рассказывал, было делом безнадежным, — он только сердился и замолкал. Поэтому я ему не мешал. Черти у него сидели под колесами в омуте, в пруду и в самой мельнице; быть может, шлялись они и по окрестностям, но наверняка не помню; больше всего их жило в омуте под колесами.

Филат вел с ними непрерывную борьбу и знал все их хитрости. Главная пакость, которую они постоянно пытались осуществить, это — разрушение плотины. Один раз Филат застал пакостников уже на самом месте преступления. Это было темною ночью; приезжие мужики спали, вздремнул и Филат. Вдруг он просыпается весь в поту, сердце его полно какого-то непонятного страха и сам весь так дрожит. Первым его делом было

подумать: непременно это пакостники что-нибудь затеяли! С такою мыслью он бросился на плотину. Вбежал на плотину и вдруг почувствовал, что она вся трясется, раскачивается, — вероятно, лапами этой нежити, — а внизу слышалось какое-то особенное булькане воды. Перекрестился он, сбежал вниз, а там уж дыра,— дыра эдак в шапку величиной, — и сквозь нее свистит уже вода. Читая молитву, он стал хватать, что попало, и поспешно затыкал дыру. Насилу заткнул, проработав до самого утра. А прожди он хоть полчаса — и прорвало бы всю плотину.

— Много этой пакости здесь! — сказал, оканчивая рассказ, Филат.

Иногда пакостники держались за колеса. Не идут как следует колеса — и только. И воды столько же, и все в исправности, и ось смазана, а ход не тот. Или опять постава загадить — это уже первое их дело.

Как известно, искусство засыпки состоит в том, чтобы мука выходила мягкая, — поставить камень так, чтобы из-под него выходил пух. И Филат хорошо знал свое дело, но иной раз, что ни делай — не то! Сыплется тебе какая-то крупа, и больше ничего! Это всё они; это уж прямо их пакости.

— А ты, дедушка, видал их? — спросила раз Даша.

— Сохрани бог! Эта погань завсегда невидима...

— То-то... у нас был дедушка старенький, так у него все в носу свистело. Бывало, скажет дяде: «Послухай-ка, Петрушка, гдей-то кабыть ветер поет?» А это у него в носу свистит.

— Ох, девка, погляжу я, вострая ты! А сама небось без оглядки бежишь ночью со двора, когда тебя за пятки хватают.

Возражая это, Филат сердился за насмешку.

Я старался понять убеждения Филата; старик он был сильный и суровый, а пакости боялся; на войне его лупили пулями, и он не боялся их, а каких-то пакостников боялся. Как неисправимый фетишист, он был насквозь проникнут тайнами окружающего и во всем чувствовал непонятную силу.

— Смеяться-то и я умею, а вот вникнуть — это мы не можем. Идешь, например, по степи и слышишь голос какой-то... Откуда он? Неизвестно. Или приляжешь отдохнуть наземь, — и чу, гул какой-то извнутри идет... Почему — не знаем. Или по лесу идешь — вдруг плач... И не плач, и не голос, а так, невесть что. Кто это? Не знаем. А ты смеешься. Много всякой пакости на свете...

Странно сказать, на меня эти разговоры и многое другое, совершающееся в деревне, имели влияние. Я чего-то боялся. Это было не суеверие, но робость какая-то. По ночам мне неприятно было оставаться одному в избе. Однажды я должен был один идти в баню, вырытую в земле на берегу; это было уж ночью. И, пересилив себя, я пошел, но чувствовал себя не-

приятно, не кончил мыться и бросился к двери. Темные силы, владевшие деревенскою жизнью, отразились и на мне. Один раз я увидал сгоревшего от вина мужика; в другой раз мне пришлось быть свидетелем семейной драки, во время которой брат разбил голову брату, — и все это отражалось на моем настроении.

Я хорошенько не могу определить, в чем выражается это темное настроение. Это какая-то пугливость и слабость ума, чего-то жутко. Мысль покрывается каким-то туманом; перестаешь доверять разуму, а внешние впечатления овладевают всею душой. Внешние и случайные силы начинают господствовать над каждым действием. Слабость мысли и силу грубых физических событий — вот что чувствуешь.

Впоследствии я должен был принимать меры против деревенского настроения. Но пока мне это было ново и занятно.

Поздно вечером мы возвращались домой, начиненные чертями и всякою другою пакостью. Даша задумчиво шла рядом со мной и уже не смеялась; часто мы держались за руки. Что касается Васьки, то он судорожно цапал меня за платье всякий раз, когда немного отставал, и поминутно оглядывался по сторонам.

Обыкновенно нас старшие уже поджидали ужинать. Если вечер стоял теплый и без дождя, Василиса стлала скатерть на дворе, прямо на землю, и мы все усаживались вокруг нее, сгибая ноги, как татары.

VIII

Приближалось время страды. От болезни моей не осталось и следа; я сделался настолько сильным, насколько позволял мой организм. Всякую работу по дому я уже умел: колол дрова, чинил крыши, возил солому с гумна, полол огород; это только доставляло мне удовольствие, приносило волчий аппетит и богатырский сон. Но настоящего физического труда я не знал еще. Все перечисленное было только игрушкой. Я не знал именно страды.

Чтобы не быть застигнутым врасплох, я заранее стал учиться косить и жать, сгребать сено и возить снопы.

Недели за три до сенокоса я попросил Митрофаныча сготовить мне косу и серп. Он сготовил. Тогда с Васькой мы взяли на себя обязанность доставлять на корм свежую траву и для крыши камыш с осокой. Учиться косить я не захотел у Митрофаныча, надеясь, что сам дойду до этого искусства; я только раз посмотрел на его приемы. Митрофаныч подсмеивался, когда в первый день отпускал нас в лес.

— Коса-то не больно ладна; ну, да ничего: баловать и ей можно, — сказал он с добродушным смехом.

«Баловать!» Это довольно зло для тех господ, которые в физической работе ищут забавы. Но услышав эту насмешку, я в первый раз задумался: зачем я все это делаю? Для здоровья? Но тогда при первом серьезном труде, который потребует напряжения всех сил и перейдет в страду, я брошу его. Ради игрушки? Но игрушка до тех пор хороша, пока занимает; между тем ничего нет занятного, когда мужик, как скотина, везет в гору на себе воз, утопая в грязи. Ради того, чтобы сделаться рабочим? Но тогда какое преимущество имеет мускульная работа перед умственной? Да и вообще что это за штука — физический труд? Каковы его свойства, влияние и цена?

С такими мыслями в первый раз я поехал с Васькой накосить травы для наших двух лошадей.

— Мотри не порежься, Миколаич, — сказал на прощанье Митрофаныч уже серьезно. — Ежели, в случае, притомишься, лучше брось! — закричал он, когда мы уже завертывали за угол переулка.

Приехали мы в лес, остановили лошадь, и я стал выбирать среди кустов чистую полянку, боясь на первый же дебют воткнуть свой инструмент в невидимый пень. Васька должен был присматривать за лошадью; но он, шельмец, сейчас же куда-то юркнул в кусты, увлеченный, вероятно, погоней за каким-нибудь врагом вроде ящерицы. Между тем лошадь, облепленная тучей комаров и мошек, сейчас же начала брыкаться, мотать головой и дергать телегу; не успел я одуматься, как телега была уже на боку, поперечник лопнул, вожжи запутались в колесах. Я бросил косу и стал выпрягать лошадь, которая, казалось, обезумела и, во все стороны мотая головой, ударила меня мордой по скуле так крепко, что небо мне показалось с овчинку, а в ушах моих пошел трезвон, как на колокольне.

Но кое-как выпряг я лошадь, спутал ей передние ноги и пустил, все время крича: «Ва-аська!» Но Васьки не было. Приходилось одному управляться. Разозленный, я пошел опять с косой выбирать прогалину; туча комаров с яростью окружила меня и пила из меня кровь. Еще ничего не сделав, я уже устал от злости и отмахиванья мошек; вместо того чтобы работать, я пока только брыкал ногами и руками, как наш мерин. Выбрав, наконец, наугад чистое местечко, я принялся косить, слепо махая косой. Впрочем, на первый раз вышло недурно; трава летела, правда, во все стороны, но зато выкошенное место было чисто.

Когда эта полянка была выдрана, я почувствовал, что я весь мокрый. Пришлось сбросить пиджак и кое-что другое, чтобы быть более свободным. «Ва-аська!» — кричал я опять, чтобы заставить шельмеца собирать траву. Но он как в воду канул. Выбрал я другую прогалину и опять стал махать. На этот раз коса моя

свистела по верхушкам, отчего выкошенное место на самом деле вовсе не было выкошено.

Проработав так с час не переставая, разозленный, с окровавленным лицом и руками, на которых я убил несколько десятков комаров, я, наконец, бросил косу и побежал искать воды, крича: «Ва-аська!» Весь мокрый снаружи, я горел внутри и чувствовал, что могу выпить в эту минуту целое ведро. Недалеко от того места, где мы остановились, было озеро, которое я заметил, когда мы еще только ехали сюда. Но я ошибся в расстоянии и должен был убедиться, что не одно и то же сидеть на телеге и идти пешком; до озера оказалось не менее версты. Но жажда была адская, и я готов был бежать на край света.

Наконец озеро я нашел, прилег к нему и принялся пить, спугнув несколько лягушек и каких-то водяных животных. Боясь, что лошадь убежит в мое отсутствие, я сейчас же бросился назад, к месту кошения. Туда, наконец, вернулся и Васька, придерживая одною рукой пазуху, где что-то билось живое; оказалось, он подкараулил плохо оперившегося птенчика, погнался за ним под кустами и поймал-таки. Я сейчас же с сердцем набросился на него, упрекая его за дезертирство. На это карапуз только спросил меня:

— А что?

Этот простой вопрос сразу образумил меня. В самом деле, какую помощь мог ожидать от крошки я, взрослый мужчина? Пристыженный, я запряг торопливо лошадь, сложил траву с помощью Васьки на телегу, и мы поскакали домой как сумасшедшие, потому что наш искусанный мерин также приведен был в дурное состояние духа. В результате этой первой моей косьбы остались следующие вещи: я зазубрил косу, порвал поперечник, намочил одежду и напился воды из болота. Лицо, шея и руки были покрыты волдырями, скула у меня болела, и в общем я чувствовал себя так, как будто с кем-нибудь дрался. Что касается травы, за которой, собственно, мы ездили, то ее оказалось очень мало.

По приезде домой я откровенно рассказал Митрофанычу, как я косил. Он не стал смеяться, только задумчиво осмотрел косу.

— А ты полегче; потише-то оно лучше.

— Да я и сам вижу, что поторопился, — возразил я тоном раскаяния.

— Нельзя торопиться. Полегоньку оно способнее. Первое дело — не торопиться. Второе дело — не думать. Не будешь торопиться — все пойдет аккуратно; не будешь думать — не устанешь. Во!

— Не думать?

— Верно говорю — не соображай. В работе ежели зачнешь

соображать, кончено — ослаб! Ты выучись так робить, чтобы руки сами ходили, а в голове чтоб ничего, чтоб в мыслях было чисто.

— Эдак, пожалуй, совсем без головы останешься, — возразил я.

— А то как же? Есть коли думать в страду! Нет, тут только знай повертывайся. Тут задумываться недосуг! За страду-то так озвереешь, что взглянешь на себя — и боже ты мой! — не то у тебя рыло, не то морда, — одним словом, лику человеческого нет! Стало быть, думать тут не приходится.

— А вот все говорят, что крестьянская работа здоровая. И солнышко, и воздух, и запах травы — все это здоро́во. Да и работа хорошая, божеская. Чего же лучше — косить, жать, молотить — это разве не здорово?

— Здорово-то здорово, да ведь это кому как. Ты думаешь, вот сработал — и в сторону? Ну, это ты вполне не понимаешь.

— Как не понимаю! — вскричал я.

— Вполне не понимаешь, уж ты не сердись, Миколаич, а прямо тебе скажу, сурьезно: ты не понимаешь! Поехал ты, например, накосить две охапки травы, и что же? Чересседельник, между прочим, у тебя лопнул, мерин, например, брыкается. Васька, пострел, дал тягу, комары, значит, тебя искусали до крови, и побежал ты искать попить водицы, а косу зазубрил и, прямо сказать, ничего еще не видя, вполне измучился, ослаб, вспотел и осерчал, — вот как ты две-то охапки приобрел!

Я понял. Меня это поразило. Я до сих пор представлял себе крестьянский труд как прекрасное, счастливое дело. Я представлял себе «волнующиеся нивы», «сверкающие росой луга», «косарей», солнечный восход, песни и т. д. Правда, знал я и страду, представлял и мучения, и голод, и бедность; но все это приписывал каким-то внешним причинам, не воображая, чтобы «волнующиеся нивы» сами по себе заключали источник страданий. Я представлял себе труд чистым, без всяких осложнений; между тем в действительности всякий мужицкий труд сопряжен с тысячами неприятных случайностей. И в большинстве случаев работа выматывает силы работающих.

Но только на своей шкуре я мог вполне понять эту неприятную, хотя и простую истину.

Поездив с Васькой недели две в лес и на болота, где я косил на корм траву и жал серпом осоку с камышом, я выучился работать. Не выучился только не думать. Способность не думать оказалась вполне отсутствующею во мне. В самый разгар работы блеснет какая-нибудь мысль — и все дело испорчено. Однажды, махая косой, я вдруг принялся мечтать о сенокосилке и так размечтался, что совершенно ослаб, измаялся и принялся уже не косить, а сражаться с травой, причем по всему телу разлилось

какое-то раздражение. В другой раз, когда я резал серпом камыш, вдруг вспомнил жатвенную машину, которую видел в блестящем магазине в одной из столиц, и задумался... Когда будут эти блестящие, сильные машины в деревне? Неужели крестьянин не воспользуется ими и будет продолжать ломать позвоночный столб, сражаясь с природой грудью, голыми руками и надрывая живот? Неужели эти — серп, деревянная лопата и прочая дрянь вечны? Когда же наступит день, в который мучительные работы сняты будут с плеч человека и бремя его жизни, иго его куска хлеба будут сняты с его шеи?

В эту минуту что-то острое прошло по всему моему телу, сердце сжалось... Я посмотрел на левую руку; из нее кровь била ключом и падала на траву; серп прорезал всю ладонь до кости.

Здесь мне помог Васька, оказавшийся на высоте хирурга; он посоветовал засыпать рану сухою землей и завязать.

После этого случая я научился жать.

Наконец пришло время косовицы. Я предчувствовал, что мне предстоит сильное испытание. Могу ли я вынести работу? Этот вопрос волновал меня не на шутку. Накануне выезда на луга я целый день был в ажитации и всем надоел, осматривая свою косу и расспрашивая о всякой мелочи, боясь упустить что-нибудь и осрамиться. Ночью я плохо спал, хотя чувствовал, что должен бы был спать как убитый.

Не выдержав волнения, я вскочил с сеновала, где спал, когда еще было совершенно темно. Звезд уже не было видно, но тьма перед рассветом густо облегала землю. Где-то за рекой дергал коростель. Над головой просвистела стая уток, улетавшая с полей на озера; но тьма и тишина больше ничем не нарушались.

Я разбудил Митрофаныча. Он долго не мог прийти в себя. Что я ему ни говорил, он только неразумно отвечал:

— Ась?

— Вставай, светает! — говорил я нетерпеливо.

— Ась?

— Пора ехать!

После некоторого времени он, наконец, пришел в сознание, вышел из сеней на двор и с изумлением поглядел в сторону зари. Потом недовольным тоном проговорил:

— И шут тебя знает, что у тебя свербит!

Через минуту, впрочем, его заспанное лицо озарилось улыбкой.

— Ну и работник же у меня! Хлеба не просит, жалованья не берет, а встает, когда еще черти на кулачки не дрались.

Мне стыдно было за свое нетерпение, но потушить его я не в состоянии был. Мне почему-то казалось, что нынешний день будет ознаменован каким-то историческим событием, которое для меня, главного действующего лица, решит вопрос

о жизни и смерти. И я негодовал, что Митрофаныч медленно собирается.

Он в разных местах почесался, потом с тяжелыми вздохами помазал себе лицо и руки водой, воображая, что умывается, медленно, опять со вздохами, прочитал молитву своего сочинения и торопливо стал собираться на сенокос. Раздраженный этими тяжкими сборами, я сам побежал запрячь лошадь, запряг и уложил все наши инструменты. А рассвет чуть только еще брызнул млечным светом на востоке.

Все наши еще спали; они должны были выйти на сенокос только к обеду, чтобы сгребать сено. Мы проехали всю дорогу, распрягли нашего буланку, приготовили косы, и только тогда рассвело. На лугах никого не было из людей. Но жизнь уже начиналась: откуда-то раздались голоса птичек, со стороны деревни послышался какой-то смутный шум; вокруг нас ходили облака тумана. Меня охватило сильнейшее волнение. Чувство силы, и счастье, и восторг так овладели мной, что я на минуту замер в одной позе; а когда светлые стрелы пронизали восток, я детским восклицанием приветствовал светило.

Тут у нас произошел спор.

— Вот чего. Я буду гнать вот здесь, а ты гони свою линию вон там, — сказал Митрофаныч, указывая мне место вдали от себя.

— Это зачем? — рассердился я.

— Да уж так лучше...

— Нет, я пойду за тобой.

— Говорю тебе, начинай вон там и валяй в свое удовольствие!

— Да почему?

— А потому, нечего тебе убиваться. Ведь я уж знаю тебя — хоть лопнешь, а будешь тянуться за мной.

Я видел, что Митрофаныч хочет устроить для меня игрушку, и взбесился.

— Ты думаешь, я не поспею за тобой?

— Да на какого лешего тебе поспевать-то? Что же это в самом деле такое? Из какой пользы ты будешь убиваться? — кричал уже Митрофаныч.

— Почему же ты думаешь, что я буду убиваться?

— Упадешь, задохнешься и захвораешь, — это что же такое будет?!

— Да тебе-то какое дело? — возразил я, также разозлившийся.

— Вот те и на! Вот те и лысый черт! — закричал в неистовом гневе мой хозяин и уже хотел хлопнуть свою шапку оземь. Но я поспешил успокоить его, сказав ему, что если я не выдержу, то брошу, а заранее предсказывать мне смерть преждевременно.

— Ну, и упрям! Эдакое упрямство в жисть свою не примечал! На какого же лысого черта я тебя мучить-то стану? — продолжал кричать великан, но уже с улыбкой на широком лице: шапку бить оземь он раздумал, очевидно поняв, что в моем упрямстве нет ничего страшного.

— Я приехал сюда не играть, а работать, — добавил я.

— Ну, ладно. Давай зачинать. Господи благослови!.. Тьфу!

Митрофаныч поплевал на руки, и работа началась.

Вслед за хозяином пошел и я. Сначала я работал нервами, мало доверяя выносливости своих мускулов. Боялся отстать, боялся плохо сделать и все торопился. Но трава, блиставшая каплями росы, тяжело и плотно падала; моя коса ходила как бритва. Мы прошли одну полосу. Митрофаныч остановился, почесал затылок и посмотрел на мою работу, потом на меня.

— Ловко! — сказал он с удовольствием в лице. — Пойдем дальше.

Мы начали второй ряд. Я опять работал нервами, напряженный и взволнованный. Благодаря этому в первый час я не чувствовал усталости. Пот струился по всему моему телу, лицо мое горело, но напряженные нервы скрывали утомление.

Но так долго не могло продолжаться; возбуждение должно было кончиться, а дальше что? Действительно, нервы скоро утомились; я перестал волноваться за свою работу и уверовал в себя; но тут-то и началось истинное для меня испытание. Успокоившись насчет качества своей косьбы, я вдруг ослаб душой, а тело мое сразу раскисло. Ноги и руки мои дрожали; в спине чувствовалась острая боль, сердце в груди колотилось беспорядочно, я почти задыхался. Пробовал я опять взбудоражить нервы, но они уже не слушались меня, телесная боль все заглушила. Дойдя до половины ряда, я с отчаянием смотрел на его конец; иногда мне казалось, что я упаду и сердце разорвется у меня.

Не знаю, понимал мое состояние Митрофаныч или нет, — из деликатности он молчал, только часто, кстати и некстати, останавливался. Остановится и почешет спину, бесцельно посмотрит на небо, поправит волосы. Это он делал для того, чтобы дать мне минуту вздохнуть. Я был благодарен ему.

А когда солнце поднялось высоко, мы пошли завтракать. Усевшись возле телеги, Митрофаныч разломил взятый нами хлеб пополам и одну половину подал мне. Мы налили в ковш воды, — в этом состоял весь завтрак. Митрофаныч ел с удовольствием, медленно чавкал, собирая с подола все крошки, и запивал водой с таким удовольствием, что мог вызвать аппетит у объевшегося человека. Но я с трудом глотал сухие куски, — глотал по обязанности. Во рту у меня перегорело, и хлеб казался мне горьким, как полынь. Я чувствовал, что глаза у меня стеклянные, лицо

осунулось, а все тело было измято. Поднося горбушку хлеба ко рту, я с болью поднимал руку, которую натрудил. Хотелось не то спать, не то сидеть без движения. Я боялся говорить, потому что голос мой осип.

Очевидно, я косил всем, что у меня только было, — руками и ногами, спиной и горлом, сердцем и нервами, мыслью и фантазией. А это никуда не годится — нерасчетливо.

Я мог бросить работу и лечь, но я знал, что если лягу, то, пожалуй, на самом деле захвораю. Притом, обидно было оказаться побежденным. Поэтому я встал из-под телеги, когда мы кончили горбушку, и пошел к месту, где мы оставили косы. Мы поточили их и принялись снова рядами укладывать траву.

На меня заранее нападало отчаяние, что я эту упряжку не выдержу. Но я продолжал шаг за шагом идти за Митрофанычем. Я уже не оглядывался ни назад, ни вперед, видел только то, что у меня было под глазами. Ряд за рядом я шел и не падал. Странное дело: чем дальше я косил, тем меньше отчаивался, — странное это состояние! Я не чувствовал себя приятно, но в то же время это не было и страданием. С каждым взмахом руки я делал неприятное, тяжелое усилие — и только. Я одеревенел как-то, отупел и работал как машина. На другой день с утра я вначале опять чувствовал острую боль, и отчаяние, и удушье, но мало-помалу, деревенея, успокаивался и мог бесконечно долго работать. В конце дня, перед сном, я чувствовал себя совсем бессмысленно и лежал во сне как камень.

Таким образом, в первый же день я открыл секрет выносливости: надо было одеревенеть и превратиться в машину. На следующие дни это превращение из живого человека — с нервами, с фантазиями и с раздражением — в железную или деревянную машину совершалось уже легко и скоро. Да и самая машина оказалась очень простого устройства: две руки, две ноги, утвержденные на пустом внутри чурбане, — вот и все; руки махают, ноги всю машину подвигают вперед, а в остов, занимаемый топкой и паровиком, накладывается топливо и наливается вода, — очень просто. Уход за машиной также не сложен. Только утром я делал страшное усилие поднять машину с охапки сена, на которой она лежала ночью, но затем она уже сама работала. В известное время я должен был положить в топку краюшку хлеба и подлить в паровик воды; за обедом подкладывал туда каши со свиным салом, опять хлеба и воды, а вечером, когда делалось темно, я небрежно бросал машину под телегу на охапку сена (а иногда на голую землю) и совершенно забывал о ней до зари следующего утра.

Понятно, что небрежность эта не была обязательна, и если б я жил между немцами или какими другими нехристями, то я обращался бы с машиной с большею заботой. Но так как я жил

между русскими, привыкшими всякую вещь держать грязно, то и сам поддался обычаям окружающего.

Неделя такого занятия сделала меня образцовым работником, нетребовательным, выносливым и ни о чем не думающим. Я чувствовал себя сильным, то есть деревянным, и нервно крепким, то есть вовсе не ощущал в себе нервов. Митрофаныч был в восторге от меня; показывая женщинам на длинные ряды травы, которую я уложил, он говорил:

— Эвона сколько мы с Миколаичем наваляли!.. Ловко!

Но женщины были другого мнения. Василиса старалась лучше кормить нас, угощая часто простоквашей, казавшеюся мне нектаром. А Даша пытливо следила за мной.

— Ты устал? — раз спросила она меня торопливо.

— Я устаю, но что за беда? — возразил я.

— Дай я за тебя день покошу, а ты отдохни, — предложила она с наивным великодушием.

— Нет, не надо, Даша.

— Ты будешь сгребать, а я покошу, — настаивала она сконфуженно.

— Спасибо, милая, я вовсе не так устал, чтоб уронить из рук косу. Да кроме того, меня ведь никто не неволит.

Мое упорство опечалило и сконфузило ее; она больше не предлагала снять с меня тяжесть, но продолжала тайно следить за мной.

Работы было, впрочем, всем четверым по горло. Скоро пришлось всем торопиться, потому что поспевала уже рожь. Все напрягали силы, и пришла истинная страда.

Но в эти дни в нашу работу вмешалось непредвиденное несчастие, которое всех измучило, выбило из колеи, разозлило и одурачило.

IX

Митрофаныч имел две души — действительную и воображаемую, но воображаемая душа пользовалась всеми правами настоящей, благодаря чему луг ему достался в двойном размере. Одну душу мы уже отработали. Затем перекочевали на другую душу.

Но тут случилось что-то невообразимо нелепое.

Едва мы начали косить, как погода изменилась; набежала, по-видимому, ничтожная тучка и смочила нас. Мы продолжали косить, но через несколько часов опять набежала тучка и вылилась на нас. К вечеру еще на небе показалось что-то едва заметное, но пошел частый дождь и промочил нас до костей. Ночевали мы уже на сырой земле, выпачкались в грязи и к утру сильно продрогли.

Надеялись, что на другой день солнце все поправит, но в природе что-то нелепое происходило. Небо чистое, синее; только кое-где, как кучи хлопка, смешивались облака. Солнце парит горячо. Но вдруг из одной кучи хлопка польется дождь и моментально смочит все. И небо опять синее, и солнце горячо смотрит. Через час опять набежит тучка и выльется. Это походило на капризную женщину: сейчас она смеется, через минуту уже заливается слезами; сию минуту она кокетничала с вами, играя глазами, и сейчас же устраивает вам сцену, из которой вы выходите одураченным.

Два таких дня — и мы были уже измучены; работать не работали, а совершенно были измучены. Василиса, Даша и Васька перестали и приходить. Мы с Митрофанычем одни остались в поле и в промежутках между ливнем и жарою продолжали косить. Но скошенная трава погибла. Смачиваемая дождем, она горела под жаркими лучами солнца. С земли поднимался пар, воздух был горячий и насыщенный водой. Раз, обманутые синим небом, мы вздумали сгребать в валы, но вдруг набежало белое облако и опрокинуло на нас страшный ливень, и когда показалось солнце, мы бросились уничтожать нашу работу, раскидывая траву.

Бо́льшую часть времени мы проводили под телегой, лежа на брюхе, часто мокрые. И смех и злость разбирали нас. Митрофаныч часто приходил в необузданный гнев и бранился с дождем.

— Ну, лей, лей шибче! — кричал он из-под телеги. — Пес с тобой, лей! Дуй во все лопатки! — кричал он бешено, спасаясь от ливня под телегу.

Это была действительно бессильная злость. Работы не было, а уйти от нее мы не могли. Мы занимались какою-то игрой; то сгребали траву, то через час разбрасывали ее по всему лугу.

И все соседние косари переживали то же. Только мы еще терпеливее переносили капризы погоды, да и жнитво еще не поспело. Но другим приходилось просто жутко.

В особенности наш сосед Игнат Иваныч — он совсем не знал покоя. Подходя к нашей телеге, под которой мы лежали на брюхе, болтая ногами, он сумрачно здоровался с нами и на наши вопросы отмалчивался. Его все мысли были сосредоточены на одном — на сене. На себя он не обращал внимания; дождь мочил его до костей, но ему было все равно; шлепая по мокрой земле босыми ногами, с непокрытою головой, он думал о сене.

— Преет! — говорил он глухо, ни к кому из нас не обращаясь.

— Да уж про сено чего говорить; сопреет, уж это как раз! — поддерживал его Митрофаныч.

— А тут рожь на носу!

— Жать?

— Спеется! И поломалась так, что не продерешь серпом,

— Бери на косу, — посоветовал Митрофаныч.

— Ежели на косу, окончательно высыпется! То есть чистая смерть! — и, говоря это, Игнат Иваныч топтался босыми ногами на мокрой траве и по-прежнему не обращал внимания на дождь; дождь лил на его непокрытую голову и на все тело, к которому плотно прилипли рубаха и штаны. Видимо, человек был огорчен.

Игнат Иваныч был сосед наш и с моим Митрофанычем жил дружно, «по-суседски». Часто они подсобляли друг другу в работе, взаимно одолжались вещами и обменивались мнениями. Но только мнений Игната — хоть убей! — я до сих пор не понимал. Что-то особенное было в мыслях Игната Иваныча, какая-то непостижимая для меня логика. Часто мы с ним беседовали, но всегда он поражал меня каким-нибудь неожиданным соображением; его голова представляла для меня особенный мир, полный каких-то логических чудовищ. При этом говорил он намеками, взглядами, полусловами и крайне медленно. Казалось, каждую мысль он вытягивал из себя с величайшею болью, как вынимают, например, мозоль. Прежде чем что-нибудь сказать, он крякал и вздыхал.

— Ну, чего ты, Игнат, мокнешь? Влазь к нам под телегу. Тут у нас отлично: и разговоры разговариваем и на брюхе катаемся — одно слово, праздник, — сказал Митрофаныч.

Игнат Иваныч послушал, наконец, приглашения и сел возле колеса.

— Что ж, с богом спорить нельзя. Я бы вот захотел разогнать облака и чтобы солнце, по моему приказу, высушило мне сено, а, между прочим, приходится мне лежать на брюхе. Ты вот послухай-ка лучше, что Миколаич сказывает, — просто прелесть! И дождь, и облака, и всю эту мокроту... Я забыл его слова... очень складно у него выходит!

— Насчет чего? — спросил Игнат, стараясь прийти в себя.

— Насчет травосеву. Например, у нас луга, трава — это все от бога. А можно и самим сеять траву и... Да вот пущай Миколаич расскажет... Ну-ка, Миколаич, скажи опять насчет травосеву-то, Игнат послушает... Мужик он основательный! Он уж ежели ляпнет слово, так уж верно! Он когда скажет что, так, прямо сказать, все равно — березу с корнем выдернет!

И Митрофаныч, высказав эту характеристику своего соседа, захохотал от удовольствия. Мы действительно только что говорили о клевере и тимофеевке, причем я рассказал о травосеянии все, что знал сам, и хотел узнать мнение Митрофаныча. Теперь, когда последний пригласил меня еще раз рассказать то же самое, я очутился в сильном затруднении. Митрофанычу я мог что угодно говорить и знал, что он большою своею головой поймет, да еще

от себя что-нибудь прибавит благодаря своей способности к крайним увлечениям всем новым. Но Игнат... как к нему приступить, о чем с ним разговаривать? Я все-таки повторил в осторожных выражениях свои крошечные знания о травосеянии.

— Ловко? — спросил Митрофаныч, поглядывая на соседа. Игнат молча упер глаза в землю.

— То есть превосходно он это говорит насчет травосеву! — воскликнул Митрофаныч и растопырил пальцы. — Теперь, например, что уродится, тем мы и довольны. А тогда взял семян, обработал, посеял, где угодно и в каком пожелаешь огромном размере, и отлично будет... Как ты полагаешь, Игнат?

— Что же, это ничего, — сказал Игнат загадочно.

— Теперь мы дожидаем, уродится или нет, а уж тогда наверняка!

— Само собой...

— И трава густая и едовая для скота — очень великолепно!

— Ежели трава едовая, то уж на что лучше...

— И скот будет сыт, и сено будет в цене.

— Так, так! Скот будет сыт...

— Очень просто. Теперь, уродятся сена́ ай нет — это еще надо погадать, а тогда наверняка, как пить даст! — увлекался Митрофаныч.

— Уж это как есть! Ежели трава уродится, то уж тут сено верно.

Игнат, говоря это, продолжал смотреть куда-то в центр земли и почесывался. Но загадочных его ответов я все-таки не понимал; всеми силами старался понять и не мог.

— Как же ты, Игнат, полагаешь? Ловко? — спросил Митрофаныч.

— Насчет чего?

— Да насчет травосеву-то.

— Ничего, дело хорошее, ежели в случае чего... Только любопытно мне спросить об одном предмете.

— Ничего, спрашивай; Миколаич все тебе опишет... А ты, Миколаич, вникай, потому Игнат хоть и нескладно говорит, да с корнем, — давал нам наставления Митрофаныч.

— О каком же предмете? — спросил я.

— Да вот насчет травосеву... Например, рожь и травосев — как же это приспособить? — высказал Игнат, понатужившись.

— Не понимаю!

На лице Игната появилась какая-то боль, словно он занозу выдергивал. Митрофаныч смотрел то на меня, то на Игната и, видимо, готовился обоим нам помогать.

— Да ты, Игнат, зачни с другого конца, Миколаич-то и вникнет... А ты, Миколаич, вникай, потому Игнат с корнем...

— Ну, с другого конца, это ничего, — начал опять Игнат с болью в лице. — Ты скажи вот чего мне насчет этого травосеву... сыпется он.

— То есть как сыпется?

— Да вот все одно как рожь либо пшеница: ежели переспеет, не угодишь вовремя, она и обсыпется. Так вот и травосев... сыпется?

— Ну, ну! Если перезреет, конечно, будет обсыпаться, — сказал я, обрадовавшись тому, что ухватился за конец занозы. Игнат также обрадовался.

— Так вот ты и рассуди, как теперь... например, рожь и травосев поспеют?

— Ну так что же?

— И оба посыпятся.

— Да ведь косьба-то в одно время, как и сейчас, зачем же рожь и трава посыпятся?

— А я полагаю, посыпятся. Откуда же семена взять?

— Какие семена?

— Да для травосеву-то. А раз оставить на семена, то как же разорваться? Например, и рожь и травосев — и оба сыпятся...

На меня отчаяние напало, и я как-то одурел. Игнат немилосердно чесался. Митрофаныч, переводя взгляды с Игната на меня и обратно, не вытерпел и прекратил наше обоюдное мучение.

— Ну, ты, Игнат, чего-то сегодня не того... не туды! Пустое ты говоришь, потому обо всем об этом травосеве можно разузнать доподлинно... Нет, ты, Миколаич, вот что вникни. Ведь о травосеве и обо всем прочем мы давно слыхали, да только боязно нам — народ мы робкий. Вот ежели бы кто первый зачал, ну, и мы тогда пойдем за ним, а то боязно... Кабы кто первый!

— Да ты первый и начни, — возразил я.

Митрофаныч с изумлением посмотрел на меня.

— Мне зачать?.. А что ж ты думаешь? И, ей-богу, зачну! Какого же лысого черта бояться-то? Разузнаем всё с тобой и зачнем. Вот ей-богу!

Митрофаныч пришел в восторг и принялся широко развивать травосев, при этом волнение его так было сильно, что он не мог улежать на брюхе и перевернулся на спину, потом на один бок, потом на другой бок и, наконец, сел. Впрочем, я в это время занят был Игнатом. Я старался его понять и, кажется, понял.

Он был похож на дерево: как дерево, его нельзя было без порчи корней пересадить на другое место. Все новое ему приходилось мучительно. В доме у него вещи все лежали по целым годам на одном и том же месте. Если ему приходилось их переставлять, то об этом нужно было думать, а думать ему больно, боязно. Выдумывая какую-нибудь мысль, он вырывал ее, как корень, с болью. То, к чему он привык, он делал легко, но все, что при-

ходилось заново обдумать, приводило его в расстройство. И, кажется, в этом большую роль играла машина физического труда. Ум рефлективный, жизнь неподвижная, движения предопределенные, идеи умершие, — это была машина, работающая изо дня в день, из года в год. Это был специалист, в котором произошло перерождение в одну сторону, в сторону запряженной в воз лошади; умственная и сердечная его половина чуть-чуть светилась. Крайний специалист, он всегда меня ставил в тупик бедностью воображения; весь мир для него сосредоточился в небольшом фокусе плохого земледелия. На небе он видел только тучки, которые дают дождь или снег; солнце ему было любопытно постольку, поскольку оно способствовало росту ярицы и овса; в реке он видел только случай намочить лыка или напоить кобылу и иногда самому напиться. Лес ему представлялся дровами, луга — сеном, а вся земля — пашней, расковыренной сохой.

И все-таки он любил и волновался, верил и мыслил, только все это делал с страшною болью. Когда впоследствии мне приходилось с ним по душе говорить и он старался меня понять, я видел, как ему было больно, больно. Все, что людям доставляет счастие, — любовь и познание, вера и мысль, — ему доставалось мучительно, как свет человеку, долго жившему в темном подземелье, как ласка — ребенку, привыкшему испытывать только оскорбления.

И все-таки он любил и радовался, верил и мыслил. Скоро, близко подружившись с ним, я почувствовал к нему искреннее уважение в особенности за то, что каждое чувство в нем было прочно, как вросшие в землю корни.

Но в эту минуту я питал только жалость к нему. Когда Митрофаныч перебил наш нелепый разговор, Игнат Иваныч с каким-то недоумением остановился. Мои слова, очевидно, задели его за живое; было очевидно также, что, раз задетый, он уже долго не мог успокоиться, как все прочные люди.

Когда мы с Митрофанычем уже совсем забыли о разговоре и выглядывали из-под телеги, думая о работе (солнышко давно светило, и тучи расползлись по краям неба), Игнат, оказалось, все еще соображал на заданную ему тему.

— Так, стало быть, травосев? — спросил он вдруг меня.

Я сначала даже оторопел, но сию же минуту вспомнил, в чем дело.

— Да, травосеяние, по-моему, хорошее дело, — сказал я.

— Так, так! Только вот насчет семян-то вникнуть бы... Например, рожь и травосев... Нельзя же разорваться...

— Ну, Иваныч, мы об этом об травосеве покалякаем еще... А теперь давайте-ка покосим малость, будет на брюхе-то кататься.

От этого возражения Митрофаныча Игнат вдруг пришел в себя, вспомнил мучительную свою думу о гниющем сене и поспешно встал.

— Хоть бы уж господь вёдра-то дал! И сено преет, и рожь течет...

— Небось успеем. Чего ты больно сурьезен? — возразил весело мой хозяин.

— Да ведь вытечет вся!

— Ничего, бог даст, за все наверстаем. Пойдем-ка, братцы, покосить... Ишь как солнце-то жарит! Надо поторапливаться! Ну-ка, господи благослови!

Это было знаком спешной работы. Игнат чуть не бегом бросился к своей семье на сенокосе, а мы принялись торопливо нагонять потерянное время.

Солнце действительно жарило. На земле была своего рода баня, наполненная горячими парами.

X

Вслед за дождями наступили знойные дни. Удушливый жар охватил всю землю и, казалось, все живое. Пыль густыми клубами, а часто непроницаемыми стенами носилась в раскаленном воздухе. При такой-то обстановке продолжались наши полевые работы. Вслед за уборкой сена, с которым нам удалось-таки развязаться, подошло жнитво. Мы с Митрофанычем почти не покидали поля, где работали и ночевали. Только по субботам вечером мы приезжали домой и отдыхали все воскресенье.

Женская половина наша также безотлучно оставалась на жнивах; но на ночь Василиса и Даша уходили домой и прибирали там огород, корову с теленком, приготовляя в то же время для всех пищу. Василиса ходила беременной, но никому в голову не приходило освободить ее от жнитва. Наравне со всеми, не разгибая спины, она терялась в густой заросли ржи.

Я проводил жнитво однообразно: целый день работа и небольшие промежутки завтрака, обеда, ужина и сна непробудного. К моему удовольствию, недалеко от наших полос была река, и мы с Васькой два раза в день ездили туда верхом на лошадях купаться. За полчаса до обеда я бросал серп, и мы спешили взобраться на лошадей и скакали к реке; там, напоив лошадей, мы бросались в воду и как можно дольше старались оттянуть время обеда.

Я купался, пока по всему уставшему телу не пройдет дрожь, а Васька готов был сто раз влезать в реку и вылезать; он часто так долго барахтался в воде, что делался синим, как утопленник, и нижняя челюсть била дробь. Это нисколько нам не вредило.

Некогда перед купаньем я должен был простынуть, а после купанья непременно завернуться в простыню, причем голову вытереть насухо... Теперь я бросался в воду, когда крупные капли пота струились по мне и тело горело; в воде оставался до дрожи, а вылезая, прямо натягивал первобытный костюм и не обращал внимания на струившуюся с головы воду; обязанность высушить волосы мы предоставляли солнцу и ветру; вследствие этого на наших лицах два раза в день менялась кожа; у Васьки же лицо совершенно облупилось, в особенности же нос, на котором шкура висела, как шелуха на плохо очищенной картошке.

Совесть, впрочем, скоро начинала меня мучить; мы торопливо выскакивали из воды и скакали к становищу, где уже все наши сидели под тенью, ожидая нас.

После обеда отдых с час; вечером, перед ужином, мы опять с Васькой скакали к реке поить лошадей и купаться; потом ужин и сон. Это однообразие доставляло мне ощущение покоя, беззаботности и силы. Я стал крепким и равнодушным. Для меня теперь ничего не стоило босиком ходить по грязи или росе; одевался я с первобытною простотой, ел такие вещи, которые раньше считал несъедобными; спал на голой земле, и часто по утренникам волосы и грудь моя покрывались росой, — это ничего. Я сделался вполне равнодушным к жару и холоду, к ветру и дождю, к грязи и пыли. Чувство силы так прочно утвердилось во мне, что боязнь всякого рода перед жизненными невзгодами целиком исчезла во мне.

Митрофаныч то и дело напоминал мне о совершившемся со мною перевороте, да и другие все еще не могли примириться с тем фактом, что еще несколько месяцев тому назад я был барин, а теперь распоясанный человек. Я видел также, что ни Митрофаныч, ни другие до сих пор не могут понять, как я очутился между ними и стал другом их, как и они мне; да я, пожалуй, и сам не в состоянии был объяснить достаточно резонно свое появление в чужой крестьянской семье. Случай — вот и все. Я как с неба свалился.

— Одно слово, случай! — говорил Митрофаныч.

— Такому случаю я теперь рад, — возражал я.

— Да уж там рад или не рад, а попал к нам, — больше ничего.

— А знаешь что... — говорил в другой раз за полевым обедом Митрофаныч. — Ведь ты к нам в дом принес счастье! Все у нас пошло с тех пор дельно.

— Может быть, и мне ваш дом принес счастье? — возражал я шутливо.

— Ну, этого мы не знаем, потому работаешь ты до смерти. Но ты же, что касательно нашего дома, то это верно — принес ты в дом счастье. Как ты поселился, все у нас пошло ладно — и огород, и две лошади, и урожай не в пример... Очень просто,

бывают на свете такие люди, что счастье с собой приносят, так и ты.

— Ну, это, кажется, не совсем верно, — возразил я, вспомнив недавнее прошлое, когда я приносил одно несчастие себе и другим.

— Я так полагаю, что бог тебя должен наградить за это! — сказал Митрофаныч с глубочайшею верой.

— Ну, этого я не знаю, должен или не должен бог меня наградить. А пока что мне у вас хорошо... Вперед же не будем загадывать.

Мы действительно и не загадывали. Я до сих пор почему-то избегал рассказа о своей прежней жизни, познакомив моих простых друзей только с отрывками ее; они же из чувства деликатности не расспрашивали меня.

Так и текла моя жизнь день за днем, без прошедшего и без будущего. Я втянулся в работу, гнул спину на жнитве, трясся на рыдване со снопами, встречал за бодрою работой утренний восход солнца из-за леса и провожал его вечером за холм, где оно, в последний раз позолотив желтые нивы, падало в ночную мглу. Если это назвать счастьем, то оно у меня было; если это только довольство, то я его испытывал в полной мере. Ни одно из тех убийственных волнений, какими богата была моя прежняя жизнь, больше не посещало меня.

Когда наставал вечер субботы, мы все отправлялись домой, и я располагался спать; спал целую ночь в абсолютном забытьи, спал и половину дня воскресенья. Затем с Дашей и Васькой мы отправлялись на мельницу.

Ко всем остальным деревенским явлениям я относился безразлично. Случалось видеть драки, ругань, эксплуатацию бедняка богачом, подлость бедного против бедного; видел то и дело я, как в праздник какой-нибудь мужик летит к кабаку, прижав судорожно женин сарафан к груди, а за ним с воплями бежит жена; видел и толпы пьяных вповалку, и смерти от истощения, и жизнь впроголодь; но все это как-то мимо меня проскользало: я в этом не участвовал и равнодушно проходил мимо всего этого. Было ли это равнодушие свойственно всем деревенским людям, или только я, занятый тяжелыми и приятными телесными ощущениями, оставался бесчувственным к окружающему?

Я уже говорил, с каким спокойствием я теперь переносил холод и жар, утомление и муки; раз я напорол острою щепкой ногу себе — и ничего; боль в ноге нисколько не обеспокоила меня. Так же равнодушно я смотрел и на чужие невзгоды.

Я ничем не волновался и все видимое признавал естественным.

Но однажды я был выведен из этого, по новизне, приятного состояния. Это было в воскресенье. По обыкновению, до обеда я спал на сеновале. Собственно, трудно это даже сном назвать —

я лежал скорее как мертвый. Накануне мы очень устали. Когда, наконец, я проснулся, то несколько минут протирал глаза, ничего не видя из-под опухших век и не будучи в состоянии понять, где я. Спрыгнув с сеновала на двор, я несколько времени слепо тыкался между рыдванами. Словом, очумел. Света я не мог выносить и протирал глаза. Затем вышел на улицу, где около ворот нашего дома стояли кучкой все наши. Несколько человек пробежало вдоль улицы. Делая руку козырьком, все смотрели в ту сторону, куда бежали бабы и ребятишки. Я так же сделал, но ничего не понимал.

— Куда это бегут? — спросил я.

— Надо полагать, к Ваське Сайкину, — спокойно проговорил Митрофаныч.

— Что же там такое?

— Да надо полагать, дерется он с женой. Беспременно лупит жену, уж не иначе... — ответил так же равнодушно Митрофаныч.

— Зачем?

— Кто ж их разберет! Лупит, да и все. Охальник, что с него возьмешь?

— Да за что же он лупит?

— Больше ничего как охальник, самый пустой мужичонко. Придет домой и давай бить — вожжами, чересседельником, а то и просто поленом... чу! плачет кто-то... Беспременно это Васька свою хозяйку бучит!

Василиса и Даша, взволнованные, побежали к Васькиному двору, а мы с Митрофанычем остались у своих ворот. Но на этот раз меня что-то обеспокоило.

— Пойдем и мы посмотрим! — предложил я Митрофанычу.

— Да чего смотреть-то этого пса?.. А между прочим, пойдем...

Через несколько минут мы уже были на месте происшествия и увидели всю сцену.

Сцена представляла бедный пустой двор; на середине двора телега. Действующие лица: Васька Сайкин, показавшийся мне теперь более злым и скверным мужичонком, чем в первое наше знакомство, и его жена. Васька сидел на пороге двери и презрительно огрызался по сторонам. Жена была привязана за косы к перекладине рыдвана; по лицу ее, во многих местах подбитому, текли слезы с сукровицей. В глубине сцены из-за плетня виднелись головы ребятишек, поместившихся между кольями плетня. На авансцене стоял «народ» — бабы, ребята и несколько мужиков, в том числе и мы с Митрофанычем.

— Пусти меня, Степаныч!.. — слабо вдруг проговорила жена, умоляя.

— Ничего, постоишь! — возражал Васька.

— Степаныч... отвяжи меня, не срами!.. — продолжала женщина умолять.

Васька молчал.

— Ну, уж будет, Васька! Развяжи! — сказал кто-то из публики.

— Ничего, постоит! — с тупою злостью повторял Васька.

— Отпусти, Степаныч! — еще раз слабо проговорила распятая женщина.

В толпе прошла волна сожалений, восклицаний и вздохов. Одна из баб принялась ругать скверного мужичонку:

— Побойся бога, охальник! Чего ты куражишься-то над бабой?

— А тебе какое, например, дело? — нагло возразил Васька.

— За что ты бесперечь куражишься? Да еще и за косы привязал! Креста на тебе нет, свинья ты эдакая!

— В чужое дело не лезь. Над душой ейной не волён только я, а бить никто не смеет запретить!

— Ах ты, пьянчуга безобразная! Ну, развяжи, хоть ради Христа! Побойся бога...

В толпе слышались опять вздохи, сожаления и ругань по адресу озверевшего мужа, но отнять из его рук измученную побоями и позором жену, по-видимому, никто не думал. Толпа молчаливо признавала право мужа «учить» жену.



Со мной вдруг что-то страшное сделалось; в глазах помутилось; волнение охватило меня, но наружно я оставался хладнокровным. Выступив из толпы, я подошел к Ваське и спокойно сказал ему:

— Развяжи сейчас.

Мужичонко закосил глазами, поднялся с порога — и была минута, когда я думал, что он, поджавши хвост, исполнит мое внезапное приказание. Но вместо этого он вдруг нагло взглянул на меня и с злою улыбкой закричал:

— А ты кто такой? Ишь какой нашелся

указчик! Проваливай своею дорогой! Я волён! Никто не смеет!..

Я размахнулся и ударил его, раз и другой, потом схватил за ворот его рубахи и бросил об пол.

Мне теперь тяжело об этом вспомнить, но тогда я не соображал, что делаю. Ошеломив мужичонку, я наскоро отвязал от перекладины косы женщины, взял ее за руку, провел через толпу, в которой слышался ропот одобрения, и повел ее к себе домой.

По дороге меня догнал Митрофаныч.

— Ловко! — закричал он мне.

Женщина всю дорогу плакала; а когда мы привели ее в нашу избу, плач ее превратился в глухое рыдание. Василиса и Даша едва успокоили ее, а я принялся ей объяснять, что муж не имеет права бить ее, что она может жаловаться на него; в крайнем случае он ей обязан выдать отдельный паспорт. Наконец я дал ей слово, что не оставлю этого дела и постараюсь засадить негодяя в «темную» за издевательство.

— Ты уж прости его, не трожь! — вдруг испуганно возразила мне избитая женщина.

— Как простить?

— Не трожь его... Ведь он — все же муж, — испуганно повторяла женщина.

Я заранее предвидел этот результат и с помощью Митрофаныча стал убеждать бабу, чтоб она своею покорностью не испортила окончательно мужичонку; такие мелкие звери, как этот Сайкин, от покорности только больше звереют. Никто не хочет, чтоб она бросила мужа, но должна же она знать, что, наравне с прочими людьми, она имеет право обороняться от побоев. Насилу мы убедили бабу.

На другой день я написал курьезное прошение в волость, прося волостной суд посечь драчуна, а в случае дальнейшего его упрямства — отнять у него жену. Эту бумагу я сам снес в избу Васьки Сайкина, вручил его жене и заявил торжественным тоном самому Ваське, что с этого дня я неотлучно буду следить за ним, и если он еще будет безобразничать, то не миновать ему острога.

К моему счастью, мужичонко оказался в высшей степени трусливым и перепугался меня.

Но с этого дня пропало мое хладнокровие и самодовольствие. Я впутался руками и ногами в деревенский мирок. Воображение обиженных наделило меня необыкновенною силой; обремененные неправдой приписали мне чрезвычайную власть. Я с этого дня должен был разбирать тяжбы, мирить, грозить, лаяться и судиться. Вместе с друзьями у меня скоро образовались враги. И много этих врагов выползло откуда-то из щелей. Да я и сам

разделил нашу деревню на друзей и врагов, вроде Васьки Сайкина.

Сам того не желая и не ожидая, я скоро очутился в центре какой-то каши и уже не имел возможности вылезти из нее. Это еще крепче прикрепило меня к деревне.

XI

Но все чаще и чаще стало находить на меня раздумье. Иногда, по-видимому без всякой причины, вдруг пробежит в сердце тревожная мысль, заденет знакомую струну, задрожит эта струна, и болезненный звук ее отзовется острою тоской. Потом бесследно все проходит — и опять я спокоен.

Природа в конце лета сама по себе вызывает это чувство тайной грусти. Кругом везде поля, остриженные косой и серпом. На лугах рельефно обрисовывается каждый кустик тальника, каждый стог сена; ни одного цветка; жаворонок не поет больше под густою зеленью; перепелу негде укрыться; ветер свободно гуляет, свистит и рвет по чистой равнине возле стогов. Не видно стен хлебных полей, — они сжаты и сложены в скирды. Полуобнаженная земля, с торчащею всюду щеткой соломы, как будто засыпает. Тишина кругом. Выйдешь в поле — и одиночество охватит тебя.

Страда кончилась. Поля обезлюдели. Изредка проедет воз со снопами и спугнет стаю голубей, подбирающих по дорогам зерна. Кончилась торопливость. Люди все на гумнах, на мельнице да на базарах. Кто молотит, кто спешит в город с мешками нового хлеба. Истощенные, заработавшиеся мужики спешат удовлетворить забытые на время нужды. Деревня оживилась; во дворах и избах — везде люди. Каждый старается быть больше у себя дома, в семье, среди знакомой обстановки.

А у меня нет дома, нет семьи и угла. Я — везде чужой и вечный скиталец. Пробежит эта мысль, сожмет сердце, и знакомая струна зазвучит тоской одиночества.

Я забылся во время спешных полевых работ. Теперь что делать? Никакого определенного плана на будущее у меня не было; об этом будущем я старался вовсе не думать. Но чувство тревоги не умолкало. Смутно я чувствовал, что должен уезжать отсюда. Я — чужой здесь; но где же мой дом? Мои друзья любили меня, но среди них мне не было уж дела. А где же мое дело? Уехать я куда-то должен, — не моя эта деревня, не мой город, не моя родина... Но где же моя родина?

Оканчивалось лето, а вместе с ним оканчивалось и мое пребывание здесь. Ехать я куда-то должен. Довольно! подышал чистым воздухом полей, пожил среди простых и добрых людей и должен

ехать куда-то к своим делам. И мне становилось грустно. Это тяжелое чувство прощания с милыми знакомо мне с раннего детства. Помню, когда, после весело проведенного ваката среди родной семьи, я должен был ехать в чужой город, к противным книжкам, в холодный казенный дом, мне так же становилось жутко; за несколько дней до отъезда из родного дома я переставал играть, умолкал, лицо мое вдруг вытягивалось, и по сердцу пробегала острая боль. Скверные эти книжонки, проклятый этот холодный дом, придуманный как острог для свободных детей!.. Отчего человек не может делать то, что ему хочется, и жить там, где ему нравится? В последний день пребывания дома на меня нападало мрачное озлобление. Но, прощаясь с матерью и сестрами, я не плакал; со стиснутыми зубами я холодно целовал близких и садился в экипаж. Ни одного вздоха, ни одной слезы на похолодевшем моем лице. Пара с колокольчиком выезжала со двора. Как весело звенел этот колокольчик, когда я ехал домой, и как больно он теперь резал мое маленькое наболевшее сердце, увозя меня в бездушный, холодный дом!

Впрочем, я еще позабывал и подавлял звуки этих струн. Сейчас же после жнитва мы начали молотьбу. Это тяжелая, но веселая работа. Погода стояла чудесная; солнце ярко горело; только по вечерам делалось уже холодно. Снопы были совершенно сухие, и не было нужды прибегать к овину.

Владеть цепом я научился дня через два, после того как раз пять съездил себя по затылку. Но работы было много и помимо собственно молотьбы: ворочать обмолоченные снопы, перетрясать солому, снимать мякину, подкидывать новые ряды. Для ускорения работы мы сделали два тока; на одном молотили цепами мы с Митрофанычем и Дашей, на другом Васька гонял наших двух лошадей по кругу. Работали все, но не уставая так, как на косьбе или во время жнитва; обедали дома; пили по вечерам чай.

Посреди этих веселых работ, среди соломы, мякины, ворохов зерна, меня вдруг застигло событие, неожиданно ворвавшееся в нашу мирную жизнь, как резкий звук, раздавшийся в тишине.

Первые дни осени. Солнце еще ласково грело, но в воздухе нет-нет пробежит холодная струя. В вышине небес, перекликаясь, летели журавли. По всей природе разлита была нега, и каждый предмет, казалось, говорил: прости-прощай до будущей весны!

Мы все были на гумне, кроме Митрофаныча, отлучившегося зачем-то домой. Лошади прытко бегали по кругу, подгоняемые гиканьем и бичом Васьки. Я сидел по уши в сгребенной соломе и отдыхал. Вдруг показался Митрофаныч. Лицо его было необычайно задумчиво, — таким я никогда его не видал. В руке он держал какой-то конверт, измаранный, измятый и порванный.

— На вот тебе письмо, — проговорил он и подал мне запачканный конверт.

Я посмотрел: действительно мне. Но кто это вздумал тревожить меня, и как это письмо дошло? Я никому не писал. Прочитав еще раз конверт, я увидал, что адресовано оно на то имение, в которое я ехал, но куда не попал.

— Из волости десятский принес... Стало быть, тебе, — пояснил глухо Митрофаныч и отвернулся от меня. Вид его был почти враждебный, лицо мрачное. Он как будто говорил мне: «Чужой ты нам». Васька перестал гонять лошадей. Василиса молча, с испуганным лицом, ушла домой, чтобы покормить своего грудного ребенка, оставленного на попечении какой-то старухи.

Даша стояла недалеко от меня с опущенными руками, бледная и застывшая в одной позе. Письмо явилось каким-то злым духом. Оно напомнило всем, что я тут чужой, что где-то далеко у меня есть свое место, свои дела и свои друзья, к которым и призывает меня грязное, захватанное письмо. Я сам вдруг похолодел, и мне почему-то стало стыдно перед друзьями. Письмо жгло мне руку... нет, оно внушало мне отвращение, как что-то гадливое. Я долго его не распечатывал, почему-то думая, что этим я оскорблю своих друзей. Я имею свои тайны, свои дела, свою жизнь, и чужой на этой соломе, среди этих добрых людей. И мне хотелось разорвать запачканное письмо в клочки и клочки растоптать ногами.

Но, вместо этого неразумного желания, я молча поднялся с места и пошел прочь с гумна. Пройдя канавы, окружающие все гумна, я вышел в поле и направился в противоположную сторону от деревни. Шел я быстро, без дороги, не зная куда, только хотел как можно больше и дальше пройти.

На ходу я, наконец, разорвал конверт и пробежал все письмо в один миг. Оно было от того из моих друзей, который посоветовал мне уехать из столицы; написано было в шутливом тоне, но конец его состоял из предложения немедленно возвратиться в столицу, где отыскалось для меня хорошее место. «Про тебя здесь прошел курьезный слух, — говорилось в письме, — будто ты вздумал опроститься, ходишь без панталон, голову не чешешь, учишься вывозить навоз. Говорят еще, что ты нанялся в батраки к мужику, и он называет тебя Ванькой, ругает нецензурно, когда ты сделаешь не так, и бьет тебя по шее, когда ты возражаешь. Я думаю, что это неправда. Мне передавали еще, что ты опроститься хочешь радикально, то есть сделаться настоящим мужиком; а настоящий мужик есть такое существо, которое от января до июня ест мякину, которое хронически порют в волости, которое уверено, что вверху бог, в середине дьявол, а на дне три кита... Я и этому не верю. Я знаю, что твоя голова наполнена оригинальными мечтами, но я помню твою способность ко всему относиться критически. Быть может, ты вздумал слиться с народом, но я отказываюсь думать, чтобы ты затеял это слияние в той форме, как про тебя болтают. Ибо хорошо сделаться трудящимся работни-

ком, но какой смысл сливаться с массой теми сторонами, против которых мыслящее существо должно бороться? Какой смысл в том, если барин вдруг сделается мужиком, станет есть толокно, будет ходить без панталон, позволит себя сечь и начнет лаять на науку и цивилизацию, разучится читать, наденет лапти и выпачкает лицо навозом? Неужели он этим принесет кому-нибудь пользу?.. Но в сторону шутки. Здесь тебе нашлось порядочное место, жалованья 1200 сначала и по мере заслуги — прибавка. Но главное, место по тебе и не вызовет твоей брезгливости. Приезжай поскорее. Я очень рад, что такой хороший случай выпал».

Вот содержание письма. Я скомкал его в руке и продолжал шагать по жнивам, чрез рытвины, среди кустов шиповника, спотыкаясь в ямах. Страшная тоска сжала мне сердце, и у меня нечем было заглушить ее. Слепо шагая по жнивам, я ничего вокруг себя не видел, весь погруженный в отвратительные воспоминания.

Итак, я должен ехать. Кончился летний покой — и я должен ехать на место. Все забытое снова возвратилось и впилось в меня сотнями скверных воспоминаний.

Я получу место и займусь квартирой. Надо заказать визитные карточки, три пары панталон, черную пару, квартиру надо поприличнее. Визиты. Людская пошлость требует, чтобы признанные приличия были все соблюдены. У всех такая же мебель, одинаковые кабинеты, одинаковые прически, манеры, улыбки, поклоны, но все из кожи лезут, чтобы отличиться и затмить друг друга.

И снова эта ложь, насквозь, как ржавчина, проедающая людей. В действительности каждый думает о прибавке жалованья, а говорит о правде и любви. Опять вероломные рабы, трусливые в душе, но за углом сплетничающие против сильных, — куда от них деться?

Итак, я еду... Но как скучно!..

— Антошка-а-а!.. — вдруг донесся до меня откуда-то издалека голос мужика, повторяясь эхом леса.

Я вздрогнул и пришел в себя.

Незаметно я прошел несколько верст и очутился в густом лесу; капли пота струились по моему лицу. Усталость во всех членах. Я присел на ствол упавшей березы.

Где-то вдалеке раздавался резко стук топора. Вероятно, мужик рубил купленную у казны сажень; должно быть, он был здесь не один, а с кем-нибудь из своих домашних, потому что я еще несколько раз слышал его клич:

— Антошка-а!

Но Антошка, должно быть, запропастился и вывел мужика из терпения, потому что до меня донеслось раздражительное увещание:

— Антошка-а! Иди, пострел, нады склада-ать!.. — Потом все замолкло. Недалеко от меня пострекотала сорока, но она улетела. Мертвая тишина стояла в лесу. Склонившееся к западу солнце бросало длинные тени от деревьев; на земле под лесным шатром сделалось уже прохладно и сыро. Ни малейшего ветерка. Деревья неподвижно застыли в полумраке. Только кое-где слышался шелест падающего желтого листа. Много уже было этих желтых листьев, предвестников близкой осени.

Внезапный покой овладел всем моим утомленным телом, а призывание неизвестным мужиком какого-то Антошки дало другое направление моей изнеможенной мысли. Мне даже смешным показалось то злобное волнение, с которым я читал письмо. Сидя на поваленной березе, я отдыхал и чувствовал себя покойно. Если бы кто-нибудь мне в эту минуту приказал встать и идти, я не послушался бы, — мне и здесь хорошо! Не сдвинусь я с этой березы — только и всего! Отлично и здесь.

И вдруг среди темных мыслей, полных отчаяния, появилась какая-то светлая точка, и по мере того как я отдыхал, она все росла, росла, освещала темные углы души, играла веселыми лучами посреди мрачных воспоминаний, проникла в самое сердце, брызнув там внезапною радостью, и, наконец, залила ярким светом всю мою душу... Удивление и радость вдруг с такою силой овладели мною, что я поднялся с гнилой березы и крикнул на весь лес: «Да кто же заставляет меня уехать отсюда?!.»

Зачем мне покидать деревню, где мне так покойно? Какие это такие обязанности призывают меня? В 1200 рублей оклад? Да наплевать на все! Не поеду. Хоть раз в жизни быть оригинальным и свободным. Ничего не бояться, сбросить с себя иго привычек, не ходить пошлыми путями, пробить собственную дорогу — боже! — какое это счастье!

Не поеду — только и всего. Здесь мне отлично. Физический труд даст мне здоровье; простая жизнь деревенского обывателя избавит от миллиона презренных мучений из-за мебели, из-за фрака, из-за всего того, что считается для порядочного человека обязательным; жизнь посреди кучи мужиков освободит меня от тех вольных и невольных лгунов, которые возбуждали во мне такое сумасшедшее озлобление.

Свет, внезапно озаривший меня, осветил и все то, что до сих пор темно мне было. Когда, бывало, я платонически мечтал о жизни в деревне, то эти мечты всегда оканчивались ужасом за того бога, которому я молился, — за мысль. Я боялся, что мысль и телесный труд — два конца, никогда не соединяющиеся. Я боялся, что тьма обязательно должна окутывать всякий физический труд, и невежество — естественное следствие деревенской жизни. Теперь свет проник и в этот темный угол.

Что же заставляет меня разбить этого бога?

На свете нет ничего дороже мысли. Она — начало и конец всего бытия, причина и следствие, движущая сила и последняя цель. Кто же заставит меня отказаться от нее? Люди прекрасны только в той мере, в какой вложена в них эта мировая сила. Если мир окутывает еще тьма, то потому только, что мысль не осветила ее; если среди людей большая часть подлых, то только потому, что мысль не освободила еще их от безумия. Какой же смысл отказываться от нее? Я останусь в деревне, но значит ли это, что я должен опрокинуть тот жертвенник, который поддерживает мою веру, и разбить того бога, выше которого нет ничего в человеческой жизни? Моя мысль, мои познания — ведь это все, что есть только лучшего во мне; но если это лучшее для меня, то в то же время необходимое и для всех людей, кто бы они ни были — мужики, женщины, дети. Не большая заслуга сделаться работником; не большая заслуга «выпачкать лицо навозом» и в этот же навоз втоптать свою душу. Слепые вожди — те, которые, унижая человеческий ум и все то, что он добыл с такими кровавыми жертвами, проповедуют слияние с тьмой. Позорное употребление из своего ума делает тот, кто поднимает невежество на пьедестал...

Кто накормит голодного, тот сделает благородный поступок; но в миллион раз выше тот, кто отдаст нищему духом свою мысль, кто напоит его жажду знания, кто научит его чему-нибудь, кто зажжет свет там, где царила тьма. Пожертвовать бедному кусок хлеба не тяжело и не трудно добывать хлеб своими руками, но отдать всю свою жизнь, всю свою душу тому, кто лишен средств заботиться о своей голове, — выше этого нет другой жертвы.

Но для меня же это и не жертва! В обмен на то, что́ я хочу дать деревне, я получу от нее здоровье, волю и покой...

Взволнованный этими мыслями, которые так внезапно, как лучи скрытого тучей солнца, проницали всего меня, я бродил по лесным лужайкам, осторожно пробирался среди зарослей боярки и умерял свой шаг. Мне хотелось бежать, смеяться, петь, но мне казалось, что этим я спугну свое настроение. И я осторожно ступал, сдерживая радость, и сдерживал возбужденный организм, боясь потерять хоть одну из тех мыслей, которые цеплялись одна за другую, сливаясь в стройный хор.

Но день угасал. Когда я вышел на опушку леса, красный огненный шар солнца тонул уже на горизонте в пропасть ночи; последние лучи его озолотили кусты осинника, горевшего своими красными листьями, и стволы берез, сверкавших ослепительным блеском. Я поторопился домой, выбирая самую кратчайшую дорогу, но уже не шагал через рытвины, не путался ногами по жнивам ржи.

Поздно я пришел домой. Все наши сидели за ужином, и тяжелое молчание царило над столом. То же натянутое молчание

встретило и меня; только Василиса сдержанно пригласила меня сесть за стол. Но мне было весело, и я сейчас же поделился своим настроением.

— Что, докончили копну? — спросил я.

— Прикончили... — глухо возразил Митрофаныч, и лицо его в темноте казалось еще мрачнее. Очевидно было, что вещи для него приняли мрачный, отчаянный оттенок.

— Солому сметали?

— Солому-то?.. Черта лысого ее смечешь!

— Ну, завтра смечем. Теперь пойдет все хорошо...

— Пес ее возьми, — скоро ее соберешь!

— Ну, завтра, ну, через неделю... всё обмолотим...

Митрофаныч взглянул на меня мельком, очевидно колеблясь, как принять мои слова.

— Да через неделю-то, может, дожди пойдут... изгадят все дело!

— Пойдут и перестанут. Не успеем обмолотить теперь, осенью выберутся красные дни...

— Осенью?!

— А то что же? Не обмолотим сейчас, осенью кончим, — говорил я.

Митрофаныч недоумевал. Но я заметил, что туча, обещавшая столько грому и отчаяния, на его лице начала мало-помалу распускаться. Сперва луч света появился в одном глазе, разгладил одну морщину на лбу, приподнял шерсть густой брови и затем спустился вниз, искривив рот в недоумевающую улыбку.

— Ты разве того... осенью разве ты не уедешь?

— А куда мне ехать-то? Не поеду — только и всего.

— Не поедешь?!

— Деревня ваша мне понравилась, — куда же мне ехать? Наплевать!

— То и я воображаю, зачем уезжать-то, коли тут ладно... Да нет, ты скажи путем, сурьезно ты эти самые слова, например, говоришь? — спросил Митрофаныч с широкою улыбкой, но все еще не веря ушам.

— На что же серьезнее! Ведь для меня дело идет о жизни и смерти. Вот и решился остаться. А насчет того, как лучше все это обделать, надо уж с вами посоветоваться.

Ужин все забыли, а Митрофаныч вылез из-за стола, где ему стало тесно. Чтобы говорить, ему нужно было встать посредине избы, где можно свободно размахивать руками и расставлять пятерни в воздухе. Кроме того, кричать и хохотать на всю деревню также было неудобно, сидя в узком пространстве между стеной и столом.

— Так ты думаешь... того... ладно тут у нас?

— Ничего, понравилось.

— Ловко! Остаешься, например, окончательно?

— Навсегда. Только теперь и боюсь, как я буду жить-то? Вот и надо посоветоваться с вами.

Затем я в первый раз рассказал в этой избе свою жизнь. Василиса сидела на лавке около зыбки и тихо качала ее; слушая меня, она совершенно некстати заплакала. Даша сжалась вся возле печки, где она стояла, и замерла в этой позе. Митрофаныч стоял посредине, расставив ноги, и от времени до времени выражал мне одобрения:

— Так, так!.. Очень просто!

Я, насколько можно было яснее, рассказал жизнь образованного человека, который принужден делать дела, никому не нужные, находиться там, где нет ни света, ни воздуха, и вечно мучиться невозможностью жить по душе.

— Но все-таки я боюсь остаться и здесь... Чем я буду жить? — спросил я Митрофаныча.

— Жить-то чем?

— Да. Ну-ка, посоветуй мне...

В избе тихо вдруг стало. За печкой трещал сверчок; где-то на улице лаяла собака; перед нашим домом проехал запоздавший воз со снопами, скрипя сухими колесами. Темная это была ночь; мы едва различали очертания фигур друг друга. Но спать никто и не думал идти.

— Как жить-то? — переспросил Митрофаныч задумчиво.

— Да, как получше устроиться...

— Вот что я тебе скажу, Миколаич... Ежели тебе сказать по совести, и, то есть, умно чтобы, сурьезно вышло, то эту штуку надо обдумать поаккуратнее. Стало быть, в одну минуту эдакую загвоздку нельзя распознать, вот что я тебе прямо скажу. Но что касаемое насчет как тебе прокормиться, то ты плюнь на это... вот ей-богу!

— Как же это плюнуть? — возразил я.

— То есть по совести скажу — плюнь на это, не бойся! Авось прокормим. То есть деревня наша тебя превосходно прокормит... не бойся! Уж ежели мы кормим разных иностранных народов, — а большие тысячи прохвостов околачивают около нашего брата! — то как же не прокормить нужного-то человека? Ты вот это рассуди и плюнь! Не бойся, прокормим!

— Все-таки я не понимаю... что же, мирским сиротой, что ли, мне сделаться?

— Эка куда метнул! Нет, не сирота, а нужный человек! Ты вот как понимай: идет к тебе мужик за всякою нуждой, и ты удружи — и как же он забудет тебя? Ты только не бойся, — прокормим, наплюй на эту думу! А главное — не бойся, — это первое дело.

— Так оставаться?

— Господи боже мой! Про что же и говорю-то... А главное — не бойся, никакого лысого черта не бойся! Ни нужды, ни трудов не бойся, — наплюй!

В таком роде мы еще долго объяснялись. Митрофаныч был сильно взволнован и потому, быть может, не в состоянии был ничего придумать и только бесчисленное число раз повторял: «наплюй, не бойся!» Он как будто видел, что я колеблюсь, и потому старался этими энергическими словами ободрить меня.

Только в глухую полночь мы все разошлись по своим местам. Но и тут сон бежал от наших глаз. Я действительно решал свою жизнь, и все понимали, что это дело глубоко важно, что его надо обсудить аккуратно, со всех сторон, и что пустые слова не у места здесь. Надо мной простерлось глубокое темное небо с мириадами звезд, которые ярко горели. По всей деревне стояла мертвая тишина. Только подо мной, под навесом, раздавалось равномерное хрустенье сена на зубах наших лошадей.

Я так был взволнован, что долго не мог заснуть. Митрофаныч также не спал; несколько раз он выходил из сеней на двор и окликал меня:

— Миколаич!

— Что?

— Не спишь?

— Нет еще.

— Ну ничего... Ты только не бойся!.. Наплюй!

Я подозревал, что ему на дворе и делать-то нечего было, а выходил он только с тою целью, чтобы еще раз ободрить меня.

XII

Все пошло по-старому.

С следующего же дня мы все принялись за текущие работы. Но тревога насчет своего положения не покидала меня. Да и Митрофанычу я задал работу: он все следующие дни ходил задумчивым, очевидно решая загвоздку. Даже Василиса приняла участие в придумывании для меня положения. Впрочем, как человек практичный, она скоро нашла выход. Дело оказалось, на ее взгляд, очень просто: я пишу бабам письма, мужикам — прошения, а денег за это не беру. Но отчего же не брать? У кого не найдется пятака, — пусть принесет десяток яиц, у кого яиц нет, — муки, если муки нет, — давай что есть.

Но Митрофаныч возмутился против такого бабьего решения.

— Не ладно ты это говоришь, прямо сказать — по-бабьи говоришь! — сказал он.

— Что не ладно?.. Даром-то кто бы им грамотку написал? — упорно отстаивала свое мнение Василиса.

— Окончательно по-бабьи!

— Заладил одно: «по-бабьи»! Ну, сам придумай умным мужичьим умом!

— И придумаем!

— Много ты придумал!.. Только кричишь на всю улицу да кур пугаешь! А я дело говорю.

— Никакого тут дела нет, а только бабье соображение... Ну, посуди сама: ну, можно ли пробавляться насчет писем, которые письма даже не всякую неделю бывают? Ну, что ты сделаешь, ежели тебе неделю не принесут, — стало быть, и яиц не принесут, и муки не дадут, и пятака лишат, — что ж, голодом сидеть? Нет, это, значит, не того... не зарабатывать кусок, а цапать... Ты как полагаешь, Миколаич?

— Думаю, что на письма и прошения не проживешь.

— Вот ей-богу верно! Который человек будет цапать пятаки за просьбы, — и тот пропащий человек, — помрет от нужды...

Этот разговор происходил за обедом; теперь сделалось правилом: как только за обед, так сейчас же принимаемся спорить по поводу моей задачи. Митрофаныч все это время находился в сильнейшем раздражении; голова его занята была мной, но, видимо, придумать он ничего не мог. Всем соседям, всей деревне он разболтал о том, что я остаюсь навсегда здесь, но пока из этого ничего не вышло.

Но однажды, возвратившись с мельницы, он что-то кричал в избе, размахивая своими лапами на все четыре стороны. Я думал, что с ним какое-нибудь несчастие случилось. Мы все сбежались на его крик.

— Ловко! То есть такую штуку я придумал, что лучше не надо! — кричал он, когда мы все собрались. — Вот мы и придумали! Уж это такая штука... лучше и не надо! Стало быть, теперь дело наше в шляпе. Прямо сказать — дело это окончательно обсужено, прилажено и приходится точка в точку, как раз для тебя!

— Да в чем дело? Что ты придумал? — спросил я, недоумевая.

— Мельницу!

— То есть как это мельницу?

— Да так, мельницу — и больше ничего! Ка-ак раз к тебе подходит. Слушай, мельница энта наша, например, мирская. Сдаем мы ее на пять годов. Пять годов приходится на Покров. Стало быть, нам следует сдавать ее еще на пять годов. Понял?

И, говоря это, Митрофаныч разинул рот в широкую улыбку.

— Не совсем, — возразил я.

— Слушай дальше. Сдаем мы мельницу на пять годов, и срок ей на Покров. Стало быть, нам следует сдать ее опять. Вот я и придумал, чтобы ты взял мельницу. Тому съемщику мы уж не

сдадим, потому он ее загадил, забросил, и теперь она вот-вот упадет под плотину. Тебе же мир сдаст — знает он тебя довольно! С которыми мужиками я уж и говорил: «Ничего, говорят, пущай берет! С полным удовольствием!» А дело ка-ак раз к тебе! Жирно не будет, а хлеб завсегда. И работа легкая... Засыпку будешь держать... Ловко?

— Очень хорошо. Только ты, кажется, упустил малость, — сказал я, занятый серьезно предложением Митрофаныча. — Ты забыл, что у меня нет ни гроша денег для уплаты аренды.

— А разве тебе господа, которые друзья, не дадут? — спросил Митрофаныч растерянно.

— Не дадут. Да я и просить не хочу.

— Ах, грех какой! А ведь я-то как мечтал!.. Ну, так!.. Все пошло прахом, к черту лысому!

Лицо его вдруг сделалось мрачным. Теперь уж мне его пришлось ободрять. Ради курьеза, я его ободрял его же словами:

— Ты, Митрофаныч, не тужи... не бойся... наплюй!

— А как я мечтал-то!.. Все пошло к черту лысому! — мрачно проговорил он. А тут еще Василиса подбавила горечи:

— Придумал!.. Тоже... Кур только пугаешь!

Это она ему отомстила за письма и прошения.

Впрочем, она была неправа. Предложение Митрофаныча мне так пришлось по душе, что я не мог его забыть. Несколько дней мне не спалось — все слышалась мельница, шум ее колес, рисовались луга, кусты черемухи, лягушки... Я обдумывал один план поселиться там и не мог успокоиться. Когда уже план был совсем готов, я долго никому не открывал его, сомневаясь насчет его выполнимости. Боялся я, что меня не поймут или отнесутся вяло. Новизна дела могла испортить все. Но молчать я больше не мог, счастливый, что нашел, наконец, то положение, которое позволило бы мне остаться в деревне навсегда.

— А знаешь что, Митрофаныч? — сказал я наконец. — Ведь ты эту мельницу больно хорошо придумал!

Он вскинул на меня недоумевающий взор; сам уж это дело похоронил и ни одним словом не упоминал о нем.

— Мне так понравилась твоя мысль, что я не могу ее забыть... — продолжал я.

— А как же деньги-то?

— Да вот я придумал обойти эту статью... Дело новое, но ты поймешь, что оно будет выгодно и для мира и для меня...

— Ну-ка, сказывай.

Я принялся объяснять свой план и сильно волновался.

— Дело вот в чем. Пусть мне мужики сдадут мельницу, но не в аренду и не за плату, а как человеку, который у мира на службе состоит. Пусть отведут мне там дом, а изба там сносная, из двух половин, хлеба да дров и немного жалованья — больше ничего.

Вся же мука или деньги, которые прежде шли в карман арендатора, будут принадлежать миру. Я буду сдавать отчет...

— Очень просто!.. Продолжай дальше, — перебил меня одобрительно Митрофаныч. Он слушал напряженно.

— Я буду сдавать отчет, сколько мельница вымолола барыша. Хлопот миру тут никаких нет; всю заботу о мельнице я возьму на себя, мужикам только придется от времени до времени поправлять, что понадобится...

— Очень превосходно!

— Выгодно и для меня и для мира. У меня будет хлеб и дом, миру же останется весь барыш...

— То есть лучше и не надо! Штука дельная.

— Как ты думаешь, примут мужики?

— Я так полагаю, примут. То есть такое дело, что лучше и не надо!

— Новое дело-то, — пожалуй, не захотят.

— Дело, конечно, новое, не было еще у нас... так ведь соображение-то есть же! Всякому видимо, что дело, прямо сказать, отличное! Ну, ладно же ты придумал!

— Я боюсь еще, что не поверят мне, — подумают, что какой-нибудь подвох со стороны барина...

— Ежели кто вздумает сказать такую подлость, всю башку тому человеку расколочу!

— Едва ли от этого польза будет! — вскричал я, испугавшись, что каким-нибудь необузданным поступком Митрофаныч испортит все дело.

Но Митрофаныч сейчас же понял меня и задумался. Относительно самой сущности дела также мне не нужно было больше говорить; большая необузданная голова его сию же минуту оценила мой план; еще лучше — он провел его со всеми последствиями дальше, отметил все мелочи (как меня мужики будут учитывать, как будет производиться ремонт) и наложил, так сказать, краски на это пока еще мертвое дело.

— Мы сперва кое с кем поговорим, расскажем хорошим мужикам, как и что, и уж тогда ударим прямо в точку!.. Это дело надо вести умно, с оглядкой, чтобы на сходе горланы наши приперты были в угол, — вот это как следует вести. Главное, не торопиться, а то все к черту лысому провалится!

Так мы и сделали.

Но с первого же раза нам предстояло множество разочарований, и дело тянулось долго. Пригласили мы сначала Игната, нашего основательного соседа. Митрофаныч воодушевленно рассказал ему про мельницу. Но действия никакого.

Игнат стал только чесаться.

— Само собой... дело известное! Ежели приноровить мельницу в этакую точку, то это будет в самый раз!..

Сказал это и ушел, — ему недосуг. Впрочем, уходя со двора, он продолжал чесаться, — задали же мы ему задачу!

Затем мы призвали другого мужика, также из наших друзей. Тот только изумился, не совсем понял, но также счел нужным наговорить мудреных соображений.

— Оно бы ничего, да только, как его, вон оно... мудрено что-то больно! А оно, конечно, ежели правильно рассуждать, дело хорошее, да только, пес его возьми, больно хитрое! Прямо сказать — хитрое!

— Сам ты хитрый! — взбесился Митрофаныч, не выдержав уговора.

— Ты не кричи зря. Дело, известно, хитрое... И надо его, пес его возьми, обсудить и снизу, и сверху, и с боков, — вот как я рассуждаю... Больше ничего, как хитрое!

Поговорил еще Митрофаныч с некоторыми, и лицо его вытянулось от негодования.

— Вот они завсегда так, идолы! Кажное дело изгадят! — сказал он, ужасно обиженный.

— Да ведь, вправду, новое это дело, — возразил я в виде оправдания наших друзей.

— Ничего не новое, а завсегда они по-идольски так живут! Не об одном этом я говорю, — завсегда, как быки!.. Нет, их нужно молоньей ударить, чтобы гром по ушам загремел, — вот они в понятие войдут... Разжечь их надо!.. Ну да подожди... уж разожгу я идолов, — распалю их огнем так, что в глазах засвистит... Вот ей-богу!

Скоро, однако, разговор о мельнице пошел по всей деревне. Нашим предложением заинтересовались все мужики. Это было все, чего я желал. Разговор тянулся долго; но каждый имел время обдумать, рассудить и отнестись критически к делу. Я терпеливо ждал, чем все это кончится, и на всякий случай продолжал искать других средств устроиться в деревне. Я даже иногда вовсе позабывал мельницу.

Вся тяжесть приведения плана в действие легла на Митрофаныча. Он ни минуты не молчал, придираясь к каждому случаю, чтобы поговорить о мельнице. Нередко его выводили из терпения, он схватывал шапку с головы и хлопал ее об пол, мрачно ругаясь. Но неудачи переговоров не обескураживали его. Он то и дело говорил мне:

— Ну, подожди... распалю их молоньей! Сделай одолжение, уж я свое дело сделаю!

Какою «молоньей» он надеялся распалить мужиков, я не мог понять. Только во время сходов я убедился, что Митрофаныч действительно обладал какою-то молоньей. На первом же сходе он сделал что-то такое, отчего куча собравшихся мужиков закипела страшным гневом. Все между собой перелаялись, перебра-



нились и положительно оглушили меня. К моему изумлению, о мельнице и обо мне было упомянуто только вскользь, а весь главный разговор или лай совершался из-за чего-то другого. Какие-то десять фунтов муки, какое-то сено, какой-то гусь, два ведра водки, какой-то разбойник... Ничего я не понимал!

Наконец, перелаявшись, все мало-помалу разошлись.

— Что же это такое? — спросил я, когда мы с Митрофанычем шли домой.

— Подожди! Я еще их не так распалю! Вот в воскресенье еще мы соберемся, я тогда такою молоньей разожгу их, что небу будет жарко!

— Да ведь обо мне ни слова не говорилось!.. И зачем ругаться-то?

— А уж это у нас обычай такой. Нам надо с первого раза перелаяться, а уж тогда дело станет виднее.

Вышло действительно так, как предсказывал Митрофаныч. В воскресенье собрался сход, и все мужики так перелаялись между собой, укоряя друг друга разными подлостями, что не осталось ни одного не облаянного места. Когда сход разошелся, я был вне себя от изумления; но лицо Митрофаныча выражало только довольство, и он объявил мне, что теперь, надо прямо говорить, дело покончено благополучно. Теперь только остается поговорить с некоторыми стариками — больше ничего. Будто бы порешили взять меня в мельники на жалованье, а мельницу оставить за миром... И будто бы всем мое предложение понравилось. Клянусь богом, ничего этого среди лая я не слыхал! Говорили о каком-то полушубке, украденном из амбара одного мужика, о каких-то двух жеребятах, пропавших в табуне, о каком-то свином пастухе, недополучившем двух пирогов от одного крестьянина, пускавшего в стадо двух свиней и одного борова... Но чтоб дело шло о мельнице — честное слово, ничего не слыхал! Это какая-то своеобразная езоповщина была для меня.

Но решение действительно состоялось в мою пользу, и так, как я мечтал. На другой день ко мне пришли староста и несколько

стариков. По совету Митрофаныча, я угостил их чаем и водочкой, и когда они разомлели, мы начали условливаться насчет мельницы. Все шло хорошо, пока дело не дошло до моего жалованья. Тут разомлевшие старики оказались кремнями. Я просил пять рублей в месяц, а старики давали мне два, притворившись удивленными моими непомерными требованиями.

— Куда тебе эдакую прорву? Да и мельница-то, чай, того не стоит!..

— Как же я буду жить-то на два рубля?

— Ну, ладно... Как, старики, прибавить уж, что ли, рублик-то ему? Ну, ладно, бери три и будет! Давай, ребята, по рукам!

По ладони моей уже раз десять хлопнули, а все-таки только до трех рублей нагнали.

— Три мало мне. Как я буду жить?

— Да куда тебе девать-то? Хлеб, изба и все прочее наше, — чего же тебе еще требуется? Будет!.. Бей, ребята, по рукам!..

Опять хлопали меня по ладони. Наконец, когда правая рука моя покраснела и распухла от хлопанья, я согласился на четыре рубля. У меня у самого еще были сомнения относительно этого нового дела, и я не настаивал. В душе, впрочем, я клялся, что употреблю всю энергию, чтобы сделать из мельницы доходную мирскую статью.

Гости мои под конец сильно разомлели, и мы оставили составление письменных условий до другого дня, — до Покрова оставалось еще много времени.

Между тем для меня нашлось дело, которое было заняло меня окончательно и которому я отдал всю свою душу.

XIII

Незаметно подошла осень, и пошли дожди. Дороги, улицы и дворы сделались непроходимыми. В трубе выл скверный, мокрый ветер. Но у нас в доме было уютно и тепло. Василиса выходила из себя, поддерживая чистоту. Это началось с того дня, как я поселился здесь; сперва Василиса мыла и убирала избу ради меня, потом постепенно вошла во вкус и сделалась маниаком чистоты. Пятно на полу мучило ее, как место преступления; куча сору возбуждала в ней ненависть, а таракан (тараканов всех она выморозила), внезапно показавшийся неизвестно откуда, сию же минуту предавался казни. Теперь, вопреки всеобщей грязи, расплывшейся по земле, когда, казалось, самое небо обращается в море помоев, Василиса упрямо боролась против нечистых полов и комков земли, приносимых на сапогах; за каждый такой комок жутко доставалось тому, кто притащил его; всех больше доставалось Ваське и Митрофанычу, которые насчет ног были

не совсем аккуратны; их Василиса встречала в сенях, устланных соломой, и преграждала им дальнейший путь, вследствие чего они принуждены были то и дело стаскивать обувь и в избу появляться уже босиком.

Когда наставал вечер, мы все уже были в сборе. Лампочка ярко горела. Занимались кто чем мог. Я что-нибудь читал вслух.

Мое чтение сделалось любимым занятием всей семьи; днем некогда было, — возня по домашности отнимала все время. Ветер и дождь не останавливали этой возни. Но вечера ждали все с каким-то нетерпением, как счастливого отдыха. Мне даже казалось, что холод и дождь, ветер и грязь стали не так назойливы; каждый думал: «Пущай мочит, а вечером читать будем»... По крайней мере, так несколько раз говорил Митрофаныч.

Начавши чтение с сильными сомнениями, я мало-помалу увлекся им. Внимание аудитории наградило меня радостью и вызывало энергию. К несчастию, книг со мной было немного, притом бóльшая часть вовсе не подходящих.

Читать в такой оригинальной обстановке было для меня истинным наслаждением. Я присутствовал при зарождении мысли и был свидетелем тайны раскрытия симпатий и антипатий, любви и ненависти. В особенности резко врезался в мою память один случай, виновницей которого была география.

Днем, между прочим, я учил грамоте Ваську. Школы в нашем селе не было; ребятам приходилось или вовсе не учиться, или ходить за три версты в другое село, где существовало училище на счет нескольких смежных деревень. Я предпочел сам заняться Васькой. Но по вечерам, раньше чтений, я занимался с Дашей, которая знала грамоту. Учил ее русскому языку и географии. Она была понятливая и вдумчивая, но вначале мои уроки не задевали глубоко, — знания как-то механически наслоялись. Девушка училась хорошо, усвоивала прочитанное, выслушивала рассказанное — и только; бросая урок, она забывала о нем, как о выполненной обязанности.

Но однажды случилось что-то необыкновенное. Шел урок географии. Мы прошли бегло общее очертание земного шара; я раскрыл карту и указал границы земли и воды... Даша пытливо осмотрела все и вдруг широко раскрыла глаза; лицо ее, вспыхнув румянцем, вслед за тем побледнело.

— Это все земля?! — воскликнула она.

— Да.

— И это?

Я утвердительно кивнул головой.

— Так вот какая земля-то!

И широко раскрытые глаза ее выражали изумление и счастье. Я понимал ее и с волнением следил за ее лицом. Было ясно, что ее ум вдруг охватил весь образ земли, и она была поражена



раскрывшеюся тайной. Мысль ее в один момент вспыхнула ярким пламенем и осветила ей огромную картину, существования которой она до сих пор не подозревала.

— Так вот какая земля-то! — проговорила она шепотом, все еще не в силах оправиться от впечатления громадного образа; потом вдруг опять вспыхнула и засмеялась тем счастливым смехом, который не часто достается на долю людей.

С этого дня она торопилась учиться и читать.

Митрофаныч также изъявил желание учиться грамоте, и до Покрова мы с ним довольно много успели.

Но меня больше интересовали чтения общие. В непродолжительном времени на наши светлые вечера стали заходить и другие мужики. Сперва Игнат Иваныч. Игнат Иваныч просиживал у нас до глубокой ночи, внимательно слушая. Выбирал он угол подальше от стола, за которым я сидел, где-нибудь в тени около порога, и там сидел неподвижный и невидимый. Услышишь только иногда глубокий вздох или шепот: «о господи боже мой!» — и только. Не знаю, много ли он понимал, и если понимал, то как. Он только вздыхал.

Однажды я читал рассказ. Все с любопытством следили за движением рассказа, то и дело вставляя свои замечания; часто раздавался взрыв хохота. Но Игнат молчал, на этот раз даже не вздыхая. Только когда я кончил чтение при всеобщем веселом смехе и оглянулся, то не узнал его. Лицо его выражало удивление и в то же время скорбь, и по нем текли слезы, пробираясь по щекам к густым зарослям бороды... Весь комический элемент пропал для него; он видел только мрачную подкладку этого смеха и своим отзывчивым сердцем понял то, что мы все упустили, — страдание, вызвавшее этот смех. Вот когда я оценил эту темную, но глубокую натуру.

Два-три мужика из близких нам людей также стали заглядывать, вначале случайно, наконец каждый вечер. Как только увидят огонек у нас, так и идут. Я не успевал подбирать книг и с тревогой видел, что скоро мой ничтожный запас чтения иссякнет.

Между тем я убедился, что интерес к чтению существовал не в одном нашем кружке, а чуть ли не в каждой избе. Достаточно было случайно появиться в деревне какой-нибудь книге, чтоб она сию же минуту вошла в общее употребление; обыкновенно такая книга (по большей части дрянная) переходила из избы в избу, от одного грамотея к другому, и прочитывалась от корки до корки; сперва у ней заворачивались углы, потом на каждом ее листе появлялись пятна — следы усердного чтения, затем листы ее становились мягкими, как ветошка, и, наконец, книга приходила в то состояние, в котором читать ее больше уж нельзя, — книга съедалась.

Специалистов-грамотеев в деревне считалось около десятка; это были большею частью молодые парни, гордившиеся своею ученостью; при всяком удобном и неудобном случае они давали понять, что с ними шутить нельзя. Но мне было жаль, что вся их гордость основана была на песке, — читать им было нечего.

Однажды приходит ко мне такой парень и изъявляет желание поговорить со мной о разных ученых вещах. Лицо его выражало сознание своей важности, и он старался объясняться отборными выражениями. Натурально: и он ученый, и я ученый; а когда один ученый приходит к другому ученому, то и разговор промеж них должен быть ученый. Я принял также подобающий вид. Парень попросил меня показать ему все мои книги. Я показал. Он пренебрежительно осмотрел весь мой узелок и покачал головой в знак того, что хороших книг нет у меня. А вот у него есть хорошая книга...

— Ка-акая книга! — добавил он с гордостью.

— Какая? — спросил я.

— Страсть занятная! О полководцах. Ежели хочешь, я тебе расскажу... Ка-акая книга!

— Что же тебе там нравится? — спросил я с интересом.

— Там-то? Полководцы. Например, Кутузов. Или тоже Суворов... Ка-акие полководцы!

— Сражения ты любишь?

— И сражения и полководцев — все уважаю. Например, Суворов. Как только увидел неприятелев, так сейчас же петухом закричит, разбудит солдат и давай лупить! Или вот тоже через гору перешел, полки которые были перевел и ударил... Как-кой ловкач!

Этот ученый разговор продолжался у нас долго, до тех пор, пока я не уяснил себе состояние парня. Ученый парень случайно получил откуда-то книгу *О полководцах*, прочитал ее совсем с корками, увлекся незнакомою ему жизнью (новизна предмета и не одного парня может увлечь) и стал бредить полководцами, сражениями, как кто кого отлупил, сколько кому влетело зарядов и пр. Увлечение искренное и неизбежное. Если бы парню попалась книга о другом незнакомом предмете, то он и от нее неизбежно пришел бы в восторг. Поняв его состояние, я выбрал ему книжку и дал с оговоркой, что если книжка не понравится, то пусть он скажет откровенно. Парень ушел.

Но через два дня, смотрю, приходит мой парень взволнованный и уже без той гусиной гордости, минуя ученые термины, в простых выражениях, путаясь на каждом шагу, пускается в объяснение своих чувств, загоревшихся от чтения книжки. Полководцев он уже забыл, а через некоторое время даже избегал говорить о них, чего-то стыдясь. Все книжки, какие у меня

были, он перебрал в какой-нибудь месяц, и когда источник мой иссяк, он страшно затосковал.

Затосковали и все, — нечего было читать. Вечера наши проходили томительно, и мы все ломали голову, где бы раздобыть еще книжек. Митрофаныч от нечего делать историю прочитал раз пять и уже знал, на какой странице какое убийство, в каком месте книги один князь напакостил другому, в какой главе появились татары и каким сражением оканчивается вся книжонка.

Мысль о библиотеке, таким образом, возникла сама собой, и притом почти враз у всех, полюбивших наши светлые вечера. Я только воспользовался общим желанием и усилил его. Сперва мы поговорили с Митрофанычем об этом, потом и с другими; все согласны были, что хорошо бы купить книжек. Увлеченный согласием всех слушателей, я предложил план мирской библиотеки, рассказав, как это устраивается в городах. Чтоб еще более усилить свои доказательства, я сделал подробный расчет, во сколько это обойдется каждому. Выходило для первого раза по двугривенному с души. Библиотека, конечно, заводилась микроскопическая, но ведь и чтецы наши были под стать.

Но это предложение встретило неожиданные мною возражения. Даже Митрофаныч воспротивился.

— Больно долго придется лаяться-то! — возразил он недоверчиво. — Тут брани и всякой ссоры конца-краю не будет через эти самые книжки... Тут с нашими идолами горло придется драть беда сколько месяцев...

— Это уж как есть! Чтобы вытянуть двугривенный, эвона сколько лаю-то потребуется! — подтвердил другой.

То же сказал третий и четвертый из наших друзей. Оставался один Игнат.

Игнат почесался некоторое время, но ответить не затруднился, потому что давно уже и сам был подготовлен к этому вопросу. Только, по обыкновению, он заговорил с такой неожиданной стороны, что я долгое время ничего не мог понять.

— Ну как ты, Игнат, полагаешь насчет чтобы мир? — спросил Митрофаныч.

— Само собой... Ежели бы миром, то уж это на что бы лучше... Вот только как же овцы-то? Овечий сбор-то как же?.. Куда его приспособить-то? — Говоря это, Игнат смотрел то на меня, то на Митрофаныча и, очевидно, сам недоумевал. Я ничего буквально не мог понять.

— Какие овцы? Ведь мы про книги говорим!

— Ну, бараны, что ли... Ведь ежели со всего мира выбивать на книги, — стало быть, уж тут сбор будет овечий, с бараньей головы!

— Ну? — сказал Митрофаныч, следя за развитием мысли Игната.

— Только и всего. С бараньей головы, стало быть, следует книжки-то покупать. Теперича ежели, будем так говорить, у которого ни одной овцы нет, а читать он больше всех охоч, как же мир-то согласится?

Я хлопал глазами, смотря то на того, то на другого мужика. Митрофаныч, видимо, знал, о чем идет дело, только не понимал, к чему клонит Игнат.

— Ну, что же... ну, бараний сбор... дальше-то чего же? — спросил он.

— То-то вот, неспособно будто... Ежели наложить на баранов, то ведь обидно будет, которые овец держат. Не подобьешь на это дело мужиков. Лаю много будет, ссоры!

— Так, так... И я про то же... Тут лаю страсть сколько будет!

— Да скажите мне, про что вы говорите? — вскричал я наконец. — Какое отношение имеют бараньи головы к книгам?

— Видишь ли, как у нас заведено, — объяснил Митрофаныч, обратив ко мне иронически улыбающееся лицо. — Который сбор новый, то есть мужики сами его порешили сбирать, и тот у нас накладывается на овец. Так и зовется он, например: овечий сбор, с бараньей головы. У кого сколько есть бараньих голов, в той препорции он и сбор новый вносит. Понял? Так и тут. Уж ежели подбивать всех мужиков насчет книг, то тут без бараньих голов не обойдется, — не иначе, как на баранов раскладка выйдет... Не на кур же раскладать! И тут, стало быть, лаю конца-краю не будет. Вот про что Игнат говорит, — верно! Придется искать других способов.

Наконец меня убедили, что подбивать всех мужиков на заведение библиотеки — пустое дело будет. Прежде чем на что-нибудь решатся все мужики, они полгода будут лаяться, затянут дело, измучают и себя и всех прочих... Тогда между нами возникла мысль купить книжек по подписке; сложить гроши нескольким близким лицам и накупить книг на это. Что касается посторонних чтецов, то за чтение с них брать какую-нибудь плату. Тогда к нашему кружку скорее примкнут все желающие.

Эта мысль, невзначай кем-то поданная, воодушевила нас. Не откладывая дела, мы сложились и собрали капитал в шесть рублей. Покупка была поручена мне, причем выставлено на вид, чтобы я постарался накупить как можно больше хороших книг. Это на шесть-то целковых!

Но я понимал, что первая библиотека должна быть действительно хорошая, и в продолжение нескольких дней ломал голову над каталогом. Требовалось ни более, ни менее, как завести целую библиотеку на шесть рублей! Тут должна быть и религия, и наука, и сельское хозяйство, и ремесла, и беллетристика,

и поэзия — и всего на шесть рублей. Задача была мудреная, но после продолжительных мучений я решил ее довольно удовлетворительно; даже сам удивился, как много можно накупить хороших книг на шесть рублей! Выписал я два экземпляра евангелия в русском переводе, на рубль науки, на рубль с лишком сельского хозяйства, на рубль также с лишком ремесел, остальные деньги на беллетристику, и еще осталось пятнадцать копеек на поэзию. Покупку и высылку я поручил одному приятелю в столице, прося его поторопиться.

К этому времени сладилось дело и относительно мельницы. Работы мало-помалу накопилось у меня много. Я едва успевал все обдумывать и приводить в исполнение. Нередко мне казалось, что я слишком уже много набрал всякой ответственности, и боялся, что разорвусь на части. Я в полной мере сделался мирским человеком. Ко мне обращались с разнообразными делами, из которых каждое не имело ничего общего с другим, и будь я энциклопедистом, всех дел все-таки не мог бы переделать. Окруженный разнообразнейшими интересами, чувствами и злобами, я едва успевал распутываться. Деревенский мир с каждым днем засасывал меня в свою жизнь. Легко было утонуть в ней, обезличиться.

Но нет, нет! Я поклялся быть везде самим собой. У меня есть свой мир, куда без нужды я никого не пущу. Пусть жизнь заковывает мои ноги и руки, пусть человеческая масса волнуется минутными радостями и муками, — я останусь свободным, и никакая сила не посмеет помутить мою жизнь. У меня есть свой мир тайных пожеланий, таинственного трепета надежд, радостей и страданий, счастья и скорби; пусть жизнь волнуется вокруг меня, — этот мир я не брошу под ноги толпы...

Все хлопоты по мельнице давно уже были окончены, условия написаны, и я сделался на неопределенное время распорядителем значительной части мирских доходов. Василиса вымыла и убрала ту половину мельничной избы, которая назначалась мне, и я, наконец, поселился у себя дома. Какое-то необычайное настроение овладело мной, когда вечером я остался один.

На дворе бушевала снежная буря. Мокрый снег бил в два мои окошка; ветер, казалось, пытался разрушить мой дом, который дрожал от пола до крыши; в трубе завывало; по комнате переливался холод. Но лампочка моя светло горела, освещая все углы крошечной комнаты, и я смеялся. Вечный скиталец, я чувствовал себя прочно в этой избушке, дрожавшей от порывов бури, и думал, что с этого дня кончились мои скитания. Что-то говорило мне внутри: пусть буря кружится вокруг меня, пусть воет злость в трубе, пусть холод и бедность окружают меня, но лампочка моя не потухнет, злость не испугает меня, буря не вызовет в моем сердце ужаса. И я смеялся от сознания своей силы.

XIV

Я принужден был уехать.

Странно действуют эти неожиданные перевороты! Мысли разбиты вдребезги, биение сердца кажется ненужным, вся жизнь представляется злою нелепостью. На себя смотришь как на что-то внешнее, постороннее, и с высоты опустевшей души наблюдаешь за каждым своим шагом. Сам себе как будто говоришь: «А ну-ка, посмотрим, что ты еще выкинешь!»

Когда я возвратился домой, то находился именно в этом состоянии.

Шагая по сугробу, я говорил себе: «А ну, посмотрим, что дальше будет!» Ни злобы, ни ненависти за разбитый план у меня не было; я только старался наблюдать, что творится во мне; на себя я смотрел с большим любопытством.

Но это состояние, близкое к столбняку, длилось недолго. Деревня дала мне за полгода много крови и силы, и я стал обдумывать, куда и как я должен ехать, что делать и как залечить эту новую рану. Я смеялся над собой за то, что так легко поверил в прочность своего положения, за легкомыслие, за все свои планы, построенные на песке. Обласканный минутным счастием, я уже поверил, что так будет всегда. Но вот меня выгоняют, и я — опять прежний скиталец.

Из волости я должен был пройти через деревню; но я миновал ее, — хотелось остаться одному и пережить все наедине с собою. Это так всегда было. Страдания я переносил один, ни с кем не делясь муками, а людям выносил только смех. Поэтому меня всегда считали веселым человеком, хотя иногда странным; теперь в особенности.

Миновав деревню, я перешел по льду реки и направился к тому ее изгибу, где стояла мельница. Но когда я увидел свою мельницу и вспомнил все, то не выдержал и застонал от злобы и боли. Чтобы заглушить эту боль, я, войдя к себе, принялся механически укладывать в чемодан вещи. Правда, мне на сборы дали два дня сроку, в продолжение которых я мог оставаться в деревне, но без ужаса я не мог себе представить, как я проведу эти два дня. Поэтому я решился лучше как можно скорее уехать.

Но тут страшная жалость охватила меня. Что-то дорогое я собирался бросить здесь, какую-то струну оборвать в сердце и забыть что-то... И это добровольно я должен был сделать, потому что завтра надо уезжать...

Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошла Даша. Она запыхалась от скорой ходьбы, и бледность покрывала все ее лицо. Такого лица я не видал у ней; я знал счастливое лицо, а это было жалкое и измученное.

— Ты уедешь? — было первое ее слово.

Друзья мои уже узнали, что со мной случилось.

— Да, приходится.

— Когда?

— Завтра.

У девушки подкосились ноги, и она, не раздеваясь, присела к столу. Мы долго молчали. Потом она шепотом проговорила:

— Ну, прощай...

Я едва удержался от слез и ничего не ответил.

— Что же ты молчишь? Прощай! — проговорила Даша с больною улыбкой.

Я все-таки молчал, боясь выдать себя. Я спрашивал себя: имею ли я какое-нибудь право на это? Но думать было уже поздно.

— Даша, поедем со мной! — сказал я вдруг.

— Тебе жалко разве меня бросить?

— Жалко...

Даша заплакала.

Тогда я сделал последнее усилие благоразумия над собой и в нескольких словах объяснил, что в будущем ждет мою жену: скитальчество, быть может бедность. Затем я коротко высказал свое сомнение, может ли она быть счастлива с таким барином.

— Разве ты не боишься меня? — спросил я.

— Ты добрый... — возразила девушка, глотая слезы и в то же время улыбаясь.

— Такие браки самые несчастные!

— Ты хороший...

— Мы — разных сословий люди.

— Ты научи меня всему, и как ты будешь думать, так и я...

— Я не знаю, где буду завтра и что со мной случится потом.

— Я буду жить там, где и ты! — сказала Даша, и в голосе ее слышались любовь и решительность.

Запас благоразумия иссяк у меня. Я не мог больше удержать волнения. Лучи солнца заиграли в стеклах моих окон, разрисованных морозом, стены дома запрыгали в восторге, мельничные колеса играли марш. Я забыл все, забыл то, что сейчас со мною было, и то, что я ожидал...

Через полчаса в комнату с шумом вбежал Митрофаныч, приехавший на санках, и молча смотрел на наши веселые лица. Его таки я не узнал. Он как-то вдруг опустился и растерялся. Должно быть, удивление его было сильнее его гнева; он мог ударить шапку об пол, как и следовало ожидать, но, видно, вынужденный отъезд мой был выше этого простого способа выражения чувств.

— Вот тебе и мельница! — сказал он тихо и напомнил всем обрушившуюся на меня невзгоду.

— Стало быть, едешь?

— Завтра.

— Вот тебе и книги! — пробормотал Митрофаныч и еще сильнее напомнил, что́ я потерял.

— Зачем ты, дядя, бередишь? — возразила с упреком Даша.— Я также поеду с ним...

На изумление Митрофаныча она отвечала маленьким объяснением, прервавшимся слезами и смехом. Я подтвердил слова девушки.

— Ну, ничего... поезжайте! Дай вам бог счастья!.. Пущай! — говорил он, путаясь.

Через полчаса мы покинули мельницу. Но мне тяжело было оставить на произвол судьбы все, что я успел завести. Вскоре собравшиеся друзья-мужики также думали, что не годится бросать все зря. На скорую руку мы переговорили со всеми, имевшими голос в деревне, уничтожили условия и на живую нитку слепили другие. Мельница поручена была надзору Игната; библиотеку взял на себя Митрофаныч. Отвечая на просьбы друзей, я давал клятвенное обещание писать им, и никогда обещания не были искреннее. Я и не подозревал, какая сильная привязанность связывала нас; большинство выражало свое сожаление и сочувствие мне с такою наивною простотой, что я едва удерживался от слез.

У меня не было денег на дорогу, — мне сейчас же собрали их. Я сделал небольшой долг в лавочку, — долг приняли на себя. Это и многое другое еще более растравляло меня; если бы я мог остаться один, то разрыдался бы. Но меня не оставляли одного до самого отъезда; в избе Митрофаныча непрерывно толпился народ; приходили проститься даже такие, которых я едва знал.

— В случае чего, вернись опять к нам, — говорили все.

— Я вернусь, если будет хоть малейшая возможность.

На другой день Митрофаныч запряг свою пару, посадил нас с Дашей, сам сел на облучок — и мы поехали. Митрофаныч старался быть веселым и избегал говорить о таких предметах, которые могли разбередить тоску.

— Чудесная погода!.. Ишь, снега-то нонче какие глубокие! Я так полагаю, урожай будет хороший, — говорил он весело, но вспомнил, как мы жали, и хлестнул лошадь.

— Ведь вот лукавый какой этот новый меринишка-то наш! — заговорил он; но мы сейчас же вспомнили обо всех обстоятельствах, вызвавших покупку этой лошади, и Митрофаныч не договорил, испуганно отыскивая другой предмет разговора.

— Скоро, чай, и до станции доедем. Вон никак и ложок тот, где ты метнулся из саней в ту пору, — начал был он, но окончательно растерялся. О чем бы он ни заговорил, все ока-

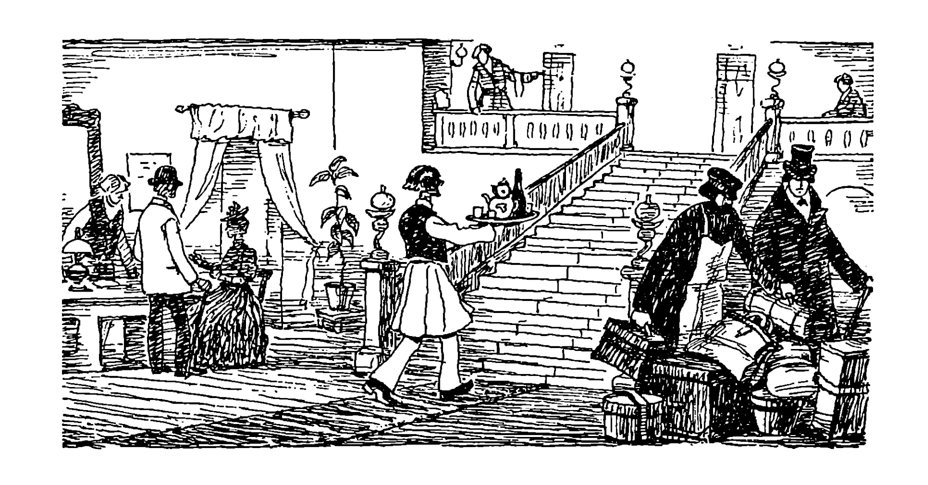
зывалось неподходящим, к чему нельзя было притрогиваться. Поняв это, он даже сплюнул от злости и мрачно умолк до самой станции.

Из нас троих одна Даша держалась хорошо. Она не смеялась, не было больше счастливого выражения на ее лице; но заглядывая в ее глаза, я видел там твердую решимость. Губы ее были плотно сжаты.

На вокзале, перед последним свистком, Митрофаныч снова ослабел. Но Даша с улыбкой проговорила:

— Какой ты большой, дядя, а плачешь как баба!

Уже из окна вагона я закричал Митрофанычу, что мы возвратимся сюда, — возвратимся во что бы то ни стало.



БАБОЧКИН

I

Вновь приезжий не успел провести и часа в гостинице, как уже собрался уходить, торопливо доканчивая свой туалет. На столе стоял недопитый чай с кипящим самоваром; по углам на полу беспорядочно были навалены ящики, чемоданы, саки, коробки, но ему некогда было разбираться с этим хламом. Он нервно торопился куда-то. Это было заметно и по его виду — деловому, озабоченному.

Поспешно одевшись, он скорыми шагами вышел в коридор, при этом задел стул и опрокинул коробку с табаком, но не обернулся, а торопливо запер на ключ двери номера и бросился вниз, по направлению к выходу. На лестнице его почтительно остановил слуга, спрашивая, как он прикажет записать его на доске («нельзя-с... у нас строго!»); приезжий досадливым жестом кивнул головой, быстро вынул из бокового кармана бумагу, бросил ее лакею и бегом ринулся вниз по лестнице. По всему было видно, что он спешил по очень важному делу.

С тою же торопливостью он зашагал по тротуарам, причем мимоходом заглядывал в витрины магазинов, на фонарные столбы и на заборы, испещренные старыми, изодранными афишами; последние он на ходу прочитывал и шел дальше, все

так же озабоченный, беспокойный. Да, он торопился по крайне важному делу!

Но он, очевидно, плохо знал город и шел наугад; пробежав несколько улиц в бесполезных поисках, он, наконец, на одном углу подошел к городовому и осведомился у него:

— Не знаешь ли, братец, есть в театре на сегодня спектакль?

Городовой повернул к барину облупившееся от ветра лицо и медленно возразил, что этих делов он не знает, потому его эти дела не касаются.

— А где здесь театр по крайней мере?

— Да вон там, на Московской площади; сперва ступайте вон по той стороне, потом туды, а уж там окончательно будет театр...

Барин просунул руку в жилет, достал оттуда какую-то монету и поблагодарил ею городового. Лицо последнего живо переменило фальшиво-важный тон, осклабилось и выразило готовность на что угодно.

— Вы насчет тиятру? Позвольте... Даве тут ходил мазилка и расклеивал какие-то афишки — должно полагать, оттэдова... Да вон одна болтается!.. — При этом городовой перебежал дорогу, снял со столба афишу и подал ее с улыбкой приезжему.

Афиша извещала о прибытии в город некоего итальянца «Пинетти, великого престидижитатора, знаменитого профессора магии, чудесного чревовещателя, изъявляющего готовность дать почтеннейшей публике несколько удивительных представлений, во время которых он, между прочим, отрежет себе голову и снова приставит ее на надлежащее место, кроме того, пропустит из одного своего уха в другое деревянный кол в два аршина, который вслед за тем обратится в прекрасную воздушную фею».

— Черт знает что такое!.. Это афиша в балаган, — сказал недовольным тоном приезжий.

— В балаган? Ну, не знаю... Уж этого не знаю. Разве без меня тут ходил другой мазилка?.. да нет, не было!.. Стало быть, уж вовсе нет сегодня представления. Уж извините... — возразил сконфуженный страж порядка.

Приезжий быстро пошел дальше. Беспокойно оглядываясь по сторонам, он взял извозчика и приказал везти в сад. Извозчик с недоумением посмотрел на барина и нерешительно пустил лошадь шагом. Думая, что ослышался, он спросил: «Куды-с?»

— В сад. Ведь есть общественный сад? Забыл, как он называется...

— Александровский есть у нас сад, так в него прикажете? — и, на утвердительный ответ барина, извозчик пустил лошадь во всю прыть.

Через несколько минут дрожки остановились перед входом в сад; барин выпрыгнул из них, но сад оказался запертым.

Бесполезно потолкав дверь, приезжий вопросительно взглянул на извозчика.

— Да вы к кому, то-ись? — спросил последний с величайшим недоумением.

— В сад мне нужно, — возразил барин уже сердито.

— Да ведь никто еще в него не ходит... мокро еще там, увязнешь... — возразил извозчик, скрывая улыбку.

В самом деле, была ранняя весна. Снег всюду сошел, улицы высохли, и пыль уже столбом поднималась от ветра; но в саду деревья стояли голые, с едва заметными почками, на дорожках толстым слоем лежали прошлогодние листья, а под ними было мокро и грязно. Никому в голову не могло прийти гулять в саду в эту пору года. «Эк его, сердешного, приспичило — в сад захотел!» — думал извозчик.

Приезжий понял весь комизм своего положения, поспешил рассчитаться с извозчиком и пошел наугад. В нем поднялось глухое раздражение. «Неужели сидеть в душном номере?» — подумал он и пустился снова на поиски развлечения, опять заглядывая в окна магазинов, на фонарные столбы и заборы, но ничего подходящего не нашел. День клонился к вечеру; движение по улицам стихало; уличные звуки замирали. Кое-где еще слышались запоздалые разносчики, да где-то недалеко играла шарманка. Недолго думая, приезжий отправился по тому направлению, откуда раздавались жалобные звуки испорченного инструмента, и через несколько минут отыскал человека, вертевшего ручку органа. Долго шарманщик вертел ручку, поглядывая наверх в раскрытые окна, и все это время приезжий терпеливо слушал музыку. Когда, наконец, игра кончилась, он бросил на мостовую серебряную монету и отправился дальше.

Но больше ему некуда было идти. Это обстоятельство привело его в негодование. Переходя одну улицу за другой, он с озлоблением ругался: «Вот паршивый город — ничего нет!» В эту минуту он вспомнил афишу «знаменитого Пинетти» и бросился отыскивать его. Быстро шагая, он решился не брать извозчика и по возможности не расспрашивать (где балаган?) прохожих. Ему что-то было неловко, но жажда развлечения в нем была сильнее неловкости. И он пошел; по-прежнему деловой и озабоченный, он пошел в балаган. По дороге он еще раз увидал афишу и стал, презрительно пожимая плечами, читать ее: «деревянный кол, который превратится в прекрасную фею...» «Черт знает какая чепуха! — сказал он, но оправдывался перед самим собой. — Дурак, конечно, этот Пинетти! но неужели сидеть в номере? Все же развлечение... Пойду. Глупо, конечно... но отчего же не предоставить себе такого развлечения?... Пойду».

И он шел, серьезный, деловой, озабоченный.

К несчастию, Пинетти (в действительности мещанин из Луги Михаил Егоров) не приготовился еще в этот день к блистательному представлению. Балаган его был закрыт. Когда приезжий подошел к дверям его, то с негодованием понял, что день для него пропал окончательно. Взбешенный, он сел на извозчичьи дрожки и поехал обратно. Там он тихо взобрался в свой номер, бросился на диван и готов был закричать от досады. Понемногу его успокоила только ночь.

Ночь стояла тихая и теплая. Чувствовалось уже дыхание весны. В окна гостиницы светило фосфорическое небо с бесчисленными звездами, закрытыми дымкой от испарений, поднявшихся с возрождающейся земли. Люди приветствовали воскресение природы. На улицы толпами высыпали жители. Успокоенный приезжий облокотился на окно и с удовольствием стал наблюдать улицу, прислушиваясь к говору, смеху и топоту ног. По тротуарам было много гуляющих; одни казались просто веселыми, другие были подвыпившие, третьи напевали вполголоса. Обитатели подвалов также кучами вертелись около ворот и громко шумели; слышался визг девочек, крики мальчишек, хохот взрослых. Дворник противоположного дома, поймав мимо бежавшую горничную, влепил ей такой оглушительный поцелуй, что он раздался по всей улице, эхом отскочил от высокой стены домов и попал на дремавшую невдалеке собаку, которая вдруг громко залаяла, вообразив спросонья, что в нее пустил камнем уличный мальчишка. «Вот свинья!» — проговорил весело приезжий и совершенно забыл недавнее огорчение. Смотря на кипевшую возле ворот толпу, он думал: «Лучшее средство жизни — забава всем, что не скучно. Игры — единственная цель». И в заключение этих веселых мыслей он стал напевать какой-то легкомысленный мотив.

Немного спустя, утомленный дорогой и беготней по городу, он уже спокойно спал. А тем временем на доске вновь приезжих буфетчик вывел мелом его полную фамилию: Александр Иванович Бабочкин. Мало того, из неведомых источников лакеями и другим персоналом гостиницы было доподлинно узнано, что он приехал сюда на службу и займет хорошее место, но без жены, которая от него навсегда удрала, потому ему как будто и скучновато...

Верно. Около месяца тому назад Бабочкин проводил жену, канувшую с той поры как в воду; но это обстоятельство только окончательно обострило в нем тот процесс, который уже давно зрел в его душе... Раньше этого он был свидетелем крушения всей своей семьи. Сначала у него умер отец, предварительно выпустивший в трубу имение благодаря своим фантазиям; потом несчастным образом погибла его сестра от выстрела из револьвера; вслед за ней в далеком краю, под темным небом, где вечно шумят только сос-

ны и кедры, бесследно пропал его младший брат; теперь, наконец, по взаимному согласию он разъехался с женой, разорвав мгновенно десятилетний союз, после чего одна нырнула в широкое море русской жизни, другой поплыл по его поверхности, свободный, беззаботный, казавшийся неистощимо веселым. Из всей разбитой семьи остался он один; казалось, удары судьбы не производили боли в его душе. Он смеялся. И чем темнее становилось около него, тем веселее он смеялся.

Наконец теперь веселье сделалось для него единственною целью, веселье во что бы то ни стало.

Но на прежнем месте ему сделалось скучно, и он перебрался в этот город, выбранный на последнем земском съезде в члены одного присутствия.

II

На другое утро рано Бабочкин проснулся с неприятной мыслью — искать квартиру и делать обязательные визиты. От этой мысли лицо его на минуту приняло сердитое выражение («вечно какие-нибудь обязанности»), и чтобы хоть на время забыться, он старался опять заснуть, для чего плотно закутал голову простыней, отбиваясь от скверной мысли, как от надоедливой мухи. Но заснуть ему не удалось; утреннее солнышко бросило целый сноп лучей в его комнату, проникло во все самые темные углы и заглянуло под простыню, где укрылся Бабочкин. Пролежав неподвижно несколько минут, Бабочкин живо сбросил с себя одеяние и вскочил с постели.

— Да что ж я задумался? Квартира... визиты... да черт с ними! Все это само собой сделается! — громко проговорил он и ожил.

Потом живо оделся и велел подать умыться и чаю, несмотря на ранний час утра, а пока занялся свистом, пением вполголоса и наблюдением за крышами домов, для чего растворил оба окна. После умыванья, посвистывая и напевая, он перевесился через окно и смотрел, как по улицам шли с корзинами кухарки и бедные барыни. Одной вертлявой кухарке ему страстно хотелось бросить прямо в нос скатанной бумагой, а самому спрятаться, как делал он в детстве, но он не привел в исполнение этого намерения, не свойственного взрослым людям; вместо того он передразнил продавщицу лука, подражая ее голосу. Ему просто хотелось дурачиться, чтобы ничего неприятного не вспоминать... Лакей подал чай, и он принялся за него с такой торопливостью, как будто впереди ему предстояло необыкновенно важное дело.

В действительности он только решил сейчас же выйти на улицу и бродить по городу, по дороге, кстати рассматривая

квартиры. Обязательные и в особенности ненавистные ему визиты он отложил до следующих дней.

Утро стояло свежее, ласковое, с небольшим холодком, который обдавал лицо приятной свежестью. Бабочкин оценивал всю прелесть такого утра. Напевая вполголоса, он переходил одну улицу за другой и не чувствовал ни малейшей усталости. А по дороге осматривал квартиры, — не искал по обязанности, а так, мимоходом, наблюдал архитектуру домов. И в этот день ему все удавалось; легко, без труда, мимоходом он нашел квартиру, причем с час поболтал с хозяином дома, вызывая у последнего своими шутками неудержимый хохот. Потом он дал задаток за квартиру и отправился опять бродить по городу; но мимоходом увидал мебельный магазин, вошел в него и больше часу болтал с приказчиками, заставляя их смеяться вместе с собой; здесь он выбрал мебель, заплатил за нее и приказал отвезти по указанному адресу.

А немного погодя он так же легко нанял себе слугу.

Проходя по торговой площади, он обратил внимание на одного мужика, который толкался среди лотков с съестными припасами, быть может в надежде купить подешевле что-нибудь вроде гусака. Бабочкину он показался знакомым; а через минуту он совсем узнал его. Это был мещанин из того города, где часто бывал Бабочкин. Теперь он вспомнил даже имя его — Семен Березин.

— Березин! Ты что тут делаешь? — окликнул Бабочкин мужика, который вдруг встрепенулся, узнав барина, снял шапку и раскланялся.

— Как ты в этот город-то попал?

— Так... работишку ищу, да зря болтаюсь только... — сказал нехотя Березин.

— Разве дома у тебя ничего нет? Кажется, у тебя жена умерла? — спрашивал Бабочкин.

— Одно слово, там мне делать нечего; там я без рук, без ног, один рот остался, да и тот пустой...

Бабочкин рассмеялся.

— Так ты для пропитания сюда?

— И для пропитания, и на податишки сколотить малость...

— Чудак! Он еще о податишках заботится! — перебил барин.

— Да как же не заботиться-то!

— Да черт с ними! Так бы и бросил — что с тебя возьмешь! — говорил весело Бабочкин, перенося свое легкое настроение на все окружающее, в том числе и на Семена Березина.

— Как же это без податей! Чай, не дурак я — должен это понимать. Да нашего брата за эдакое нахальство не очень похваливают, — за эти пакости нашего брата наземь книзу брюхом и хворостьем внушают, чтобы помнил, что́ человек обязан делать!

Бабочкин расхохотался.

— Печенку-то, видно, не на что купить? — спросил он насмешливо.

При упоминании о печенке Березин почему-то задумался и уже стал топтаться на месте, с явным намерением попросить три копейки. Но в это мгновение Бабочкин заставил его чуть не подпрыгнуть от радости.

— Не хочешь ли наняться ко мне слугой? — спросил Бабочкин.

Семен несказанно обрадовался этому предложению; Бабочкина он знавал как доброго барина, да и работы теперь у него нигде не предвиделось. Быстро уговорились об условиях, причем Березин соглашался на все, что говорил ему барин, даже обязался прийти сейчас же на службу, чтобы немедленно же убирать квартиру. На прощанье Бабочкин дал ему двугривенный на хлеб и на печенку и отправился в гостиницу завтракать; но, недалеко пройдя, он вспомнил, что так легко нанятый слуга может надуть и не прийти в условленное время. Он обернулся.

— Так ты смотри, приходи через час! — закричал он издали.

Семен стоял с полным ртом, торопился прожевать, но не мог и только вместо слов, которых не пропускала печенка, широко перекрестился, удостоверяя таким жестом, что слово его верное.

Не доходя еще до гостиницы, Бабочкин вдруг придумал неожиданное развлечение: убирать квартиру по своему вкусу. Еще утром вопрос о квартире казался ему в высшей степени неприятным; но в эту минуту он решил немедленно приняться за уборку нанятых комнат; ему казалось, что свое помещение он уберет изящно и оригинально. Наскоро позавтракав, он сделал в гостинице необходимые распоряжения по доставке его вещей на квартиру и отправился туда сам. Там уже ждал его на крыльце Семен Березин. Не прошло и часу, как весь дом наполнился стуком молотков, пылью, гамом, восклицаниями: это сам Бабочкин и Семен убирали помещение. Хозяин распоряжался увлекательно, сам участвуя во всех работах; слуга ревностно исполнял приказания его, не щадя живота. В особенности они оба потрудились над кабинетом; в убранстве его проявилась вся оригинальность Бабочкина. Стены его он обтянул черной материей, а по углам убрал его белыми статуями и бюстами из дешевого материала; мебель поставлена была здесь также светлая. Идеей кабинета Бабочкин так увлекся, что почти не обращал внимания на другие комнаты; там больше распоряжался Семен.

Семен Березин был совершенно доволен своей службой. Бабочкин также, в свою очередь, был доволен Семеном — совместная уборка комнат сблизила их очень тесно; раз они даже обедали вместе. Впрочем, относительно пищи Семен был человеком

неприятным; отличаясь непомерным обжорством, он часто из-за этой слабости подвергался упрекам; в связи с этой слабостью была еще его послеобеденная сонливость, из-за которой он в первое время вызвал несколько нареканий. Феноменальная прожорливость его скоро была узнана всем двором дома; проявилась она в первый же день поступления его на службу. В этот день, улучив удобную минуту, он собрал из мешков все съестные припасы, накопившиеся за дорогу у Бабочкина, и всё съел в одни сутки; для этого он вставал два раза ночью и закусывал впросонье, слабо сознавая это; а на другой день утром он нисколько не тяготился едой и чаем, пока в саках не осталось ничего подходящего; и когда в этот день барин заметил, что их уборка плохо подвигается вперед, то Семен на его упреки основательно заметил, что он убирал мешки. Затем Семену показалось голодно на тех обедах, которые Бабочкин брал из гостиницы; к обедам этим он питал величайшее презрение, хотя то и дело принужден был пробовать их. Это последнее обстоятельство на третий день вызвало маленькое недоразумение. Послав его в гостиницу за обедом, Бабочкин собственными глазами убедился, что Семен пробовал предварительно сам все кушанья, хотя надо сознаться, что Семен только из любопытства засовывал палец в каждое блюдо, чтобы попробовать, какие штуки едят господа.

— Свинья ты этакая! зачем ты макаешь палец в кушанье? — сказал недовольным тоном Бабочкин. — Разве тебе мало своего обеда?

— Известно, мало! — вдруг возразил мрачно Семен, — что́ мне занятного есть-то эту штуку!.. — добавил он, презрительно ткнув пальцем в судки, принесенные им из гостиницы. Но это недоразумение Бабочкин разъяснил с следующего же дня; он условился с дворником дома, чтобы тот кормил Семена за своим столом, и по возможности вволю. С тех пор Семен перестал марать пальцы о господские кушанья.

Другая неприятная черта Семена обнаружилась также на второй или на третий день. Торопливо оканчивая декорирование кабинета, Бабочкин вдруг после обеда потерял Березина; последний совершенно пропал из дому. Бабочкин обыскал все углы квартиры, искал на дворе, но нигде Березина не было; только уже по указанию дворника барину удалось напасть на след погибшего; он оказался, к удивлению барина, под крыльцом спящим мертвецки. Барин сначала думал, что Березин напился; но это оказалось неверным, — Семен только покушал плотно. После каждого своего обеда Семен чувствовал непреодолимое влечение прилечь на часок, причем довольствовался голым полом и голой землей. На следующие дни поиски его регулярно установились; сейчас же после обеда Бабочкин шел искать его

и находил спрятавшимся или в чулане, или под крыльцом, или за диваном, между мебелью. Сначала барин пробовал насильно будить его, но через некоторое время он понял, что это бесполезно; с час после обеда Семен никуда не годился; в это время у него было какое-то идольское выражение неподвижности, и он не слушал тогда ни слов, ни брани; только хлопал тупо глазами, мрачно вздыхая. Бабочкин должен был помириться с этим, тем более что со временем обе слабости Семена значительно уменьшились, что зависело от сравнительного довольства, найденного им у Бабочкина.

За вычетом двух слабостей, во всем остальном барину он нравился; это был послушный, работящий и неглупый человек. Кроме того, их обоих связала некоторая общность положения. Бабочкин пережил крушение всех своих близких, Семен Березин также пережил гибель всего, что было ему мило. В домишке у него все перемерло — сначала дети, потом жена, наконец лошадь; вследствие этого он постепенно переходил с одной ступени на другую, низшую; сначала он сделался бездетным, потом холостым и, наконец, безлошадным; после чего он лишился рук и ног и обладал лишь ртом, да и тот был пустой, как он сам выражался. Благодаря таким обстоятельствам в нем выработались мысли и привычки довольно своеобразного характера; многие способности, свойственные людям, в нем замерли; тлелась только органическая жизнь; поэтому пища для него сделалась главной задачей и содержанием жизни.



Когда у него не было дела, он выходил на крылечко перед парадной дверью и наблюдал за движением на улице. Иногда он мечтал и философствовал, но больше всего насчет пищи. Думал он о том, что́ едят разные народы, и сам удивлялся тем мыслям, которые приходили ему в голову. Этими мыслями он обменивался с дворником, с водовозом или с кем-нибудь из знакомых, выходивших также посидеть на улице; между ними Семен скоро заслужил репутацию милого человека.

— А говорят, что поганые народы едят крыс, — сказал он однажды на крылечке.

— Ну, уж это, брат, ты врешь! — заметил кто-то недоверчиво.

— Зачем врать? Это, милый, верно. Он в туретчине (у Семена была своя география, и под туретчиной он разумел вообще всех «поганых народов», как их там называют) не больно зазнается! Он, говорят, облупит крысу, набьет ей брюхо картошкой и ест! Оттого что хлеба у него нет и говядины у него нет, ну он и пробавляется такою глупостью, и жив — вот диковина! Стало быть, человек все может употреблять, лишь бы жива душа была...

— А что ты думаешь, у нас нешто не бывает? — заметил дворник.

— Как не бывать!.. Чудеса, братцы, это, всего у нас вволю, а есть нечего. Пробовал я всякую пищу — и отруби, и овес, и мельничный бус — всего бывало. Раз четыре дня не ел, и дай мне в ту пору хоть лошадь — съел бы!.. Как не бывать, всего довольно!.. — и, говоря это, Березин глубоко вздохнул, опечаленный какими-то воспоминаниями.

— Это верно, — согласился дворник, — я знавал рыбака одного — так тот червей ел, подлец! Скусно, говорит!

На лавочке перед домом начинаются шутки, хохот, неожиданные рассказы.

Много поголодав на своем веку, Семен Березин выработал своеобразные взгляды на «кусок хлеба». Для него этот вопрос о куске хлеба составлял вопиющий и глубокий интерес, никогда не прекращающийся. О пище он бесконечно размышлял: утром он думал о завтраке, днем — об обеде, после обеда — об ужине. Во сне он чаще всего видел куски мяса, ломти хлеба при разных фантастических обстоятельствах; иногда сны эти у него были приятнее — это когда он ел; но иногда во сне у него какой-нибудь негодяй отнимает кусок обеда, — ужас тогда сковывал все его члены, и он не мог пошевелить ни рукой, ни языком, чтобы отогнать наглого человека.

Молился он также больше о пище, импровизируя молитвы сообразно недостаткам своим; молился о хлебе, о дровах, о шубе и пр., а иногда обо всем этом вместе. «Матерь божия! Святители угодники! Микола милостивый! Хлеба ни крошки! дров ни полена! одежды вовсе нет! Господи Иисусе, помилуй грешного! Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа!..» Когда однажды в бессонную ночь Бабочкин услыхал страстный шепот этой молитвы, на него напала такая хандра, что он вскочил с постели и долго ходил по комнате, не в состоянии подавить в себе мрачных мыслей: «Господи! хоть бы куда-нибудь деться... все бедность, мрак, глупость везде!..» — думал он и порывался уйти из дома; но была глухая ночь.

Впрочем, ко всему остальному Семен был равнодушен.

Когда у них с барином черновая уборка кончилась, он вымел все, прибрал, но затем навсегда считал дело поконченным, подбирая от времени до времени только такие вещи, о которые можно споткнуться. Паутина стала спускаться с потолков, на мебели и на полу лежал толстый слой пыли, на которой, как на бумаге, Семен иногда записывал пальцем свои покупки в лавках. На дверях нередко висели принадлежности костюма в живописных позах; на крышке пианино лежали часто корки хлеба, а на трюмо Семен любил ставить ваксу со щетками. Барин добился только того, чтобы спальня его держалась в сравнительной чистоте. На все остальное он и сам махнул рукой. Украшение квартиры ему скоро омерзело.

Да и самая квартира сделалась ему противна; никому еще не делая визитов, он первые дни старался сидеть дома, придумывая всевозможные способы убить время; старался долго обедать, по нескольку часов убивал на завтрак и чай, но все-таки пустого времени оставалось много. Его он разнообразил чтением, пением и прочими невинными занятиями. Читал он больше газеты, а из них те, где меньше было скуки; из газетного материала он выбирал отделы фельетонов, убийств и диффамаций. Отдел диффамации он всегда просматривал, фельетон — только тогда, когда автор его скверно ругался, а убийства читал только в тех случаях, когда был в спокойном состоянии. Вообще каждая мелочь бередила ему раны, и он избегал всего, что могло напомнить действительность. Иногда он брал в руки и серьезную книгу, но это всегда было на постели, и прочитывал он несколько страниц только затем, чтобы поскорее заснуть, или потому, что его кусали блохи, которых Семен порядочно напустил сейчас же вслед за своим приходом.

Он иногда пел. Некогда он думал, что у него прекрасный бас и что он поет им приятно; тогда он покупал массу романсов и оперных отрывков, заставляя жену аккомпанировать себе. Это увлечение, однако, быстро прошло благодаря тому, что жена своими замечаниями лишила его всякой веры в себя, сказав однажды ему, что «следовало бы прежде хоть немного познакомиться с нотами, а то он уши дерет!» С тех пор он перестал петь и возобновил это удовольствие только после отъезда жены, когда слушателем и ценителем его был один Семен. Семен, впрочем, дал пению барина своеобразное объяснение. «Должно быть, скучно моему-то, — рассказывал он своим дворовым приятелям, — иной раз молчит-молчит, да-а как заревет нехорошим голосом, даже жалко станет сердешного».

А больше никаких занятий и развлечений Бабочкин не нашел у себя. Холостой беспорядок, грязь, пустота необитаемых комнат скоро выгнали его из дому. Он сперва сделал необходимые визиты, сейчас же отданные ему, потом начал пропадать из дому

по целым дням. Что бы только ни случилось нового в городе, он шел на эту новинку. Поймали в реке большую белугу в пятьдесят пудов — Бабочкин первый пошел ее смотреть. Правда, дорогой он немного раздумывал: «черт знает... белугу смотреть?!» — но необходимость найти развлечение была сильнее разных соображений.

Он настойчиво искал развлечений, готовый взять их везде, где только они найдутся. Но он не знал часто, в какую сторону идти, чтобы отыскать забаву. И все чаще он спрашивал себя: «Что такое веселье?»

Вопрос этот сделался преобладающим в его голове. Жить так, чтобы не вспоминать прошлого и не думать о будущем, стало его постоянным стремлением. Страсть к развлечениям с каждым днем разрасталась. Но он все-таки не знал, что такое веселье?

III

С начала мая по захолустьям начинают разъезжать бродячие труппы всех сортов артистов: драматических, оперных, опереточных, балаганных. Угнетаемая скукой публика хорошо принимает всех их без различия, одинаково хлопая в один и тот же день в опере и в балагане и щедро вознаграждая как игру, так и кривлянье. В городе, куда попал Бабочкин, также сразу явилось несколько трупп, и Бабочкин стал по порядку обходить их все.

Впрочем, он выбрал только легкие зрелища. Театр уже давно надоел ему, — раньше он слишком злоупотреблял этим удовольствием, — а серьезных представлений он избегал вовсе. С некоторого времени страдания, хотя бы только сценические, сделались для него невыносимы; даже музыка, выражавшая глубокую мысль, была ему не под силу, страшно расстраивая нервы. Он боялся всего, что напоминало борьбу и страсти. И только легкие оперетки или безобидные комедии он мог слушать без вреда для своего сердца.

В первый день открытия зрелищ Бабочкин пошел в оперетку. В труппе случайно находилась одна опереточная знаменитость, удостоившая согласиться в этом городе участвовать только в одном спектакле. Благодаря этому театр был битком набит. Каждому хотелось непременно увидать диву, завтра уезжавшую. Начало спектакля Бабочкин пропустил и занял свое место как раз в ту минуту, когда зала уже гремела аплодисментами. Ничего еще не видя, он принялся хлопать руками, зараженный всеобщим гамом. С этой минуты он проделывал решительно все, что делала публика: во время пения напряженно слушал, как и все окружающие; когда все начинали хлопать, он также отбивал ладони;

соседи в некоторых местах неистовствовали, стуча ногами и стульями, — он также приходил в неистовство, готовый от восторга не только переломить на несколько кусков свой стул, но и выворотить несколько досок из рампы; когда публика начинала смеяться, он также хохотал. В антрактах мужчины густой толпой ходили в буфет; Бабочкин был в середине этой толпы, пил, ел и знакомился с разными господами. Здесь, между прочим, он познакомился с первым в городе банковским дельцом, который был вне себя от восторга при виде опереточной дивы.

Бабочкин также был в восторге от нее, хотя ему, в сущности, было наплевать на все... Он восторгался только потому, что все окружающие его восторгались. За это он именно любил толпу, любил толкаться в ней. Толпа снимает ответственность за поступки единицы и дает каждому известную уверенность и твердость; но, кроме этих отрицательных удобств, она дает еще целую массу положительных удовольствий, заставляя каждого переживать все то, что она сама переживает; а это — решительное счастье для человека, у которого внутри образовалась пустота, наподобие порожнего дома, где уже завелись летучие мыши, совы, пауки и мрак...

Истинные любители театра молчаливо слушают, молча оценивая сцену. Остальные, те самые, которые неистовствуют, пришли в театр затем, чтобы потерять сознание. Бабочкин также пришел, чтобы потерять сознание. Это скоро ему и пришло в голову. «Вот зачем поют!» — подумал он и вдруг был охвачен тоской. Последний акт он уже вяло слушал; на него вдруг напало изнеможение, голова у него кружилась; в висках стучало; сцена представлялась ему в тумане. У него вдруг мрачно стало на душе, как у человека, истощенного напряжением. Он побледнел. Шум уже раздражал его; теперь он желал, чтобы кругом стояла невозмутимая тишина.

Толпа, окружающая его со всех сторон, снизу и сверху, спереди и сзади, теперь давила его непомерным гнетом. Лица, которые за минуту казались ему смеющимися и приятными, теперь сделались противными рожами. Его раздражала толстая и красная шея какого-то военного, который сидел впереди его и, как ему казалось, все больше раздувался и краснел; он в душе ругал господина, сидевшего позади его и скверно сопевшего, как лошадь; а лысый, обветшалый старик, находившийся по правую его руку, просто выводил его из терпения одним своим поношенным видом.

Но всех более бесил его барин, занимавший стул по левую его руку. Это был толстяк с добродушным видом, еще молодой, чисто одетый и надушенный. Он в самом деле никому не давал покоя; на своем месте он редко сидел, то и дело вскакивая, причем каждый раз Бабочкин должен был прятать ноги под стул. Барин

между тем все больше и больше волновался, выбегал в коридор, чуть не со всеми о чем-то шептался и был весь в поту от ужасной суеты, которая овладела им. «Что нужно этому болвану?» — взбешенно думал Бабочкин каждый раз, когда суетливый барин вскакивал с своего места и, вытянув шею, тихо, но взволнованно прокрадывался между рядами кресел.

— Милостивый государь! прошу вас сидеть или отыскать себе другое место! — воскликнул окончательно выведенный из терпения Бабочкин, поджимая ноги при проходе суетливого господина.

Последний вдруг присмирел, тихо сел на свое место и не без робости поглядывал на своего сердитого соседа. Бабочкин заинтересовался им и серьезно осведомился, не расстроился ли у него желудок? Эту грубую выходку сосед пропустил без ответа, но рассказал причину своего беспокойства... Он собирал экстренную подписку на подарки заезжей артистке; но подписка шла туго, а посланные по магазинам за покупками что-то долго не возвращались, и вот почему он страшно волновался! Спектакль скоро кончится, а подарков нет!.. Все это сценический любитель рассказал дрожащим шепотом и опять заволновался, будучи решительно не в состоянии усидеть на месте.

Бабочкин также встал и отправился в буфет вслед за любителем. Последний уже успел сбегать за кулисы, вихрем пронесся по коридорам и прибежал в буфет расстроенным, убитым. Присев на табурет, он с видом отчаяния обратился опять к Бабочкину:

— Позор, один срам, милостивый государь!

— Что такое, позвольте узнать? — заинтересовался Бабочкин.

— Да ведь блюда-то нет! — вскричал с негодованием любитель.

— Какого блюда?

— Да на котором подарки-то подносят.

— Так поднесите без блюда, — возразил Бабочкин, смутно понимая, о чем идет речь.

Любитель широко раскрыл глаза, очевидно удивляясь, как порядочный человек мог выказать такое невежество.

— Без блюда? Взять прямо голыми руками и передать?! — воскликнул театрал так, что Бабочкин даже сконфузился.

— Почему же блюда нет?

— Потому что собранной мною суммы не хватает... Просто скандал! скандал!

Бабочкин, видя такое отчаяние, достал бумажник и предложил из своих средств пополнить недостающую сумму. Любитель схватил его руку, взволнованно потряс ее, выхватил предложенную пачку кредиток и стремглав бросился отдавать приказания. Бабочкин больше не видел его до окончания спектакля. Но за

то по окончании, когда начались бесконечные вызовы заезжей дивы, Бабочкин увидал своего неспокойного соседа уже в качестве героя.

Тот совершенно преобразился. Появившись откуда-то внезапно, он торжественно выступал в проходе между креслами с большим серебряным блюдом, на котором уложены были подарки, а над головой держал огромный венок из живых цветов. Очевидно, он был на высоте своего положения и изучил во всех деталях свою роль; торжественно подступив к дирижеру оркестра, он с поклоном передал ему подарки и величественным жестом пояснил, что с ними дальше делать. Проделав все это, он остановился перед рампой и улыбался до ушей. Вид у него был блаженный.

Бабочкин, и без того утомленный, поторопился к выходу, чтобы выбраться из душной залы, где снова поднялись аплодисменты. Но ему не суждено было так скоро расстаться с театралом. Едва он успел надеть пальто, как среди толпы выходящей публики увидал знакомую сияющую физиономию. Бывший его сосед протолкался к выходу, подбежал к нему и снова потряс ему обе руки.

— Позвольте узнать! Вы спасли меня и честь всего города! Помилуйте, знаменитость — и без блюда! Позор! С кем имею честь?

Бабочкин назвал себя.

— Слышал, слышал! Вы недавно к нам... Имею честь — Аркадий Андреевич Карамельков, мировой судья... Помилуйте! Я обязан вам...

Аркадий Андреевич Карамельков не знал, как благодарить своего спасителя; он в десятый раз потрясал его руку, благодарил и смотрел благодарным взглядом. Широкое лицо его сделалось еще шире от улыбки.

— А знаете что, для первого знакомства пойдемте ко мне. Закусим, выпьем, а? — предложил он вдруг.

Была уже глубокая ночь; но, подумав с минуту, Бабочкин согласился на предложение, лишь бы не быть дома. Карамельков опять принялся благодарить и уверял, что это ничего, если немного поздно, — подкрепиться не мешает. Супруга его теперь, вероятно, уже спит... она тоже была на спектакле, но незаметно уехала.

Бабочкин заметил эту даму, — она противно зевала и смотрела злыми глазами. Впрочем, он этого не высказал, а неопределенно возразил, что, кажется, он заметил.

— Это моя жена. Она очень нервная дама, но теперь, наверно, спит... и мы отлично закусим!

Этот разговор происходил в театральных сенях. Потом они вышли. Карамельков крикнул кучера, но его не оказалось у подъезда; извозчики все были разобраны. Пришлось идти

пешком, что, по-видимому, было тяжело Карамелькову. У него было короткое туловище и короткие ноги; толстяк задыхался во время ходьбы, но необходимость заставила идти.

— Какая чудная ночь! — сказал он.

— Да, ночь ничего, недурна, — возразал Бабочкин и скучно посмотрел вокруг себя.

— И какая луна прекрасная! Хорошо пройтись по такому свежему воздуху после театральной духоты! — продолжал Карамельков занимать своего спутника.

— Воздух?.. немного воняет, но ничего. Что касается луны... видите, когда я смотрю на прекрасную луну, мне всегда кажется, что это мертвая красавица. Посмотрите, какая смертная синева ее лица. Желто-бледная, бездушная, она по ночам показывается из-за горизонта, как призрак... Она прекрасна, но я боюсь привидений, а мертвецы внушают мне отвращение.

Карамельков сбоку взглянул на Бабочкина, подозревая, что тот смеется. Он сильно задыхался, беспомощно семеня короткими ногами, но ни минуты не хотел молчать.

— А как вам нравится театр наш? Здание, собственно...

«Какой пошлый разговор!» — раздражился про себя Бабочкин, но вслух похвалил театр.

— Да, театр у нас на славу! Скучно было бы без него... Знаете, возвышенное развлечение!

— Здесь постоянная труппа есть? — прервал Бабочкин.

— Зимой постоянная, а теперь, как видите, наезжают... Летом, конечно, бывает и так, что целый месяц никто из артистов не заглянет. Но в зимние и осенние сезоны у нас труппа порядочная. Я люблю театр... знаете, возвышенное удовольствие! Оживаю!

— Какие же еще здесь развлечения? — опять прервал Бабочкин.

— Как вам сказать... да всё есть, что и в других городах... Извините, забыл упомянуть, — на оперных спектаклях у нас больше оперетки — мило играют. Я очень люблю театр...

— А клуб существует? — возразил Бабочкин, не слушая своего спутника, который непременно хотел высказаться.

— Клуб есть, дворянский, но все бывают. Я — член, но редко бываю...

— А драки там бывают? — спросил Бабочкин.

— Что?

— Дерутся в клубе бифштексами? — пояснил Бабочкин, мало-помалу впадавший в обычный свой тон — дурачить людей.

Карамельков робко взглянул в глаза говорящего, подозревая, что тот смеется над ним.

— Помилуйте, какие же драки? — возразил он обиженно.

— Обыкновенные драки, или, если хотите, истории! У нас

в N, видите ли, под веселую руку бифштексами дрались в клубе, а один господин пустил в голову старшине десятифунтовым ростбифом... Вот почему я и спросил вас.

— Помилуйте, у нас этого нет! Очень порядочно.

— Да что вы хотите? Ведь скучно, и надо же какое-нибудь разнообразие в развлечениях. У нас стали возникать разные общества... «общество велосипедистов», «общество покровителей колотым свиньям». Но я не люблю эти игрушки... где же искать развлечений? Попробуйте пересчитать все роды наших развлечений — и вы увидите, что нет... Вы назвали театр?

— Да, театр... благородное, знаете, развлечение... люблю! — подтвердил Карамельков.

— Ну, а еще что? — спросил Бабочкин.

Карамельков не знал, что сказать.

— Я вам скажу: «пить, есть, петь, любить» — но это старая штука. Я желал бы чего-нибудь нового... Когда я пью — у меня кружится голова; когда я покушаю — меня тошнит, а когда я люблю, то делаюсь идиотом. Назовите мне еще что-нибудь?

— Вы шутите... Мало ли еще развлечений! — недоумевая, выговорил Карамельков.

— Но положим, что я говорю серьезно, что мне смертельно скучно, — назовите мне еще какое-нибудь развлечение?

— Да вот театр... благородно!

— О театре вы уже сказали, еще что? — приставал Бабочкин.

Карамельков с недоумением развел руками и не знал, что сказать. Он только проговорил задумчиво:

— Каждый человек сам должен придумать для себя развлечение...

Карамельков, кажется, еще что-то думал прибавить, но в эту минуту оба они стояли перед дверью квартиры. Карамельков вдруг изменился — заговорил тихо, сделался сосредоточенным, а взойдя на крыльцо, старался ступать чуть слышно, словно подкрадывался к неприятельскому стану.

— Знаете, мы никого не будем тревожить... Я сам все сделаю, прислуги не нужно... Мы тихо войдем в кабинет, выпьем, закусим, поболтаем... Жена у меня — дама очень нервная, но, конечно, спит...

Это был своего рода план военного действия, быстро составленный Карамельковым перед самой опасностью; но, несмотря на строго выработанный план, он, видимо, чего-то боялся и осторожно стал подкрадываться к двери. Бабочкина начало забавлять все это; он оживился, радуясь предстоящей мальчишеской забаве, и также стал подкрадываться вверх по лестнице. Но Карамельков испытывал далеко не радостное волнение; подкравшись к двери, он тихо потянул ее; к его ужасу, она была заперта, и теоретически составленный план оказался неприменимым.

Дрожащим шепотом он высказал свой взгляд на положение вещей.

— Знаете, придется звонить!.. Жена у меня — дама очень нервная... мне не хотелось бы будить ее! — в волнении выговорил Карамельков.

— Давайте влезем в окно? — мальчишески предложил Бабочкин.

Но перепуганный Карамельков не слыхал этого предложения. Он взял ручку звонка и тихо дернул; колокольчик раза два звякнул. Водворилась опять тишина. Карамельков, казалось, перестал дышать. Надежда на то, что двери отворит горничная, а не жена, у него была очень слабая. На звонок, однако, никто не ответил, а во второй раз Карамельков медлил позвонить. Тогда Бабочкин, забавляясь всем происходящим, схватил звонок и что есть духу дернул; по всему дому раздался звон, и трели колокольчика долго переливались по сводам. Карамельков обомлел.

Вдруг дверь отворилась, и он лицом к лицу столкнулся с гневной супругой. Последняя была полураздета, в туфлях, со свечой в руке, которая дрожала.

— Благодарю, благодарю! Вы, конечно, нарочно позаботились, чтобы кучер был пьян и чтобы мне пришлось из театра трястись на извозчичьей кляче, с риском сломать себе шею! Благодарю! — выпалила взбешенная супруга, не замечая Бабочкина, стоявшего в тени; на ее красивом лице появились пятна, прядь волос спустилась на лоб; глаза зло и презрительно остановились на пораженном муже. Если бы последний нарочно придумал в эту минуту рекомендовать Бабочкина, то это был бы ловкий стратегический маневр, но, к сожалению, рекомендация им была совершена с отчаяния, потому что он растерялся.

— Позволь представить тебе, милая, моего нового друга, Александра Ивановича Бабочкина...

Но не успел это пролепетать Карамельков, как положение вещей быстро изменилось. Свеча потухла, жена бросилась со всех ног назад, куда-то в комнаты, и приятели очутились впотьмах, хотя после отступления врага, в полнейшей безопасности.

Карамельков ощупью прошел в кабинет, зажег лампу и посветил Бабочкину, который был совершенно доволен этим маленьким происшествием. Карамельков, усадив его в кресло, куда-то отлучился на несколько минут, быть может к супруге, чтобы получить от нее новую благодарность за представление ей, полураздетой, незнакомого господина, а быть может затем, чтобы приготовить закуску. Скоро в доме воцарилась тишина. Хозяин, на цыпочках ступая, через короткое время уже нес поднос с винами и закусками, собранными им самим; причем

благодушие вновь осветило его широкое лицо, недавно обезображенное паническим ужасом.

— Жена моя очень нервная... но теперь, конечно, уснула, и мы на досуге поболтаем, — говорил весело Карамельков, чувствуя теперь себя в безопасности.

Новые друзья плотно закусили и выпили, поговорили о развлечениях и также стали чувствовать наклонность ко сну. Бабочкин собрался домой, но Карамельков уговорил его ночевать на диване; он опять засуетился, сам накрыл диван простыней, принес подушки и одеяло. Бабочкин раздумал идти. «Черт знает... глупо, кажется!» — думал он, но остался. С некоторого времени он все больше и больше терял волю над собой; его легко можно было уговорить на что угодно, лишь бы не дать ему скучать. В данном случае, слушая болтовню хозяина о театре, он неопределенно улыбался, сам балагурил и забывал в словах свою мысль о нелепости всего совершающегося.

Впрочем, через час Карамельков уже примелькался ему и порядочно надоел; ему вдруг показалось нелепым даже то, что он вот лежит на диване у какого-то Карамелькова и слушает бесконечную болтовню о каких-то театральных будках. Он скоро перестал слушать и постарался заснуть. Но хозяин долго еще рассказывал о своих театральных впечатлениях, влюбленный, по-видимому, даже в стены театра.

Едва ли, впрочем, Карамельков любил сцену ради сценического искусства, потому что этого последнего он не понимал. Любил он, собственно, театральную толкотню, театральную обстановку — пол, потолок, ложи, ярусы, галереи, подмостки, кулисы, актрис, актеров, статистов, суфлерскую будку; любил, словом, все, что только было и происходило в театре. У каждого человека есть свои развлечения, ценимые им больше всех других. У Карамелькова это было театральное здание. Он знал его историю, способ его постройки, количество лож, обстановку уборных, состав машин, имена артистов и капельдинеров, наружность прислуги, содержание гардероба и пятна на мебели в ложах. Он наблюдал, из чего делают луну и звезды, солнце и облака и как можно произвести дождь, снег, бурю, волны реки; он подробно изучал трапы и дыры, в которые проваливаются под землю, умел и сам проваливаться так, чтобы не разбить себе затылок.

Он присутствовал на всех репетициях в качестве своего человека и с наслаждением смотрел, как актеры долбят свои роли, как ругаются и какими способами интригуют друг против друга. За отсутствием суфлера (горчайшего пьяницы) он иногда на репетициях сам залезал в будку и шипел оттуда. Актеры всех трупп любили его, но часто эксплуатировали. Между ними он был известен под именем «дядюшки из Индии» — кличка,

намекавшая на его готовность помогать актерам. В самом деле, он часто мирил антрепренера с артистами и артистов между собой, но полезен был и прямым путем. Он протрезвлял пьяных перед спектаклями, высказывал свое мнение об игре и костюмах и за отсутствием гримировщика (пившего запоем) с большим талантом малевал рожи. Иногда он по просьбе артистки бежал в магазин для покупки чулков или платка. В летние месяцы, когда весь этот театральный мир жил впроголодь, Карамельков устраивал подписки, делал у закладчиков займы или выкупал заложенные панталоны суфлера, которые тот периодически пропивал в кабачках.

Театральное здание было единственным местом на земле, где проявлялись все его душевные способности и где он чувствовал себя живым человеком. Вся остальная жизнь виделась ему в тумане, а живые люди казались ему скучными. Он любил только ту луну, которую делают в театральной мастерской; ему больше нравились те поцелуи, которые раздавались на сцене; он больше понимал тех людей, которые с подмостков говорили не своим голосом, и признавал настоящею ту жизнь, какая показывалась на сцене.

Благодаря этой иллюзии он был возмутительно равнодушен к действительной жизни. В свою судейскую камеру он являлся только тогда, когда просители осаждали его правильной осадой. Церемоний в суде он никаких не наблюдал, надевая цепь прямо на халат, если в камере толпились мещане и мужики, или на потертый пиджак, если разбиралось дело «приличных людей». Во всяком случае относился он к своим обязанностям одинаково. Он всегда имел заспанный вид, сопел, когда надо было говорить, и лаялся, когда шел допрос, употребляя грубые выражения: «Вот уж заврался... ну, что уж вздор-то городить... чего мелешь?..» — бормотал он во время допроса. В камере, во время исполнения своих обязанностей, он до такой степени изменялся, что трудно было узнать его тому, кто видел его в театре. Грубый язык, скверные выражения, неряшливый костюм, вид спросонья, необычайная раздражительность — таковы были неотъемлемые свойства мирового судьи третьего участка...

В камере у него всегда лежала грязь, на столах клочья рваной бумаги, в воздухе какой-то протухлый запах. В его участке были вечно истории: то он пришьет вместе две бумаги из разных дел, то напишет нелепую цифру статьи закона, то потеряет совсем дело. Неоднократно его намеревались предать суду, но так как его знал и любил весь город, он избегал суда и безнаказанно служил второе трехлетие.

Вообще, неряшливость — наиболее точное слово всей его общественной деятельности. Дела он не решал, а комкал кое-как, совал, «сбывал с рук». Для этого он копил по возможности больше

тяжб и назначал их на один день. Но иногда его одолевали, заставляя его в продолжение двух недель подряд приходить судить. Тогда он мучился страшно; он сам считал себя мучеником; в камере его в ту пору происходил неописанный содом. На столах возвышались беспорядочные кучи бумаг, перед решеткой толпа голосила во все голоса, а письмоводитель окончательно терял голову. Весь измученный, Карамельков гнал, наконец, тяжущихся, а в ответ на ропот последних раздражительно ругался... «Хочу отложить дело и отложу! Не разорваться же мне из-за вас! Вас, чертей, тут много, а я один! Ведь и у меня есть свои дела... не издыхать же мне из-за вас!» Он считал себя жертвой, а своих просителей мучителями, которые не имели на него ни малейших прав. В глубине души он думал, что жалованье он получал за образование; каждый образованный человек должен быть обеспечен, иначе зачем же учиться! Разбирал же он гнуснейшие дела разных чертей просто потому, что нужно же иметь какое-либо место среди людей.

На следующий день Бабочкин опять позволил себя убедить, что незачем торопиться домой, и он должен напиться чаю здесь. Пожав плечами с видом человека, которому все равно — пить чай в незнакомом доме или идти к себе, он без возражения согласился на предложение хозяина. Отправились в столовую; там уже за самоваром сидела г-жа Карамелькова, «нервная дама». Бабочкин с любопытством принялся наблюдать хозяев, делая своеобразные толкования.

Картина, в самом деле, совершенно изменилась.

Г-жа Карамелькова приняла гостя необычайно любезно, улыбаясь, как невинное дитя. Вчера она показалась ему пожилой красавицей, теперь она выглядела свежее, майской розой — перемена, которую Бабочкин оценил самым грубым образом, объяснив ее туалетными секретами. Но в особенности поразительна была перемена в обращении; вчера Бабочкин почему-то решил, что г-жа Карамелькова иногда жестоко бьет супруга; теперь же ему дали заметить, что она — нежно любящая жена. Злое выражение лица, обнаруженное вчера, теперь превратилось в игривое. Г-жа Карамелькова поминутно обращалась к мужу с нежным «Аркаша»; она справлялась, не слишком ли крепок чай, не хочет ли он булки... Казалось, жена боялась, что Аркаша захлебнется чаем, или подавится булкой, или другой какой вред нанесет себе, — это казалось потому, что г-жа Карамелькова тревожно заглядывала в рот мужу. Кроме того, продолжая весело болтать с гостем, она поднялась с места, стала позади стула любимого человека и гладила его по голове, играя его редкими волосами. К сожалению, Бабочкин и на этот раз грубо объяснил такое любовное обращение желанием загладить вчерашнее впечатление, которое могло бы дать невыгодное понятие

о характере взбалмошной дамы... Про себя Бабочкин заключил обо всем этом крайне дерзко: «Какая, однако, черная кошка!..»

Если Карамельков любил театральную жизнь, а общественные обязанности ненавидел, то в семье он все делал только напоказ. Таким образом, в театре он был один человек, в камере был другой человек, а у себя дома третий, и все эти три человека нисколько не походили друг на друга. В театре он жил, в камере судьи мучился, в семье показывал вид, что он доволен всем, хотя на самом деле был совершенно равнодушен к супруге.

Анна Петровна Карамелькова считала себя очень нервной дамой. Она была подозрительна, зла и вероломна, как вельзевул, и все это объясняла нервами. Лицо ее часто искажалось, глаза мучительно горели, и вызывалось это ничтожными пустяками; но нервной все-таки нельзя было ее назвать. Правда, жизнь не улыбнулась ей светлой улыбкой. Желая быть богатой, она должна была жить скромно; ей нужно было страстно любить, но она только жила с мужем, который был безразличен для нее; умная от природы, она могла бы что-нибудь делать, но в действительности не имела в жизни никакого дела. Благодаря этому она сделалась в высшей степени раздражительной, по всякому поводу поднимая в доме суматоху, скандал. Достаточно было мужу возразить ей в какой-нибудь мелочи, как она выходила из себя, металась по комнате, топала ногами. Тогда по всему дому раздавались ее нежные слова в сторону мужа: «негодяй!.. дурак!.. прочь!» Вслед за тем она делалась больна. Моментально призывался доктор, прислуга бежала в аптеку, спальня оглашалась стонами. Все ходили на цыпочках.

Иногда, при начале сцены, Анна Петровна, вместо брани, пускала в мужа все, что попадалось в ее дрожащие руки: в сторону мужа дождем летели туалетные склянки, зубные щетки, бронзовые подсвечники, альбом, книжка журнала, коробка конфет...

Во время этих домашних происшествий Карамельков вел себя превосходно: он не возмущался. Напротив, он просил прощения у жены, не сознавая за собой никакой вины. А когда жена ложилась в постель, он сам иногда скакал за доктором и в аптеку, а по возвращении домой становился у изголовья больной и просиживал целые ночи у постели, в то же время решительно не веря в болезнь. Он не верил в болезнь, но показывал вид, что верит, мучился за исход и готов был отдать жизнь за выздоровление мнимоумирающей. Он тревожно выслушивал доктора, отводил последнего в смежную комнату и дрожащим шепотом спрашивал его: «Ну как? не опасно?»... Тщательно следил за правильностью приема лекарства и сердился, когда жена не хотела выпить какой-нибудь аптечной мерзости. Все это он проделывал искренно, для умилостивления жены; он

даже ради этой цели и толстоватое лицо свое делал сострадательным.

Если бы он не был ко всему равнодушным на свете, то постарался бы занять жену каким-нибудь делом. «Запрягите ее в бочку с водой!» — сказал однажды злобно доктор на вопрос Карамелькова, какое лекарство поможет ей?

Это были какие-то картонные люди; жизнь их стала такою лживою, что они даже не питали ненависти друг к другу, — точно они показывались на сцене. Жена устраивала искусственные бури, а муж притворялся сострадательным; жена любила бушевать на домашней сцене, а муж любил притворяться страшно испуганным; и в то время, как жена, сидя перед зеркалом, подкрашивала увядающее лицо, муж, сидя за кулисами, помогал делать луну из бумаги.

Бабочкин часа два просидел в их столовой, насмешливо наблюдая за всем происходящим, и странные желания явились в нем. В последнее время он вообще всюду дурачился; но здесь ему захотелось просто издеваться. Карамельков все время молчал, и Бабочкин решился при первом случае дать ему щелчок по носу, но теперь его заинтересовала одна Карамелькова. Сначала он весело смеялся в ответах, но мало-помалу им овладело непреодолимое желание взбесить ее.

— Вас единогласно здесь выбрали. Все знают вашу энергию как общественного деятеля... — с очаровательною улыбкой сказала, между прочим, хозяйка.

— Странное мнение обо мне!.. — возразил Бабочкин.

— Ну что вы притворяетесь скромным?

— Серьезно, повторяю — странное мнение обо мне!.. Я, напротив, приехал, чтобы ничего не делать.

— Как! А общественная деятельность?..

— А наплевать мне на общественную деятельность! — возразил Бабочкин, открыто смотря на Карамелькову.

Последняя также смотрела на него пристально, подозревая какую-то заднюю мысль. Они с минуту наблюдали друг за другом.

— Вы, однако, оригинальны, — заметила неопределенно Карамелькова.

— Нет, я только не хочу быть фальшивым. Я просто говорю — наплевать! Зачем я буду притворяться? Зачем мне притворяться добрым, когда я на самом деле зол? Зачем показывать вид, что я люблю, когда на самом деле я терпеть не могу общественных дел? С какой стати я, положим, буду раскрашивать лицо, когда на самом деле оно сморщилось и пожелтело? Я положительно не вижу в этом надобности...

Говоря это, Бабочкин продолжал смотреть в упор. Пятна появились на лице Карамельковой, но она сдержалась, бросив

только знаменательный взгляд в сторону гостя, и вышла из комнаты под предлогом отдать какое-то приказание прислуге.

Бабочкин простился с Карамельковым и пошел домой, в полной уверенности, что г-жа Карамелькова больше не захочет заигрывать с ним. Но он все-таки был недоволен собой. Припоминая эти сутки, проведенные у Карамельковых, он чувствовал, как что-то темное овладевает им. Такие люди, как Карамельковы, вызывали у него презрение вообще к людям; они нагоняли на него хандру, отвращение к жизни и сгоняли улыбку с его лица.

«Какая чертовка!» — со злостью думал он дорогой о Карамельковой и решился больше не встречаться с ней.

Больше он действительно ни разу не заглядывал в квартиру к Карамелькову; но зато с ним в первое время недели шлялся по театральным захолустьям. Он познакомился с оставшимися на лето актерами, забавлялся их рассказами о театральных передрягах и сам забавлял их своими неожиданными выходками. В ночных кутежах, устраиваемых им на свой счет, он давал волю своему языку и приводил в восторг всю компанию неудержимою веселостью, которая, казалось, лилась через край... Относительно Карамелькова он сдержал свое слово: при первом случае, когда все были подвыпивши, он дал ему щелчок в нос. Карамельков долго дулся на него за эту грубую выходку.

Недели через две общество актеров надоело Бабочкину; к его удивлению, артистическое общество оказалось самым скучным, какое можно только вообразить. Люди здесь вели невеселую жизнь, мысли их были мрачные, жалобы надоедливые, интриги безобразные. К его величайшему удивлению, люди эти, по наружности беззаботные и легкомысленные, на самом деле с головой были погружены в мелкие делишки, вечно озабоченные гонораром, бенефисами, манерами, своею наружностью, своими голосами. Бабочкин должен был выслушивать бесконечные жалобы и опасения; в особенности тяжелы были в этом отношении комики — всегда мрачные, тупые и мелочные. Бабочкин стал избегать их; а Семену приказал всегда говорить, что его нет дома.

IV

На пустынной улице этого города стоит одно пустынное казенное здание, где царит всегда мертвая тишина. Туда приходят иногда просители, но робко и с соблюдением всевозможных предосторожностей. Порядок был известный: пускали в самое присутствие только одного человека; остальные просители должны были ждать в сенях своей очереди. От времени до времени раздавался визг ржавых петель, дверь отворялась и поглощала

нового очередного просителя, а остальные опять ждали с замиранием сердца.

В самом присутствии царила еще бо́льшая тишина. Служащие не вели между собой разговоров, не гуляли с места на место, не смели громко кашлять. В кабинет же начальника никто без доклада не смел входить; только один секретарь раза два во время занятий бесшумно входил и выходил из кабинета, делая это так незаметно, как будто плыл по полу. Вообще Бабочкин ввел у себя в присутствии образцовый порядок и требовал полной тишины,— только под этими условиями он мог еще служить... В такой именно форме совершилась реакция в нем.

А еще недавно служба, которой он отдавался с увлечением, доставляла ему значительную долю жизненного содержания. «Присутствие» его тогда было освещено серыми красками деревни, которая приходила к нему за советом, в лице ходоков; он тогда находил удовольствие разговаривать с темными людьми, помогать им советами, хлопотать за них; в ту пору ему приходилось во главе черной толпы ходить по улицам города...

Но все это прошло. Он уже и в том городе мало-помалу опускал руки, а когда явился сюда, то реакция уже совершилась в нем. О прежней своей деятельности он вспоминал с недоверием, как о чем-то забавном. «Наплевать!» — сделалось формулой его настоящих понятий о службе. Не все ли равно, будет он работать или нет? Наплевать!

Протянутся непрошеные руки, захватают грязными пятнами его деятельность и забросают по сорным ямам все его дела... Наплевать!

Подует другой ветер, сорвет с корнем все его временные постройки и, пожалуй, собьет его самого... Наплевать!

Притворяться общественным деятелем в то время, когда и самое-то слово это ему стало подозрительным и смешным, — это пусть уж проделывают другие, а ему — наплевать!

Он пришел к тому выводу, что люди требуют и ждут от жизни только одного: веселья. Каждый человек только хочет играть. Начиная с детства, когда забавляются свистульками, продолжая зрелым возрастом, когда люди находят удовольствие в борьбе с себе подобными, и кончая старостью, когда люди стараются в воображении пережить все прошедшие забавы, — везде целью существования является игра... Пусть игроки считают себя деятелями, — он узнал цену их дел, и ему — наплевать!

Такими приблизительно путями Бабочкин дошел до полнейшего отрицания «службы», «дел», «деятельности» и пр. В наболевшей душе его все предметы показались в обратном виде, жизнь перевернулась вверх дном, а люди обнаружили ему свою изнанку. Сообразно с этим он и порядки у себя завел; требуя от своих служащих только поддержания внешнего благообразия в делах,

он приказал по возможности меньше делать. Сначала этот курьез произвел недоумение, — служащие только пожимали плечами. Разбирая какие-нибудь бумаги, Бабочкин то и дело говорил: «Да бросьте вы их к черту!» Несколько старых дел он просто велел сжечь... «Вы сделаете меньше вреда, если поменьше будете производить бумажного хлама!..» Секретарь привык, наконец, выслушивать от него обычную резолюцию: «Наплевать!»

Со дня его поступления сюда в качестве главного ответственного лица дела почти прекратились; только самые неизбежные отправления присутствия еще поддерживались.

Во всяком случае, сам Бабочкин на службе ничего не делал; вся его обязанность состояла только в том, что он просиживал положенное время, убивая его разными невинными занятиями: рисовал на бланках карикатуры, свистел или барабанил пальцами по крышкам «дел»; часто также читал газеты, в особенности отдел диффамаций, а иногда сочинял замысловатые пререкания с другими «присутствиями». В особенности дерзкими бумагами он донял одного господина, служившего в другом казенном доме и вздумавшего придраться к какой-то мелочи; донял так сильно, что тот прислал просительное послание.

Бабочкин вдруг этим заинтересовался. Он расспросил, кто такой этот господин. Секретарь дал довольно оригинальные сведения о барине. Фамилия его Шершнев, в городе его никто не любит — человек надоедливый, беспокойный; подкапывается под всех служащих, желает выставить себя перед начальством исключительною ревностью. Пишет много доносов, но ведет такую таинственную жизнь, что его считают заговорщиком... многие его боятся.

Когда секретарь ушел, Бабочкин собрался, живо окончил все дела и через четверть часа стоял уже перед крыльцом, на двери которого прибита была дощечка с надписью: «Дмитрий Дмитриевич Шершнев».

Бабочкину отперла впопыхах какая-то замазанная женщина и сейчас куда-то скрылась, предоставив его самому себе. Впрочем, раздеваясь, Бабочкин видел, как из двери, выходящей в переднюю, выглянуло чье-то лицо и скрылось; но немного спустя из другой двери выглянуло другое лицо и также скрылось. Бабочкин повеселел, как школьник, попавший в среду товарищей. Он прошел дальше, в приемную, или то, что счел за приемную. Его неприятно поразил какой-то запах, которым, казалось, пропитаны были все предметы в доме; это бывает: есть такие семейства, которые носят в себе свой собственный, характерный, хотя неопределимый словами дух, пропитывающий все вещи.

В приемной также не было никого; но вдруг из двух противоположных дверей вышли два молодых человека и почти в один голос спросили: «Вы к папаше?» Бабочкин отрекомендовался,

а молодые люди пригласили его сесть и в один голос сказали, что папаши нет, но он скоро будет.

— Через полчаса, — ответил один.

— Нет, через три четверти часа, — возразил презрительно другой.

И оба заспорили по этому поводу. Один уверял Бабочкина, что у брата всегда часы идут вперед, а другой доказывал, что у первого отстают. Они оба вынули часы и, смотря на них, спорили, все более и более раздражаясь. В споре Бабочкин, сам не желая этого, узнал, что оба брата жили у отца без дела, потому что нигде не учились и нигде не служили. Оба были сначала в классической гимназии, где старшему отец подарил часы, оказавшиеся фальшивыми, идущими вечно вперед, но оба с третьего класса вышли, поступив в реальное училище, где отец подарил младшему также часы, которые с первого же дня шли назад; но потом с четвертого класса оба вышли и теперь живут дома, причем часы остались фальшивыми у обоих.

Бабочкин смеялся, не вмешиваясь в распрю двух балбесов, и живо оценил их. Старший брат, Иван Дмитрич, был худой, рябой юноша; младший, Петр Дмитрич, был краснощекий и толстолобый. Спор, впрочем, скоро окончился, и оба брата стали занимать гостя. Но разговаривал больше младший, не смущаясь в выборе тем. Старший брат только безбожно курил папиросу за папиросой и сидел во время разговора в густом облаке, — курил до хрипоты и смотрел вокруг себя осовевшими глазами.

— Вы знаете, к нам приехал цирк? — сказал младший брат.

— Нет, не слыхал.

— Как же, приехал. Мы нынче пойдем... А вы пойдете?

— Отчего же, пойду, — говорил в тон Бабочкин.

— Так вы позвольте уж мне взять для вас билет?.. Вы где живете? А, знаю, у Кирилина! Я приду вечером, и мы пойдем вместе. Хорошо?

— Отлично! — согласился Бабочкин.

— А у нас были недавно ученые собаки, — продолжал младший брат без перерыва и смущения.

— Фокусник?

— Да, фокусник с собаками. Удивительно, как выдрессированы! Такие штуки он проделывал с ними, что просто умора! И недорого, билет в первом ряду стоил рубль. Уехал, впрочем.

Младший брат на минуту остановился, а старший продолжал дымить, хрюкая во время особенно сильных затяжек. Младший, однако, не унывал. Из прихожей показалась пушистая китайская кошка; неслышно ступая своими бархатными лапками, она плавно прошла по комнате, прыгнула на кушетку и уже хотела поудобнее свернуться клубочком.

— А знаете, это кошка ведь ученая! Вот все говорят, что кошку нельзя выучить, а мы выучили. Забавные штуки она проделывает, — сказал младший брат и позвал к себе кошку.

— Вот посмотрите, я покажу... Маруська!

Кошка медленно приподняла уши.

— Мышь! — вдруг крикнул Петр Дмитрич.

Кошка прыгнула с кушетки, выгнулась, мрачно сдвинула брови, поводя хвостом по полу, — словом, приняла позу нападения, как будто почувствовала близость жертвы.

— Дура, пошел! — крикнул младший Шершнев, и кошка тихо поплелась.

— Видите, понимает, — сказал довольным тоном балбес.

— И много таких штук она знает? — спросил Бабочкин весело.

— Да, много. Да вы можете научить ее чему угодно; но только не прижимайте хвост.

— Отчего? — с глубоким интересом спросил Бабочкин.

— Страсть не любит! Ужасно злится! Вот посмотрите.

При этих словах младший брат взял кошку и нажал ей хвост. Моментально кошка выпрыгнула из рук Шершнева, как бешеная заметалась по комнате и спряталась под диван, зловеще ворча оттуда.

— Теперь ничем не вызовешь ее оттуда... Ужасно озлилась!

— Палкой можно выгнать, — глубокомысленно возразил старший брат.

— Ну, давайте, — выгоним.

И оба брата, взяв по палке из передней, нагнулись под диван и стали осторожно ширять туда палками. Бабочкин принял во всем живейшее участие, также заглядывая под диван. Кошка страшно ворчала. Поднялся смех, крики в комнате.

— Что это вы тут делаете? — вдруг раздался безжизненный голос позади.

Бабочкин оглянулся и смущенно очутился лицом к лицу с самим хозяином. Но смущение его продолжалось одно мгновение; когда он заметил неуклюжую, деревянную фигуру Шершнева, он быстро пришел в себя, развязно отрекомендовался и принял вид крайне легкомысленный.

Братья ушли. В зале настала тишина. Гость ждал, когда заговорит хозяин, но хозяин в недоумении молчал. Он имел вид алхимика, никогда не видавшего вблизи людей, не развязного в обращении, не ловкого в движениях и скучного в разговорах, — одного из тех людей, которые вечно имеют дела только с нереальными вещами. В обыкновенной житейской сутолоке такой человек не знает, куда ему деть руки и ноги и как лучше употребить рот и язык; если он захочет быть вежливым, то ноги засунет под стул, руки примется ломать и заговорит так нелепо, что потешит

глупейшего из людей. Шершнев все это мучительно проделал, прежде чем заговорить: ноги убрал под диван, руки сначала спрятал в панталоны, но торопливо вынул их оттуда, поняв всю несообразность такой залихватской позы, и скрестил пальцы, которыми имел обыкновение хрустеть.

— Давно изволили прибыть в наш город? — спросил он, наконец, деревянным тоном.

— Нет, недавно, — возразил с улыбкой Бабочкин.

— А прежде, позвольте спросить, где служили?

— Да я больше по выборам.

— И что же, по своему желанию удалились? — продолжал допрашивать Шершнев деревянным голосом.

— Да, надоело, захотелось перемены.

Помолчали. Шершнев мучительно хрустел пальцами, а Бабочкин злонамеренно не желал помогать хозяину.

— А как вы... по вашему мнению, смотрите на эти присутствия? — вдруг спросил Шершнев.

— Да что ж... учреждения не вредные, — возразил Бабочкин и засмеялся. Он живо сообразил, что имеет дело с субъектом, который думает только рубриками.

— А по-моему, давно бы уж пора уничтожить их, — возразил Шершнев глухо.

— Уничтожить? Пожалуй. Я совершенно с вами согласен.

Шершнев с недоумением посмотрел на гостя.

— Да, давно бы пора уж, только мешают, — прибавил Шершнев.

— Отлично! — подтвердил Бабочкин и привел этим в полное замешательство деревянного человека.

Шершнев как-то нелепо уставился на своего гостя и не знал, что это такое? Хрустя пальцами, он потерял нить своей мысли и долго не в состоянии был прийти в себя от замешательства; а Бабочкин открыто смотрел на него и смеялся.

— А я знаю, о чем вы хотите еще спросить меня, — вдруг обратился он к Шершневу.

— О чем-с?

— Вы хотели спросить меня, как я думаю вообще о земстве?

Шершнев действительно это хотел спросить. Пораженный, он вперил в Бабочкина неподвижный взгляд и потер себе лоб, как бы желая узнать, не во сне ли все это.

— Действительно, я намерен был об этом...

— Да, я знаю. Мое мнение о земстве?.. — продолжал дурачиться Бабочкин, — извольте. По-моему, прекрасная вещь. Главное, вся черная работа на нем... Ведь не станем же мы, положим, с вами мыть грязные тарелки? Земство — это как бы прислуга в господском доме. Убирать сор, выгребать помойные ямы, чистить двор, держать все хозяйство и скотину

в благообразии и порядке — чего же лучше?.. Я вижу, вы не согласны?

— Да, я не согласен, милостивый государь... — возразил Шершнев, решительно не понимая, что вокруг него делается.

— Я вижу, вы хотите уничтожить земство?.. Согласен. Мне наплевать! — возразил вдруг Бабочкин и засмеялся.

Шершнев решительно остолбенел. Он усиленно хрустел пальцами, тупо смотрел на гостя и не знал, обидеться ему или продолжать разговор с вертопрахом. Первое чувство одержало верх, и он строго сжал губы, желая показать, что он не любит шуток. Впрочем, он все-таки не понимал, что такое ему говорит гость, — какой-то туман затмил его мысли.

Бабочкин заметил состояние его, заметил, что тот сейчас озлобится, и переменил разговор.

— А я здесь познакомился с вашими детьми — славные юноши... Где они учатся? — спросил он просто.

— Они у меня не учатся! — возразил Шершнев с дрожью в голосе.

— Как! Так они уже кончили курс и служат?

Шершнев сначала не мог слова выговорить, так огорошил его этот вопрос; потом он с досадой проговорил:

— Убивают они меня, милостивый государь!

И он вдруг стал жаловаться на свою жизнь, на службу, на семью, прежде всего на детей.

— Откровенно вам скажу, повесы они у меня! Совсем отбились от рук, повесничают и уже не слушают меня... Были они у меня в классической гимназии — выключили обоих! Отдал я их в реальное училище — и оттуда выключили. Хотел, знаете, еще чтобы они хоть курс уездного училища сдали — не выдержали. Что мне делать? Сильно это меня огорчает. На службу их! Да повес теперь так много, что мест не хватает... Ну, и бьют баклуши! Пока решил ничего не предпринимать. У отца, слава богу, кусок хлеба есть, пускай так живут, а там надеюсь пристроить...

— Позвольте вам предложить свои услуги — отдайте мне их? — серьезно сказал Бабочкин.

Шершнев не понял и удивленно вперил глаза на гостя.

— То есть это как? — спросил он недовольным тоном.

— Я попробую пристроить их у себя в присутствии, — место найдется... — продолжал Бабочкин, сам еще не зная, что из этого выйдет и к чему он это говорит.

Но на Шершнева слова его произвели невыразимое действие. Он вскочил с места со скоростью живого человека, а деревянное, застывшее лицо его одухотворилось множеством чувств: смущением, подозрительностью, но всего больше изумлением.

— Серьезно это вы предлагаете? — спросил он недоверчиво и с дрожью в голосе.

— Помилуйте!.. — возразил Бабочкин.

— Да неужели моих повес можно пристроить?!

— Отчего же нельзя?

Шершнев с минуту постоял в недоумении, потом вдруг схватил руку Бабочкина и сжал ее в своих костлявых пальцах, потрясая ее изо всей мочи; все это так мало шло к нему и делалось так неуклюже, что Бабочкин несколько попятился, боясь, что этот костлявый человек полезет обниматься. Это несчастье, однако, миновало его: хозяин ограничился словесным выражением своих чувств.

— Вижу вашу доброту... благодарю! От всего сердца!.. Верьте, этого я не забуду! При первой возможности... — говорил с волнением Шершнев и вдруг опять принялся жаловаться. — Всюду я несчастлив и до сих пор был несчастной жертвой людской злобы. Многочисленные враги мои подкапываются под меня и ненавидят!.. Дети меня не слушаются, от рук отбились повесы!.. А видит бог, я всем желаю добра... А главное, весь отдался на служение родине и по мере сил работаю на пользу... А люди мстят мне за это злобой! Не поверите, вы первый сделали исключение— благодарю, благодарю от всей души!..

Шершнев снова ухватил Бабочкина своею скелетообразной рукой.

В эту минуту прислуга объявила о завтраке, и Шершнев потащил гостя в столовую, несмотря на то, что тот упирался. Бабочкин поморщился: ему почему-то казалось, что в этом доме и кушанья все должны быть пропитаны особенным характерным запахом. Но отступать было поздно, и он отправился вслед за хозяином к завтраку, где собралась уже вся семья — братья-балбесы, какая-то старая тетка их, какой-то параличный дядя и г-жа Шершнева; всем этим лицам Бабочкин сейчас же был отрекомендован.

За завтраком шел оживленный разговор о какой-то лошади, купленной за тысячу рублей каким-то барином. Бабочкин молча прислушивался и наблюдал. Прежде всего ему бросилось в глаза, что на самого Шершнева, по-видимому, никто не обращал внимания; ему даже кофе подала г-жа Шершнева после всех; что касается старой тетки и параличного дяди, то они бросали на него прямо косые и пренебрежительные взгляды. Шершнев, видимо, сознавал это и смирно сидел на заднем конце стола. Никто его не слушал, когда он пробовал вставить какое-нибудь слово, а сыновья-балбесы совершенно парализовали все его попытки завязать разговор с Бабочкиным, перебивая его в самом начале. Отец безропотно умолкал и принимался жевать свою порцию холодной телятины.

Только уже перед концом завтрака ему удалось овладеть вниманием гостя. Повторив свои жалобы на многочисленных врагов и вообще на злобу людскую, он повторил также и свое уверение

во всегдашнем служении государственным интересам, которые он главным образом поддерживает своими проектами, снабжая этим добром все учреждения...

— Как же, пишу, обдумываю, — сказал он на выраженное Бабочкиным удивление. — И сочту за честь ваше мнение о моих планах... Смею сказать, что, вопреки моим врагам, ко мнениям моим неоднократно прислушивались высшие сферы...

Бабочкин кивнул головой, как бы говоря, что в этом последнем он никогда не сомневался.

— Да вот позвольте... один проект и сейчас у меня приготовлен... Я прочту его вам.

Бабочкин не ожидал такого неприятного поворота; он как-то завертелся на стуле и стал бормотать извинения...

— Едва ли сейчас я могу быть добросовестным слушателем... невозможно по достоинству оценить... — лепетал он.

— Ничего, проект мой небольших размеров, — продолжал Шершнев снисходительно и уже вынул из бокового кармана тетрадь.

Бабочкин совсем перепугался и растерянно обводил глазами присутствующих, надеясь в ком-нибудь из них найти спасенье от неминуемой скуки; но спасенья не было — семья о чем-то разговаривала.

— Я думаю все-таки, почтеннейший Дмитрий Дмитрич, отложить чтение...

— Зачем же? Лучше теперь же воспользоваться удовольствием обмена мыслей, — продолжал радостно Шершнев и уже разглаживал толстую тетрадь.

Бабочкин, вне себя от страха, решился на отчаянное средство; он вдруг вспомнил, что дома его ждет неотложное дело, что ему надо поторопиться и что он даже опоздал несколько... Нескладно все это выговорив, он встал с места и наскоро попрощался со всеми; затем быстро стал удаляться в прихожую, сопровождаемый Шершневым. Там он торопливо оделся и еще раз стал прощаться...

— Ну, как угодно, не смею задерживать... Проект мой...

Бабочкин был уже у дверей и еще раз попрощался.

— Проект мой носит название: «О поднятии культурности русского народа».

Бабочкин вышел в сени и стал спускаться с лестницы, чувствуя уже значительное облегчение. Шершнев, стоя наверху, между тем продолжал объясняться.

— Главная идея проекта заключается в удобрении навозом...

Бабочкин достиг уже выходной двери и потому весело улыбался, как бы говоря: отличная идея!

Шершнев, однако, поторопился еще раз выяснить интересный проект, отчеканивая каждое слово так, как будто бил палкой по забору.

— Главное же средство состоит в общинном накоплении удобрения в особо назначенных местах, наблюдение за коими поручается особо выбранным старостам...

Бабочкин уже стоял на улице, но из вежливости не пустился сейчас же бежать, а оборотился лицом к хозяину и утвердительно кивал головой, как бы говоря: великолепное средство!

После этого они расстались. Бабочкин медленно поплелся по улице, придумывая, куда ему еще сходить? На улице палил невыносимый зной; тротуары и стены домов, казалось, раскалились как печи; пыль, поднимаемая горячим ветром, сплошными облаками носилась в воздухе. Задыхаясь, Бабочкин присел на скамейку возле городского садика и безучастно принялся смотреть на улицу. Недалеко от него шла работа; десятка два человек ползали по улице и стучали молотками, строя новую мостовую из булыжника. Работа у них шла вяло; руки их, казалось, опускались от усталости. С непокрытыми головами, в одних рубахах, они все-таки были мокры от пота. Бабочкин долго наблюдал за ними, а мысленно думал о себе. «Что такое веселье?.. Вот они знают этот секрет... но, быть может, их секрет только им и годится? Да и есть ли в действительности веселье, общее для всех?» Бабочкин встал и тяжело двинулся домой.

— А я вас догнал, — вдруг раздался голос молодого Шершнева.

Бабочкин обернулся, но продолжал идти.

— Вы ушли от проекта папаши?.. Он так всем надоедает... И как много он их пишет — ужас! На той неделе он, например, написал в думу: «О новом способе истребления собак уличных...» — говоря это, повеса скопировал деревянный голос отца и расхохотался, заставив рассмеяться и Бабочкина.

— Так пойдете в цирк? Я сейчас побегу достать вам билет — хорошо?

Бабочкин согласился. Он знал, что странствующий балаган, изображающий цирк, где потешают публику несколько оборванных клоунов, две грязные наездницы, одетые в поношенное трико, и разбитые на все ноги клячи, захромавшие на службе искусству, может только привести в уныние, но все-таки он не хотел пропускать случая убить время. Петя Шершнев побежал за билетами, но на прощанье дал ему совет — как можно дольше избегать встречи с отцом, который непременно хочет ему, Бабочкину, прочитать все свои проекты. «А их множество — страсть сколько!» — прибавил повеса.

— Папаше вы ужасно понравились, и он к вам завтра нагрянет! — кричал уже издали младший Шершнев и хохотал на всю улицу.

Между тем Шершнев-отец действительно решился завтра же посвятить своего нового знакомого во все свои планы, потому что

Бабочкин ему действительно понравился, даже больше — новый знакомый просто очаровал его своей добротой. Это было необычайно для Шершнева.

До сих пор он жил в вынужденном уединении, ненавидимый всеми людьми; никто и никогда не был добр с ним. Он не имел в городе не только друзей, но и хороших знакомых. Ездили многие в его дом, но, собственно, не к нему, а к его жене, известной участнице в разных филантропических затеях. Он же был в стороне. Товарищи по службе избегали его, игнорируя его существование, подчиненные боялись его, ненавидя, а высшие держали его в отдалении. Но всем вообще он надоел своей несчастной страстью во все вмешиваться и своими бесчисленными проектами.

Теперь, встретив незлобивого человека, который на первых же порах изъявил согласие и готовность пристроить его «балбесов», он был сильно взволнован и забыл даже на время все свои прожекты. По уходе Бабочкина он удалился к себе в кабинет, сел на обычное место, но не хрустел пальцами и не сочинял в голове какой-нибудь ехидной каверзы против врагов; вопреки всем своим привычкам, он задумался теперь над всей своей жизнью; на лице его, сделавшемся кротким, блуждала неопределенная улыбка, а вся фигура его выражала в эту минуту спокойствие. Никогда с ним этого не было.

До этого времени он проводил только однообразную, мертвецкую жизнь. Рано поступив на службу, он так застыл в форму казенного человека, что уже давно перестал жить. Но человек все-таки не умер в нем, человек был и требовал себе жертвы... Человек этот и появился в Шершневе, но уже не там, где следует, и не в том виде, в каком он являлся у людей. Показался он в форме зудливого прожектера, в виде бумажного преобразователя.

Сначала зуд прожектерства овладел Шершневым под влиянием личных причин. Отталкиваемый товарищами по службе за свое пролазничество, ненавидимый подчиненными за суетливость и пренебрегаемый начальством за свой беспокойный дух, Шершнев написал несколько проектов затем только, чтобы податься вперед по службе, причем проникся ожиданием, что тогда подчиненные его устрашатся, товарищи прикусят языки, а начальство благосклонно кивнет ему головой; но когда ничего этого не вышло, Шершнев по злобе на всех людей стал писать проекты, которые часто трудно было отличать от доносов. Чуть кто обидел его, он уже глядь! — составил проект об уничтожении того самого учреждения, где сидит его враг! Иногда же в самый текст проекта он ухитрялся, как в рамку, вставить своего врага, в виде примера негодности существующего порядка.

Благодаря такому происхождению его страсти к проектам самый процесс его творчества требовал особых условий для своего проявления. Обыкновенный изобретатель ко времени своего твор-

ческого процесса уничтожает в себе все суетные мысли, все человеческие обиды, все пустяки обыденной жизни, чтобы быть спокойным, правдивым посредником между богом вдохновения и людьми. Шершнев же поступал обратно; он садился сочинять проект тогда только, когда на него нападало яростное состояние и когда его пожирал огонь мести; словом, чтобы приняться за сочинение проекта, для Шершнева требовался враг, который выругал бы его, обидел, обозлил. Посреди глубокой ночи, при свете лишь лампы с темным абажуром, Шершнев ходил по своей комнате, шлепая туфлями по полу, и возбуждал в себе вдохновение воспоминанием наружности врагов; если в день писания никто не обидел его, он искусственно подогревал в себе яростное вдохновение, устроив воображаемую стычку с одним из знакомых людей.

Время, однако, шло. Страсть разгоралась, принимая всё более и более благородные формы. Напрасно подруга Шершнева обвиняла его в корыстолюбии. Со временем он стал писать проекты уже без всяких личных целей, без упоминания врагов, без жажды мести. Только ярость осталась; но эту ярость он мог уже вызвать по произволу, когда угодно и в каких угодно количествах.

Написав свой проект, спасавший какую-нибудь часть России от конечной гибели, Шершнев уже равнодушно отсылал его в надлежащее место; там его обыкновенно бросали в камин, в редких случаях принимая на свой счет пересылку его обратно к сочинителю. Но это Шершнева не смущало; едва успеют бросить один его проект в камин, как уже у него готов другой. С течением времени в одном из углов комнаты его (куда редко кто заглядывал) была навалена на особом столе целая груда тетрадей; одни из них были еще белые, другие рыжие, третьи совсем почернелые, но все вообще были скрыты под толстым слоем пыли, которую никто не сметал. Иногда у Шершнева являлись археологические желания пересмотреть снова свои труды, — тогда от проектов поднимались облака едкой пыли.

Но это редко бывало. По большей части Шершнев забывал свои реформы, вечно обдумывая новые, отчего некоторые вещи в разных проектах он несколько раз уничтожал, снова возобновлял и опять уничтожал, не замечая противоречий, забывая свои идеи.

Были ли у него идеи? Преобладающий характер всех его созданий был такой странный, что трудно примириться с его возможностью. Дело в том, что какой бы проект ни сочинял Шершнев — это непременно было истребление. Голова его была так устроена, что он в силах был проектировать только какую-нибудь ломку, искоренение, погром и прекращение чьего-нибудь существования, но был бессилен на творчество. Сначала он этого не замечал, но когда один начальник, презрительно тыкая пальцем в одну бумагу, объяснил ему это, то он и сам впал в раздумье. И после того пробовал сочинить действительно что-нибудь новое, но, кроме

бессильных и мучительных потуг, ничего не выходило. Иногда примется за проектирование с твердым намерением сотворить нечто, но смотрит — истребил целый угол России без остатка. Сколько бы он истребил людей и вещей, если бы хоть меньшая часть проектов его была осуществлена! С фантазией бедной и искалеченной, он страстно желал помочь погибающим людям, но ум его, воспитанный на созерцании разбитых жизней, способен был изобрести только новые орудия ломки и погрома; он хотел дать счастье людям, но мог придумать только чудовищные искажения жизни.

Эта деятельность не принесла ему счастья. Все его ненавидели. А в семье он еще более был несчастлив; тут он никаким авторитетом не пользовался. Супруга его, чуть не со дня женитьбы их, дала ему кличку «нетопыря», желая этим выразить мрачную жизнь его; дети нисколько не уважали его, насмехаясь над ним в глаза и называя «папахен». Даже те приживалки — родственники, которых он кормил, постоянно бунтовали против него, громко обвиняя его в тиранстве. Понимая это, прислуга также не питала к нему ни малейшего уважения, игнорируя его приказания.

Бывали минуты, когда ему хотелось обласкать кого-нибудь из своих и получить от них ласку, но все его отталкивали от себя, выводили его из терпения и принуждали его ретироваться в свой угол. Оскорбленный однажды балбесами, он удалился в свой кабинет и в яростном настроении сочинил против них проект «Об отдаче в солдаты нигде не кончивших курса и не повинующихся родителям молодых людей».

Но стоило только Бабочкину бросить несколько слов участия, чтобы перевернуть все настроение его. Пораженный добротой незнакомого человека, он, после его ухода, вдруг впервые оглянулся вокруг себя. Он сперва оглянул свою обстановку. Это была запыленная комната, с затхлым воздухом, с потускневшими окнами; мебель выцвела; цветы, стоявшие по углам, помертвели, запертые в этой могиле... вот что он увидел.

Взволнованный, он решился выйти отсюда; его потянуло вон из мертвого кабинета, на улицу; ему пришло желание гулять, чего он давно не делал. Пройдя улицу, он вышел на бульвар и очутился среди многочисленной толпы, от которой, однако, сторонился. Он как будто в первый раз заметил людей; заметил также, к своему удивлению, что они разговаривают, смеются, хохочут, движутся, проделывая и другие странные поступки. Ему, бумажному человеку, что-то вдруг неловко стало, совестно среди толпы.

Пройдя бульвар, он вошел в сад и опять было попал в густую толпу гуляющих, но поторопился выбраться из нее. Ему даже показалось, что один господин пристально смотрит на него, явно следит за его движениями и, быть может, намеревается совершить

на него покушение действием. Испуганный этим подозрением, он торопливо свернул в боковую аллею и удалился в самый темный угол сада; там он чувствовал себя в полной безопасности от людей, которых он, по своему образу и подобию, представлял злыми и мстительными. Широкие ветви клена простерлись над ним; в кустах пела малиновка; издалека слышался людской говор. Мир снизошел на этого одичавшего человека.

Поздно вечером он возвращался домой, умиротворенный прогулкой на свежем воздухе. Он был до того разнежен, что ему хотелось совершить какое-нибудь доброе дело. На дороге ему попался нищий; Шершнев взглянул на него, а нищий машинально протянул руку, заученным тоном пропев просьбу. Тогда Шершнев торопливо и с волнением вынул из кармана три копейки и толкнул монету в руку нищему.

— На, вот тебе, на!.. — сказал он и еще раза два сунул монету нищему, как бы боясь, чтобы она не упала на землю. — Да смотри не пропей! — добавил он сурово.

Нищий поблагодарил заученными словами.

— Не пропьешь, а? — спросил еще Шершнев подозрительно, вполне уверенный, что такой огромной суммы никто не давал старику.

— Ну, смотри же в кабак не заходи! — повторил еще раз на прощанье взволнованный Шершнев.

— Есть чего тут пропивать! — пробормотал нищий, когда удалился на почтительное расстояние.

На следующий день Шершнев отправился к Бабочкину отдать визит, да, кстати, предоставить этому другу случай насладиться слушанием его проекта. Он был в том же спокойном, легком настроении. Но его ждала в квартире Бабочкина неожиданная встреча.

Едва он вошел в дом, как был удивлен знакомым голосом его сыновей. Действительно, проведенный Семеном, он увидел соблазнительную картину: сам Бабочкин без сюртука валялся на диване; младший балбес сидел возле него, но верхом на стуле и сильно хохотал; старший же балбес, погруженный в мягкое кресло, не был видим, давая знать о своем присутствии только густым облаком дыма, стоявшего над креслом. На столе валялись несколько бутылок и остатки закусок. По-видимому, компании было весело. Но при появлении Шершнева-отца произошло небольшое смятение. Бабочкин живо натянул сюртук, младший Шершнев перестал хохотать, а старший — дымить.

— Вы здесь уж! — с изумлением воскликнул отец, обращаясь к детям.

За них поспешил ответить Бабочкин:

— Мы вчера вместе были в цирке, нынче вместе проводили вечер... Прошу садиться.

Шершневы-сыновья удалились, но не совсем, а в другие комнаты, которые им, очевидно, уже были хорошо знакомы, — удалились затем, чтобы выждать, когда уйдет «папахен».

Последний машинально вынул из кармана свою рукопись, но медлил предложить чтение ее. Бабочкин же, завидя эту неприятную вещь, поспешно стал обороняться чем попало. Он уверял, что ему и некогда, и не в состоянии он слушать внимательно, и, наконец, он прямо указал на пустые бутылки, как на последний аргумент невозможности серьезно углубиться...

— Да, знаете, мир не погибнет, если мы немного помедлим читать ваш проект, несомненно важный... — кончил Бабочкин.

Шершнев не обиделся.

— Ну, ничего, мы в другой раз соберемся... — сказал он, спрятал тетрадь в карман и больше не упоминал о ней, в первый раз поняв, что можно людям и не надоедать.

Посидев несколько минут молча, он стал хрустеть пальцами и собрался уходить, — говорить ему было нечего.

— Неужели ушел папахен?! — в один голос сказали балбесы и опять приняли более или менее непринужденные позы.

С этого дня они все время проводили у Бабочкина. Последний скоро совершенно завладел ими. Устраивая с ними всевозможные прогулки, катанье на лодке, охоты, рыбную ловлю, он в то же время держал их в узде. От нечего делать он стал с обоими заниматься, чтобы куда-нибудь их приготовить, но успел только отчасти. Младший брат оказался неисправимым повесой и ничего не хотел делать; но зато старший брат, Ваня, стал учиться так же серьезно и сосредоточенно, как он курил.

Все это Бабочкин делал от скуки, так, чтобы убить время. Кроме того, он не оставался один в квартире; а оставаться с глазу на глаз с собой ему нельзя было, — темное беспокойство овладевало им тогда.

К этой компании скоро присоединились еще несколько человек, но уже не таких невинных, вследствие чего самый характер квартиры Бабочкина изменился.

V

Однажды, в минуту сознания полной своей пустоты, Бабочкин бросился из дому и рыскал по городу до самого вечера, отыскивая приключений или хоть самозабвения. Человек порывов, сильный, здоровый, он теперь не мог дня пробыть у себя дома и не в состоянии был усидеть... Когда во время бури экипаж судна выбрасывает в волнующееся море все, что имеет тяжесть, когда швыряются за борт мешки с золотом и тюки с шелковыми тканями, то люди этим последним средством надеются спасти себя и судно,

разбиваемое волнами; но редко отчаянное средство приносит спасение; обезумевшие люди бросают вместе с лишнею тяжестью и весь балласт; судно делается легким, но в высшей степени неустойчивым... Бабочкин также все выбросил за борт — воспоминания, иллюзии, мысли о погибших родных, все прошлое; но в порыве спасти себя он в то же время выбросил и все то, что дает жизненное равновесие, — «дела», труд, обязанности, цели; от этой операции ему сделалось сначала легко; «наплевать!» —это, по-видимому, весело говорится; пустота мысли и легкомыслие, по-видимому, должны облегчать жизненный гнет; но Бабочкин скоро испытал, что это значит. Чем больше он опорожнялся, чем дальше швырял за борт мыслей, казавшихся лишними и бесполезно тяжелыми, тем он все больше и больше терял равновесие. Чем сильнее он жаждал веселья, тем мрачнее у него становилось на душе.

И он стал «игралищем судьбы».

Сильный, с деятельными нервами, организм его требовал непрерывной работы, а мысль его была отравлена, и ни во что ему не верилось, и на все он наплевал, лишь бы удержаться на поверхности жизни. Буря пустила ко дну всех его близких и любимых, разбила и в нем всякую веру, но жизни не отняла у него. Оставшись один после крушения, он по-прежнему чувствовал жажду жить. Но куда деть это здоровое тело, эти энергичные нервы? Так, куда-нибудь, лишь бы повеселее было.

Но веселья он не находил. В этот день он шлялся по улицам, побывал в двух ресторанах, заглядывал даже в кабаки, хотя удерживался входить в них. Бегая так, он вдруг вспомнил того банковского дельца, с которым познакомился в театре. «Разве пойти?» Правда, делец этот с самого же начала показался ему каким-то нечистоплотным, но в его руках был весь город, а в его доме с утра до ночи толпился народ.

В доме Михаила Ивановича Раскатова ежедневно происходила кормежка людей, нужных для великого дельца; дом этот был в некотором роде публичным местом, где люди всех классов кланялись золотому идолу. Директор банка, председатель многих обществ (в том числе и благотворительных), городской воротила, падишах тысяч людей, Михаил Иванович Раскатов открыл свою гостиную недаром: для него везде нужны были руки и услужливые головы. Беспредельно хищный, он умел заинтересовать в личных своих делах всех, кто только жил в городе. Людей знатных он просто подкупал огромными операциями, всыпая в их карманы бешеные капиталы; людей помельче подкупал деньгами и местами, а людей совсем ненужных только кормил в ожидании того случая, когда ими можно будет воспользоваться. Он был груб и циничен, но никто не обращал на это внимания. Ежедневно чуть не с двенадцати часов к его крыльцу подъезжали



гости всевозможных рангов и положений и до самого вечера толклись в богатых комнатах за картами, за столами, уставленными винами. Продажа людьми своей чести совершалась здесь оптом и в розницу. Это была благодарная для Михаила Ивановича почва — фиктивные заимодавцы, фиктивные должники банка, лжесвидетели и просто лгуны — всякого рода полезных людей здесь было довольно.

Бабочкин знал, куда идет, и говорил себе, что он не должен туда идти, но все-таки пошел.

Михаил Иванович встретил его как старого знакомого.

— А, наконец пожаловали!.. А уж я думал, что вы пренебрегаете нами, грешными... Не годится это! «Не плюй в колодец — пригодится напиться», — говорит русская пословица... Ха, ха!

Михаил Иванович, говоря это, самодовольно смеялся.

— Едва ли я у вас попрошу напиться, — возразил Бабочкин.

— В самом деле? Интересно. Конечно, есть люди равнодушные к презренному металлу, но... — и Михаил Иванович иронически посмотрел на гостя.

— А знаете, по городу ходят слухи, что ваш банк скоро закроют? — сказал равнодушно Бабочкин и наблюдал, какое действие произведет его небрежное замечание.

Действие было сильное: Михаил Иванович покраснел, глаза его злобно засверкали, вся огромная фигура его заколыхалась, но чтобы замаскировать свое волнение, он принялся громко хохотать. И хохот его похож был на гром.

— Шутник вы какой!.. Наш банк так же твердо стоит, как вот я сижу здесь... — и Раскатов еще раз захохотал, но его завертевшиеся глаза избегали смотреть в глаза Бабочкина.

Последний был доволен.

— Пойдемте лучше, пропустим малую толику чего-нибудь успокоительного... Вы у меня обедаете — это решено... А пока я вас познакомлю с моими друзьями...

Михаил Иванович взял Бабочкина за талию и повел в столовую; это была известная всему городу комната, где происходила кормежка. Там уже прохлаждалось с десяток незнакомых Бабочкину людей; тут был какой-то доктор, какой-то адвокат,— Бабочкину всех представили.

Обед ожидался через полчаса. Предварительно же гости закусывали, пили, смеялись. Бабочкин с немым любопытством наблюдал разношерстную компанию и живо ориентировался; кроме доктора и адвоката, он в особенности обратил внимание на двух господ. Один был бледный, с изящными манерами барин; другой был красный и с манерами деревенского парня. Первого звали Серецкий, второго — Кудластов. Но Серецкий много говорил, а Кудластов больше молчал.

Полчаса быстро прошли, и обед начался. К этому времени компания увеличилась еще лицами пятью, так что стол был весь занят. Женщина была только одна — сама хозяйка; но она так терялась среди возбужденной, гоготавшей компании, что только ближайший сосед говорил с ней. В столовой стоял шум, смех, звон. Бабочкин имел по правую руку Серецкого, по левую — Кудластова; последний, впрочем, больше молчал. Сам хозяин молча ел, весь погруженный в свое занятие — обед, который приготовлен был невкусно.

— Вы хотели посмотреть на эти кормежки? Теперь вы видите. Как вам они нравятся? — спросил Серецкий, уже успевший охарактеризовать Бабочкину всех присутствующих. Говорил он холодно, зло, но не злобно, как будто только для возбуждения аппетита. Бабочкин сейчас же понял, что говорит с человеком, опытном в злословии. Зараженный тоном этого злоязычника, он и сам вторил ему.

— Мне кажется, что сейчас подадут на стол быка, а на середину комнаты выкатят бочку водки, — возразил Бабочкин весело.

— Вот видите... вы поняли характер кормежки. Здесь заботятся только, чтобы упитать до отвалу... Но обратите внимание на самого хозяина, — предложил вполголоса Серецкий.

— Я его вижу...

— Что вы видите?

— Он кушает... — отвечает Бабочкин.

— То есть жрет, хотите вы сказать?

— Действительно, куски он глотает несколько больше обыкновенных...

— В этом весь он, — продолжал Серецкий. — Он безмолвно жрет, глотая в одно мгновение куски, которые можно съесть

только в полчаса, и ломая зубами кости этого гуся с такою силой, с какой может только машина работать... Он мне напоминает удава. Я думаю, что он проглотил бы зараз весь этот ростбиф... Но вы не поверите, если я скажу, что он может проглотить все, что здесь на столе, — пищу, посуду, скатерть, ножи, вазу с цветами?..

— Признаюсь, это довольно трудно представить... — ответил тем же тоном Бабочкин.

— Величайший обжора, какого я когда-либо знавал, — продолжал Серецкий тем же ровным, холодным тоном. — Главное, он не разбирает, что жрет. Теперь он, обратите внимание, поддел на вилку кусок рябчика, но сегодня же еще вечером он подденет на вилку сто вкладчиков и проглотит их... Он уже сожрал городскую управу, проглотил больше сотни имений в здешней губернии, и, я думаю, ему ничего не стоит проглотить миллион народу... А что касается тонких вещей, как изящество в жизни, честь, добро, то такие вещи он глотает, не замечая этого. Ему нужно что-нибудь осязательное, чтобы он чувствовал на зубах нечто... И все он делает, как настоящий удав... Интересно бы знать, о чем он сейчас думает?

— Вероятно, о той половине рябчика, которую он положил себе на тарелку, — сказал Бабочкин.

— К сожалению, я с вами не согласен. Потому что прежде, нежели он успел подумать, эта половина рябчика уже исчезнет... Хотите, я в нескольких словах опишу это чудовище?

— Сделайте одолжение...

— Но прежде взгляните, где половина рябчика?

— Действительно, ее уж нет! — возразил Бабочкин, на этот раз непритворно изумляясь аппетиту хозяина.

— Теперь позвольте, я расскажу его жизнь. Эта огромная машина требует себе огромного содержания. Утром он съедает две французские булки и двух акционеров; за завтраком — два фунта бифштекса и несколько заложенных имений; за обедом он уничтожает все то, что здесь было и чего уже нет. Затем он спит три часа, спит так, как хорошо покушавший удав. Вечером он едет к одной из своих бесчисленных подруг, ежедневное свидание с которыми необходимо для его чудовищного организма; затем он ужинает вдовицами и сельскими попами, запивая страшным количеством вина, и окончательно засыпает. Вот его день. Откровенно говорю, глядя на него, мне хочется кончить свою жизнь самоубийством.

— Это почему? — засмеялся Бабочкин.

Серецкий помолчал, тщательно осмотрел и попробовал поданное вино и потом продолжал:

— Вы когда-нибудь встречали человека, при взгляде на которого вам вдруг делалось мрачно?

— Быть может...

— Для меня такой человек — вот он... Когда я смотрю на него, то мне кажется, мир темнеет, как ад; но когда я думаю о нем, мне хочется умереть... Вы понимаете связь между этим обжорой и моим желанием самоубийства? — спросил вдруг Серецкий холодно.

— Признаюсь, не совсем... — возразил Бабочкин с действительным интересом.

— Видите ли, меня называют пессимистом... Я действительно верю, что солнце потухнет, и наша крошка земля погибнет, как дитя, брошенное на улицу... и жизнь прекратится. Но этот вывод еще не убивает желания жить. Когда же я смотрю вот на этого человека, я спрашиваю себя — зачем быть человеком? Когда я обдумываю всю его прожорливую жизнь, я думаю: зачем нам говорят о добре? Если есть и живут весело такие, как этот, то не глупцы ли все остальные, добрые, гуманные? Если такая распутная жизнь, как у этого хищника, идет весело, то не глупейшие ли иллюзии все наши понятия прекрасного и чистого? Понимаете теперь?

— Совершенно понимаю... — сказал Бабочкин и внезапно переменился в лице.

— Но так как по натуре, — продолжал холодным тоном Серецкий, — я не могу превратиться в такого... хотя и знаю, что сделаться таким значит устроить свою жизнь... то мне просто представляется смерть как наиболее разумный выход... И вот почему, когда я гляжу на Раскатова, мне хочется повеситься.

Сказав это серьезным тоном, Серецкий думал, что Бабочкин засмеется. Но Бабочкин растерялся. Он посмотрел как-то смутно вокруг себя и, казалось, испытывал сильнейший прилив тоски... Между тем Серецкий как ни в чем не бывало медленно прихлебывал кофе и своей изящной, белой рукой помешивал ложечкой в чашке; он сильно втягивал в себя аромат напитка и видимо наслаждался послеобеденным довольством. А холодный блеск его глаз подействовал на Бабочкина, в голове которого шумело еще тяжелее.

Обед давно кончился. Хозяин посидел несколько минут в кресле, молча прочищая зубы; он обводил мутным взором все окружающее, нехотя отвечая на вопросы; потом встал и, грубо извинившись перед гостями, отправился спать, совершенно равнодушный к тому, что будут делать гости. Хозяйка также удалилась.

Так было ежедневно. На обед приходили все, кто только был в сфере влияния могущественного дельца, — обедали и пили; после обеда одни уходили, другие оставались, опять пили, играли в карты, подобно мухам, облепляющим те места, где совершается разложение жизненных продуктов. Сам Раскатов иногда даже не знал по фамилии тех, кто у него кормится, да и не считал нужным

узнавать такие пустяки, как имена. Он был постоянно в каком-то непробудном состоянии, инстинктивно раскрывая рот и бессознательно глотая сотни тысяч денег. Весь мир для него казался накрытым столом, за которым можно есть, а все люди казались ему только побочным прибавлением к этому столу.

Слуги убрали столовую, очистили еще смежную комнату, и гости расположились в этих двух комнатах, предоставленные самим себе. Остались человек десять, не считая Серецкого, Кудластова и Бабочкина.

Последний находился в каком-то непонятном состоянии; он угрюмо умолк и с раздражением смотрел вокруг себя. За карты он не сел, ежеминутно порывался уйти отсюда, но сидел до глубокого вечера, приведенный в какое-то оцепененное состояние Серецким, продолжавшим и после обеда злословить. В промежутке между злословием и молчанием он взял слово с Бабочкина послезавтра зайти к нему.

— Мы отправимся в ресторан, и я надеюсь угостить вас по-своему, а не этим скотским жраньем, — прибавил он.

Бабочкин обещал, сам не желая того. Оцепеневший, он продолжал сидеть, смотреть игроков, слушать злословие Серецкого и пьяные голоса. Атмосфера в комнате была положительно душная; Бабочкин задыхался посреди этого общества, как будто он попал в какой-то притон и сидит там, околдованный безмолвным любопытством и ужасом. Это была атмосфера скандала.

Вдруг в соседней комнате раздался взрыв крика. Бабочкин оглянулся и увидел там Кудластова, со стулом в руках и в угрожающей позе. Сам возбужденный до последней степени, Бабочкин вскочил с места и обернулся в сторону Серецкого, но последнего уже не было — скрылся.

Кудластов между тем стоял со стулом в руках и бешено что-то кричал. Лицо его совсем преобразилось. До этой минуты он только исправно пил и вовсе не говорил; когда к нему кто-нибудь обращался, он стыдливо вспыхивал, как девица, да и говорил он больше жестами. Но теперь взгляд его свирепо переходил с одного врага на другого, а искаженные черты лица внушали ужас. Вышло что-то из-за карт...

— Я вас, хищники!.. Опротивели мне ваши рожи! — кричал бессвязно Кудластов, махая стулом.

На крик прибежали слуги, но боялись войти в карточную комнату, протягивая только шеи из столовой.

— Успокойтесь, ради бога, Дмитрий Иваныч! никто вас не думал оскорблять... — сказал кто-то из гостей. Но это только усилило гнев Кудластова.

— Молчать, воры! — закричал он и вне себя грянул об пол дубовый стул, который вдребезги разлетелся по зале. В руке Кудластова осталась только одна ножка.



Поднялась суматоха по всему дому. Побежали будить Раскатова. Гости жались к стенам в смертельном испуге; кто-то из них спрятался даже за шкаф с книгами. А Кудластов стоял посередине залы, бешеный, с сверкающими глазами, как будто выбирая жертву. Он был страшен.

В это мгновение вдруг вмешался Бабочкин, из головы которого моментально вылетело одурение. Лицо его приняло обычное беспечное выражение. Он с улыбкой подошел к Кудластову.

— Будет, Дмитрий Иваныч... Эти господа уже достаточно испуганы, бросьте их!.. — сказал он, с улыбкой глядя на Кудластова.

Кудластов глупо посмотрел на него и опустил свое оружие; на него подействовало неожиданное обращение. Бабочкин взял его под руку и провел через столовую и приемную к прихожей. Кудластов покорно следовал за ним. В передней Бабочкин сам отыскал его одежду, одел его, нашел его трость и шляпу и под руку повел его к выходу, без умолку и шутливо болтая о посторонних предметах. Этим он как бы гладил разъярившегося быка и овладел им. Кудластов присмирел.

Так они вышли на улицу. Был уже поздний вечер.

VI

Пылавшие головы Бабочкина и Кудластова теперь освежились ночной прохладой. Ночь стояла темная; небо висело мрачным покрывалом туч; воздух был спертый. Ожидался дождь. Все живое уже попряталось по домам, и улицы были пустынны. Кое-где мерцали фонари; изредка попадался городовой или дворник; иногда торопливо пробегал домой запоздавший прохожий. Только эти двое — Бабочкин и Кудластов — шли тихо, изредка обмениваясь словами. Они уже говорили на «ты».

Кудластов мирно шагал под руку с Бабочкиным; он, по-видимому, окончательно успокоился; простак вообще, он теперь послушно шел за своим другом.

Так с ним было всегда. Простой человек, любивший кутнуть нараспашку, он был любим всеми, которых не успел побить. В обыденной жизни с ним всякий мог сделать что угодно, даже снять с него рубашку; в качестве железнодорожного инженера он получал большие деньги, но едва ли и десятую часть тратил на себя, обираемый кем попало. Его называли теленком; молодое, доброе, но неопределенное лицо его всем нравилось, возбуждая в каждом желание сделаться его другом. Женщины, впрочем, жестоко водили его за нос; не умея хитрить и не подозревая хитростей в других, он постоянно попадался впросак. Со всеми он был на «ты» и всех людей считал «хорошими ребятами». Фамилий

не признавал, в большинстве случаев называя всех Васьками, Петьками и другими сокращениями. В трезвом состоянии он был скромнее девушки; при объяснении с незнакомыми людьми краснел и вообще до такой степени не владел словом, что каждый школьник мог его ошельмовать; вследствие этого он всегда пояснял свои слова более или менее энергическими жестами.

Но эти милые качества доброго малого то и дело сменялись противоположными. Вдруг, и, по-видимому, без достаточного резона, он делался мрачен, упрям, туп и мстителен. Даже в трезвом виде нападало на него странное желание разнести вдребезги кого или что-нибудь. У себя дома он бушевал больше с неодушевленными предметами — колотил посуду, ломал мебель и только изредка грозил раскроить физиономию «подлецу-домохозяину», что, однако, ни разу не удалось ему. Но когда он несколько выпивал, то ярость его, внезапно поднимавшаяся, проявлялась ужасно; он то и дело творил скандалы во время кутежей, причем дело редко кончалось одними угрозами. Глаза его тогда разгорались местью и решимостью. Однажды он в клубе схватил чугунную заслонку, оторванную им от печки, и выгнал в коридор человек пятьдесят народу. «Я вас, воры, канальи!..» — кричал он обыкновенно.

Кажется, не зря он переживал такие бычачьи состояния. Круг, в котором он вращался, не отличался добродетелями и мог до потери самообладания раздражать не тронутую распутством натуру. Добрый, простой малый, Кудластов не дошел до сознания протеста против этого общества, основанного на воровстве; но он по временам возмущался до глубины души; плохо развитый и неуклюжий, он не имел силы понять, в чем именно заключается подлость этого общества, но инстинктивно ненавидел пирующих. Что-то бурлило внутри его... Этот-то смутный протест и отражался в его побоищах, хронически устраиваемых им ради удовлетворения естественной потребности выразить свои чувства. Но так как говорить он не умел, то по необходимости выражал накопившийся гнев кулаком, заслонкой, бревном. Понятно, что таким бычачьим способом выразить ничего он не мог и, вытрезвившись, себя же считал драчливым дураком, и это была правда, тем более что он не всегда бил тех, кто этого заслуживал.

Бабочкин в эти минуты совсем овладел им; болтая, он прошел с ним несколько улиц и надеялся, наконец, привести его к себе, в полной уверенности, что малый успокоился совершенно. Но в этом он ошибся.

Наружность Кудластова, правда, не выражала больше ничего, кроме молчаливой покорности, но от времени до времени он бросал вокруг себя подозрительные взгляды, чем обнаружил ясно свои злые замыслы. Поравнявшись с одним фонарным столбом, он вдруг предложил Бабочкину выворотить его. Они остановились.

Кудластов уже прислонился правым плечом к обреченному на гибель фонарю; но Бабочкин стал убеждать его бросить это неумное предприятие.

— Бог с тобой, Митя! Оставь ты этот столб в покое. Что он тебе помешал?

— Я бы его с корнем выворотил, — возразил Кудластов с своеобразной логикой.

— Да зачем его выворачивать, милый? И так темно... А это все-таки свет, хоть и плохой. Все же лучше — иные люди стали бы разбивать лбы о заборы... Ну его к черту, оставь! Пускай мигает.

Кудластов мало-помалу раздумал и отвалился от столба, но этим дело не кончилось.

— Я хочу все-таки кого-нибудь бить, — решительно заметил он.

— Помилуй, кого же теперь бить ночью? — возразил тревожно Бабочкин. — Нехорошо бить ночью. Среди мрака люди и так напуганы... да и кого же бить?

— Мерзавца какого-нибудь, — выговорил упрямо Кудластов.

— Да какого? Чудак ты, Митя! Неужели ты будешь заходить в дома, чтобы драться?.. Их так много, кого же ты выберешь?

Это они объяснялись на ходу. Бабочкин продолжал уговаривать и стыдить, незаметно переводя разговор на другой предмет. Но Кудластов тупо его слушал, быть может вовсе не слушал, что-то, по-видимому, придумывая. Очевидно, хмель еще сильно шумел в его голове. Немного погодя он вдруг обратился к Бабочкину с новым предложением:

— Вот что... пойдем бить корреспондента?

И мрачно посмотрел вокруг себя.

— Что же ты еще придумал! — тревожно возразил Бабочкин.

— Не пойдешь? — спросил так же мрачно Кудластов.

— Да помилуй, бить корреспондента... Какого же?

— Тут есть один... Пропечатал, негодяй, меня... Пойдем!..

И Кудластов, сказав это, пошел один с решимостью выполнить свою идею. Бабочкин отправился за ним, но уже сильно раздраженный.

— Черт знает что такое... бить корреспондента!.. — говорил он тревожно, догоняя Кудластова, и опять взял его под руку.

Они пошли. Дорогой Бабочкин придумал отвлечь одуревшего малого от задуманного предприятия, для чего он решился завести его к Карамелькову. Кудластов будет в полной уверенности, что идет к корреспонденту, а Карамельков перепугается до последней степени. Эта шутка так понравилась Бабочкину, что он стал торопить своего спутника. Было уже далеко за полночь,

Через несколько минут они звонили у подъезда Карамелькова.

— Ты узнаешь его в лицо? — спросил Бабочкин весело, заранее наслаждаясь потехой. Кудластов утвердительно махнул головой; корреспондента, пропечатавшего его, он знал.

Им отворил, после опроса, сам Карамельков, вышедший со свечой в руках.

— Жена уже спит... пойдемте! — говорил он шепотом и проводил гостей в кабинет.

— А мы пришли вас бить! — сказал сурово Бабочкин.

— Какой вы шутник, Александр Иваныч! — возразил Карамельков, шутя, но обидчиво.

— Я вовсе не пришел с вами шутить — говорю серьезно: мы пришли вас поколотить. Вы — корреспондент? Отвечайте!

— Помилуйте, господа... что это такое! — возразил Карамельков уже испуганно. Как нарочно, он только что на днях послал в газету театральную рецензию.

— Вы его пропечатали? — продолжал допрашивать Бабочкин, указывая на Кудластова, который глупо хлопал глазами.

— Я действительно на днях... Но ей-богу! ничего такого... — пролепетал растерявшийся хозяин.

— А, вы сознаетесь! Так вот этот умный барин пришел вас бить. Приготовьтесь к возмездию!

Карамельков сделался бледнее полотна и в ужасе смотрел на Кудластова, не узнавая его.

— Ей-богу, честное слово!.. Я даже люблю... Напротив, я всех актеров, которые играли у нас, хвалил в письме, — бормотал Карамельков и пятился в дальний угол.

Кудластов одурел окончательно и хлопал глазами, ничего не понимая... Карамелькова он знал, но теперь смотрел на него дико. Он так напряженно старался понять происходящее, что вдруг ослаб, опустился на стул и закрыл лицо руками. Карамельков также глупо поводил глазами.

Бабочкин не выдержал, наконец, и расхохотался. Затем он живо привел в порядок мысли двух обезумевших людей и предложил выпить за здоровье Карамелькова. Последний оправился, а через несколько минут уже тащил откуда-то поднос с бутылками и стаканами. Все трое принялись пить. Впрочем, Кудластов сидел и пил все время молча, по временам только стыдливо улыбаясь; он вдруг опять стал смирным. Болтали один Бабочкин и Карамельков. Между прочим, они условились устроить любительский спектакль в доме и на средства Бабочкина. Карамельков ликовал. Нынешнее лето он проводил скучно, так как бродячих трупп вовсе почти не было, и потому с неописанным волнением ухватился за предложение Бабочкина.

Разошлись все уже под утро, и Кудластов по дороге от Карамелькова согласился ночевать у Бабочкина.

Когда они подошли к квартире, то долго не могли дозвониться,—Семен спал. Дворник же, которого они растолкали, спросонья не узнал Бабочкина и что-то заворчал. Это вывело из себя Кудластова. Он схватил попавшуюся ему под руку метлу и давай бить не успевшего еще хорошенько проснуться дворника. «Караул!»— закричал что есть мочи дворник и заметался как угорелый. Кудластов в исступлении гонялся за ним и колотил его по чем попало, а дворник в ужасе ревел. Весь дом переполошился. Выскочил Семен, узнал Бабочкина и отпер парадную дверь. Но Кудластов тогда только бросил бить несчастного, когда тот спрятался под ворота. После этого Кудластов, схваченный за плечо Бабочкиным, вошел в дом, поставил метлу в угол залы и тупо остановился.

Бабочкин был взбешен до последней степени этим ночным происшествием.

— Черт знает... и как это тебе пришло желание колотить метлой дворника!.. Безобразие какое!..

И, говоря это, он грубо попросил Кудластова раздеться и спать. Кудластов беспрекословно повиновался, разделся и действительно сейчас же заснул. Бабочкин также прилег на диван, не раздеваясь; на него навалилась какая-то необычайная тяжесть. «Боже мой! что это со мной происходит!» И вдруг отвращение к жизни так внезапно родилось в нем, что он вскочил и принялся бегать по комнатам как отравленный.

Остаток ночи, или, лучше, утра, он провел мучительно, то на минуту забываясь в тяжелом сне, то просыпаясь с неопределенною тяжестью в груди.

Утром следующего дня, едва очнувшись, он услыхал в передней крупный разговор Семена с кем-то.

— Я пойду к мировому!.. Не посмотрю, что барин!.. Нынче драться не велено! — кричал человек, в котором Бабочкин скоро узнал дворника.

— Что такое здесь? — спросил он, выходя в переднюю.

Дворник при виде его осклабился и успокоился. Бабочкин вынул пять рублей и ласково просил мужика не доводить дело до мирового, прибавив, что тот барин был сильно выпивши.

Дворник взял деньги, но мялся еще на месте.

— Что еще? — спросил Бабочкин.

— Да маловато, сударь, пять рубликов-то, — проговорил дворник. — Ведь ежели бы они метлой только... то есть прутьями самыми... а то ведь они череном меня лупили! Вон они рану-то какую проткнули на шее!.. Прибавьте хоть рублик еще!.. — и дворник, говоря это, показал на шею, где действительно была ссадина.

— Ну хорошо, на еще рубль, да не клянчь больше... — сказал Бабочкин.

— Покорно благодарю. Я ничего, Александр Иваныч... Я только потому, то есть, что череном они меня!

Весь этот разговор слышал проснувшийся Кудластов, и когда к нему вошел Бабочкин, он не знал, куда глаза деть от стыда.

Однако с этого дня он сделался ежедневным посетителем шумной и беспутной квартиры Бабочкина. Последний имел на него сильное влияние; при нем он держал себя смирно, а если ему случалось взбеситься, то достаточно было Бабочкину сказать несколько слов, чтобы он притих.

Теперь он наскоро оделся и с великим смущением ушел, не обращая внимания на дождь.

VII

Дождь. Грязные клочья, только по временам разрываемые ветром, заволокли все небо. Дождь хлестал в оконные стекла, и капли потоками бежали по ним. На улице был уже чистый ад — грязь, лужи, целые болота. Только по крайней нужде можно было решиться выйти в такую пору. И только Бабочкин решился выбежать из дому в такой день.

После ухода Кудластова он провел несколько часов в бегании из комнаты в комнату. Семену он отдал самые противоречивые приказания. Сначала он ему велел приготовить завтрак, — он остается дома! Когда Семен уже собрался идти в гостиницу за завтраком, Бабочкин передумал. Он остановил Семена и велел приготовить одежду... он пойдет сейчас на занятия! Семен принялся чистить платье, но Бабочкин вдруг опять передумал, приказав недоумевавшему Семену бежать сейчас же за извозчиком... он поедет к Серецкому! Это было окончательное решение, тем более что больше ему деваться было некуда.

А Серецкий еще не приелся ему. Бабочкин порывисто оделся, вышел на улицу, где ждал уже его извозчик, бросился в дрожки как угорелый и поплыл по лужам. Дождь до боли хлестал его в лицо, одежда мгновенно смокла на нем, облепленная комками грязи от колес. Ветер сорвал с него шляпу, которая упала в лужу и, поднятая извозчиком, представила собою печальное зрелище. Но душевно Бабочкин успокоился. Облитый с ног до головы грязной водой, среди разбушевавшейся погоды, он даже повеселел; ему сделалось легко. Скверная погода, очевидно, уравновесила его скверное состояние.

— Ну, вот я и пришел! Едем на обещанный обед! — закричал возбужденно Бабочкин, стоя посреди комнаты у Серецкого. С него текло что-то среднее между водой и землей; на лице и руках его были грязные пятна. Вокруг того места, где он стоял, образовалась лужа воды и глины.

— В такую погоду! — проговорил Серецкий с нескрываемым изумлением и попятился от мокрого и забрызганного грязью гостя. — Впрочем, я считаю за честь для себя, что вы пожаловали ко мне, вопреки всем препятствиям, — ядовито заметил он.

Он брезгливо осмотрел место, где стоял гость, и весь как-то сморщился. Голова его была повязана каким-то платком, ноги закутаны в теплый плед; лицо его было желтое, болезненное, — трудно было в этом человеке, похожем на беглеца из лазарета, узнать вчерашнего остряка с изящными манерами.

Бабочкин едва удержался от смеха при виде закутанного в хлам человека, испугавшегося простуды в июне; но, подавив приступ хохота, он не мог скрыть улыбки, когда спросил хозяина, что с ним? «Ужасная погода! Я делаюсь больным в такое время!» — возразил Серецкий. «Мигрень?» — спросил Бабочкин. «Боюсь, что будет... Но еще нет...» — «Зубы, может быть, болят?» Оказалось, что еще и зубы не болят, а только грозят заболеть. Тогда Бабочкин уже не мог удержать взрыва хохота.

И, не обращая внимания на угрюмый вид Серецкого, он стал звать его в ресторан. Серецкий очутился в самом скверном положении; он помнил, что вчера пригласил Бабочкина, и не мог отказаться от своего слова, но в то же время его угнетала мысль, что если он выйдет на улицу в такую погоду, то умрет; заболеет и умрет! Довольно просто...

Но Бабочкин настаивал и потешался. Его мрачное настроение, за минуту перед этим овладевшее им с такою силой, перешло теперь в возбужденный, нервный хохот. Он острил над повязками Серецкого, над его респиратором, над теплыми туфлями, советуя надеть еще теплую шубу.

Серецкий сдался. Но Бабочкин должен был с добрый час поджидать, пока Серецкий приготовлялся, принимая всевозможные меры во избежание могущей произойти простуды, которая может кончиться смертью. Он ушел в другую комнату, бросил гостя одного и там препарировал себя к отъезду — уши заткнул ватой, ноги закутал во фланель, шею повязал шарфом.

Тут ничего удивительного нет! Он просто только заботился о своем здоровье... Эти заботы были единственной целью его жизни. Никогда не надоедая себе, он никогда не скучал наедине с собой; напротив, чем он с большею любовью думал о себе, тем драгоценнее себе казался. Он вел довольно уединенную жизнь, мало в ком нуждаясь. Когда-то это был тонкий эгоист, умевший пользоваться людьми, не давая им понять этого; в ту пору он казался увлекающимся «порывами», но он пришел к тому заключению, что люди — животные. Вслед за тем он добился удобного и спокойного места и принялся изучать гигиену. Его, конечно, могли упрекнуть в неимении общественных стремлений, но аргументация его была чрезвычайно сильна. Во-первых, все люди —

животные; во-вторых, специально русские люди — несомненные скоты, — это самая низкая и грязная раса, какая когда-либо срамила землю; низкие классы — просто мясо, обросшее нечувствительной шкурой, которую можно вытягивать в каком угодно направлении; средние классы безнадежно вороваты; высшие же грубые, без самолюбия и чести, без благородства и ума... Даже позорно принадлежать к такой нации; жертвовать же ей чем бы то ни было — нелепо. Да и вообще животное каждое о себе заботится. Серецкий не пожертвует кончиком ногтя ради удовольствия чуждых ему людей...

Серецкий заботился тщательно о себе. Квартира его была самая удобная во всем городе; он брал ежедневно холодные ванны и завел здоровую горничную. Ежедневно придумывая новые удобства, он покупал гигиенические кушетки, качающиеся кресла и пр. Для поддерживания упругости в членах в одной из его комнат висела трапеция. Он постоянно осматривал себя в зеркало, подозревая появление какой-нибудь болезни. Следя тревожно за состоянием своего тела, он делал только то, что безусловно не могло вредить его здоровью, но зато боялся всего, что было сомнительно. В особенности он боялся сквозных дыр, сырой воды и нездоровых горничных.

К сожалению, постоянная заботливость о себе часто у него переходила в ужас, не оправдываемый действительным состоянием организма. Чтобы ему отравить день, достаточно было прыща на его лице; легкая головная тяжесть уже приводила его в смятение. А если он открывал малейшие признаки расстройства кишечного канала, то немедленно призывал доктора и основательно пытал его — не грозит ли ему смертью? Эти неосновательные подозрения были единственными душевными волнениями, которые он испытывал, — потому что других страданий он не допускал; если на него и находило тоскливое настроение, то энергичными мерами он быстро уничтожал его, для чего придумывал себе различные развлечения, не останавливаясь в выборе их ни перед чем. Он, кажется, не подозревал, что это самосохранение обратилось у него в болезнь, от которой разлагалось все его существо. Впрочем, он любил изящные вещи, ненавидел грязь и грубые манеры; сам он одевался с педантическою чистотой, имел изысканные манеры и в первую минуту производил впечатление свежего человека.

Если же теперь Бабочкин и застал его в отвратительном виде, с какими-то тряпками на голове и ушах, то, откровенно говоря, такой скверной погоды испугался бы всякий порядочный человек...

Бабочкин с нетерпением ждал, пока Серецкий консервировал себя. Хорошо одевшись, последний, наконец, послал горничную за извозчиком и перед выходом в сени надел на рот респиратор.

У извозчика коляска была с верхом, но Серецкий счел нужным закрыться еще пледом. Несмотря, однако, на эти меры, вид его был унылый и раздраженный.

— Вы боитесь простудиться? — спросил Бабочкин, когда они уже ехали по направлению к известному ресторану.

— Я не боюсь, но я осторожен... — раздражительно проговорил Серецкий, закрывая ноги пледом.

Ветер бил по лошади и кучеру, но не достигал Серецкого. Это, однако, не придало ему веселости; он тревожно наблюдал за каплями дождя, по временам падавшими ему на ноги. Он молчал до самого места.

В ресторане, куда они благополучно прибыли, он сию же минуту поднял тревогу. В отведенной им комнате он подозрительно осмотрел все окна, в которых могли оказаться сквозные дыры. Их, к счастью, не оказалось, но, в предупреждение всяких случайностей, он отклонил предложение слуги убрать с его плеч плед. Только после предварительной закуски с острой предобеденной выпивкой он пришел в себя и развеселился. Обстановка подействовала на него оживляющим образом. В комнате, где они с Бабочкиным сидели, был полумрак, искусственно образовавшийся от толстых штофных занавесок, от купы тропических растений, которые по всему кабинету распространяли зеленоватый оттенок; тепло, сухо, уютно; резная дубовая мебель довершала гармонию освещения.

Серецкий качался в креслах (к качалкам он имел особенное пристрастие), прислушиваясь к шуму и вою разыгравшейся непогоды. Он следил за потоками дождевых капель, катившихся подобно беспрерывным слезам, слушал шум и свист ветра и всхлипывания воды — этот плач природы, и ему было хорошо; своим видом довольства он как бы говорил: а мне здесь приятно! Повеселевший, он качался в креслах и не торопясь рассказывал злые анекдоты про знакомых людей.

Но по мере того как он говорил и злословил, Бабочкин смолкал и лишь изредка вставлял слово.

Так проходил обед. Серецкий осмотрел сначала пытливым взглядом ножи и вилки, тарелки и судки, подозревая нечистоту; потом со вкусом принялся кушать, разбирая каждое волокно мяса, осматривая каждую косточку пулярки и предварительно исследуя подаваемые соусы. Обед был действительно тонкий, чистота безукоризненная; очевидно, прислуга ресторана знала давно вкусы Серецкого и умела ему угодить.

Но по мере того как он кушал, у Бабочкина пропадал аппетит, а в середине обеда блюда стали вызывать у него тошноту.

А Серецкий становился все веселее. Кушая микроскопическими дозами, он играл глазами, рассказывал анекдоты, всегда умные и злые, и каждое слово его походило на иголку, впускае-

мую в живое тело. Бабочкин стал ощущать то же, что на обеде у Раскатова. Искренний и открытый, он слушал холодного Серецкого с какой-то болью и тоской. Он перестал есть и чувствовал холод и мрак в душе. Ему казалось, что Серецкий, рассказывая анекдоты, вводил в наболевшее сердце его острую, холодную сталь.

Бросив есть, он принялся пить. Его не удовлетворила бутылка, заказанная Серецким; он приказал слуге принести другую, потом третью... Он облокотился на стол и пил.

— Скучно, Серецкий! — вдруг на полслове перебил он последнего.

— Вам не нравится здесь?.. Обед, вино... плохи? — спросил Серецкий.

— Я вообще не нахожу удовольствия где бы то ни было!..

Серецкий пристально оглянул его и пожал плечами.

— Развлекитесь, — возразил он равнодушно.

— Да чем? Все опошлело!

— Ну, это скверно. Это, значит, притупился вкус к жизни.

— А что такое жизнь? — спросил Бабочкин и поднял голову.

Серецкий не торопился отвечать; маленькими глотками прихлебывая вино, он осматривал Бабочкина с тем холодным интересом, с каким исследуют неживую вещь, мертвый предмет.

— Знаете что... — наконец сказал он, — человек, предлагающий такой вопрос, погибший человек.

— В самом деле? — презрительно засмеялся Бабочкин.

— Уверяю вас. Жизнь — это такая вещь, которую надо принимать не рассуждая, просто. Жизнь — это кусок свежего ростбифа, хорошее вино, чистый воздух, яркое солнце, теплота, бледная луна, прекрасная женщина, папиросы Шапшала, вечерняя прохлада, жалованье, звездное небо и т. д. Все это вещи, по поводу которых бесполезно спрашивать.

— Но этот идеал скотины очень скучен! — воскликнул нервно Бабочкин.

— Можно словами что угодно уничтожить и опошлить. А впрочем, вкусы у людей разные. Напрасно только вы открещиваетесь от скота. Человек только первый между скотами — вот и все.

Серецкий, возражая это, делал методические распоряжения слуге относительно десерта.

— Неправда! У человека есть печать благородства — фантазия, — раздраженно возразил Бабочкин. — Жизнь есть творчество — творчество новых форм мысли, новых форм вещей.

— А, вы, значит, и секрет нашли, — чего же лучше! Упражняйтесь и творите, — сказал насмешливым тоном Серецкий.

— Нельзя... Веры нет! Когда я начинаю что-нибудь, я спрашиваю себя: зачем? Когда ко мне приходит страстное желание

работать, я вдруг опять спрашиваю себя: зачем? И на меня нападает ненависть к работе, отвращение к делу, проклятие жизни... А жить так хочется!..

— Гм... все признаки психопата, — как бы про себя проговорил Серецкий.

— Так хочется жить! — продолжал, не слушая, Бабочкин. — И силы есть, и привязанность к жизни, и любовь, и энергия сердца... только веры нет, и не знаешь, как растратить эти силы... Ни во что не верится.

— Право, не знаю, что вам посоветовать... — насмешливо сказал Серецкий.

— Я вовсе не нуждаюсь в ваших советах!

Разговор переходил в ссору.

— Знаете что, попробуйте с разбегу разбивать лбом гнилые заборы!

— А вы пробовали?

— Сам — нет, но видеть — видел, как занимались этим...

Бабочкин пришел в бешенство от этих слов.

— Я посоветовал бы вам не трогать этих... иначе мне придется попробовать о ваш лоб крепость этой бутылки! — Бабочкин с неожиданною яростью крикнул и сжал в руке пустую бутылку.

Серецкий растерялся.

— Успокойтесь. Я вовсе не имел намерения вас оскорблять. Все дело в том, что мы засиделись здесь и у нас закружилась голова... Позвольте с вами попрощаться, — прибавил холодно Серецкий и быстро стал одеваться.

Бабочкин посмотрел на него, рука его разжалась, и он снова опустил голову над стаканом с вином, совершенно, казалось, забыв о присутствии Серецкого.

Последний, одеваясь, был сильно взволнован и еще более торопился уйти отсюда. Волнение ему вредно! Да и не нужно было пить так неумеренно — может подняться сильная головная боль. Но в особенности опасны психопаты. *Этот* может отравить день всякому порядочному человеку... Серецкий, насколько было можно, торопился уйти. Он заткнул уши ватой, завязал шею шарфом, а усевшись на извозчичий экипаж, закрыл голову пледом потоньше, ноги же пледом потолще. Торопясь домой, он скромно забыл уплатить за обед.

Дождь прекратился; небо кое-где уже прояснилось, а на западе показалось яркое, золотистое зарево солнца, скрытого тучей; но грязь на улице образовалась непролазная, а сырой ветер дул в лицо Серецкому, который тревожно кутался в пледы и уже придумывал те меры, какие сейчас же по приезде домой он примет в предупреждение опасной болезни... Дело в том, что такого рода пессимисты до безобразия любят жизнь.

Когда комната опустела, Бабочкин продолжал смотреть на дно стакана; в голове у него шумело, сознание было неполное. Но лишь только Серецкий удалился, как горькое чувство одиночества со страшной силой охватило его; он вскочил с места и бросился к выходу, собираясь крикнуть вдогонку ушедшему — не уходи! Ему жутко было одному, без людей, хотя бы все люди состояли из Серецких.

VIII

Он нуждался в обществе, в сильном, здоровом обществе, которое отвлекло бы его внимание от его заболевшей души. Но он не мог отыскать общества; оставаясь же один, он чувствовал, как ему жутко. Дни и ночи он старался проводить на людях, избегая оставаться с глазу на глаз с самим собой.

Днем, после занятий, он гулял по площадям, толкаясь между разношерстной кучей людей, или уходил на берег реки и там наблюдал за пристанями. Вечное движение, царившее здесь, давало ему возможность с интересом проводить время; он толкался между крючниками, таскавшими кули, смотрел на пассажиров, на рыбаков, на хозяев мелких судов; суетня, крики, движение развлекали его. Пестрота этого муравейника не утомляла его внимания, потому что он не думал обо всем виденном, оно лишь мимолетными тенями пробегало по его душе; он думал только о том, что в нем самом происходило.

Ночью ему хуже делалось; постоянная бессонница поддерживала в нем беспрерывный бред; часто среди ночи холодный пот покрывал его тело и ужас пустоты овладевал им; то ему казалось, что на его груди лежат целые горы тяжести, от которой он задыхался; то вдруг ему чудилось, что тело его начинает расти, расширяется, как газ, и наполняет бесконечные пространства, и он не в силах собрать улетучивающиеся частицы своего *я*.

Чтобы сократить эти страшные ночи, он долго удерживал у себя гостей.

В его квартире стало толпиться много народа. Приходили знакомые и незнакомые, — никому он не отказывал, развлекаясь самым видом кучи людей. Большинство приходили затем, чтобы выпить и закусить; иные от скуки, некоторые из любопытства. Бабочкину незачем было больше выходить из дому: дом его сделался толкучкой, местом кутежей, веселья и забав. Он даже на занятия перестал ходить, весь отдавшись обязанностям гостеприимного хозяина. Но у него темнело в душе.

Чаще всех забегали к нему Карамельков, Серецкий и Шершнев. Первый заходил по поводу любительских спектаклей, второй — ради шампанского, которое часто стало появляться у Бабочкина; что касается Шершнева, то он все хлопотал насчет своих

сыновей, надеясь их пристроить с помощью Бабочкина, но когда последний отказался сделать что-нибудь в этом смысле, убедившись, что балбесы его никуда не годятся, то Шершнев сильно озлился, перестал ходить и написал на Бабочкина проект.

К числу ежедневных посетителей Бабочкина принадлежали Шершневы-сыновья, Кудластов, один доктор, один присяжный поверенный; эта своего рода шайка просиживала в квартире Бабочкина целые ночи, устраивая всевозможные развлечения. У каждого из них была, однако, своя особенная роль и свои, так сказать, обязанности. Братья Шершневы занимались главным образом придумыванием глупых, но временно забавных штук, вроде набивания бумажных картузов навозом и бросания их на улице, причем все хохотали, когда обманутый прохожий с жадностью поднимал находку и клал ее в карман; впрочем, в шайке оба они самолично служили предметом забавы, как постоянная мишень для насмешек главных членов.

Доктор Брусилович и адвокат Троцкий принадлежали к тем людям, которые всюду ищут развлечений. Оба они ненавидели свое ремесло, увлекаясь посторонними занятиями. Брусилович питал отвращение к больницам, к больным, к лекарствам и аптекам, но любил до страсти музыку; он по целым дням барабанил на рояле, сочиняя романсы и уверяя всех, что он скоро создаст оперу. Троцкий был известный адвокат, счастливо пользовавшийся своим языком для выигрыша темных дел; но все его симпатии лежали к военным занятиям — по крайней мере он сам уверял, что только война быстро разрешает вопросы; неисправимый болтунище, он с наслаждением говорил о кавалерии и артиллерии, о ружьях и пушках. Ежедневно он приносил свежие известия о войне и, сидя перед картой, рассказывал о «шансах» той и другой из воюющих сторон, причем на квартире у Бабочкина он выиграл уже несколько кровавых сражений.

Таким образом, время проходило в самых разнообразных развлечениях. Братья Шершневы доставляли материал для острот всей компании; Брусилович играл свои романсы; Троцкий посвящал всех в высшую политику. Кроме того, играли в шахматы, в карты, а в промежутках между этими занятиями пили и ели. Бабочкин во всем принимал какую-то пассивную роль, соглашаясь на все, что ему предлагали.

Нередко шайка устраивала разные загородные прогулки по темным местам — и Бабочкин соглашался. В конце концов время его стало проходить в сплошном движении и шуме. Ему не нужно было больше отыскивать развлечений: они сами приходили к нему, придумываемые окружающими его людьми. Он был на время доволен таким порядком вещей.

Мысль его, напряженно работавшая в одном направлении — создать во что бы то ни стало веселье, разрушалась; она давно

сделалась уже мрачною, причиняя ему одно отчаяние. А теперь, беспрерывно окруженный со всех сторон любителями даровых угощений, он перестал думать и отдался на волю случаев. Недавно еще ему казалось, что жизнь полна прелестей для того, кто решился искать их. Теперь же он ничего не в состоянии был придумать; к чему он ни прикасался, все оказывалось мрачным и пустым. И он отдался на волю окружающих. Его собственная воля стала так же быстро разрушаться, как и его мысль. Он продолжал искать развлечений, но больше по инерции.

Шумно вокруг него сделалось. В его квартире толпился всевозможный народ, жадный до новинок и даровых увеселений. А увеселения, придумываемые разными лицами, были самого разнообразного свойства.

Сначала последовал целый ряд любительских спектаклей, любимое занятие некоторых кружков. Все хлопоты взял на себя Карамельков. Любителей было великое множество, так что распорядителю стоило большого труда бороться с интригами; преодолевая интриги, он затем должен был усмирять страсти при распределении ролей между счастливцами, сделавшимися временными актерами, а когда и эти препятствия устранялись, Карамельков должен был до потери сознания следить за заучиванием ролей. Все это происходило в квартире Бабочкина, то есть и эти интриги, и страсти, и репетиции; толкотня, шум, кривлянья, сценический хохот, театральные рыдания, споры, разговоры — все это беспрерывно проходило перед взором Бабочкина в виде панорамы. Он во всем участвовал, но главным образом исполнял требования других. Потребуют от него денег — он дает; заставят его исполнять какую-нибудь роль — он исполняет. Но исполнив одно, он сам не знал, что следует дальше делать.

Жизнь теперь представлялась ему бесконечно пестрою; весь мир состоял для него из бесчисленного разнообразия вещей, не имеющих между собой связи; для него не существовало уже ни главного, ни второстепенного, ни причины, ни следствия, ни закона, ни случайности: все это смешалось в бесконечную картину отдельных вещей. Он потерял какую бы то ни было цель.

После любительских спектаклей последовал ряд поездок за город en masse. [1] Бабочкин принимал пассивно в них участие и за все расплачивался. Некоторые из этих поездок принимали разорительные размеры.

Так, по совету доктора Брусиловича, Бабочкин однажды нанял целый пароход. В это время снедаемая скукой городская публика уже вся знала Бабочкина. Поэтому, когда был нанят пароход, на него набилось доверху народа, званого и незваного. Бабочкин играл роль распорядителя, Кудластов был капитаном;

---

[1] Все вместе (*франц.*).

действительный экипаж молча исполнял приказания этих двух лиц. Пароход был убран гирляндами зелени и цветов, а к ночи осветился разноцветными фонарями. Все шло хорошо. Но в самом разгаре веселья Бабочкин вдруг велел пристать к берегу; отдал он это распоряжение таким тоном, что никто не посмел противоречить ему; это был каприз человека, воля которого уже распалась на минутные желания, ничем между собой не связанные. Пристали. Берег оказался пустынным, далек от города, в дикой местности. Бабочкин съехал на берег и скоро неизвестно куда пропал. Потом оказалось, что он в другом месте переехал с рыбаком на лодке и ушел к себе домой. Публика несколько часов ждала его, бесилась и, наконец, стала просить Кудластова прекратить стоянку у пустынного берега. К довершению всего, при возвращении чуть было не случилось несчастия. Кудластов, бывший в ударе, вдруг задумал посадить пароход на мель, чтобы напугать гостей. «Я вас, хищники, утоплю!» — кричал он на всю реку. Только энергичное вмешательство настоящего экипажа спасло пароход.

Но Бабочкин сделался модным человеком; о нем говорили, его зазывали, забегали перед ним, напрашиваясь на знакомство с ним. Сам великий делец Раскатов стал посещать его, увидев в нем полезную силу в будущем.

Бабочкину стали подражать; копировали его небрежный костюм, его свободные манеры и кажущуюся беспечность; перенимали его откровенный тон и презрительное обращение, восхищаясь быстрыми сменами в нем веселья и озлобления, света и мрака. Его бесцеремонность со всеми только увеличивала его популярность. Когда он вдруг, бросая гостей, уходил из дома, гости оставались как ни в чем не бывало; нередко он просто с пренебрежением бросал в лицо замечание, что пора расходиться, — и гости расходились, не обижаясь.

Но озлобление против своих безотлучных гостей стало у него повторяться все чаще и чаще. Он их всех изучил и знал, что̀ каждый из них скажет. Провести вечер в такой компании было, пожалуй, развлечением, но обязательно видеть их ежедневно — это слишком пошло ему казалось. Он слушал скверные остроты, ординарные сплетни, мелкие уколы, направленные друг против друга. Сходясь к Бабочкину без дела и без цели, с пустотой в душе и лишь с голодной жадностью убить время, эти люди не могли дать ему ни веселья, ни смеха, ни даже забвения. Напротив, очень скоро все общество, сходившееся у него, сделалось местом усиленных сплетен, удвоенных интриг и беспрерывного, хотя и мелкого, озлобления. Не зная, как лучше убить время, они с пустой и бесцельной злостью разбирали жизнь друг друга, копаясь в душе, в сердце, в спальне и кухне каждого. Когда один из них почему-либо не мог присутствовать в данный день у Бабочкина,

он должен был знать, что в этот день там его анатомируют по всем косточкам, а на следующий день он то же самое делал по отношению к другому отсутствующему. За неимением лучшего, это общество занималось тем, что грызлось между собой, задевая и Бабочкина.

Однажды последний вышел в смежную комнату и выслушал на свой счет разговор, взбесивший его до крайности.

— А скоро наш амфитрион вылетит в трубу? — спросил кто-то.

— Должно быть, скоро... Пока он доедает себя... — Это был голос Серецкого, как послышалось Бабочкину. — Он размотал все, что у него было в душе, и теперь сам скоро увидит, что цена его грош...

Когда Бабочкин услыхал это, он провел рукой по лбу. Потом вдруг на него напала ярость. Он вышел к гостям и заявил желание, чтобы они ушли.

Потом он крикнул Семена.

— С завтрашнего дня никого больше не пускай! — сказал он.

— Ладно. Давно бы уж... — возразил Семен довольным тоном, хотя несколько удивленный. — Гнать без всякого рассуждения? — переспросил он еще.

— Без всякого.

— А ежели который заартачится?

— Спусти с лестницы.

— Отлично! — проговорил весело Березин, которому также опротивела вся эта сутолока.

Исключение было сделано только для Кудластова.

Бабочкин затем велел принести себе пальто, шляпу, палку и выбежал из дому как безумный. Он в эту минуту ненавидел всех.

Стояла душная летняя ночь. Она душила горячим и грязным воздухом. Бабочкин прошел весь город, вышел на берег реки и отправился вдоль его. Он как будто бежал что-то сделать. Мало-помалу постройки стали попадаться реже; наконец город скрылся в темной мгле, а перед Бабочкиным был дикий берег, отвесной стеной высившийся здесь над водой. Он продолжал идти. Ходьба утомила его и несколько понизила его чувствительность. Раздражение его исчезло. Но он беспокойно продолжал идти.

В одном месте он, однако, принужден был остановиться перед отвесным оврагом. Он уже хотел присесть, но в это время он заметил, что угол оврага висит над водой и, казалось, готов упасть. Под ним на воде лежала темная тень. «Зачем он висит над этим местом?.. Я его столкну...» — подумал Бабочкин. У него возникло моментальное желание сбросить вниз мрачную глыбу. Он сперва попробовал ногой — глыба, однако, не подавалась; тогда он лег навзничь и уперся обеими ногами в висящую груду, но она слегка только пошевелилась. Это привело его в негодование; он толкал со всех сторон глыбу, но она только по кускам осыпалась. Тогда

он бросился ощупью искать на земле вокруг места какую-нибудь палку и, к удовольствию, скоро на краю оврага заметил брошенную слегу и схватил ее. Это был прочный рычаг. Он воткнул его глубоко между твердым берегом и висячей скалой и принялся раскачивать его из стороны в сторону. После страшных усилий масса, наконец, подалась, медленно покачнулась вниз и рухнула в пропасть. С улыбкой удовольствия на лице Бабочкин прислушивался, как она загудела по уступам, увлекая за собой груду камней, и через мгновение ударилась в воду, которая закипела под ней, взволнованная страшным ударом.

Свершив это необходимое дело, Бабочкин почувствовал облегчение; руки и ноги его дрожали; пот смочил его белье; дыхание было прерывистое. Это успокоило его окончательно, и он направился домой.

Несколько дней в доме стояла тишина. Но тишина была уже для Бабочкина невыносима. Среди нее беспокойство его возрастало до крайности. Организм его требовал беспрерывного движения.

К этому времени, к концу лета, в городе явился гипнотизер и привлек на свои сеансы множество народу. В числе первых был Бабочкин. Он с самозабвением ударился в таинственную область и первое время глубоко волновался открытиями. Двери его дома снова растворились, но уже не для пустых кутежей, а для таинственных опытов. Когда дело дошло до «чтения чужих мыслей», Бабочкин вдруг сделался из ученика учителем и совершал поразительные опыты. Все изумлялись ему, в том числе и невежественный гипнотизер, не понимая, что к таинственным экспериментам он был приготовлен всем своим прошлым. Парализованная воля его давала широкий простор рассеянным мыслям, а возбужденная, напряженная чувствительность сделала его проницательным. Ему понятно было то, что ускользало от сознания здоровых людей, мысль которых идет по определенному пути. Нервная деятельность его, лишенная контроля и цели, стала тонким инструментом, чувствительным для самых ничтожных движений. Он, как микроскоп, видел то, чего не видели здоровые.

В этих гипнотических сеансах прошел целый месяц. Бабочкина они так разбили, что он лишился аппетита, сна, здоровья. К счастью, гипнотизер уехал, а сам он не был в силах продолжать эту больную жизнь. Дамы ему также надоели, и он вторично отдал приказ Березину никого не пускать.

— И мадамов всех гнать? — спросил Семен сомневающимся тоном.

— Всех гони.

— А ежели которая заартачится?..

— Возьми за руки и выведи за дверь, — сказал Бабочкин серьезно.

Снова квартира его замолкла, и уже теперь навсегда. Беспокойный, в сильном смятении, Бабочкин гнался за последними лучами догорающей мысли и бросился путешествовать. Движение, хотя бы механическое, стало тем более неутолимою потребностью для него, что другого исхода он уже не в силах был отыскать. Он быстро собрался. Перед отъездом к нему на дом явился секретарь и умолял его просмотреть некоторые важные дела. Бабочкин взял из рук его дела и на его глазах разорвал их в мелкие куски. Секретарь пришел в такой ужас, что решился немедленно принять меры для своего спасения от скамьи подсудимых. Он подал донесение. Но Бабочкин уже уехал, не взяв даже отпуска.

Он поехал на Кавказ.

Но свет все быстрее скрывался от него.

IX

Дорога сначала заняла его. Приходилось жить дорогой второпях, — это на время создало для него иллюзию дела. Эта вечная сутолока, царствующая в вагонах, на вокзалах, во время остановок, во время следования, способна отнять всякие заботы, кроме собственно железнодорожных. Вместе с другими едущими и торопившимися Бабочкин также спешил куда-то, нетерпеливо суетился, лихорадочно ожидал чего-то впереди. При пересадке он спешил занять лучшее место, как будто это ему нужно было; на станциях бегал со всех ног на вокзал, не зная зачем; во время остановок с буфетом рвал зубами порцию цыплят, зачем-то спеша проглотить всякой пищи как можно больше; глотал, обжигаясь, стакан чаю, не имея жажды, а при втором звонке, сломя голову, толкая других без всякой надобности, бросался к своему купе. Кроме всего этого, он на станциях с величайшею поспешностью покупал ненужные вещи: какие-то туфли, зачем-то фарфоровую трубку, почему-то соломенную коробку; вовсе эти дрянные вещи не были ему нужны, и покупал он их только из стадного подражания.

На самом деле ему некуда было спешить, незачем торопиться. Он даже не знал, куда он едет, и ясно не представлял себе, где это *там*, куда он торопился прибыть. Ему полезно было само движение. Резкий свист машин, торопливый звонок, беготня служащих, свист воздуха во время езды — вот все, что ему было нужно; и когда он все это слушал, он забывался и ему казалось, что все это необходимо.

Когда поезд летел между станциями, он выходил на площадку и по целым часам наблюдал, как предметы, находящиеся впереди, мгновенно приближались, мелькали через поле зрения и бесследно пропадали, оставив мгновенное и едва ощутимое

впечатление. Он наблюдал бегущие зеленые леса, желтевшие хлебные поля, будки, столбы, светлые полосы озер, темные овраги и думал: «Вот так проходит жизнь! Жизненные явления мгновенно мелькают и мгновенно же скрываются во мгле неизвестного прошедшего... Здесь все моментально и ничего нет прочного. Будущее... вот те вещи, которые приближаются... только до тех пор существует, пока мы ждем его, но когда оно приближается к нам, как вот эта сосна, его уже нет, оно уже пропало для нас, исчезнув позади... Следовательно, жизнь не состоит из этих вещей, она есть только движение...»

И Бабочкин мрачно развивал эти мотивы в душе. Он видел пролетающие мимо него зеленые леса, пестрые, как шахматные доски, поля, телеграфные столбы, сторожевые будки, овраги и реки — и чувствовал, что всего этого на самом деле нет... Он стал во всем сомневаться.

Внешний мир уже стал скрываться от его взоров, отуманенных внутренними болями; угасавшая его мысль уже не способна была созерцать широкие картины внешнего бытия; она сама над собой работала. Бабочкин погружался в себя.

В редкие минуты, когда он ложился на свое место в вагоне с целью, по-видимому, отдохнуть, он перебирал в своей голове все признаки жизни и не находил ни одного, который имел бы цену сам по себе. Сомневаясь уже в самых основаниях жизни, он не понимал обыденных вещей. Он спрашивал: что такое добро? и, к удивлению своему, не знал, что это такое; быть может, это — временное соглашение между людьми поступать так, а не иначе... Но тогда добро изменчиво, и его на самом деле нет... Какая же цель жизни? Счастье. Но в чем оно? Это всякий понимает по-своему, у разных людей оно разное; разные времена по-своему его определяли... Оно изменчиво, следовательно, его нет... Да и вообще ничего нет, даже самой жизни... потому что эта жизнь есть только мимолетная форма какого-то неизвестного явления. Лучше бы слово «жизнь» вовсе отбросить и просто говорить — «явление». Тогда бы сказали: явление Бабочкина было скучно и бесцельно... Он появился ненадолго, но через мгновение неизвестно куда пропал...

Он передумывал все это и смеялся.

Между тем это явление было доброе. Бабочкин всю жизнь искал счастливой работы и веселого труда; это был человек с натурой экспансивной, живой и веселой. Не столько страстный, сколько веселый, не столько глубокий, сколько яркий, он походил на те цветы, которые распускаются только в мае и пропадают в мрачные времена. Жизнь сначала улыбалась ему так же, как он ей улыбался. Его все любили. Он был душой всего, что было молодо и весело. У него было дело, которое он живо исполнял. На его руках покоилась семья, которую он берег. Он был спо-

собен на самые большие работы, лишь бы они были только счастливы; он мог взвалить на свои плечи какое угодно дело, лишь бы только это было веселое дело. Его можно было заинтересовать каким угодно предприятием, в котором была новизна, жизнь, живая цель. Но он не выносил тяжелого дела, не любил мрачных мыслей, не понимал скучной работы, не выносил озверевших людей. Жизнь для него — синоним радости. Раз радости нет — нет и жизни. В другое время он мог ярко развернуться, блистая энергичными красками и живыми благоуханиями, но май быстро прошел. Первый удар нанесен был ему смертью сестры; с болью в сердце, но он вынес его. Но когда погиб неожиданно его брат, которого он беззаветно любил, свет для него покрылся темным покрывалом. Потом уехала жена. Тогда он растерялся. Веселый, он теперь носил в душе только мрачные воспоминания. Бабочкин хотел улыбаться, но обстоятельства то и дело беспрерывно наполняли его душу мраком; ему казалось, что стоит только перестать смотреть кругом, на все наплевать, и все пойдет отлично. Последняя попытка его, рассказанная здесь, явилась как последнее средство. Он еще верил, что жизнь — это радость и что мир полон счастья, и бросился искать развлечений; чтобы добиться этого, он бросил дела, обязанности, службу, старался забыть страшные воспоминания прошлого. Он не нашел их. И все для него пропало.

Мысль его с каждым днем слабела. Погружаясь в себя, он пытался ответить на разные больные вопросы; напряженный мозг его готов был разбиться от страшных усилий, но, кроме еще большего затмения, он ничего не добился.

Между тем перед ним мелькали зеленые леса, светлые полосы рек и озер, темные овраги, золотые поля, телеграфные столбы и дорожные будки, и он приехал, наконец, на Кавказ. Но это было вовсе не то место, куда он ехал.

Он ехал туда, но минеральные воды оказались для него совсем не нужны. Он пожил с неделю возле курзала; публики было уже немного, да она и не нужна была ему; едва ли ясно он сознавал присутствие людей возле себя, потому что он был погружен в себя и мысли его сами над собой работали. Здесь, на минеральных водах, все обратили внимание на человека, который в одно и то же время беспокоится и беззаботно хохочет. Бабочкин, впрочем, неизвестно зачем пил противную воду, советовался с доктором и без всякой надобности наложил на себя строгую диету. Потом ему эта глупость надоела, и он пустился колесить по Кавказу, продолжая думать, что он едет *туда*.

Он опять летел по железной дороге, ездил на лошадях, верхом и на телегах, ездил на ослах, взбирался на горы пешком, и это на время поддерживало видимость жизни, внешнюю ее

сторону. Во время дороги он уставал — и чувство усталости напоминало ему о том, что он существует. Когда, верхом на осле, немели его ноги и ныла спина, он чувствовал эту боль с удовольствием; когда все тело его было избито при езде на лошадях, он только рад был физическому утомлению; он тогда занимался собой, старался есть во всяком случае, спал и был доволен, что утомлялся, как будто от трудов.

С Кавказа он перебрался в Крым. Но в Ялте он едва высидел несколько дней и поехал в другое место, а отсюда в третье. Так он объехал, нигде не останавливаясь, весь полуостров, причем постоянно был во власти той иллюзии, что едет в определенное место, *туда*, где ему нужно быть.

Под давлением той же иллюзии из Крыма он торопливо отправился в Ригу; выбор этот был, разумеется, в высшей степени необъяснимый, почти рефлективный; единственная причина, указавшая ему ехать в Ригу, состояла в том, что он вспомнил о существовании в Риге купаний, на которые съезжается в летний сезон много народа. Но здесь он также оставался всего несколько дней, прожил все время в гостинице, ничего не осмотрел, не заинтересовался даже морским берегом, ради которого ехал... На него напало здесь странное озлобление против города, и он выехал из него.

Обратный путь он совершил необъяснимыми зигзагами; вместо Москвы, лежащей на его пути, он попал в Харьков, а вместо того города, где была его квартира, он очутился в Саратове. Только отсюда он прямо направился домой. Это было уже глубокой осенью. Но, возвращаясь домой, он не представлял себе, что он будет делать дома. Его дом казался ему чужим; он отлично знал, что жить у себя не останется, а поедет сейчас *туда*, куда влекло его.

Он приехал домой, позвонил и встретил Семена. Последний несказанно обрадовался и бросился услуживать впопыхах, с торопливостью человека, который дождался возвращения родного. Но Бабочкин холодно обошелся с ним, молчал на все его вопросы и, видимо, тяготился его болтовней.

— Господин Карамельков нынче были... — сообщил Семен, обиженный холодной и незаслуженной встречей.

— Что ему нужно? — вяло осведомился Бабочкин.

— Кажись, насчет театру... арфистка какая-то приехала сюда.

— Какая арфистка?

— Да арфистка, уж это верно... Господин Карамельков сказывали... Они очень волнуются. Да и весь город, кажись, взбесился — только и разговору, что про эту арфистку. Даже наш дворник, и то говорил — чудесно играет на скрипке... Взбесились все — очень просто.

Бабочкин пожал плечами. Все это смутно он припоминал, как будто все эти имена относились к далекому прошлому. Но он подумал все-таки: «Глупый что-нибудь напутал...»

— Чаю не нужно, иди, — сказал он рассеянно.

Березин был совершенно оскорблен, но он хотел добросовестно выполнить свои обязанности. Он угрюмо стал на месте.

— Что еще? — спросил Бабочкин грубо.

— Тут еще какие-то господа были... не один раз уж спрашивали про вас... Очень, говорят, нужно их, то есть вас...

— Кто они?

— Да никак прокурор да частный... и еще рыжий какой-то. Всё спрашивали, когда вы приедете.

Бабочкин опять пожал плечами и велел уходить Семену. Он походил по комнате и придумывал, куда бы пойти пока. На свой дом он смотрел как на станцию, где он недолго пробудет и откуда скоро выберется по дороге *туда*, где была цель путешествия. Но пока нечего было делать, и он в сильном беспокойстве прислонился лицом к холодному стеклу.

Вдруг он увидал ехавшего по улице Карамелькова. Распахнув окно, он крикнул ему, чтобы он остановился. Карамельков соскочил с дрожек и через минуту был уже у Бабочкина.

— На минуточку... не могу больше! — сказал Карамельков вместо приветствия и принялся рассказывать удивительные вещи. Он был взволнован, торопился, путался, так что Бабочкин сначала ничего не мог понять и только после нескольких вопросов разобрал, в чем дело.

Семен верно передавал, только название перепутал... Город действительно взбесился благодаря приезду заграничной артистки, играющей на скрипке. Это была знаменитая м-м N. Не один Карамельков ошалел от ее игры, но действительно весь город. О приезде ее заранее знали. Недавно выехав из Вены, она побывала в некоторых русских городах и везде вызывала смятение. Одуревшая от скуки публика сделала из нее кумир. Ее встречали как царицу; на вокзал заранее вышли власти города; во время пути она занимала отдельный министерский вагон. Ее осыпали цветами и золотом повсюду. «Что здесь происходило вчера — уму непостижимо!»

Первый концерт ее был дан дня три тому назад. Народу набилось много, но люди не бесились еще. Но уже на следующий день весь город лихорадочно ждал восьми часов. Театр ломился под давлением масс. Все помыслы обратились к ней, и все взоры были обращены на ту дверь, из которой ждали ее выхода на сцену. Толпа замерла в ожидании и молчала, как один человек. Она, наконец, вышла, маленькая, худая, некрасивая. Всем казалось, что скрипку ей тяжело держать, а смычок нетвердо лежит в ее крошечной руке... Наконец она неловко раскланялась,

остановилась и извлекла первые звуки... И в зале раздался взрыв восторга, равносильного ужасу, — никто не ожидал от крошечной руки таких могучих звуков, упавших в толпу как гром. Когда через мгновение опять наступила мертвая тишина, инструмент запел божественную песнь, от которой можно умереть, забыв о дыхании. Жизнь прекратилась в тысячной толпе, оцепеневшей в страшной истоме. Все умерло в зале от этих ударов смычка, и помертвевшие люди оставались неподвижными, как деревянные стулья, на которых они сидели...

— Нет, я слабое сравнение сделал!.. Ну да ничего, некогда... прощайте, бегу! — вдруг прервал себя Карамельков и бросился было бежать.

Но Бабочкин ухватил его за рукав.

— И сегодня будет? — спросил он с странным волнением.

— Последний раз! — закричал Карамельков.

— Билеты еще есть?

— Ни одного!

— Но можно будет как-нибудь пробраться?

— Нельзя! Я к вам заезжал, но теперь уже поздно... Пустите, ради бога!.. — взмолился Карамельков, вырвался и побежал. Он действительно походил на бесноватого.

И так происходило во всем городе. М-м N. помутила умы, поставила на ноги всех скучающих и обремененных пошлой пустотой. Смычок ее был повелительным жезлом; поворот этого смычка мог бросить толпу на какое угодно дело. Последний концерт, дававшийся сегодня, окончательно привел всех в состояние дикости.

Бабочкин, после бегства Карамелькова, не знал, что ему делать — бежать ли самому в театральную кассу, послать ли Семена или ехать к одному из знакомых, чтобы с его помощью пробраться. Концерт вдруг вырос на его глазах в дело огромной важности. «В последний раз играет...» Эти слова вызвали в нем лихорадочную тревогу. Он несколько раз надевал шляпу, несколько раз порывался броситься на извозчика, но только в беспокойстве метался по кабинету. До концерта оставался час с небольшим. Бабочкин не знал, что с ним делается. Он крикнул, наконец, Семена.

— Возьми извозчика, поезжай к Кудластову и привези его сюда! — приказал он ему и бесился, смотря, как медленно Березин собирается.

А когда последний уехал, им овладело томительное ожидание. «Достану билет или нет?» — думал он и никак не мог представить, чтобы невозможно было попасть в театр. Он решил, что непременно попадет на концерт, во что бы ни стало. В его расстроенном воображении вдруг появился цельный образ удивительной артистки и заполнил все его мысли; он вообразил до

мельчайших подробностей ее лицо, ее фигуру, ее скрипку и смычок. Это было небесное видение, яркое как мираж, и всей своей опустевшей душой он погрузился в созерцание его. Тогда решимость во что бы ни стало попасть на спектакль повелительно овладела им. Шагая по кабинету, он забыл даже привести в порядок свое дорожное платье, — все забыл.

— Их нету дома! в театр уехавши... — сказал возвратившийся Семен.

Бабочкин несколько минут тупо смотрел на него, потом взял шляпу и вышел из дому. На улице он взял извозчика, сел и велел везти себя к антрепренеру театра. Этого человека он знал и надеялся с его помощью пробраться на концерт. Антрепренера он не застал, но это не ошеломило его.

«Не может быть, чтобы отрезана всякая возможность!» — думал он и с страшной решимостью желал услышать концерт. У него явилась дикая энергия.

Извозчика он погнал к знакомому актеру. Актера не было дома. Бабочкин на мгновение обомлел.

— Не может быть! — повторил он.

Бросившись на извозчика, он поскакал в театр.

Возле подъезда театра толпился народ. Восемь часов уже пробило — концерт начался. Бабочкин соскочил с дрожек и стал пробираться через толпу, загородившую вход. Это были несчастливцы, не успевшие вовремя приобрести билета; они даже в коридор не попали и продолжали сплошной стеной стоять в стенах. Бабочкин локтями и грудью принялся пробиваться сквозь эту стену. Он не знал, что из этого выйдет, только продолжал твердить: «Не может быть!»

— Вы, должно быть, с билетом? — злобно сказал ему какой-то барин.

— Почему вы так думаете? — спросил, ничего не замечая, Бабочкин.

— Потому что вы ломитесь... Разве вы не видите, что здесь нельзя пробраться?

— Милостивый государь! вы ударили меня в живот! — крикнул под самое ухо какой-то другой господин.

— Вы какое право имеете ноги давить? — закричал ему третий.

— Назад! — закричало несколько голосов.

Бабочкин опешил и остановился в самой середине густой толпы.

— Господа, я хочу только пробраться на лестницу... — сказал он упавшим голосом.

— Да у вас есть билет? — спросил его кто-то.

— Нет...

— Так куда же вы ломитесь! — возразили ему, и вокруг него поднялись злые насмешки.

— Вы, может быть, к капельдинеру хотели обратиться? Напрасно. Места нет, понимаете, места нет! Ложи полны, в партере сидят по два человека на одном стуле. Раек — ад кромешный! Там сидят не только на скамейках, но и друг на друге. Платили по пяти рублей, чтобы иметь право сидеть друг на друге верхом! По три рубля недавно давали за то только, чтобы от времени до времени просовывать голову из коридора в залу, понимаете? На лестнице губернатор поставил жандармов, чтобы не пускать больше никого, даже в коридор... потому что иначе стены здания лопнут от напора...

Это внушал Бабочкину какой-то красный господин, с лица которого пот катился градом.

Бабочкин выслушал нотацию, не оскорбившись и только пораженный невозможностью пробраться. Теперь он не мог пошевелить пальцем, сдавленный со всех сторон живыми стенами. Горячее дыхание поднималось от этих стен; жар в середине их был так велик, что каждый из людей, составлявших эти плотно сбитые стены, пылал огненными красками и каждое лицо казалось пылающей головней.

Но Бабочкин не испытывал этого жара. Он стоял весь похолоделый. Холод обнял все его тело и проник до самого сердца.

Он убедился, что концерта не увидит, и это пустое обстоятельство приняло в его глазах страшное значение. В его душе совсем темнело.

Но он не мог оставаться на месте и невольно стал проталкиваться назад, повинуясь какой-то силе. Раздвигая массу, он лез из сеней к выходу, похолоделый и бледный. После продолжительных усилий ему удалось, наконец, выбраться из толпы, и он очутился на улице.

Когда темная осенняя ночь дунула ему в лицо сыростью и холодом, он окончательно понял, что на концерт он не попал. Отчаяние овладело им.

Все окружающее вдруг пропало из его глаз, мир прекратил для него существование, не замечаемый больше им, и он остался один. Он весь ушел в себя, никого больше не видя помутившимся разумом.

— Лучше умереть! — вдруг сказал он и решил немедленно привести в исполнение это желание.

Он поплелся домой, слабо передвигая ногами, которые плохо повиновались ему. Ни на какое усилие он уже не был способен; последние остатки его воли пропали. Он только мог умереть; воли осталось ровно столько, сколько нужно было, чтобы убить себя.

Инстинктивно, ничего не замечая, он дошел домой; там, дома у себя, он решил застрелиться. Переступая порог крыльца, он ощупал в кармане револьвер, который он забыл сегодня после

приезда вынуть. Потом он медленно прошел по лестнице, вошел в открытую настежь дверь и направился в кабинет, не замечая, что вся квартира его была освещена, что в зале, мимо которой он проходил, сидели какие-то люди и что между ними, бледный как полотно, стоял Семен...

Он прошел в кабинет, также освещенный, и на мгновение у него промелькнула мысль — написать последнее письмо. Но не было сил на это. Тогда он вынул револьвер из кармана и стал похолодевшими руками развязывать шнур.

— Александр Иваныч! — вдруг раздался около него голос.

Он поднял голову и безумно оглянул вдруг представших перед ним людей, не в состоянии возвратиться в мир действительности. Перед ним стояли прокурор, его хороший знакомый, и частный пристав, а позади какие-то серые люди — понятые, как это через минуту оказалось. Пристав тихо вынул из руки Бабочкина револьвер, осторожно осмотрел его и опустил в карман к себе. Прокурор повторил:

— Александр Иваныч!

На лице последнего показались какие-то судороги. Он как будто что-то хотел припомнить, но не мог.

— Александр Иваныч! Я пришел с неприятным делом... Но вы успокойтесь прежде, ради бога!

— Успокойтесь, господин! — прибавил, в свою очередь, пристав. — С кем таких несчастий не бывает, не всем же умирать!..

Эти господа были уверены, что Бабочкин хотел застрелиться из страха перед позором ареста.

Бабочкин вдруг заволновался, краска залила его помертвевшее лицо, и он как будто возвратился к действительности.

— Я пришел с тяжелой обязанностью... арестовать вас... Вот прочтите предписание.

Прокурор подал бумагу. Бабочкин предавался суду за небрежность к служебным обязанностям, за уничтожение дел, вообще за преступление по должности.

Бабочкин равнодушно пробежал бумагу, едва представляя себе арест; но между тем лицо его вдруг озарилось радостью.

— Я арестован?

— Да, за проступки по должности...

— В тюрьму?

— К сожалению... но это, конечно, ненадолго... Это, может быть, просто недоразумение...

Бабочкин не дал договорить прокурору, схватил его руку и с силой пожал ее; потом схватил руку пристава и также пожал. На лице его сияла светлая улыбка. Он благодарил этих людей, что они не дали ему убить себя; благодарил молча, но с величайшею искренностью. На мгновение разум его просветлел, — он увидел людей, мир, все окружающее...

Все были смущены этим непонятным весельем и быстро поторопились покончить с формальностями. Но Бабочкин больше всех торопился, помогал, советовал. Потом он живо оделся и был готов оставить дом. Прокурор предложил наложить арест на его имущество, но он отказался, указав на Семена как на лучшего хранителя его квартиры.

— Ну, прощай, милый! — сказал он Семену, пожав ему руку и выходя из дому в сопровождении чинов.

Дорогой лицо его светилось такой же улыбкой; он шутил с своими спутниками и смеялся. Он смотрел на город, на улицы, на людей с какой-то любовью, и все, что он видел, казалось ему прекрасным. Овладевший им недуг как будто оставил его, и он смело смотрел вокруг себя. Весь мир улыбался ему.

X

Но это был последний луч солнца, озарявший его жизнь. Тюремное одиночество быстро уничтожило в нем остатки живой мысли. Недуг продолжал развиваться. Об этом скоро догадался Семен.

Семен быстро освоился с своей новой ролью. Он караулил и в известный час, как ни в чем не бывало, носил барину в тюрьму обед. Это вовсе не казалось ему странным; он держался того мнения, что раз это случилось, то так и должно быть. Он относил обед в острог, передавал его тюремному начальству, а сам садился на лавочку возле тюремных ворот и просиживал здесь целыми днями, разговаривая с надзирателем и с караульными солдатами. Сначала его вздумали прогонять с этой позиции; не один раз солдат грозил ему прикладом, а надзиратель кулаками, но он терпеливо перенес все гонения и добился того, что с его постоянным присутствием на острожной лавочке примирились.

Строгих надзирателей он угощал папиросами, которые он носил барину, а солдат — простой махоркой, которую сам курил. Кончилось тем, что его стали считать как бы своим человеком в остроге. В особенности его любили за неизменную готовность поработать и услужить. Пошлет его надзиратель на свою квартиру за оставленной вещью — Семен пойдет; попросит его солдат сбегать за хлебом — Семен сбегает. Его узнал и смотритель. Когда этот последний подъезжал утром к тюрьме, возвращаясь с базара, Семен помогал ему вылезть из тележки или соглашался подержать лошадь, если та не стояла. С его присутствием не только помирились, но считали его как бы одним из необходимых людей в остроге, и когда он почему-либо долго не являлся в известный день, этому все удивлялись и говорили: «Что-то долго нет Семена...» Некоторым солдатам без него было скучно, и когда он,

после отсутствия, вдруг показывался на конце тюремной площади, скучающие были довольны и говорили: «А вот и Семен идет!»

Над ним иногда подшучивали.

— А должно, ты, Семен, больно любишь своего барина... — говорили ему.

Семен конфузился, но возражал всегда одним и тем же:

— Нечего тут любить... я только дело исполняю. Потому он ко мне был с удовольствием, и я к нему...

— А пошел бы за ним в камору? — спрашивали его.

— Отчего же? Жить везде можно. Ты вот слоняешься же здесь со штыком на плече, топчешь дорожку, а для чего ты это делаешь? Для службы. Служба уж такая твоя. Так и я.

Иногда шутки принимали колкий для Семена смысл.

— А знаешь, Семен, за какие дела твой-то сидит? Ведь он, говорят, печки растоплял казенными бумагами?.. а?

Семен тогда делался задумчивым и печальным.

— Это, брат, не нам дело судить. Не наше дело осуждать.

Так и утвердился он в остроге. К Бабочкину его, конечно, не пускали, и видеться с ним он не мог. Но ему очень хотелось повидать его. При невозможности этого, он каждый день расспрашивал сторожей, как он живет, здоров ли и что делает? Сначала он был доволен всем, что ему рассказывали о Бабочкине, и был спокоен за него. Но через некоторое время, слушая рассказы сторожей, он задумался и затосковал, инстинктивно предчувствуя, что скоро будет всему конец.

Но все-таки он продолжал караулить квартиру и каждую вещь в ней хранил как зеницу ока; от времени до времени он приводил все вещи в образцовый порядок, подвергая их усиленной чистке. А уходя в острог, запирал все двери на запор замками и засовами, чтобы никакому вору нельзя было проникнуть, потому что он со дня на день ждал возвращения из тюрьмы барина; к квартире его и к нему самому он привязался, как кошка к дому, и долго не хотел признать, что дом уже опустел.

Однажды Семен получил через надзирателя от Бабочкина приказ — перевезти в острог множество вещей, хранимых в пустой квартире. Семен был поражен. Он исполнил приказание и привез целый воз разных предметов, но расспрашивал, что это значит?

— Камору свою вздумал убирать, — ответил ему один из сторожей.

Семен ничего не сказал, затосковал и не сидел больше на лавочке перед тюремными воротами...

С первых же дней, когда Бабочкина оставили одного в глухой камере, он стал проявлять страшное беспокойство. Целый день он ходил по узкому помещению и, казалось, чего-то искал.

Он с любопытством и тревогой осматривал все мельчайшие особенности своего жилья, то мрачно хмуря брови, то улыбаясь. Потом он отдал приказ Семену — привезти разные предметы роскоши, для чего он составил длинный список. Тюремное начальство не мешало ему в этом. И вот, когда Семен прислал выписанные предметы, Бабочкин в величайшем волнении принялся размещать их по грязной камере. У него явилась идея украсить острог.

Казенное убранство комнаты было невеселое; сама комната узка — семь шагов длины и три ширины; окно с решеткой и с запыленным стеклом, кровать с твердой соломенной подушкой, на кровати серое одеяло из солдатского сукна; деревянный некрашеный стол и возле него такой же табурет — вот все, чем была убрана дворянская камера. «Какая плохая фантазия у творца такого помещения!» — подумал Бабочкин.

Изучив подробно свое помещение, он составил план убранства и с глубокой любовью привел его в исполнение. Пол он устлал коврами; на стене он повесил несколько картин и олеографий. Тюремную мебель, по его настоятельной просьбе, вынесли вон; вместо нее он поставил свою собственную — маленький изящный стол, одно кресло, один стул и мягкую кушетку, которая должна была служить и постелью. Вышло довольно красиво. Стол он убрал безделушками, письменным прибором и книгами — камера еще стала веселее выглядеть. Оставалась отвратительная дверь, вымазанная какой-то грязью и с противной дырой посередине; но он задрапировал ее портьерой из голубой штофной материи, и гнусное место перестало сквернить зрение. Однако, сделав это, он убедился, что еще не все острожное закрыто. Оставалось нескрытым узкое, как в подвальном этаже, окно и решетка, похожая на намордник; кроме того, камеру безобразила печка, вся изрытая разными надписями и захватанная ладонями. С окном, однако, он быстро сладил, прикрыв его тюлевыми занавесками, а на подоконник прикрепил горшок с небольшой пальмой, после чего ржавые палки железа были в достаточной мере замаскированы. Что касается печки, то это безобразное создание не поддавалось никакому украшению. Бабочкин недоумевал, каким образом скрыть этот глиняный столб в пять аршин высоты, облупленный снизу доверху? Он пробовал закрывать ее картинами, но у него не было такого огромного полотна; он занавесил ее ковром, но ковер висел на ней как тряпка. Наконец он возненавидел это чудовище; чтобы не видеть гнусного зрелища облупленной печки, он прикрыл ее простынями.

На некоторое время он успокоился. В общем камера выглядела недурно; по крайней мере во время самой работы Бабочкин весело любовался украшениями.

Но через несколько дней его стала давить украшенная им комната. Он велел сначала выбросить ковры, мешавшие ему ходить свободно; потом он свалил в одну кучу и выбросил все кабинетные безделушки, загромождавшие стол; потом он сдернул и разорвал тюлевую занавеску с окна, а пальму бросил за решетку на двор, потому что они закрывали свет и воздух; наконец он велел выбросить почти все, что наставил, и с той поры уже перестал обращать внимание на мрачные тени темного жилища.

Опять он ходил по камере в волнении и тревоге. Физический организм его был еще силен и полон жизни, но жизни не было. Как все арестанты, Бабочкин одно время занялся мелкими ручными работами из имеющегося в заключении материала; для этого он выбирал работы по своему вкусу, веселые; так, он с большим искусством сделал из спичек игрушечный домик в пять этажей, с окнами, с дверями и балконами, и гордился этой хорошенькой безделушкой. Но в особенности он с увлечением стал заниматься скульптурой из мягкого казенного хлеба; сделав в виде опыта фигуру собаки, он затем с увлечением принялся лепить из ржаного теста статую свободы. Он проработал несколько дней над ней — и фигура удалась хорошо. Он долго любовался ею, и счастливая улыбка озаряла его лицо в течение нескольких дней. Но однажды рано утром, когда он спал, в камеру вошел сторож, случайно сронил статуэтку на пол и раздавил ее под своим сапогом, даже не заметив этого, потому что она была мягкая.

Несколько дней Бабочкин ходил по камере грустный и встревоженный; но он не знал, отчего тоска овладела им, потому что не помнил своей статуэтки. Он, видимо, старался понять, что он ищет, но не мог припомнить. Память совсем уже разрушилась у него. Несколько дней он тревожно ходил по своей камере и все чего-то искал.

Последний свой день он провел в величайшем смятении. Едва напившись чаю, он беспокойно стал ходить возле стен камеры и прислушивался. По временам он что-то слышал и бледнел. Это были несомненно стоны! Но откуда они раздаются? Чтобы разрешить это недоумение, он осмотрел все щели в дверях и в окне, предполагая, что воет сквозной ветер; но когда он старательно заткнул все замеченные трещины, то убедился в неправдоподобности своего предположения. Стоны все-таки раздавались и причиняли ему сильное страдание.

Он стал ходить взад и вперед и этим заглушал мучительные звуки. До обеда он провел время в ходьбе. Потом ему принесли обед; он съел его с животной жадностью и был недоволен, что ему мало принесли. Впрочем, это обстоятельство он забыл сейчас же после обеда, отвлеченный составлением письма к президенту французской республики, чтобы убедить его в необходимости

посылки оркестра в Сахару; письмо это он быстро написал странными каракулями, мало похожими на буквы. Он уже хотел позвать сторожа, чтобы отдать ему письмо, но вдруг опять раздались стоны. Боже! какое это мученье!

Взволнованный, он стал прислушиваться и, наконец, понял источник звуков: они раздавались из пола. Очевидно, под полом проведены были электрические проволоки, проводящие стоны со всех концов света; стоны проникают в подошвы, а оттуда через все тело в уши. Кто этого не испытал сам, тот не знает, какие страшные страдания причиняют электрические проволоки. Бабочкин стоял посередине комнаты с искаженным от боли лицом и не знал, что делать.

Но напряженная, вихрем несущаяся мысль его моментально вывела его из затруднения. Он влез на кровать и этим путем прекратил прямой доступ больных звуков. Они только слабо раздавались. Чтобы совсем заглушить их, он решил смеяться. Но страшные звуки все-таки еще слышались. Тогда он решил, что если влезет на стол и будет хохотать, то звуков совсем не будет слышно. Он бросился на стол, встал на него и захохотал.

Этот дикий, нечеловеческий хохот пронесся по сводам острога и заставил задрожать всех, кто его слышал.

Через несколько часов Бабочкина увезли в дом умалишенных.



НА ГРАНИЦЕ ЧЕЛОВЕКА

(Естественноисторический очерк)

I

Молодые Зерновы должны были лето провести врознь. Она уезжала в Италию повидаться с больным братом да, кстати, рассеяться; он, удерживаемый своими конторскими и газетными занятиями, оставался в городе. В день отъезда оба были взволнованы, но не грустны, — каждый из них был спокоен за другого. Он в сотый раз повторял, чтоб она побольше писала; она делала разные домашние распоряжения, и самое главное — относительно дачи.

— Непременно переселись на дачу, — повторяла она.

Он утвердительно кивал головой.

— Выбери самую тихую, красивую, поэтическую! — полушутя-полусерьезно говорила она.

Но это было в то же время и его желание.

— И непременно оканчивай поэму! — уже строгим тоном приказывала она.

Он торжественно клялся, что поэма будет готова, и в подтверждение клятвы целовал жену.

Наконец они расстались, взволнованные, но с веселыми лицами.

Когда дым паровоза растаял за лесом, Зернов отправился домой и решил немедленно уехать за город искать дачу. Чувство энергии овладело всем его существом, и он быстро шел. Его поэма была первым трудом, которым он хотел, так сказать, дебютировать на большой сцене. Работая мелочи в местной газете, он все негазетное прочитывал только в тесном кружке друзей, и все предсказывали ему светлое будущее. Жена мечтала с ним и воодушевляла его; сам он также верил в себя. Но теперь, после того как он в последний раз пожал ее руку, протянутую из окна вагона, уверенность его в себе возросла в той же мере, как и любовь к уехавшей.

С вокзала он не зашел домой, а прямо отправился в контору акционерного общества, где служил, взял там отпуск на один день и уехал за город.

Конечно, по-настоящему ему следовало бы отправиться если не в Неаполь, то по крайней мере к черкесам или лезгинам, — все поэты должны видеть черкесов, потому что на даче можно увидать только мужиков, а написать поэму «из мужиков» совсем нерассудительно. Но Зернов был человек зависимый, очень расчетливый и мог позволить себе только дешевую дачу в трех верстах от города. И не дачу, собственно, надо было ему, а мирный уголок природы, где бы он мог проводить вечер и ночь.

Он объездил все окрестности и, наконец, отыскал все, чего хотел. Это было дикое место на крутом берегу реки, с которого открывался чудесный вид; кругом тишина и полное безлюдье; дача, правда, представляла собою совершенную развалину, где давно никто не жил; но зато стоила она дешево, окрестности же ее могли привести в восторг всякую поэтическую душу, не лишенную, впрочем, здравого смысла.

На другой день, после занятий и обеда, Зернов уже переселился на дешевое лоно природы. На скорую руку он разместил свое имущество в затхлых комнатах, поспешил выйти за дверь и принялся бродить по окрестностям, с интересом все осматривая.

Чудесные здесь были берега. Спускаясь крутыми стенами к реке, они во многих местах прорезывались глубокими оврагами, узкими и мрачными, как огромные трубы. Трубы эти проложила весенняя вода. Она же, бушуя здесь в апреле, произвела полнейшее замешательство в неподвижных рядах дубов и кленов; одни она повалила наземь и заставила их ползать среди кустов шиповника чуть живыми; другие под ее напором наклонились всею массой своих стволов и ветвей книзу и заглядывали в глубину темных оврагов; для третьих по отвесной стене она устроила висячие террасы, и они росли как бы в воздухе. Местами же особенно сильным напором она оторвала целую площадь берега, сбросила его с высоты вниз к реке вместе с лесом, но не тронула ни одного листка с короны дубов, не изломала

ни одной ветки, и они продолжали на новом месте стоять и расти, как будто ничего не случилось.

С волнением человека, привыкшего к голым стенам конторы, Зернов осмотрел все это, несколько раз спускался по тропинкам оврагов к воде, карабкался по висячим садам, пока не устал. Тогда он сел на одном уступе и оглядел широкий горизонт луговой стороны. Вечер выдался тихий и теплый; река застыла, как зеркало. Бросив вдруг взгляд на это необъятное зеркало, Зернов онемел от восторга: прямо под ним, в бездонной глубине реки, плыли тучки на синем фоне; возле них, но еще, казалось, глубже, виднелся серп луны, возле луны стояла баржа, а ближе к берегу со дна реки поднимались скалы, на которых у самой поверхности воды зеленел лес; только скалы, и лес, и баржа опрокинуты были там вниз вершинами. Там же, под деревом на уступе, сидел какой-то прекрасный молодой человек в серой шляпе и с радостью смотрел на Зернова, как бы приглашая его к себе, туда, на дно бездны, где плавают тучки и видится бледный серп луны...

Долго и с восторгом Зернов вглядывался в этот волшебный мир. Впрочем, через некоторое время в нем заговорил художник, восторг его исчез, осталось только желание ни одну мелочь не упустить из картины и схватить ее в таком именно виде, в каком она открылась ему; причем он уже обдумывал, в какое место поэмы лучше поместить ее. Так он просидел до позднего вечера и уже не обращал внимания ни на что окружающее, весь отдавшись созерцанию тех внутренних картин, которые хранились в нем и которые он должен написать, а когда возвращался с берега в комнаты, то был в необыкновенно счастливом расположении духа.

К сожалению, в самом непродолжительном времени его восторженное настроение, вызванное лоном природы, должно было прекратиться. Едва он потушил лампу и лег в постель, как почувствовал неопределенную тревогу во всем теле; однако, обладая твердым характером, сначала он не придал этому ни малейшего значения и продолжал спокойно лежать, припоминая все прелести своей дачи. Но вдруг на его лицо шлепнулось что-то холодное и скользкое; он в ужасе вскочил с постели, закричал благим матом и принялся шарить спички; когда, после торопливых поисков, лампа была зажжена, он со страхом оглядел комнату и убедился, что вместе с ним дачу занимают несколько лягушек. С ожесточением, понятным для каждого дачника, он выгнал гадких тварей и только тогда улегся на кровать, когда уверился, что достаточно гарантирован от пресмыкающихся.

Но успокоиться ему не удалось в эту ночь, ибо на лоне природы кишат многочисленные кровопийцы. Пока он выгонял лягушек, свет лампы привлек в комнату тучи комаров, которые

безжалостно, с воем и плачем, напали на свежего человека. Только закрывшись с головой одеялом, он мог временно спастись. Но, лежа под одеялом, он снова почувствовал неопределенную тревогу во всем теле; сначала он ободрял себя и старался отвлечь свои мысли в другую сторону, причем припоминал все прелести дачной жизни, но, наконец, упал духом и стал раздражаться, тем более что неопределенная тревога скоро перешла в очень определенное представление о жгучих клопах и блохах. Несколько раз он вскакивал с постели, бешено вытряхал одеяло и простыни, но кровопийцы после этих операций, казалось, с большею жадностью нападали на несчастного человека. В конце концов он изнемог, предался покорно на полную волю победителей и лишь продолжал беспрерывно вертеться на кровати, как мельничный вал. Состояние его духа было такого рода, что он проклинал не только дачу, но и все ее окрестности.

Уже под утро он в изнеможении заснул тревожным сном. Но и здесь новое несчастие ожидало его. Когда поднялось солнце и заглянуло в окна дачи, проснулись мухи и облепили его лицо; таким образом, он окончательно должен был отказаться от отдыха. Он торопливо оделся и бросился вон из душных комнат.

Солнце только что поднялось над соседним лесом и не успело еще осушить росы на траве. Над рекой клубились волны тумана, закрывая белою пеленой овраги берега; но возвышенные места, где именно стояла дача, были уже открыты. Эти места показались теперь Зернову в высшей степени безобразными, как все, чем он вчера восхищался.

В самом деле, прямо перед ним, почти от самой двери его развалины, начинались ямы и тянулись на далекое расстояние от берега. Некогда здесь, вероятно, добывали глину, но, давно заброшенные, эти ямы теперь безобразили всю местность. Возле них росла редкая и черная трава, желтая глина буграми покрывала все пространство; внутри некоторые ямы завалены были сором и навозом, другие оставались пустыми. В некоторых из них чернели отверстия каких-то нор.

Едва Зернов обратил на это внимание, как из одной норы, находящейся на дне ближайшей ямы, выполз на брюхе какой-то субъект, приподнялся, выпрыгнул из ямы и стал спускаться по тропинке к реке. Он был почти голый, если не считать нескольких лоскутков за штаны и нескольких лоскутков за рубаху. Не успел Зернов оправиться от изумления, как из другой норы выполз еще такой же субъект, и также голый. Этот, однако, не тотчас выпрыгнул из ямы, а сначала протер кулаками глаза и несколько раз запустил пятерни в спутанную гриву, торчавшую у него на голове, но потом и он ушел вниз к реке.

Зернов остолбенел и уже со страхом стал вглядываться в другие ямы, где чернели норы, ожидая, что и оттуда вот сейчас

поползут человекоподобные субъекты, но, к его счастью, никто больше не появлялся. Он простоял на одном месте с полчаса, затем возвратился в комнаты, тщательно запер их и отправился прямо в город, бросив намерение выкупаться и напиться чаю.

Состояние его было близко к столбняку. Бессонная ночь сделала его каким-то расслабленным — он с трудом и неохотой передвигал ноги. В голове же его образовался нелепый сумбур: блохи, лягушки, клопы, небо на дне реки, голые субъекты, норы в ямах — все это в глупом беспорядке наполняло его усталый мозг. Для него ясно было только одно ощущение: ужас при воспоминании о нанятом им лоне природы.

II

Однако после нескольких часов обычных занятий он пришел в себя и пообедал уже в здравом уме и твердой памяти. А после обеда проведенную ночь он стал рассматривать уже прямо с комической стороны и собрался немедленно идти на свою дачу.

Только предварительно он зашел в несколько лавок и закупил в большом количестве разные смертоносные и оборонительные орудия: карточки мухомор, марлю, персидский порошок и пр. То же самое в эту минуту он посоветовал бы сделать всякому, отправляющемуся на лоно природы, в особенности в дальние места, по деревням, — непременно запасаться орудиями для борьбы с кровопийцами.

Дорога окончательно освежила его. Бодро он дошел до своей развалины и сейчас же принялся превращать обе комнаты в укрепленный лагерь; окна забаррикадировал марлей, постель густо посыпал порошком, отравил воду на блюдечках; затем сделал несколько рекогносцировок под кровать и под стулья, где лягушки могли устроить засаду, и только когда убедился в удовлетворительном состоянии своих оборонительных средств, вышел гулять.

Нет, не гулять. С самого утра до этой последней минуты, что он только ни делал и о чем ни думал, его не покидала тревожная мысль о голых субъектах, которых он увидал в это утро. Во-первых, его тревожило это близкое соседство неведомых существ; во-вторых, в нем задето было в сильной степени любопытство.

Сойдя с крыльца, он прямо отправился к ямам и надеялся встретить там их обитателей. Но кругом, насколько мог охватить его взор, не видно было ни души. Тогда, недолго думая, он с тревожным любопытством принялся исследовать ямы, в которых виднелись норы.

Норы оказались довольно однообразного устройства, как, впрочем, все человеческие жилища. Одни из них имели вход

пошире, другие поуже, что, однако, не зависело от намерения хозяев ям, так как норы, очевидно, были выкопаны глинокопами; но над входом некоторых нор искусственно были устроены своего рода навесы из хвороста, что указывало на значительную культуру их хозяев.

Зернов спустился в одну из ям и заглянул в нору, темневшую на дне ее. Там, в углублении, он увидал только слежалое сено, служившее, очевидно, постелью. Больше ничего не было. Он хотел проникнуть в самое логовище, но внезапно явившаяся брезгливость оттолкнула его от этого намерения, тем более что пришлось бы ползти на четвереньках.

Выпрыгнув из этой ямы, он спустился в другую, наполовину засыпанную привезенным сюда сором; нора в этой яме находилась возле сора и отчасти занавешивалась им. От прежней она еще отличалась тем, что вход в нее был значительно шире и выше, так что если перегнуться пополам, то можно было свободно влезть в нее. Зернов так и сделал — перегнулся пополам и влез. На полу ее также лежала постель из сена, причем в том месте, которое служило изголовьем, лежала оторванная пола от какой-то одежды. На сене лежал обглоданный мосол; несколько мослов лежали также и возле одной стены. Кроме этих хозяйственных принадлежностей, в глиняную стену был еще воткнут сучок от дерева, а на сучке висели опорки. Больше ничего не было.

Зернов уже хотел пролезть дальше, чтобы посмотреть, от какой, собственно, одежды оторвана пола, лежавшая в изголовье, но вдруг чувство стыда охватило все его существо. Очаг каждого человека должен быть святыней. А вот он проник в чужой дом, проник из праздного любопытства, в отсутствие его хозяина, и осматривает все до мельчайших подробностей. Что бы он сделал, если бы в его, Зернова, квартиру проник какой-нибудь шалопай и стал бы рыться в его вещах, в бумагах, в платье? Зернов даже покраснел при этой мысли и поспешил выскочить из ямы. В другие норы он уже не осмелился заглянуть.

Он отправился домой и там, в сильной рассеянности, принялся возиться около самовара и чая, но возился механически; мысли же его были в тех норах, куда он только что лазил. Что это за люди там обитают? Он слышал о босяках, но эти, очевидно, еще ниже. Да о босяках что он знает? Чуть не ежедневно видел он оборванцев, но проходил равнодушно мимо их, — они не оставляли ни малейшего следа в его мысли. Никогда он не задумывался о подробностях их жизни, — они, эти оборванцы, проходили мимо него, не обращая на себя ни малейшего внимания, как похоронные дроги, которые каждый из нас видит тихо двигающимися за городскую черту. «Кто-то умер», — думаем мы

и проходим дальше. И лишь когда близкий нам человек из живого существа вдруг делается мертвым, когда душу нашу поражает внезапно наступившая неподвижность глаз, которые за минуту смотрели сознательно, только тогда мы спрашиваем: что это такое? куда он ушел? разве мы больше не встретимся? где начало и конец бытия?

Продолжая возиться около самовара, Зернов поглядывал из окна и ожидал, не покажется ли кто-нибудь из *них*. Ему даже досадно сделалось, что они не появлялись. Однако через некоторое время он увидал их.

Незаметно приблизилась ночь. С низовьев реки показался большой серп луны. Свет его, вместе со светом выступивших звезд, залил скоро все окрестности. Зернов вышел из дома и побрел по оврагу к реке. Вдруг на одной из лужаек взгляд его упал на странную группу; вглядевшись пристальнее, он убедился, что это *они*, его соседи.

Пользуясь теплою и светлою ночью, они полегли на открытом воздухе, прямо в траве, кто как попало. Одни полегли друг подле друга рядом, некоторые же уткнулись головами в противоположные стороны. Много их тут было. Свет лунной ночи закрывал их фосфорическою дымкой и прикрывал их наготу; но было что-то характерное в тех позах, в каких они спали, — так по крайней мере показалось Зернову. Одни из них лежали вниз лицом, разбросав руки и ноги в разные стороны. Но как те, так и другие, казалось, не легли добровольно, а были внезапно застигнуты какою-то силой, повалены на землю и умерли здесь, судорожно хватаясь кто за грудь, кто за ближайшие предметы.

Долго стоял Зернов перед светлою лужайкой, но наконец у него стало рябить в глазах, и он поспешил обратно в комнаты; о прогулке он забыл. Что-то неприятное сосало его сердце, какая-то досада вдруг стала раздражать его; но эти чувства он приписал своей скверной даче, нагнавшей на него опять хандру. Очевидно, что здесь все скверно и неприятно. Это не дача, а какое-то отвратительное место; в окна дует, повсюду сырость, лягушки, клопы, блохи, комары и еще бог знает что!.. Ночью даже жутко одному оставаться...

Действительно, закутываясь в одеяло, Зернов чувствовал, что ему жутко, и с ужасом думал, как он проведет ночь до утра. Но благодаря прошлой бессонной ночи через несколько минут им овладел сон, и он проспал до позднего утра без всяких неприятностей. Только уже утром, одеваясь, он заметил, что у одного из его сапог крыса (не иначе как крыса) съела значительную часть голенища. На некоторое время на него опять напала хандра, но ясный день скоро рассеял его мрачное настроение.

III

И когда он шел после обеда на свою дачу, многочисленные неприятности ее уже исчезли из его памяти; перед ним мелькали только голые люди, вызвавшие его удивление и любопытство. Он сильно заинтересован был ими и спешил удовлетворить свою любознательность, но это была та холодная, хотя и сильная любознательность, с какою ученый смотрит на открытый им новый вид, положим, комара.

К сожалению, в этот и последующие дни его ученое или художественное любопытство удовлетворено было в ничтожной степени; приходил он на дачу поздно и мог видеть только маленькую частичку того, как и в каком порядке голые люди поживали. Зато в ближайшее воскресенье ему удалось довольно подробно проследить жизнь вновь открытого им вида. С той поры он не пропускал ни одного праздника, безотлучно присутствуя на даче.

Обыкновенно он садился где-нибудь на открытом месте и следил оттуда за всеми движениями голых людей. Это не представляло неудобства — голые люди совершали свои дела открыто, не стесняясь ни друг друга, ни постороннего глаза. Зернов предположил, что они — или совершенно дикая порода, не видевшая человека и относящаяся к его появлению без страха, подобно некоторым птицам необитаемых островов, или они настолько одомашнены и лишены инстинкта самосохранения, что не обращают уже внимания на людей, наподобие коров или кур. Как бы то ни было, но Зернов мог беспрепятственно сидеть недалеко от них, не обращая на себя ни малейшего внимания с их стороны.

Утром они рано вставали и не дожидались солнечного восхода, к чему их принуждало сильное стучание зубов, вызванное свежим утром и росой; затем они немедленно отправлялись — одни рысцой, другие галопом — под гору через овраги и там рассеивались по берегу реки в разных направлениях; некоторые шли в слободки, большая же часть уходила в город, к его пристаням и толкучкам.

Зернов, конечно, не мог следовать туда за ними и в точности не знал, что они там делают; предполагал только, что отправлялись они туда на утреннюю добычу пищи и питья. Впоследствии, значительно позже, он убедился в правильности своего заключения. Впрочем, способов добычи пропитания он никогда не узнал в точности, потому что способы эти разнообразны, отличаются случайностью и часто в высшей степени рискованны и таинственны. К более или менее правильным занятиям можно отнести только похищение с лотков булок и воблы из ларей, но натурально, что и такие определенные средства нередко со-

провождались неожиданными осложнениями. Некоторая часть голых людей занималась еще ловлей раков и мелкой рыбешки и собиранием трав; наконец, аристократы среди голых людей, обладавшие панталонами и рубахой, служили на толкучках и базарах посыльными. Однако, несмотря на это разнообразие занятий, многим из обитателей нор вовсе не удавалось по целым дням схватить что-нибудь, что можно бы было съесть; такие в свои норы не возвращались, а продолжали изыскивать средства к жизни до глубокой ночи.

Многим, однако, удавалось еще утром найти случай поесть, после чего они немедленно возвращались один по одному домой, к своим оврагам. Это обыкновенно происходило часов в девять-десять. Придя к оврагам, они располагались на лужайках отдыхать и лежали в ленивой полудремоте на солнечном припеке. Когда впоследствии по оврагам и откосам выросла высокая трава, то зелень ее сильно маскировала их непринужденные позы; но зато вид множества тел, разбросанных по траве, производил неприятное ощущение; в одном месте из травы виднелась косматая голова, из другого места торчала нога, а там, из-под куста, высунулась половина туловища. На Зернова это нагоняло мрачное настроение, и, чтобы отделаться от него, он старался рассмотреть тела дремавших во всей их целости.

Лежанье на солнце продолжалось часов до двух. К этому времени у большинства валявшихся проявлялись некоторые потребности, под давлением которых они снова разбредались по разным сторонам: одни — на водопой, под гору, другие — для добывания пищи, третьи — ради развлечения — в кабаки.

Таким образом, к трем часам около нор уже никого не было, и обитатели их не торопились возвращаться. Только в сумерки они начинали мало-помалу сходиться, и тотчас по приходе каждый располагался спать. Если погода была хорошая, все ложились на открытом воздухе, в траве и под кустами; в противном случае, залезали в норы. В это лето, с самого начала мокрое и холодное, голым людям очень часто приходилось прибегать к норам.

Таковы наблюдения, сделанные в первое время Зерновым; как они ни поверхностны, но в молодом наблюдателе они вызвали целый ряд недоумений и вопросов.

Прежде всего, он спрашивал, к какому роду существ надо отнести открытую им породу? Если это животные, то почему же они не пользуются многими привилегиями последних? О диких животных заботится природа, наделяя их многими дарами, о домашних же животных заботится человек. Между тем голые люди беспомощны, и никто о них не заботится, — следовательно, их надо отнести к разряду людей. Но если это точно люди, почему же они лишены всего, что характеризует человека? Людям

свойственно жить в семье и обществе и принадлежать к определенному отечеству. Однако семьи у голых людей не было, ни к какому обществу они не принадлежали, ибо жили в сорных ямах за городом; если же не считать нор дачами, то у них не было и определенного местопребывания. Что касается отечества, то несомненно, что они числились гражданами только номинально, а иногда и вовсе не числились. Но если голые люди не имеют семей, находятся вне общества и не принадлежат к отечеству, то кто же они?

Зернов с холодною тщательностью рассматривал эти вопросы.

IV

В первое время все голые люди в глазах Зернова сливались в одну общую массу, столь же однородную, как, например, стадо. Но мало-помалу это стадо в его представлениях разбилось на несколько групп, довольно резко разграниченных друг от друга; а потом группы разделились на отдельные особи, которые хотя и слабо выделялись, но для Зернова сделались в конце концов заметными.

Своих соседей он разделил на три группы.

Во-первых, мрачно-равнодушные.

Во-вторых, бессознательные.

В-третьих, трудолюбиво-хозяйственные.

Всего меньше среди голых людей было мрачно-равнодушных. Зернов насчитал их человека три-четыре, не больше. Внешний образ жизни их был одинаков со всеми. Их тело также было непокрыто; по сырым ночам они наравне со всеми залезали в норы, и с утра они вместе с другими отправлялись за добычей. Но внутренние мотивы их поступков и отчасти самые поступки резко выделяли их из стада. Мрачный вид их образин рельефно выступал на фоне прочих физиономий, временами в них проглядывала гордость; с другими голыми людьми их обращение всегда было полупрезрительное. Ясно виделось, что они сознавали, где они находятся, сознавали свою жизнь и всю ее обстановку, но не хотели переменить эту жизнь на другую, более счастливую, ибо убедились в нелепости всех своих хлопот и, как говорится, плюнули на все. Пускай жизнь идет так, как ей хочется, а они за хвост ее тянуть не станут. Вероятно, прежде чем дойти до такой мысли, они много и долго боролись и только после отчаянных усилий устроиться по-человечески мрачно махнули на все рукой.

Кроме этих черт, их отличал еще от других злостный цинизм. Когда однажды перед глазами Зернова у одного из них отвалилась половина панталон, то он не потрудился прикрепить ее на

надлежащее место, а только презрительно выругался и продолжал шествовать по направлению к городу. Все дневные невзгоды они выносили с стоическим равнодушием. В то время когда многие во время голода и холода теряли последнюю энергию, в отчаянии ложились на траву вниз лицом и старались забыться в полудремоте, мрачные субъекты оставались невозмутимыми и только от времени до времени крякали нутром. С тем же равнодушием они вели себя и в те дни, когда у большинства брюхо было набито хлебом и водкой, — по-видимому, ни малейшая радость не озаряла их лиц и ничто не могло взволновать их.

Бо́льшая часть голых людей принадлежала к бессознательным. Зернов по крайней мере никак не мог открыть в них какого-нибудь поступка, заранее обдуманного. Приходя вечером на место, они моментально хлопались в траву или залезали в норы и мертвыми лежали вплоть до утра. Днем они страшно много спали, спали бы еще больше, спали бы дни, недели, месяцы, если бы их не пробуждало какое-нибудь резкое органическое ощущение голода, жажды, желания опохмелиться после перепою. Мучимые этими инстинктами, они просыпались внезапно и внезапно же скакали вниз под откос, а оттуда к пристаням, к толкучкам, по трущобным улицам. Но едва им тем или иным способом удавалось погасить дефицит брюха, они немедленно возвращались на место и вновь хлопались в траву и мгновенно засыпали. Ели и пили они затем, чтобы поскорее заснуть. Ни из чего нельзя было заметить, чтобы они сознавали себя; окружающее же едва мерцающая мысль их отражала настолько, насколько нужно было, чтобы не броситься вместо толкучки в воду или чтобы не схватить вместо хлеба булыжник из мостовой. Побуждения от действий разделялись у них буквально одною минутой; посреди мертвого сна на солнечном припеке часто кто-нибудь из них вскакивал и слепо летел куда-то; это означало, что у него проснулась жажда или голод подводит ему желудок.

Это они, бессознательные, так взволновали Зернова в первые дни его житья на даче, повергнув его в полнейшее недоумение, к какому роду существ отнести таких субъектов, в душе которых царят вечная ночь и сон. Впрочем, Зернов был уверен, что непробудный сон — счастье для них; если бы какая сила внезапно разбудила их, они не вынесли бы пробуждения.

Третья группа, названная Зерновым трудолюбиво-хозяйственною, внушала ему смех и печаль. В самом деле, трудно даже вообразить себе хозяев, живущих за городом в норах, — здесь непримиримое противоречие. Можно быть хозяином двора, избы, дома, фабрики, поместья, но невозможно быть хозяином норы. И, во всяком случае, для хозяина обязательно иметь панталоны и рубаху, — без этого хозяин немыслим. Между тем

трудолюбивые голые люди на глазах у Зернова примиряли это нелепое противоречие.

Из всех своих товарищей это были самые деловитые и озабоченные люди. Не в пример прочим, они очень мало лежали в траве брюхом к солнцу. Их дни проходили в беспрерывных хлопотах. Занимаясь под берегом ловлей раков и мелкой рыбешки, они терпеливо просиживали над водой; но лишь только им удавалось изловить десятка два раков или горсть рыбешки, они торопливо уходили в город и там капитализировали пойманные дары природы. В свободное от этих трудов время каждый из них занимался более или менее серьезным делом. Один, порывшись в норе, извлекал оттуда тряпки, мыл их в воде, сушил на солнце и прикреплял к соответствующему месту своей шкуры. Другой из нескольких несоединимых предметов старался составить один, который, по его мнению, должен непременно называться шапкой.

Все они были очень предусмотрительны и не лишены мыслей об отдаленном будущем; так, когда на небе показывались тучи, они заранее осматривали сваи в ямах и если находили их недостаточно защищенными от собирающейся непогоды, то принимали некоторые меры. В самых норах они поддерживали порядок и удобства — стлали постели из сена, похищенного ими с ближайшего сеновала, устраивали изголовья и пр. А на черный день они делали пищевые запасы, благодаря чему в их норах всегда можно было встретить сухие горбушки хлеба. Помимо всего этого, их хлопотливая жизнь производила такое впечатление, будто они не прочь были обзавестись семействами.

По своему характеру это были смирные и робкие существа, но сметливые и не без хитрости. Жизнь их, как и у прочих голых людей, давно исчезла, но они умели восстановлять подобие ее, радуясь каждому обману, посредством которого они надували себя.

V

Прошло довольно много времени, прежде нежели Зернов услышал слова из уст голых людей. Он так привык видеть их бессловесными, что и не ожидал услышать с их стороны разговора. Все немногосложные движения их происходили перед его глазами в полнейшем молчании; по-видимому, они совсем не умели говорить.

Наконец, однажды кто-то из валявшихся в траве вдруг выругался. Ругательство это было бессмысленное: бросивший его оборванец пустил его сквозь сон, пустил на ветер, ни к кому не обращаясь, следовательно, бессмысленно пустил и тотчас же снова заснул. Но на Зернова эти бессмысленные слова произвели действие чуда: он даже приподнялся со своего обычного

места на бугре и старался отыскать глазами то место в бурьяне, откуда раздались эти чудесные звуки.

С этой минуты он заинтересовался вопросом о словесности голых людей и старался уловить малейшее слово, сказанное ими. К его огорчению, этого рода любопытство он мог удовлетворить в малой степени, потому что его голые соседи не объяснялись между собой; происходило это отчасти благодаря тому обстоятельству, что они приходили домой к своим норам или спать, или дремать на солнечном припеке, — словом, находились в том состоянии, которое мало способствует разговорчивости.

На первых порах выпало лишь несколько случаев, когда Зернов не только слышал разговор, но и понял его содержание.

Однажды в воскресенье он, по обыкновению, уселся на излюбленном бугре, откуда открывался далекий вид, и медленно покуривал папироску, изредка и почти бессознательно бросая взгляды на голых людей; в этот час все они были в сборе. День выдался теплый и ясный; потоки горячих лучей лились на землю, а в том числе и на голых, из которых одни спали, другие лениво повертывались с боку на бок. Между прочим, двое находились недалеко от Зернова. Один из них, большой, мрачный верзила, лежал с закрытыми глазами, но, видимо, не спал; другой, маленький мужичонко, сидел возле него и переворачивал перед солнцем женскую кофту, по-видимому недоумевая, что с ней делать. Через несколько минут он вдруг вздохнул и обратил свой недоумевающий взор к товарищу.

— Вишь, кофту мне подарила, — вдруг сказал он.

— Она? — лениво спросил товарищ, не открывая глаз.

— Она. Кофту. «На, говорит, тебе кофту, потому мужского у меня ничего нету... Возьми, говорит, и глаз больше не кажи».

— Это она-то?

— Она.

Мрачный верзила помолчал и потом спросил прежним ленивым тоном:

— Ну, а ты что?

— Я ничего... Я к ней с лаской: «Настасья, говорю, ведь я тоже был муж твой... чай, помнишь? Ежели, говорю, ты будешь жить со мной, я место найду и приму человечий образ опять. Не гони только меня». Долго я упрашивал.

— Ну, а она что?

— А она говорит: «М-морда, говорит, мне твоя а-пр-ративела, не то чтобы жить с тобой!»

— Так и сказала? — лениво переспросил товарищ.

— Так прямо и сказала: «Морда мне, говорит, твоя а-пр-ративела».

— Ну, а ты что?

Но на этот вопрос маленький мужичонко не ответил. Смотря на кофту, он задумался о чем-то. Потом, не отвечая на вопрос, сказал:

— Любил я ее допрежь, Настасью-то. Когда мы шли из деревни сюда, мы думали — за счастьем идем. А оно вот что вышло! Она поступила на место, а я без места ходил. А тут она скоро дружка нашла, и я с энтих пор пропал...

— Дурак! — возразил на это мрачный верзила.

— Я?

— А то кто же?

Маленький мужичонко был согласен с этим ответом, но, подумав немного, спросил:

— Почему?

— Да так... — нехотя ответил верзила.

— Это ты насчет чтобы избить ее? Ну нет! Бог с ней. Потому она при месте, на куфне, а я вроде как прохвост, — за что же ее бить? Добрая она была ко мне, ласковая. Вот даже и теперь кофту, вишь, дала.

— Что же ты будешь делать с ей, с кофтой-то? — презрительно спросил верзила.

— С кофтой? Я перешью ее, — задумчиво сказал бывший Настасьин муж.

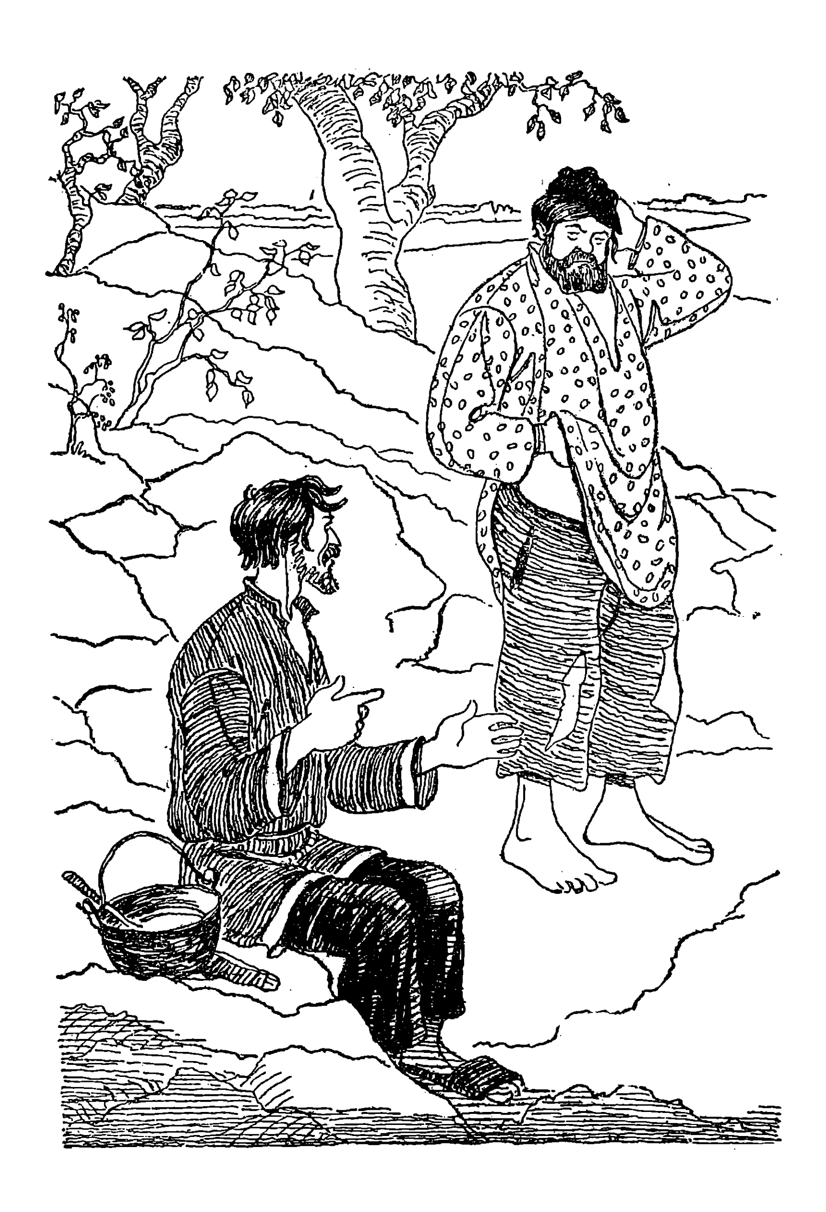
— Дурак!

Лениво выговорив этот окончательный приговор, мрачный детина повернулся на бок и, положив голову на одну руку, другою рукой прикрыл лицо от солнца. А Настасьин муж опять стал разглядывать кофту на свет, но, кажется, думал не о кофте, хотя это был один из самых неутомимых хозяев между голыми людьми.

Выслушав этот разговор, Зернов сам задумался. Он вспомнил незаметно о своей жене; от нее что-то давно не было писем. Что она поделывает там, на берегу Неаполитанского залива? Вероятно, уже соскучилась... А быть может, вовсе не соскучилась? «М-морда мне твоя а-пр-ративела!» — вдруг вспомнил он и переполошился; без всякой причины тоска явилась откуда-то.

В другой раз он слышал разговор этих же субъектов; оба они примелькались ему, и он мог узнать их из сотни других.

Он также сидел на своем бугре и безнадежно старался подобрать недостающую рифму к одному своему стихотворению. В то время как взор его блуждал по широкому ландшафту великой реки, мысль его ожесточенно гонялась за проклятою строфой, на которой застряло его стихотворение. Были мгновения, когда мелькало что-то прекрасное, но лишь только он хотел схватить этот звук, как последний уже бесследно таял в обширной области бессознательного. Наконец эта охота за фантастическою рифмой надоела ему, и усилием воли он постарался развлечься.



Глаза его обратились на те лужайки, где обыкновенно валялись голые люди. Там теперь никого не было, ибо день склонялся к вечеру, а в это время большинство охотилось за добычей. Только двое знакомых под одним кустом валялись; они так разоспались, что забыли и о пище. Мрачный верзила сильно храпел.

Но вдруг храп его оборвался резким звуком, а сам он вскочил с земли и стал озираться по сторонам. На его лице отразилось не то удивление, не то ужас. Между тем Настасьин муж, разбуженный резким звуком, также поднялся с земли и с недоумением хлопал глазами.

— Ты будил, что ли, меня? — спросил он.

— Ничего не будил...

— Чего же ты буркалами так ворочаешь?

— Сон я видел... Петрунька приснился, — возразил верзила; ужас его мало-помалу прошел, и на лице появилось страдание.

— Какой Петрунька?

— Разве ты не знавал моего Петруньки? — в свою очередь спросил верзила.

— Нет, не знавал.

— Парнишка мой по шестому году... Эх! как саднит в горле! Кабы выпить теперь... — неожиданно кончил верзила мрачно.

Этот неожиданный оборот речи был более понятен для маленького мужичонки; он сочувственно взглянул на своего страдающего товарища и, почесывая лохматую голову, задумался; видимо, он припоминал все средства, путем которых можно достать посудину с успокоительною влагой. Но, обдумывая этот важный вопрос, он механически продолжал спрашивать о Петруньке:

— По шестому году, говоришь? Где ж он?

— Видишь ли... Петрунька в ту пору остался у меня один, — все перемерли уж... и хозяйка моя. Одни мы с Петрунькой жили. Ему пошел шестой год, рос без призора. Я таскал кладь на баржи, а он тут же по берегу бегал. Как только я кончал таскать, сейчас же разыскивал его, брал на руки, и он, бывало, охватит ручонками шею мне и прижмется. Чуял, шельмец, что на всем свете я один у него. И он один был у меня. И спали и ходили мы с ним вместе. Вот раз он бегал с ребятами по берегу, когда я таскал кладь, забежал на баржу и упал в воду. Булькнул, говорят, как камень. Утоп, значит. Искали-искали, так и не нашли.

Верзила говорил все это с ленивым равнодушием, словно рассказывал о каком-то событии, совсем не касавшемся его. Но вдруг ужас опять появился на его лице.

— И вот я сейчас его видел... — сказал он, озираясь по сторонам.

— Петруньку? — равнодушно спросил худой мужичонко, занятый совсем другим.

— Будто густой туман стоит над рекой... и вдруг будто из этого самого тумана, с середины реки, я слышу голос Петруньки: «Тя-ать-ка! вынь меня!» Я будто бросился к берегу, и протянул руки, и хочу кричать и разглядеть, где он, а туман мешает, голосу у меня нет, ноги и руки мои окостенели. Собрал я последние силы и что есть мочи крикнул: «Я здесь, Петрунька!..» И тут проснулся. Беспременно надо выпить — саднит в горле.

— Саднит? — сочувственно спросил маленький мужичонко.

— Просто сверлит!

— Ну, в таком разе достанем. Айда!

Оба они поднялись из-под куста и рысцой побежали по тропинке оврага вниз.

Зернов проводил их взглядом и был сильно взволнован. Перед ним стояла потрясающая картина. Он старался восстановить образ Петруньки, который утоп, и густой туман на середине реки, где его видел отец. Но в то же самое время в неизвестном уголке его головы назойливо звучали нелепые рифмующие слова: «взял — капрал...», «ларец — скворец...» Он представлял себе, как отец прибежал на баржу и смотрел на то место в воде, куда булькнул Петрунька, а в голове продолжали раздаваться глупые слова: «ларец — скворец...»

Не зная, как отделаться от дурацких, неведомо откуда взявшихся слов, Зернов даже сплюнул и поспешил уйти в комнаты. Но, уже раздраженный, он и в комнатах увидал все вдруг в мрачном свете. Главным образом ему бросилась в глаза груда грязных бумаг, валявшихся на столе. Это были его прозаические сочинения и стихи, а внизу под ними лежала рукопись с поэмой. Все за лето пожелтело и отсырело. Скверная дача отбила у него всякую охоту работать. К поэме он даже не притрогивался. Ему сделалось ясно, что Аполлона ему не видать как своих ушей... «Ларец — скворец...» — послышались опять где-то дурацкие слова.

— Завтра же уеду! — сказал он в раздражении.

Но завтра он не уехал, остановленный некоторыми событиями в жизни голых людей, отчасти коснувшихся и его.

VI

События! До сих пор Зернову даже в голову не приходило, что у голых людей есть события. События — признак жизни, но у них разве жизнь? У них быт, а не жизнь, да и быт ничтожный.

Однако он скоро убедился воочию, что события у голых людей есть.

Это было на другой день после того, как он было решил уехать с дачи. По дороге из города на дачу он был насквозь промочен дождем. Мелкий, но частый дождь сек его с половины пути до самого места — сек до тех пор, пока он, усталый, не вбежал под крышу своей развалины. Здесь он поторопился снять с себя мокрое платье и разбросал его для просушки по стульям; грязные же калоши совсем выбросил за дверь на крыльцо и забыл о них до утра.

Но утром калош на месте уже не оказалось. «Кто-нибудь из них утащил», — подумал Зернов и не стал искать. Правда, исчезновение калош удивило его, но не рассердило, все равно как если бы кошка стащила у него со стола что-нибудь из съестного. Да и калоши были уже порядочно сбитыми, так что и жалеть, собственно, не стоило. Он и не жалел, а просто констатировал факт их пропажи.

К вечеру, возвращаясь из города на дачу, он даже совсем забыл о них. Но когда он уже подходил к дому, его вдруг остановил один из голых людей — остановил издалека и несмело.

— Позвольте, барин, побеспокоить вашу милость? — спросил он и издалека, на почтительном расстоянии, вытянул шею по направлению к Зернову, каковой позой он хотел, очевидно, выразить, что приблизиться он боится и недостоин.

Зернов остановился и на минуту оторопел. Ему не случалось непосредственно объясняться с голыми людьми, и теперь он вопросительно посмотрел на оборванца.

— Калош у вас нету? — спросил последний и пальцем указал на сапоги Зернова.

— Да, нет, ночью кто-то утащил, — возразил Зернов. — А что?

— Да так. Довольно даже подло в эфтом разе!.. Живет барин смирно, и вдруг калоши у него утащить! Подлая душа, больше ничего! — проговорил оборванец и глядел по сторонам; на его лице показалась во время этих слов гримаса, которою он, видимо, надеялся выразить презрение к негодяю, утащившему калоши.

— Вероятно, кто-нибудь из ваших? — спросил Зернов.

— Само собою, наш. Знаю я его довольно.

— Знаешь?

— А то как же. Очень даже хорошо знаю! — сказал оборванец с презрительною гримасой.

— Зачем же он взял их?

— Да так, шел мимо, видит — калоши, например, зря лежат, и взял, подлец...

— Куда он их дел? — спросил Зернов с любопытством.

— Калоши? Окончательно в кабак их снес!

Говоря это, оборванец показал на своем лице, что ему очень грустно вспомнить о таком нелепом конце калош.

— Глупый человек! Лучше бы он носил их. Ведь он, чай, босой?

— Как есть босой, подлец! — подтвердил оборванец и посмотрел на свои голые ноги.

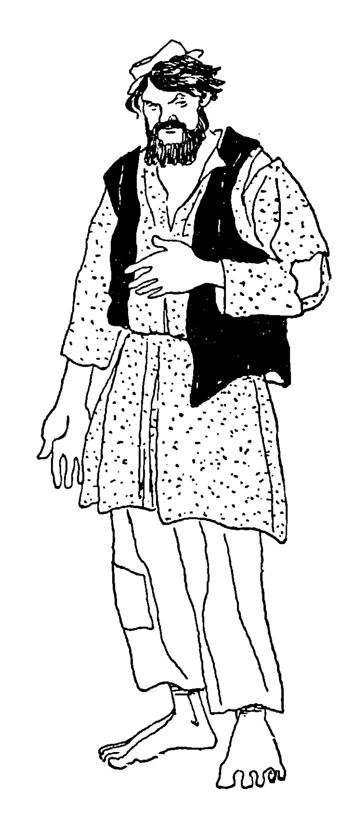
Тут только Зернов заметил, что его собеседник навеселе, и начал догадываться о фантастической личности «подлой души».

— В кабак-то зачем он снес их?

— Видите ли, ваша милость, как он рассудил: «Ежели, говорит, я надену их на ноги, то только ногам будет тепло; ежели же, говорит, я выпью на них, то тепло пойдет по всем жилам».

При этих словах оборванец лукаво взглянул на Зернова, но, встретив пристальный взор последнего, снова стал осматриваться по сторонам, как будто сильно интересовался окрестностями.

— Известно, глупо рассудил. А вы, ради бога, больше не бросайте зря калоши, потому соблазн. И простите уж того человека, — не впрок пошли калоши ваши ему!.. Просим прощенья, ваша милость!



Пробормотав это несвязное извинение, оборванец удалился за ближайший куст.

Зернов также пошел своею дорогой к дому, но был положительно обескуражен всею этою сценой. «Какое побуждение заставило оборванца, утащившего калоши, прийти к хозяину их и почти открыто сознаться в своем поступке? — спрашивал себя Зернов и недоумевал. — Не может быть, чтобы он пришел посмеяться над ротозеем!..» При этой мысли Зернову стало совестно. В наружности и словах голого человека он вдруг теперь увидел что-то такое, о чем раньше не думал. И ему стало теперь совестно за себя, совестно за то, что до сих пор на голых людей он смотрел как на предмет барского бездельного любопытства.

Действительно, когда случай столкнул его с ними, он посмотрел на них только с любопытством. Для него они представлялись лишь оригинальным

явлением, которое с удовольствием можно от скуки изучить. Правда, он очень заинтересовался ими и необыкновенным бытом их, но заинтересовался как предметом, не имеющим никакой связи с ним, Зерновым. Для него они были не люди, а картины с оригинальными фигурами.

Да иначе Зернов и не мог отнестись. Он был сын своего времени. Время же это вот какое: отвращение ко всем иллюзиям, смех над всем, чему еще недавно люди свято верили, холод и душевная пустота. Несмотря на молодость, Зернов уже с старческим холодом относился ко всему, что его лично не касалось. Литературой занимался он также, как личным делом; прочие же люди нужны ему были только в качестве театральной публики, благодаря чему всякое его создание было пустопорожним местом, не занятым никакою мыслью, и красивым измышлением, лишенным цели.

И вот ничтожный случай с калошами навел его на ряд тяжелых размышлений о самом себе. Отчего он не видит никакой кровной связи своей личности с людьми вообще и с такими падшими существами, как его голые соседи, в особенности? И если эту связь снова нельзя соединить, то зачем он пользуется людьми как картиной?.. Но, быть может, еще связи не порваны.

Через несколько дней после случая с калошами Зернов испытал еще более горькое разочарование в себе.

В этот день он встал позднее обыкновенного. Солнце было уже высоко. Голые люди давно убрались на утреннюю добычу. Только внизу оврага лежал один из них. Зернов не обратил бы на это внимания, — валяется оборванец в траве и спит, — дело обыкновенное, если бы две вещи не показались ему странными; во-первых, голый человек не лежал мертвецки, как обыкновенно, а катался по траве; во-вторых, катаясь, он сильно стонал, стонал как-то по-бабьи, с тяжелыми охами и причитаниями. Видимо, он был чем-то болен, — болен, по всей вероятности, брюхом, — может быть, с перепою, может быть, объелся тухлой воблы. Он тер себе живот рукой, а когда это не помогало, катался по земле с бабьим воем.

Зернов стоял на краю оврага и раздвоился на две половины. Для него было ясно, что надо идти и помочь. Но органическое отвращение не позволяло ему сделать шаг вниз; оборванец имел скверный вид. Глаза у него были желтовато-мутные, противные бабьи стоны его вызывали только физическую боль, но не сострадание. Как к нему подойти? Он еще, пожалуй, выругает непристойным словом.

Зернов стоял на краю и раскалывался, с мучительною болью, пополам. Несколько раз он порывался броситься вниз и сделать что-нибудь для голыша, но непреодолимая брезгливость приковывала его на месте. Наконец он понял, что у него нет сил сойти

вниз, и отошел в сторону, отвернулся от оврага, опечаленный и совершенно уничтоженный.

С этого дня голые люди перестали быть для него картиной; их великолепное, типическое безобразие не доставляло ему больше никакого удовольствия. Напротив, безобразие сделалось безобразием, грязь — грязью, и в их падении он уже ничего не видал красивого. Вместе с этим и холодное любопытство его пропало.

Видеть их теперь ему сделалось просто неприятно, тяжело, часто мучительно. Он пробовал к ним отнестись с участием, с простым человеческим участием, пробовал войти с ними в сношения, поговорить, посоветовать, пожалеть, но увидел, что это невозможно. Между собой и голыми людьми он не видел никакой точки соприкосновения. Даже простого разговора он не мог представить себе. Что они ему скажут? И что он им скажет?

Но незаметно для себя он стал разбирать их жизнь, в то же время разбирая по косточкам себя, незаметно для себя ставил свою личность и грязные морды на одну доску.

В особенности неотлучно преследовал его вопрос: чем эти люди живут? Какая сила заставляет их жить и что их удерживает от смерти?

По-видимому, для них под луной все было кончено; для них, кажется, не осталось ничего, что считается принадлежностью жизни, ни одного признака существования. Они голы, босы, «не пимши», «не емши», без домов, без семьи, вне общества, почти вне природы, — чем же они живы? Часто многие из них напивались; но давала ли им водка хотя бы минутное удовольствие? — решительно нет. Мрачные субъекты после выпивки приходили еще мрачнее, на большинство же водка не производила даже отрицательного действия; напившись, они торопились добежать до травы, хлопались под первый попавшийся куст и засыпали мертвым сном. Чем же они жили, что их удерживало от смерти?

Предлагая себе такие вопросы, Зернов с болью копался в себе. Чем, в самом деле, он-то живет? Его-то что удерживает от смерти? Несмотря на молодость, в сердце его червоточина; он ни во что не верит, кроме жизненных мелочей; он ничего не ждет, кроме завтрашнего дня; все выходящее из круга этих мелочей он считает или глупым, или фальшивым. С людьми он ничем не связан. Вместо обязательных идеалов у него пустопорожнее место. В мечтах и в жизни он один и сам не знает, ради чего и кого он существует. Он просто босяк, только в другом роде... Босяков, впрочем, всегда много; от них никому житья нет; общие их свойства — пустомыслие и наглость... До последнего он не дошел, но во всех других случаях он — босяк, которому нечем жить... Что же удерживает его от смерти? Какая сила побуждает его ожидать завтрашнего дня, не покончив с нынешним?

И Зернов, задавая себе подобные вопросы, не знал, что на них ответить. Он думал, что лучше всего на это ответят его несчастные соседи; они голы, босы, «не пимши», «не емши» и, конечно, лучше всего могут сказать, чем заманчива их жизнь. Они упали на самое дно жизни и, наверное, самые компетентные судьи в решении того, что такое жизнь...

Но, прожив на своей даче более двух месяцев, он никак не мог приметить, чтобы голые люди были компетентны в философских вопросах; напротив, они выражали своими фигурами очевидное нежелание заниматься решением метафизических задач. Они ничем не волновались. Кажется, не было такой вещи, которою бы они дорожили. Жизнь была для них дешевле копейки. К разным недочетам они относятся с полным хладнокровием и равнодушием. Равнодушие и безжизненность отличали все их действия; застывшие их физиономии не отражали ни малейшей игры ума и чувства.

Несколько раз Зернов присутствовал при их драках, но никогда не мог заметить гнева, озлобления, мстительности, воодушевления дерущихся. Обыкновенно дело происходило так. По неизвестной для Зернова причине вдруг кто-нибудь из них бацнет своего товарища по уху или по башке; тот спустя некоторое время ответит обидчику тем же, то есть также бацнет его по башке; вслед за тем оба лениво ложатся на траву рядом и засыпают. Если же иногда этот обмен оплеухами и продолжался несколько долее, то совершался с обеих сторон также с полнейшею леностью.

Но однажды ему довелось быть свидетелем необычайного возбуждения всех голых людей. На одной из лужаек, на вытоптанном месте, все они собрались в кружок и с ажитированными лицами следили за тем, что происходило внутри круга. Еще не понимая, в чем дело, он уже издалека расслышал громкие возгласы:

— Орел!..

— Решка!..

Когда Зернов подошел поближе, ему стали понятны возгласы: в кругу играли в орлянку — игру настолько же простую, насколько и азартную. Играли, впрочем, только несколько человек; остальные были зрителями. Первые с сосредоточенными физиономиями метали, но были молчаливы. Шум производился не ими, собственно, а зрителями. Зрители, казалось, больше волновались, чем сами игроки; когда монета банкомета летела вверх, они все, как один человек, поднимали головы к небу; когда же она ударялась об землю, они опускали головы, следя за тем, как монета ляжет — орлом или решкой; самые же взволнованные вскакивали с места и гнались за монетой, если она, ударившись на ребро, катилась в сторону, куда-нибудь в траву.

Денег или вещей у них, очевидно, не было, и волновались они попусту, но тем не менее их волнение неизмеримо превышало возбужденное состояние самих игроков.

Игроки сосредоточенно молчали и по мере того, как шла игра, становились только более сосредоточенными. Счастье поминутно переходило то к одному, то к другому. Слепые «орел» и «решка» то и дело передавали судьбу в разные руки. Это длилось больше часа. Наконец из строя игроков большая часть выбыла. Проигравшись до последней копейки (на теле же их не было никаких вещей), они некоторое время с продолжающимся возбуждением стояли в кругу, следя за игрой, но скоро, под влиянием апатии, садились на траву подле зрителей и уже равнодушно смотрели в круг.

Игроков осталось только двое. Это были знакомые Зернова — большой верзила с угрюмою физиономией и маленький худой мужичонко; они, насколько можно, были вообще неразлучны.

Мрачный верзила и теперь оставался невозмутимым, лицо его было, как всегда, бесстрастным и холодным, и только сосредоточенное внимание, с каким он следил за ходом игры, выдавало его возбуждение. Счастье, видимо, клонилось на его сторону; он всех обыграл и теперь доканчивал маленького мужичонку, своего товарища и бывшего Настасьина мужа. Но зато бывший Настасьин муж держал себя в высшей степени беспокойно. Маленькое обезьянье лицо его поминутно меняло выражение то страха, то радости. Он топтался на месте, смеялся, вздыхал, шлепал монету об пол, плевал с ожесточением на нее; а когда она катилась в траву, он как-то по-ребячьи бежал за ней. Но ничто уже не могло спасти его от угрюмого верзилы.

Наконец верзила поднял с земли последние две копейки, принадлежащие его противнику. Мужичонко на минуту оторопел. Но затем, взволнованный и возбужденный, он показал на свои кубовые шаровары. Происхождение кубовых шаровар было очень простое: шел он сегодня мимо одного двора, где они на веревке болтались с прочим бельем, и взял их — взял, собственно, потому, что они зря болтались, между тем как его портки уже падали с ног; взял и тотчас надел их, и вот теперь эта предусмотрительность оказалась не лишнею.

— Мечи штаны! — сказал он с судорожною улыбкой.

— В какую цену? — равнодушно возразил верзила.

— Целковый!

— Ну, брат, в целковый метать не стану.

— Ей-богу, за этакие штаны я, бывало, платил по целковому! — убедительным тоном проговорил мужичонко.

Товарищ, однако, не убедился этим сильным доводом. Наконец, по обоюдному соглашению, кубовые штаны пошли за семь гривен. Когда эта оценка была окончена, верзила лениво сказал:

— Скидавай.

— Скидавать? — нерешительно повторил мужичонко и с некоторым конфузом оглянул присутствующих.

— Я, брат, люблю начистоту. Скидавай! — подтвердил верзила.

После минутной нерешительности мужичонко торопливо скинул штаны, свернул их комочком и положил в середину круга, оставшись в своих старых портках.

Прошло полчаса сосредоточенной игры, во время которой кубовые шаровары неподвижно лежали на середине круга. Наконец мужичонко поставил на кон последние пять копеек и проиграл. Верзила лениво поднял кубовые шаровары с земли и перекинул их через плечо. Мужичонко судорожно улыбнулся, растерянно потоптался на месте и предложил метать рубаху.

Рубаха его была столь же простого происхождения, как и кубовые штаны, только более древнего, а потому, по обоюдному соглашению, была оценена в десять копеек.

— Метать? — спросил верзила.

Бывший Настасьин муж утвердительно кивнул головой.

— Скидавай!

— И рубаху? — переспросил мужичонко и оглянул по сторонам, стыдливо недоумевая; но, встретив суровые лица всех присутствующих, он торопливо скинул рубаху, свернул ее комочком и положил на круг. На нем осталось только несколько тряпок, которые он считал портками.

Напряжение его дошло до последней степени; болезненная судорога искажала его лицо. Поставив весь гривенник, содержащийся в рубахе, он следил за всеми движениями противника. Когда последний метнул и монета ребром покатилась в сторону, мужичонко со всех ног бросился вдогонку ей и вдруг радостно крикнул: «Решка!» Вслед за тем он поднял рубаху, надел ее и неожиданно отошел в сторону; но стоять у него не было сил от нравственного потрясения, и он сел на траву.

— Не хочешь больше? — спросил верзила.

— Ну тебя! — тяжело вздохнул бывший Настасьин муж.

— Испужался?

— Даже и нисколько не испужался! А так, не хочу.

Этим игра кончилась.

Через минуту, по приглашению мрачного верзилы, присутствующие двинулись в кабак и пропили все, что он выиграл.

Зернов все это время напряженно следил за игрой, за лицами, за всем происходящим, причем переживал те же чувства, как и присутствующие; были минуты, когда он совсем забывался и готов был вместе с мужичонкой бежать за монетой, чтобы поскорее узнать — орел или решка. Его сочувствие поминутно менялось, склоняясь то на ту, то на другую сторону, и только когда

бывший Настасьин муж снял рубаху, симпатия его окончательно склонилась на сторону этого ребенка.

Когда он после окончания игры уходил к себе, мысли его были весьма странные. «Нет, неправда!.. Не обыденные мелочи привлекательны, не пустяками живы люди... Наоборот, привлекательно все не обыденное, не мелкое... Привлекательно все, что выходит из ряда пошлости, все необыкновенное, таинственное, великое, неизвестное, — все то, что вызывает взрыв мыслей и чувства...»

Впрочем, странные мысли легко объяснить тою странною компанией, в которой он прожил целое лето, причем мысли эти исключительно он относил к самому себе. Быть может, также многое зависело от дурной погоды, измучившей в это лето всех дачников.

VII

Лето приближалось к концу. Погода окончательно сделалась дурною. Это с особенною чувствительностью отразилось на голых людях. Холодный дождь, резкий ветер, грязь сделали скоро пребывание их в норах невыносимым. Норы то и дело заливались у входа красною — от примеси глины — водой.

Голые старались искать других убежищ, — лето с его теплом и воздухом все-таки было лучшим временем для них. Выгоняемые с лужаек холодным дождем, они пробовали прятаться под землей; но продолжающийся дождь грязными потоками врывался в ямы и проникал в самую середину нор. Выгоняемые водой наподобие сусликов, они выбегали оттуда и прятались в дровах и бревнах, занявших весь берег под горой, но сырость и холод забирались и под дрова.

Некуда им было деваться. Вид их сделался жалкий. Всегда мокрые, они дрожали от холода; передние и задние лапы их были синими. Комки грязи покрывали все их тело.

Для них такое сокращение лета было истинным, невознаградимым несчастием. Под открытым небом, в чистой траве, посреди кустов, согреваемые солнцем, они отдыхали после ночлежных притонов и других зимних убежищ. Скученные там в страшном воздухе, съедаемые насекомыми, вечно иззябшие, они убегали оттуда при первых лучах весеннего солнца, поселялись в норах и вели здесь до глубокой осени ту привольную жизнь, которая уже описана. Норы, таким образом, служили им великолепными дачами.

И вот теперь лето пропало для них, и жизнь на воле, в норах, стала нестерпимою. Мало-помалу они стали покидать лоно природы. Приходя на свою дачу, Зернов каждый вечер недосчитывался одного-двух из своих соседей, физиономии которых

примелькались ему. Один по одному они разбредались неизвестно куда, навсегда пропадая для привыкшего к ним Зернова.

Скоро последний совсем перестал видеть знакомые лица. Только двое из всего стада голых продолжали жить в норах. Несмотря на скверные дни, они упорно не хотели покидать своих летних жилищ. Прячась то в дровах, то по норам, они регулярно, в известные часы дня и ночи, появлялись в любимых своих местах.

Это были хорошие знакомые Зернова: большой угрюмый верзила, бывший Петрунькин отец, и маленький, ничтожный мужичонко, бывший Настасьин муж. Теперь они почти не разлучались и жили, по-видимому, очень дружелюбно. Вместе они отыскивали убежища под дровами и рядом ложились там спать. Когда же из-под дров их выгнал проливной дождь, падавший в продолжение нескольких дней, худой мужичонко приладил для житья одну из нор.

Это был хозяйственный человек и потому везде находил возможность приладиться. В данном случае над одной из покинутых нор он воткнул вертикально несколько палок, привязал к ним помощью мочала несколько палок горизонтально, и прикрыл всю эту постройку навозом, благодаря чему получился навес от дождя; возле же входа в нору, в яме, он произвел дренаж, выбросав глину прямо лапами, вследствие чего лужа в яме не застаивалась и норы не затопляла. В самую же нору он натаскал соломы и сена, и хотя все эти меры не предохранили двух товарищей от холода и сырости, но они могли спать спокойно.

Иногда они разводили под кустом огонек, грелись около него и в то же время варили в котелке разные вещи. Котелок бывший Настасьин муж добыл на толкучке с опасностью для своей жизни, потому что торговка железным хламом погналась за ним, и лишь благодаря сильному дождю ему удалось предохранить свою шею от жестоких побоев. Что касается тех вещей, которые варились у приятелей в котелке, то добывание их не сопряжено было с такими трудностями. Картошку очень удобно было выкапывать в слободских огородах, если перелезть через плетень с достаточными предосторожностями. Хлеб же доставался еще легче: бывший Настасьин муж брал его с лотков, не вызывая ни малейшего огорчения в продавцах. Несколько раз, кроме того, он угощал своего мрачного друга уткой или курицей; говоря принципиально, утку он мог, конечно, добыть на охоте, тем более что в это время начинался уже перелет птиц; но относительно курицы трудно сделать такую оговорку, так как в городе и по окрестным деревням дикие куры не водились.

Впрочем, вопросами о средствах жизни приятели совсем не занимались, всецело погруженные в борьбу с разбушевавшимися стихиями. По-видимому, они решились жить здесь до последней крайности; вероятно, городские трущобы обоим были ненавистны.

Но не суждено было им прожить в любимых местах так долго, как они хотели. Их спугнули двое полицейских, проходившие однажды мимо этих мест.

Вышло ли это случайно или приказано было осмотреть все загородные места, но только городовые, заметив двух босяков в кустах, обратили на них внимание и велели им вылезть оттуда. Если бы при этом не присутствовал Зернов, хорошо одетый барин, то, по всей вероятности, дело кончилось бы тем, что двое приятелей были бы спугнуты временно из кустов, потому что возня со всякого рода оборванцами полиции вообще надоедает, а в такую проклятую погоду в особенности. Но при виде барина стражи волей-неволей сочли своим долгом показать себя на высоте призвания и взяли двух голых приятелей.

Один из городовых ткнул в спину маленького мужичонку, другой занялся было мрачным верзилой. Бывший Настасьин муж оробел и беспрекословно пошел впереди полицейского; но верзила вызвал пререкания.

— Не толкайся! — сказал он полицейскому, который приказывал ему идти.

— Ну, ну! нечего тут огрызаться! Иди, когда приказывают! — возразил полицейский.

Верзила медленно и нехотя пошел вперед, но оглядывался по сторонам; на его лице лежала обычная печать равнодушия; только в глазах мелькнул огонек. Сделав еще несколько шагов впереди своего стража, он вдруг круто повернулся, бросился в сторону, несколькими отчаянными скачками перепрыгнул через крутые овраги и пропал под горой. Полицейский сначала оторопел от этой наглости, но по привычке свистнул в свисток и побежал за беглецом.

Но беглец уже был далеко; он направлялся прямо к реке. Добежав до берега, он бросился вдоль него, прыгнул в первую попавшуюся лодку и торопливыми усилиями стал отталкиваться от берега куском доски.

Зернов с волнением следил за ним и уже мысленно видел, как полицейский вытаскивает его из лодки. Дул сильный холодный ветер; рыжие волны реки, гонясь друг за другом, бешено бились о берега, а дальше, к середине реки, они беспорядочно бросались в разные стороны, брызгали целыми снопами пены вверх и ревели. Никакому смельчаку не пришла бы охота попасть в середину этого водоворота. У босяка же не было даже весел; вместо них он работал куском доски. Но он справился с лодкой, оттолкнулся, повернул нос по ветру и закачался на рыжих волнах. На лице его было воодушевление и торжество.

Когда страж добежал до берега, лодка была уже далеко; ветер вертел ее в разные стороны, бросал на нее огромными волнами, кидал ее вниз и вверх и, наконец, понес ее в глубь водоворота.

Там скоро она и затерялась среди рыжих чудовищ, метавшихся на речном просторе.

— Пропадет ведь, собака! — сказал полицейский, смотря с конфузом и недоумением то на реку, то на подошедшего товарища с бывшим Настасьиным мужем.

Но беглец, вероятно, предпочитал лучше погибнуть, чем потерять несколько дней свободы. Впрочем, Зернов, наблюдавший сверху все, что происходило внизу, долго еще следил глазами за ныряющей лодкой; когда же она скрылась, ему все-таки казалось, что он видит за гребнями волн черную точку.

VIII

Но он вдруг почувствовал, что ему холодно. Сырой и резкий ветер пронизывал его насквозь; ноги и руки совершенно окоченели у него, и мурашки пробегали по всему телу. Незаметно для себя он простоял на одном месте, как приросший, до тех пор, пока все члены у него не одеревенели. Ясно, что он немного нездоров.

По дороге в комнаты он решил, что завтра утром он покинет дачу, а сейчас разведет огонь, чтобы согреться.

Последнее сделать было легко; кругом старого дома валялись гнилые доски, выдернутые из частокола колья, обрезки бревен. Стоило только набрать этого хлама, чтобы сделать яркий костер.

Но он находился в том состоянии, когда наименее пригодное кажется наиболее необходимым. Придя в комнату, он смел в одну кучу весь сор, накопившийся в продолжение трех месяцев, затолкал его в печку и поджег. Это ему казалось необходимым.

Пока горел этот сор, он затем собрал с окон, со стола и стульев всю бумагу и с этою огромною кучей уселся около горящей печи; и что было в куче, он постепенно бросал в печку, внимательно, впрочем, разбирая каждую вещь.

Сначала ему пришлось долго возиться с газетами; их накопилось за лето достаточно; они медленно горели; скверное время сделало их сырыми и мягкими; на огне они испускали протухлый запах. Чтобы все их сжечь, Зернов подкидывал их в печку по нескольку номеров зараз.

Вслед за газетами в печку пошли рукописи, исписанные сплошь прозой. Это были очерки, рассказы, наброски с натуры, фантастические этюды, психологические опыты. Копились они в продолжение нескольких лет и, напечатанные, могли бы занять целый угол в книжном магазине, а если бы кто вполне прочел их, то мог доверху засорить свою голову. Во избежание последнего, Зернов постепенно подкидывал их в печку. Печку в конце концов они действительно засорили, и огонь в ней потух, вследствие

чего ему понадобилось взять трость и долго шевырять тяжелые тетради, чтобы снова вспыхнуло пламя.

После мелких тетрадей Зернов взял из кучи толстую рукопись, содержащую в себе роман, и несколько мгновений раздумывал, как сжечь такое чудовище в пяти частях. Если его целиком положить на огонь, то последний сразу погаснет; ввиду этого Зернов стал рвать его по листам. Это было занятие продолжительное, а в состоянии Зернова — тяжелое, но другим способом нельзя было уничтожить чудовищную тетрадь; брошенная в обращение, она могла проломить страшную дыру в голове уважаемого читателя, и, ярко представляя себе такое несчастие, Зернов терпеливо отрывал по листу от нее.

Наконец грузная рукопись стала прогорать. После нее топка пошла быстрее, потому что на полу валялись только отдельные листики с небольшими стихотворениями. Наскоро просматривая стихи, Зернов подбрасывал поодиночке их в огонь; каждое из них ярко вспыхивало и мгновенно сгорало, не оставляя после себя даже пепла, который улетал в трубу.

Печка прогорала. В комнате стало темно. Из всего горючего материала осталась только тетрадь с поэмой. Зернов поднял ее с полу и некоторое время перелистывал. Не потому, что ему стало жалко жечь ее, но лишь затем, чтобы в последний раз взглянуть на неповинную вещь. Нет, ему не жалко было ее!.. Чтобы писать, надо прежде всего иметь душу, полную содержания; чтобы писать прекрасно, надо любить что-нибудь, а тут одни слова. Только справедливость делает литературу дорогою для людей, только защита всего обездоленного и погибающего составляет ее содержание. Слово имеет свое сердце, и это сердце есть стремление к истине и борьба за все человечное... Здесь же холодные рифмы, красивые образы, рассчитанные на то, чтобы возбудить нервы сытого... Эта тетрадь — знатная развратница, обещающая наслаждение всем пресыщенным и скучающим... Зернов перелистывал рукопись до конца и тихо положил ее на огонь. Огонь давно почти потух, и ему пришлось усиленно шевырять палкой в тлеющем пепле, чтобы поджечь свою поэму; а когда она загорелась, он ворочал тростью листы ее до тех пор, пока не убедился, что ее уже нет больше.

Печка протопилась. Вместе с этим должен бы был кончиться и острый психоз Зернова, выразившийся в таком варварском поступке, но на полу осталось несколько тетрадей чистой бумаги. Зернов взял одну пачку ее, подсел к столу, зажег лампу и принялся писать — не письмо, не стихи, не роман, а статью о босяках. Сделать это он считал необходимым перед отъездом с дачи, где вместе с ним жили и голые люди.

Но он был так расстроен в продолжение лета вообще и в последние дни в особенности, что голова его походила на недавнюю

печку, засоренную кучами тлевшего пепла, и, так же как в печке, он должен был усиленно рыться в своей потрясенной голове, чтобы привести в порядок статью.

Тысячи разнообразных вещей лезли ему в голову, и он произвольно выбирал из них такие, которые с особенною настойчивостью мелькали перед ним. Сначала его поразило то обстоятельство, что все голые люди вышли из деревни; пораженный этим, он стал спешно писать о деревне. Вслед за тем он описал природу Туркестана и Мерва, после Мерва сейчас же он рассказал о толкучке в городе, а потом ему почему-то показалось необходимым на целой странице распространяться о смертности детей, причем он рассказал подробно об одной бабе, которая умоляла, чтобы бог прибрал ее девчонок. Потом в статье опять пошли — Туркестан, голые люди, сибирская тайга, волки, свободно гуляющие на просторе, бывший Настасьин муж, ночлежный приют... Все это бессвязно громоздилось друг на друга и напоминало бред. Статья оканчивалась вопросом: «Неужели на таком безграничном пространстве нашей родины для большинства все-таки места нет?..»

Когда через несколько дней редактор местной газеты читал эту рукопись, то недоумевал, что сделалось с Зерновым? «Это не статья, а бурелом!»

Зернов, по окончании статьи, на рассвете вышел из дому и долго бродил в сыром воздухе утра. Пылающая голова его страшно болела, в то время как во всем теле чувствовался озноб. Но он перемогался, хотя и знал, что он захватил какую-то болезнь. Наконец, когда взошло солнце, он сходил за извозчиком, забрал вещи и покинул дачу.

В городе он также перемогался половину дня. Побывав в своей конторе, он зашел к знакомому редактору для вручения рукописи, гулял в сквере и только после обеда должен был слечь в постель; слег — и провалялся целый месяц.

За это время успела приехать молодая Зернова и была поражена всем, что увидала и узнала. Она теряла голову, не зная, что делать и как поправить любимого человека. Он поднялся с постели, но уже сильно изменившимся во всех отношениях. Насчет этой перемены окружающие высказывали различные мнения, среди которых молодая женщина совершенно растерялась. Друзья советовали ей увезти мужа в Неаполь. Знакомый редактор настаивал поместить его на излечение в больницу для душевнобольных; доктор советовал обратить внимание главным образом на желудок. Но сам Зернов был иного мнения. В откровенную минуту он раз сказал жене, чтобы она не беспокоилась, что он ничем не болен; напротив, навсегда освободившись от босяка, каким он был, он выздоровел и только еще не знает, как лучше употребить свое здоровье.



МЕСТА НЕТ

I

С устланной коврами лестницы Лобанович слетел с такою стремительностью, словно его спустили сверху.

Его, пожалуй, действительно спустили с лестницы, только не буквально; ему просто отказали от места.

Это который уже раз!

Лицо его было красное от гнева, почти дикое, когда он вихрем пролетел мимо швейцара и прыгнул на улицу. «Эка сумасшедший!» — пробормотал швейцар, удивленный беспорядочными скачками барина.

Но когда утренний воздух обвеял горячую голову Лобановича, а яркие солнечные лучи ослепили его взор, он почти мгновенно успокоился и уже пошел по улице обыкновенным шагом разумного человека. А вместо гнева на его лице появилось смущение, почти стыд.

До сих пор ко всякого рода житейским делам, а в том числе и к «местам», он относился с беспечностью жаворонка. Есть «место» — отлично, нет — наплевать. Но на этот раз он смутился. Когда приятели посадили его на это «место», то пригрозили ему ради шутки, что больше хлопотать за него не станут; черт с ним, если он сам о себе не заботится. Вообще это место, довольно

теплое и с перспективами в будущем, стоило больших усилий для благоприятелей. И вот с этого-то места его спустили.

И в нерассудительную голову Лобановича проникло благодетельное смущение. Шагая под горячими лучами майского солнца, он со всех сторон обсуждал свое положение. Ему надо было вообще рассудить, как ни мало привык он рассуждать о своих делах.

Вероятно, в нем есть какой-нибудь органический порок, мешающий ему прочно усесться за жизненным столом. Но что же это за порок? Кажется, он человек порядочный, — по крайней мере никто не смеет его укорить какою-нибудь пакостью. Кажется, он не глуп; напротив, все его друзья и знакомые считают его даже не совсем дюжинным, и если Иван Иванович называет его ослом, то это ничего не значит. Кажется, все видят, что он не отказывается ни от какой работы, и знают, что он способен на бесчисленное множество дел. Сам он чувствует, что в нем есть совесть, гордость и честь. Быть может, на сегодняшнем базаре все это ценится не выше гроша, но ведь и грош — ценность; если бесчисленное множество совестливых и благородных людей ходят теперь кучами, не зная, куда поместить свое сердце и ум, то всё же они кое-как временно пробавляются. А ведь он совсем уж не может никуда прислониться, как будто все сговорились отовсюду гнать его. Следовательно, есть же какой-то особенный порок в нем, какое-то отталкивающее свойство, какой-то нетерпимый дух.

Лобанович со страхом искал в себе таинственных подлостей, нетерпимого духа. Но поиски эти ни к чему существенному не привели, и чем дальше он углублялся в себя, надеясь на дне своей персоны отыскать таинственный порок, тем дальше отходил от цели. Напрасно он ломал голову.

— Но боже мой! надо же как-нибудь жить! — почти простонал он, шагая возле общественного сада.

Капли холодного пота покрывали его лоб; во рту пересохло. Страшная тяжесть легла на все его мысли. Кучи соображений, как сор, сплошь заняли его душу, и он с ожесточением рылся в них, не умея их рассортировать. Наконец врожденная беспечность на минуту взяла верх; он внезапно бросил думать об этих головоломных вещах и сор весь выбросил из головы.

Тут кстати подвернулась калитка сада; он вошел в нее, повернул в боковую аллею и уселся на скамейке с блаженною улыбкой человека, который все обдумал и отлично устроил все свои дела. Он снял шляпу, с облегчением вздохнул и успокоился. Недалеко бегали, шумя, дети разных возрастов.

Лобанович несколько времени наблюдал за беготней их, серьезно прислушивался к звонким голосам и мало-помалу совершенно вошел в их интересы. Между маленькими людьми

возник скоро какой-то спор, кончившийся общею ссорой; один мальчик показал другому язык; последний назвал противника обидным названием и также, в свою очередь, показал язык. Толпа разделилась; одни заступались за одного, другие — за другого, после чего обе партии принялись дразнить друг друга страшно оскорбительными названиями и жестами. Это продолжалось до тех пор, пока один из споривших не сорвал шляпы с другого; сорвав, он забросил ее на верхушку куста сирени; тогда обиженный принялся реветь на весь сад, закрыв оба глаза своими маленькими кулачками. Лобанович после этого вмешался в распрю и принялся разбирать и успокоивать. Все это он сделал с такою убежденностью и так горячо, что через несколько минут раздоры окончились. Малые люди снова принялись играть, пригласив в свой круг и Лобановича. Последний охотно принял участие в деле; его большой рост и густая борода нисколько не мешали ему толкаться среди крошечного человечества; но в первой же игре несколько ребятишек отлично надули его и заставили служить чучелой. Изображать чучел — таков был удел всех проигравших, и Лобанович безропотно нес последствия своей неумелости.

II

Вдруг на далекой монастырской колокольне пробило три часа.

Лобанович встрепенулся. Что-то вдруг неприятное кольнуло его в сердце. «Что такое нынче со мною случилось?.. Ах, да! с места меня протурили».

— Да это наплевать! — сказал он вслух.

Но напрасно он храбрился. Смущение снова и в еще большей степени овладело им. Он вспомнил, что сейчас придет домой, где его встретит сожитель Иван Иванович, и — как он ему скажет, что его спустили с места? А к вечеру уже все будут говорить:

— Знаете, Лобанович опять на вольном воздухе.

А Катя с обычным сочувствием спросит:

— Василий Михайлович, неужели вам опять придется работу искать? — Она это скажет с участием, искренно страдая за его неудачи; но это еще хуже.

Рисуя себе все эти и многие другие обидные картины, Лобанович вдруг ожесточился. Он торопливо вышел из сада, бросился по улицам к своей квартире и по дороге начинял себя тенденциозною злобой против всех людей, в особенности против друзей, против Ивана Ивановича, против Кати. Насколько это ему удалось, трудно судить; но только в квартиру он явился действительно со свирепым лицом.

Обеденный стол был уже накрыт; Иван Иванович терпеливо ждал его. Через минуту горничная принесла обед, и Лобанович молча, но свирепо принялся за него. Пылая злобою, он сначала оторвал зубами кусок хлеба, потом оторвал кусок мяса и только после этого устремил взор на приятеля, полный ненависти.

Иван Иванович, понятно, ничего не подозревал и потому с недоумением взглянул на него, как бы спрашивая: «Это еще что за демонстрация?» Впрочем, он ответил на вызывающий взгляд:

— Ты смотришь так, как будто тебя сейчас поколотили.

— Пожалуй, хуже... меня с места прогнали! — выпалил Лобанович горячо, решившись сразу покончить с этим вопросом.

— Уже?

Это восклицание Ивана Ивановича наповал убило Лобановича, думавшего укрыться за своею свирепостью. Он мгновенно оторопел, утратил весь запас злобы и растерянно ерошил свои волосы.

Между тем Иван Иванович иронически принялся расспрашивать его, как это случилось. Дело оказалось несложным. Патрон Лобановича поручил ему составить несколько бумаг по одной кляузной тяжбе. Лобанович исполнил поручение, но дело показалось ему до такой степени поганым, что он счел своим долгом указать адвокату на свое наивное открытие. Адвокат, однако, дал вежливо понять, что он никого не просил вмешиваться в его дела. Затем между ними произошел краткий, но решительный обмен мыслей.

— Но ведь дело поистине нехорошее! — возразил Лобанович с горячею убежденностью.

— Тем не менее это не обязывает меня слушать вашу проповедь!

— Да не проповедь я говорю, а только желал бы убедить вас бросить это подлое дело! — упрямо продолжал настаивать Лобанович.

— В таком случае, я должен убедить вас отказаться от службы у меня.

После этого Лобанович взял шляпу и скатился с лестницы. Вот и все.

— Ты ему так и сказал: «поганое дело»? — переспросил Червинский.

— Я просто сказал: «подлое».

Лобанович при этом устремил пламенный взгляд куда-то в пространство, очевидно снова переживая утреннее объяснение с адвокатом, и по привычке обеими пятернями ерошил волосы.

— Действительно, просто!.. Какой ты, Вася, позволь тебе сказать, осел! — спокойно выговорил Червинский, как будто констатировал факт, не подлежащий сомнению.

Лобанович, услышав знакомый эпитет, вдруг улыбнулся веселою, детскою улыбкой.

— За что же ты меня ругаешь? Неужели прощать скотам? На моем месте ты так же поступил бы. Одним словом, я готов делать что угодно ради получения жранья, но продавать себя не стану.

— Нужно еще спросить, желает ли кто купить-то тебя! — ответил спокойно Червинский.

Это колкое возражение снова подняло всю необузданность у Лобановича. Он с негодованием посмотрел на приятеля и несколько минут молча подбирал самый убийственный, смертоносный ответ.

— Я, во всяком случае, не намерен быть комнатною собачонкой, которая под столом дожидается крох, падающих из рук пирующих, — сказал он, наконец, угрюмо.

— Предпочитаешь быть дворнягой?

— Ну да! дворнягой! Именно дворнягой! — закричал Лобанович.

— Дворняг, насколько мне известно, сажают на цепь... по большей части на цепь, — возразил Иван Иванович.

— На цепь? В таком случае я предпочитаю быть бродячею собакой!

— Это, конечно, жизнь свободная, но, к сожалению, уличных собак нынче ловят крючьями и истребляют, как бешеных...

Лобанович опять на минуту оторопел. На взволнованном лице его появилось болезненное чувство обиды и отчаяния.

— Ну да! Я знаю... в душе вы все называете меня легкомысленным, ветреным! Для вас я — неудачник, пустой человек, которому нет нигде удачи, который ни на что не способен, которому лучше где-нибудь пропасть скорее. «Интеллигентный бродяга!» Что может быть смешнее и глупее интеллигентного бродяги? Вы правы. Я — неудачник, бродяга, я все, что вы хотите! Но позвольте мне в одном остаться правым: я не пресмыкаюсь и не продаюсь! И вот практичным, умелым я бросаю вызов: вы — холуи, ползающие перед всякою силой, которую выдвигают обстоятельства!.. Я бросаю вам этот вызов и знаю, что вы его заслуживаете...

Лобанович при этих словах, вне себя от гнева, вскочил из-за стола, отбросил ногой стул и выбежал вон из комнаты.

Иван Иванович медленно закончил обед, но взгляд его беспокойно перебегал с предмета на предмет.

Он пропустил мимо ушей неожиданный выстрел товарища; ко всяким неумеренным и нелепым выходкам последнего он привык. Но на этот раз его поразило состояние Лобановича, и он обдумывал, как теперь быть. Надо поскорее приискать для него новую работу, но как это лучше сделать? Ведь Васька действительно страдает от своей неумелости и необузданности... Искать для него *какого-нибудь* места — бесполезно, с него он

будет спущен с такою же быстротой, как и с прежних мест. Ему следует найти такое положение, которое не оскорбляло бы его фантазий, не вызывало бы его необузданности наружу.

Иван Иванович любил после обеда поваляться на диване с газетой в руках, которая быстро приносила ему блаженный сон; он любил также все делать чисто и обдуманно, но на этот раз изменил своим привычкам. Насчет Лобановича у него явилась одна комбинация, которую немедленно надо было привести в исполнение. Для этого он тщательно оделся и отправился хлопотать о новом месте для сумасшедшего.

Тем временем этот последний шатался по улицам в самом мрачном настроении, снова углубившись на дно своей персоны с целью отыскать порок своей жизни. Это бесплодное занятие продолжалось бы долго, если бы ему не пришла счастливая мысль зайти в библиотеку. Благодаря службе на последнем месте он почти перестал читать. Такое лишение было для него тяжело; он следил за всем, что делалось в мире, и, не видя месяца два книги и газеты, уже думал, что опошлел и одичал. Чтение было его единственным делом, которое он исполнял чисто, совершенно и в величайшем порядке.

И теперь, окружив себя ворохом газет, он с наслаждением стал вдыхать воздух родных широких интересов. За два месяца, которые он корпел на скучной службе ради куска (скатился с лестницы адвоката он даже раньше двух месяцев), он должен был многое восстановить из утраченного и забытого. Его интересовала одна экспедиция вовнутрь Африки, и он принялся следить за ее судьбой; тогда, два месяца тому назад, он оставил ее в самом критическом положении и теперь с живейшим интересом следил за ее ходом; к его удовольствию, экспедиция оказалась целою и невредимою, а не была съедена людоедами, как он мрачно думал. Затем, имея знакомых во всех частях света, он перебрался в Азию, а оттуда через полчаса переплыл в Америку, где присутствовал два месяца тому назад на огромном митинге железнодорожных служащих; однако здесь ничего он не нашел из прежнего и с недоумением переехал в Европу. Здесь он остановился минут на двадцать в Ирландии; дольше он не мог в этой стране оставаться, чувствуя, как в нем поднимается негодование и отвращение, и потому поспешил уехать во Францию. Он питал странную слабость к Франции: все, что там делается, он принимал за свое личное, кровное дело, которое может радовать и огорчать, вызывать любовь и негодование. Сейчас он испытал последнее. То, что было два месяца тому назад, продолжалось и теперь. Только теперь дела там еще более невыносимы, оскорбительны. Какой это подлый, какой тупой и недальновидный класс — эта буржуазия! Сколько распутства она вносит в страну и сколько жертв

от нее требует!.. Лобановичу вдруг сделалось так тяжело, что он оставил газеты и задумался.

Впрочем, через короткое время он был уже в России и погрузился по уши в родные хляби. Родные вести он всегда пробегал последними, потому что в них ему всегда становилось скучно. И обыкновенно пробежав их второпях, как бы по обязанности, он ими оканчивал чтение, так как дальше на него нападало сонливое состояние, от которого без какого-нибудь экстраординарного случая трудно было отвязаться.

Однако теперь он считал долгом основательно пересмотреть все, что за два месяца совершилось.

Наступил вечер, а он все еще сидел. Солнечный луч косыми нитями протянулся по столу, на несколько минут испестрил золотыми узорами газету, затем запутался в бороде, поднялся до глаз, ослепив забывшегося читателя, и, наконец, погас в спутанной его шевелюре.

— Пора, барин, уходить!.. Запирать время, — сказал сонно библиотечный сторож.

Действительно, в комнате становилось темно.

Лобанович встрепенулся и поплелся на улицу, но долго еще не мог встряхнуть себя от глубокой задумчивости. Все волнения и обиды этого дня мирно улеглись в нем. Библиотека была истинным храмом его, в котором он страстно молился и который успокоивал все страдания его буйного темперамента.

Но если бы Иван Иванович, ведший дипломатические переговоры с одним инженером, мог догадаться, над чем он задумался, то назвал бы его вторично ослом.

III

Это были странные сожители. Они ни в чем не сходились и, по-видимому, не имели ни малейшего интереса жить вместе. Но они надолго не разлучались, по-своему привязанные друг к другу какими-то невидимыми связями.

Когда у Лобановича спрашивали, за что он так привязан к Червинскому, то он серьезно отвечал:

— У него всегда сапоги такие чистые!

В самом деле, у Червинского сапоги всегда были чисто вычищены; и воротнички, и прическа, и хорошее платье — все у него было чисто и прилично. В его комнате, на его столе, на кровати всегда был величайший порядок. Он терпеть не мог малейшего сора вокруг себя.

Такой же порядок у него был и во всех делах. Правда, он также не имел определенного положения, определенного рода службы; ему, как и бесчисленному множеству интеллигентных

бродяжек, приходилось жить отхожими промыслами. Но он никогда не оставался без работы: если одно занятие иссякало, он на другой день находил новое; если из-под его ног ускользало одно место, он становился на другое — становился не очень прочно, но с поразительною быстротой.

Происходило это оттого, что он в совершенстве изучил, к кому и с какого боку надо подходить: к одному следует явиться до обеда, к другому после обеда; в один дом следует пробраться по переднему ходу, а в другой — через заднее крыльцо, через кухню; одного надо заставать у себя в кабинете, другого — где-нибудь на улице, врасплох.

С течением времени, вследствие такого обширного знакомства с разными практическими вопросами, в душе Ивана Ивановича накопилось много сору (и оттого он не любил сора в своей комнате), но это давало ему великое преимущество в борьбе за кусок. Он везде держал себя независимо и вел свою личную жизнь чисто, аккуратно. Он знал себе цену и никому не позволял пренебрегать собой. На людей, распоряжающихся всякими местами, он смотрел очень просто — как на мешки, с которыми глупо церемониться.

Несмотря на то, что разный практический хлам сильно засорил его голову, он составил себе своеобразную теорию и неизменно был ей верен.

— Нынешний век, — говорил он, — век денежного мешка, перед которым все — в том числе ум, знания, талант — попадало ниц. Но этого не должно быть. Интеллигенция в конце концов освободится из-под тяжести денежного мешка. А пока она должна уважать себя и не унывать в борьбе с грузною, но бездушною силой.

И он уважал себя.

Когда он шел просить место, то, собственно, не просил, а требовал, давая понять, что он нисколько не сомневается в своем праве на это место. Это производило впечатление. Вся его порядочная, чистая фигура всем своим аккуратным видом говорила, что это — человек, которого следует уважать и которому неловко отказать в чем бы то ни было.

Находил места Иван Иванович не только для себя, но и для многих из той бесчисленной бродячей братии, не знающей, куда поместить свои знания, а часто и несомненные таланты. Вся эта бродячая братия имела, как водится, развинченные нервы и носила в себе разнообразные душевные болезни, начиная с легкой меланхолии и кончая полным taedium vitae,[1] так что Иван Иванович среди этой неорганизованной, больной массы был просто кладом. Иногда сам он не имел возможности найти

---

[1] Скука жизни (*лат.*).

место, но зато всегда мог точным образом указать ту щель, через которую следует пролезть, чтобы получить место.

— Сходите к Червинскому, он найдет! — говорили человеку, ищущему хлеба, — говорили с такою уверенностью, как будто место уже нашлось.

Несмотря на множество житейской дряни, накопившейся на его душе, Иван Иванович имел неизгладимую потребность в живом деле; а так как все эти работишки из-за хлеба, все эти места ради денег не давали никакого удовлетворения разным непризнанным потребностям, свойственным, однако, всякому человеку, то он незаметно для себя повел жизнь бродяги. Когда он замечал, что работишка начинает засасывать его, он ее просто бросал и переходил на новую работишку.

— Скучно. И притом дуреешь, оттого и бросил, — объяснял он свою непоседливость.

Тем не менее вечная возня с разными житейскими соображениями сыграла с ним плохую шутку: он от многого отстал, и человеческие грезы не рождались уже в нем так свободно, как, например, в его сожителе.

И эта была, вероятно, одна из невидимых причин, почему он так привязан был к Лобановичу. Он любил в последнем тот рай, из которого за грехи сам был изгнан, — рай свободной мысли и мечты, необузданных идеалов и фантастических планов.

Редкий день проходил без споров; по-видимому, они не могли взглянуть друг на друга, чтобы не поднять тотчас же брани; искренний разговор между ними был просто немыслим, ибо о каждой мелочи они имели противоположные взгляды. Этот обмен мыслей вдобавок велся таким образом, что все проходящие мимо их окон поднимали голову вверх в полной уверенности, что там происходит драка; по всей улице раздавался треск мебели и отчаянные вопли, часто прерывающиеся внезапным молчанием, которое нетрудно было объяснить тем, что один из буянов взял другого за горло и душит его. Ни одна квартирная хозяйка не могла выносить этого ежедневного скандала более трех месяцев, — только на одной квартире им удалось удержаться полгода, да и то потому, что хозяйка была глуха на оба уха; но когда из соседней квартиры постоянно жаловались на беспокойство и потребовали удаления буянов, то и глухая женщина должна была прогнать их. Одним словом, приятели вечно враждовали, хотя сами друг без друга считали жить неудобным.

Лобанович был в десять раз начитаннее Ивана Ивановича. Второе его преимущество перед последним заключалось в том, что он умел обо всем говорить *вообще*. Самую ничтожную вещь он сейчас же связывал с некоторым общим крупным явлением и находил то центральное место, к которому тяготеют все ничтож-

ные вещи данного рода. Поэтому всякий их разговор для Ивана Ивановича был неожиданностью.

Иван Иванович часто только хлопал глазами, не будучи в состоянии в порядке разместить все сопоставления противника. В то время как он беспомощно барахтался около какой-нибудь мыслишки, Лобанович бросал уже ему двадцать других, одну другой неожиданнее. Лобанович на глазах у него шутя переносился с одного места на другое, поднимался вверх и ходил по облакам, играя ветрами, взбирался на солнце, нисколько не ослепляемый его лучами; и понятно, что Иван Иванович, вечно топтавшийся на полу, среди своих сорных мыслей, с изумлением следил за этими сумасшедшими скачками. Иногда он чувствовал негодование на необузданную фантазию приятеля, но чаще всего — изумление.

Была, однако, одна область, где Лобанович, в свою очередь, чувствовал себя скверно. Это именно практическая жизнь, а в особенности его собственная. Здесь уже Иван Иванович выступал грозным обвинителем и хозяином, а Лобанович принимал позу трусливого подсудимого.

— Таких беспомощных людей, таких глупых еще мало бьют! — говорил Иван Иванович, когда попадал на эту тему. — Уж не говорю про общественный такт, — за собой-то вы не можете посмотреть хорошенько! Настоящая, невыдуманная жизнь для вас тьма, как ночь, в ней вы не умеете шагу сделать без глупостей!.. Вы отлично, — это надо признать за вами, — отлично разработали теорию о том, как надо умирать, но не знаете азбуки жизни! Герои в смерти, вы составляете позорище в жизни! Вы думаете, что достаточно разбить дурацкую голову за идеал — и все пойдет отлично; но жить, вести искусную борьбу среди бесчисленных препятствий — это, по вашему, пóшло!.. Ну ты, например... ну, куда ты денешься с своими фантазиями, когда ты не умеешь за собой-то присмотреть и все норовишь куда бы сунуться в огонь?!. Ведь тебя каждая встречная свинья может сожрать без остатка!..

Лобанович, слушая эти грозные речи, злился, отвечал бранью, но в глубине души чувствовал острую боль, потому что речи приятеля били в больное место.

В подлинной жизни он чувствовал себя очень дурно. Лишь только ему приходилось заняться собой, своим благоустройством, как полнейшая растерянность овладевала всем его существом. В особенности непонятны были для него всякие пустяки, связанные неизбежным образом с поисками мест, работы, хлеба. Личная жизнь его была сплошная неудача. И по временам на него нападало отчаяние при мысли, что он никуда не годится.

Каждая его попытка прочно где-нибудь основаться оканчивалась обыкновенно неожиданным происшествием, и ужиться

на одном месте он не был в силах. С одного места он уходил, с другого его прогоняли, как вредного человека, который способен произвести какой-нибудь скандал.

В конце концов вечные поиски мест сделались для него источником страданий. Легче ему удавалось жить какими-нибудь частными работами,— как у человека способного, у него всякая работа кипела в руках. К сожалению, таких частных работ не много, а потому год его разделялся таким образом: в продолжение двух месяцев он имел занятия, остальные десять месяцев он гулял по всей своей воле. Да и те два месяца не проходили для него даром только благодаря заботам Ивана Ивановича.

— Почему вы всегда хлопочете о Лобановиче? — спрашивали Ивана Ивановича, не понимая вообще этой странной дружбы.

— Потому что он ротозей, — отвечал Червинский.

— Неужели без вас он не может устроиться?

— Вы не можете представить, какой это осел! Он непременно попадает в такое положение, из которого нет выхода, — пояснял свою мысль Иван Иванович, а иногда с раздражением прибавлял: — Упрямое животное! Ему непременно подавай общественной жизни!

Со стороны Ивана Ивановича это было плохое объяснение его привязанности к «упрямому животному», даже вовсе не объяснение, а только желание не показаться сентиментальным в его отношениях к Лобановичу. Но в ругательских словах его одно было справедливо.

Лобанович действительно чувствовал себя легко только в тех случаях, когда не думал о себе, о своей жизни, о своих делишках. В общественных идеях и делах (а они у него были—и мысли и дела) все так просто, понятно; здесь не нужно вилять, врать, кривить душой; здесь не только не нужно хитрить и недоговаривать и недоделывать, но, напротив, требуются прямота, открытое лицо, свободная речь, отсутствие колебаний. Лобанович испытал все это сам и знал, как ему легко жилось всякий раз, когда он делал не свое личное дело.

Но совсем иное состояние он переживал, когда должен был искать хлеба для себя, искать места и добиваться собственного благоустройства. Тут он ходил как слепой, сознавал себя потерянным и глупым и положительно ничего не мог сообразить. Изволь сообразить, в какую подворотню надо шмыгнуть, чтобы попасть на надлежащее место; изволь обдумать, что сказать и чего не говорить людям, которые это место держали в руках. А когда положение отыщется, надо уметь держать его. А для этого по большей части надо скрыть все свои мысли, за исключением поганых или завалящих, погасить огонь в душе, оставив лишь несколько головешек, которые бы понемногу курились,

делать лишь то только, что велят, и поднимать голову лишь настолько, насколько поднимает ее свинья, когда отыскивает себе корм. Сколько нужно для этого хитрости, тонких соображений, находчивости! Но это только для начала. А дальше, чтобы удержать добытое с такими неимоверными усилиями положение, утвердиться на нем, требуется великое множество ничтожных подлостей (из которых впоследствии слагается великое свинство), а их обыкновенно у ротозея не имеется.

Лобанович, в довершение всей нелепости, крайне обижался, когда ему говорили, что ничего этого нет у него. Он с азартом возражал, что до сих пор он серьезно не думал об этом, а раз ему придет охота устроить себя, то в практической жизни он заткнет за пояс самого ловкого интригана. Не боги же горшки обжигают. Но Червинский основательно опровергал его фактами, бывшими налицо, и доказывал всю нелепость его самомнения.

И это было для Лобановича невыносимое оскорбление.

IV

Обыкновенно после каждой своей житейской неудачи Лобанович на несколько дней пропадал, скрываясь от своих близких людей, от Червинского, от Кати Даниленко, словно его с цепи спустили. Он беспрерывно тогда находился в движении. Сначала после освобождения от места обходил всех своих знакомых, всюду поднимая интересующие его вопросы; затем, не ограничиваясь своим городом N, он с страшною торопливостью бросался в отдаленные путешествия по другим местам, где у него находилось знакомство, проявляя и там лихорадочную деятельность. При этом он не отказывался ни от какого поручения, как бы ни было оно неприятно и тяжело, ни от какого дела, как бы ни было оно грубо.

Этою слабостью нередко пользовались не особенно совестливые люди, заставляя его работать на них ради их личного дела. Однажды в продолжение двух недель его заставили быть сиделкой у одной барыни, болевшей пустою, но продолжительною болезнью; в другой раз он должен был переписать огромную рукопись, весьма глупую, но принадлежащую человеку, считающему себя великим.

В эту лихорадочную деятельность он вкладывал часто много времени и труда, о которых не жалел, лишь бы только не думать о себе и не хлопотать за свое личное устройство. И был доволен всякий раз, когда ему удавалось на время уклониться от придумывания поганых житейских мелочей.

Только иногда он вскользь спрашивал, как бы исполняя какую-то барщину:

— Нет ли тут, ребята, у вас какой-нибудь работишки мне?

Работишки, конечно, не оказывалось.

И этот ответ его совершенно удовлетворял.

Чем он в такое время жил — трудно сказать. Потребности его были ничтожные, — требовалось только раз в день поесть. А это нетрудно было исполнить.

— Пожрать чего есть у вас, братцы? — спрашивал он, торопливо вбегая к кому-нибудь из знакомых.

Какая ни на есть дрянь всегда отыскивалась у бедняков, — он закусывал и вполне удовлетворялся.

По прошествии некоторого времени он, наконец, возвращался домой, к Ивану Ивановичу, худым, обносившимся и усталым. И только после всего этого шел к Кате Даниленко, которую считал верховным судьей всех своих грехов. Все они трое были неразрывными товарищами, и если Лобанович и Червинский не могли ни в чем согласиться, то девушка являлась среди них примиряющим элементом и новым связующим звеном. Они оба одинаково ее уважали, так же как и она их обоих. Быть может, одного из них она выделяла в особенный уголок сердца, но им до сих пор не представлялось случая подумать об этом.

Так было и сейчас. После бурного разговора с Червинским Лобанович на несколько дней пропал. Иван Иванович нигде не мог его разыскать. Катя также бесполезно справлялась о нем у знакомых. Но вдруг однажды поздно вечером он тихо вошел в маленькую квартирку, занимаемую Даниленками, и смущенно остановился в передней. Из комнаты послышался знакомый голос: «Кто там?»

— Это я, Катерина Дмитревна, — отозвался Лобанович в величайшем смущении.

Из комнаты послышалось восклицание, потом смех, а через мгновение девушка уже пожимала его руку.

— Мама спать легла... Пойдемте лучше гулять, — предложила она, и через минуту они отправились в садик, находившийся позади дома.

— Ну, где вы пропадали? — с оживленным лицом проговорила девушка.

— Да здесь же болтался! Только совестно было показаться вам... — грустно сказал Лобанович.

— Чего совестно? Что вас опять спустили-то? Но ведь это обыкновенное дело!.. Впрочем, я рада, что вы, наконец, стали стыдиться бродяжной жизни... Такой большой человек, а ведет себя как мальчишка...

Говоря это, девушка смеялась. Но вдруг она пристально взглянула в лицо Лобановича и оборвала свои шутки на полуслове. Его лицо было грустное, и в то же время на нем вырезалась какая-то резкая черта не то отчаяния, не то озлобления.

Этого никогда не было. Раньше над каждою своею неудачей он сам первый смеялся и острил, и смех тот был беззаботный, а шутки юношеские. Но теперь что-то и тяжелое легло на его лицо.

— Ну да... Я знаю, я для вас смешон! — сказал вдруг Лобанович резко.

— Вы, кажется, разучились понимать шутки? — поспешно возразила Катя.

— Да нет же, вовсе не шутки это! Я действительно смешон и глуп...

— Я пошутила, Вася!.. Но зачем вы такой злой?

— Да нет же, нет! Шутка эта била прямо в голову! Верно: такой большой человек, а жизнь мальчишки!

Лобанович, говоря это, встал со скамейки, быстро прошелся по дорожке, но сейчас же воротился назад и порывисто сел на старое место. Девушка не знала, что и подумать о состоянии своего товарища.

— Я, наконец, ничего не понимаю! — воскликнула она испуганно.

— Объясню сейчас все.

Лобанович сделался угрюмым и сильно волновался. Сбросив с головы шляпу на лавку, он устремил возбужденный взгляд на девушку и принялся рассказывать, но таким мучительным тоном, что слушательница его болезненно недоумевала.

— Человек, доживший до моих лет и не добившийся определенного положения в жизни, волей-неволей во всех вызывает подозрение. Василий Лобанович... Что он делает? Как он живет? Почему беспутно шляется в пустом пространстве? За что отовсюду его гонят, как уличную собаку? Это всё вопросы, которые как раз пристали ко мне. У меня нет ни угла, ни пристанища, ни почвы под ногами, ни определенного положения среди людей. И вы все правы, когда называете меня шатающимся интеллигентом, интеллигентным бродягой или там еще... тысячу раз правы! Но вот вы где неправы! Вы думаете, что бродяга я — по своей воле, ради забавы, и потому еще, что я не умею распорядиться собою... Это неправда! Я много раздумывал о себе, желал распорядиться собою как можно лучше, но не моя вина, если из этого выходит черт знает что! Дело вот в чем. Наше поколение, в том числе и я, имеет за душою кое-какие мыслишки, назовите их идеалами, если вам нравятся громкие слова, и вот в этих-то мыслишках и заключается вся беда. Это не то что как прежде. Бывало, человек набьет себе голову, как чемодан, книгами и гуляет в таком забавном виде; а когда ему нужно было отправиться в жизненное путешествие, он опрастывал чемодан от бесполезной тяжести, набивал его тем, что требовалось для дороги, и больше ничего! Операция эта — выбрасывание идеалов из чемодана —тогда совершалась легко. Но нам-то это уже

невозможно. Наши мыслишки обратились у нас в совесть, то есть мы их не можем ни выбросить, ни забыть, а должны всюду таскать за собой. Вот в чем дело, а вовсе не в бродяжестве!.. Но позвольте теперь дальше рассказать... Мыслишки, идеалы, обратившиеся в совесть, надо же куда-нибудь поместить. Куда же, спрашивается? Этот вопрос разно решался и решается. Одни помещали свою совесть в разные отчаянные предприятия. Но им удалось только, как вон выражается Червинский, разработать теорию смерти. Они научились и научили, как надо умирать. Ясно, что это не решение... Другие совсем никуда не поместили совесть и были замучены ею; такие именно и представляют образцы того исстрадавшегося интеллигента, которого теперь на всех перекрестках выставляют на позорище. Третьи, — и я к ним принадлежу отчасти, — думали как-нибудь помирить свои мыслишки с положением. Они верили, — и я в этом также убежден, — что в каждое место, самое загаженное, но дающее кусок, можно внести порядочность, чистоту, воздух и свет. Здесь было много преувеличений и еще больше неразумия. Нельзя в самом деле окончательно помирить мыслишки с куском, душу и брюхо, идеалы и поганые дела... в большинстве случаев, немыслимо. Но я верю, есть места, где можно делать многое. Но здесь вот вы опять правы. Есть такие места, но я-то не гожусь для такого дела. Вероятно, есть же какой-нибудь органический порок у меня! Должно быть, я в самом деле не гожусь, как уверяет Иван Иванович, для такого сложного, запутанного, но великого дела!.. Но хоть вы-то не бейте меня...

Лобанович встал с места, прошелся до дорожке, воротился назад и порывисто нахлобучил шляпу на глаза. По всем видимостям, это означало, что говорить он не имеет больше ни малейшего желания. Действительно, он опустил голову на руки и замолчал.

Катя не знала, что ему сказать. Его подавленный вид отбивал у ней всякую охоту говорить плоские утешения. Но как ей хотелось сказать ему, что она и не думает издеваться над его неудачами!

Ей теперь до боли было стыдно за то, что она в самом деле объяснила его бродяжничество беспечностью, легкомыслием. Сама она принадлежала к необеспеченным людям, но она не в состоянии была представить, как это так можно безалаберно жить, как живет Лобанович. Она сама перебивалась уроками, находила и другие работы и жила недурно, содержала в то же время мать-старушку и брата-гимназиста. Лобанович же всегда казался ей взбалмошным, хотя все, что он творил, ей нравилось. И вот теперь ей вдруг стало больно оттого, что она так думала.

Лобанович между тем продолжал молча сидеть. По-видимому, он ждал, что она, как бывало прежде, скажет ему что-нибудь

ободряющее, посмеется над ним с любовью товарища и проводит веселым смехом домой. Но слов сейчас у ней не находилось.

Тогда он встал порывисто с места и заторопился.

Они вместе вышли к калитке сада.

Был уже поздний час ночи. Улицы опустели.

Переступив порог калитки, Лобанович еще раз протянул руку на прощанье. Катя взяла ее и удержала; потом тихо потянула ее к себе. Одно мгновение он ничего не понимал, но вдруг лицо его вспыхнуло и он бросился обнимать девушку.

Когда через некоторое время он возвращался домой, ему казалось, что от избытка сил он сойдет с ума. Голова его горела, и тысячи мыслей теснились в ней беспрерывным потоком.

Но одна мысль скоро выделилась из всех, разогнала все остальные и встала перед его воспламененным сознанием, как огромная тень. «Надо добиться успеха, потому что только успех дает силы»,— думал он, взволнованный. Его любят — и он должен помнить об этом. Личное счастье — центр, из которого ведут дороги в разные стороны, и если человек не попал на этот центр, он обречен всю жизнь блуждать по неведомым путям... Успех, успех!..

— Прежде всего, личный успех, а все остальное потом!— громко сказал он, и камни пустынной улицы повторили его голос в ночной тишине.

Что-то страстное и в то же время хищное овладело его существом. Он чувствовал, как откуда-то из глубины поднимается в нем бесконечно огромная энергия, хищная энергия бороться за себя, за свое существование, за любовь, за свою свободу.

V

— Место тебе нашлось! — проговорил Иван Иванович спросонья, едва продрав глаза и думая таким образом разбудить Лобановича.

К его удивлению, последний был уже одет и приводил в порядок свою комнату, чего никогда не бывало.

— Вот это отлично! А я было уж сам хотел пуститься на поиски во все концы. Отлично! Теперь, значит, не надо. Спасибо, Ваня! Ну, рассказывай, какое место.

Лобанович все это говорил радостно и твердо, как будто для него самое обыкновенное дело — думать о местах.

Иван Иванович с своей постели смотрел на него во все глаза.

— Ты хотел отправиться на поиски? — спросил он недоверчиво.

— Разумеется. Что же тут необыкновенного? Надо же мне когда-нибудь устроиться... И притом раз навсегда. Надоела бродяжная жизнь! Надо кончить с этим шатаньем впроголодь...

— Да ты это не остришь? — спросил с изумлением Иван Иванович, в первый раз выслушивая такие вещи от «взбалмошного Васьки».

Последний пожал плечами в знак пренебрежения.

— Мне вовсе не до острот. Расскажи, какое место! — возразил он серьезно.

— Погоди, умоюсь, — ответил Иван Иванович, слез с постели и принялся приводить себя в порядок.

Он потянулся с наслаждением, оделся, умылся и задумчиво стал расчесывать себе бороду и волосы. Потом начал чиститься. Эти обязанности он исполнял методично и обдуманно и всегда молчал во время их выполнения. Иначе нельзя. Если какой-нибудь человек вздумает говорить во время умыванья или расчесыванья бороды, то и умного ничего не скажет, да и борода останется лохматой. Нельзя гоняться за двумя зайцами. Кто хочет обладать внешностью, тот должен посвящать заботам о ней известное время.

Лобанович с нескрываемым раздражением следил за всеми движениями товарища, но, наконец, не выдержал.

— Да кончишь ли ты когда-нибудь! Какое место? — вскричал он.

— Сейчас. За чаем я все тебе доложу по порядку, — отвечал Червинский откуда-то из глубины сеней, где в эту минуту чистил сюртук, причем там слышалось мерное шарканье щетки и энергичные плевки.

Наконец, за чаем он рассказал подробно о своих переговорах с одним инженером.

Работа на вновь строящейся железной дороге. Одному подрядчику нужен толковый распорядитель работ. Обязанности заключаются в следующем: вычислять количество произведенных работ, следить в то же время за их качеством; вычислять заработную плату, наблюдать за рабочими. Непосредственное начальство — хозяин-подрядчик. Подчиненные — несколько артелей рабочих. Целый день на воздухе, в ходьбе и езде. Жалованье сообразно с тем, какая часть линии и сколько артелей будет находиться в распоряжении.

— Как видишь, место неважное. Вдобавок, придется отчасти быть палкой по отношению к рабочим... Это ты имей в виду, — добавил Иван Иванович, окончив свое описание места.

Лобанович внимательно выслушал все условия, и когда Иван Иванович кончил, задал несколько вопросов, удививших Ивана Ивановича их практичностью и здравым смыслом. Потом решительно сказал:

— Я еду.

— Не брезгуешь? Помни, ты отчасти будешь палкой в руках подрядчика, — еще раз повторил Червинский, удивляясь быстрой решимости занять такое место.



— Палка о двух концах, Ваня. Фактически ею всегда пользуется не тот, кто первый ее взял, а тот, кто умеет вырвать ее... Но это в сторону. Еще один вопрос: кто будет инженером на моей дистанции? — спросил Лобанович.

— Фамилии не помню. Но мой знакомый говорит про него, что человек порядочный.

— Отлично. Я с ним сойдусь, а через него постараюсь занять действительно прочное место, когда дорога будет кончена. Таким образом, роль палки — лишь временная неприятность, и ты не беспокойся, я сумею избежать двусмысленных положений. Надо, наконец, прочно встать на ноги. Когда ехать?

Слушая все это, Иван Иванович не мог скрыть своего изумления. Лобанович имел твердый, решительный и какой-то благоразумный вид. Раньше он то и дело поражал Ивана Ивановича, развертывая всё новые стороны своей натуры, но *этого* и подозревать нельзя было за ним. Еще твердостью он обладал, в особенности когда дело шло о каком-нибудь нелепом предприятии, но благоразумием — никогда!

— Ехать-то когда, говоришь? — рассеянно переспросил Иван Иванович, ломая голову над радикальною переменой в товарище. — Да хоть завтра!

— Завтра мне не удастся... надо кое-что сделать. Но послезавтра я готов, — ответил Лобанович.

— Это окончательное решение?

— Окончательное.

— Так и передам.

И Червинский сделал молчаливый жест, в котором выражалось одобрение. «Должно быть, Васька-то мой точно образумился... Видно, надоело шляться... Но что бы это значило? Откуда?»

Думая таким образом, Иван Иванович методично прихлебывал из стакана чай, методично закусывал булкой и сметал в одну кучку все крошки; а в то же время развязал свой язык. Он принялся развивать обычные свои мысли о «куске хлеба», о «местах», но на этот раз подновленные экстраординарным слу-

чаем. Мысли эти были сорные, но они всегда имели одно достоинство: верное определение людей и положений.

— Я очень рад, что ты, наконец, пришел к моим выводам. Мы не можем быть очень разборчивыми в местах, а должны брать то, что попадается. Выбор у нас самый ограниченный. Я разделяю места таким образом. Есть места, которых мы *не можем* занять, есть другие, которые мы *не хотим*, и есть третьи, которые мы можем и хотим, но на которые нас *не пускают*.

Лобанович захохотал; но, впрочем, на этот раз он безропотно слушал Червинского, ничего не возражая. А когда Ивана Ивановича не останавливали, он мог бесконечно долго говорить; говорильная машина его была хорошего устройства.

— Ты погоди смеяться. Мы действительно имеем перед собою такой узкий выбор. Так как мы не обладаем какою-либо специальностью, то мы, каждый из нас, не можем быть доктором, адвокатом, инженером, механиком, офицером, священником и т. д. С другой стороны, наделенные некоторыми понятиями интеллигентного свойства, мы не хотим места сидельца в трактире, приказчика в лавке, конторщика в ссудной кассе, квартального в участке, смотрителя в тюрьме и т. д. и т. д. И вот в нашем распоряжении очень ограниченное пространство, но и туда нас не пускают, ибо пространство это сплошь занято полуграмотным, темным человеком. Должны ли мы пробраться туда, столкнув с дороги темного человека? Для меня это несомненно. Так или иначе, а в каждое место мы вносим известного рода приличия, прекращаем воровство, а часто и денной грабеж, рассеваем хоть отчасти мглу, очищаем грязь... Стало быть, мы не только можем, но и должны пробиться в эти чужие места, куда нас не пускают. И пробьемся, Вася, а?

— По крайней мере попробуем, — сказал Лобанович и опять засмеялся.

В первый раз еще товарищи так мирно беседовали. Иван Иванович продолжал развивать свои сорные мысли долго еще, потому что Лобанович безропотно слушал его, а быть может, и вовсе не слушал, думая о других вещах. После чая они даже и вышли на улицу вместе и дорогой не спорили.

Через день Лобанович, как было условлено, отправился в далекий край.

Его провожали Червинский и Катя. При этом Червинский заметил, что между его приятелем и девушкой установились какие-то новые, теплые отношения. Перед третьим свистком парохода Лобанович и Катя внезапно куда-то скрылись, а когда возвратились на трап, то девушка была очень взволнована, со следами слезинок на глазах, но счастливая, а Лобанович смотрел озабоченно, но гордо.

«Они любят...» — инстинктивно понял Иван Иванович, и ему вдруг сделалось скучно.

На прощанье Лобанович шепнул ему на ухо, чтобы он хранил в его отсутствие девушку, заботился о ней. Иван Иванович торжественно обещал, но чувствовал, как ему делается все скучнее.

Когда пароход отчалил, зашумел колесами и быстро стал удаляться, Иван Иванович замахал шляпой, а на его добродушных глазах навернулись слезы, и вдруг страшное чувство одиночества сжало его сердце, потому что уходивший пароход увозил не только того, к кому он был привязан, но и ту, кого он любил.

Но в его честном сердце не было места ревности; провожая домой девушку после того как пароход ушел, он только чувствовал свое одиночество, скуку, бесцельность своего существования.

VI

Недавно еще эта местность представляла дикую глушь, где редко раздавался человеческий голос. В темных лесах здесь не слышно было скрипа телеги, стука топора, рева домашних животных. Под зеленым шатром сосен и берез стучал только дятел, да куковала кукушка, да глухо хохот филина разносился по ночам.

Всю страну вдоль и поперек избороздили горные отроги. Это придавало всей местности вид еще более дикой, недоступной красоты. По горам нигде не пролегали дороги; покрытые до верхних гребней непроходимым лесом, горы были недоступны до сих пор. А в глубоких впадинах и долинах, где протекали речки и стояли озера, незаметно было мостов. Все здесь заросло; журчанье ручьев, то тихое, то шумное, всякий мог слышать, но их самих не видно было, — они заросли травой и кустарником так плотно, что вода, казалось, бежала где-то под землей.

Иногда стены кустов и леса раздвигались, речка разливалась в широкий естественный пруд, но поверхность его также затянута была дикою, густою зеленью; вокруг берегов, далеко на середину, выдвигались жирные камыши, а остальная часть воды заросла водяною лилией и другими водорослями.

Это был самый дикий угол прекрасной Башкирии. Хозяином здесь считался башкир; но он был плохой хозяин и забросил этот угол. Только изредка, когда он продирался сквозь чащу леса верхом на исхудалом коне, раздавалась здесь его песня; он пел в ней обо всем, что попадалось ему на глаза, — пел о сучке дерева, который хлестнул его по башке, о голом черепе павшей лошади, мимо которого ступал его конь, о муравьиной

куче, о сгнившем пне, о поваленном бурей дереве... Но это была не песня, а вой волка.

Но вдруг, как по мановению волшебного жезла, здесь все изменилось. Появились отряды рабочих с лопатами, ломами и пилами; в спокойном дотоле воздухе раздались стук топора, визг пилы, гром динамитных взрывов. И всюду, где проходили отряды, за ними оставался страшный след разрытой земли, потоптанных и выжженных кустарников, поваленных деревьев, пробитых холмов. А вслед за отрядами рабочих появился темный, закопченный, пылающий жаром паровоз и огласил воздух торжествующим свистком, который заставил умолкнуть старых обитателей мрачного угла. Перестал глухо хохотать филин, кукушка куковала где-то вдали, стука дятла не слышно стало, и не пел свою бесконечную песню башкир; его наняли копать глину, дали ему в руки лопату — и он замолчал.

Но если бы кому вздумалось посмотреть этот уголок во всей его мрачной красоте, то стоило только отойти от полотна дороги на небольшое расстояние. Тогда роли менялись. Страна тогда являлась во всей своей торжествующей дикости, а новые пришельцы, напротив, казались погребенными под темным лесом, посреди этих диких оврагов и глухих болот; стук топоров и ломов слышался здесь, как стук дятла в древесную кору, а свист паровоза напоминал жалобный писк мыши. А голосов людей совсем не было слышно, и вместо них опять раздавался плач пигалицы, уханье болотной выпи да крик копчика, как будто здесь ничего не случилось.

Такое впечатление произвело дикое место на Лобановича, когда он в свободные воскресные дни покидал свой барак и углублялся под темные своды окрестных лесов; стоило ему отойти полверсты в сторону, как шумная жизнь строящейся дороги совершенно умолкала, поглощаемая глухою молчаливостью природы.

Он бродил по этим лесам, переходил вброд речки и болота, взбирался на горы и чувствовал себя так хорошо, как никогда. О своей новой жизни он писал восторженные письма Кате и Червинскому.

Служба его также шла недурно. Подрядчик из экономии держал только одного распорядителя, которым и был Лобанович; это вдвое увеличивало труд последнего. Под его наблюдением было несколько партий рабочих, растянутых на десять верст по линии. Ему приходилось с утра до ночи ездить верхом или на телеге, а то просто ходить пешком; к ночи от такого движения он уставал в лоск. Но это его не раздражало; для него никакая каторжная работа не могла показаться слишком тяжелою, раз он считал ее необходимою. В настоящем же случае эту службу он считал необходимою.

После отъезда из N его решимость побороться за свою личную судьбу только выросла. Поставив себе впереди одну только эту цель — завоевать прочное положение, он вдруг почувствовал прилив необыкновенной силы в себе. Раньше все силы, не направляемые к одному фокусу, бесследно пропадали, что делало его в глазах всех ветреным и в своих глазах слабым; теперь, когда вся его энергия направилась к одной точке, он заранее чувствовал победу.

Цель его, действительно, быстро приближалась.

Со всеми у него установились определенные отношения — с подрядчиком, с инженером, с рабочими.

Подрядчик не мог нахвалиться им. Притом с первых же дней он почувствовал какую-то робость к нему, как к человеку, который все понимает. Это было инстинктивное чувство уважения к чему-то высшему.

Он его называл «господин Лобанович», относился к нему с предупредительною вежливостью. Он не только не третировал его, как подчиненного, но, напротив, постоянно считал нужным в чем-то оправдываться.

Неоднократно жалуясь на свою горькую судьбу, он горячо оправдывался против смутных обвинений неведомых обвинителей. Это происходило ночью, когда они заходили в барак спать.

— Вот в газетах, господин Лобанович, нашего брата по голове бьют... Вон в «Листке» как меня обчистили!.. Подрядчик, мол, кровопийца!.. Эксп... ну, там как пишут... одним словом, разбойник! Как вы полагаете, справедливо это?

— А мне какое дело? — возражал Лобанович уклончиво.

— Нет, вы позвольте! Вы — человек ученый... Рассудите, какая тут справедливость? У меня один сын в студентах учится, другой в гимназии, а дома еще восемь душ мал мала меньше! Извольте прокормить такую прорву! Да я, да жена, да расходы разные!.. Как вы рассчитываете, мало мне нужно страдать?.. Я ведь и выбиваюсь из сил!.. Один сын в студентах, другой в гимназии,— стало быть, я хочу дать им образование! Какое же право имеет газета, то есть печатать, что я эксп... одним словом, разбойник?..

Лобанович уклонялся под разными предлогами от ответа. Подрядчик для него был новинкой; в нем он видел странного субъекта, в одно и то же время жалкого и забавного. До сих пор с именем «подрядчик» у него связывалось страшное понятие о чем-то живорезном, бессовестном и алчном, но его подрядчик не имел ни одной, кажется, черты такого определенного эксплуататора.

Ходил он в шляпе, сюртуке и «при цепочке». Неизвестного происхождения. Грамотный. По ночам, воткнув на гвоздь сальный огарок, читал какой-то роман (он произносил «рóман»)

«Кровавый след». Свободных капиталов он не имел; по крайней мере когда по субботам ему приходилось рассчитываться с рабочими, то весь он был мокрый от пота и волнения. На линии он редко бывал, все время шмыгал в город, где заключал какие-то денежные сделки. Вообще он был субъект, болтавшийся между небом и землей.

«Вот еще какие бывают!» — с удивлением думал Лобанович, наблюдая странную разновидность людей, живущих таким нелегким трудом.

Иногда, после его длинных жалоб на трудность добыть двенадцать кусков, Лобанович выражал ему даже сочувствие. Но в общем он старался совсем не думать о нем, — не его дело.

С инженерами отношения установились еще лучше. С одним из них Лобанович совсем подружился.

Чистенький, нежный, с изящными ручками, всегда одетый, даже здесь, в лесу, с иголочки, — это был самый хорошенький инженер во всем свете. Лобанович, с своею рослою фигурой, с своими размашистыми, неаккуратными манерами, перед ним казался лесным чудовищем. И все-таки между ними установились дружеские отношения и нашлось кое-что общее.

Встречаясь то и дело на линии, они подолгу болтали обо всем на свете. Помимо некоторых общих взглядов, они оба, к обоюдному удовольствию, оказались страстными любителями музыки и часто до глубокой ночи, сидя где-нибудь на краю оврага, вспоминали чудесные отрывки опер, сонат, симфоний. Разумеется, только вспоминали, потому что в глухом лесу, за тысячу верст от всякой музыки, трудно ее исполнить. Они бы могли еще напевать, но и это было затруднительно. Лобанович обладал чудовищным голосом, в котором несчастным образом соединились рев осла и хрюканье (в нижнем регистре) свиньи; что касается инженера, то он имел маленький, нежный баритон, но звук его терялся в лесной чаще. Одним словом, им приходилось наслаждаться музыкой, разговаривая о ней, но и эти разговоры приводили их в восторженное настроение.

Нередко они болтали о других вещах. Раз инженер, удивленный необычными знаниями своего собеседника, спросил его:

— Что это вам пришла охота взять такую скверную, грязную работу?

Лобанович перед этим наивным вопросом смутился.

— Пройти всю железнодорожную школу, — соврал он сначала.

Но вслед за тем он решился воспользоваться подходящею минутой и высказал желание занять место на дороге. Инженер отнесся крайне сочувственно к такому желанию, навел разные справки и через несколько дней высказал положительную и значительную уверенность, что дорога не отпустит такого полезного

служащего. А еще через несколько дней он уже с радостью сообщил, что место ему обеспечено. Дело шло о выдающемся посте на линии.

После этого случая дружба между ними еще более укрепилась. Нежный, хорошенький инженер питал величайшее уважение к Лобановичу и проводил в его обществе большую часть тоскливых и мрачных ночей. Лобанович, в свою очередь, платил своему случайному приятелю искренностью и откровенностью.

О своей службе, об удачах и надеждах своих Лобанович сообщил Кате, которая в ответе своем выражала неподдельную радость и обещалась скоро приехать к нему. В другом письме, к Ивану Ивановичу, Лобанович подробно объяснил свое теперешнее настроение:

«Я понял одну истину — не увлекаться чужими интересами, пока не исполнил своих. Здесь нередко у нас происходят возмутительные вещи, но я научился смотреть на них хладнокровно. Я даже сам удивляюсь, какой неистощимый запас равнодушия я открыл в себе; на все, что тут творится вокруг меня, я плевать хочу, пока не добьюсь поставленной цели».

Червинский, зная отлично Лобановича, предостерегал его от крайнего увлечения этим настроением:

«Нужно, необходимо быть равнодушным в известных случаях, но знай меру. Равнодушие к тому, что делается вокруг, сейчас для тебя полезно, но и здесь не увлекайся, не пересаливай, иначе в тебе наступит реакция и ты наделаешь целую кучу сумасшедших дел», — писал всегда благоразумный Иван Иванович.

Дело шло в этих письмах, главным образом, об отношениях к рабочим, — Лобановичу они достались всего труднее.

В его ведении находилось несколько партий; тут были артели самарцев, пензенцев, вятчан («вячких», как они себя называли), наконец, куча башкир. Со всеми надо уметь говорить, разбирать все претензии. Интересы подрядчика, конечно, требовали, чтобы значилось побольше прогульных дней, поменьше сделанных работ; напротив, в интересах рабочих было естественно желать, чтобы совсе не было прогульных дней и чтобы кубы вырытой земли и камней были неполные.

Лобанович благоразумно избегал того и другого. Подрядчику он дал ясно понять, что ошибок в счетах он не намерен допускать, да подрядчику и некогда было следить за такою бумажною справедливостью, — он то и дело пропадал по неделям, отыскивая кредитов для срочных уплат. В свою очередь, рабочие убедились, что записи их работ и заработков ведутся точно, хотя все рабочие относились с некоторого времени ко всяким записям с крайним равнодушием.

Это несколько удивляло Лобановича, но он не искал причины. От внутренней жизни дороги он старался стоять в стороне, слепой и глухой к тому, что так недавно еще интересовало его.

В его мыслях образовался и крепко засел вопрос:

«А мне какое дело?»

VII

Было раннее воскресное утро. В бараке стало сыро. Лобанович наскоро оделся, положил в сумку кусок булки и вышел на свежий воздух.

Он мог шляться по трущобам до трех часов, когда они условились с инженером идти на охоту.

Перейдя узкое пространство дороги, заваленное бревнами, грудами камней и земли, он сразу попал в густую чащу первобытного леса. Под его сводом стояла тишина и царствовал полумрак; утреннее солнце не могло еще пробить густую листву, и только редкие брызги его лучей падали на влажную лесную траву.

Лобанович тихонько пробирался между стволами и прислушивался к таинственной жизни этого темного угла. Он его застал врасплох, когда лесная жизнь только еще начала просыпаться. В мертвой тишине слышался каждый звук; слышно было, как по листу ползет гусеница, как упал лист с верхушки дерева, как выпрямилась вдруг ветка, погнутая чьею-то рукой, как шелестят муравьи возле своего поселения. Крик копчика, внезапно раздавшийся по лесу, как флейта, заставил вздрогнуть Лобановича, но через минуту, когда голос маленького хищника смолк, лес снова замер в таинственном молчании.

Подвигаясь вперед между деревьями, Лобанович заметил недалеко просвет и направился к нему. Оттуда слышалось какое-то бульканье воды, заинтересовавшее его праздное внимание. Он знал, что там, среди порослей кустарника, находится речушка, и захотел объяснить себе, что это за звуки раздаются оттуда?

Через минуту дело объяснилось. На берегу речушки, в самом широком ее месте, сидел рыбак и удил рыбу. Посреди густой зелени камыша его сгорбленную фигуру трудно было приметить; пестрядинная рубаха его по цвету очень мало отличалась от сухой травы; а его приплюснутую бурую шляпенку можно было принять за один из лопухов, покрывавших сплошною массой речку. Всего его можно было еще принять за кочку, обросшую мхом и прикрытую сверху лопухом, если бы только не поминутное маханье палкой, которая ему служила удилищем.

Лобанович узнал в нем пожилого старика, артельного старосту «вячких» мужиков. Он поздоровался с ним, присел возле

и стал смотреть, как он удит. Но сейчас же ему стало ясно, что мужик в первый раз держит в руках удочку. Вместо удилища старику служила толстая палка, почти кол; леской ему послужила бечевка, которою легко можно было удержать лошадь, и крючок на такую леску был привязан огромный. Вся эта снасть рассчитана была таким образом, как будто старику предстояло вытянуть из-под лопухов белугу. Между тем в речке водились только окуни и чебаки. Понятно, что поймать он ничего не мог,— он то и дело махал колом, от его усердия стояли пузыри на воде, но из этого ничего не выходило.

— Плохо ловится? — спросил Лобанович шепотом, из боязни напугать рыбу.

— Ничего не могу пымать! — ответил староста с огорчением и напряженно смотрел в воду.

— Ты, кажется, впервые рыбачишь?

— То-то что не умею! А надо бы...

— Рыбы захотелось?

— Не мне... Парень мой, Силашко-то, жалуется на живот,— ему собственно!.. Вчера уже и робить бросил.

— Захворал?

— Лежит. Еды не берет, вчерась только говорит: «Рыбки бы».

Лобановичу стало неприятно.

— Разве плохая у вас пища?

— Одно горе!.. Хлеб еще можно сообразить, а насчет горячего, например, болтушка с крупой — одно горе!

— У вас, кажется, в условии ведь мясо выговорено?

— Как же, мясо иную пору кладется в котел, да неспособно оно для живота-то! Больно духовитое.

Лобанович покраснел. Какая-то злоба мелькнула в его глазах.

Они продолжали говорить шепотом.

— Много больных у вас?

— Много народу пало на животы. По нашей артели еще слава богу! Бог милует, жалуются ребята, а перемогаются. А у самарских вон страсть сколько мужиков увезли в назарет.

— Неужели умирают?

— У пензенских семеро мужиков уж померши.

Старик говорил равнодушно, с невозмутимым спокойствием, напряженно следя за удочкой; все внимание его было сосредоточено на бечевке и поплавке, которым служил толстый пучок прошлогодней куги.

Но до сих пор он еще ничего не поймал. Раз на крючок ему попалась какая-то рыбешка, но от радости он так ее свистнул из воды, что она улетела в кусты, — где же ее там отыщешь? В другой раз попался маленький окунишка, но сорвался с крючка, упал на берег и покатился к воде. Старик обеими руками бросился ловить его, судорожно шарил в траве, болтыхался в

воде, готовый, по-видимому, броситься в реку; но где же его там поймать? не дурак же окунишка, чтобы дожидаться у берега. Затем рыба и совсем перестала попадаться. Старик напряженно всматривался в глубь воды, то и дело мотал колом и производил бечевкой пузыри на поверхности, но только напрасно огорчался.

Лобанович смотрел, смотрел и, наконец, сказал с нетерпением:

— Ну ты, брат, так ничего не поймаешь. Дай-ка лучше мне!

В детстве он был страстный охотник удить и теперь не вытерпел. Он взял из рук старика нелепую снасть и торопливо принялся исправлять ее. Кол он бросил, вырезав вместо него гибкое удилище, веревки развил на тонкие нитки и взял из них одну, а вместо огромного крючка привязал другой, который, к счастью, нашелся у старика.

Через несколько минут он уже вытащил большого окуня. Старик так был изумлен его появлением из воды, что схватил его обеими руками и крепко держал, очевидно плохо доверяя честности окуня. Только когда ловкий рыбак стал поминутно вытаскивать из воды других окуней и чебаков, старик несколько успокоился и уже стал уверенно складывать рыбу в подол своей рубахи, в то же время с детскою радостью наблюдая за движениями барина, и каждый раз, как последний вытаскивал рыбу, совал ее со смехом в подол, приговаривая:

— Как ловко ты его поддел!

Через короткое время рыбы наловилось достаточно. Лобанович бросил удочку и поднялся с места. Старик также встал и заторопился.

— Ну, дай бог тебе здоровья! Теперь Силашка авось, бог даст, поправится! — сказал он на прощанье. Этот Силантий был его единственный сын.

Курьезной показалась Лобановичу эта вера, что достаточно Силашке покушать рыбы, чтобы оправиться от страшной болезни. Лобанович подозревал, какого сорта эта болезнь, и на него напало страшное озлобление. Против кого и чего он сердился, — на это он едва ли мог ответить и сам, но озлобление так неожиданно явилось к нему, что он никак не мог подавить его.

Когда после обеда он отправился с инженером на охоту, то долго не мог прийти в себя, проникнуться прежним благоразумным настроением. Идя рядом с инженером, он злился на всех и на все. Его раздражало болото, по которому они шагали, кусты черемухи и боярышника, сквозь которые им приходилось продираться, тяжелое ружье на плече, хорошенький инженер, делавший маленькие шажки обок с ним. Его раздражало воспоминание о старике, который колом ловил рыбу, об этих «вячких», которые пали на животы, об этих самарских, которых увозят в «назарет», и он с нескрываемою злостью отвечал на вопросы инженера.

— Что с вами, милый друг? — спросил инженер полуозабоченно, полунасмешливо.

— Да, должно быть, не выспался. В бараке у нас нынче страшная сырость... Вдобавок, подрядчик мой чуть не до утра читал новый «ро́ман» «Призрак без тела»... И черт его знает, откуда он достает такую чепуху!

Инженер захохотал.

— Да, кстати, — продолжал Лобанович, — знаете, мне кажется, он прохвост?

— Очень возможно, — сказал равнодушно инженер.

— Мне кажется, он в конце концов надует рабочих. У него, по-видимому, и денег-то нет для расплаты.

Лобанович при этом рассказал про дизентерию среди рабочих, про смерти, про «назарет», про все, что услыхал от старика, и про все то, о чем сам давно догадывался. О том же, что сам более месяца не получает жалованья, он постыдился упомянуть.

Инженер нахмурился, но нахмурился просто потому, что весь разговор был ему неприятен.

— Это в порядке вещей, — возразил он пренебрежительно.

— Дизентерия-то? — спросил Лобанович.

— Вообще все, что вы рассказали.

— И болтушка? И духовитая говядина? И хлеб, который трудно сообразить? — перечислял со злостью Лобанович.

— Все. Какой вы наивный! Да так все дороги строятся. Да и одни ли дороги? Культура нашего века — это сплошная война! — проговорил наставительно инженер.

— Но ведь и на войне обязательны известные приличия?

— Обязательны, но их никто не держится, — некогда! Задача нашего века создать машину, бесконечную, всюду проникающую машину, которая бы наполнила грохотом всю землю. Человек забыт, о нем некогда заботиться... Сейчас вот эта машина врезалась в грудь дикой страны; на благо она врезалась или на зло — бесполезно рассуждать! Все равно паровик врезался бы сюда и без нашего участия. Быть может, он раздавит тысячи жизней, но сожалеть об этом бесполезно. Но тссс!.. Встаньте здесь! Бейте в правых! — скомандовал вдруг инженер шепотом, показывая на группу чирков, плававших возле камышей на озере, около которого они незаметно очутились. Лобанович машинально, но с величайшею торопливостью взвел курок и выстрелил. Это было сделано им так мгновенно, что инженер не успел даже поднять ружья.

Конечно, промах. Инженер рассердился.

— Ну, вы с вашею болтушкой всю охоту испортили! — сказал он с кислою гримасой, следя за полетом громадных стай разной дичи, поднятой глупым выстрелом.

Лобанович сконфузился и принял угрюмый вид.

Охота в самом деле не удалась сегодня. Они пробродили еще с час по густым зарослям вокруг болот и бросили. Инженер предложил закусить; выбрав красивое место под купой сосен, он уселся и разложил в живописном беспорядке разные гастрономические вещи, находившиеся в его сумке, прибавив к ним и бутылку хорошего вина. Помимо этого, во все время закуски он угощал еще Лобановича пикантными анекдотами на тему, как строятся железные дороги. Слушая эту болтовню, а быть может, под влиянием хорошего вина и закуски, Лобанович мало-помалу успокоивался. И в его душе снова встал и заполонил все его мысли благоразумный вопрос:

«Да мне какое дело?»

VIII

В тот день на месте работ не было никого из начальствующих. Инженер и прочие служащие уехали еще накануне на другую дистанцию, а подрядчик уже несколько дней пропадал, рыская где-то в поисках за кредитами. Лобанович явился на некоторое время ответственным лицом и охранителем порядка.

Он поднялся рано и, по обыкновению, хотел по выходе из барака немедленно отправиться в дальний конец линии. Но не успел он хорошенько оглядеться после сна, как был вызван на неожиданное объяснение с толпою рабочих, окруживших барак сплошною массой. Толпа, видимо, была возбуждена чем-то, потому что слышался крупный разговор, крепкие слова, брань по чьему-то адресу. Лобанович, очутившись посреди этого гама, со всех сторон сдавленный толпою, в первые минуты ничего не понимал.

— Чего вам от меня надо? — несколько раз переспросил он сердито, толкаемый и оглушенный густою толпой.

— Где подрядчик?.. Уплати нам жалованье и отпускай!.. Он вон удрал в город, а тут подыхай! Нечего, ребята, на него глядеть — напирай, требуй!.. Мы по закону, отдавай, что следует!.. Не желаем больше!..

Эти бессвязные возгласы беспрерывно раздавались со всех сторон.

— Да от меня-то чего вы требуете? — закричал, наконец, взбешенно Лобанович.

На этот вопрос снова послышалась бессвязная речь толпы, с инкрустацией из крепких слов. Наконец ближайший крестьянин, перекричав всю толпу, принялся предлагать Лобановичу более связные вопросы. Толпа на время затихла и сосредоточенно вслушивалась в следующий диалог:

— Ты позови нам, Василий Михалыч, подрядчика... самолично! — потребовал крестьянин.

— Да нет его здесь, — ответил Лобанович.

— Куда же он девался?

— А я почем знаю?

— Ты должен знать! Ежели его нет, — отвечай ты!

— Чего же мне отвечать? Чего вы, черти, облепили меня?— разозлился Лобанович.

— Подавай нам расчет — вот какой ответ!

— Да разве у меня деньги-то? Требуйте с подрядчика.

— И потребуем! Будет нас маханиной кормить! Окончательно не желаем больше!.. Подавай сюды!

— Кого?

— Подрядчика подавай!

— Да нет его здесь, а куда делся — какое мне дело? Он и мне вон не платит. Я вот и сам хочу уйти отсюда! — кричал Лобанович.

— Да тебе что! Ты задерешь хвост — только тебя и видели! А ведь у нас контракт, пашпорт!.. Когда же нас рассчитает?

— А я почем знаю?

Диалог в том же роде продолжался долго. Наконец толпа поняла всю бесплодность объяснения с человеком, который ничего не знает, для которого все это дело чужое и от которого ничего не дождешься. Эта мысль и была тотчас же кем-то выражена с добродушным пренебрежением.

— Да чего, ребята, разговаривать с стрыкулистом! Он, вишь, сам живот подвязал (Лобанович был подпоясан ремнем) с голодухи-то! Слышь, и ему жалованья-то не платит... Нам надо напирать на самого идола!

Через минуту после этого заключения толпа перестала обращать внимание на Лобановича, и он выбрался из нее, никем больше не останавливаемый.

Он отправился по линии. Но на работах стояли только башкиры. Их бритые головы с оттопыренными ушами мелькали на обычных местах по откосам и разрезам, где шли землекопные работы. Когда он подъехал к ним верхом и задал свой обычный вопрос:

— Скоро кончите?

Они отвечали также обычным ответом:

— Скоро кончим, бачка! Совсем скоро кончим!

Но все остальные рабочие побросали линию и разбрелись. По дороге всюду валялись ломы, лопаты, тачки; кое-где виднелись и сами рабочие, то кучками, то в одиночку, но никто из них не обращал внимания на него, когда он проезжал мимо. Что-то затевалось. Обычный порядок исчез.

Лобанович поворотил лошадь и поехал назад. Он хотел презрительно, с спокойным равнодушием сказать: «А мне какое дело?» — но это ему не удалось. Он был страшно взволнован разнород-

ными чувствами, боровшимися в нем. В то время как его лошадь, почувствовав опущенные поводья, плелась тихим шагом, в его голове бурно кипели мысли. Что ему делать? Если он махнет рукой и будет смотреть на этот наглый обман как посторонний зритель, — хорошо ли это? Рабочие возбуждены, и, быть может, вот в эту минуту они уже вдребезги разносят барак, —их надо удержать. Быть может, они уже сговорились бежать из этого проклятого места, где уже началась эпидемия, но их переловят, приведут, закабалят, —их надо научить. Им надо помочь вообще, иначе окажешься истинным «стрыкулистом».

Лобанович забыл обо всем на свете, только ломал голову над вопросом, что лучше всего посоветовать? Он долго и мучительно недоумевал. Но вдруг взгляд его сверкнул радостною решимостью, он схватил поводья и поскакал к бараку по рытвинам, через кусты, между грудами бревен и камней.

По дороге ему попалась телега с больными, которых увозили в город; они производили впечатление раненых, увозимых с поля битвы; из тряской телеги раздавались стоны. Несколько минут Лобанович ехал рядом с телегой, расспрашивая тех из лежащих, кто еще мог отвечать. Потом, взволнованный, с ненавистью во взгляде, он твердил про себя: «Какая наглость! Боже мой, какое наглое дело! И я присутствую при нем!»

Когда он подъехал к бараку, рабочие уже не толпились больше сплошною массой возле его дверей, а разбились на кучки. Идти на работу, конечно, не думали. Все чего-то ждали. Настроение толпы, как заметил Лобанович, изменилось к худшему; лица у всех были озлобленные и в то же время легкомысленные, почти хохочущие. Это было одно из тех настроений, которые разрешаются каким-нибудь бурным разрушением, так как никто уже не способен на правильный порядок мысли и действия. И в то же время все рады, что кончилась их обыденная, мучительная жизнь.

С обычною своею пылкостью Лобанович принялся за дело. Переходя от одной группы к другой, он объяснял рабочим, как лучше поступить в их безвыходном положении. Сначала его слушали с подозрительною недоверчивостью, но мало-помалу поддались на его разумные, горячо сказанные слова. И через короткое время он снова был окружен толпой, но на этот раз не дикой, как два часа назад, а озабоченной, внимательно слушающей и расспрашивающей:

— Что же нам делать-то? Ежели убечь — пымают? — спрашивали одни.

— Без всякого снисхождения пымают! —подтверждали другие.

— Пымают и опять посадят в это же место!

— Если вы так, безо всего убежите, то, кроме вреда, ничего не будет вам, — горячо возразил Лобанович.

— То-то и оно-то! Ну, и оставаться тоже нельзя! Ведь он нас по миру пустит!

— С голоду он нас тут изведет!

— Он что ведь придумал-то для нашей пищи... ведь он, разбойник, маханиной нас кормит! — закричал кто-то, и эти слова снова подняли крики в толпе, которая моментально опять приняла дикий, грозный вид.

Тут только Лобанович узнал, какой был повод всего этого переполоха. Сегодня утром кто-то из рабочих открыл в артельном котле лошадиную ногу. Весть об этой ноге быстро разнеслась по всей линии, всех взбудоражила и воспламенила накипевшее недовольство. До сих пор люди все переваривали: хлеб с глиной, протухлое мясо, горькую крупу, болезни, но лошадиную ногу никто не мог переварить. Быть может, она попала случайно, от башкирской провизии, но рабочие были уверены, что их все время кормили лошадьми, и взбесились, оскорбленные в своем религиозном отвращении.

Когда бешеная ругань, вызванная напоминанием ноги, немного улеглась, некоторые из присутствующих принялись шутить, открыв во всем этом комическую сторону.

— Башкиру это ничего! Он поездит на коне и апосли съест его! За мое почтение скушает!

— Башкиры и у нашего подрядчика с голоду не пропадут. В случае недохватки, они сварят его лошадей.

— Жаркое сделают!

— И котлеты!

— А знаете, ребята, от которой лошади ногу-то в котел положили?

— От какой?

— От того мерина, на коем нам пищу из города возили! И, стало быть, братцы, пищи нам теперь не на ком доставлять!

— Да для чего она нам, пища-то? И мерина хватит... эвона насколько!

Воспользовавшись этим шутливым настроением, Лобанович рассказал, что всего лучше предпринять. Он посоветовал, прежде всего, послать депутацию к главному инженеру с жалобой, затем предложил в то же время от лица всех артелей написать иск в суд, с просьбой об уничтожении контрактов. Оба предложения вызвали шумное одобрение, — они не выходили из закона.

Мигом откуда-то появился стол, бумага, чернила; мигом несколько человек обломали вокруг стола кусты, где происходило это совещание; кто-то принес для Лобановича обрубок дерева вместо стула, и началось составление прошений. Толпа затихла, разговоры почти смолкли. В кустах слышно было пе-

ние пташек; из соседнего леса раздавалось нежное воркование горлицы. Никто не хотел мешать Лобановичу.

Со стороны просителей сделано было только несколько предложений, между прочим, и относительно лошадиной ноги.

— А об ноге-то напиши все как следует, — заметил один грамотный мужик из «вячких», в виде наставления.

— Напишу.

— И приложи к прошению.

— Чего?

— Да ногу-то... При эфтом, мол, прилагается лошадиная нога от старого мерина... которая нога найдена, мол, в котле!

— Это зачем же? — спросил Лобанович, недостаточно понимая.

— А мы ее подадим вместе с просьбой.

— Ногу-то?

— А то как же? Иначе ведь нам, родной, не поверят. Она у нас спрятана.

Лобановичу стоило большого труда отговорить от «приложения».

После составления просьб для всех артелей и подписи их присутствующими немедленно была послана депутация к главному инженеру, который находился верстах в двадцати; просьбы же взяли на хранение артельные старосты.

Весь этот день прошел в волнении. Лобанович был страшно возбужден, как будто вся эта история была его собственным, кровным делом, но он чувствовал себя весело, легко, как будто освободился от какой-то гнетущей тяжести. До поздней ночи он шатался по окрестным трущобам и без умолку пел, и сильный, дикий голос его еще и в полночь раздавался в лесу, гармонируя с дикостью окружающей природы.

На следующий день он проснулся поздно и тотчас же от барачного сторожа узнал о событиях этой ночи. Депутация, посланная к инженеру, еще не воротилась, а быть может, убегла с дороги. Артель «вячких» на рассвете тайно скрылась неизвестно куда, захватив с собою исковое прошение и лошадиную ногу.

Лобанович с злостью выругался.

Но не успел он достаточно осердиться на глупость «вячких», как пришел какой-то человек с дальней части линии и сообщил, что там две артели также бежали ночью. Бегство, очевидно, открылось по всей линии.

Когда он отправился вдоль дороги по своему участку, он никого там не нашел, — только башкиры находились на своих местах, да и они бросили работу и мирно спали на солнечном припеке. Он пошел назад, не зная, как убить время.

Что он будет дальше делать — это смутно представлялось ему. Вчера ему некогда было заниматься вопросом, — он совершенно забыл себя. Но сегодня другое дело. Сегодня ему надо было решить, как быть. Однако он не знал, как быть. Ясно было только одно: пребывание его здесь кончено, места у него больше нет и впредь не будет.

Впрочем, он дожидался разъяснений.

К вечеру приехал подрядчик и, узнав обо всем, сильно упал духом. Лобановичу он сказал каким-то жалким голосом:

— Эх, господин Лобанович!

Лобанович даже по человечеству пожалел его.

— Разорился я теперь до смерти! — добавил жалко подрядчик.

Но немного спустя жалкие чувства в нем заменились необычайною злобою. Он вдруг заметался, велел заложить лошадей, отдавал какие-то приказания и что-то кричал. А при встрече с Лобановичем вдруг обратился к нему с злобным укором:

— Стыдно вам, господин Лобанович!..

— Что стыдно? — спросил последний угрюмо.

— Так, ничего! Только стыдно!.. Как состояли вы у меня на службе, то и не должны были супротив меня бунтовать!..

Лобанович взбесился на эту глупость.

— Слишком много чести для вас, если против вас бунтовать! — сказал он.

— Да, очень стыдно!.. Даже совсем нехорошо! — злобно сказал подрядчик, садясь в телегу. — Но я покажу, как бежать от меня! Я их всех переловлю! Я... по закону! У меня контракт!.. Я из земли выкопаю их; они меня, подлецы, разорили!

Он долго еще кричал в том же роде, пока телега не скрылась за кустами. «А ведь непременно поймают!» — подумал Лобанович, и у него сжалось сердце при мысли о тех, кого опять сюда притащат умирать.

Другое разъяснение, как быть, явилось со стороны инженера-приятеля. Он встретил Лобановича, по-видимому, с прежнею симпатией, но для последнего стало заметно, что он ведет себя неискренно. Между ними ни слова не было сказано о событиях дня; Лобанович ждал, когда первым заговорит инженер, но тот намеренно уклонялся от разговоров. Только когда Лобанович угрюмо стал прощаться, инженер вдруг смутился, и с его языка сорвалось несколько искренних слов, с искренним, крепким пожатием руки.

— Советую вам, милый человек, немедленно уезжать от нас, пока против вас не начали дела! — сказал он с волнением.

— Какого дела? За что? — спросил Лобанович.

— Мы не любим, когда мешаются в наши семейные дела!

— Да что же мне сделают? И за что?

— Не спрашивайте, но ради бога уезжайте!

Инженер при этих словах еще раз потряс руку Лобановича.

К вечеру последний собрался. Лошади подрядчика все были в разгоне, да если бы и налицо они были, Лобанович отказался бы от них. Недоплаченного жалованья он также не стал добиваться. Взвалив чемодан на плечи, он отправился пешком до ближайшей деревни.

Дорогой он еще раз мучительно переспросил себя, куда ему идти? Куда он теперь денется? Иван Иванович и все друзья встретят его вопросом: «Уже?!» А Катя с недоумением начнет его расспрашивать, как все это случилось и что он намерен предпринять.

При этом воспоминании вся кровь бросилась к его лицу, и в сердце его закипели гнев и отчаяние.

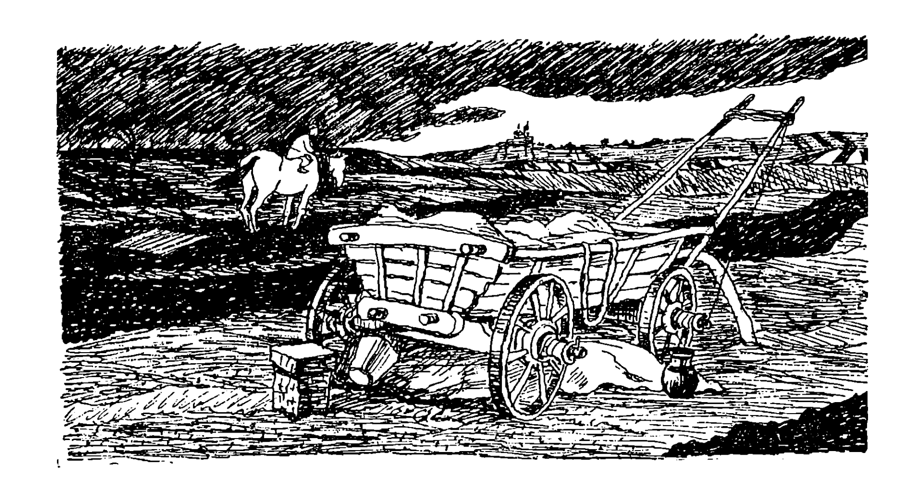
Он должен был отправиться на пристань, от которой завтра пароход отправлялся в N, — тот город, где жила девушка и все его друзья. Но когда он дошел до перекрестка, где дороги расходились, он с гордым отчаянием свернул на глухую лесную дорогу и только мысленно послал прощальный привет своей любви.

Прошло около двух лет. Катя давно вышла замуж за Ивана Ивановича, и они безотлучно жили в N. Иван Иванович бросил бродяжную жизнь ради любимой женщины, не переходил больше с места на место, а прочно устроился. Они снимали маленький домик, весь в саду, с венецианскими окнами; по зимам он освещался солнцем, как клетка, а летом в нем веяло прохладой; в комнатах, убранных с безупречным вкусом, пахло фиалками, резедой и гиацинтом. Это были любимые цветы Ивана Ивановича, и Катя наполняла ими все комнаты, ставя букет из них и на стол мужа. Ей было только жаль, что они так скоро отцветают.

Они жили дружно, работящею жизнью и без скуки. Иногда им вспоминался Лобанович, карточка которого стояла на столе у Ивана Ивановича, но эти воспоминания не расстраивали их взаимной любви; напротив, после всякого такого воспоминания Катя нежно целовала мужа, а этот последний с грустью жалел любимого товарища.

О Лобановиче около года совсем не было слышно; он как будто в воду канул. Потом стали по временам доходить слухи, но такие неясные, как будто они доносились с того света, из другого, неведомого мира. В первое время Червинский старался наводить справки о былом друге, но мало-помалу перестал; жизнь дня так полно занимала его время, что некогда было интересоваться еще делами, выходящими за пределы этой жизни.

Катя была счастлива. Только по временам, в тихие сумерки, когда дневные хлопоты прекращались, на глазах ее появлялись слезы и сердце сжимала какая-то беспредметная тоска о чем-то небывалом, неиспытанном, — о том, чего, быть может, вовсе нет. Иногда в глухие сумерки слезы ее переходили в рыдания, как будто она хоронила кого-то. Но на следующее утро она снова вставала веселою, бодрою и хлопотливою.



ПЕРВАЯ НЕПОГОДА

(Из детских рассказов)

Сенька всю жизнь будет помнить этот день, вследствие разных приключений, которые тогда случились с ним.

Еще накануне в отце и матери он заметил нечто неладное для себя, — глядя на него пристально, отец и мать молча переглядывались. Отсюда он сделал заключение, остававшееся до сих пор всегда правильным, что его хотят высечь веником; поэтому он дал себе в уме слово — при первой опасности дать стречка, и уже нарисовал план спасения — удрать на задний двор, оттуда через плетень в огород, через капусту в кусты и опять через плетень, а там его только и видели. Составив этот искусный план, он был все время настороже, до тех пор пока не уснул.

Когда он уснул у порога сеней, утомленный дневной беготней, мать нежно взяла его на руки, отнесла на кровать в сени, укрыла и с любовью погладила его льняную голову. Это показывало, что сечь его никто не собирался. Отец его просто решил, что завтра он в первый раз возьмет его в поле боронить. «Будет ему болтаться!» — сказал он. Мать уговаривала пообождать,— Сеньке не было еще и шести лет; но отец не согласился. Сенька, правда, был мал ростом, не выше отцовского сапога, но зато крепкий и тугой, как хороший кочан капусты, бойкий и «вострый».

— Будет баловаться! надо работать! — окончательно решил отец, и мать не перечила больше, хотя в сердце ей было жалко ребенка.

Прошла ночь. Отец и мать Сеньки встали чуть свет. Отец приготовил все к отъезду; мать связала в узелок хлеб и налила в бурак молока; а Сенька все еще спал, — его жалко было будить. И только когда все было готово, мать подошла к нему и стала будить. Сенька, не продрав еще глаз, живо вспомнил о своем вчерашнем опасении и уж намерен был дать стречка из сеней на двор, нырнуть под телегу, а оттуда на задний двор через плетень, но в эту минуту отец с улыбкой сказал ему, что он едет в поле боронить.

Сенька быстро протер глаза; сообщенная новость привела его в восторг и так сильно взволновала его, что он впопыхах выбежал на двор, засуетился там и принялся карабкаться на одну из лошадей. Он схватился одной рукой за гриву, а другой старался уцепиться за спину лошади, в то же время болтая ногами под брюхом у животного; во время этой возни и хлопот он раза два шлепнулся на землю, но в конце концов все-таки с торжеством очутился на костлявой спине одра.

— Молодец! — похвалил отец и обратился к матери:

— Ну, мать, благослови нас, с богом...

Мать перекрестила Сеньку и за пазуху положила ему три яйца для завтрака. Тогда отец выехал со двора, а за ним двинулся Сенька, верхом на лошади, тащившей опрокинутую вверх зубьями борону.

Утро стояло свежее, с сырым холодным воздухом. Сенька был в одной рубашке, босоногий, без шапки, и ему стало холодно; так холодно, что он вздрагивал всем своим крохотным телом, но все-таки весело перекликался с отцом.

Скоро они выехали за деревню в поле. Было все еще рано. Сенька устремил взоры на ту светлую полосу неба, откуда должно было показаться солнышко; оно скоро и показалось. Сперва за лесом засветилась красная полоса с блестящими стрелами, летевшими высоко вверх, потом быстро выплыл из глубины огненный шар. Поля осветились золотистым туманом, лес из темного вдруг сделался зеленым, и мрак исчез. Запели повсюду жаворонки, затрещали кузнечики, с шумом пролетела стая грачей; а позади Сеньки слышался рев выгоняемых стад, лаяли собаки, ржали лошади, раздавались голоса людей.

В первый раз Сенька так рано очутился в поле и с изумлением оглядывался по сторонам; в маленьком сердце его было так торжественно, что он безмолвно, с глубокой задумчивостью наблюдал окружающие его картины.

До места, где находилась отцовская пашня, было недалеко от деревни, и они скоро туда приехали. Отец выпряг лошадь

из телеги и запряг ее в соху. Потом он взял Сенькину лошадь, свел ее на вспаханную полосу, опрокинул борону зубьями вниз и стал учить Сеньку, как надо ездить. Сенька живо понял свое дело и под конец даже сурово возразил отцу:

— Да уж будет! знаю!

— Ну, ладно ни то... — сказал с улыбкой отец. — Борони тут, а я поеду пахать... Да гляди, парень, не балуйся!..

Отец после этих слов поехал на пашню, и Сенька остался один в поле. Кругом него не было ни души. Во все стороны тянулись поля с зелеными хлебами, поля, обработанные под пар, и поля, поросшие сорной травой; вдали виднелся лес; вблизи, в том месте, где стояла телега, начинался овраг с крутыми боками, поросшими чилигой, а за оврагом луга с озерами.

Сенька остался один на этом широком пространстве; над его головой было небо, кругом бесконечные поля, но людей нигде не видать было; только слышались откуда-то человеческие голоса, да пели птицы, да насекомые летали кругом...

Но он не боялся, что остался один. На первых порах его все интересовало. Он оглядывался назад и наблюдал, как прыгала борона по пластам черной земли, разрывая ее на мелкие куски; вертелся на спине лошади, погоняя ее громкими криками; и когда вислоухое животное переставало повиноваться ему, он страшно ругался с ней и сердито дергал ее за узду; в промежутках же между этими криками он пел во все горло какие-то песни, заглушая птиц.

Так он провел часа два. В это время с ним произошла первая неприятность. Как-то свалилась узда с лошади. Чтобы снова надеть ее за уши животного, ему лучше было бы слезть; но он не захотел слезать, а принялся надевать узду прямо передвинувшись только на шею лошади, и в хлопотах как-то оплошал, неловко повернулся и — бац! Сверзился вниз головой и воткнулся носом в землю. Но от такой неожиданности он не заревел — стыдно было бы реветь, как баба! хотя из носу у него капала кровь. Он испугался только того, как бы отец про это не узнал; поэтому, чтобы скрыть следы оплошности своей, он стал прикладывать к носу сырой земли, отчего кровь вскоре перестала капать, заклеенная грязью.

Покончив с этим делом, Сенька снова кое-как забрался на спину лошади и опять стал боронить. Однако теперь езда ему уже несколько надоела. Скучно ездить все по одному и тому же месту вокруг одной и той же полосы. Сеньке захотелось поиграть.

Но он долго удерживался от этой преступной мысли. Он знал, что он поставлен дело делать, а не баловать. Он знал, что не боронить нельзя.

А все-таки ему стало скучно: захотелось до смерти побегать. Еще вчера он был вольный, как ветер. Вчера он с раннего утра

бегал всюду, где хотел, и делал все, что было приятно. Сначала, держа в зубах пояс, он изображал коренного коня, который гнет шею дугой, роет ногами землю и ржет; Сенька отлично ржал, лягался и скакал рысью. Затем, когда ему наскучило быть конем, он с товарищами стал играть «в старшину», причем роль старшины взял на себя он. Представление состояло в следующем: старшина приказал грозным голосом привести виновного в неплатеже податей и разложить его для наказания; виновный встал на колени и с плачем стал умолять грозного начальника помиловать его; но старшина с азартом закричал, чтобы «негодяя положили на землю». Его положили. Десятский взял прутья и стал сечь лежащего; но сек так добросовестно, что дело зашло далее пределов, обозначенных в драматическом представлении; виноватый вдруг вскочил с земли с великим ревом, оттолкнул десятского, а старшину ударил по роже, после чего старшина в свою очередь заревел, как теленок, пустился удирать от неисправного плательщика; залез ради спасения под амбар и оттуда показал язык, что уже не соответствовало величию его сана... Впрочем, товарищи скоро помирились и стали играть «в вора», при этом Сенька из старшины превратился в Палкашку, был привязан к плетню на веревке и отлично лаял, зачуяв вора. После того они еще бегали ловить стрижей на крутояр, находившийся за деревней...

Вспомнив все это, Сенька совсем заскучал, и ему просто несносно стало сидеть без движения на костлявой спине одра. Да и устал он, и есть захотел, а отец что-то долго не показывался.

Вдруг невдалеке от полосы Сенька увидал суслика, и сердце его забилось от восторга, как у всякого охотника. Раньше он несколько раз ловил «петелкой» сусликов, и теперь — мог ли он удержаться от соблазна? Нора была так близко, суслик так нагло свистел, а сердце так сильно стучало в нем, что он не выдержал — забыл отца и бороньбу, забыл честь и совесть и соскочил с лошади. Сделав из своего пояса петлю, он бросился к норе зверька и принялся ставить ловушку, для чего пал на брюхо перед норой и в увлечении забыл все на свете.

— Что ты тут делаешь? — вдруг раздался голос отца над распростертым Сенькой.

Сенька вскочил как ужаленный.

— Ловко же ты боронишь! — продолжал отец.

Сеньке было так стыдно, что на глазах у него показались слезы.

— Ну да ничего, на первый раз хорошо заборонил... Пойдем завтракать.

Завтрак происходил торопливо и недолго. Отец после этого отвел Сеньку на другую полосу, указал, как боронить, и снова уехал. Сенька опять остался один.

Опять он ездил по вспаханному полю и скучал, а скука после завтрака сделалась еще сильнее. Он тоскливо глядел по безлюдному пространству, но не находил нигде развлечения. Было страшно жарко. Солнце немилосердно жгло его непокрытую голову. Он разомлел; на него напала непреодолимая дремота.

Чем дальше, тем хуже. Воздух сделался удушливым. Лошадь, таща борону, тяжело дышала. Птицы тревожно перекликались, как будто ожидая чего-то. Так бывает перед грозой.

Сенька совсем задремал. Тело его опустилось; руками он уцепился за гриву лошади и покачивался из стороны в сторону, еле держась. Он то поднимал отяжелевшую головенку, то опускал; веки его то закрывались, то открывались.

Он был готов совсем заснуть, как вдруг послышался гром. Сенька поднял голову и удивился, как все изменилось вокруг него. Солнце скрылось. Воздух стал прохладный. А прямо перед его глазами чернела огромная туча, занявшая половину неба. В середине ее то и дело сверкала молния и слышались длинные раскаты грома.

Наступила повсюду мертвая тишина. Сенька обвел глазами поле и никого не нашел. Он был по-прежнему один среди поля. С смутным беспокойством в душе, он поглядывал в ту сторону, куда уехал отец, но и там никого не было.

А гроза быстро приближалась. Молния ярче сверкала; гром гудел уже над самой головой маленького ребенка. Но все еще было тихо.

Но вот налетел ветер с страшной силой. Вокруг Сеньки все вдруг закрутилось — солома, листья, земля и песок. Ветер завыл и засвистел, и Сеньку чуть не снесло вихрем на землю. Он судорожно ухватился руками за гриву лошади и замер на ней.

Потом хлынул дождь, и Сеньку в одну минуту смочило. Раздалось еще несколько ударов грома, нагнавших ужас на мальчика.

— Тятька-а! — вдруг инстинктивно закричал он.

Но отец, конечно, не слыхал его.

Сенька заплакал. Он сидел на лошади, судорожно ухватил ее гриву и ревел.

Но это продолжалось недолго. Дождь так сильно начал хлестать тело Сеньки, что ему некогда было долго реветь. Бросив вдруг это бесполезное занятие, он повернул лошадь, прискакал на ней к телеге, соскочил на землю, замотал повод узды на телегу, а сам юркнул под телегу.

Там было все-таки лучше. Дождь хлестал и там, но не так больно; гром и под телегой гудел, но не было так страшно. Сенька подобрал под себя ноги, весь скорчился и неподвижно сидел, бледный и перепуганный. Ему стало холодно; смоченный

с головы до ног, он вздрагивал всем телом, а укрыться было нечем.

Вдруг он заметил рогожу, которой прикрыт был хлеб под телегой; это была несчастная мысль.

Он стащил рогожу с места и надел ее себе на голову... Но едва он успел это сделать, как вокруг него произошло что-то непонятное: раздался вдруг какой-то треск, телега покачнулась набок, что-то лопнуло, послышался какой-то топот...

Это Сенькин одер испугался двигавшейся под телегой рогожи.

С ужасом выглянув из-под рогожи, Сенька моментально сообразил, что лошадь его оторвалась и вместе с бороной ускакала куда-то; вместе с тем он сообразил, что ее надо ловить, иначе случится какое-то несчастие. Он не слыхал больше грома, забыл молнию, не чувствовал ливня и бросился вслед за лошадью в середину водяного тумана и мглы.

Не видя земли под ногами, он нечаянно попал на край оврага, поскользнулся и покатился по косогору, через кочки и кусты на дно его, ударился головенкой о пенек и застонал:

— Мама-а!

Через час работники возвращались с поля. Гроза прошла: только на севере чернелась разорванная на несколько частей туча. Солнце выглянуло из-за леса и стало опускаться за деревья. Вечер настал тихий и теплый. Все обошлось хорошо. Большой работник сидел на передке телеги, а маленький, прикрытый кафтаном, лежал у него на коленях и не плакал больше, хотя ушибленная голова его сильно мозжала, а по телу пробегали от холода мурашки. Оба они молчали.

Только под самой деревней Сенька обратился с просьбой к отцу.

— Ты, тятька, не сказывай никому...

— Чего не сказывать?

— Да что я пал-то!

Отец с улыбкой обещал держать все в секрете.

В этот вечер Сенька был рано уложен спать. Мать напоила его горячим молоком, уложила на лавку и прикрыла шубой. И когда он уснул, она долго вглядывалась в его исцарапанное и выпачканное землей крохотное лицо, вглядывалась, и по щекам ее текли слезы.

Этими слезами мать прощалась с ребенком и встречала появление на свет нового мужика.



БОРСКАЯ КОЛОНИЯ

I

В РАЮ

После охоты Грубов и Неразов не пошли в село, а сделали длинный привал под огромными соснами, растянувшись на мягком боровом мхе, которым густо была покрыта песчаная почва этой части леса; тут же, возле них, в беспорядке валялись все охотничьи принадлежности — ружья, сумки, патронташи. День был знойный. Это был один из тех горячих дней, когда воздух кажется растопленною медью, земля тяжело дышит последними испарениями, вода превращается в стекловидную, мертвую массу; дальние поля, полузакрытые горячею дымкой, как будто тлеют медленным огнем, а сосновый лес, с своими красными стволами, издали представляется колоссальным костром, который без дыма и треска пылает неподвижным пламенем. Охотники долго бродили, только что выкупались и легли в самую густую тень леса. Но в этот день и тень не давала прохлады. Сквозь ветви деревьев солнечный огонь проникал до самой земли и раскалил сухую траву ее так сильно, что она, казалось, уже корчилась и дымилась, готовая мгновенно вспыхнуть; в воздухе носился резкий аромат шалфея, богородичной травы, полыни и смолы. Дышать в этой, насыщенной ароматами, атмосфере, по-видимому, нечем

было. По крайней мере один из приятелей, Неразов, побросав в разные стороны все свои вещи, и сам весь разбросался по траве; лицо у него было красное, горящее, глаза беспокойно бегали по сторонам; он то и дело переменял позы и, как говорится, метался от жары.

Зато другой, Грубов, лежа плашмя, лицом к небу, неподвижно оставался на своем месте с самого прихода сюда. Лицо его не могло раскраснеться даже и от этой жары; оно, как и руки его, оставалось бескровным. Кровь его, видимо, только нагрелась до естественной теплоты, и он покойно лежал, устремив взгляд на верхушки сосен. Он молчал и, по-видимому, не намерен был нарушать молчание, наслаждаясь лесным безмолвием, согретый гигантским костром, среди которого лежал, и вдыхая аромат спаленных трав.

Но Неразов, обладающий сангвиническим темпераментом, не в состоянии был долго сосредоточиться на созерцании окружающих красот и молчать; он имел язык, который привык к беспрерывному движению, и голову, в которой мысли зарождались, как ветер в поле. Катаясь по траве, сбросив с себя фуражку и сапоги, он проклинал жару, выругал солнце и, наконец, нетерпеливо обратился к товарищу с вопросом:

— Да неужели тебе не жарко, Грубов?

Грубов это восклицание пропустил мимо ушей, как и многое из того, что болтал Неразов.

— Пойдем домой... Неужели тебе нравится лежать в этом пекле?

Грубов и на это промолчал; он только неопределенно улыбнулся.

— У меня теперь одно желание: выпить жбан квасу... А ты чего хотел бы? — не унимаясь болтал Неразов.

— У меня другое желание, — возразил, наконец, Грубов. — Знаешь, что мне сейчас хочется?

— Окрошки с квасом? — живо осведомился Неразов.

— Не угадал.

— Простокваши?

— У тебя очень бледная фантазия, все больше насчет съестного.

— Ну, может, тебе хочется заняться философскими размышлениями?

— Лень.

— В таком случае, я уверен, тебе хочется повернуться вниз лицом и уснуть под этою сосной.

— Уснуть... вот это почти угадал. Мне нравится эта деревня, этот бор с его диким запахом, и я бы желал навсегда остаться тут... Я бы желал дышать этим смолистым воздухом, вставать вместе с горячим солнечным лучом, купаться в Боровке среди ее

водяных лилий, спать на шалфее, гулять под этими соснами. Но, увы, для этого необходимо все-таки иметь землю, хутор и прочую благодать.

— А я все-таки больше хотел бы сейчас квасу! — воскликнул Неразов.

В этом тоне разговор продолжался еще долго. Но, незаметно для обоих, шутка скоро перешла в деловой разговор, под конец сильно взволновавший обоих, хотя велся он и не серьезно.

— Ты в самом деле хочешь сесть на землю? — спросил Неразов.

— Хоть на навоз, — возразил шутливо Грубов.

— Один?

— Если желаешь, и ты садись.

— Нет, серьезно: ты в самом деле хотел бы сесть на землю? — спросил Неразов, поднялся с травы и с волнением смотрел на Грубова.

— Вообще я предпочитаю ходить или лежать, но отчего же не сесть?

— И ты бы навсегда остался?

— Сидеть-то? Бывает, что сядешь и уже не встанешь.

— А ведь это великолепная идея! — закричал Неразов.

— Неразов! не называй ты, сделай одолжение, идеями всякую дрянь, которая приходит в голову!

Но Неразов уже не обращал внимания на тон товарища, встал на колени и, воспламененный вдруг какою-то мечтой, родившеюся в его голове сию минуту, принялся подробно излагать план поселения в Бору. План этот вышел прекрасный, увлекательный и практичный, и Неразов говорил о нем через несколько минут, как о деле, которое давно и бесповоротно решено.

— Я это устрою. Отдаю свой хутор тебе целиком, в полную собственность, только с условием, чтобы ты и меня взял в число колонистов. Дохода он мне все равно не принесет никакого, да если бы и давал доход, то ради такого дела я навсегда откажусь от него. Решено — устраиваем колонию! Сперва мы поселимся вдвоем, а там примкнут... Если бы ты знал, как мне надоело бродяжить! А тут, ей-богу, какое чудесное дело будет! Мы будем пионерами... в сущности, задача человечества — это создание интеллигентного мужика! А? ты как думаешь?

Грубов с улыбкой смотрел вверх, сквозь переплетенные хвои, и щипал бороду, но, видимо, мысль о хуторе в ее разумном виде заняла его не на шутку.

— Прежде чем развивать этот миф, надо достать хоть немного денег, — возразил он.

— И достану! Это решено.

— А потом, прежде нежели мечтать об «интеллигентном мужике», как ты говоришь, надо научиться быть простым мужиком.

— Это пустяки! — воскликнул с жаром Неразов.

— А ты видел, как растет горох? — спросил в шутку Грубов, не ожидая, что смутит товарища.

Но этот последний вдруг сконфузился.

— Что ж, горох... я действительно не видал, черт его возьми, как он растет! Но этим пустякам легко научиться... не боги же горшки обжигают! Для интеллигентного человека нет ничего невозможного.

— Есть. Невозможно выворотить себя наизнанку — это первое. Для нашего же брата есть сотни других преград: надо принимать в расчет историческую лень, неудержимую потребность болтать и бездельничать, привычку много спать и мало думать, оборванные нервы, пеструю, составленную из лоскутков душу и так далее, и так далее... Люди мы во всех смыслах неправильные, с неправильно бьющимся сердцем, с бесконечною раздражимостью, и потому всякое дело мы делаем торопливо, кое-как, лишь бы скачать с рук. Мы только любим говорить о работе, но всякую работу делаем скверно, а сознание негодности всякой нашей работы, в свою очередь, опять рвет нам нервы, сжимает нам сердце, треплет душу... А вообще говоря, «сесть на землю», как ты выражаешься, полезное дело для тех из нас, которые ходят колесом, почти не касаясь земли.

Через некоторое время товарищи так были заняты темой разговора, что незаметно поднялись с травы, собрали свои вещи и пошли по направлению к селу, продолжая и дорогой, до самой околицы, спорить, кричать и волноваться, и эхо соснового бора вслед за ними повторяло звучно слова и выражения, которых это дикое место никогда не слыхало.

Встретились нынешним летом они случайно. Грубов работал в передвижном составе земской статистики, ездил для описи по деревням, но постоянную свою квартиру устроил в селе Бор. Неразов приехал посмотреть на свой хутор, лежащий вблизи Бора, и намеревался так или иначе разделаться с заброшенным именьицем. Но, встретив Грубова, давнишнего школьного товарища, он остался в Бору на неопределенный срок и все время проводил в его обществе. Когда Грубов уезжал работать в соседние деревни, туда ехал и Неразов; если Грубов сидел дома, и Неразов с ним; когда Грубов, находясь в своей квартире, занимался счетами, писанием и планами, Неразов молча сидел здесь же где-нибудь в углу и, по-видимому, не скучал. Он был человек без определенных занятий, без определенной сферы деятельности и потому был рад всякому человеку, который не гнал его от себя. Грубов не гнал, и Неразов следовал за ним; а если Грубов находил ему какую-нибудь работу, он с ревностью исполнял ее. Он не имел до сих пор ни человека, к которому бы мог привязаться, ни дела, которое оправдало бы его существование;



но, встретив Грубова, он как-то сразу нашел и то и другое, — быстро привязался к Грубову и был очень рад всякому его поручению. Теперь же, при мысли о колонии, возникшей в то время как они валялись в траве под соснами, он совсем размечтался, проникся важностью дела и сам был удивлен его перспективами, вдруг широко открывшимися перед его глазами. Его жизнь моментально приняла для него значение, яркую окраску, своего рода величие и бездну таинственности. Все это совершилось в течение какого-нибудь часа, который был ими употреблен на проход лесной дороги к селу. С сверкающими глазами, взволнованный и красноречивый, Неразов создал целый план поселения на его земле и выходил из себя от нетерпения, когда Грубов возражал.

Грубов продолжал насмешливо относиться к фантазии, больше молчал, неопределенно улыбался. Однако та болтушка, какую вдруг развел Неразов, в душе нравилась Грубову; мечта о поселении в Бору совпала с его настроением. К довершению всего, тихий Бор показал себя в этот день во всей своей прелести и усыпил сознание Грубова до такой степени, что он разомлел совсем.

Когда они пришли домой, Неразов вдруг таинственно куда-то исчез, а Грубов повалился на кожаный диван в приятном изнеможении. Настроение это было необычайное, — он ни о чем больном не думал. А такого блаженного состояния он уже давно не помнил, — то что-то в сознании болит, то нервы раздражены. А в эту минуту у него ничего не болело, — необыкновенное чудо! И с неопределенною улыбкой, лежа на жестком диване, он созерцал потолок, а на бескровное лицо его спустилась тень мира и покоя, как спускаются на землю тихие сумерки после знойного и бурного дня.

Вдруг дверь скрипнула.

— Митрию Иванычу почтение! — раздался вдруг голос Антона Петровича, хозяина дома.

Вслед за этими словами показался и сам Антон Петрович со своею смешанною физиономией, в которой счастливо сочетались морда лисы, челюсти волка, глаза кошки, движения дворовой собаки и тонкий голос рябчика. Грубов не любил его, в особенности за то, что в самом простом деле старик хитрил и в самом

обыкновенном разговоре держал всегда какую-то заднюю мысль; но в эту минуту и Антон Петрович показался ему простодушным человеком и милым мужиком, и он весело ему ответил:

— Здравствуйте, Антон Петрович!

— Изволили на охоту гулять? — тоненьким голоском спросил Антон Петрович и зачем-то хитро подмигнул.

— Да, гуляли...

— Очень это хорошо! Ну, только, доложу я вам, и жара же!

— Мне ничего, Антон Петрович... Голова у меня всегда горячая, а тело холодное; поэтому я всегда рад, когда голова делается холодной, а тело горячим.

Антон Петрович засмеялся от этой шутки детским смехом.

— Очень уж прекрасно сказали! Я вам вот что доложу: это у вас от малокровия. Вам надо больше гулять... Да вот я затем пришел, Митрий Иваныч... пойдемте в гости!

— Куда?

— Да тут к мужичку одному, к Алексею Семенычу... Звал он вас, заказывал мне беспременно привести вас...

— Меня? Разве он знает меня?

— Знать не знает, а видал, и желательно ему побеседовать с умным человеком... больно любит уж он беседовать! Читает божественные книги, и хоша толкует их неправильно, — укоряю я его за умствование, — но мужик ученый, божественный. Пойдемте. Чайку попьем, яблочками нас угостит, меду поставит. Садик у него прохладный, воздух там легкий... чудесно будет! А притом и старику лестно с вами покалякать.

— Что ж, пойдемте! — ответил Грубов и стал собираться.

Раньше он уклонялся от этих званых обедов и бесконечных чаепитий у мужиков: много тут неискренности и чванства. Пригласив к себе барина, мужик старается быть как можно более нежным, говорит утонченно, глупо, угощает надоедливо и вообще ведет себя ненатурально, словно на сцене. Но Грубов был в таком настроении, что забыл обо всем и наслаждался чувством благорасположения ко всем людям.

Когда они вышли из дома, солнце уже падало на середину темного бора, окружающего село; косые лучи его по всем направлениям бросали гигантские тени и не жгли, как недавно, а ласкали лицо; и воздух не душил, а оживлял грудь. В доме Алексея Семеныча, видимо, ожидали гостей, и лишь только они показались в калитке, как хозяин вышел им навстречу, а на крыльце стояла в ожидании вся его семья.

Как и надо было рассчитывать, Алексей Семеныч в первые минуты вел себя с ребяческою потерянностью; не знал, куда усадить Грубова, зря метался из одного угла в противоположный и сначала наговорил много несообразностей. Усадив сперва Грубова и Антона Петровича под образа, он вдруг всполошился,

когда заметил, что солнце из окна прямо бьет в глаза гостю; а поставив на стол чашку с медом, он вдруг увидал, что вместе с чашкой к столу прилетели тучи мух. Все это так его обескуражило, что он принялся болтать вздор.

— От солнышка-то, Митрий Иваныч, подвиньтесь вот сюды... А мухи-то... ведь проклятая какая тварь! Даже на удивление, какая их прорва!

Грубову смешно стало слушать ребяческий вздор этого огромного человека. Фигура Алексея Семеныча была крупная и могучая; на большой голове высилась целая шапка мягких, русых волос; под широким, мужественным лбом глядели выпуклые, светящиеся мыслью глаза; большой рот с толстыми губами был постоянно полуоткрыт простодушною улыбкой; великолепная мягкая борода его была устроена наподобие тех, какие рисуют суздальские живописцы на ликах святителей. Все лицо его вообще выражало честность, широту души, ясность мысли, — это была прямая противоположность Антону Петровичу с его лисьею, зоологическою физиономией. И действительно, смешно было смотреть на ребяческие движения и слушать ребяческий лепет этого крупного человека, когда он, ревнуя о наилучшем угощении, метался по избе; отдавал противоречивые приказания домашним, сердился на мух и на солнце, бившее своими косыми лучами прямо по глазам дорогих гостей.

— Да ты чего, Семенов, путаешься? Ты нас лучше веди в сад, да там и побалуй нас медком с чаем, — сказал, наконец, Антон Петрович покровительственно и этим разрешил волнение хозяина.

Но во время переноски в сад стола, скамеек и самовара долго еще не могли угомониться ни хозяева, ни гости. Наконец все было приведено в порядок; хозяева все установили, а гости уселись за столом. Мухи больше не летали тучами вокруг чашек с медом; солнце не било в глаза; его лучи освещали только верхушки яблонь и корону вяза, под которым все сидели.

Грубов и Антон Петрович сидели по одну сторону стола, Алексей Семеныч со старухой — по другую; остальные домашние и посторонние люди уселись как попало — кто на бревне, кто просто на траве, изображая из себя публику, не участвующую в угощении. В числе этой публики была и дочь Алексея Семеныча, молодая девушка Наташа; лицо ее было открытое, как у отца, и с такими же светящимися мыслью глазами; в общем она сильно походила на отца, только все черты ее вышли миниатюрнее и нежнее, как это всегда бывает с дочерьми, похожими на отцов. Около нее сидела мать Алексея Семеныча, дряхлое и сморщенное существо, лет восьмидесяти, и несколько баб. Недалеко от них на сучке дерева сидел работник Антона Петровича, Лукашка, парень лет двадцати, с мутными глазами, как у снулого окуня, и с лицом, поразительно напоминавшим большую



репу. Занятый собственными соображениями, он не обращал внимания на стол и бесконечно болтал голыми, потрескавшимися лапами и от времени до времени пугал воробьев, которые перед закатом солнца густыми стаями перелетали с крыш на деревья и обратно. Несколько раз он сопровождал Грубова на рыбную ловлю, и теперь всякий раз, как выдавался праздник, он звал его ловить чебаков; поэтому и в этот вечер он сгорал нетерпением насчет рыбной ловли, но не мог выбрать минуты, удобной для обмена мыслей с барином; другой, чуждый ему разговор мешал ему открыто обратиться к Грубову с своими рыболовными планами.

За столом мало-помалу завязался один из тех разговоров, которые так любят в свободные минуты мыслящие мужики: о боге, о душе, о правде и об истинной жизни. Алексей Семеныч в особенности страстно относился к этим разговорам; затем он и Грубова зазвал, — барина, который ему понравился уже в тот день, когда он впервые увидал его у себя на дворе при описи имущества. И теперь он с любопытством поглядывал на его бескровное лицо и доверчиво раскрывал перед ним все свои мысли.

В самом разгаре беседы Антон Петрович чуть было не испортил целого вечера своею ехидностью. Когда Грубов, между прочим, похвалил сад Алексея Семеныча, последний с удовольствием ответил:

— Слава богу! Пожаловаться не могу — живу по милости божией спокойно, тихо... это уж нельзя гневить бога!

Тогда Антон Петрович хитро улыбнулся.

— Ты, Семенов, не очень-то часто поминай тут бога-то, — не всякому ведь это приятно слушать!

— Отчего так? почему? — с удивлением спросил Алексей Семеныч и глядел то на Антона Петровича, то на Грубова.

— А потому, бога нынче не надо! Без него нынче спокойнее, говорят, — ехидничал Антон Петрович и привел всех присутствующих в недоумение. Алексей Семеныч наивно разгневался.

— Да как же это без бога-то? — сказал он и поочередно смотрел на всех присутствующих, ничего не понимая.

— Очень просто. Мы вот, дураки, полагаем, что вон там на небе бог, а ученые ругают нас за это, дураков, потому, говорят, там не бог, а зефир какой-то... Вы, говорят, дураки набитые, остолопы и больше ничего!

Устроив эту пакость, Антон Петрович счастливо улыбался и зачем-то подмигнул Грубову. Грубов понял цель глупых слов и приготовился дать хороший урок пройдохе при первом случае, но пока сдержался. Что касается Алексея Семеныча, то он принял все за чистую монету и на лице его явилось негодование.

— Да как же это без бога-то! Куда же деться-то?

— Куда хочешь, — возразил Антон Петрович.

— Да как же можно сказать — нету его? Как же без него-то?! — спрашивал с волнением Алексей Семеныч.

— Да зачем его? Ни к чему он ученым! И даже совсем его не надо! На небе зефир, — это я сам читал. А солнце, и луна, и звезды — это все само собой вертится, без произволения.

— Будет тебе врать-то, Антон Петрович! — вдруг вмешался Грубов. — А ты, Алексей Семеныч, не слушай этой болтовни. У каждого человека есть свой бог. Нет его только у дурных людей, которые в душе злы, в жизни зловредны, к людям ненавистны...

И Грубов, говоря это, в упор посмотрел на ехидного старичишку и заставил его опустить взоры в чашку с чаем. Тогда все поняли намек Антона Петровича и сконфузились за него, в особенности сам Алексей Семеныч и его дочь. Алексей Семеныч с укоризной взглянул на Антона Петровича, а девушка даже вспыхнула от негодования; она ничего не сказала, но лицо ее как будто говорило:

— Как же можно так обижать гостя?

Грубов за одно это мгновение полюбил обоих — отца и дочь. А через минуту он забыл и злостную выходку своего хозяина. Он перевел разговор на тему о разногласиях в вере между людьми и незаметно заставил Алексея Семеныча и Антона Петровича вступить в горячий спор по «божественным» вопросам. Настроение всех присутствующих снова сделалось глубоким и тихим, как глубоко было небо, с которого только что спустилось солнце, как тих был вечер... По улице прошли последние стада, возвращавшиеся из поля; затихли хлопанья пастушьих кнутов и рев животных; перестали мало-помалу скрипеть колодезные журавли; все затихло. Слышались только отдельные звуки и голоса, в одном месте лошадь заржала, в другом заплакал ребенок, откуда-то доносится песня, где-то смеются, кто-то ругается. Наступили сумерки.

Алексей Семеныч и Антон Петрович спорили и попеременно обращались к Грубову то с торжествующими, то сконфуженными лицами, хотя он и не вмешивался в спор. Однако и в этом

отвлеченном споре резко обнаружились характеры спорщиков. Антон Петрович спорил зло и насмешливо и подыскивал коварные возражения, а Алексей Семеныч спорил горячо и с волнением; Антон Петрович все время оставался холодным и обдумывал каждое слово, а Алексей Семеныч каждое слово принимал к сердцу, то и дело выходил из себя и часто говорил бессвязно; глаза его тогда были вытаращены, борода тряслась. В Антоне Петровиче, видимо, играли только самолюбие, потребность в умственном развлечении и жажда умственного торжества; в Алексее Семеныче говорили глубокая вера и жажда истины.

Они спорили о боге и правде, но особенно резко разошлись в вопросе о будущей жизни. Антон Петрович, на основании писания, место будущей жизни отводил на небе, Алексей Семеныч, на основании того же писания, на земле. Но писание скоро было забыто, и каждый говорил лишь от разума. Все присутствующие, не исключая и Грубова, задумчиво следили за развитием спора и мысленно дарили сочувствием то того, то другого из споривших. Сначала симпатии всех склонились на сторону Антона Петровича, насмешки которого жестоко били Алексея Семеныча.

— Нет, ты мне скажи, как ты понимаешь рай-то? — спрашивал, например, насмешливо Антон Петрович после обмена многочисленными изречениями из писания. — В каком ты виде воображаешь-то его?

— Мир совести и душевное блаженство... — отвечал Алексей Семеныч испуганно.

— Нет, ты не так воображаешь!

— А как же?

— А вот как. По-твоему, рай, стало быть, на земле, так?

— Ну, так.

— Ну, вот ты в земном виде и воображаешь его. Дадут мне, мол, землю и садик эдакий с яблоками с анисовыми, и буду я блаженствовать!

— Совсем даже не так... — растерянно возражал Алексей Семеныч.

— Нет, так. По-твоему, призовет тебя бог и скажет: на, мол, тебе, Семенов, яблочка за добродетель!

— Совсем даже и не яблочка! — растерялся Алексей Семеныч.

— Да, по-твоему, не иначе. Как у тебя рай на земле, то по земному ты и воображать должен... Будут кормить тебя в этой будущей жизни медом, яблоками, пирогом со щучиной, и будет много пашни, и хлеба, и лошадей, и всего прочего земного. Стало быть, мысли твои грубые, земные... Нет, Семенов, эдак нельзя мечтать!

Антон Петрович с торжествующею улыбкой оглянул всех присутствующих. А Алексей Семеныч стал красным, как свекла,

и волнение его было так сильно, что он некоторое время тяжело дышал. Ему больно стало от этой насмешки над чистым верованием, которое он носил в душе, как святыню и как собственное свое открытие.

— Ты ударил меня, Петрович, по голове, но с ног не сшиб! — проговорил он в сильном волнении и дрожащими руками перебирал предметы на столе — чашки, блюдечки, тарелку с медом, как человек, который временно потерял дорогую мысль и торопливо ищет ее.

Но он скоро отыскал пропавшую мысль и заговорил, сначала бессвязно, потом все с бо́льшим и бо́льшим воодушевлением. Видно было, что он упорно и много думал обо всем этом и перед его умом стояла законченная картина, каждая часть которой с любовью рисовалась им в течение целой жизни. По мере того как он говорил, все присутствующие переходили мысленно на его сторону и еще более воодушевляли его своими взглядами сочувствия. Иначе не могло быть; его слова были жизненны, верование отличалось человечностью, его мечты прямо били в сердце. Он также говорил о правде и об истинной жизни, о боге и рае, но в его словах, часто шуточных, все было понятно простому слушателю.

Он говорил, что рай будет на земле и нигде больше... Придет пора, настанут времена, после второго пришествия, когда земля обратится в жилище духов... Скроется в преисподнюю царь зла, и с ним вместе навсегда скроется смерть. Не будет ни холода, ни ночи, ни тьмы, ни смерти, а будет свет вечный, животворный. Скроется зло, и порок, смертоубийство, и вражда посреди людей, и люди те будут как братья. Ни цепей, ни наказания, ни войн, ни страха не будет, а настанет одна любовь и мир. И не только люди, но даже звери, и птицы, и гады, и ядовитые мухи станут жить мирно, не проливая крови друг друга; лев будет покорно служить человеку, а человек с любовью приласкает змею.

По мере того как он говорил о будущей жизни, слушатели замирали в напряженном внимании. На мгновение каждый задумался и слушал с наслаждением слова, напоминающие о чем-то необыкновенном и таинственном. Девушка, слушая отца, счастливо улыбалась; жена подперла рукой щеку и забыла о подойнике, лежавшем на полу; старая старуха о чем-то плакала, и слезы непрерывною струей текли по глубоким бороздам ее желтого, высохшего лица. Даже Антон Петрович смотрел добрее и не прерывал речи приятеля.

Только один Лукашка скучно хлопал своими рыбьими глазами. Воробьи, в которых он бросал комья земли и палки, угомонились в ветвях ветел, и только над головами сидевших пели комары. Поэтому, улучив минуту, когда Алексей Семеныч на время остановился, Лукашка сказал, обращаясь к Грубову:

— Пойдешь нынче ночью рыбачить?.. Дюже щука берет! Вчерась я смотрю жерлицу, а она уж сидит... агромадная! Я ее потянул к себе, а она ка-ак дерболызнет по жерлице хвостом... и ушла!

Все присутствующие даже вздрогнули от этих слов Лукашки и сначала с изумлением посмотрели на него, как бы не понимая. Но всех больше оторопел Антон Петрович.

— Пошел вон, дурак! — строго сказал он.

Лукашка конфузливо подобрал свои голые лапы под сук дерева, на котором сидел, но не тронулся с места, только глупо ухмылялся.

— Пошел, говорю тебе, вон отсюдова, свинья эдакая! — крикнул, наконец, Антон Петрович, и Лукашка тихо, как прибитая собака, поплелся из сада, шурша своею новою ситцевою рубахой.

Но с его уходом расстроенное им «божественное» настроение уже не могло вернуться. Все вдруг вспомнили, что уже поздняя ночь, а вместе с тем вспомнили, что у каждого осталось недоделанным какое-то дело, и быстро разошлись, глубоко вздыхая. Антон Петрович также торопливо ушел. Только Грубов еще некоторое время оставался в саду; но в воздухе стало сыро, трава под ногами покрылась росой; на небе загорелись мириады звезд; все окружающие предметы окутаны были мраком; Грубов и Алексей Семеныч продолжали тихо говорить, но почти не видали лица друг друга.

Грубов, наконец, поднялся со скамейки и стал прощаться с Алексеем Семенычем.

— Пора домой... Но как у вас хорошо в Бору! — невольно сказал он.

— У нас чудесно!

— Так бы и остался навсегда с вами!

— Так что ж, и оставайтесь!

Грубов так мягко, блаженно был настроен; Алексей Семеныч внушал ему такое уважение, что он вдруг рассказал проект поселения на неразовском хуторе. Алексей Семеныч одобрил мысль.

— Да какие же мы хозяева? — возразил Грубов.

— Научитесь... Мы поможем, и будете жить!

В этом роде они еще долго разговаривали, когда по выходе из сада шли по улице, а когда совсем простились, Грубов незаметно для себя согласился устроиться на земле. Все то, что было тяжело и неприятно, — все, что было рискованно в проекте, было им в эти минуты забыто, а все чудесное, хорошее выдвинулось в его уме на передний план. Этот ароматный, одуряющий воздух, эти «божественные» беседы, этот мыслящий, честный Алексей Семеныч, его сад, его дочь с светящимся мыслью лицом,

все эти простые люди, и эта тихая ночь, и звезды на небе, и покой своей собственной души — все это выступило на передний план, а вся остальная половина его едкого, вечно возмущающегося сознания покрылась густым мраком. То, что он за день перед тем счел бы глупостью или невозможным делом, теперь было для него ясно, как день; тихое, похожее на сон существование вдруг показалось ему теперь идеалом, и необычайный рай водворился на время в его неверующей душе.

На другой день, когда к нему пришел Неразов, он сам считал поселение на хуторе как бы решенным делом. А месяц спустя это поселение формально осуществилось, причем во вновь учрежденную колонию по приглашению приехал третий член, некто Кугин. В конце лета колонисты уже кое-что работали под руководством Алексея Семеныча и Ефрема Осипова, вошедших в колонию в качестве пайщиков, только без права голоса. Сначала было много смеху, веселья и новизны для всех, и жизнь пошла легко, как веселая шутка.

Первая крупная неожиданность, совершившаяся в колонии,— это женитьба Кугина на Наташе, дочери Алексея Семеныча. Это была поистине неожиданность для всех. Но случилось это так быстро и само по себе было так бесповоротно, что, по-видимому, все остались довольны. Жизнь опять пошла сносно, только уже не казалась шуткой. По крайней мере Грубов стал задумываться над своим положением, а это привело в движение весь его сложный нервный аппарат.

II

НЕРВНЫЙ АППАРАТ

В конце осени к колонии присоединился четвертый член.

Однажды Грубов, по поручению товарищей, отправился в город закупить некоторые вещи, необходимые в хозяйстве. Чтобы не терять времени, он остановился не у знакомых, а в дешевой гостинице, и тотчас после приезда отправился по лавкам за покупками. Но так как всякое дело он исполнял с величайшим волнением, так сказать, в присутствии всего сознания целиком, то это простое дело под конец привело его в ужасное состояние. Простой человек сделал бы все это просто: обходил бы лавки, везде крепко бы поторговался, пошутил или поругался бы с лавочниками, выгодно все купил бы и, возвратившись с прекрасными покупками домой, в номер, плотно закусил бы солянкой с перцем и еще до отхода обратного поезда успел бы блаженно всхрапнуть на провалившемся диване гостиницы. Но не так вышло у Грубова. Торопясь поскорее все сделать, он первую вещь купил торопливо, не разглядев, что она плохая; а когда разгля-

дел, пришел в раздражение и пошел в лавку, чтобы возвратить ее; но так как лавочник был не дурак и взять назад вещь отказался, то Грубов прямо-таки разозлился и назвал лавочника мошенником. Вторую вещь он купил великолепную, но зато очень дорого, и сознание этой ошибки еще подлило огня в его раздраженную душу. Следующие вещи он уже покупал в каком-то неистовстве, а когда истратил все деньги и увидал, что некоторых вещей, обозначенных в списке, купить не на что, окончательно вышел из себя и в гостиницу возвратился в полном нервном расстройстве, со всеми его признаками.

Придя в номер, он бросил мешок с накупленным хламом на пол и, не раздеваясь, стал большими шагами ходить по комнате. Несколько успокоенный монотонною ходьбой, он в изнеможении сел на стул и спросил себя: «Ну, не дурак ли я, что волнуюсь из-за таких пустяков?» Обдумывая этот вопрос со всех сторон, он пришел к заключению, что по своим способностям он — решительно не подходящий для колонии человек. Ну, что это за человек, который волнуется до безумия оттого, что купленный им топор на обухе имеет трещину? Конечно, всякий хозяин от этой трещины пришел бы в волнение, но это волнение только «полирует» всякому хозяину кровь, для него же, Грубова, всякое волнение равносильно сердцебиению, отвращению к жизни и ожиданию смерти... Ну, что это за человек? Годится ли он на какое-нибудь практическое, простое дело, если в каждое дело он вкладывает всю наличность всех своих душевных сил, — все сознание, все воображение, всю память, всю волю?

Размышляя таким образом на стуле (он сидел все нераздетым, в шапке и в шубе), он еще более огорчил себя. Дальше потянулись какие-то воспоминания дурного свойства, и он всецело ушел в себя, забыв об обеде, о том, что с утра еще он ничего не ел, и о том, что перед отъездом ему надо бы повидать знакомых. И долго он так сидел, отдыхая от недавнего раздражения и в то же время обдумывая это раздражение с разных сторон. Мало-помалу он успокоивался. Но едва он успел потушить одно раздражение, как его ожидало уже новое, более основательное.

Кто-то вдруг постучался в его дверь. Он машинально сказал: «войдите», и к нему вошел коридорный.

— Вас тут ищут какие-то барышни, — сказал коридорный лениво.

— Какие барышни? — воскликнул Грубов растерянно.

— Это мне неизвестно.

— Да ты, вероятно, ошибся! Барышни, может быть, другого кого спрашивают? — возразил Грубов резко, но неосновательно.

— Да ведь вас звать Дмитрий Иваныч? — спросил лакей грубо.

— Ну, так что же?

— Господин Грубов?

— Ну, да.

— Ну, так обязательно вас!.. Спрашивает: у вас остановился Дмитрий Иваныч Грубов? А я не знал, уехамши вы или еще тут.

— Кто спрашивает?

— Да барышня-то!

— Да ведь ты сказал, что их много?

— Совсем даже я и не говорил много, — всего одна-с... — возразил слуга обидчиво.

Грубов тупо посмотрел на него, плохо понимая, что все это значит, и лишь следил за тем, как внутри его поднимается беспричинная тревога.

— Ну, ступай, попроси войти! — сказал он машинально слуге.

И когда тот вышел за дверь и затопал сапогами по пустому коридору, он пришел в свой нормальный вид: лицо его стало холодным, губы плотно сжались.

Через несколько минут в комнату вошла молодая девушка и очутилась прямо против Грубова.

— Вы Дмитрий Иваныч Грубов? — сказала она громко и весело.

— К вашим услугам...

— Я Зиновьева... У меня к вам письмо...

Сказав это так же громко, она вынула из бокового кармана драповой кофточки письмо и подала его Грубову. Грубов внутренно так был обескуражен всею этою неожиданностью, что не пригласил даже присесть девушку, а прямо разорвал конверт и принялся читать.

В это время девушка с явным любопытством оглядела всю обстановку, ее хозяина и себя самоё. Она успела заметить, что номер был дешевый, что Грубов одет был забавно — в огромные сапоги, в полушубок и в енотовую шубу сверх всего, но так как прямо против нее висело зеркало, то она и полюбовалась в нем собой.

Но зато Грубов ничего не заметил; не заметил, что перед ним стоит чудесная девушка с смуглым цветом кожи, которая на щеках горела ярким румянцем, с каштановыми волосами, которые естественно, без помощи парикмахера, обрамляли ее лицо наилучшим образом, с черными, блестящими глазами, которые от самой природы предназначены были для разнообразной игры, в недорогом, но изящном костюме, в котором не стыдно показаться в театре или на концерте, — одним словом, он не заметил выдающуюся эффектность стоявшей перед ним девушки, плохо разобрал даже и письмо; он только с тревогой следил за тоской, разливавшейся по всему его существу, и за усилием воли,

которым он хотел подавить ее; от этого лицо его стало еще холоднее, а губы совсем плотно сжались.

Он уже давно пробежал письмо, но все еще не знал, что сказать. Наконец, не отрывая глаз от письма, он тихо спросил:

— Насколько я понял, вы желаете поселиться с нами?

— Да, — подтвердила девушка веселым тоном.

— Когда вы намерены ехать?

— Я желала бы вместе с вами.

— Зачем же теперь?

— Да чтобы теперь же и приняться за работу.

— Теперь, как видите, осень, а вам, вероятно, известно, что осенью хлеба́ можно видеть только в форме булок... Какие же, собственно, работы вы разумеете?

Говоря это, Грубов в первый раз прямо взглянул в лицо девушки, но природная застенчивость его с женщинами при этом взгляде еще более усилилась, и он опять принялся разбирать письмо. Девушка, однако, увидела в его словах дерзость и сердито оглянула его.

— Знаю... но ведь и кроме земледельческих работ там много других!

— Каких же, домашних?

— Да, вероятно, найдется! — твердо настаивала девушка.

— Не знаю, не знаю... Ну, например, умеете вы телят поить? — застенчиво спросил Грубов.

Но девушка при этом вопросе побледнела; глаза ее сверкнули нехорошим огнем.

— Вы, кажется, хотите на мне испытать ваше остроумие? — сказала она гневно.

Грубов готов был провалиться сквозь землю и проклинал свою способность говорить насмешки в то время, когда ему совсем было не до смеха. Но наружный вид его оставался холодным.

— Вы не так меня поняли... Видите ли, у нас еще ничего не устроено; хозяйства почти нет. Живем мы по разным домам, общего хозяйства не ведем... Есть только немного рабочего скота, да и тот без нас обходится. Единственная вещь, с которою мы не знаем куда деться, это — теленок, приобретенный нами бог знает зачем... И если я предложил вам этот вопрос, то прошу принимать буквально.

Девушка нетерпеливо пожала плечами.

— Если так, то я должна сказать — не умею поить телят... Но, мне кажется, под вашим руководством я могла бы научиться такому сложному делу, — добавила она с едкою улыбкой. После этого она готова была уже простить Грубова, но под условием, чтобы он, наконец, обратил на нее серьезное внимание.

Но он, как на грех, продолжал смотреть на письмо, не поднимая с него глаз, как будто хотел в нем открыть сокровенный смысл всего в эту минуту происходящего. Только неловкое смущение, с каким он расспрашивал, выдавало, что он стоит перед незнакомою девушкой.

— Еще один вопрос... намереваетесь вы прочно устроиться или желаете только временно пожить, поучиться? — спросил он.

— Это будет зависеть от того, пригожусь ли я для дела и пригодится ли дело мне...

— У вас есть какие-нибудь цели помимо перемены костюма? — спросил Грубов конфузливо.

Девушка опять смерила его гневными глазами и возразила:

— Вероятно, те же, что у вас.

— То есть?

— Жить своим трудом и приносить пользу народу!

Лишь только она выговорила это, как Грубов поднял на нее свои глаза и выразил на своем лице странное удивление... «Боже мой! и к чему вы это сказали?» — как бы спрашивал он. Всякие громкие слова, в особенности из тех, которые затасканы, производили на него впечатление уличной брани. По его лицу девушка смутно поняла, что сделала что-то неладное, и покраснела. Но это еще более восстановило ее против незнакомого человека, так что обращение ее стало открыто враждебным.

— Я понимаю, что вы там пользуетесь правами генерала... Продолжайте допрос... Я покорно буду отвечать вам, — сказала она вдруг с неприятным смехом.

Грубов не знал, что ему говорить.

— Не угодно ли сесть? — неловко предложил он.

— Благодарю. Мне хочется узнать: прикажете мне считать себя забракованной вами или, быть может, вы отложите ответ до другого вашего прибытия в город? — Девушка говорила это бойко и с намерением подбирала самые колкие выражения.

— Как вам угодно, ваше дело! Поедемте хоть сейчас... — сказал нерешительно Грубов.

Нерешительность стала вдруг его преобладающим чувством. Он не хотел, чтобы девушка ехала с ним в колонию, но он сам не понимал, почему не хочет, чтобы она была там. Он затосковал с самого момента ее появления, как будто встретился с крайне неприятным человеком, но не мог ясно дать себе отчета, почему ему неприятно. Он не знал, что говорить, как вести себя, какой назначить час для отъезда, и с недоумением прошелся несколько раз по комнате.

Из этого состояния вывела его сама девушка, которой он вдруг показался смешным и жалким.

— Вы сами-то когда собирались ехать? — спросила она живо и, по-видимому, забыла свою вражду.

— Сегодня... сейчас, — отвечал Грубов.

— Ну, так и я с вами! Поезжайте на вокзал, а я съезжу за вещами и приеду. До свидания!

И она моментально скрылась.

Едва звонкий стук ее каблуков по коридору смолк, как картина души Грубова переменилась.

На него вдруг напало отчаяние, то безграничное отчаяние, когда все превращается в чепуху и ничтожество. За полчаса тому назад он старательно и с несомненною серьезностью закупал разные вещи для деревенского хозяйства и видел настоятельную необходимость ехать туда, потому что там у него лежит какое-то важное дело и туда призывают его какие-то глубоко знаменательные обязанности. Но теперь вдруг, после посещения незнакомой девушки, все это и все вообще приняло несерьезный, дурацкий вид. Своею бойкостью, своими смелыми и легкомысленными словами девушка в один миг превратила в ничтожество все его представления о деле. К этому делу он приготовлялся, в сущности, давно и очень много думал о нем раньше, и вдруг пришла бойкая особа и сказала: «Вы там что-то такое делаете... и я с вами буду делать...» — «Вы это серьезно?» — спросил он. — «Не знаю... увижу там. Пожалуйста, едем скорее!» — «Да вы зачем едете-то?» — «Зачем? да я вместе с вами буду работать на пользу народа...»

И моментально все дело его приняло дурацкий, шутовской, захватанный вид. А вместе с этим делом пеленой пошлости покрывалось все, что только попалось под руку ему в эту минуту. И он вдруг увидал, что все когда-либо сделанное им — чепуха, нуль; его сознание вдруг превратилось в разрушительную машину, которая вдребезги разбивала все, что приближалось к ней. Он вспомнил юношеские годы, освещенные розовыми фантазиями и наполненные нерассчитанными, смешными шагами, и моментально все это в его сознании превратилось в сор — и эти фантазии, и эти юношеские деяния, и самая юность. Вслед за тем он вспомнил многое другое, казавшееся ему недавно серьезным и важным, над чем он много работал, из-за чего некогда страдал, чем много гордился, и все это сейчас вдруг обратилось в нуль, в чепуху, в дурацкий самообман!

Если бы все наши решения зависели от настроения, он в эту минуту не поехал бы в деревню; он сел бы на стул и стал бы обдумывать, какое написать письмо Неразову. Но вместо этого он посмотрел на часы, убедился, что до отхода поезда в деревню оставалось всего полчаса, и заторопился в дорогу. В его сердце было полное отчаяние, а он все-таки торопливо позвал коридорного, чтобы расплатиться за номер; торопливо сошел с лестницы, таща за собой накупленную им чепуху, а когда сел на извозчичьи дрожки, торопил извозчика ехать поскорее к вокзалу.

Небо было белесоватое. В воздухе носились пушинки первого снега; замерзшая грязь улицы, повсюду исполосованная колесами, мало-помалу закрывалась белым покрывалом. Грубов, уже сидя на дрожках, взглянул вокруг себя, и что-то приятное вспомнилось ему. Что такое? В детстве, после темных дней грязной осени, ему вдруг позволялось выбежать на двор играть, когда выпадал первый снег, — тогда это был для него день звонкого смеха и беспечной беготни на чистом воздухе. Теперь эта радость перенеслась через огромное пространство в двадцать пять лет и, как искра, осветила его потемневшую душу. Он вдруг с улыбкой стал осматриваться по сторонам и наблюдал, как мириады снежинок крутятся в воздухе и без шума, но деятельно одевают землю в белую одежду, закрывая самые глубокие борозды в грязи.

На вокзал он явился уже с обыкновенным лицом — спокойным и холодным, только казался утомленным, как будто после трудной работы.

Едва он подошел к кассе, как сзади него раздался голос барышни:

— Вот и я! Вы берете билет?.. Возьмите и мне. И посмотрите за моими вещами... вон они на лавке.

Все это она говорила тем тоном, который усвоивается хорошенькими барышнями, привыкшими к услугам молодых людей. Грубов молча кивнул головой и покорно исполнил оба приказания. Пока он брал билет, девушка успела сходить в буфет и купила апельсин.

— Я купила апельсин... — сказала она, приближаясь быстрыми шагами к Грубову.

— Апельсин? Так что же?..

Он улыбнулся, но удержался сказать что-нибудь более.

— Я вижу, вы опять смеетесь?.. Но я в последний раз захотела побаловать себя... *там* уже нельзя будет! — сказала она в пояснение.

— Почему же в последний раз? Вы очень мрачно смотрите на жизнь... — проговорил Грубов и не улыбнулся.

— Разве там можно достать апельсинов? — наивно спросила девушка.

— Да сколько угодно! Ведь до города всего пять часов езды.

— Это отлично! Значит, в город можно ездить часто? — с кривляньем воскликнула девушка.

— Сделайте одолжение!.. Но, однако, пора идти, — сейчас третий звонок.

Они пошли на платформу, причем девушка понесла в руке апельсин, а Грубов взял остальные вещи, то есть свой мешок и ее чемодан, пуда в два весом. В вагоне они сели друг против друга и некоторое время молчали, потому что она чистила

и по кусочку ела апельсин, а он наблюдал за ее движениями. Он тут только заметил, какая она хорошенькая и как все хорошо сидит на ней.

— А шубы у вас нет? — вдруг спросил он.

— Зачем же шубу?

— Нам придется часа три ехать на лошади... сыро и холодно.

— Не бойтесь, не замерзну... Холод мне нипочем! — возразила она.

«Что это, энергия или легкомыслие?» — подумал Грубов и принялся наблюдать за ней. У ней было здоровое лицо, яркий румянец, блестящие глаза. В углах ее губ незаметно скрывалась улыбка, переходящая в звонкий смех при каждом ее слове. Сидя в вагоне с незнакомым человеком, по пути к совершенно неизвестному, глухому месту, с намерением взяться за неслыханное, новое и тяжелое дело, она держалась так самоуверенно и весело, как будто ехала в гости или на загородную прогулку.

Зачем все это?.. Вот она была бы на своем месте в хорошенькой квартирке с влюбленным в нее мужем, или в театре с веером в руках, или в гостях у знакомых, где благородно говорят разговоры; но вместо того она едет в какую-то глушь, к неведомым людям, на нужду, окруженная грязью и дикостью, — что за нелепая это штука — наша жизнь! Неужели все прямые пути заказаны и только глухие и пустынные дороги открыты?

Грубову после таких мыслей вдруг стало грустно. По пути вспомнилась ему и его собственная жизнь, двигающаяся по кривым и ломаным линиям, полная неожиданностей и нелепых случаев. Грусть тяжелым облаком заволокла его мысли, и он неохотно отвечал на вопросы девушки.

Она заметила перемену настроения в своем спутнике, объяснила ее по-своему и принуждена была также смолкнуть. Это навело на нее сильную скуку. Она вглядывалась в окно, осматривала пассажиров, но развлечения нигде не было; из окна мчавшегося вагона виднелось мутное небо и падающий мириадами снег, а пассажиры все сплошь состояли из того темного люда, к которому трудно обратиться за разговором и от которого только нехороший запах распространялся по всему вагону. От скуки, овладевшей ею, она зевнула один раз, и другой, и еще, и лицо ее из молодого и жизненного вдруг превратилось в старое и дряблое. Тогда она закрыла глаза и под шум железнодорожного марша, наигрываемого цепями и колесами, заснула.

«Быть может, она из той молодежи, которая ничего так не боится, как скуки, и ничего с таким жаром не ищет, как развлечения», — подумал Грубов, когда посмотрел на застывшее лицо девушки.

Лицо это теперь в самом деле казалось неприятным, с опущенными углами рта, с грубыми красками по щекам, казав-

шимся старческими. При виде такой перемены им самим овладела скука и то скверное настроение, когда все кажется грязным и отталкивающим. Он это почувствовал так сильно, что поднялся с места и, не взглянув больше ни разу на девушку, перешел на другой конец вагона, где черная публика густо облепила лавки и от всей души над чем-то хохотала.

— Пора, — прошептал он над ухом девушки и тихонько дотронулся до ее плеча, когда поезд остановился на станции.

Она вскрикнула:

— Что такое? — и с испугом озиралась по сторонам.

— Мы приехали, надо выходить, — мягко выговорил он и опять забрал ее и свои вещи.

На заднем крыльце станции их встретил мужик и, взяв от Грубова вещи, стал укладывать их в солому на телеге. Надвигались уже сумерки; дальние предметы потонули в темноте, а ближайшие приняли серый тон. Это, видимо, произвело после сна гнетущее впечатление на девушку. А когда она случайно взглянула на мужика, на лице которого широкою полосой синела запекшаяся кровь, то с ужасом простонала, обращаясь к Грубову:

— Боже мой, что это такое?

Грубов пришел в хорошее настроение, лишь только увидал своего приятеля мужика, и весело проговорил:

— Вы про него спрашиваете? Это Ефрем, наш пайщик. Если хотите знать, он буян, в пьяном виде бьет жену кирпичами, за что его сын сажает в сарай... дерется, кроме того, с кем попало, но вам его бояться нечего!..

Ефрем при этой характеристике лукаво усмехнулся.

— Отчего же у него кровь на лице? — с прежним страхом прошептала девушка.

— Эге!.. В самом деле, за что это рожу-то тебе раскрасили? — спросил Грубов, сейчас только заметив кровь.

— Да тут дело было... — возразил Ефрем и хлопотал около лошади.

— Опять подрался?

— Да ежели бы подрался!.. А то просто лупили меня в четыре руки, словно я сноп овса! — закричал вдруг с негодованием Ефрем и сразу ощетинился.

— Кто же это поступил с тобой так неловко?

— Да Мысеевы братья, знаешь?.. Сволочи, припомнили мне лето!.. Я у них о ту пору лошадей загнал, потому я полевым сторожем был, — ну, они и запомнили... А вчерась зазвали меня в трактир, да и насели.

— А ты сплошал?

— Я бы не сплошал, кабы они честно, а то сзади навалились, повалили и давай молотить... Сделай милость, сочини мне просьбу к мировому.

— Ну, ничего, помиришься, — сказал смеясь Грубов.

— Никаких!

— Не хочешь мириться?

— Говорю, никаких! — ожесточенно и охрипшим голосом закричал Ефрем. — Я возьму свидетельство на морду! Мысейкины братья вот где у меня сидят! За мое почтение засажу в титовку!

— Ну, брат, Ефрем, это уж не ладно. Если бы тебя также стали таскать к мировому, то ведь ты из титовки никогда бы не вылезал!

Ефрем при этих словах на минуту задумался, ожесточение его моментально прошло, и он опять лукаво взглянул на Грубова.

— Что ж... я дерусь. Ну, только сзади я не согласен, а прямо — бац! а не сзади же...

— Это, конечно, разница... но все-таки конец один и тот же, и потому ты скоро помиришься, — сказал Грубов.

— Я? Чтобы мириться? Никаких!.. Они измолотили меня все одно как сноп пшеницы, а я буду мириться!

Этот разговор происходил, когда уже все трое сидели на телеге и тряслись по грязным кочкам по направлению к серой мгле, со всех сторон обступившей горизонт. Грубов повеселел и с улыбкой обратился к девушке:

— Вам кажется все это диковинным? Но Ефрем буянит только по праздникам, а в будни...

Но не договорил, пораженный видом барышни.

Видимо, вся обстановка путешествия произвела на нее страшное впечатление.

Надвинулась уже ночь. Серая, безразличная мгла обступила сначала горизонт, но мало-помалу эти стены сдвинулись и плотно похоронили свет, небо, поля, дорогу, лошадь и самого Ефрема, который черным силуэтом виднелся на передке. Девушку охватили изумление и ужас. Она умолкла и скорчилась

на дне телеги, пришибленная этою темною, невиданною обстановкой.

А телега продолжала ползти по кочкам, прыгала, стонала и готова была, казалось, рассыпаться вдребезги. Снег густыми хлопьями падал сверху и щекотал неприятно лицо и руки девушки. Одежда ее смокла; пряди волос, выбившиеся из-под шапочки, прилипли к ее щекам, и она не пыталась их заправить. Она боялась шелохнуться и вся ежилась, окруженная мокрою соломой. Глаза ее жалко устремлены были в темень и выражали ужас.

— Вам холодно? — спросил Грубов дрогнувшим голосом.

Она что-то невнятно пролепетала, устремив на него испуганный взгляд.

Тогда он сбросил с себя шубу и закутал ее. Она молча повиновалась всему, что он говорил ей. Ноги ее, легко обутые, также застыли, — он вытащил всю солому, оставшуюся сухою, и закрыл их плотно.

— Вам холодно? — повторил он через некоторое время опять с дрожью в голосе.

Но она не отвечала.

И на него, с виду такого холодного, напала вдруг жалость к своей спутнице. Он стал торопить Ефрема ехать скорее и нетерпеливо, волнуясь, горящими глазами вглядывался в темноту, надеясь заметить впереди огоньки Бора. Но лошадь с трудом загребала ногами, телега медленно продолжала трещать и стонать, прыгая по грязным выбоинам. У него явилось пламенное желание помочь чем-нибудь девушке. Он готов был сбросить с себя последнюю одежду, а самоё ее взять на руки, лишь бы только она не страдала так ужасно, как он предполагал. Сердце его переполнилось жалостью и любовью к этому несчастному существу, зачем-то попавшему в этот мрак. Но он не находил, чем помочь, и только поминутно торопил Ефрема.

Наконец путешествие кончилось. Внезапно телега очутилась на деревенской улице, и повсюду замелькали огоньки.

Через полчаса, сдав барышню в удивленную семью Кугина, Грубов сидел у себя за самоваром. Но долго он не мог сидеть; наскоро напившись чаю, он принялся ходить по комнате большими шагами, как бы продолжая поездку, и никак не мог успокоить расходившиеся нервы.

III

ЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ

На другой день Верочка Зиновьева рано проснулась и с изумлением оглянула незнакомую обстановку. Она находилась в маленькой горнице, на чистой половине дома Алексея Семеныча, отданной Кугину и Наталье. Некрашеный пол ее был чисто

вымыт и устлан половиками домашнего изделия; стол в переднем углу накрыт был чистою скатертью; на стенах висели дешевые картины, фотографии русских поэтов и рублевые деревянные часы; в дальнем углу стояла чисто выбеленная печка с лежанкой, а возле нее некрашеная деревянная кровать с пузатою периной. В эту-то перину вчера, после такой страшной ночи, и утонула Верочка и теперь из глубины ее с удивлением рассматривала все предметы, припоминая, где она и что с ней.

Но не успела она хорошенько оглядеться, как в горницу вошла Наталья и застенчиво поздоровалась с барышней. Верочка тогда сразу все припомнила, быстро оделась и начала с чисто женским любопытством расспрашивать обо всем, что ей надо было знать, что ее заинтересовало и поразило. Молоденькая женщина давала ей на все ясные ответы, но в то же время страшно стеснялась, волновалась и поминутно краснела.

Прежде всего речь зашла о колонии.

— Хорошо она устроилась? — спрашивала Верочка.

— Порядком ничего еще нет... все только заводится, — ответила Наталья.

— А научились хозяйничать?

— Где же еще!.. — и Наталья сдержанно улыбнулась, припомнив много смешного из порядков господ, но быстро подавила эту улыбку и прибавила: — бог даст, всему научатся.

Верочка после этого стала расспрашивать о самих колонистах.

— Вам нравится Грубов?

— Дмитрий Иваныч? Он меня учит...

Наталья сказала это с тем серьезным видом, с каким говорят о человеке, которого уважают.

— Вы разве не боитесь его? Вчера, когда мы ехали, он двух слов со мной не сказал... — сосплетничала Верочка.

— Он добрый! — возразила Наталья с прежнею серьезностью и твердо.

— Ну, а еще другой... забыла, как звать!

— Неразов, Василий Васильич?

Наталья при упоминании Неразова тихо засмеялась, как будто вспомнила что-то смешное; но, заметив на себе взгляд барышни, она покраснела и ответила торопливо:

— И он добрый... только веселый, чудак!

Верочка вдруг обратила свои вопросы на Наталью и ее мужа. Давно ли они женаты? Как это случилось? Наталья обомлела от таких вопросов, но отвечала на все, что у ней барышня спрашивала; некоторые из вопросов она предпочла бы замолчать, как свою собственную тайну, но не смела. А барышня не стеснялась ничем и задевала все, что только было ей любопытно. Вчера ночью ее встретили все хозяева: сам Алексей Семеныч,

его старуха, Кугин и Наталья, но, хорошо рассмотрев стариков, она едва заметила Кугина; только наружность его бросилась ей в глаза: он был высокого роста, статный молодой человек, с красивым лицом.

— Как вашего мужа звать? — спросила Верочка.

— Михаил Петрович.

При имени мужа на лице Натальи мгновенно вспыхнула улыбка счастия, но тотчас же и потухла, как искра, высеченная из кремня.

— Он раньше бывал у вас в селе?

— Нет, он приехал после Дмитрия Иваныча.

— И вы так скоро полюбились?.. Сколько месяцев замужем вы?

— Второй скоро минет.

— Как мне ваш брак нравится, когда я узнала вчера о вас обоих! Он — образованный, вы — простая, — как это хорошо!

Почему это хорошо, Верочка не сказала, а продолжала жадно и нескромно любопытствовать.

— Вы любите его?

Наталья при этом вопросе вспыхнула, и в больших глазах ее отразилось удивление.

— Как же не любить-то? — сказала она тихо.

— А он... любит?

Наталья побледнела, и что-то тревожное обрисовалось на ее лице при этом неосторожном вопросе барышни. Последняя, впрочем, не дала ей времени ответить.

— Да, впрочем, что я!.. Конечно, любит!.. Вы же такая хорошенькая! — весело закричала Верочка.

Но на побледневшем лице молодой женщины был уже положительно испуг, и она почти шепотом ответила:

— Где же мне знать это!

Почему она испугалась? Быть может, этот вопрос она сама в первый раз сознала. Она-то несомненно любила. Это звучало в каждом слове ее, а на ее лице при имени мужа рисовались гордость и торжество. Ну, а он?

К счастью, Верочка прекратила свой допрос, достаточно удовлетворив свое любопытство. Кстати, они обе вспомнили каждая про свое дело: Верочка торопливо принялась доканчивать свой туалет, а Наталья захлопотала насчет самовара. Но, расходясь с наружным дружелюбием, они в душе чувствовали взаимную неприязнь. Никакой видимой причины этой неприязни не было,— так, неизвестно почему, не понравились друг другу. Впрочем, Наталье Верочка не понравилась за то, что была смелая, самоуверенная, с открытым дерзким взглядом, громким голосом, дерзкими глазами, развязным языком. А Верочке Наталья не нравилась потому, что казалась тихой, себе на уме, скромной и

в то же время неизвестно отчего гордой. В Наталье почему-то родился смутный страх перед барышней и чувство какой-то обиды; в Верочке сейчас же явилось преднамеренное пренебрежение к деревенской женщине. Наталье почему-то было неприятно, что приехала неизвестная барышня, а Верочке было неприятно, что она встретила здесь какую-то Наталью...

И с этой минуты между ними образовалось молчаливое отрицание друг друга, хотя по наружности они оставались ласковы и вежливы. Когда Наталья принесла самовар и чашки, ей почему-то казалось необходимым показать барышне, что у нее в доме все есть, и все в наилучшем виде, и самовар, и дорогой чай, и красивая сахарница, и чайные ложки; а Верочка, в свою очередь, считала необходимым ко всему этому отнестись иронически.

— Какой смешной самовар! Видно, что старый, — сказала она со смехом.

— Нет, он не очень старый... — отвечала Наталья с улыбкой, но чувствовала булавочный укол.

— У вас только один стакан? — спросила вслед за тем Верочка.

— Один только... был еще, да кошка разбила! — сказала Наталья грустно.

— Пожалуйста, налейте мне в него, — из чашки я не люблю пить.

Одному богу известно, как женщины, улыбаясь, умеют запускать друг другу булавки! И бог знает, какими неприятностями могли бы обменяться две не понравившиеся друг другу женщины, если бы вскоре в горницу не вошли другие люди.

С раннего утра в деревне уже знали, что к господам приехала барышня, и любопытствовали. Но всех больше волновалась, конечно, колония. Едва Наталья с Верочкой начали пить чай, как в горницу один за другим вошли Алексей Семеныч, его старуха, сам Кугин, потом Неразов и, наконец, Грубов. Последний, впрочем, пришел только осведомиться, как провела ночь Вера Николаевна, и тотчас же ушел. Но зато между остальными завязался оживленный разговор. Все расспрашивали Верочку об ее планах, и все одобряли, когда она заявила, что хочет научиться сельскому хозяйству и намерена жить им и ради него. Алексей Семеныч добродушно улыбался и одобрял барышню.

Муж Натальи, Михаил Петрович Кугин, также одобрил ее, но только в выражениях, которые в устах всякого другого могли бы показаться слишком вычурными.

— Если вы это решили твердо, после тщательного размышления, то этот шаг делает вам честь. Это величайшее дело нашего времени... Довольно слов, надо исполнять их наконец! Но мы

пионеры, а пионеры должны знать, что на новой дороге им предстоят тяжкие испытания, — обдумали вы их? Готовы ли вы?

Верочка также не была равнодушна к эффектным словам и пышным выражениям; напротив, к красивым словам у нее было органическое пристрастие. Выслушав Кугина, она с величайшею охотой отвечала ему тем же тоном:

— Я все обдумала и не оглянусь назад.

— Сожгли за собой все корабли?

— Все.

— Это — жертва; но кто раз ее принес, тот не раскается.

— Я не раскаюсь!

В этом роде разговор продолжался еще долго. Но старикам, должно быть, наскучило сидеть, ничего не понимая, и они один вслед за другим выбрались из горницы. Зато оставшиеся, после ухода чужих, посторонних людей, чувствовали себя свободнее. Неразов восторженно смотрел на Верочку и по неизвестным причинам то и дело хохотал. Кугин засыпал ее вопросами; сама Верочка, с разгоревшимся лицом, воодушевленная слушателями, рассказывала о настроении тех кружков, среди которых она жила. Одна только Наталья молча сидела перед самоваром и тоскливо слушала непонятный для нее разговор про непонятную жизнь; она облокотилась на стол, подперла рукой голову и в такой позе замерла.

Но о ней компания в эту минуту совершенно забыла, и ее присутствия никто не замечал. У всех троих были не только общие взгляды, но и целая пропасть общих знакомых. Перечисление этих-то последних и составляло самую живую часть разговора... А вы знаете такого-то?! А где такая-то? А почему такой-то стал свиньей? Все это было интересно, вызывало пропасть воспоминаний, сообщений, характеристик. Воспоминания, сообщения и характеристики были коротки, но ясны. «Где Волков теперь?» — «Он в Воронеже». — «Что он там поделывает?» — «Служит на железной дороге». — «А каков он теперь?» — «Да, кажется, скотина порядочная!..» — «А вы не знаете, где теперь Любонравский? Я видел его в последнее время в Тифлисе... что он такое?» — «Ужасный подлец!..» — «А не помните вы Миронова?.. Еще он ходил в крылатке зимой и любил постоянно ссылаться на Спенсера, и опротивел своими цитатами так, что однажды Николаев, живший с ним в одной квартире, ударил его по голове третьим томом Спенсеровой психологии, и он после того больше уж никогда не цитировал... Где он?» — «Бедняга застрелился... Он был милый, хотя и чудак!»

Все трое с жадным любопытством сообщали друг другу животрепещущие новости и совсем забыли, где они, о чем говорят. Они чувствовали себя высоко настроенными, оживились, были счастливы. Отношения их сразу стали непринужденными, —

так что Верочка совсем забыла, что она в глухом, неведомом месте и что приехала она ради какого-то тяжелого дела. В обществе Неразова и Кугина она была как у себя дома, а сами они были, казалось ей, давно знакомыми друзьями; она сразу очутилась в своей среде, где все заранее известно и где нет ничего ни загадочного, ни страшного.

Спохватились они только тогда, когда время перешло уже далеко за полдень, и их позвали обедать на черную половину.

— Эка мы заболтались!.. Ну, и любит же наш брат разговоры разговаривать! — смеясь, сказал Неразов.

— Надо же было познакомиться с Верой Николаевной... — возразил недовольным тоном Кугин.

— Да нет, я так, вообще... Нашему брату необходимо разговоры разговаривать.

— Вы, Неразов, обо всех судите по себе! — возразил Кугин уже с пренебрежением.

— Нет, зачем же сердиться?.. Я так, вообще... Хлебом нас не корми, только дай поговорить! — и Неразов добродушно захохотал, по-видимому, нисколько не обижаясь на пренебрежительный тон товарища.

Он с счастливым выражением лица сильно потряс руку Верочки и ушел к себе на хутор, а Кугин и Верочка пошли обедать на черную половину, за семейным столом Алексея Семеныча.

За обедом все стеснялись: черная половина обедающих, то есть Алексей Семеныч, его старуха Петровна и бабка, стеснялась барышни, а барышня стеснялась черной половины. Она в первый раз очутилась за мужицким столом, хотя это и был стол зажиточного Алексея Семеныча; в первый раз брала в руки огромную, как ковш, деревянную ложку и в первый раз должна была этим черпаком поддевать из общей чашки нечто вроде щей с бараниной. Впрочем, для первого раза она довольно храбро ела непропеченный хлеб, крепко держала в руках черпак и показывала вид, что она не брезгует «хлебать» из общей чашки.



Только один Кугин чувствовал себя отлично, возбужденный присутствием Верочки. Он был одет в красную рубаху, подпоясанную грубым поясом; волосы его беспорядочно падали на лоб, и с виду он походил на деревенского парня-красавца. Таковым именно он и желал казаться и великолепно подражал молодому мужику. Рубаха его небрежно висела по бокам, пояс спустился ниже живота, рукава рубахи были немного засучены, — точь-в-точь как у деревенского мужика. Грудь он то и дело зачем-то выпячивал вперед, руками производил неуклюжие движения — все это также было естественно для сильного деревенского парня.



Но в особенности артистично он ел непропеченный хлеб, держал в руке чудовищную ложку и хлебал щи. Верочка с восторгом и удивлением смотрела на него. Откусив от ломтя кусок, он как-то особенно медленно чавкал его, как чавкают только мужики после утомительной работы; ловко держа в руке ложку, он истово черпал ею щи и с эффектным шумом сфыркивал их в рот, как фыркают извозчики на постоялых дворах, когда после длинной путины по тридцатиградусному морозу садятся вокруг дымящейся парами чашки; а когда в подол рубахи насыпались крошки, он старательно вытряхнул их сперва на ладонь, а потом на стол, как делается повсюду в деревнях, где каждая крошка считается поистине даром божьим, — вообще, прелесть, как он ел.

После обеда Алексей Семеныч, которому надо было отлучиться к кому-то на дальний конец деревни, попросил его убрать скотину и еще кое-что сделать.

— Уж ты побеспокойся, Михаил Петрович, там на дворе, — сказал он с обычною доброю улыбкой, но робко.

Было заметно, что к зятю-барину он относится всегда робко и почтительно. Иногда он шутил над Кугиным, когда тот делал что-нибудь не ладно, но тотчас же робел за свою шутку. Так было и в этот раз. Обратившись с просьбой к зятю, он пошутил:

— Да ты опять по доброте не дай коровам сена...

Но, сказав это, он тотчас же умолк и как будто смешался. Кугин равнодушно и с оттенком пренебрежения ответил:

— Ничего, иди, — все будет сделано как следует!

И, надев на голову картуз, а на плечи старый кафтан, он вышел на двор. Верочка пошла за ним, чтобы посмотреть, как он будет работать, — это она наивно объявила.

И Кугин показал, как он работает. Надо было прибрать разные хозяйственные вещи по местам: телегу закатить под навес, дуги снести в сени и пр. Кугин все это делал торжественно и чисто. Погода была мокрая и холодная; мокрый снег, падавший всю ночь, наполовину растаял и еще более прибавил грязи. На дворе ноги на четверть тонули в жидком навозе. Но Кугин с преднамеренным равнодушием трепался в этой жиже и не обращал внимания на то, что руки его через минуту покрылись грязью. Кончив уборку, он принялся из колодца качать воду в корыто, обливался брызгами, опять утопал в навозе, но оставался равнодушным. После того он выгнал с заднего двора скотину, напоил ее, снова загнал обратно (при этом кричал: «Н-но!.. ты, одёр!») и полез на поветь, где был сложен корм. Как человек сильный, он брал огромные охапки соломы и сена и без усилий бросал их вниз.

Когда все было кончено, он слез с крыши, небрежным движением руки сдвинул картуз на затылок и почесал за спиной, как делают работники. Верочка все время с восхищением смотрела на него и, когда он кончил, закричала:

— Как, вы уже все умеете?

— Пустяки... кто ж не умеет таких пустяков! — возразил Кугин небрежно.

При этом Верочка заметила, что даже язык у него был похож на деревенский, — он говорил тяжело, вяло, с тою ленью, с какою говорят только истинные мужики, ворочая своими суконными языками.

Кугину все это далось легко, естественно. Он принадлежал к тем людям, которые всю жизнь проводят как бы на сцене и живут затем только, чтобы показывать себя. Отсюда бесконечное подражание всему, что требуется обстоятельствами. Идет ли такой человек по улице, он охорашивается и наблюдает, какое впечатление производит; говорит ли он в компании, он прислушивается к звуку собственных слов и наблюдает, как на него смотрят; даже у себя дома, с глазу на глаз с собой, он непременно заглянет в зеркало, расправит усы, выпятит грудь, сурово посмотрит в пространство, всюду чувствуя на себе посторонний взор. И когда он уверен, что на него смотрят, он верит в себя, доволен и чувствует в себе силу. Несчастье для такого человека начинается с того момента, когда на него перестают смотреть; тогда он бессилен и плох и теряет всю цену жизни.

По окончании работы Кугин и Верочка долго еще стояли под навесом. Подметив большое впечатление, произведенное им на Верочку, Кугин с жаром распространился насчет будущих работ, своих планов, своей женитьбы на простой девушке. Из его слов можно было вывести заключение, что все совершенное им теперь — подвиг. Он носит грубые сапоги, смазанные дегтем, — это подвиг; помогает в хозяйстве тестю — подвиг; женился он на Наталье также ради подвига, ради того, чтобы сделаться настоящим работником; работник же без хозяйки-работницы невозможен.

— А я думала, что у вас был роман! — воскликнула разочарованная Верочка при последнем признании.

— Роман здесь, барышня, не полагается, — заметил Кугин с самодовольною улыбкой.

— И вы не любите жены?

— Такие слова здесь бесполезны, ни к чему они. Любишь или не любишь, хочешь или не хочешь, а жениться и жить надо. Только и всего! Я начал с того, с чего начинает каждый сельский хозяин, — женился. Да и, вообще говоря, решился делать все, что делает каждый мужик.

Верочка тотчас подметила смешную сторону в этих словах, по-видимому, столь суровых, и захохотала.

— Над чем это вы? — спросил Кугин и покраснел.

— Вы логичны. Мужики женятся иногда затем, чтобы иметь в доме работницу, и вы также? — спросила Верочка со смехом.

— Да, и я также.

— Ефрем, говорят, бьет кирпичами свою жену... а вы чем будете?

— Это ко мне не относится, — возразил Кугин недовольным тоном.

— А в чертей будете верить?

— Верить не к чему, но и опровергать не стану. Но что тут смешного?

— Простите, я пошутила... — поторопилась успокоить Верочка досаду, появившуюся на лице Кугина.

Она действительно пошутила, вовсе не думая смеяться над словами Кугина. Через минуту, когда они были уже в горнице, она совсем позабыла этот разговор. Но зато сам Кугин не позабыл. Ему почему-то неприятно стало вспоминать свои слова насчет женитьбы, и, воспользовавшись первым попавшимся случаем, он постарался оправдаться.

— Не подумайте, впрочем, что я смотрю на Наталью, как на рабочую силу. Она очень умная женщина, учится и уже отлично читает и пишет... — говорил не совсем связно Кугин.

— Вы сами даете ей уроки? — спросила Верочка с любопытством.

— Нет, сам я пробовал, но не могу... Занимается с ней Грубов... Она — очень хорошая бабочка.

При этих словах в горницу вошла Наталья, и Кугин полушутливо, полусерьезно воскликнул:

— Вот видите, какая она? Славная у меня старуха!

Наталья сначала с недоумением посмотрела на обоих, но, поняв разговор, застенчиво, с краской в лице, потупилась и только украдкой бросила на мужа взор, выражавший благодарность и гордость.

До самого вечера Кугин и Верочка разговаривали обо всем. Верочке он очень нравился, как будто он был давний ее знакомый. Но было решено, что с следующего дня Верочка поселится на хуторе вместе с Неразовым.

IV

КОЛОНИЯ

Хутор, который, собственно, и представлял собою колонию, отстоял от деревни верстах в двух. Это была развалина, последний флигель, уцелевший после крушения главного барского дома; кругом, на далекое расстояние, лежал дикий пустырь.

Неразов до приезда Верочки жил один и, надо правду сказать, страшно скучал под своею ветхою кровлей. К довершению неприятности, он боялся мышей, и по ночам, когда они под старым полом скребли и что-то грызли, он испытывал положительный ужас. Да и со всех других сторон ему было там жутко. Понятно, с каким восторгом он принял решение барышни поселиться в одной из его комнат. Всю вторую ночь, которую Верочка провела у Кугиных, он чистил предназначенную для нее комнату; он меблировал ее скамьями и безногими столами, стены украсил вырезками из «Нивы», сам вымел пол, протер запыленные окна, а разбитые стекла заклеил бумагой и придал комнате сносный, своего рода даже красивый вид.

На другой день чуть свет он вышел из дому и отправился за Верочкой. Верочку он уже застал одетой и готовой к отправке; она сама торопилась поскорее устроиться и приняться за дело. Какое дело ей предстоит, она смутно представляла, но только представление о нем она связывала именно с хутором. Вещи ее взялся перевезти к обеду Кугин, а сама она тотчас же отправилась пешком с Неразовым.

Утро стояло морозное; грязь за ночь застыла; падала сухая изморозь, — это наступила зима. Воздух был чистый, возбуждающий. Верочка с веселым лицом оглядывалась по сторонам. Расспрашивая Неразова о встречающихся предметах, она сама

болтала и хохотала; а когда они вышли за околицу посреди широкого поля, ограниченного вдали сосновым бором, она вдруг запела «Не белы снежки» свежим грудным контральто.

Неразов, идя рядом с ней, заглядывал ей в лицо, беззвучно смеялся, и на глазах его показались слезы, — не то от мороза, не то от восторга. Возможно, было и то и другое, ибо тело его было одето по-летнему, в плохое пальто, а душа его способна была приходить от всего в так называемый «телячий восторг», наполняясь неизъяснимыми фантазиями.

В данном случае фантазия его разыгралась насчет колонии, будущее которой вдруг теперь представилось ему в ослепительном сиянии. Когда они пришли на место, он сейчас же принялся хвалить выше меры все, что тут было. Сначала он ввел барышню в дом и с гордостью показал ей комнату, предназначенную для нее. Верочка сделала гримасу: домишко был ветхий, потолок в нем обвис, пол, напротив, выпучился, а стены повалились в разные стороны; но она удержалась от критических замечаний. Затем он принялся в умеренных выражениях описывать прочие предметы хутора, какие были налицо, а также и такие, которых в действительности не было.

Так, после осмотра домишка — этого жалкого остатка от огромных барских построек, давным-давно исчезнувших, — он повел Верочку на двор и стал объяснять значение и будущее каждого предмета.

— Вот здесь у нас службы... — сказал он, указывая на маленький сарайчик, крытый соломой. — Тут у нас будут коровы, лошади, овцы и прочая скотина.

Верочка с любопытством и наивностью городской жительницы посмотрела на «службы» и готова была признать величие их, но случайно спросила:

— А больше ничего нет?

Но Неразов этим замечанием не смутился.

— Ну да! конечно, это пока... А на лето мы тут построим сараи, конюшни, сеновалы и все прочее.

— А где же скот? — спросила Верочка и заглянула в сарайчик. Там на соломе стоял один только шершавый теленок и вяло жевал сено.

— Пока тут только теленок один... У нас есть две хорошие лошади, но у Ефрема, с которым вы ехали... а прочим всем мы обзаведемся к весне...

Неразов говорил это таким убежденным тоном, как будто весь этот проектированный скот был уже налицо. Верочка допускала возможность всего этого и уже хотела войти в дом, так как, по ее мнению, дальше осматривать было нечего; кругом виднелся необозримый пустырь, покрытый первым снегом.

Но Неразов с возбужденным лицом продолжал показывать и описывать многие другие вещи.

— Вот здесь у нас огород, — сказал он, указывая на пустое место.

— Где огород? — спросила Верочка с недоумением.

— Да вот тут — это огород. Мы еще не успели поставить плетень, но это огород, уверяю вас!

— В нем какие овощи растут?

— Еще не было... но будущею весной мы насадим здесь всего. Я уже выписал из Москвы и семена.

Верочка должна была сознаться себе, что она ничего не понимает в сельском хозяйстве.

Вслед за тем Неразов указал на другое пустое место, где из-под земли торчало штук пять сухих прутьев.

— А вот здесь у нас сад, — сказал он.

— Где? — воскликнула пораженная Верочка.

— Да вот идите сюда... Вот видите — это груша. А это «черное дерево» — яблоня. Это хорошовка.

Говоря это, Неразов подходил к каждому пруту и объяснял его значение.

— Конечно, это только начало. С весны мы выпишем две сотни трехлеток и посадим.

Верочка начала улыбаться, но, ничего не понимая в сельском хозяйстве, она допускала существование сада без деревьев.

Но, наконец, Неразов осрамился. Когда они возвращались назад в дом, то недалеко от входа в дверь он вдруг остановился и, показывая на длинный, тонкий кол, зачем-то воткнутый в землю перед крыльцом, заметил:

— А вот это беседка.

— Где? — вскричала Верочка.

— Я уж начертил чертеж и весной сам построю ее... Знаете, летом в комнате жарко, на дворе негде отдохнуть, поэтому я решил построить высокую беседку, где бы можно было по праздникам пить чай, обедать и читать.

Но тут уже Верочка не выдержала; раздался взрыв веселого смеха, от которого бедняга сконфузился.

— Какой вы чудак, Неразов! — вскричала девушка и вбежала в комнату.

С этой минуты она принялась вышучивать Неразова на каждом шагу, смеясь над каждым его словом. Бедняга перед ней как-то вдруг съежился.

И так к нему относился всякий, кто только знакомился с ним. Казалось, он от самой природы назначен был для развлечения людей. С длинною, погнувшеюся на бок шеей, сидевшею на узких плечах, высокий и нестройный, как сучок валежника, с кривым телом и неправильным лицом, — это был истинный

потомок озорного помещичьего рода, ныне оставившего после себя только пустырь, занятый гнилым домишком, и Неразова, в жилах которого текла испорченная кровь. Пустырь походил на своего хозяина Неразова, а Неразов на свой пустырь, — оба были расшатаны, растасканы, и ветер свободно гулял по ним...

Голова Неразова имела как будто несколько отверстий, сквозь которые мысли его свистели наружу в неожиданных сочетаниях, — отчего по первому впечатлению он казался всем живым и необыкновенным; но когда ближе узнавали его, то живость принимала вид дурачества, а увлекательность — особый род беспорядочности. Жизнь его до сих пор наполнена была шумными историями, из которых каждая немного дурачила его; но ни за одну из них он не поплатился серьезно, потому что начальство, ближе знакомясь с ним, также видело в нем только шутку природы, и он продолжал увлекаться всем новым и неизвестным, шумел, а мысли его свистели.

За всем тем это был совершенно бескорыстный человек, привязанный к людям, любивший все доброе и сам необыкновенный добряк. Испытав горечь нескольких историй, он, казалось, должен был бы перестать увлекаться, но не перестал; испытывая вечную нужду, он по крайней мере своею землей мог бы воспользоваться для себя, но не воспользовался и тратил свои маленькие средства на дела, лично ему бесполезные; а теперь вот отдал весь хутор на какую-то колонию и безропотно терпел невзгоды. Он страшно тут скучал, в этом ветхом домишке, буквально голодал, питаясь только хлебом да чаем, сам топил печки, кормил теленка, а по ночам, когда под его кроватью скребли мыши, испытывал смертельный ужас. И все это не для себя, а ради какой-то идеальной колонии, которая, под его разбитым черепом, среди его шумных мыслей, приняла изумительные размеры и форму.

Верочка тотчас же встала с ним в дурачливые отношения и запанибрата вышучивала его, в то же время пользуясь всею его добротой, бескорыстием и услужливостью, как должным. А он был с первой же минуты без памяти от нее. Весь этот первый день он провел в возбужденном состоянии, то и дело хохотал, без нужды суетился и до самого вечера без умолку болтал все сплошь, что приходило ему в голову.

К ночи же, оставшись один в своей комнате, он страстно влюбился и в одно мгновение создал увлекательный роман. Верочка его полюбила невыразимо, и вот уж они женаты. Оба работают в колонии, а в свободное время гуляют по тенистому саду, с ветвей которого свешиваются груши. Вслед за тем через несколько минут у них появились дети, две девочки и один мальчик, и вскоре вышли замуж за двух юношей, принадлежащих к этой же колонии, которая стала многолюдной и цветущей.

Что касается сына, то он раньше еще поступил в технологический институт, окончил курс там и сейчас приехал домой в колонию. Но он побывал в дурной компании, сделался карьеристом и, увидев седого отца на огороде копающим редьку, стал издеваться над ним; тут же обнаружилось, что между ними нет ничего общего. От всего этого Неразову сделалось так грустно и больно, что он вдруг посреди горячего спора с сыном закричал с негодованием:

— Вон, мерзавец!

Закричав это, Неразов топнул ногой и с страшным гневом посмотрел на висевшее в углу свое пальто.

Верочка, находившаяся в соседней комнате, с испугом поднялась на своей постели и прерывающимся голосом окрикнула:

— Неразов, это вы?

— Я...

— Кого это вы гоните?

Неразов смешался.

— Так... это я вслух читаю одно место... — пролепетал он.

Роман его исчез, и он, сконфуженный, поторопился лечь на свою жесткую соломенную постель; лицо его приняло вдруг жалкое выражение, с каким он и заснул.

Это, впрочем, не помешало ему в следующие дни мечтать в том же роде и варьировать разными эпизодами свою любовь к Верочке. Такие мечты никому не вредили, потому что даже и здесь он был совершенно бескорыстен. Раньше он пробовал несколько раз жениться, но все женщины, к которым он обращался, относились к этому так же шутя, как и ко всему, что он говорил или делал. Одна, самая кроткая девушка, в которую он влюбился, просто сказала ему:

— Не болтайте, Неразов, вздора!

Другая, после того как он сделал ей несколько намеков на свое чувство, засмеялась, бросила ему в лицо огрызком конфеты и заметила:

— Какой вы, однако, осел, Неразов!

Третья же, на которую он просто молился, представляя ее себе всегда в виде ангела, при первых его словах «объяснения», вдруг озлилась, как ведьма, и закричала ему со злобой:

— Убирайтесь вы к черту с своими глупостями!

После таких кратких романов он сам стал смотреть несерьезно на свои слова о женитьбе и сам первый же над ними подсмеивался; но когда оставался один на один с собой и с своими мыслями, то сильно увлекался разными романтическими приключениями и придумывал их на каждый день по нескольку штук. С утра, например, он представлял себя женатым на бабе Марье, приносившей ему иногда парное молоко, а к вечеру он был уже

влюблен в соседнюю помещицу, проехавшую мимо его хутора в этот день.

Только Верочка надолго воспламенила его сердце. На следующий день они отправились в деревню: Верочка — к Кугиным, Неразов — к Грубову. Верочка сначала сама хотела зайти к Грубову, чтобы поближе познакомиться с ним, но внезапно переменила свое намерение. Неразов упрашивал ее зайти, но она с непонятным упрямством и наотрез отказалась. «Да почему? Почему вы не хотите зайти?» — допрашивал Неразов. Но она промолчала и направилась к дому Алексея Семеныча.

Неразов пошел один, и ему отчего-то грустно стало. Впрочем, едва он вошел во флигель Грубова, как развеселился и принялся в восторженных выражениях описывать Верочку. Грубов молчал, только вяло спросил, как они устроились на хуторе.

— Устроились мы там чудесно! Веришь ли, даже эта самая гнусная развалина, дом-то наш, как будто сделался красивее с ее появления, ей-богу! Какая она красавица, ты заметил?

— Кто красавица: развалина или барышня? — спросил Грубов.

— Это цинично, Митя!.. А как она поет... слушай и умирай — больше ничего! — воскликнул Неразов.

Затем он в пламенных выражениях стал описывать другие качества барышни — веселый характер, бесовскую остроту, ее звонкий хохот, начитанность. Грубов молчал.

Так продолжалось несколько дней. Неразов, забегая к приятелю, восторженно говорил о своей сожительнице, каждый раз находя в ней новые чудеса. Грубов все молчал. Только однажды он задал несколько вопросов, по-видимому, совсем не относящихся к Верочке Зиновьевой.

— Послушай, Василий... Кто у вас ставит утром самовар? — спросил Грубов, неожиданно прервав пламенное описание Неразовым пения Верочки.

— Я. А что? — отвечал Неразов, очень удивленный.

— И вечером ты?

— Да всегда.

Грубов с минуту помолчал, но вслед за тем опять спросил:

— А кто топит печки?

— Я, — отвечал Неразов.

— А пол метет?

— Я.

— И обед варишь ты?

— Да кому же больше? Ведь мы и живем-то здесь, чтобы делать все собственными руками.

Грубов что-то неопределенно пробурчал на это.

— Да ты к чему это спрашиваешь? — вскричал Неразов с недоумением.

— Да так, просто интересно, как ты поживаешь... Ну, а что знаменитый теленок? Жив по крайней мере?

— Жив.

— Ты его кормишь?

— Я.

— И за водой ты ходишь?

— Да, а то кто же? Я теперь выучился с коромыслом ходить, так что приходится только два раза в день носить воду.

— Желал бы я посмотреть тебя с коромыслом! — засмеялся Грубов и перестал расспрашивать.

Неразов также тотчас забыл об этом разговоре. Теперь он всякий день находился в состоянии кипения: во-первых, он был без ума от всего, что говорила и делала Верочка; во-вторых, должен был беспрерывно хлопотать по хозяйству, топить печи, ставить самовары, следить за чистотой посуды и всего дома. Всеми силами он старался услужить Верочке и постоянно мучился вопросом, не забыл ли он чего сделать? Несколько раз на дню он спрашивал ее, нравится ли ей жизнь на хуторе?

Ей нравилось. Она со страхом ехала сюда, хотя и легкомысленно старалась не думать обо всех трудностях новой жизни; и вдруг оказалось, что ничего таинственного и страшного здесь нет. Напротив, все просто и знакомо. В особенности люди; таких товарищей у нее сотни были. С Кугиным и Неразовым через неделю она уже была запросто, называла их уменьшительными именами и чувствовала себя с ними как с старыми друзьями. Только Грубов был для нее загадкой. Они встречались у Кугиных, куда Грубов приходил ежедневно на урок с Натальей. Верочка попробовала и с ним смеяться, болтать, но это как-то не выходило. Потом она пробовала не обращать на него внимания — и это не вышло. Наконец она попробовала сказать ему несколько колкостей, выразила на своем лице пренебрежение, но это кончилось еще хуже; два-три, по-видимому, пустых слова, брошенных им в ответ на ее колкости, так ее смутили, что она покраснела, замолчала и надулась. После того она уже никак не могла уравновесить отношения с ним, — она в одно и то же время и боялась его и заискивала перед ним. Но то и другое ей было неприятно, и потому она стала питать к нему скрытую ненависть.

V

ЗНАКОМАЯ ЖИЗНЬ

Верочка вставала рано утром — и от холода, который за ночь становился нестерпимым, и оттого, что набитый соломой мешок, служивший ей постелью, к утру производил боль во всем ее теле. Затем порядочное время она употребляла на одевание, очень тщательно умывалась и выходила к Неразову. Неразов к этому вре-

мени уже успевал приготовить самовар, затопить печи, принести воды. Тогда они садились за чай и сидели за ним до тех пор, пока не простывала вода.

Но что делать дальше? Без дела походив по комнате некоторое время, Верочка начинала скучать. От скуки лицо ее принимало угрюмое выражение; прекрасные глаза ее тускнели, хорошенький рот делался таким, каким он бывает только у человека, которому хочется есть; все лицо ее вдруг старело и желтело. Она напевала разные мотивы, перекидывалась беглыми замечаниями с Неразовым; но мотивы скоро обрывались, а разговоры с Неразовым истощались. О «деле» все уже было переговорено, умные же разговоры не всегда подходили к желанию.

Единственный предмет, заключавший в себе неисчерпаемый запас всякого рода разговоров, это — разбирать друг друга; на этот предмет они обратили внимание, посвящая ему бо́льшую половину дня. Начинала, впрочем, всегда Верочка.

— Как вам нравится Грубов? — спрашивала, например, Верочка.

— Я его очень люблю! — отвечал Неразов.

— Грубова? Вот уж не ожидала, что такого человека можно любить!

— Почему? — смущенно спрашивал Неразов.

— Не могу вам сказать — почему, но он мне кажется таким надутым.

— Грубов надут? Бог с вами!

Неразова задевал за живое этот отзыв о друге, к которому он был привязан всеми силами души; он начинал горячиться; поднимался жаркий спор.

— Вы его не знаете!.. Что он молчит? Но он молчит оттого, что каждое слово его вымучено. Что он всегда улыбается? Но не дай бог так улыбаться!.. Я знаю, вам не нравится, что он всегда как будто с насмешкой говорит, с юмором относится ко всему, но этот юмор у него происходит не оттого, что он хочет на чужой счет позабавиться, а оттого, что в душе у него слишком тяжело, чтобы и говорить еще с тяжелою серьезностью... Улыбка его — это судорога; его насмешка — это сплошная боль. Отчего он страдает, я, конечно, не знаю, но чувствую, что в душе у него ад кромешный... Но заметьте, он никогда не жалуется, никогда не говорит про себя и про свою боль. Другие рисуются, кокетничают своими мрачными мыслями, а он молчит... Я его часто застаю в такой позе: сидит со стиснутыми зубами. А заговори с ним — смеется!..

Верочка возражала на это, Неразов защищался, оба приходили в азарт и переставали слушать друг друга. Этим кончался Грубов и начинался через некоторое время другой, например Кугин.

— А Кугин вам нравится? — спрашивала Верочка.

— Кугин?.. Кугин ничего, хороший малый... — возражал Неразов нехотя.

— А мне он нравится больше вашего Грубова!

— Кугин? Он ничего...

— То есть как это ничего? Он — энергичный человек, а это вовсе не ничего.

— Ну, кто его знает! Насчет энергии — это еще вопрос... Но в нем есть одна черта... какое-то злое, узкое самолюбие. Знаете, почему он не любит Грубова?

— Разве он его не любит? — спросила с внезапным любопытством Верочка.

— Он-то? Терпеть не может!.. А все потому, что на Грубова смотрят как на представителя колонии, а это Кугина злит. Ему хочется самому быть первым. Это свинство!

— Почему же свинство? — возразила Верочка горячо.

— Да потому, что здесь даже смешно говорить о самолюбии! — закричал Неразов.

— Нисколько. А может, Кугин сознает в себе силу?.. Да я и сама думаю, что если кто будет полезен колонии, то именно он...

— Кугин?.. Пока только он выучился подпоясывать рубаху ниже живота да говорить «ничаво»!

— Ну, уж это вы от злости сплетничаете, Неразов!

Неразов при этом обвинении вдруг съежился и замолчал, уже раскаиваясь в своих запальчивых словах относительно товарища. Мягкой натуре его противна была злоба и мстительность, и хотя Кугин часто обижал его своим пренебрежительным тоном, но за это он не мог долго сердиться на него.

Разговор переходил и на Наталью. Но тут был уже широкий простор для всяких предположений.

Верочке она не нравилась. Неразов обижался на это.

— Она какая-то скрытная... и, кажется, хитрая! — говорила Верочка.

— Кто? Наталья-то?

— Хитрая, как хитрые бывают бабы.

— Да бог с вами! Что же это вы говорите?.. Наталья хитрая!.. Да она такая нежная, умная!.. А если она неразговорчива, то это от застенчивости. Она всех нас, не исключая и мужа, так боится, что у ней язык не поворачивается... Ужасно стесняется.

— Застенчивость — обратная сторона гордости, — заметила Верочка.

— Ну, так что же?.. И верно! Но ведь это особая гордость, происходящая от благородства... Да нет! вы просто сами не верите в то, что говорите. Когда мы с Грубовым увидали ее, то положительно были растроганы... Она такая деликатная, что трудно даже и представить, как такая нежная натура могла появиться в кре-

стьянской избе. Она похожа на лесной цветок, на ландыш посреди темного леса. Впрочем, семья Алексея Семеныча вся хорошая... Но Наташа — это благородство! Даже удивительно, как могло выработаться в этой все-таки грубой среде такое существо, тонкое...

— Она влюблена в Кугина? — спросила Верочка.

— По уши.

— А он?

— Он? Он тоже, вероятно. Впрочем, Кугин сильно может любить только свою особу.

— Вы опять сплетничаете? — со смехом заметила Верочка.

— Совсем нет. Я только думаю, что было бы лучше, если бы в ту пору Грубов на ней женился.

— Как! Разве и Грубов, как все вы, поражен был ландышем? — воскликнула Верочка с живейшим любопытством.

— Он очень любил ее, после первой же встречи.

— А она?

— Она?.. Вот тут и разбери женское сердце! Она, по-видимому, и не замечала этого... Но лишь только приехал этот красавец Кугин — и конец! Не успели мы оглянуться, как уже они женились.

— Ну, а Грубов?

— Да что же Грубов? Вероятно, лишний раз стиснул зубы, больше ничего. Грубов ей теперь дает уроки, и, надо сказать, только его одного она и не боится и не стесняется.

— А разве мужа боится?

— Как огня. Да и всех нас... и меня и вас, вероятно. Только перед Грубовым она не стесняется. А он, — это, между прочим, также характеризует его, — ни одним намеком не дал никому заметить, как он относился к ней... Только, ради бога, никому этого не говорите. Это тайна Грубова, глубоко схороненная им, и никто не должен знать ее.

— Да вот мы уже, увы, знаем ее! — сказала Верочка и захохотала.

Неразов вдруг жалко съежился.

Таковы разговоры, занимавшие по целым часам двух обитателей колонии. Когда этот материал на время выходил, оба отправлялись в деревню: Верочка — к Кугиным, Неразов — к Грубову.

Но и там занятия, собственно, не было.

Кугин днем понемногу копался во дворе, по хозяйству, но не очень ретиво; он знал, что если чего он не сделает, то вреда никому не будет, — сделает сам Алексей Семеныч или кто-нибудь из домашних. Поэтому, когда приходила Верочка, он бросал работу, провожал ее в горенку, и там они просиживали до позднего вечера за различными разговорами. Разговоры часто велись при молча-

ливом присутствии Натальи, но иногда и вдвоем. Главная тема их состояла, конечно, в предположениях и планах будущего колонии; очень часто велись общие разговоры; но все-таки самый обильный материал добывался от разбора друг друга.

Больше всех разбирался Грубов.

В первое время на вопросы Верочки Кугин играл в политику, сохраняя непроницаемое беспристрастие ко всем, но потом не выдержал. И тогда Грубов его устами расписан был яркими красками, а Верочка от себя подливала масла в огонь, похваливая Грубова. Кугин окончательно бросал политику.

— Вы говорите, он — человек крупный? — спросил однажды Кугин неспокойным тоном.

— Мне кажется, — ответила Верочка.

— Это, конечно, ваше дело. Я только не знаю, каким аршином вы его смеряли, что он стал таким крупным. Я также его мерял, но, вероятно, наши аршины разные... После моего измерения он оказался не очень большим. А для нашего настоящего дела он, по-моему, не годится... Ну, что уж это за человек, который из-за каждого пустяка может выйти из себя! Он из тех интеллигентов, которые умеют только всем возмущаться, над всем издеваться и ничего не делать... Этого уже нынче мало.

— Говорят, он очень умный, — вставила Верочка.

— Может быть. Да только ум-то его неприложим ни к чему. Нам нужны, наконец, практические работники, а не насмешники. Довольно увлекаться умниками, которые умеют только блистать умом, ехидно над всем подсмеиваться и отравлять каждое дело!

— Посмеяться он действительно любит, кажется.

— Медом не корми, как выражается Неразов.

— Он что-то уединяется? — спросила Верочка.

— От нас, да. Но у него есть своя излюбленная компания... Вы видали Ефрема, который вез вас со станции? Он наш пайщик и хороший работник, но как личность — скверный мужичонко, пьет, дерется, ходит вечно с побитой мордой, ругается, божится... Ну, так вот это один из любимцев Грубова. Потом мой тесть... Мой тесть — добрый мужик, но голова его набита разными бреднями, которые Грубов всегда слушает с великим восторгом, как нечто глубоко поучительное... Потом у хозяина Грубова, некоего Антона Петровича, богатейшего здешнего кулака, есть работник, дурак Лукашка, который сопровождает Грубова на охоту... вот его компания. Ефрем с побитою мордой, дурак Лукашка, мой тесть, помешавшийся на мистицизме, несколько еще в таком же роде мужиков и Неразов, — как видите, компания отборная!

Кугин при этом захохотал. Захохотала и Верочка.

— Неразов, в самом деле, ужасный чудак, — сказала она.

— Просто болтушка, — с презрением заметил Кугин.

— Он иногда уморительно фантазирует.

— Фантазирует, это еще ничего, но вот врет он — это уж плохо.

— Разве он врет?

— Артистически.

И бедняге Неразову жестоко досталось за все его увлечения.

Наталья, присутствовавшая иногда при таких разговорах, вспыхивала румянцем, в особенности когда дурно говорили о Грубове. Грубов был для нее лучшим другом, братом, заботливым учителем, и она недоумевала, что̀ в нем может быть нехорошего. И ей хотелось в такие минуты заступиться за него, и она уже порывалась говорить, но вдруг робость нападала на нее, и она не смела. Также больно было ей, когда ругали Неразова. Неразов казался ей подчас смешным, но она была убеждена, что он добрый барин, только какой-то несчастный. За что же его ругать? Но и за него она не смела заступиться. Вообще Наталье делалось грустно при этих разговорах.

Колония, видимо, разделилась на партии. Во-первых, партия Грубова, состоявшая из Грубова и Неразова. Во-вторых, партия Кугина, в которой единственным членом был сам Кугин. Третью партию образовала Верочка. Верочке скучно было принадлежать к той или другой из крайних партий, вследствие чего она колебалась то в ту, то в другую сторону, смотря по тому, где ей было веселее. Впрочем, по симпатии и по необходимости, с течением времени она стала склоняться на сторону партии Кугина, ибо из противной партии она могла ладить только с Неразовым; Грубов же просто отталкивал ее своим невниманием, да и ни разу не зашел к ней.

Вчетвером товарищи редко сходились.

Но по инициативе Кугина признано было полезным собираться всем вместе раз в неделю для обсуждения общих дел. Однако с первого же собрания обнаружилось, что разговоры имеют не только свойство водворять согласие, но еще и другое свойство — разъедать последние остатки взаимного понимания.

Самое деятельное участие в собраниях принимал Кугин. Он здесь бросал усвоенный им мужицкий жаргон и говорил книжным высокопа̀рным языком, весьма тщательно следя за красотой своей речи. Остальные члены собрания ограничивались немногими словами. Грубов изредка только шутил; Неразов волновался, но объяснялся больше восклицаниями и размахиваниями рук. Верочка внимательно наблюдала. Трибуну, таким образом, занимал один Кугин.

— Господа! — говорил он, — теперь нам следует решить вопрос о семенах на будущую весну.

И затем подробно излагал свой взгляд на вопрос. С ним по большей части соглашались, предоставляя ему одному удовольствие ставить, обсуждать и решать вопрос. Русский человек,

как известно, насквозь прошпигован «вопросами» и по каждому из них может бесконечно долго говорить, тем более что «над нами не каплет». Не встречая ни с какой стороны оппозиции, Кугин с приятным удивлением чувствовал свое превосходство над этим собранием, а удовлетворенное самолюбие делало его еще более красноречивым и горячим.

Так было и на одном из собраний. Все пришли на хутор, по обыкновению, поздно вечером. В поле гудела снежная вьюга, от которой дрожали стены ветхого домика. В комнате Неразова, где все сидели, по ногам ходил холод, заморозивший весь энтузиазм собравшихся. Верочка, облокотившись на стол, куталась в теплую шаль и подобрала ноги на кровать Неразова; сам Неразов, одетый в пальтишко, стучал зубами все время, пока не догадался снова затопить печь; Грубов воспользовался этим, повернулся лицом к огню и подставлял к печке попеременно руки и ноги. Один Кугин, казалось, не слышал бури, бушевавшей на дворе, и не чувствовал мороза, гулявшего по комнате. С возбужденным лицом, потерявшим обычную надменность, он ходил по комнате в одной кумачной блузе и говорил. Говорил он об идеале колонии, о теории земледелия, о задачах интеллигенции, о народе и обо всем, что всегда и везде говорится. Наконец, не встречая возражений, он перешел к хозяйству и стал предлагать для решения разные вопросы.

— Теперь, господа, нам следует решить вопрос о теленке, — сказал он, между прочим.

— Разве и такой вопрос есть? — заметил Грубов, держа одну ногу перед печкой.

— Неразов жалуется, что ему больше не под силу ходить за теленком, — продолжал Кугин, не расслыхав замечания Грубова.

— Да, братцы, надо куда-нибудь убрать его, а то, ей-богу, он замерзнет!.. Сарай плохо покрыт, и в одно прекрасное, но морозное утро я приду к нему и не застану его в живых! — ответил Неразов со смехом.

— Я предлагаю, господа, привезти воза два соломы и общими силами поправить сарай, — продолжал Кугин.

— А не лучше ли отдать его на прокорм Ефрему? — спросил Неразов несмело.

— Почему же лучше?

— Да стоит ли делать сарай среди зимы?

— Может быть, лучше съесть его? — заметил Грубов как бы про себя.

— То есть как это съесть? — с недоумением спросил Неразов.

— Очень просто, Вася! Не дожидаясь, пока он умрет, заколоть его и съесть. Тогда по крайней мере мы освободимся от одного из вопросов.

— Следовательно, вопрос сводится к телятине?

— Ты, Вася, очень догадливый человек!

— Еще бы! Мяса у нас давно уже не было, и я очень хорошо догадался, к чему ты ведешь речь! — шумно закричал Неразов.

В этом шутливом тоне Грубов и Неразов еще некоторое время говорили. К ним присоединилась Верочка. Но Кугин нахмурился. Остановившись посередине комнаты, он ждал, пока глупые шутки кончатся, и опять заговорил:

— Так нельзя, господа!.. Я не вижу тут ни малейшего предлога для шуток. Если же предложение — заколоть — сказано было серьезно, то я удивляюсь легкомыслию, с каким было это сказано!.. — Кугин при этом бросил насмешливый взгляд в ту сторону, где сидел Грубов. — Ведь дело не в том, как отделаться от теленка, а в том, как его вырастить. Теленок — часть нашего хозяйства, с этой точки зрения мы и должны рассматривать его.

— Не понимаю, как можно теленка рассматривать с какой бы то ни было точки зрения... — с улыбкой заметил Грубов.

Кугин еще более нахмурился.

— Не понимаешь? Я объясню. Когда мы заводили колонию, какую цель, главным образом, мы преследовали? Делать все своими руками и тем жить. Для этого мы решили обзавестись всем необходимым хозяйством и вести его собственными руками. Между тем на первых же порах мы изменили себе, нарушили нашу цель. Лошадей на зиму спровадили к Ефрему, все остальное у Алексея Семеныча... а теперь туда же хотят спровадить и теленка. Это значит, что с самого же начала мы обнаружили свою несостоятельность и неумелость в деле, которое создали. Следовательно, здесь возникает чисто принципиальный вопрос.

— О теленке? — спросил Грубов.

— Да, именно о теленке, — упрямо подтвердил Кугин.

— И его надо решить?

— Я думаю.

— Ну, что ж?.. Давайте решать. Признаюсь, я до сих пор смотрел на нашего теленка как на обыкновенного теленка; но раз это теленок — принципиальный, тогда к нему нужно отнестись с полным вниманием.

Верочка прыснула из-под шали, Неразов захохотал, сам Грубов добродушно засмеялся. Но что сделалось с Кугиным, — в первое мгновение никто не заметил. Сначала он и сам недостаточно понял смысл раздавшегося вокруг него взрыва смеха; но вслед за тем краска разлилась по всему его лицу, в глазах его вспыхнула жгучая злоба.

— Вы, Грубов, слишком злоупотребляете своим шутовством!.. Быть может, это удобно в той идиотской компании, которая окру-

жает нас в Бору, но едва ли уместно здесь! — сказал Кугин вне себя от бешенства.

Напрасно спохватившийся Грубов, заметив действие своей шутки, старался уверить, что с его стороны не было намерения оскорбить; напрасно он доказывал нелепость ссориться из-за какого-то теленка, — все его слова только подливали масла в огонь. Кугин никому не прощал насмешки над собой. Не говоря более ни слова, он быстро оделся и молча ушел с хутора.

Грубов положительно опечалился этим происшествием.

— Проклятый этот теленок!.. Когда еще мы покупали его, все перессорились, теперь также!.. Неразов, привяжи завтра его на веревку и отведи к Ефрему! — сказал Грубов печально.

— Что же, это можно... Только Кугин ведь еще пуще разозлится. Скажет, что вопрос о веревке надо еще решать с теоретической точки зрения, — возразил Неразов и захохотал до слез.

С этого дня теленок сделался элементом раздора и ненависти в колонии; собственно говоря, даже и не теленок, — настоящего, реального теленка Неразов действительно привязал на веревочку и отвел к Ефрему, — вражда пошла из-за слова «принципиальный теленок». Сначала этим прозвищем Верочка стала называть всякого, кто начинал говорить красно. Но затем прозвище почему-то чаще всего стало применяться к Неразову.

— Послушайте, принципиальный теленок... принесите мне воды, — говорила, например, Верочка.

Неразов сначала обижался на такую профанацию его имени, но скоро привык и безропотно стал носить на себе обидную кличку.

Между тем Кугин втайне уверен был, что кличку за глаза применяют именно к нему, Кугину, и бесился. Одна мысль, что его называют «принципиальным теленком», приводила его в содрогание. Он ненавидел за это Грубова и при всяком удобном случае старался уязвить его. Сходки на хуторе еще некоторое время продолжались, но уже не затем, чтобы решать вопросы, а с целью наступить на чужое самолюбие. Самолюбие у каждого раздулось до таких размеров, что поглотило в себя все — взаимное уважение, справедливость, вопросы, дела.

Первый опамятовался Грубов; ему опомниться было тем легче, что игра самолюбий производила на него страшное действие; на другой день после каждого столкновения на сходках он делался больным.

Тогда он бросил ходить на хутор. Остальные последовали его примеру. «Вопросы» прекратились. Но вместе с ними брошены были на произвол судьбы и настоящие дела.

VI

СКУКА

Прошло уже много времени со дня приезда Верочки в колонию, а она все еще не могла придумать для себя дела и не знала, какие, собственно, лежат на ней обязанности, исполнению которых она могла бы предаться всею душой. Первые месяцы жизни на хуторе были для нее все-таки любопытны; она никогда зимой не жила в деревне, и теперь такая жизнь все же была для нее новостью. Но когда обстановка пригляделась, люди были узнаны со всех сторон, а жизнь пошла изо дня в день как машина, Верочка стала раздражаться. Вставая утром с постели, она мысленно тотчас же спрашивала себя с ужасом, как она проведет наступающий день? — и не знала как; и тотчас же на нее нападала злая скука.

Именно злая. Скуку люди выносят двояко: одни терпеливо, другие с яростью. Первые, лишь только она приступит, тотчас придумывают, чего бы поесть, и придумают, а поевши, немедленно ложатся спать, и спят долго, с носовою музыкой, всласть. Другие, напротив, при первом ее приступе приходят в ярость, лишаются аппетита и сна и становятся невыносимыми, причиняя много вреда окружающим ближним.

Бедняга Неразов просто не понимал, отчего его сожительница с некоторого времени совершенно переменилась; отчего лицо ее теперь всегда было некрасиво, губы надуты, брови нахмурены, глаза смотрят недобро. Первым его предположением было то, что она на него сердится; но за что — он не знал. Кажется, он из всех сил старался услужить ей — топил печки, носил воду, подавал умываться, мел пол, варил обед, ради которого палил редкие свои волосы или обливался супом, ставил самовар, причем для ускорения кипения снимал с ноги сапог и действовал его голенищем, как мехом. Чего же больше? Правда, не все его старания приводили к тем целям, к которым он стремился: обед его часто годился только для собаки, в натопленные комнаты он напускал угару, после его подметания в воздухе носились столбы пыли. Но все же он старался.

Верочка, однако, по целым дням ходила мрачная, не разговаривала, не пела. Но вот однажды на нее напало вдохновение, она вспомнила, что приехала сюда работать всякую работу, и решила взяться за домашнее хозяйство. Однажды утром она торжественно объявила Неразову, что с этого дня начнет заниматься хозяйством. Неразов пришел в восторг.

Верочка нарядилась в особую юбку и блузу, голову кокетливо повязала платком, надела чистый передник и принялась работать. Сначала она убрала комнаты, вычистила каждую вещь и потом объявила Неразову, что сейчас будет готовить обед.

— Идите, Неразов, несите воды! — приказала она.

Неразов побежал за водой.

— Вынесите помои, пожалуйста! — говорила она вслед затем.

Неразов выносил.

— Теперь тащите дров и будем топить! — говорила она дальше.

Неразов исполнял с величайшею готовностью все ее приказания. А она своими чистыми маленькими ручками приготовляла суп, нарезала правильными прямоугольниками овощи, выбирала жилки из мяса и пр. Потом опять приказывала:

— Неразов, закройте вьюшки в печке!

Неразов полез за трубу, выпачкался сажей и закрыл.

— Знаете что, вы мойте мочалкой посуду, а я буду перетирать ее, — предложила она.

— Отлично! — согласился Неразов и принялся самоотверженно бултыхаться в помоях. Он мыл, а Верочка вытирала.

В этом роде была вся ее работа.

— Хороший обед? — спрашивала она, когда в этот день они сидели за столом.

— Прелесть! — искренно изумлялся Неразов.

На другой день Верочка также принялась хозяйничать.

— Неразов, идите за дровами... затопите печь!..

Неразов тащил дров, затоплял печь, натаскал воды, вынес раз десять помои, мыл посуду, притирал пол, и все это добросовестно и с жаром, в полной уверенности, что он «помогает» Верочке.

Так продолжалось с неделю. Верочка «работала», а Неразов «помогал». Ему только казалось странным, отчего он в эту неделю так устал. На этот счет он справился у Верочки.

— Вы устаете сильно? — раз спросил он.

— Нисколько! — возразила она весело.

— Удивительно!

— Что же тут удивительного? Разве вы устаете?

— Устал... И сам не знаю отчего! — сказал он конфузливо.

Верочка подняла его на смех; насмеялась над его худосочною фигурой и над его неловкостью. Неразов еще более смутился и искренно изумлялся своему слабосилию.

В следующие дни он уже с тоской ожидал работы Верочки. Не один раз он осведомлялся у ней насчет порядка завтрашнего дня.

— Вы и завтра будете работать? — спрашивал он несмело.

— Буду, — отвечала Верочка.

Неразов тоскливо вздыхал. Как человек мягкий, он стыдился сказать Верочке, что от ее работы у него болит спина и что ему очень неприятно быть ослом... Жизнь настоящего осла не потому тяжела, что он таскает тяжелые ноши, а потому, что таскает их по принуждению, не тогда, когда хочет, и не так, как сам думает.

Неразов до этого времени все делал сам и не уставал, а когда принялась хозяйничать Верочка и заставила его быть у себя на побегушках, он страшно утомлялся.

Но, к счастью его, Верочке скоро эта игрушка надоела. Ей опротивели эти грязные кухонные дела, и она все их бросила. Разве она затем ехала в колонию, чтобы мыть горшки, чистить картофель, приготовлять для Неразова обед? Все эти пошлые дела может выполнить любая баба, — неужели для этого она ехала сюда? Она приехала работать, а не затем, чтобы заниматься пошлыми мелочами.

Верочка инстинктивно делила людей на два вида: одни занимаются пошлыми мелочами, другие — подвигами. И также инстинктивно она причислила себя ко вторым. Она была уверена, что жизненные мелочи совсем не относятся к ней; для мелочей всегда найдутся мелкие люди. Она же должна заниматься чем-то другим, крупным, шумным и веселым. Обед сделает баба, платье сошьет портниха и прочее, она же будет делать в жизни нечто другое, важное, огромное. Мелочи отнимают время и опошляют; ей же надо жить. Другие, мелкие люди пусть проводят жизнь в обыденных глупостях, а она должна жить. Если бы она погрузилась в домашние пустяки, то когда же жить?

К сожалению, *жить* ей до сих пор не удавалось. Она даже до сих пор не могла определить, что значит жить.

Года два тому назад она была уверена, что ее назначение — сцена. И она готовилась быть оперной певицей и верила в необыкновенный свой успех. Сидя в театре и слушая рукоплескания, она думала: «Вот так и мне будут скоро хлопать!» И она верила в свои победы над толпой, в которой вот теперь она затерлась в качестве обыкновенной ничтожности, но которая завтра будет ее носить на руках. С этими предчувствиями она поступила в консерваторию. Но когда она здесь пробыла уже с полгода, один из ее учителей сказал ей:

— Зачем вы поступили к нам?

— Как зачем? Я готовлюсь на сцену, — ответила она.

— На сцену?.. Но ваши голосовые средства достаточны только для домашнего употребления. Не советую. А впрочем, как хотите.

После такой неудачи она долго скучала и бесилась. Но спустя немного времени на нее снизошло новое вдохновение, и она всецело отдалась ему. Она начала писать роман в пяти частях. Очень скоро она овладела литературными приемами и в два месяца кончила, сама удивляясь, какое это, в сущности, пустое дело. Надо только знать, где пустить в ход психический анализ, где описание природы, где изображение быта. И то, и другое, и третье ей вполне удалось. Так, например, она очень тонко подметила и развила соотношение между приподнятым острым носом и несчастливостью в жизни. Из описаний природы ей в особенности удалось

изображение облаков, которые она сравнивала со стадом коров, стоящих в разных позах на водопое... А конец вышел у нее очень эффектен: героя, учителя музыки, она с наслаждением повесила на одном из гвоздей театральной вешалки, а героиню убила экстазом в момент исполнения тою арии из «Гугенотов». Но старик редактор, которому она отдала роман для прочтения, просто сказал со своею милою, честною улыбкой: «Не годится, барышня!» — и с сожалением уклонился от дальнейших объяснений. Это сильно обескуражило Верочку, так обескуражило, что она несколько месяцев страшно скучала.

Спустя полгода после этой неудачи Верочка опять чувствовала себя веселою; к ней возвратился блеск глаз, румянец щек и жизнерадостная красота. Совершилась такая перемена благодаря одному молодому человеку, который влюбился в нее до потери сознания. Она также влюбилась, но без потери сознания. Молодой человек ради нее готов был совершить ряд неистовых безумств, она уже готова была принять эти безумства как должную дань. Эта игра заняла ее надолго и наполнила ее пустую душу разнообразным содержанием. К несчастью, роман через полгода кончился по вине молодого человека. Он, идиот, принял игру за серьез и вздумал вслух строить план их будущей жизни. По мнению болвана, выходило очень пошло и мелко: они женятся, будут вместе воспитывать детей и вместе работать. Эта перспектива так испугала Верочку, что она живо отделалась от глупца, вообразившего в ней обыкновенную девушку.

Брак ей представлялся в виде летней прогулки по бульвару, — прогулки, которую она имела право кончить, когда ей угодно; между тем влюбленный гусь грозил ей вечным счастьем! Грозил детьми и работой среди пеленок! Он предлагал ей, в сущности, сделаться рабой мужа, нянькой детей, кухаркой семьи. Но когда жить?

Верочка не знала, что такое *жить*. Но она ясно различала, что значит *не жить*. Не жить — это значит выйти замуж, родить детей, нянчить этих противных животных, гулять только под руку с мужем, слушать концерт, только когда можно вырваться из дома, и всегда возвращаться только на одну и ту же опостылевшую квартиру. Могла ли она согласиться не жить?

Но, спровадив молодого человека, Верочка опять сильно заскучала. Роман все же давал ей приятную игру, и когда она ее окончила, душа ее еще больше опустела.

Несчастье Верочки заключалось в том, что сознательная жизнь ее началась в такое время, когда в окружающем ее обществе не было сознания и когда окружающая жизнь обратилась в дикую пустыню. Пустыня наложила на нее неизгладимую печать; сердце ее, несмотря на молодость, было дико, душа пуста. Вместо духовных влечений в ней были порывы темперамента, вместо ве-

ры — аппетиты, вместо характера — произвол. Она умела только различать, что скучно и что не скучно, и жизнь вела, как игру. Но игра может быть приятной или неприятной; первую она искала, от второй всеми силами уклонялась.

В таком виде она явилась и в колонию. Услыхала она о ней в самый разгар скуки и ухватилась за нее со страстною неудержимостью. Колонию она представляла себе именно тем делом, которого она искала. Понятно ее разочарование. Прожив в Бору два месяца без всякого дела, она должна была заскучать. В это-то время на нее снизошло, к горю Неразова, хозяйственное вдохновение. Есть один род вдохновения, от которого у всех окружающих чешутся затылки и болят поясницы; по крайней мере у Неразова от ее вдохновения заболела именно поясница. А бывает и хуже.

Когда Верочка внезапно бросила хозяйничать, к удивлению Неразова, то сначала ничего не объясняла почему. Но когда он снова принялся один хозяйничать, ей стало неловко. Она сделала попытку объяснить свое непостоянство. Судя по себе, она теперь знала, что вся эта глупая возня по дому страшно тяжела для Неразова.

— Вы извините меня, Неразов, но я больше не хочу возиться со всею этою ерундой! — сказала она однажды презрительно, хотя в душе конфузилась.

— Конечно, бросьте! Я все сделаю, — наивно возразил Неразов.

Неразов вполне верил, что у Верочки должны быть великие планы и потому для нее нет нужды убивать время на кухонные мелочи. Но он все-таки решился возразить.

— От мелочей нигде не отвязаться; они всюду примешиваются, как пыль к воздуху, — сказал он.

— Но ведь это безобразно! Неужели я затем ехала сюда, чтобы подметать пол или выносить помои? — вскричала Верочка.

— Да как же иначе-то, барышня? — возразил несмело Неразов.

— Как? А очень просто — наплевать на всю эту чепуху!

— Но ведь из этой чепухи вся наша жизнь здесь состоит!

— Что вы болтаете! Колония устроена затем, чтобы заниматься грязными мелочами?! — закричала Верочка.

— Да как же иначе-то... Цель колонии — жить своим трудом, добывать все средства к жизни своими собственными руками, а не службой в какой-нибудь подлой конторе за бездельным бумагомаранием. Вот какая цель! Но ведь физический труд целиком состоит из грязи, уверяю вас!.. Притом же всякая работа здесь, взятая в отдельности, — совершенная чепуха, да еще грязная, честное слово! Да и конечная цель всей этой грязной

чепухи не очень большая — пропитаться, прожить... Вот какая цель!

Верочка с изумлением выслушала Неразова; слова его, несомненно, были справедливы, но ей неприятно было сознаться в их справедливости. Она избрала средний путь, обратив неприятный разговор в шутку.

— Все это какой-то вздор! Впрочем, вы ведь принципиальный «осел», и я уверена, вам самим приятно заниматься помоями и прочею ерундой!

— Приятно или неприятно, но выносить помои кому-нибудь везде надо! — возразил храбро Неразов, хотя тотчас же испугался своей храбрости. Верочка бросила на него уничтожающий взгляд, под тяжестью которого он вдруг съежился.

С этого дня жизнь на хуторе круто изменилась. Верочка уходила к Кугину, и Неразов один коротал полутемные зимние дни. Весь дом был занесен сугробами; мороз, залепивший толстым слоем льда все окна, свободно гулял по комнатам, посеребрил края выходной двери, пробрался к самой постели хозяина. Неразов жестоко зяб, но, что всего тяжелее, жестоко скучал. Верочка уходила в село рано утром, часто не дожидаясь неразовского чая, и возвращалась поздно ночью, в сопровождении Кугина. Но Кугин никогда не входил на хутор; он отправлялся назад тотчас, как Верочка ступала на крыльцо. Да Неразов и сам не желал, чтобы он заходил к нему; между ними с приезда Верочки еще более усилилась неприязнь, в особенности после того, как Верочка встала в дружеские отношения с Кугиным.

Со стороны Неразова это была своего рода ревность. Он жестоко страдал оттого, что Верочка с ним почти перестала говорить, а если изредка заговаривала, то пренебрежительным тоном; он жестоко страдал оттого, что по целым дням сидел один, слушая свист ветра или треск мороза и не зная, как убить проклятый, полутемный день; но он еще сильнее страдал, когда видел Верочку в обществе Кугина, когда они болтали между собой, громко смеялись, шумно спорили. Кугина он тогда ненавидел и несколько раз в уме убивал его на дуэли, а к Верочке (тоже в уме) обращался с ужасными упреками, обвиняя ее в кокетстве, громя ее пустомыслие, пламенными словами поражая ее бездушие и эгоизм. И Верочка несколько раз от его громовых речей заливалась слезами, с рыданием раскаивалась и давала клятвы исправиться, после чего у самого Неразова, от радости и участия, показывались на глазах слезы, но уже не воображаемые, а настоящие: кончив горячее объяснение с Верочкой, он рукавом блузы вытирал мокрые глаза.

Разумеется, этим он сам себя только огорчал. Верочка ничего не подозревала. Она продолжала исчезать на целые дни, совершенно игнорируя Неразова и всю остальную колонию. Случалось,

Неразов набирался смелости заговаривать с ней, когда она возвращалась от Кугина из села, но она почти не отвечала ему, не стесняясь от его слов зевать до слез.

— Боже мой, какая скучища! — говорила она апатично.

Несколько раз Неразов самовольно навязывался к ней в проводники и сопутствовал ей по дороге к Кугину, но во все время ходьбы между ними длилось тяжкое молчание. Но однажды Верочка и такое безмолвное присутствие запретила.

— Зачем вам идти со мной? Я и одна дойду, — сказала она, заметив намерение Неразова сопровождать ее.

Неразов сконфузился и в нерешительности мял шапку в руках. Верочка вывела его из этой нерешительности, захлопнув дверь перед самым его носом.

Отдыхал Неразов только у Грубова. Заходя во флигель Антона Петровича, он ложился на кожаный диван и по целым часам молча лежал, только изредка взглядывая на товарища. Последний в это время читал или писал. По выходе из бюро, он не бросал своего занятия статистикой, а продолжал работать, пользуясь зимним временем, уже самостоятельно над одною монографией; кстати, под руками у него теперь был живой материал в виде нескольких деревень, послуживших ему иллюстрацией.

Неразов валялся на диване, курил, поглядывал на друга и молчал, никогда не обнаруживая попытки помешать работе. Чтобы не скучать, ему, по-видимому, совершенно достаточно было здесь находиться. Грубова он любил любовью женщины и довольствовался тем, привязавшись к нему с самого первого дня их встречи. В свою очередь, Грубов относился к нему с исключительною мягкостью, как ни к кому больше. Насмешливый со всеми, он никогда не смеялся над Неразовым и ни разу не вышучивал его слабости наряду с теми лицами, для которых Неразов служил неизменною мишенью.

Впрочем, когда подходил вечер и Грубов бросал работу, тишина сразу нарушалась. Неразов принимался вслух фантазировать насчет будущего, Грубов скептически возражал ему, и комната наполнялась смехом, шутками и серьезными речами. Если Неразов оставался до вечера, то еще более поправлялся от своего одиночества, — в это время к Грубову заходили знакомые мужики, и вечер проходил оживленно. Компания, наряду с беседой, обыкновенно выпивала по два ведерных самовара.

Про других членов колонии здесь редко говорилось. Неразов иногда порывался ругаться насчет Кугина, но Грубов не поддерживал его, и сплетня гасла моментально, не успев разгореться. Со стороны Грубова это была воспитанная порядочность — не говорить лишнего об отсутствующих, и Неразов подчинялся ей.

Грубов преднамеренно устранялся от близких сношений с остальною колонией, чтобы не увеличивать суммы личных счетов.

Это решение им принято было в ту минуту, когда он убедился, что колония сколочена на скорую руку, что члены ее набраны случайно, что личные счеты уже запутаны и что лучше избегать трогать чужие мозоли. Кроме того, всякие «личности» бесконечно волновали его, отнимая у него и ту крупицу душевного покоя, какая с таким трудом доставалась ему...

Однако политика молчания также имеет свои невыгоды: благодаря ей молчавший долго субъект по необходимости многого не знает и по поводу многого должен приходить в изумление.

Пришел однажды Неразов во флигель Антона Петровича и, по обыкновению, хлопнулся на диван с явным намерением отдохнуть. Грубов мельком взглянул на него и пошутил насчет его наружного вида.

— Ты что, Василий Васильич, какой? — сказал Грубов, не отрываясь от работы.

— Какой?

— Да словно тебя нынче ночью мыши напугали!

— Мышей я больше не боюсь, потому что они, вероятно, померзли от холода, а вот волки проклятые!.. — воскликнул Неразов с унынием. — Каждую ночь теперь воют!.. Слышу, как они шатаются кругом хутора целыми толпами и... но, главное, воют!

— Надеюсь, что они не имеют в виду собственно тебя!

— Черт их знает!.. Днем я также думаю, что им нет решительно расчета съесть меня. Но когда наступает ночь и я слышу, как они окружают хутор, мне приходят в голову самые мрачные мысли.

— Я тебя понимаю. Скверно даже и подумать, чтобы дворянина, устроившего колонию для сбразованных инвалидов, в некотором роде передового человека и радикала, в самый разгар его деятельности вдруг волки съели!

— Тебе хорошо смеяться, а ты бы пожил там! — сказал Неразов полушутя, полусерьезно.

— Да возьми мое ружье и попугай нахалов!

— Не только ружье, но если бы пушку мне дали, и то бы я ночью не вышел за порог двери, ей-богу!

Оба захохотали. Но Неразов говорил, в сущности, серьезно.

— Боюсь я, честное слово! Ни за что ночью я не выйду один на двор, — не могу! А тем более, когда волки там. Я стараюсь запереть все двери, ложусь в постель и, чтобы не слыхать воя, закутываю голову в одеяло.

— Ты, однако, основательно презираешь храбрость.

— Ничего, брат, не поделаешь! Я убедился на опыте, что в деревне трусость, то есть непрекращающийся испуг, самое сильное чувство. Это, может, зависит от вечного одиночества... Все

один, все один, кругом лес, — ну, и пугаешься. Хоть убей меня, не могу выйти ночью на двор!

— Ну, а что же барышня... ведет себя так же храбро? — спросил с улыбкой Грубов.

— А я почем знаю! — возразил Неразов неприятно.

— А кому же знать?.. Ведь вы в одном доме живете.

— Совсем даже она и не живет на хуторе...

— Как не живет?! — воскликнул Грубов и с недоумением взглянул на товарища.

— Очень просто. Утром уходит, поздно ночью возвращается. А иногда и ночует в деревне... Я ее теперь только мельком вижу.

Грубов пожал плечами в сильном недоумении.

— Куда ж она ходит? — спросил он и со стыдом подумал про себя, что он не должен был этого спрашивать.

— Куда же больше, как не к Кугину! — сердито проговорил Неразов.

Грубов больше не хотел расспрашивать, но не мог овладеть собой и после долгого молчания предложил Неразову еще несколько вопросов.

— Она одна ночью возвращается на хутор?

— Нет, ее всегда провожает Кугин.

— Она, вероятно, там учится работать?

— Ничего они не работают, а просто весело проводят время: ходят вдвоем по селу, гуляют за селом. Третьего дня ездили куда-то... Что же больше делать?

Неразов говорил это раздраженным тоном. Грубов слушал и волновался. Верочку он встречал ежедневно у Кугиных в тот час, когда давал урок Наталье, но ему в голову не приходило, что она там находится не только в этот час, но с утра до ночи. Что они делают? И что думает обо всем этом Наталья?

В последней он ничего не замечал. Но теперь, после слов Неразова, он вдруг припомнил странное состояние молодой женщины. Он объяснял тогда это ее беременностью, которую можно было подозревать, но странные признаки беременности! Наталья с некоторых пор плохо слушала урок, всегда торопилась его окончить, путалась в пустяках и держала себя как дура. Лицо ее теперь всегда тревожно; тревога ее видна теперь в каждом шаге, как у птички перед бурей, которой еще нет, но которую она уже предчувствует... Все это теперь моментально припомнил Грубов и мгновенно придал всему этому значительный смысл; а еще дальше — и все это проявило уже позорный, ужасающий характер. Неразова он больше ни о чем не расспрашивал и начатого разговора не поддержал, по-видимому нисколько не интересуясь им.

— А знаешь что, Дмитрий Иваныч?.. Много горя принесет нам эта барышня!.. — сказал Неразов печально.

Грубов и на это не ответил.

Но когда Неразов ушел, он заволновался так, как только он один мог волноваться. В такие минуты он всегда совершал неистовые поступки, теряя сразу все свое наружное спокойствие: в эти минуты малейший пустяк, ничтожное слово, выражение лица, перемена погоды могли произвести в нем целый взрыв чувств, картин и представлений, подавленных усилием воли, но не уничтоженных.

Он готов был тотчас идти в дом Кугиных, чтобы разъяснить все, но была уже поздняя ночь, и он должен был до утра испытывать смятение.

VII

ДЕЙСТВИЕ НЕРВНОГО АППАРАТА

На другой день Грубов встал с мыслью о какой-то крупной неприятности, случившейся вчера, и тотчас же припомнил. Но, к его удовольствию, вчерашние мрачные мысли не мучили больше его; они за ночь перегорели, вся копоть их улетучилась, и только пепел остался. Притом сегодня он постарался себя успокоить обычною отговоркой, что, «в сущности, ему до всего этого нет никакого дела».

Все-таки, ради окончательного успокоения, он пошел к Кугиным не в тот час, когда он давал урок Наталье, а значительно раньше. Верочка действительно была уже там. «Но что же из этого? Ровно ничего», — говорил он себе, усаживаясь на лавку в горенке. Все в доме было спокойно, ничего подозрительного, ничего из того, что он уже вообразил.

Верочка читала какую-то книгу, но без удовольствия. При входе Грубова она сказала обычную фразу свою:

— Вы сейчас будете заниматься? Я мешаю?

— Совсем нет, — возразил Грубов, — напротив, я должен вас спросить, не мешаю ли я вам?

— Не знаю, что вам сказать... Если я скажу, что вы мне мешаете, тогда вы, конечно, уйдете; но если я скажу, что вы не мешаете, то вы ведь также уйдете, не желая даром терять время в болтовне со мной.

Верочка проговорила это колко, но Грубов не обратил внимания на тайные намерения собеседницы.

— Если позволите, я не уйду. Дома я сижу только затем, чтобы не надоедать людям. Но иногда одурь берет. Если общество имеет свою отрицательную сторону, люди без нужды мозолят друг другу глаза, без нужды толкаются, без всякой необходимости враждуют друг с другом, то одиночество имеет свою дурную сторону. В одиночестве человек преувеличивает всякое чувство, или мысль, или вещь в сотни раз и страдает от этих преувеличений... Теряется мера вещей, а это ведет к одури.

— А я думала, что вы никогда не скучаете, как мы грешные!— сказала Верочка уже весело. Ей польстило, что Грубов заговорил с ней таким языком, и ей было ясно, что он пришел ради нее, а это еще более польстило ей.

— Скучать-то, пожалуй, я, точно, не скучаю. Но есть положение хуже — чувство пустыни, ужас одиночества... Жениться хотя бы, что ли!

Грубов засмеялся.

— Так что же? Дело нехитрое!

— Не могу! — возразил серьезно Грубов.

— Отчего? Никого не можете любить, кроме себя? — спросила Верочка с лукавою усмешкой.

— Как раз напротив. Не женюсь потому, что люблю...

— Интересно!..

— Да, именно так.

— Вероятно, другая особа отказалась от чести быть вашею «спутницей»?

— И она любила, и опять потому не пошла за меня, что любила.

Верочка никак не могла понять, было ли все это действительно в жизни Грубова, или это мистификация. Но его лицо было серьезно и печально.

— Что же это за диковина?.. И вас любили, и вы любили, — что же вам помешало? — воскликнула Верочка.

— Помешала очень маленькая вещь — совесть... Любимая женщина была чужая жена.

— Вот как!.. Все-таки не понимаю, при чем тут совесть? — Верочка уже говорила с величайшим любопытством.

— Я в свою очередь вас не понимаю... Разве, по-вашему, хорошо разбивать чужую жизнь, да еще жизнь товарища?

— Хорошо или не хорошо, но раз появилась любовь, надо следовать ее влечению, — сказала убежденным тоном Верочка.

— То есть разбить чужую жизнь?

— Отчего же, если приходится.

— То есть во имя счастья уничтожить счастье другого, во имя любви разбить другую любовь? — спросил Грубов серьезно и горячо.

— Это смотря по обстоятельствам... Я только верю, что любовь свободна. Любовь — святое чувство. Нельзя безнаказанно нарушать ее.

На лице Грубова появилась та неуловимая насмешливость, которая так раздражала Верочку, отнимая у ней всякое самообладание.

— Нет, барышня, совсем это не святое чувство. В современных людях — это ходячая истина, которую никто не хочет проверить. Любовь свободная, святая, высокая — думают все

и всеми мерами раздувают эту уличную истину. И любовь раздулась до такой степени, что сделалась богом, которому многие поклоняются и ревностно служат; но этот божок на самом деле довольно грязный и хищный — грязный по своему происхождению, хищный по своим требованиям. Во имя его часто совершаются большие пакости. Вы говорите, что любовь святое чувство? Но нельзя представить себе святого чувства, которое вело бы за собой вероломство, жестокость и зверство. Если б это было действительно святое чувство, а не эгоистичное и ничтожное, то как оно могло бы причинять страдания? Если б это было бескровное, чистое чувство, то могли ли бы во имя его приноситься кровавые жертвы на счет счастья и жизни ближнего?.. Еще говорят, любовь свободна... Если б это сделалось фактом, тогда хищный божок пожрал бы не только те дары, которые ему приносятся, но и всю человеческую жизнь!..

— Но ведь вы проповедуете дикие, отсталые взгляды! — воскликнула Верочка с притворным негодованием.

— Это только страшные слова, — возразил с улыбкой Грубов. — Я говорю только то, что любовь — не истина, не правда, не святое чувство, не цель и не мера жизни... Не она должна направлять меня, а я ее; не я для любви существую, а она для меня, и не я должен поклоняться ей, принося идольские жертвы, а она должна служить мне, подчиняясь другим, высшим мерам вещей.

— Какая же высшая мера любви? — спросила Верочка горячо и с любопытством молодости, жадной до всего неизвестного.

Грубов замолчал. Про себя он спросил:

«А знаю ли я сам, есть ли у меня эта мера?»

В комнате стало вдруг тихо, как в пустом месте. Но Верочка с нетерпением переспросила:

— А у вас... есть у вас мера вещей?

— Есть, — твердо сказал Грубов, но с волнением поднялся с места и ничего больше не говорил.

Верочка посмотрела на него сначала с ожиданием, но, не видя с его стороны охоты говорить, рассердилась. Для нее было ясно, что он не считает ее достаточно серьезной для такого разговора и потому молчит. А он только не знал, что и как сказать, не знал и волновался, позабыв обо всем на свете.

Внутренняя жизнь в нем всегда преобладала над внешней; но в некоторые минуты он совсем забывал, что́ надо делать, занятый исключительно тем, что делалось в нем. А в эту минуту у него заболела самая больная рана, и ради нее он забыл, зачем пришел, что нужно говорить Верочке и что всем прочим говорить. В скором времени в горенку вошла Наталья, вслед за нею Кугин, но они оба смутно представлялись ему. Все пошли обедать, и он пошел. За обедом он продолжал думать о своем, хотя внешним образом участвовал и в чужих интересах; он даже что-то говорил со

всеми, причем на каждого пристально смотрел, смущая своим мнимо-проницательным взглядом, но в действительности он ничего и не говорил, не слыхал и не видал, занятый только собою и своими мыслями. Если бы он хоть на минуту отвлекся от себя, он бы увидал, что в этой мирной семье подготовляется сумятица, но он сидел, говорил, слушал и смотрел на всех, но на самом деле слушал и видел только себя.

После обеда он поторопился уйти; и лишь только вышел, как сразу забыл про обед, про Верочку и Наталью, про ту цель, ради которой пришел, и про колонию, честь которой он хотел оберегать. Когда он вышел на улицу и очутился один, задумчивость его дошла до тех размеров, когда человек не знает, куда идет. Он шагал наудачу, попал в противоположную сторону от своего дома, забрел на какой-то пустырь и только тяжелым усилием воли попал к себе домой. Дома он не сел, а продолжал идти все куда-то вперед, и только крайняя необходимость в форме бревенчатых стен заставляла его делать в надлежащих местах повороты.

И все это произвел маленький вопрос легкомысленной барышни: «А у вас есть высшая мера?»

«Никакого черта у меня нет!» — энергично отвечал про себя Грубов на этот вопрос.

Старая, никогда не заживавшая рана его — сознание своего неверия — мучительно заныла, и он метался по избе со стиснутыми зубами, как будто боролся против какой-то острой физической боли.

Боль эта была поистине острая, хотя и не физическая. С ней он начал свою сознательную жизнь, с ней участвовал в жизни, и она же присутствовала невидимо при исполнении им самого ничтожного, обыденного дела. Прекратить ее он не мог; по временам она только умирала или забывалась, но неизменно сопутствовала ему. Внешним образом он никогда не обнаруживал ее, ни перед кем не жаловался на нее. Это была его тайна, посвящать в которую он считал позорным. Многие кокетничают даже пессимизмом, — он его скрывал, как порок; на его месте другой широко раскрыл бы свою рану, как раскрывает напоказ нищий израненную руку, чтобы вымолить жалость и подачку, — он считал это величайшим цинизмом.

В глубине души его лежала вера, что то, чем он страдал, была в полном смысле болезнь, нездоровое состояние организма, проказа души, — словом, нечто такое, что временно и от чего надо лечиться. В глубине души его осталась смутная надежда, что как бы ни были мрачны наши мысли и глубоко наше неверие, но они не последнее слово; за пределами наших понятий существует впереди нечто, что превратит их в ложь, и то, чего мы сейчас боимся со смертельным ужасом, завтра, быть может, будет вызывать улыбку. И если мы сейчас не знаем, во имя чего надо жить,

то наши близкие потомки, вероятно, не поймут такого вопроса, а к нам, не умевшим отвечать на него, отнесутся с заслуженным презрением.

Но вот и все, чем успокоивал себя Грубов. Ни за что больше он не мог ухватиться, и болезнь неверия продолжала глодать его. *Во имя чего?* Этот вопрос, как рак, впился в его мозг и отравлял ему каждый жизненный шаг. Он повсюду отыскивал то великое имя, силою которого все дышит и живет, и страстно, всем существом, жаждал обнять его, но обнимал пустое пространство.

И, несмотря на это, он продолжал все-таки деятельно жить, повсюду отыскивая пропавшую веру. Он был прямою противоположностью с теми людьми, для которых неверие служит только поводом к равнодушию. Он, напротив, чем меньше верил, тем более искал. По своему существу натура его была живая и жадная к жизни, и если он болел отрицанием жизни, то лишь потому, что все кругом вопияло об отрицании; болезнь выросла не из него самого, а захватила его со стороны, как эпидемическая зараза.

Искал он жизни в разных направлениях. Еще зеленым юношей он бросился по самому, как ему казалось, прямому пути и угодил в темное место, где просидел столько времени, сколько нужно для того, чтобы постареть. Но он не считал годы сиденья в темном месте, довольно равнодушный к своей карьере. Чередовались много раз лето и зима, осень и весна, а он все спокойно сидел, терзаясь только своими внутренними недочетами. А когда он вылез еле живым из темного места, то не думал считать себя ни жертвой, ни мучеником. Он просто был убежден, что сунулся в жизнь не тем концом, а в этом никто не виноват. И когда его спрашивали с сочувствием, сколько лет он сидел в темном, пустом месте, ему было стыдно сознаться в глупой, невероятной сумме годов. Ему положительно казалось, что только явный дурак мог столько времени сидеть в дурацком месте.

Вскоре после того он поехал, благодаря неверным представлениям о жизненных дорогах, в отдаленный, пустой край; поехал он туда в сером мундире, на спине которого красовались желтые буквы: «К. Г.». Но он уверял товарищей, ехавших вместе с ним, что эти буквы означают «курский губернатор» и что едет он в пустое место по долгу службы. Вообще к своим личным, реальным неудачам он относился всегда юмористически и с большим оптимизмом, как и к своим удачам.

Когда срок службы в качестве «курского губернатора» кончился, он возвратился на родину и некоторое время был в отставке, сознательно устраняясь от всякого шума. В это время он с трудом добывал себе кусок хлеба, переходил от одной работы к другой, пока не затосковал в этой мелкой, бесславной борьбе за существование. И вот в это время возникла мысль о колонии. Потому ли,

что ему очертела бесславно-мелкая жизнь из-за куска, потому ли, что временно потухшая энергия его возродилась, только он с увлечением ухватился за колонию и быстро создал ее.

Но тут оказалось нечто совсем неожиданное. Раньше он каждый раз убеждался, что сунулся в жизнь не тем концом; здесь же он понял, что сунулся не только не тем концом, но и не туда. Колония, как он ее узнал, не отвечала ни мечтам его, ни практическим требованиям; и в то время как он хлопотал о наилучшем устройстве ее, мысль его уже основательно разрушила ее.

Разрушение это шло приблизительно так.

Разумеется, очень хорошо жить трудами рук своих, благородно добывать хлеб прямо из земли. Притом это очень здорово и не лишено поэзии. Только на первых порах немного скучно. Отчего бы это? Может быть, оттого, что в этом раю все мысли сосредоточены на себе: на своем теле, на своей душе, на своем благородстве, на своем спасении, — все только на своем вертится мысль? Это естественно. Отчего же не думать и не заботиться о себе, когда это неизбежно? Но в таком случае это уже не мечта, не идеал, не стремление к великому. Идеал ведь — это нечто огромное и светлое, как солнце; нечто такое, чего в мелкой обыденной жизни нет, но к чему человек стремится всеми лучшими своими помыслами. Ну, а колония имеет ли хоть что-нибудь в этом роде? Ничего. Что может быть идеального в том, что человек вместо сапогов наденет коты, вместо городской квартиры будет жить в избе и вместо добывания хлеба косвенным путем прямо будет царапать его из земли? Что идеального в том, что человек головою своей будет подпирать воз с соломой, а душу свою закопает в землю, окружив себя миллионами пустяков? И что идеального будет в жизни человека, который забудет других и займется только своим совершенством? Человек борется против жизненных пустяков и стремится разделаться с ними, а тут ему пустяки возводят в подвиг и в заслугу. В лучшие свои минуты ему хочется думать не о себе, а о том, что вне его, что велико, бескорыстно, а здесь его заставляют усиленно думать о себе, о своем здоровье, о своем благородстве. В порыве героизма (а такие минуты бывают у многих) он с восторгом сбрасывает с себя всю низкую, себялюбивую жизненную мелочь, а здесь его садят на место и говорят: сиди тут и копайся в сору, береги свое тело, дыши свежим воздухом, работай здоровую работу — и ты будешь спасен и благороден. Увлечь человека можно всем, даже безумною мечтой, лишь бы в ней заключались величие, самопожертвование, новизна, подвиг ради людей, но увлечь его обыденным сором — никогда! И поднять также нельзя. Можно идеализировать сор, можно сделать его самодовольным, но сделать его выше и чище — нет, никогда! Личную свою жизнь можно возвести в идеал только под одним условием: совсем отречься от жизни, уйти в пустыню или залезть на столб и сидеть

на нем до смерти. Но если и возможно устроить интеллигентный монастырь, то только для тех, у которых жизнь поистине сошлась клином...

Разрушив колонию таким окольным путем, Грубов не оставил камня на камне и в том ее основании, которое вначале казалось ему прочным. Он убедился на опыте, что все делать своими руками — неосновательная претензия. В первый же год они должны были пользоваться трудами множества лиц посторонних; даже хлеб нельзя добыть в буквальном смысле своими руками. Что касается благородства физического труда, то Грубов и тут разрушил до основания все, ранее им созданное. Мужики, как он не раз слышал, были очень недовольны, что неразовский участок, до сих пор ими арендуемый, выскользнул из их рук; но если бы Неразов отдал им этот участок, они благодарили бы бога, а его считали бы хорошим человеком; теперь же они смотрели на него как на шутника, которого учить было некому.

Единственная мечта, осуществившаяся в колонии для Грубова, это — близость с мужиками. Нельзя сказать, чтобы он любил мужиков; он по чистой совести говорил: нет, не любил. Но мужики — единственная среда, где он чувствовал себя покойно, почти радостно. Радость эта происходила оттого, что они были прямою противоположностью ему: он любил их за то, чего в нем самом не было. Их жизнь — нечто совсем отличное от его жизни, их мысли — совсем другие. Они были для него всегда чем-то неизвестным, новым, великим. Он не мог жить их жизнью, не думал их мыслями, не верил их верой, но допускал, что в их жизни есть много справедливого, в их мысли — истинного, в их вере — чудесного и святого. Среди них он забывал свою жизнь, — а она ему опостылела, — забывал свои мысли, которые его только мучили, забывал свое неверие. Даже внешняя мужичья обстановка нравилась ему, потому что она не напоминала ему собственной его жизненной обстановки.

Мужики всегда были его спасением. Так вышло и теперь. Слова Неразова сильно возмутили его и напугали, и он возымел намерение предупредить несчастье; но когда Верочка невзначай задела его больную рану, он ушел в себя, позабыв обо всем на свете, в том числе и о колонии. Во внешней жизни он довольствовался обществом мужиков да уроками Наталье, за которою он продолжал следить с дружеским вниманием.

Чаще всех других мужиков заходили к нему Алексей Семеныч, Ефрем, Антон Петрович и работник его Лукашка. Общество это случайно набралось; но все это были люди на подбор оригинальные и вполне противоположные всему, что было в самом Грубове, хотя из них уважал он только Алексея Семеныча и немного Ефрема. По своему характеру все они были крайне различны, но каждый из них непременно был в своем роде редкостью.

Алексей Семеныч по уши был погружен в священные книги и верил в такие вещи, которые непривычного человека могли ошеломить. Так, зачитавшись апокалипсиса, он нередко наизусть валял целые страницы из него и с детским торжеством, неопровержимо вычислял, сопоставлением букв и цифр, год рождения антихриста, год посрамления его и год окончательного торжества правды на земле. Широкое волосатое лицо его в такие минуты было блаженно и сияло счастьем человека, который явственно, своими собственными глазами видит отверзтое небо и ангелов, обитающих там. Опровергать его математические вычисления было бы жестоко, да и бесполезно, потому что верующего можно победить только верой. И Грубов не опровергал. Напротив, в такие минуты перед этим восторженным мужиком он считал себя нищим, собирающим копейки на паперти.

Антон Петрович для Грубова доставлял удовольствие другого рода. В нем была чисто животная хитрость, проникавшая всякий его поступок, каждое его слово. Когда Грубов еще мало знал его, он принимал его слова и действия за чистую монету; но когда узнал его ближе, с удовольствием стал следить за ловкими петлями, из которых состояла вся жизнь этого деревенского хищника. Антон Петрович всегда подделывался под тон собеседника; с Грубовым он был шутливый, с Алексеем Семенычем — верующий, с Ефремом — хвастун, с Лукашкой — дурак. Но Грубов теперь отлично мог проследить каждый его подвох. В последнее время, например, он стал делать какие-то темные намеки на хутор. Грубов некоторое время с интересом слушал его и следил за его вздохами и жалобами, но, наконец, вполне убедился, чего он хочет. Хотел Антон Петрович скушать неразовский участок и для этого заранее подкрадывался к нему, делал большие обходы, обнюхивал воздух, причем каждый раз лицо его принимало лакомое выражение.

«Божественные» разговоры между Антоном Петровичем и Алексеем Семенычем неизменно возникали в комнате Грубова, но Антон Петрович и тут был верен себе. Он говорил и в этом случае с подвохами, с подкрадыванием к вопросу и выводил из себя прямодушного Алексея Семеныча. Этот последний говорил бессвязно, борода его тряслась, ярость обнаруживалась на его честном лице, голос его превращался в рев, а слова в брань. Но Антон Петрович только хихикал, кашлял в руку, имея вид человека, который ясно показывал Грубову, что этот мошеннический ум пытается и бога обмануть.

Всегда присутствовавший при этом Лукашка хлопал глазами, очевидно удивляясь, из-за чего люди бранятся. Но Грубов ошибался, когда думал, что Лукашка ничего не понимает. Лукашка кое-что усвоивал, а усвоенным воспользовался при первом подходящем случае.

Но всех больше Грубова привлекал Ефрем. Товарищи пригласили Ефрема совместно работать на участке и в то же время руководить всеми работами колонии, взамен чего он пользовался землей и другими выгодами товарищества. Ефрем гордился таким выбором и из всех сил работал в пользу колонии. Работник он был прекрасный. Но во всех других отношениях — это феномен для Грубова. Грубов называл его «физическим человеком», и таковым он был в действительности.

Вся его жизнь текла среди физических происшествий: он то и дело из-за пустяков с кем-нибудь дрался, мстил за какую-нибудь также материальную обиду. Поссорившись, например, с соседом, он причинял ему какой-нибудь физический ущерб: ломал, например, плетень или отрезывал хвост у вражеского кота. Если мимо его дома проходила свинья, принадлежащая одному из его неприятелей, он с уханьем и свистом натравлял на нее собаку. Ненависть, злоба и другие страсти проявлялись в нем исключительно физически; он старался побить врага, вырвать часть его бороды или посадить шишку на его морду. Но обиды он помнил недолго и мирился с врагом при первой возможности, выражая ему полную любовь.

Бывают люди, которые в детстве не успели наиграться, не вышутились; Ефрем был из таких взрослых ребят. В характере его было много веселости, в его словах — смеха, в его представлениях — юмора; но все это не выходило за пределы физического мира. Для него, например, доставляло видимое удовольствие рассказать в лицах, как один мужик, заспавшись, упал с воза сена, как он треснулся об землю и как чесался в полусне, в полном недоумении, что с ним случилось. Тут он и сам хохотал, и слушатели невольно хохотали.

Буян на людях, он был драчуном и в семье, но тут удерживал его от драки сын, для чего бесцеремонно связывал его веревкой и заставлял проспаться в пустом сарае. На другой день Ефрем не сердился на такую сыновнюю расправу, но в то же время и себя считал правым.

Прочие мысли Ефрема, как их постепенно узнавал Грубов, имели тот же характер. Все миросозерцание Ефрема было физического свойства. Для него воспитывать детей обозначало кормить, учить их — бить, любить — доставлять хорошую жизнь. Жить у него означало питаться, не жить — быть голодным. Он искренно боялся бога, но потому, что боялся, что бог накажет его за какой-нибудь проступок страшною казнью: сожжет его хлеб на полях, перебьет его скотину мором, на него самого нашлет холеру, спалит молнией его избу, утопит его лошадь в реке, овец отдаст на съедение волку и пр. И когда одна из этих казней насылалась на него, он всегда мог с точностью сказать, за что собственно: двух овец бог попустил съесть волкам потому, что он, Ефрем, унес,

грешным делом, снопы из чужого овина; лихорадка же его трясла потому, что он перед этим обманул купца, продав ему гнилое сено. Поэтому Ефрем с полным сознанием избегал вредить людям, а ежели буянил, то делал это открыто и честно, а не втайне. Злоба его тотчас же переходила в драку, где его били, и он бил.

Собственно, за этот открытый характер Грубов и чувствовал себя хорошо с ним. Ефрем был обнажен до самой глубины своего сердца, все у него было наружу — и хорошее и худое, никаких задних мыслей. Если он и лукавил иногда, то сам же обнаруживал свое лукавство. И вот еще почему Грубов чувствовал себя легко с мужиками: все они окружали его атмосферой откровенности, искренности и правды, хотя и печальной.

И когда жизнь товарищества замутилась дрязгами, разъяснить которые не было возможности, он исключительно жил в обществе мужиков, забросив дела товарищества. Однако один случай порядочно отравил и этот источник успокоения, обнаружив слишком резкую пропасть между ним и теми, кем он дорожил.

VIII

НА БОЮ

Стоял светлый, морозный день перед масленицей.

С самого утра Грубов не умел ни за что приняться. Ничего не случилось, но ему было тяжело. Он принимался работать над своими цифрами, но едва прикасался к ним, как забывал, что хотел делать. Комната его казалась ему страшно неприглядной, просто гадкой, хотя и в ней не произошло никаких перемен: та же широкая печка в углу, те же лавки по стенам, те же голые, с торчащим мохом, бревенчатые стены, на которых там и сям висели капли сосновой смолы, выжатые комнатною жарой; тот же кожаный диван, набитый, по-видимому, булыжником — так он был жёсток; тот же пол с скрипящими половицами. Но нет, Грубов с отвращением не глядя видел эту обстановку, казавшуюся ему глупой и бессмысленной.

Он лег на диван и взял номер газеты, но через некоторое время уронил его на пол, — он прочитал целый столбец, ничего не понимая.

В этот день он боролся против смерти. Не против своей смерти, а против всего сущего. Смерть все уничтожает: и добро, и совесть, и мысль, и подвиги благородства; и, по-видимому, все равно быть благородным или подлым, — конец один — уничтожение, бессмысленная смерть. Но ведь надо еще решить, умирает ли подлость тою же смертью, как и благородство. Да умирают ли еще?.. Потом, если подлость — резкий, кричащий факт, то ведь и благородство также несомненно существующий факт. Оба одинаково

существуют и никогда не умирают. Но который из них сильнее, который торжествует? По-видимому, подлость. Но тогда зачем подлость всегда прикрывается благородством? Почему низкий старается казаться высоким, грязный — честным, пошлый — порядочным? Почему подлец, как бы ни был нагл, всегда старается смыть кровь с своих рук, вытереть пух с лица? Зачем притворяться негодяю, если бы он действительно чувствовал себя единственною силой? И наоборот, почему честный никогда не притворяется подлым, благородный — низким, любящий — ненавидящим? Потому, что благородство — это жизнь, а подлость — синоним смерти.

Когда Грубов находил лишний аргумент против сгустившегося в нем мрака, он машинально вставал и делал несколько шагов по комнате; а когда мрак опять одолевал его, он опять ложился.

Да, благородство, совесть, любовь — это жизнь, а все подлое, низкое, хищное — смерть. Это несомненно. И если подлое, низкое живет, то лишь под флагом первого, под защитой чужой крепости. Но ведь и жизнь умрет. Умрет лицо, носившее печать благородства; умрет человечество, хранившее предание об этом лице; умрет планета, дававшая место человечеству; умрет целая система планет, превратившись в бессмысленный мусор. Зачем же тогда колонию-то устраивать?

Дойдя до этой бессмыслицы, Грубов с радостью засмеялся; он обрадовался именно этой бессмыслице и смешной нелепости, в которую вдруг, при сопоставлении планет с колонией, превратились все его мрачные мысли.

— И чтой-то вы, Дмитрий Иваныч, лежите всё с ведомостями?— раздался вдруг знакомый голос Антона Петровича в двери.

Войдя в комнату, он отряхнул варежкой снег с валяных сапогов, положил шапку на пол возле порога и с веселым лицом, раскрасневшимся от мороза, смотрел на Грубова.

— То есть, погляжу я, скучнее вашей жизни я и на свете ничего не видал! — сказал старик насмешливо.

— Что ж делать, Антон Петрович... Значит, уж уродился такой! — проговорил с вялою улыбкой Грубов и лениво поднялся с дивана.

— А я так полагаю глупым своим умом: все это ведомости туману такого напустили на вас, ей-богу! — сказал Антон Петрович, указывая презрительно пальцем на валявшийся возле дивана номер газеты.

Грубов засмеялся.

— Пожалуй, и правда, Антон Петрович.

— Очень просто. Одни только пакости, а чтобы хорошее — этого ведомости не пишут... Ничего божьего в них не отыщешь!

— То есть как это божьего? — спросил Грубов.

— А так, ничего, чтобы для души, ради спасения, например,

пра́вды божией, — нет, в ведомостях этого не говорят! Вот насчет разбоя, или там арфистки, или опять сколько народу перебито — это сколько угодно!

— Ну, уж это ты вздор городишь, Антон Петрович, — сказал Грубов.

— А вы не бранитесь, Дмитрий Иваныч... может, я и зря что сболтнул. Да не за тем я пришел. Пришел я звать вас на бой. Поглядите и, может, развеселитесь, нечем ведомости-то мусолить.

— На какой на бой? — с недоумением спросил Грубов.

— Само собой, на кулашный... Нашими боями вся округа славится. Знаменитый у нас бой. И по другим деревням дерутся, — ну, только супротив наших куды-и! Не того сорту!..

— Я все-таки не понимаю... Значит, и взрослые мужики дерутся? — с тем же изумлением спросил Грубов.

— А то как же? Одно слово, форменные у нас бои. Даже из дальних местов съезжаются народы, кои смотреть, кои драться...— говорил с воодушевлением Антон Петрович. Лицо его приняло детское выражение; казалось, в предстоящем бою он сам принимает горячее участие, он, такой сухой и черствый в практической жизни.

За несколько минут перед тем Грубов витал в планетных сферах, и теперь, понятно, он никак не мог сразу спуститься в какой-то овраг, где мужики форменно колотят друг друга по физиономиям.

— Да вы чего боитесь? Сделайте одолжение, вас не тронут... Мы издалека поглядим... оно занятно! — наивно убеждал его Антон Петрович.

Эти ребяческие слова, сказанные торопливо и с некоторым укором, возвратили Грубова к настоящей жизни; он громко захохотал и стал одеваться в шубу.

Они вышли на улицу и отправились к той ложбине, которая разделяла два конца села. Когда они проходили мимо дома Алексея Семеныча, из ворот его выехали санки, запряженные в одну лошадь; в санках сидела Верочка с веселым лицом, а лошадью правил Кугин. Грубова они не заметили. Но Грубов долго смотрел на них, пока санки не скрылись за поворотом в поле. «Куда это?» — спрашивал он про себя, и опять что-то тяжелое, как черный сон, пробежало у него по душе, но он насильно оторвал от себя мысль о Верочке, о Кугине и Наталье. Зато другая мысль очень была формулирована им; он понял, что давно уже события колонии идут мимо него, и он теперь не знает, что будет завтра. Но ведь этого он сам хотел!..

Через минуту мысли Грубова были отвлечены Антоном Петровичем. Последний всю дорогу рассказывал про то, какие бывают бои; Грубов сначала иронически слушал его, но скоро и сам заинтересовался. Старый пройдоха был неузнаваем; он рассказы-

вал с мальчишеской торопливостью, не свойственною ни его возрасту, ни положению... Бои происходили по зимам, в особенности с наступлением рождественских праздников, и оканчивались только последним днем масленицы. В них принимали участие все борские жители. Конечно, в действительной жизни между двумя концами села не существовало никакой видимой причины для вражды. Но чтобы был хоть какой-нибудь предлог для начатия враждебных действий, в памяти деревенских умов тщательно сохранялись некоторые оскорбительные клички, с незапамятных времен данные для каждого из концов. Жители того конца, где жил Антон Петрович, презрительно назывались «пузанами», а другой конец населен был «вонючими козлами»; этимология этих ненавистных для той и другой стороны выражений, конечно, утонула в глубине преданий. Тем не менее вся соль и весь перец их дошли до настоящего времени и ежегодно подновлялись мордобитиями. Достаточно было назвать жителя одного конца «пузаном», чтобы вызвать в его душе горечь и обиду, и в обыденной жизни эта кличка считалась неприличной. В свою очередь, «пузаны» в обыкновенных сношениях с другим концом избегали (из вежливости, разумеется) упоминать о козле или об одном из его свойств, ибо все относящиеся сюда слова считались оскорбительными.

Во время самых боев эти приличия уже не соблюдались; напротив, оскорбительные клички варьировались тогда на тысячи ладов, разжигая ненависть одного конца против другого. Но самые бои совершались с соблюдением известных правил и формальностей; так, по принципу: «лежачего не бьют», не дозволялось дотрогиваться до упавшего от затрещины, и вторую затрещину можно было дать только не иначе, как после поднятия упавшего; с другой стороны, дозволялось ложиться наземь, чтобы избегнуть дальнейшей расправы. Второе, главнейшее, правило состояло в том, что сражающиеся имеют право бить только по тем частям тела, которые обусловлены в начале боя. Иногда бой начинался без предварительных условий; но нередко обе стороны перед сражением условливались, бить ли «по мордам» или «по бокам». Если условливались «по бокам», то «морды» были уже гарантированы от кулаков. Впрочем, эти юридические нормы подвергались на практике жестокому испытанию, как всякие военные законы.

Антон Петрович продолжал было рассказывать и дальнейшие кулачные установления, но в эту минуту они подошли уже к полю сражения.

Прямо перед ними лежала широкая ложбина, разделяющая два конца села. По ее скатам, занесенным сугробами, толпился уже народ. Недалеко от того места, где остановились Антон Петрович и Грубов, по косогору расположились «пузаны», а на

противоположном косогоре стояли «козлы». Враждебные действия еще не начались. Слышался только оживленный говор, взрывы смеха и тот неопределенный гул, который производит всякая толпа. Только мальчишки с обеих сторон дразнились разными обидными прозвищами и на бегу давали друг другу легкие подзатыльники.

Но мороз к вечеру так окреп, а вечер так быстро надвигался из-за темного бора, что толпе трудно стало оставаться в холодном бездействии. В некоторых местах внизу ложбины показались с той и другой стороны взрослые мужики и, похлопывая рукавицами, вызывали противников оскорбительными сравнениями.

Скоро там и сям по оврагу несколько пар мужиков уже вступили в драку. Но сначала драка эта была ленивая, «форменная». В особенности лениво обменивались тумаками два мужика, топтавшиеся внизу прямо против Грубова. Когда один из них дал хорошего тумака по шее другого, то этот не сейчас отвечал ему, а сначала спросил лениво:

— Ты так-то?

— Так-то, — отвечал первый.

— Ну, а я вот как, — сказал второй и треснул по боку первого.

— Так ты вот как?

— Да, я в таком роде, — новая затрещина по боку.

— Ну, а я вот эдак, — новый удар по шее.

Эти переговоры, демонстрируемые ударами по шее и по боку, продолжались до тех пор, пока обоим противникам не наскучило такое занятие.

— Эдак, брат, скушно... давай лучше по мордам! — предложил один из противников.

— Что ж, давай! — согласился второй и придал надлежащую позу своему широкому, заросшему бородой лицу.

Через минуту на это шершавое лицо уже опустился кулак противника в бараньей рукавице и вызвал, по-видимому, неудовольствие у получившего его — по крайней мере он уже с некоторым раздражением спросил:

— Так ты так-то?

— Так-то, — злорадно возразил противник.

— Ну, а я вот как с пузанами обхожусь! — крикнул обиженный и угодил по уху обидчика.

Между ними после того закипел учащенный мордобой.

Грубов в эту минуту невольно должен был оставить их и перевести свои взоры на другую сторону. По всему оврагу уже началась общая свалка. В морозном воздухе слышались плоские шлепки по полушубкам, глухие удары по головам и какие-то мягкие звуки, вероятно удары голыми руками по голым физиономиям. По всей ложбине разносились ужасные и дикие завыва-

ния, которыми каждая сторона старалась вызвать храбрость в своих и ужас во врагах. Вначале ни та, ни другая сторона не поддавалась; бились одинаково стойко как «пузаны», так и «козлы». Впрочем, некоторое время численность сторон была равная, так как много народу толкалось еще без дела по косогору, в качестве запасных отрядов. Но мало-помалу все резервы приняли участие в бое. И тогда в овраге, переполненном людьми, образовалась густая каша, в которой трудно было различить отдельных людей; мелькали только руки да головы, да слышались громкие шлепки по полушубкам или мягкие удары «по мордам», а над всею этою кипящею массой стоял сплошной вой охрипших голосов.

Грубов уже перестал смеяться, нервы его уже сильно были приподняты; он тревожно перебегал взором с одного конца ложбины на другой, взглядывая по временам и на Антона Петровича. Последний молчал, но это молчание сильнее слов выдавало его волнение. Он напряженно следил за боем и, видимо, испытывал великое смятение. Несколько раз на его лице менялись радость и злоба, смотря по тому, какая сторона брала верх.

— Эх, должно наши подаются! — с необычайною горечью сказал он, пытливо следя за ходом сражения.

— Я ничего не вижу, — возразил Грубов.

В кипящей каше он действительно не мог понять, кто кого бьет.

— Нет, подаются! наши подаются! Вонючие подлецы всем концом двинули... — горько выговорил старик и сжимал свои кулаки.

Действительно, скоро ясно обнаружилось, что «пузаны» уступали поле битвы и заметно вытеснялись на верх косогора. Хриплые крики все ближе и ближе раздавались возле того места, где стоял Грубов. Мимо него пробежало несколько мужиков и парней с синими, вздутыми физиономиями; пробежал также какой-то мужик, изо рта которого струилась кровь. Это всё были «пузаны», разбитые и позорно бежавшие.

— Бьют наши! помочь надо! — вскрикнул вдруг Антон Петрович, и не успел Грубов оглянуться, как уже старика не было; он шмыгнул вниз по косогору на дно оврага и потонул в кипящей массе дерущихся. Очевидно, старичишка не выдержал национальной обиды, забыл свой возраст, положение и состояние и всецело отдался заразительному увлечению мордобоем.

Совсем уже стемнело. На Грубова напало что-то дикое и злое. Из одного места до него донеслись чьи-то проклятия и ругань; откуда-то раздавались стоны; где-то кто-то плакал. Мимо него пробежали вдруг два парня, из которых один гнался с обломком кола за другим. Очевидно, шутка, потеха давно окончилась и перешла в постоянную, бешеную драку. Как узнал на другой день Грубов, этим всегда дело оканчивалось. Начав «форменный» бой,

ради взаимного удовольствия, для приятного препровождения времени, вроде как в театре, противники мало-помалу озлоблялись, приходили в неистовство и, уже ничего не помня, мстительно проламывали друг другу переносья, ребра и головы. Нередко и до смерти кое-кого забивали.

Характер битвы мало-помалу изменился. Хриплые крики и звериный вой толпы стихал, по мере того как над селом расстилалась темная, безлунная ночь. Изувеченные и побитые удалились. Но зато в овраге, к удивлению Грубова, продолжалась какая-то молчаливая возня. Там дрались любители, еще не удовлетворенные дневным боем. Они продолжали биться и тогда, когда их накрыла темнота в овраге, бились молча и сосредоточенно. Это производило странное впечатление; не слышно было криков, стонов и шума битвы, овраг казался безлюдным; оттуда слышались только сотни ударов по чему-то мягкому; казалось, выбивали пыль из полушубков.

Грубов ждал, когда же эти молчаливые, бездушные удары по чему-то также молчаливому и бездушному окончатся, но так и не дождался. Антона Петровича он долго искал глазами между дерущимися, но также не нашел и отправился домой один, недоумевая, что сделалось с обезумевшим старичишкой.

Только уже на другой день увидал его. Зайдя к нему в дом, он увидал его на печке охающим и стонущим. «Что с тобой, Антон Петрович?» — спросил он. Но Антон Петрович в замешательстве отвернулся к темной стороне печки и что-то пробормотал насчет простуды. Ему совестно было сознаться, что вчера у него вышибли два зуба и помяли легкие. Обдумывая все это, Грубов печально подумал: «О, это уж слишком большая пропасть между нами и ими!»

Но, кажется, он ошибался.

IX

ГОСПОДА

Когда Верочка заскучала окончательно, ей сначала не представлялось никакого выхода. Все ей опротивело. Неразов ей надоел. Грубова она ненавидела. Мужики были так чужды ей, что втайне она удивлялась, как это можно в них найти общество. Их можно учить, лечить; у них можно покупать молоко, яйца и мясо, давая взамен того добросовестную плату; над ними можно иногда посмеяться, когда они говорят глупости; их нужно изучать, их можно пожалеть, когда они обнажают нищету; но чтобы войти в их общество — это неестественная чепуха, абсурд. Они были для нее смешны, жалки, темны, грубы — только и всего. И Верочка уже подумывала уехать из этого скучного места.

Единственный человек, общество которого здесь стало ей приятно, был Кугин. Он с первого же дня знакомства понравился ей. Теперь он ей нравился за постоянную услужливость, за то, что один ухаживал за ней, заботясь о ней до последних мелочей. Когда у ней вышли все книги, он откуда-то достал ей новых; когда ее папиросы были на исходе, он без спросу шел в лавочку и покупал их. Нужны ли ей были башмаки, мыло, сахар, теплые перчатки, — все это он доставал ей. Заметив, что она с большим отвращением говорит о неразовской стряпне, он уговорил ее обедать у себя; а чтобы общий стол Алексея Семеныча не показался ей также скудным, он то и дело заказывал Наталье сделать что-нибудь лишнее. И Верочка стала с утра до ночи просиживать у Кугиных — вернее, у Кугина.

Лишь только поутру она показывалась в горенке, как Кугин уже встречал ее и помогал ей раздеваться; а когда поздно вечером она собиралась домой на хутор, Кугин помогал ей надеть пальто, подставлял ей калоши, завязывал ей концы платка сзади. Потом он провожал ее до самого хутора пешком, если погода стояла теплая, и на лошади, если был мороз.

Днем, когда Кугин копошился немного на дворе, по хозяйству тестя, Верочка сидела в горенке, поджав на лавку ноги, и читала книжку или вышивала замысловатый узор малороссийской рубахи.

При появлении в дом Кугина между ними тотчас же начинался разговор обо всем на свете. Потом наступало время обеда, потом чай вечером. Разговоры велись исключительно между ними одними, хотя бы кто-нибудь присутствовал при этом из членов семьи, — словом, так, как будто в комнате никого не было. Сначала Алексей Семеныч считал долгом вежливости вставить кое-где свое слово, но потом бросил, поняв, что это слово не слушается и не нужно.

С такою же правильностью Кугин с Верочкой игнорировали и Наталью. Наталья присутствовала при всех их разговорах, но в качестве прислуги, которая предполагается чужою в семье и ничего в ее интересах не понимающей. Кугин обменивался с ней только такими словами:

— Наталья, скоро обедать?

Или:

— Наталья, поставь, пожалуйста, самовар.

Наталья молча исполняла приказания мужа, а исполнив их, садилась на прежнее место и молчала. Но она напряженно прислушивалась ко всему, что говорили Кугин и Верочка. Ей, разумеется, многое было непонятно, но непонятное она не осмеливалась разъяснять при помощи мужа. Для этого она обращалась к Грубову и часто поражала того неожиданными вопросами о таких вещах, которые далеко выходили за пределы ее маленького

мира. Грубов с удовольствием объяснял, а она жадно, волнуясь, слушала его.

Теперь она жила среди постоянного волнения. Лицо ее теперь поражало тревожным, вопросительным выражением. С особенною жадностью она следила за Верочкой, подмечая все, что в той было. И, подметив что-нибудь выдающееся в барышне, она старалась делать так же. Она переняла от Верочки прическу, стала, как и Верочка, ходить с открытою головой, сбросила серьги, которых у Верочки не было, сшила себе малороссийскую рубашку, тайно и тревожно следила за своим лицом. Но, бедная, она не могла перенять от неприятной ей барышни дерзких, блестящих глаз, свободных манер, громкого смеха, уменья говорить обо всем на свете. И однажды, поняв, что она просто глупая баба, вдруг бессильно опустилась на скамью и заплакала.

С этого дня она уже больше не подражала Верочке, а уроки Грубова слушала апатично или машинально. Во взгляде ее рисовался испуг, тревога, рассеянность.

О чем она думала? Быть может, она спрашивала, почему муж не говорит с ней так охотно, как с Верочкой? Быть может, изумлялась, ради чего эта барышня приехала, вторглась в ее жизнь, до той поры светлую, и отняла у ней гордость и покой? И чем все это кончится? Уедет ли барышня туда, откуда приехала, или навсегда останется в ее доме?.. И ревность стала озлоблять ее сердце.

А Верочка уже часто стала подумывать об отъезде. В скором времени ей и с Кугиным стало скучно. Ей надо было чем-нибудь развлечься. А развлечение было для нее синонимом жизни. Когда она жила в городе, то день ее проходил исключительно в поисках развлечения.

— Возьмите меня с собой! — сказала она однажды Кугину, когда тот, по поручению Алексея Семеныча, собрался ехать в бор, чтобы посмотреть целость двух стогов сена.

Кугин наружно воспротивился этой эксцентричной просьбе; он отговаривал ее холодом, сугробами, плохою дорогой, пугал простыми санями, к которым она не привыкла; но внутренно он был обрадован и польщен этою просьбой.

Верочка с оживлением собралась. Дорогой ею овладела неудержимая веселость; она болтала и без умолку расспрашивала о встречающихся предметах; потом взяла вожжи из рук Кугина, разогнала в одном месте лошадь и опрокинула сани в сугроб. Кугин ворчал, но его заразил хохот утонувшей в снег девушки, а близость к ней кружила ему голову.

Когда они заехали в бор, веселость Верочки перешла в необузданный восторг. Она слезла с саней и, утопая в снегу, залезла в самую гущу сосен. Там она пробовала кричать, чтобы узнать, как раздается эхо в сосновом бору, потом запела какой-то мотив из «Снегурочки». От ее голоса вздрагивали ближайшие

ветки и роняли на ее голову снежинки. Кугин от ее пения забыл, зачем приехал, и стоял очарованным, по пояс в снегу.

— Вы простудите горло! — сказал он наставительно, но сам не верил своим словам.

— А вы отморозите уши! — закричала Верочка со смехом и продолжала ходить по лесным сугробам и петь один мотив за другим.

Вместо нескольких минут они провели в лесу несколько часов. На возвратном пути Верочка озябла, но это только забавляло ее.

— Я никогда не видела бора в тихую ночь, освещенного луной... Съездим же когда-нибудь? — сказала она.

Кугин сопротивлялся, но в конце концов обещал.

С этого дня Верочка сопровождала Кугина всюду, куда только он ездил по делам. Она уже не просила его, а просто говорила:

— И я с вами поеду.

Кугин не мог в этом отказать ей. Сначала ему нравилось, что Верочка за всем обращается именно к нему, — это предпочтение ее перед всеми товарищами удовлетворяло его тщеславие. Но дальше ему стало вообще приятно проводить с ней время. С товарищами он разошелся; к импровизированной семье своей он втайне питал пренебрежение, к жене — равнодушие. С мужиками он иногда возился не по внутреннему влечению, а по влечению ко всему модному; мужики же были одно время в моде. По тем же побуждениям он, в сущности, и на Наталье женился. Но женившись, считал себя совершившим все хорошее по отношению к ней. Он был уверен, что исполнял все свои обязательства к ней; он ее не ругал, не бил, как мужик, но в то же время не считал себя обязанным любить ее. Когда он заметил ее беременность, это не обрадовало и не испугало его; совершенно естественно, что у них будут дети, хотя он и не любил ее.

Однажды желание Верочки побывать в бору при лунном освещении исполнилось.

Стояла тихая, с небольшим морозом ночь, когда они выехали из села. Лунный свет господствовал — в природе, казалось, все померкло и потонуло в его неопределенном блеске; умерли все звуки, застыли все предметы; снежное поле превратилось в фантастическую пустыню; бор издали представлялся мрачною тучей, спустившеюся с неба до самой земли.

Дорогой Верочка оживленно восторгалась всем, что видела. Но торжественная тишина ночи, пустынное поле — все это отразилось на ней тем, что она умолкла и только широко раскрытыми глазами впивалась в полутемное пространство. Ей чувствовалось, что все в мире умерло, погибло, замолкло, и только они одни остались. Но когда они въехали в бор и санки перестали скрипеть полозьями, настала страшная тишина. Верочка прошептала слова восторга, но ее шепот раздался дико, как порыв ветра.

Это произвело на нее такое впечатление, что она боялась пошевелиться. И через несколько минут, чувствуя беспричинный ужас среди этой застывшей, вымершей пустыни, она попросила Кугина ехать назад.

Они возвращались шагом. Кугин пробовал поддерживать разговор, но у него от волнения прерывался голос. Да Верочка и не отвечала; чувство беспричинного страха так охватило ее, что она боялась смотреть по сторонам и прижималась, как ребенок, к сидевшему рядом Кугину. Кугин время от времени заглядывал ей в лицо и дрожащим голосом осведомлялся, не холодно ли ей и спокойно ли ей сидеть. Верочка только качала головой и отвечала только взглядом. В одно из этих мгновений, нагнувшись к ней, Кугин прикоснулся горячим лицом к ее лицу и несмело поцеловал ее. Верочка не оттолкнула его, а посмотрела только с удивлением.

— Вы не думайте ничего... Это я как товарищ, — тихо сказал Кугин, но дрожащий голос говорил противное.

— Не делайте этого... зачем? — прошептала Верочка, но не отводила лица от Кугина, не оттолкнула его.

На них обоих напало то душевное оцепенение, когда исключительно господствует только одна страсть.

Но скоро замелькали первые дома деревни. Верочка вдруг заволновалась, заторопилась и резко велела себя высадить на том повороте, который шел к неразовскому хутору. Кугин хотел ее довезти домой на лошади, но она отказалась и торопливо пошла одна.

Скоро Кугин и село скрылось из ее глаз. Оставшись среди пустыря одна, она вдруг остановилась, оглянулась вокруг и громко зарыдала, — не от страха, — но какая-то неизмеримая тяжесть легла ей на сердце. Она чувствовала бесконечную тоску, как будто с ней случилось какое-то огромное несчастие.

Некоторое время спустя Неразов отворил ей дверь, но ее лицо было так закутано платком, что он ничего не заметил. Потом, когда она уже была в своей комнате, он услышал ее сдержанное рыдание и хотел войти к ней, но побоялся. Лицо его исказилось состраданием, на глазах добряка выступили слезы, и он подумал:

«Скучно, должно быть, бедняжке!»

Но это было неверно. У Верочки, кроме постоянного ощущения скуки, были еще редкие мгновения, когда душа ее судорожно искала чего-то неведомого; тогда она казнила себя за эгоизм, за пустоту, за мелкую жизнь. Если бы в такую минуту нашелся такой, который бы указал ей путь, она пошла бы по нему и была бы готова на подвиг, на кровавую жертву, на самую смерть, лишь бы не чувствовать постылой жизни...

Но проходили эти мгновения, и Верочка становилась прежнею. Прошла ночь, и на другой день Верочка поехала с Кугиным

в соседнюю деревню, где ей, собственно, делать было нечего, но по дороге туда она могла весело провести время. Она только стала сдержаннее в отношениях с Кугиным.

Но что они были неразлучны — это, наконец, обратило всеобщее внимание; даже Алексей Семеныч встревожился и, чтобы успокоить себя, обратился однажды за разъяснением к Грубову.

— Завсегда так бывает промеж господ? — наивно спросил он.

Грубов посмеялся над ним и объяснил все в шутку, но в душе думал иначе. Он попробовал опять отвязаться от этого неприятного дела: «Пусть что угодно проделывают, мне-то что?»

Но неприятность насильно лезла в голову и требовала к себе определенного отношения. В конце концов Грубов стал снова волноваться, негодовал, и все это приняло такие размеры, что его мысли исключительно стали обращаться к Верочке и Кугину.

«Черт их возьми! Приехали работать, а занимаются романами, как последние повесы...» — бесился он внутренно.

Иногда он даже сомневался:

«Да неужели это правда?.. Да не может быть...»

Но дело не в том, что роман какой-то происходит, а в том, что Кугин и Верочка всюду показывались вместе. В страшном переполохе, не зная что делать, взбешенный и растерянный, Грубов, наконец, решил обратиться к самому Кугину, обратиться без оскорбления и без ложного стыда, с товарищеским советом. И Кугин послушается; надо только затронуть его чувства чести и порядочности, а эти чувства были в нем.

Грубов так и сделал.

Однажды Кугин ехал зачем-то в лес. На повороте к хутору ему встретился Грубов. Кугин сумрачно взглянул на него, пробормотал что-то и хотел проехать дальше, но Грубов вдруг обратился к нему с просьбой:

— Вы в лес? Возьмите меня. Я хочу немного проехаться...

Кугин искоса взглянул на товарища, но остановил лошадь и очистил место в санях. Грубов сел, и они поехали. Некоторое время длилось тягостное молчание. Кугин не знал, чему приписать желание Грубова с ним проехаться. Грубов был сильно взволнован предстоящим объяснением. Не видя Кугина, он это объяснение представлял себе очень просто; но когда он сел рядом с этим человеком, он растерялся от страшной трудности разговора.

Кугин первый не выдержал молчания.

— Вы в последнее время что-то перестали давать уроки Наталье? — заметил он равнодушно.

— Она сама отказалась на время... Ей, видимо, нездоровится, — возразил Грубов с напряженным вниманием.

— Да, она что-то киснет...

Грубов очень взволновался при этих словах Кугина, так как они прямо вели его к цели, и он уже хотел намекнуть на беременность молодой женщины, чтобы затем прямо и открыто поговорить, но Кугин предупредил его:

— Это и лучше. Пусть она отдохнет, а то вы гоните ее на всех парах... Да и вам, чай, надоели эти уроки... Я слышал, вы были на бою? Что там такое происходит? — говорил Кугин.

Грубов пожал плечами, недовольный таким неожиданным поворотом.

— Я был. Неприятно! Старинная забава русского человека.

— Хороша забава!.. Как много еще дикости в нашем мужике!

— Пожалуй. Но дикость не всегда сопровождается пороком.

— По-вашему, когда люди начинают бить друг друга по морде, это не порок?

— Не знаю. Но если мордобитие считать пороком, тогда я не понимаю, как можно снисходительно смотреть на культурное общество, большая часть забав которого, по существу, так же дика. По крайней мере я не в состоянии разделить бал, на котором люди превращаются в лошадей, и мужицкую пляску, цирк, где люди сознательно наслаждаются жестоким ужасом, и кулачный бой, где мужики с удовольствием колотят друг друга по физиономиям...

— Это не интеллигенция! — воскликнул Кугин.

— Все равно. Разница между нами и мужиками есть — разница часто неизгладимая, но не всегда в пользу нас.

Говоря это, Грубов бесился внутренно, что говорит не то, что нужно. Но цель ускользала из его рук. Он готов был придраться к первому попавшемуся случаю, чтобы заговорить о том, что хотел, но разговор уходил все дальше и дальше от намерения.

— Это ненужное самоуничижение! — возразил Кугин. — Если я вижу отвратительное явление в мужике, то я так и называю его — отвратительным.

— Сделайте одолжение, называйте. Но помимо отвратительного, есть чистое...

— Назовите такое явление в мужицкой жизни, перед которым бы я должен преклониться? — спросил Кугин.

— Назвать едва ли можно; пришлось бы разбирать всю жизнь. Но в общих чертах — отчего же, можно. Между прочим, знаете, какая разница между нами и ими? Это то, что мы живем чувством приятного и прекрасного, мужик же — чувством должного и неизбежного. Мы делаем то, что нам нравится, мужики — то, что до́лжно делать. Не думаю, чтобы эта разница была в нашей выгоде... Когда жизнь нам не дает того, что мы желаем, что кажется нам приятным, мы считаем ее неудавшеюся; мужики же считают скверною ту жизнь, которая дала ему одни только грехи. Мы страдаем оттого, что не удовлетворяем своих желаний,

мужик же — оттого, что не исполнил какой-то высшей воли, нагрешил... Но оставим этот разговор... Послушайте, Кугин!.. Я с вами хочу поговорить... — с волнением вдруг заговорил он и посмотрел прямо в лицо товарища. — Послушайте меня и не сердитесь... Я говорю как товарищ, как друг!

— Что такое? — спросил Кугин, весь вспыхнув, и отвернулся от устремленного на него взгляда Грубова.

Грубов открыто, с пылающим лицом, высказал свое мнение об отношениях Кугина и Верочки, открыто заявил, что ему не нравятся эти отношения, и умолял Кугина прекратить их, как опасные не только для самого Кугина, но и для всех.

Пока говорил Грубов, Кугин все время менялся в лице, которое судорожно подергивалось; но когда тот кончил, он презрительно улыбнулся. Мгновенно между ними образовалась какая-то атмосфера неискренности.

— О каких это отношениях вы говорите? И что вы думаете?

— Я ничего не думаю и не хочу предполагать. Я только хочу, как товарищ, предостеречь вас, что ваши дружеские отношения с Зиновьевой могут быть дурно истолкованы, а это страшно всем нам повредит... Наверняка можно сказать, что вашим дружеским отношениям будет придано другое значение!

— То есть? — спросил Кугин небрежно, хотя в его голосе слышалась уже злоба. Он еще никак не мог попасть на надлежащий тон.

— Да просто скажут, что барин от своей жены путается с другой. Я не верю этому, но, повторяю, это убьет нас в здешнем мнении.

— Отлично вы всё это говорите... но, милый человек, как ваше рассуждение ко мне-то относится? И вообще как вас понять? О чем вы говорите?

Говоря это, Кугин уже овладел собой, зло смеялся и с удовольствием чувствовал глупое положение, в какое поставил Грубова. Всем своим видом он как будто говорил: «Не понимаю!»

Грубов и сам чувствовал, что говорил не то и не так, как хотел. Он хотел поговорить дружески, просто, как товарищ и брат, а вышло неискренно, запутанно и глупо, и не только не дружески, но с небывалою до сих пор враждебностью. В порыве отчаяния он вздумал силой придать разговору другой характер и вскричал:

— Кугин, вы понимаете меня!.. Бросьте этот тон! Я хочу не оскорблять вас, а помочь вам!..

Но Кугин насмешливо улыбнулся; ему приятно было издеваться.

— Помочь?.. Но в чем, ей-богу, не понимаю! — сказал он. — Вы увидали какие-то мои отношения к Зиновьевой, но ведь это

ваша фантазия! Вы говорите о каком-то мнении мужиков, но при чем я тут, я не понимаю...

— Ну, а Наталья? Вы также не понимаете и ее? — спросил Грубов вне себя от негодования. — Знаете ли вы, как она смотрит на ваши прогулки с барышней?.. Неужели вы не видите, что с ней делается?

Когда это сказал Грубов, Кугин как-то заметался в санях и глаза его забегали по сторонам, но ненависть к сидевшему рядом Грубову взяла верх над его смятением.

— А! вы вот о чем!.. Но какое право у вас вмешиваться в мою частную жизнь? Почему вы вздумали заботиться обо мне и о моей жене? Но, милейший, вы ошиблись!.. Вы можете распоряжаться таким дураком, как Неразов, но я не могу вам доставить такого удовольствия! — и, говоря это, Кугин засмеялся искаженным от злобы лицом.

А Грубов вдруг прыгнул с саней, привычная лошадь остановилась, и товарищи в продолжение нескольких мгновений смотрели друг на друга с нескрываемою ненавистью.

— Довольно, Кугин! Я утверждаю, что ваши отношения к жене бесчестны, и нам не о чем больше разговаривать! Но я все-таки сделаю, что Зиновьевой здесь не будет!

И, выговорив это, он порывисто повернулся обратно к селу. Кугин, ударив лошадь, ускакал по направлению к лесу.

Грубов сознавал, что с этой минуты колонию можно считать разбитою; ее нет больше, как нет больше товарищества.

Но, по странной логике, шагая по снегу к селу, он продолжал гневаться, страдать и придумывать средство сохранить дело. Он снял шапку и шел некоторое время с непокрытою головой, которая пылала до физической боли; во рту у него пересохло, как во время горячки. Чтобы утолить жажду, он схватил в горсть снегу и глотал его большими кусками. Он был так потрясен всем случившимся, что долго не мог опомниться. В особенности ему тяжело было сознание непоправимой враждебности к нему Кугина. Этого ли он хотел, когда шел на объяснение? До объяснения положение было простым, легким и ясным; после объяснения все осложнилось и запуталось до неузнаваемости и отравлено было целым потоком взаимной вражды. Объяснение касалось, в сущности, мелкого случая, но когда оно кончилось, мелкий случай вырос в целое событие, грозным по размерам и мучительным по своей силе.

Грубов шел с опущенною головой; лицо его сделалось вдруг истомленным, глаза впали, как после тяжкого физического потрясения. Он чувствовал сильнейшую разбитость и растерянность.

Но вдруг его озарило решение. «Да уйти от греха, только и всего», — вдруг подумал он с радостью. Бросить все и уехать

из колонии; ведь никакой кровной связи с ней у него нет!.. Это сразу его успокоило, и сразу все стало ясно и просто. Не нужно больше думать о враждебности Кугина, незачем думать о самом Кугине, незачем с кем бы то ни было объясняться, незачем упрашивать Верочку Зиновьеву, совсем не надо больше думать об этом пропащем деле!.. Выход очень простой: наплевать на все и уехать самому.

Грубов сразу успокоился и быстро шагал по дороге. Решение свое он формулировал прямо:

«Черт с ними! Наплевать!»

На душе у него сделалось так легко, словно он избавился от какой-то мучительной каторги. И сейчас же появилось ироническое настроение: все, что происходило в колонии, и самая колония, и сам он — все сразу представилось в курьезном виде, так что он громко захохотал.

Но, к несчастию для него, он не успел вовремя выполнить своего чудесного решения, а должен был до конца допить горькую, ядовитую чашу товарищества. Через несколько дней в колонии поднялась такая возня, что даже близкие к ней мужики заметили это.

— Опять наши господа чтой-то забегали!.. Чтой-то у них случилось... И шут их знает, чего они бесперечь беспокоятся!..

X

КОНЕЦ ПУТАНИЦЕ

После «товарищеского» разговора Грубова и Кугина личные счеты так вдруг запутались, что никакою двойною бухгалтерией нельзя было учесть их. Началось с того, что Кугин рассказал Верочке с разными намеками конец своего разговора с Грубовым, то есть угрозу последнего выдворить Верочку. Верочка обомлела и вне себя от оскорбления назвала Грубова в присутствии Неразова низким человеком. Взволнованный Неразов стал защищать друга, но Верочка сослалась на Кугина, который, по ее словам, имеет доказательства низости Грубова. Тогда Неразов побежал к Кугину объясняться, но вместо объяснения назвал его подлецом. За это Кугин выгнал его из дому, заявив, что он больше с ним незнаком. В свою очередь Верочка написала записку Грубову, где требовала, чтобы он публично объявил причину, почему он требует выхода ее, Верочки. Но так как Грубов, сидя в своей крепости иронического настроения, на записку не ответил, то к нему по поручению Верочки отправился сам Кугин. Кугин по дороге решил, что даст Грубову пощечину, если он откажется удовлетворить требование Верочки. Однако вместо объяснения произошла новая неожиданность. На требование Кугина Грубов

с равнодушною улыбкой сообщил, что объясняться ему больше не к чему, так как к колонии он больше не принадлежит.

— Я на днях совсем уеду.

Кугин остолбенел от этих слов и не нашелся, что сказать в ответ; в замешательстве он отправился домой, не в силах разобраться в страшной путанице. Ясно он понял только то, что с уходом Грубова, в сущности, все дело рушится, так как один на один с Неразовым Кугин не желал иметь никаких сношений, во-первых, потому, что Неразов «дурак», а во-вторых, «бешёная собака».

Остолбенела и Верочка. Сначала она не нашлась, что делать, но вслед за тем лучшие стороны ее натуры взяли верх.

— В таком случае лучше я выйду! — вскричала она со слезами на глазах. И так как решения ее, хорошие и дурные, созревали и исполнялись мгновенно, то она на следующий же день собралась уезжать.

Мгновенно из глубины ее сердца вырвались наружу чистые и великодушные побуждения и мгновенно же исчезли всё недоброжелательство, вся злоба к остающимся. Ей вдруг стало больно и жалко покидать колонию, и все товарищи показались ей честными и лучшими людьми. Прощаясь, она несколько раз крепко пожала руку Неразову, а Грубову велела передать просьбу, чтобы он не думал о ней дурно. Она со слезами на глазах простилась с Алексеем Семенычем и с его старухой, простилась с собакой их Волчком, потрепав его за уши; поцеловала Наталью. И когда она выехала за село, ни одной злой мысли против кого-нибудь из оставшихся у ней не было. Правда, она ничем и не жертвовала, уезжая; колония осталась чуждым для нее делом; друзей она не нашла там. К Кугину же она вдруг сделалась равнодушною. Что он ей? Она не любила его и не могла любить.

Но не то Кугин. С той самой минуты, как она решилась уехать, он ходил как опущенный в воду. Он не находил слов, чтобы отговорить ее от выхода, но в то же время чувствовал, что с ее отъездом он погиб. Он полюбил ее с узкою бесповоротностью себялюбивой натуры, не знающей других законов, кроме своих желаний; в этой любви для него теперь все сосредоточилось — жизнь, счастье, дела, убеждения, будущее. Колония была ему без Верочки отвратительна, товарищи ненавистны, и счастье он связывал только с ней; вне ее ничего не было — пустота.

За ней он пошел нанимать лошадей до станции; потом за ней он отправился на хутор и вместе с ней укладывал ее вещи. И когда она села в сани, он также сел рядом с ней, не сказав даже, до которого места он хочет проводить ее. Дорогой он безумно молчал. Он не смел сказать ей о своей любви, но в то же время не думал и скрывать ее. Он сидел рядом с ней, но не думал, куда он едет и где остановится.

Наконец уж Верочка сама ему напомнила.

— Ну, нам пора расстаться... Мы и так уже далеко отъехали, вам тяжело будет возвращаться пешком, — сказала она с грустным лицом, но без тяжелого чувства.

Кугин машинально стал вылезать и слез прямо в мокрый, таявший снег. Лицо его исказилось так, как будто он хотел зарыдать. Но он не зарыдал, а с внезапно вспыхнувшею злобой, от которой у него помутились глаза, закричал:

— В сущности, вы не добровольно уезжаете, а гонят вас!

Верочка побледнела, но сдержанно проговорила:

— Не говорите так... Я добровольно уезжаю. Если бы я не уехала, уехал бы Грубов...

— Он не уехал бы! Это с его стороны подло обдуманная тактика!

— Что мне до этого? Я жертвую собой ради дела. Моя совесть спокойна... Я должна была принести такую жертву! — Верочка проговорила это торжественно.

На этом они расстались. Кугин, стоя глубоко в рыхлом мартовском снегу, с безумным лицом смотрел, как ее увозили сани. Она несколько раз оглядывалась и махала ему платком и что-то кричала с веселым лицом, а он стоял без движения и смотрел, как она уезжала. Если бы она оттуда закричала: «Идите ко мне, уедем!» — он бы бросился через овраг, наполненный рыхлым снегом с водой, и уехал бы с ней. Но она велела ему слезть, и он слез, повинуясь ее власти. Она не звала его, и он не трогался с места.

А Верочка — кто ее знает? — думала искренно, что своим выходом приносит жертву, или этими словами в последний раз рисовалась перед Кугиным. Настроение ее всегда быстро менялось, и, вероятно, она от всего сердца хотела принести посильную жертву, когда собиралась в дорогу. Но когда Кугин сказал ей прощальные слова, мысли ее сразу переменились. Слова Кугина врезались ей в память, и она не могла отвязаться от них; эти слова затемнили все то, что было хорошего в ее душе, вызвали в ней снова память об оскорблении и разожгли ее злорадство. «А! меня выгнали!.. Ну, так тогда другое дело!» И она уже раскаивалась, что поддалась минутному чувству. Ей надо было бы назло остаться, пусть злился бы Грубов, а она прониклась глупым великодушием. Ей сделалось обидно, злость овладела ею, злость и тоска: злость, что она сделалась наглою жертвой; тоска, что она вдруг осталась одна, без друзей, брошенная... И в порыве этой тоски она написала на станции записку Кугину: «Приезжайте в город по следующему адресу».

Кугин эту записку получил на другой день рано утром. Никому ничего не сказав, он нанял лошадей до станции и уехал.

Когда об его отъезде узнали Неразов и Грубов, то сначала обомлели. Потом Неразов готов был заплакать, а Грубов пришел в такое неистовство, что решился тотчас ехать вслед за Кугиным и вернуть его силой; он чувствовал, что способен теперь на самый дикий поступок. Но он не успел выполнить ни одного из этих намерений благодаря Наталье, которая своим обдуманным решением сразу все распутала и сделала положение страшно ясным.

В последнее время о ней все позабыли, занятые личными счетами и передрягами. Даже Грубов на время забыл о ней. Но зато сама она слишком много думала и понимала все, что происходит вокруг нее.

Вся зима прошла для нее в сильнейших душевных переворотах. В первое время по приезде Верочки она чего-то сразу испугалась; лицо ее сделалось напряженным, вдумчивым, сосредоточенным. Счастливая до той минуты, она теперь выглядела страдающей.

Потом Наталья вдруг сделалась жалкою. На лице ее, кроме испуга, стало рисоваться отчаяние. Она поняла, что перед барышней в глазах мужа она — дура, темная, низкая; она поняла, что бороться с барышней у ней нет средств. Ту любовь, которая с первой минуты засветилась у ее мужа к барышне, она, Наталья, ничем не может перевести на себя; она может только умолять об этой любви... упасть к ногам мужа и умолять его пожалеть ее. И она жалко плакала, когда оставалась одна.

Но вдруг одно время на лице ее показалась ненависть и жажда постоять за себя. Она ничем не могла выразить этих чувств, но они ярко горели на ее лице. Когда она теперь встречала Верочку, выражение ее лица было гордое. Испуг ее прошел; она перестала жалеть себя. Она не думала больше о себе. Все ее мысли обратились на мужа и на барышню.

Так продолжалось до отъезда Верочки. Во время сборов последней и после ее отъезда неопределенная надежда зародилась в сердце Натальи. Но вот утром уезжает Кугин. Лицо ее и вся фигура опять на время сделались жалкими. Она поднимает оброненную им записку, читает и холодеет. Она заплакала как ребенок; она опять на время казалась испуганною и умоляющею о пощаде. «Миша, не губи меня!» — жалко прошептала она про себя несколько раз, как будто муж мог услышать ее.

Никто не видел и не знал, что с ней происходит. Домашние не обратили внимания даже на отъезд Кугина. Да Наталья ни за что на свете и не созналась бы, что ее муж уехал за другой. Лучше смерть!

До половины этого дня она ходила жалкою и потерянною, с опущенною головой, с умоляющим взором. Но к вечеру лицо ее еще раз преобразилось. В глазах ее вдруг показалось торжество и радость, вся она приподнялась и гордо смотрела куда-то в даль,

открывавшуюся из окон. Это она считала средством воротить беглеца и его любовь. Она думала о нем раньше, но только теперь поняла, какое оно могучее. Благодаря ему он приедет. Он непременно вернется и с рыданием припадет к ней и будет обнимать ее. Он будет на коленях умолять ее пощадить его и будет звать громко, чтобы она взглянула на него хоть раз и сказала ему ласку. И она простит его. Как же не простить, когда он ей муж и когда она до смерти любит его? Он сделал ее счастливою, и у ней нет злобы против него...

Потом ее оденут во все лучшее, что он любил, и отнесут ее за село, под березы и кусты черемухи, где они часто с ним сидели, между крестов. Он пойдет всюду, куда ее понесут, и будет с любовью глядеть на ее лицо. Когда ее туда принесут, он еще раз поцелует ее и скажет еще раз, чтобы она простила его. Она уже простила ему, потому что знает, что он вернется к ней с любовью, которой она при жизни не знала...

С совершенно разумным лицом Наталья вышла из комнаты, прошла в чулан, отыскала порошок, который муж ей привез для отравы крыс, и с лихорадочною поспешностью съела его две горсти, а чтобы не слышать отвратительного вкуса, жадно запила водой. Лицо ее в эти минуты стало поразительно похожим на лицо отца в те мгновения, когда он говорил о боге и о правде и описывал картины райского блаженства; лицо ее было в одно и то же время гордое и светлое, верующее и счастливое.

Грубов уже собирался ехать с Ефремом на станцию; лошади были запряжены. Но в ту минуту, когда он выходил из дверей флигеля, во двор со всего размаху верхом на лошади прискакал Алексей Семеныч; он был в одной рубахе, без шапки, а в руках его зачем-то была палка.

— Митрий Иваныч, Наталья кончается! — крикнул он, подскакивая к самому крыльцу, где стоял Грубов.

Грубов помертвел, но не сказал ни слова, а прямо бросился бежать по улице, как будто он заранее знал, что так именно надо бежать. Когда он вбежал в комнату, там уже собрались все домашние и две соседки-старухи.

— Вас она хочет видеть, — сказала Грубову одна из старух.

Грубов подошел к самой постели Натальи, которая судорожно билась.

— Что с тобой, Наташа? — спросил он громко.

Но та не отвечала, хотя широко раскрытыми зрачками смотрела на него. Она боролась с страшными судорогами и не могла говорить; но в одно мгновение, сжав страшным усилием прыгавшую нижнюю челюсть, она взглядом подозвала его к себе, и когда он наклонился к ней, она прошептала неслышно для других:

— Когда он вернется, не говорите ему правду...

— Несчастная! что ты сделала? — прошептал он и догадался о причине судорог.

— И никому не говорите... Я простила ему, а он будет любить...

На мгновение опять на ее лице и глазах показались торжество, гордость и радость, но начавшиеся вновь судороги исказили ее черты, и в них нельзя уже было узнать, чем гордилась она и кому прощала.

Грубов отошел прочь, в дальний угол комнаты, и с застывшим лицом смотрел и слушал, как бегали и кричали люди, как приехал священник и стал читать громко какую-то молитву. Потом он увидел, что ему делать здесь больше нечего, и он совсем вышел прочь из дому.

Он был в том состоянии нелепой практичности, которая часто является в самые ужасные моменты. Идя домой, он думал о том, как лучше всего известить Кугина о смерти жены, какое письмо и в каких выражениях он напишет, сколько слов будет содержать телеграмма, доедет ли по испорченной дороге Ефрем, накормлены ли лошади овсом. А когда Ефрем с письмами и телеграммами отправился, Грубов стал соображать, как похоронить умершую, что надо купить для похорон, сколько придется истратить денег, и если не хватит наличных, то где их достать. Только когда на третий день он увидал возвращающегося из города Кугина, бездушные мелочи разом сгинули, и в его душе встал целиком образ простой, наивной женщины, которую все любили, а он, быть может, больше других. И тогда у него явилось то подавляющее горе, которое в несколько часов разрушает несколько лет жизни.

Прошло более двух недель со дня похорон.

Товарищи за это время ни разу не видались. Каждый жил наедине с собой. Но в то же время никто из них не трогался с места под влиянием какого-то стыда, хотя все сознавали, что дело надо кончить и разойтись в разные стороны. Смерть Натальи с страшною ясностью показала, что здесь больше нечего делать. Только никто не решался первый подняться с места и уехать.

Наконец, по просьбе Неразова, пригласившего Грубова и Кугина записками к себе на хутор, однажды все сошлись для ликвидации. Когда они увидали друг друга в первый раз после похорон, это была для всех тяжелая минута. Они как будто не узнавали друг друга и обращались как чужие люди, едва знакомые. Неразов сильно конфузился, когда встречал по очереди Кугина и Грубова; Грубов был сильно взволнован и к Неразову обращался на «вы». Кугин ни на кого не мог взглянуть прямо.

Да, может быть, они и в самом деле не узнавали друг друга. В особенности изменился Кугин. На него тяжело было смотреть. Из красавца он сделался каким-то хилым и больным; он держался

сгорбленно и судорожно улыбался. На его осунувшемся лице следа не было прежнего Кугина, рисовавшегося каждым своим движением. Вся его сценическая эффектность смыта была первою жизненною драмой, в которой он поневоле сыграл заглавную роль.

Тяжелое молчание нарушено было Неразовым. Краснея и волнуясь, он сказал:

— Надо, господа, поговорить... как нам теперь?

— Разойтись-то? — спросил Грубов серьезно и потом добавил: — Очень просто.

После еще нескольких минут молчания Грубов, ни к кому не обращаясь, высказал просьбу — оставить в собственность Ефрема все то имущество товарищества, которое было у него на руках. Неразов с торопливою радостью изъявил свое согласие на это предложение. Кугин молча согласился. Он сам, не поднимая головы, высказал такую же просьбу относительно Алексея Семеныча, во дворе которого также находилась часть товарищеского имущества. Неразов с восторгом и на это согласился.

Кугин первый поднялся. Все так же сгорбленный, не поднимая головы и не подавая никому руки, он встал с места и с тяжелою медленностью вышел из хутора. В тот же день к вечеру он совсем уехал из села. Но, прежде чем уехать навсегда, он, выехав за околицу, свернул на кладбище и там оставался с полчаса. Желание Натальи сбылось: несчастный стоял на ее могиле. Не сбылась только ее надежда на его любовь. Он стоял у свежей кучи глины и тупо на нее смотрел. И не плакал и не любил, да едва ли после всего и в будущем мог любить кого-нибудь. Для любви все же нужна свежая сила, а он стал развалиной.

Через несколько дней и Грубов собрался. К нему приходили прощаться все его знакомые мужики и бабы, и все просили у него что-нибудь на память. Он роздал, что у него было, но это привело его в сквернейшее настроение. Правда, корыстные взоры мужиков и баб были мелки и наивны: так, заметив коробку из-под килек, один жадный мужичонко с конфузом попросил:

— Уж ты мне благослови штуку-то эту...

Но и эта мелкая жадность раздражала.

— Возьми, возьми! — говорил Грубов торопливо.

В особенности наглы были бабы. Всякую дрянь, которой у него много накопилось, они осматривали и выпрашивали. Это, наконец, так ему опротивело, что он с раздражением сказал:

— Вот что, бабы. Теперь мне некогда, а когда я уеду, можете тут брать все, что найдется! А благословлять вас я больше не стану, — ну вас совсем!



От этого окрика все посторонние ушли. Остались только Ефрем, Лукашка да домашние Антона Петровича, пришел еще и Алексей Семеныч. Эти ничего не просили. Но Грубов чувствовал, что именно они от души прощаются с ним и жалеют его. И они долго будут помнить, как он был прост с ними и какие чудесные вечера они проводили у него в продолжение всей зимы.

С Алексеем Семенычем Грубов очень взволнованно прощался. Странное впечатление производил на него этот «божественный» человек теперь. Он с неприятным изумлением смотрел на то спокойствие, с каким старик относился к смерти дочери.

— Что делать, воля божия! — говорил несколько раз Алексей Семеныч.

Это было не равнодушие, а вера. «К будущей жизни воля божия всех призовет, и злых и добрых; злые понесут муку, добрые возрадуются... Но ежели который и грешил, но раскаялся, и тот будет взыскан». Положительно неприятно было Грубову разговаривать с этим Алексеем Семенычем — слишком уж он неуязвим; он так же покойно, вероятно, будет хоронить и всех, кого он любил, так же сам будет умирать, так же и прощается теперь с уезжающим навсегда человеком.

Был теплый апрельский вечер, когда Грубов в сопровождении Неразова выезжал из Бора. За селом они слезли; Ефрем поехал шагом, а они пошли пешком вслед за телегой. Кое-где показывалась уже травка; сосны покрылись густою зеленою краской; лиственные деревья побурели от множества почек. В воздухе то и дело со свистом перелетали утки, в кустах слышалось пение каких-то птичек. Воздух был влажный, мягкий, разнеживающий.

Но товарищи шли молча, с нахмуренными лицами, и не глядели ни на что окружающее. Неразов предложил вопрос, где поселится Грубов и что намерен делать, но тот только пожал плечами, как бы говоря: «да не все ли равно где?» Неразов несколько раз собирался попросить товарища писать, но почему-то не решался. Наконец, взволнованный и затосковавший, он вдруг вскричал:

— Боже мой, да неужели все кончилось?!

— Нечему было и продолжаться-то, — возразил серьезно Грубов.

— Но почему все это кончилось так? Почему так всегда?

— Как тебе сказать?.. Всякое дело требует двух условий: надо любить это дело и уважать людей, которые взялись за него, — взаимно уважать...

— Я же любил, — наивно возразил Неразов.

Грубов с улыбкой и симпатией взглянул на него.

— Ты-то, пожалуй, любил... но я... мне с самого начала был

противен этот монастырь... Признаюсь, я вообще не понимаю, что значит спасать свою душу. Спокойствие — решительно не мое дело. Счастливое довольство — не моя обязанность... Ну, да это теперь дело прошлое, перестанем о нем говорить.

На лице Грубова показалась обычная насмешливость. Неразов смущенно улыбался. Он хотел продолжать разговор, возражать, но, взглянув на лицо товарища, оставил это намерение. Да и некогда уже было. Незаметно надвинулись сумерки. Сырой холод стал подниматься с земли. Товарищи простились и разошлись. Когда телега, в которой ехал Грубов, скрылась в туманных сумерках, Неразов почувствовал вдруг такую тоску, что почти бегом бросился назад к селу. Наступившее после отъезда товарища круглое сиротство было выше его сил.

Вот для кого поистине нужна была колония! Неразов всею душой привязался к ней, как к неизбежному и кровному делу. Всю жизнь он провел в поисках места, куда бы он мог пристроить свое сердце и свои пестрые, разбитые мысли, но как-то до сих пор не нашел ни места, которое бы приняло его, ни людей, которые бы обласкали его и привязали к себе. И вот в товариществе он было пристроился; так прочно пристроился душой, что до последней минуты представить себе не мог, что колония давно уже переставала существовать. Это он понял только тогда, когда телега с Грубовым исчезла в ночном тумане.

На хутор он не пошел — без ужаса он не мог представить себе, что еще одну ночь проведет там один. Он зашел к Алексею Семенычу и ночевал у него. А на другой день его озарила счастливая мысль — продать свой противный хутор Антону Петровичу. После недолгих переговоров, во время которых Антон Петрович сплел целую сеть петлей, чтобы ловчее ухватить давно желанный кусок, дело было слажено. Антон Петрович половину платил наличными, половину векселем. Общая продажная сумма была на одну треть меньше действительной стоимости. Но Неразов был рад, что развязался с опустевшим хутором, да еще получил деньги.

Антон Петрович также несколько был рад сделке, хотя до самого отъезда Неразова скрывал свою радость, очень натурально подражая бедному человеку, который через свою простоту много терпит убытков; Неразов даже пожалел великодушного старика, в ущерб себе купившего его хутор. Но когда он уехал, Антон Петрович не мог долее удерживать свои чувства; он тотчас же побежал на хутор и любовно осматривал каждый его уголок.

Через неделю он уже там деятельно строился. Для этого надо было прежде снести ветхое здание. Нанятые плотники принялись было за его разборку, залезли наверх и стали обдирать с него крышу. Но потом остановились.

— Антон Петрович! — сказали они, — да стоит ли разбирать эдакую гнилушку! Взять бы прямо зацепить ее баграми, да и повалить, а уж апосля и поглядеть, что к чему...

Чтобы не терять даром целого дня на разборку, Антон Петрович согласился.

Принесли два багра, зацепили ими с двух сторон стены и с веселыми уханьями стали раскачивать; наконец, достаточно раскачав, с ревом ухнули в последний раз — и дом повалился, превратившись в безобразную кучу гнилых бревен, сору и пыли.



УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ

I

Отец Дениса, Петр Чехлов, был настоящий, коренной русский купец, в котором беспрестанно чередовались чувства греха и блудливости, страх перед богом и непреодолимое влечение к озорству.

Жизнь его проходила среди торговых плутней и купеческого вероломства, — тем он и нажился, ставши богатым лесопромышленником; но в то же время душа его в некоторые моменты полна была раскаяния за все содеянное, а воображение беспрестанно рисовало ему ужасы ада. И все эти чувства выражались в нем неукротимо, как у здоровенного дикаря. Мужчина он был огромный, с красным лицом, с железными нервами; крови в нем текло столько, что ее вполне достаточно было бы для двух десятков департаментских чиновников. Когда он шагал по полу, тряслась мебель, дребезжала посуда в шкафах и гнулся пол; когда он снимал с себя верхнее платье и оставался в одной рубахе-косоворотке, то она, казалось, вот сейчас треснет на его гигантском теле, как папиросная бумага. Говорил ли он, смеялся ли, ел или спал — все это сопровождалось необычайными звуками. Завалившись после обеда спать, он оглашал дом храпом и свистом, какой издает паровик, когда выпускает отработавший

пар. Когда он просыпался и просил квасу, голос его походил на рычание льва. От времени до времени он приглашал фельдшера и «пущал кровь», — без этого ему и жить было бы нельзя. Но, однако, и после кровопускания здоровья его девать было некуда. Зимой, бывало, напарившись в бане до совершенной одури, он выбегал прямо на воздух и катался по снегу, и снег таял вокруг него, как от раскаленной железной печки. В молодые годы он неоднократно, в день Крещения, прыгал в проруби, не из религиозного рвения, а ради торжества. Из этого можно сообразить, в какой мере выражались его чувства.

Ежегодно он ездил в Нижний на ярмарку и ежегодно устраивал там генеральный дебош... Играла музыка, порхали ночные бабочки, лилось рекой вино. Но дальше что происходило, он уже обыкновенно не помнил. Только наутро, проснувшись с рычаньем, выходившим откуда-то из глубины утробы, он припоминал вчерашнее и сразу становился тихим и робким.

— Василий!.. — тихо звал он слугу.

Василий просовывал голову в номер, а Петр Чехлов сконфуженно смотрел на него.

— Никак я вчерась напугал тут вас?

— Да, уж было дело, Петр Иванович... Очень вы разгорячились, — говорил слуга и с укоризной смотрел на гиганта.

— Переложил малость... Ну да ладно, давай счет... — робко, почти шепотом говорил Чехлов.

— Счет готов, извольте!

Слуга при этом вынимал из бокового кармана сюртука длинный лист и по-прежнему с укором смотрел. Петр Чехлов глядел на итог, в котором красовались цифры 1300 рублей.

— Что уж это больно много! — возразил он, но робко и не поднимая глаз.

— Помилуйте, Петр Иванович, даже еще мало-с. Извольте сами припомнить: выловили всеё дочиста рыбу из аквария и велели сварить, а самый акварий расшибли... раз?

Петр Чехлов со стыдом припомнил, что это действительно так и было.

— А после того вы стали швырять бутылки в канделябру и все шесть ламп с пузырями окончательно перебили... два?

Петр Чехлов смутно припомнил, что и это было, и крякнул.

— Впоследствии времени, когда вы провожали барышень с лестницы, перилы разломали... три?

— Перилы? Перилы-то зачем? — изумился сам Чехлов.

— Да бог вас знает!

— Да ты не врешь ли, брат? Чтой-то уж больно мудрено чугунные перилы расшибить... — пытался возражать Петр Чехлов, но слуга сурово взглянул на него.

— Не верите? А вы идите да сами и поглядите, коли я вру! Были перилы, и нету их теперь!

И, говоря это, слуга с сердитым укором смотрел на Петра Иваныча, а он сконфуженно смотрел на свои еще необутые ноги.

— Ну, уж ладно. Плачу.

— То-то и есть... А вы говорите: врешь! Кабы вы сами изволили сообразить, что вы вчерась...

— Да уж ладно, ладно!

— Апосля того занавеси изгадили соусом из-под карася.

— Ну, будет, будет! Чего раскудахтался! Говорю, плачу. На, получай!

При этих словах Петр Чехлов торопливо отсчитывал требуемую сумму с надлежащею прибавкой слуге на чай и спешил выбраться из гостиницы. На лице его выражались стыд и испуг. Он рад был, что деньгами развязался с скандалом, но и после расплаты за дебош долго не мог успокоиться. Срамно было на душе; из глубины утробы от времени до времени выходили стон и рычанье.

— Э-эх! — рычал он, вспоминая, как валил перила.

Это-то ощущение срамоты и вызывало в нем другие, противоположные чувства.

По нескольку раз в году бывали такие дни.

С утра Петр Чехлов вставал какой-то тихий и грустный. Но все домашние уже знали, что на него нашло «божественное», бога вспомнил. Действительно, не притрогиваясь к чаю, он вдруг говорил, ни к кому не обращаясь:

— Иконы надо подымать!

Из домашних никто, конечно, не возражал ему.

— Порешил я нынче молебен с водосвятием... Припасите, что тут нужно, а я пойду подымать...

В доме тотчас начиналась суета, чистка, мытье. Петр Чехлов шел за священниками в церковь. Когда в церкви все было готово, он с некоторыми из домашних поднимал иконы и нес их по улицам. Сам он благоговейно держал образ божией матери. На лице его было смирение и мольба; в голосе его, вчера еще охрипшем от лая и божбы, теперь слышалось умиление. Этот гигант, вчера только разбойничавший на лесной пристани, сегодня с любовью и мольбой смотрел на лик богоматери и дрожащим голосом пел: «Заступница усердная!» Чудовище, недавно еще разбивавшее трактиры, гроза приказчиков, злой отец, жестокий муж, в собственном доме стоял на коленях перед образом и со слезами на глазах умолял о прощении... Во все продолжение молебна он вглядывался в лик «мати бога вышняго», как бы стараясь в ее взоре уловить тень прощения себе, окаянному. И к концу молебна он чувствовал, осязательно видел, что кроткие, прекрасные

глаза милостиво обращены на него и прощают мерзкие его дела. Весь сияющий, с непокрытою головой, он нес тогда образа обратно в церковь, раздавал милостыню всем нищим и убогим, тысячи жертвовал на богоугодные дела и становился мягок и добр даже с домашними. Детей ласкал, как умел, приказчиков и дворню отпускал гулять, жену не называл «чертовой перечницей». И даже несколько дней спустя после этого он чувствовал на себе кроткие взоры чудного образа, и сердце его было полно смирения.

Но проходило время, жизнь шла своим чередом, и Петр Чехлов становился прежним. Так и шла колесом его жизнь: сначала озорство по базарам и ярмаркам, потом ощущение срама; вслед за тем разбой на лесном дворе и ужас перед богом, которого он представлял не иначе, как в виде бесконечно огромного и грозного Чехлова.

Детские впечатления Дениса все сосредоточивались на отце. Крупная фигура отца все заслоняла. С самого раннего детства все самые сильные чувства вызывал в нем отец. Иначе не могло и быть. Петр Чехлов и сам по себе был крупным лицом, а по сравнению с домашними особенно выделялся; при этом весь строй большого дома сосредоточивался на нем. Отец один жил, а прочие только помогали ему жить. Два старшие брата Дениса были приказчиками отца; мать являлась лишь безмолвною исполнительницей воли хозяина. Таким образом, отец положил неизгладимые следы на душу Дениса и, сам не зная того, стал беспощадным воспитателем его.

Тем более что мальчик и наружностью вышел в отца; те же некрасивые, но крупные черты лица, та же большая голова, то же железное здоровье. Только ростом Денис не вышел; большая голова его с широким лицом сидела на низком туловище, которое поддерживалось толстыми, короткими ногами. За это школьники прозвали его «поленом дров». Но, получив много черт от отца, как себялюбие, крутое сердце, способность к резким реакциям, он много имел и своего. Так, Петр Чехлов был человек общительный, любивший толпу и базар, а Денис с раннего детства поражал сосредоточенностью и склонностью к одиночеству.

Эти черты со временем еще более в нем усилились. В семье он занял исключительное положение. Дело в том, что из всех троих сыновей он один был отдан в гимназию. Явилось ли это вследствие обычного самодурства отца, или у последнего с Денисом связан был какой-нибудь особенный расчет, только он непременно желал сделать из него «ученого», как он называл всех людей, которые знают несколько больше грамоты. Два старшие брата неотлучно находились при лесной торговле, а Денис отдан был в гимназию. «Пущай будет доктором или мировым судьей»,— говорил отец.

— Но ежели только ты, бестия эдакая, забудешь бога и крест перестанешь носить, шкуру с тебя спущу! — добавлял он под пьяную руку, подзывая к себе Дениса.

Таким образом, одиночество, с поступлением в гимназию, стало неизбежно для Дениса. Еще до школы он предпочитал играть один. Присутствие детей его возраста раздражало его; очень смирный вообще, он тогда становился злым, драчливым и буйным. С поступлением же в гимназию он и от домашних своих отделился. Что у него осталось общего с ними? Отец едва умел нацарапать счет, сколько кому «атпущина бревин», а он уже с первого класса заучивал какие-то мудреные слова, которые дико звучали под сводами купеческого дома. Приготовив уроки, он угрюмо слонялся по этим комнатам и не знал, куда себя деть. Чаще всего он забивался в такой угол дома, куда редко ступала человеческая нога, и бесконечно долго о чем-то думал. И сколько одинокому мальчику пришлось передумать наедине с собой! Душа, оставленная в одиночестве, делается глубокой, но узкой; мысль, родившаяся в пустыне и не встретившая другой мысли, вырастает оригинальною, но некрасивою, как безобразный колючий кактус; сердце, оторванное от других сердец, каменеет. Жизнь мальчика все более и более обособлялась от других жизней, и душевное развитие его все резче выделялось и переходило на особый путь.

Он стал исключительно наблюдателем всего окружающего, а не участником его. Отсюда его необыкновенно высокое мнение о себе и сознание ничтожества всех, кого он видел. Наблюдения его были тонкие, слишком тонкие для детского возраста. В школе он не находил товарища, с которым ему приятно было бы вести дружеские отношения; ласки он холодно отклонял. Школьники, в свою очередь, платили ему жестокими насмешками. «Чехлов! полено дров!» — дразнили его беспрестанно и развивали эту кличку с жестоким остроумием мальчишек. Денис от этого остроумия становился еще холоднее к товарищам.

Иногда он находил временных друзей благодаря подаркам в виде карандашей или булок, которые он мог покупать с излишком. Но недетская наблюдательность его очень скоро отравила его дружбу. Он заметил, что когда у него были булки, у него были друзья, а когда не было булок, и друзей не было. Изощренная наблюдательность его, конечно, не останавливалась на одном этом факте, а распространялась на все, что он видел; ум же его, работавший одиноко, делал соответствующие выводы, дурные выводы о дурных сторонах людей... Обыкновенно принято называть тонким наблюдателем того человека, который способен подмечать самые незначительные дурные черты другого человека; было бы, конечно, справедливее считать тонким наблюдателем того, кто умеет открыть в самом дурном человеке крупицу чести

и добра. Вся мысль маленького Дениса была направлена на первого рода наблюдения, потому что он рос одиноко, без капли любви и участия с чьей-нибудь стороны.

Кто еще мог бы его любить? И кого он любил бы? Отца — ни в каком случае. Петр Чехлов был лесопромышленником, купцом, отцом, хозяином, но другом для детей — никогда. Денис его или боялся, когда он был дома, или забывал, когда тот уезжал. Единственные случаи, когда мальчик мог вести беседы с отцом, падали на те часы, когда последний был пьян — не до чертиков пьян, потому что пьяный до чертиков отец все крошил и громил в доме, а так, навеселе. Денис тогда много говорил с отцом, хотя не переставал наблюдать за ним, чтобы при первом подозрительном движении его дать тягу.

Иногда у Дениса являлась потребность приласкаться к матери, и он подходил и ласкался, но через короткое время с грустью отходил прочь. На его ласки мать отвечала: «Ты, может, хочешь вареньица вишневого? А то покушай, я тебе дам пирожка с визигой...» Несчастная женщина вечно чувствовала ужас жизни и, кроме ужаса, ничего не понимала, разве вот только жажду, да голод, да сон. В испуганном сердце ее не было места любви.

А у мальчика была страшная потребность в этой любви. Часто на него находило такое состояние, что он вдруг начинал плакать без всякой причины наедине с собой. Никто его перед тем не обидел, ничего не случилось, а он истерически рыдал. Нарыдавшись вдоволь, он несколько дней ходил веселее, но потом его сердце опять начинало болеть от неведомой тоски. Раз в таком состоянии он стал молиться и сразу почувствовал радость и восторг, каких он никогда не знал. С этого дня он часто стал молиться. Он уходил в необитаемую комнату, куда никто не заглядывал, становился на колени перед всеми забытою, запыленною иконой, на которой не видать было изображения, и, обливаясь слезами, молился ей. О чем он плакал и почему молился, он в первое время не знал. Он только чувствовал, что когда постоит на пыльном полу полутемной комнаты, из окон которой виднелся только безлюдный дровяной двор, поплачет и помолится, тоска его проходит и он испытывает такое восторженное счастье, какого ни от чего другого он не испытывал.

Этот секрет никому неведомого счастья он открыл, когда ему было одиннадцать лет. И долго он пользовался им, скрывая его от всех. Он молился вместе с другими перед обедом и после обеда, в церкви и на молебнах, но холодно и равнодушно. Наблюдая за другими, он видел, что и они в это время молятся лениво, и не только лениво, но прямо-таки недобросовестно. Так, он подметил, что многие во время молитвы зевают до слез, прикрывая рот рукой, другие клюют носом и если окончательно не дремлют, то только потому, что дьячок вдруг иногда резко закричит...

А он знал секрет чудной молитвы. И когда он наблюдал недобросовестность людей и вспоминал свой секрет, сердце его наполнялось вдруг гордою радостью. Он был убежден, что один знает тайну молитвы в полутемной комнате с пыльным полом, перед темным образом, на котором неизвестно что было изображено.

Но пришла пора, когда и эта радость была отнята у него. Вернее, он сам у себя отнял ее. Это случилось благодаря все той же недетской наблюдательности. Каждый шаг свой он обдумывал, каждую мысль свою разлагал, а затем наблюдал, как делают то же самое другие люди и как они думают о той же вещи... Задумался он о своем секрете. Зачем он молится? — раз спросил он себя, когда после молитвы не почувствовал прежнего счастия. Сначала он ничего не мог ответить себе, но самый этот вопрос заставил тоскливо сжаться его маленькое сердце. А много подумав над этим, он заметил в себе много новых вещей. Прежде всего он увидел, что молится не для бога, а для себя; когда он молится, то непременно что-нибудь просит или благодарит за что-нибудь выпрошенное. А разве это не гадко?.. В первом классе гимназии он был один из первых учеников; только один предмет не давался ему — математика. Он был так туп в математике, что даже «камчадалы» смеялись над ним; учитель же, зная, что по другим предметам он учится в первом ряду, усиленно нападал на него, пытал, мучил. «Чехлов! вы опять урока не приготовили?» — чуть не каждый день говорил он. Чехлов урок готовил, но не знал и врал. «За леность я опять вам ставлю единицу. Садитесь!»— говорил учитель. А сзади мальчуганы обыкновенно шептали рифмы: «Чехлов! полено дров! Садись и не ленись!» В классе эта сцена обратилась в привычку. Денис, обидчивый и самолюбивый, несказанно мучился. Наконец, измученный и оскорбленный, он однажды со слезами обратился за помощью к богу, знаком которого была черная, без ясного образа икона в пустой комнате. Обливаясь обидными, измученными слезами, он молился о том, чтобы бог дал ему способности к арифметике и чтобы его не мучил учитель и мальчишки. И на другой день учитель действительно в первый раз не издевался над ним и поставил ему четверку. С этого дня Денис каждый раз накануне урока арифметики молился, причем скромно просил себе хоть тройки. Потом он стал просить и других вещей.

И вот теперь ему стало гадко от этого. Он думал и видел, что он любил не бога, а себя, и молился не из любви к нему, а ради своей выгоды. Мучимый этими мыслями, он стал пытливо наблюдать за другими и убедился, что все делают то же. Однажды он обратился за разъяснением к отцу.

Это было после одного обеда. В рассеянности Денис забыл помолиться на образа по окончании обеда. Отец тотчас заметил и сказал:

— Эй, ты! емназист! что морду-то не перекрестишь?

Мальчик вздрогнул и стал креститься. Потом, когда отец остался один, он подошел к нему и, пытливо вглядываясь в него, сказал:

— Я всегда молюсь, тятенька... Только не знаю, как молиться...

— Учи молитвы, коли не знаешь! — ответил отец.

— А своими словами можно?

— И своими можно. А по книжке на что же лучше! Лучше, как сказано в молитвеннике, ничего, брат, не выдумаешь, — возразил отец и широко зевнул.

— А нельзя так, чтобы любить бога, но не молиться?

— Это как же так? Как же ты, дурак, не крестимши лба бога будешь любить? — крикнул отец строго.

— Тятенька, ты не бранись... Я только хочу спросить, зачем молятся богу?.. Не бранись... тятенька! — сказал со слезами на глазах Денис, но с прежнею пытливостью.

— Как же ты этого не знаешь? — мягче заговорил отец. — Бог все дал, он же по своей воле может и взять все. По его святой воле ты питаешься, одеваешься. Он же может и отнять у тебя хлеб насущный. По его воле ты родился, по его же воле и волос с головы твоей не упадет, — говорил отец догматически.

— Поэтому и молятся? Чтобы он дал хлеб и все? — спросил Денис.

— Ни почему другому. И ежели он дал, то благодарить за милосердие его.

— И бояться поэтому же?

— И бояться.

— А если не бояться? — пытливо спросил Денис.

— А не будешь бояться, так ты, мерзавец, угодишь в ад! — сказал мрачно отец.

— Значит, молиться надо, чтобы бог дал хлеб и чтобы не быть в аду?

— Молиться надо за все и на всяком месте, — сказал отец и опять широко зевнул.

— Молиться — это значит просить что-нибудь? — продолжал допрашивать мальчик.

— Завсегда проси, — отвечал отец.

— Для себя?

— Не для одного себя. Молись за всех — и за отца, родителя твоего, и за мать, родительницу, и за братцев...

— Чтобы и вы не были в аду?

— Ну, брат, довольно глуп ты еще для таких разговоров! Иди-ка лучше подобру-поздорову, пока в затылок тебе не влетело! И мне надо отдохнуть малость! — сказал отец, прервав беседу, и зевнул так, что затрепетали окна.

Денис угрюмо пошел прочь. Этот разговор не только не разрешил его сомнений, но еще более смутил его. Он наблюдал за всеми окружающими и убеждался, что они не любят бога и молятся только потому, что нуждаются в чем-нибудь. Об отце он ничего не думал. Но мать он наблюдал и видел, что иногда, когда отец приходил пьяный и начинал буянить, она с ужасом стоит на коленях перед иконой и молится, чтобы тятенька ее не побил. Старая нянька раз молилась перед иконой, потому что разбила глиняный таз, и просила, чтобы мамаша не ругала ее. Старый приказчик однажды сказал ему, что купил нечаянно гнилой лес и молил бога, чтобы как-нибудь сбыть его с рук: нарочно свечку поставил, чтобы сбыть его по хорошей цене. И уверен был, что бог поможет ему продать его...

— Ты гадкий! — закричал ему со злобой Денис и не хотел больше говорить с ним.

Тяжкое сомнение это сопровождало душу Дениса во весь отроческий возраст. Он продолжал в известные часы уходить в таинственную комнату с черною иконой и молился по-прежнему горячо, со слезами. Но восторженной радости уже не было, потому что не было простоты. Он стал молиться не сердцем, а умом. Ум разложил и эту тайну на мелкие части. Во время молитвы он наблюдал за собой, и не молился, а изучал, как надо молиться. Когда в молитву вкрадывалась какая-нибудь просьба, он тотчас ловил себя на месте преступления, уличал и тут же просил бога, чтобы он простил его. В другое время он уличал себя, также на месте преступления, в том, что слезы его нечестные: ему совсем не хотелось плакать, а между тем он плакал, насильно выжимая воду из глаз. И он принимался тут же молить о прощении этих нечестных слез.

В конце концов едкий ум мальчика растравил эти счастливые минуты. Он стал спрашивать себя, зачем он просит бога простить ему? Значит, он боится наказания? А если бы не было наказания, то он и не просил бы прощения? Значит, и молится не из любви к богу, а из страха? На молитве ничего не надо просить; что бы ни просил, всегда просишь для себя, для своей выгоды. Если даже просить, чтобы бог сделал добрым, — и это для себя.

Недюжинный ум мальчика стал создавать сотни хитросплетений, метафизически тонких и острых, но в конец растравляющих его простое религиозное чувство. Он улавливал бесконечно малые моменты, из которых состоит молитва его. Он, например, наблюдал за своим шепотом молитвенных слов; следил, насколько ему лень кланяться; видел, как ему неприятно пачкать руки об пол, густо покрытый пылью; и обо всем этом тут же думал, а потом тотчас же думал о том, что думал.

Не мудрено, что первые юношеские годы его ознаменовались каким-то жестокосердием, которое всюду он стал проявлять.

Прежде всего он перестал молиться. Оборвалось это сразу. Однажды к нему зашел товарищ. Не найдя его в комнатах, он спросил у матери, где его можно найти. Та не знала, где, между прочим велела заглянуть в ту комнату, которая служила для Дениса храмом.

— Он, может, там, погляди... Он любит там сидеть один-одинешенек. Иной раз час сидит, два сидит, а зачем — бог его знает, — сказала мать.

Товарищ пошел в указанную комнату, широко распахнул ее дверь и вдруг в полумраке заметил Дениса стоящим на коленях и что-то шепчущим, с рукой, поднятой на молитву. Он улыбнулся. А Денис вскочил, как ужаленный, и весь красный. Ему так чего-то было стыдно, что он потом никогда не мог без краски в лице вспомнить об этой минуте.

Вот с этого дня он больше уж никогда не ходил в таинственную комнату, где был его храм, и когда спустя некоторое время комнату эту обратили в умывальную, он не только не оскорбился этим кощунством, но даже как будто рад был. И потом он не только не молился, но стал смеяться и над теми, кто молился. Когда кто-нибудь из товарищей в церкви, куда ходили гимназисты, принимался усердно креститься и кланяться, Денис с злобным торжеством издевался над ним. Ему даже стыдно было за того, кого он видел молящимся; он смотрел на такого и думал: и зачем он выказывает себя смешным?

Сам Денис в эти годы пуще всего боялся быть смешным. Во избежание этого он стал сам смеяться. Раньше угрюмый и безответный, он теперь сделался злым шутником и убедился, что его начали бояться. В обществе он стал озорным и драчливым и из оскорбляемого превратился в оскорбителя. Он убедился опытным путем, что всегда следует кулак держать наготове, тогда будут уважать, и при первой надобности подставлять его к носу оскорбителя, тогда будут любить. Занимался уроками он в это время плохо, отличался неисправимою леностью. Впрочем, его переводили из класса в класс, ибо он никогда не отказывался отвечать урок, смело фантазируя свои ответы; каждый учитель, конечно, видел, что Чехлов вместо ответа храбро врет, но — такова сила смелости — ни один из них не решался водружать ему кол. Был, однако, один предмет, над которым в это время Денис работал сознательно и с увлечением, это — язык. Он стал читать много книг, какие только попадались, больше всего романы, и учился выражаться, как выражаются герои. Искусство говорить далось ему. В шестом классе он уже так красиво говорил, что изумлял не одних товарищей. Сначала это было книжное краснобайство, но под влиянием неумолкающего ума язык его стал оригинальным и гибким, как вся его натура. Тем не менее он пока не находил приложения для своего искусства, а только

щеголял им, сам прислушиваясь к словам своим. Во всем прочем он оставался лентяем и ко всякой книге, за исключением необязательных, питал непреодолимое отвращение.

В седьмом и восьмом классе он нередко и в класс не являлся. Выходя утром из дома, он показывал все видимости, что идет в гимназию, но на самом деле отправлялся шататься по городу. Посещал базары, слонялся в уличной толпе или уходил на пристань реки и там по целым часам смотрел, как уходят и приходят пароходы, как их грузят, как пассажиры съезжаются. Словом, в эти два года он стал записным повесой, и только опытный наблюдатель мог бы открыть в нем присутствие недюжинного человека.

Аттестата зрелости он, разумеется, не получил — провалился по всем предметам. Как это отразилось бы на его самолюбивой натуре при обыкновенных условиях — трудно сказать, но в это время в его жизни совершилось событие, затушевавшее его неудачу. В те дни, когда он держал экзамены, внезапно от удара умер его отец. В семье поднялся переполох, в котором про Дениса все забыли; так что когда он шел домой с последнего экзамена, он знал, что дома никто не полюбопытствует, как его дела. Мать ходила потерянною и не знала, плакать ли ей о смерти «самого» или радоваться; старшие братья приводили в известность дела отца и спорили о наследстве. Денис во всем этом просто чувствовал себя лишним, окончательно забытым и предоставленным самому себе.

Все это лето он провел на улице, по увеселительным местам и редко показывался домой. Он немного беспокоился насчет своей доли в наследстве, но ему лень было спорить с братьями, лень и отчасти гадко. Поэтому он ни разу не справился у братьев, как они намерены с ним поступить. Братья сами вспомнили о нем и, ввиду его явной оторванности от всей семьи, предложили немедленно же выделить его. Назначенная ему сумма была так заманчива, что он и не подумал спросить, действительно ли это его доля. Он просто согласился на все. Деньги его положены были в банк, а до совершеннолетия его мать назначили опекуншей.

— И больше ты к нам не имей никаких касательств! — сказали ему после того братья.

— Зачем же! — возразил презрительно Денис, не любивший своих братьев.

— Ну, то-то же!.. Возьми — и больше ничего.

На этом Денис и покончил с своею семьей, бывшею все время чужой для него, а после смерти отца, который механическою силой держал ее вместе, стала совсем тягостной. Осенью он простился с матерью и братьями и уехал в один из университетов, чтобы поступить вольнослушателем. Через год он сделался

совершеннолетним и окончательно освободился. Деньги он положил в частный банк, где ему легче было иметь текущий счет и где проценты были вдвое больше.

В университете, однако, продолжалось его одиночество, хотя по внешности он не выделялся из остальной молодежи. Занимался он так же плохо, как и в гимназии; не было предмета, который бы интересовал его. Наука была чужда складу его ума, и ее истины не казались ему ни великими, ни любопытными. Лекции он слушал с величайшею скукой.

Вне ученической жизни он оставался повесой. На него в это время напала страсть щегольства. Он тщательно подбирал фасоны и цвета платья, чтобы добиться гармонии в своей негармонической фигуре; но дальше текущей моды изобретательность его здесь не пошла. Штаны он носил самые узкие, сапоги востроносые; сиреневые перчатки и трость с собачьей мордой довершали его костюм. И скоро это ему показалось пошлым и смешным. Думая об этом, он убедился, что страсть украшать свою наружность всегда оканчивается пошлым подражанием; одни желают только одеваться так, «как все», другие стараются отличиться и превзойти всех великолепием, но ни тем, ни другим никогда не удается выполнить свои желания; первые всегда находят людей, туалет которых лучше их; вторые никогда не находят людей, которые одевались бы хуже их. Однажды Чехлов пытливо взглянул на себя в зеркало и, к ужасу своему, увидел, что он поразительно похож на всех и каждого, что фигура его стала безличною и ничтожною.

Кстати сказать, в это время он обдумал много тех мелочей, из которых слагается жизнь, и открыл множество пошлостей, незаметных для обыкновенных людей. При этом с жизнью каждого наблюдаемого им человека он поступал так, как ребенок обращается с куклой, — отрывал с головы приклеенные волосы, стирал пальцем нарисованные глаза, отламывал пришитые нос и уши и самую кукольную голову, и в основе всего этого находил бесформенную и безобразную тряпицу, набитую сором. В основании каждой жизни он неизменно открывал пошлую глупость или совершенную бессмыслицу.

Несколько раз он пробовал сойтись ближе с товарищами-студентами и начал было ходить на вечеринки и сходки. Но он не нашел для себя здесь ничего, чем бы можно было увлечься, что полюбить и чему отдать себя. Прежде всего, ядовитая мысль его отравила простоту юношеских отношений и чувств, которыми одушевлялись товарищи; ни в одном юноше он не заметил истинной жажды веры, — кровь бушует, а разум молчит. И это еще лучшие. В большинстве же он открывал явную неискренность. Молча наблюдая, он старался угадать будущее каждого: вот этот, так горячо говорящий о братстве, завтра, наверное, предаст...

а этот, с таким гордым взглядом проповедующий о непримирении со злом, через некоторое время будет куплен за копейку... а вот этот, глядящий такими наивными голубыми глазами, непременно будет прокурором... Он смотрел на каждого, думал и предсказывал, кого какая ждет судьба в будущем и по каким ямам рассядутся все эти молодые, чистые, взволнованные.

Во-вторых, Денис просто не понимал, о чем, в сущности, говорят. Если бы кто-нибудь заговорил о себе и о том, что лежит у него на душе, это было бы понятно, но здесь думали и говорили обо всем, кроме себя самих. Денис, вечно занятый наблюдениями над глубиной собственной души, чувствовал себя чужим при рассуждениях о каком-то «народе» (тогда как он думал только о человеке), о каких-то «общественных задачах», — для него все такие вещи казались не только далекими и невозможными, но они просто не существовали для него. Вот если бы изучить человека, то есть себя, спуститься на дно своей души и посмотреть эти глубокие, подводные тайны, это он понял бы и в деле такой огромной важности принял бы живое участие. Здесь же ему скучно было, и горячие юношеские речи еще больший холод нагоняли на него. Он перестал ходить на вечеринки.

Среди этого холода прошла вся его юность. Он не находил, кого и что любить.

В этом возрасте люди увлекаются впервые любовью к женщине, но он и здесь остался только в роли сосредоточенного на себе наблюдателя. Ни одна женщина не могла увлечь его, или, вернее, его собственное самолюбие не было удовлетворено ни одною из них, а те, с которыми он знакомился, принадлежали к подонкам «женского сословия», из чего он вывел заключение, что, в сущности, все женщины одинаковы.

И к чему только ни прикасался он, все оказывалось пустым или отвратительным. Были минуты, когда он с наслаждением в мельчайших подробностях разрабатывал картину смерти. Самоубийство было несвойственно его коренастой, здоровой натуре; по всей вероятности, рука его никогда не поднялась бы на самоуничтожение именно потому, что и эта мускулистая рука и все это здоровое тело любили жизнь и отказались бы повиноваться душе. Тем не менее ум его с мельчайшими подробностями изучал и наблюдал смерть, — это было вроде того эстетического наслаждения, которое испытывают многие, наблюдая на сцене кровавые убийства.

В таком-то состоянии застало его веяние одного нравственного учения. Он его принял с величайшею поспешностью, как будто это было его собственное, им самим созданное. Удивительное впечатление произвело оно на него! Он почувствовал себя так же, как человек, который, идя темною, беззвездною ночью по незнакомому месту и ощущая невольный ужас посреди этого мрака,

вдруг поднимает из-под ног палку; по-видимому, ничего не случилось — та же беззвездная ночь, то же незнакомое место, то же зловещее молчание кругом, а между тем, сжимая в руке поднятую палку, человек чувствует внезапный прилив бодрости, и сердце его перестает дрожать невольным ночным ужасом. Усвоив учение, Чехлов сразу почувствовал в себе небывалое мужество, уверенность и силу; сам признавая себя до этой минуты повесой, никому не нужным и ничего не знающим, он вдруг успокоился и гордо осмотрелся кругом... Учение не явилось для него в виде солнечного луча, осветившего ночь, и не сделало его умственно богаче; читая и обдумывая его, он не испытывал ни восторга, даваемого истиной, ни любви, доставляемой милым, дорогим предметом, — нет, он почувствовал в себе только прилив самоуверенности и бесстрашия перед жизнью, которая была до сих пор темна и холодна; такою она и после того осталась у него, только теперь он запасся на всякий случай крепким, внушительным оружием.

А любви по-прежнему не знало его сердце.

II

С полей только что сошел снег. В овраге, рядом с домом Хординых, бушевала речонка весенним шумом. От бледного неба, по которому плыли белесоватые тучки, веяло холодом; солнце, казалось, смотрело куда-то мимо, в беспредельную даль, и только изредка нехотя бросало равнодушные взгляды на землю. И земля лежала бесцветною и скучною. Повсюду на ней виднелись только серые краски; голый лес без листьев, голые поля с бурою травой, рыжие пашни — все это сливалось в одно беспредельно-хмурое пространство, в котором взору не на чем остановиться.

Но Александра Яковлевна даже и в таком виде любила природу. Когда муж и Буреев ушли с собакой на охоту, а по хозяйству сделаны были все распоряжения, она оделась в теплое пальто и вышла из дому. Не любила она только гулять по торным дорогам; поэтому, минуя усадьбу и ее окрестности, она прямо пошла по краю оврага, чтобы добраться до глухой, дикой местности, прозванной «разбойничьим гнездом».

Там правильный лес со стройными деревьями, который тянулся вдоль всего оврага, вдруг переходил в невообразимую путаницу разнообразных пород, плотно переплетающихся и давивших друг друга; овраг вдруг разветвлялся на несколько глубоких и узких коридоров, местами причудливо изрытых и голых, местами заросших густою чащей леса; там одни деревья поломаны были бурей, а другие в беспорядке валялись, загораживая своими трупами путь, третьи, росшие по откосам, торчали

вершинами не кверху, как обыкновенно, а книзу, протягивая свои ветви до самого дна оврагов; с лужаек, залитых солнцем, там внезапно можно было попасть в темную яму, где пахнет затхлостью, как в подземелье; в тихую погоду там стояла зловещая тишина, во время дождя — оглушительный рев бегущей воды, а лишь только начинался ветер — по всем темным коридорам этого места поднимался свист и вой. Для хозяина это было проклятое место, которым не только нельзя было воспользоваться, но к которому и подступиться-то трудно; проклятым это место слыло и у мужиков, которые говорили, что там *он* бросает в прохожих пнями... А попросту говоря, это заброшенное прежними владельцами место одичало и сделалось своеобразно красивым.

Туда и направилась Александра Яковлевна. По дороге она делала букет из фиолетовых анемон, единственных пока цветов, которые целыми семьями ютились по солнечным лужайкам среди прошлогодней травы, или срывала древесные почки и вдыхала в себя их резкий аромат. Больше ничего не было вокруг; насекомые еще не жужжали; изредка выпорхнет из-под куста какая-нибудь пташка и молча юркнет в другой куст. Лес стоял мертвый; покрытая темным ковром прошлогодней травы земля не ожила еще. Александра Яковлевна скорым шагом прошла перелески и скоро очутилась в любимом своем «разбойничьем гнезде». Выбрав сухую лужайку, расположенную на разделе двух оврагов, она села и с наслаждением прислушивалась к разнообразным звукам, раздававшимся кругом.

Картина мгновенно здесь изменялась. «Проклятое место» шумно праздновало возвращение весны и оглашало воздух сотнями живых звуков; в то время как окрестные леса и поля мрачно еще молчали, как бы обдумывая какую-то мрачную задачу, предстоящую на страдное лето, это дикое место праздновало буйный и веселый пир. На дне расселин гремели водопады и журчали ручьи; лес шелестел, распространяя вокруг себя волны аромата распускающихся листьев; в зарослях его то и дело раздавался какой-то треск; повсюду шныряли птицы, озабоченные и в то же время веселые. В воздухе уже слышалось жужжание мошек и комаров; муравьи хлопотали вокруг своих городов, ремонтируя их после разрушительной зимы. Но над всем этим царил неопределенный гул, который нельзя было выделить в отчетливый звук, но который покрывал собою все другие звуки, как воздух покрывает собою все предметы, это — эхо всего здесь звучащего и отражаемого крутыми стенами оврагов.

Александра Яковлевна любила это место, в особенности в те дни, когда жизнь усадьбы уж слишком давила ее унынием. Она приходила сюда и раздумывалась о своей жизни под шум дикого места, которое одним своим диким видом смягчало ее расходившиеся нервы. Так случилось и теперь. Усевшись на светлой,

теплой лужайке, она с улыбкой вслушивалась в разнообразные звуки, которые раздавались около нее, и без горечи думала о вещах, в другом месте вызывавших в ней тяжелое раздражение. Вот уже более трех лет, как они с мужем живут здесь, но она до сих пор никак не может понять, зачем именно здесь, а не в другом месте... Ежедневно в продолжение этих трех лет она просыпалась утром с надеждой на что-то новое, которое нынче, вот в этот наступающий день придет; но день проходил в самых обыкновенных житейских делах, а ничего нового не совершалось. Это новое, эта перемена жизни не рисовалась ей в какой-нибудь определенной форме; это была не мысль и не чувство, а какое-то смутное ощущение, которое не имело ни оснований, ни определенного конца. Но, странное дело, только благодаря этому неосновательному ожиданию какой-то перемены в своей жизни она и могла прожить три темных года. Без ожидания этой смутной перемены она бы, вероятно, и жить не могла.

Но, призывая смутное будущее, она всеми силами отталкивала от себя настоящее, текущее, потому что оно было невыносимо. Каждый вчерашний день непременно оскорблял одно из ее верований, издевался над ее честностью; каждый прошедший день терзал ее душу и сердце. Сначала она закрывала глаза на все происходящее и пыталась забыть обиды, но этих обид стало так много совершаться и они так исполосовали ее душу, что она больше не в силах была хоронить их в себе. Она беспрестанно обдумывала их, сознательно встречала, и в этой сознательности было единственное ее утешение. Она сознавала оскорбления и все неприятности жизни и довольна была, что хоть сознает, но не знала, как избавиться от них.

Сейчас, сидя на лужайке перед живописным «разбойничьим гнездом», она также думала о них и сознавала. Взор ее блуждал по сторонам, слух воспринимал все звуки буйного места, широко праздновавшего рождение весны, но наряду с ощущениями этого чудного уголка она мысленно работала над разбором своей жизни. Какая странная жизнь! Говорить одно, а делать обратное, мыслить честно, а поступать подло, мысленно бороться со всякою неправдой, а в своей жизни собственными руками поддерживать эту неправду, думать обо всем на свете и не уметь собственную жизнь устроить безупречно, носить в душе золото и топтать его в грязь своими же собственными ногами, возмущаться бесчеловечною жестокостью, которая где-то там, далеко, совершена, и хладнокровно присутствовать при бесчеловечных сценах... Неужели это со всеми так? Как это происходит, что, зная отлично, как устроить жизнь миллионов, не уметь свою собственную жизнь облагородить?..

Вдруг где-то близко, в глубине одного из оврагов, раздался ружейный выстрел и эхом пронесся по всему «разбойничьему

гнезду»; вслед за тем послышалось характерное тявканье собаки, которая уверена в близком присутствии птицы, но никак не может отыскать ее засаду; потом послышались голоса.

Александра Яковлевна поспешно встала и оглядывалась вокруг с нахмуренным лицом. «Неужели он сюда зашел охотиться?» — подумала она, и когда среди шума уловила знакомый голос, то быстро пошла в обратную от места выстрела сторону. Здесь ей неприятно было встречаться с мужем; почему, она не спрашивала себя, но только торопилась уйти.

И, быстро удаляясь от «разбойничьего гнезда», она задумалась о муже; мысли ее исключительно стали вертеться около него. Он был заколдованным кругом для нее; о чем бы она ни задумалась, непременно кончит мужем. И тогда в душе ее поднимаются мысли одна другой тяжелее. Даже наружность его стала вызывать в ней неприятные мысли, хотя еще недавно она с негодованием отвергла бы обвинение в пристрастии к наружной красоте... Он облысел еще больше, хотя такой молодой, а на лице его появилась какая-то плоская сытость, щеки отдулись, губы стали краснее и жирнее... все его лицо стало плоским... Знаете, наружность человека много говорит! Если внутри человека бьются живые струи мысли, чувства, фантазии, это сейчас же отражается на форме его лица; когда же все это почему-либо умирает, изменяется мгновенно и форма лица, точно огурец, внутренность которого окисла и сгнила, лицо делается плоским. Это неизбежно. От всей души я посоветовала бы всем дамам и мужчинам, желающим казаться красивыми, больше размышлять, больше учиться и больше изучать свои мысли, — это самое верное средство сохранить красоту носа, щек, глаз и ушей до глубокой старости... Посмотрите, каким благородным делается лицо самого безобразного человека, внутри которого появилось острое страдание за другого человека.

Но был ли когда-нибудь он благороден? — вдруг перебила Александра Яковлевна свои невеселые мысли, и бледное лицо ее вдруг вспыхнуло. — Нет, это невозможно!.. Ведь он поехал же за ней добровольно, когда ее везли на Дальний Восток, и жил там, добровольно подвергая себя всем тяжестям подневольной жизни? И она любила его.

Солнце было уже за полдень, но от бледных лучей было холодно. Удалившись на полверсты от «разбойничьего гнезда», Александра Яковлевна пошла тихо; кругом опять стоял мертвый лес и серые, скучные поля. Она продолжала раздумывать о том же. Но по мере того, как шаги уводили ее дальше от тех мест, где раздавались выстрелы мужа, мысль о нем становилась мягче; зато она незаметно переходила к себе, к своей частной жизни... Ей вдруг стало неловко за свои жалобы и нытье. И жалобы и нытье ей, правда, одной только были известны; это были жалобы

внутренние, про себя. Но это немного лучше. В сущности, все ее размышления заключались только в нытье и жалобах.

Эта мысль впервые сейчас пришла ей в голову и очень поразила ее. Ей вдруг стало стыдно за себя... Жалобы и стоны — ведь это признак нищенской, попрошайской натуры! Ей всегда были противны люди, которые вечно на что-нибудь жалуются; то нет у них «настоящего дела», «по душе», то «окружающее общество» дрянно... И ноют, и ноют без конца! Жалобы обращаются у этих попрошаек в привычку, и они так же легко ноют, как легко нищий выжимает слезы у себя. Но это недурная профессия, — попрошайки с аппетитом кушают и пьют и вообще устраиваются недурно, во всяком случае неизмеримо лучше, нежели те, которые мечутся в разные стороны... Мало того, исподволь и под шумок, потихоньку и незаметно, они начинают обвинять не себя, не свою попрошайскую натуру, а все окружающее...

Александра Яковлевна на минуту даже остановилась и с краской в лице машинально посмотрела на кучку голых берез, которые тихо скрипели сухими ветвями. Потом она торопливо пошла домой, но с тою же краской в лице, как будто ее открыто, в присутствии честных людей, обвинили в скверном поступке. И, ускоряя шаги, не разбирая дороги, через кусты, по прошлогоднему бурьяну, который трещал под ее ногами, она шла к дому и горячо оправдывалась в взведенном на нее обвинении, словно те же честные люди продолжали неотступно идти за ней и настойчиво ждали этих опровержений.

Нет, не все же она ныла и не всегда жаловалась. Возвратившись с мужем из дальних мест (куда попала, собственно, она, а не муж, который только ради любви к ней поехал туда), она не только не жаловалась, но, напротив, всех удивляла своим бодрым весельем и жизнерадостностью. Все ей тогда казалось новым, чистым, и люди, встречающиеся с ней, внушали ей одну только любовь. Она чувствовала в себе столько силы, что готова была терпеть в тысячу раз большую нужду, чем та, какую они выносили. Муж долго не мог пристроиться, но это ей было нипочем. Она сама исполняла все грязные и тяжелые работы, в то же время не переставая следить за всею текущею жизнью и мыслью. Но вдруг все это изменилось. Муж взял место управляющего имением, и все пошло скверно. Быть может, ей тогда надо было резче и грубее выразить свое неодобрение этому шагу мужа; быть может, в крайнем случае ей наотрез надо было бы отказаться следовать за ним, и, быть может, она виновата в том, что слишком неопределенно убеждала его со всех сторон обдумать положение. Но иначе тогда и не могла говорить. Во-первых, все мысли ее о будущем были радужные, а потом... тогда у нее был Андрюша.

Лишь только Александра Яковлевна мысленно произнесла это волшебное имя, как кровь вся отхлынула от ее лица, она вне-

запно присела под первое дерево, как будто кто ударил ее, и испуганными глазами смотрела попеременно на этот голый с сухими ветвями лес, на эти серые поля, на это белесоватое, холодное небо, по которому тихо плыли холодные облака, словно она надеялась отыскать вокруг себя помощь и защитить свою беззащитную душу против внезапного, вероломного удара. Потом по лицу ее прошла судорога, и слезы потекли по щекам.

В Андрюшу в продолжение его жизни она вложила все сердце и все свои помыслы. Это был удивительный мальчик, с золотистыми волосами и с большими серыми глазами, в которые мать всегда с волнением смотрела и не могла насмотреться. На втором году он обнаружил уже необыкновенные способности, поражавшие всех посторонних, а в три года мать с ним была как с взрослым товарищем; днем они гуляли, разговаривая о всех встречных предметах, играли и рассказывали друг другу импровизированные сказки и рассказы, а ночью, обнявшись, они всегда вместе спали. Воспитание его наполнило все ее время и заняло все ее силы, причем, страстно следя за каждым шагом ребенка, она в то же время зорко следила за собою и преследовала в себе малейшую неправду, а когда она убедилась, что, несмотря на свое звание образованной женщины, она ничего не знает, в ней открылась неутомимая жажда познания. Никогда она так много не училась и не мыслила, как в это время, и никогда она не была чище и справедливее, как в продолжение этой глубокой любви.

Только в одном она не могла сладить с собою: когда посторонние, при первом знакомстве с ребенком, поражались его светлым умом, она вся вспыхивала от гордой радости. И эта гордость неизменно присутствовала в ней, смотрела ли она долгим взглядом в большие глаза ребенка, следила ли за его резвой игрой, сравнивала ли его с другими детьми. В будущем ей рисовался светлый гений, который даст миру свою великую истину, и эта тайная мысль наполняла ее сердце почти религиозным восторгом. Посторонние люди, удивлявшиеся острому мышлению мальчика и его нежному сердцу, качали головой и предостерегали мать, чтобы она не торопилась развивать ребенка. Она гордо отвечала, что ей не к чему развивать его преднамеренно.

— Я никогда не толкаю его вперед, он сам меня ведет куда-то... Мне нельзя даже задавать ему свои вопросы, я едва поспеваю отвечать на его... И мне кажется иногда, что не я его учу, а он меня...

Посторонние не верили; но в ее словах заключалась бо́льшая правда, чем это принято думать. Мать едва успевала отвечать на вопросы сына, а предостережения посторонних просто казались ей смешными и шаблонными. Несравненно большее впечатление производили на нее слова простых, темных людей, которые

по простоте своей души не считали нужным скрывать свои мнения о необыкновенном ребенке.

— Господи боже мой! И откуда может родиться такая умница?— говаривала одна старуха и с умилением смотрела на светлый образ мальчика.

Александра Яковлевна гордо оглядывала маленькую фигурку.

— Милый детушка! Только не жилец на божьем свете! — прибавляла старуха.

— Что ты болтаешь, старая? — вскрикивала Александра Яковлевна и старалась презрительно рассмеяться над зловещим и глупым карканьем, но вместо смеха по ее лицу пробегала судорожная улыбка.

— Нет, милая, нельзя таким жить промежду нас, грешных,— грустно сказала старуха.

— Это почему?

— А потому, родная, что ангелы на небе нужны богу...

Александра Яковлевна силилась осмеять эти суеверные слова глупой старухи, но в душе ее каждый раз после такого разговора оставался непонятный след ужаса. Ум ее критически разбивал темное верование старухи; это верование, думала она, основано на действительной истине; в народе детская жизнь окружена такими опасностями, какие не может вынести тонкий организм; живет тот только, которому нипочем грязь, голод, побои; выдающимся же детям нет места в такой обстановке.

Но это говорила ее критическая мысль, а сердце сжималось от страха. Чтобы не мучить себя, она со злобой обрывала такие разговоры.

— И какой же умница-то он у тебя!.. Так бы вот все и говорил с ним и глядел на него!.. Милый детушка! Не долог только век твой! — говорила с умилением другая какая-нибудь женщина.

Александра Яковлевна с искаженным от злобы лицом обрывала:

— Что же тебе об его веке-то говорить? Это вот твой век действительно кончился, и тебе пора подумать о боге, а не говорить вздора!

— А ты не гневайся, милая!.. Я жалеючи тебя говорю, чтобы ты не тосковала до смерти, коли в случае чего... — отвечала старуха и с какою-то светлою печалью смотрела на смеющееся лицо ребенка.

Александра Яковлевна чувствовала, что по отношению к сыну она стала суеверной. Доводы рассудка не помогали. От одной мысли, что она может потерять сына, сердце ее холодело. В такие минуты она с ужасом глядела в самую глубину любимых глаз и в их блеске желала отгадать загадку, будут эти глаза долго светить ей или они безвозвратно потухнут от какой-то неведомой бури. И днем и ночью эта мысль преследовала ее.

Однажды, в теплый майский день, она отворила все окна, выходившие в сад; в саду цвела черемуха; в кустах ее шумели воробьи. Вдруг в окно влетела ласточка и, напуганная незнакомым местом, принялась колотиться в стены, в потолок и в верхние оконные стекла. Они с Андрюшей все это видели. Андрюша с восхищенным взором следил, как летала ласточка, бегал по всем углам, куда она бросалась, взволнованно просил мать поймать ее.

— Нельзя, милый детка, поймать ее! — возражала с улыбкой мать.

— Поймай, мама, поймай! — кричал впопыхах Андрюша. Александра Яковлевна сделала вид, что она ловит. Но ласточка в эту минуту тяжело ударилась в стекло, упала от удара вниз на окно и, почувствовав струю вольного воздуха, с громким криком вылетела на волю. Андрюша посмотрел ей вслед, по тому пути, куда она скрылась, и на комнату, где она сейчас была, и вдруг скучно присмирел.

В это время вошла кухарка, и Александра Яковлевна, смеясь, рассказала ей маленькое происшествие. Но кухарка таинственно покачала головою.

— Ох, милая барыня... нехорошо это, — проговорила она шепотом.

— Что нехорошо? — удивленно спросила Александра Яковлевна.

— Да ласточка-то влетела и улетела.

— Ну так что же?

— Да ведь это душа улетела! — убежденно сказала баба.

— Какая душа?

— Живая душа, милая барыня... Прилетела, попорхала тут и улетела вон...

— Убирайся вон, дура! — крикнула в страшном гневе Александра Яковлевна, и сердце ее сжалось от тоски.

А ровно через две недели она стояла на куче желтой кладбищенской земли и тупо смотрела в яму, куда опускали Андрюшу.

Как она пережила эти дни, она и до сих пор не понимает. Это не был ужас перед смертью; в ее сердце не раздавался вопль; ни стонов, ни слез, ни жалоб, ни проклятий не раздавалось с ее уст; она переживала страдание, которое ничем нельзя было выразить; казалось, сама смерть поселилась в ее душе, и она коченеет. Она продолжала заниматься теми мелочами, из которых состоит обыденная жизнь, но как бессмысленная, холодная машина. Ни в одной такой мелочи, да и ни в чем мысль ее больше не участвовала. Самый факт смерти сына она не понимала. Это был удар, который оглушил ее, от которого она потеряла сознание, которого не понимала и не представляла себе в живом образе.

Но мало-помалу сознание возвратилось, и вот когда началось настоящее страдание. По ночам часто она с воплем вскакивала и обнимала пустое пространство. А днем она обдумывала смерть, и дума эта была такая бесконечная, что у нее темнела голова. Мальчик задохнулся от дифтерита — это было понятно ей. Понятно ей было и то, что это нежное тело, разбитое страшным ударом, должно лежать в яме; от него останется горсть пыли, и это понятно. Но куда же делся этот взгляд больших глаз, даривший счастье всем, кто только встречал его? Куда пропала эта нежная любовь, которую, как цветущая роза, распространял вокруг себя мальчик? Где теперь эта сильная, хотя и детская еще мысль? Неужели *это* закопано в яму также? Если в природе ничего не пропадает, то как же может бесследно исчезнуть мысль, которая через некоторое время превратилась бы в могучий поток идей, и чувство, которое распространило бы вокруг себя горячие лучи счастья? Неужели все это брошено безвозвратно в яму? А если не пропало, то где же его искать?..

И Александра Яковлевна завидовала тем простым женщинам, которые верят, что умершее дитя превращается в ангела и становится хранителем людей. Она была бы счастлива даже и верой той женщины, которая в ласточке видела душу. Пусть бы дух удивительного ребенка летал по небу в виде ласточки, — с этим она примирилась бы. Но чтобы он бесследно погиб, чтобы родившаяся мысль зарыта была навсегда в грязную яму, — это сознание было выше ее сил.

Жизнь ее обратилась в ночь. Только слезы, когда она в состоянии была плакать, облегчали ее. Но когда она начинала рыдать, муж сердито уходил из комнаты, а иногда и совсем из дома. Он долго не осмеливался попрекать ее этими слезами, но они, наконец, стали раздражать его.

— Ты только растравляешь нашу рану! — замечал он не один раз.

Сам он давно успокоился, а когда что-нибудь напоминало о сыне, он торопился выбросить из себя тяжелое воспоминание. Точно такою же он желал бы видеть и Александру Яковлевну. Тут как раз подошли самые усиленные хлопоты по приисканию места и ради лучшего устройства — и ему совсем некогда было вспоминать о потере сына. Всякую мысль он считал теперь не только тяжелою, но и вредною. Ему казалось, что это мешает его каким-то важным делам, его жизни. Хранить память об исчезнувшем сынишке — это только бесцельно и бесполезно растравлять себя, растравлять в то время, как ему надо жить живою жизнью и делать какое-то важное дело. Чувствительность — роскошь людей, которым делать нечего, ему, напротив, нужна вся энергия для тех предстоящих дел, которые он должен исполнять. Поэтому он стал с нескрываемым пренебрежением смотреть на слезы Але-

ксандры Яковлевны. Он был уверен, что она часто плачет искусственно, от нечего делать, или ради того, чтобы насильно вызвать темнеющий образ Андрюши, но не высказывал этого.

Зато он открыто стал говорить о вреде столь долгого сосредоточения на личной жизни. Выражал он это довольно шаблонно.

— Это показывает, что у тебя нет и не было общественных интересов... а исключительно только личные! Когда личная жизнь была наполнена, ты чувствовала себя счастливою, но лишь только твои личные интересы потерпели тяжкое крушение, ты очутилась на воздухе, без почвы, без цели и жизни.

Так он однажды сказал, и сказал с нескрываемым пренебрежением, раздраженный невнимательным отношением к нему Александры Яковлевны; он только что вернулся с объезда имения, усталый и голодный, а она не сделала даже распоряжения об обеде. Вместо того она сидела в своей спальне и, перебирая оставшиеся от Андрюши вещи, обливала их слезами. Но когда он сказал ей это, с ней сделалось что-то непонятное. Она вдруг выпрямилась, отерла последние капли слез и вызывающе оглянула мужа.

— Разве любовь к детям — дурное дело? — спросила она и в упор посмотрела на мужа.

— Кто же это говорит!.. — возразил он и трусливо опустил глаза в тарелку.

— Но ведь ты делаешь такое сопоставление?

— Я только говорю об обществе, которого не нужно забывать ради себя и детей.

— Кто же это общество? Разве дитя не член общества? А воспитание сильных и правдивых людей не общественное дело?.. Разве истинная любовь к детям может чему-либо помешать? — продолжала спрашивать Александра Яковлевна с гневною краской в лице.

— В общем — да, но под общественными интересами, как тебе известно, принято разуметь кое-что другое... — сказал колко муж.

— Да, мне известно это. Но мне в то же время известны люди, которые под прикрытием общественного дела только свои делишки устраивают. И они неуязвимы! Упрекни их за грязную личную жизнь, они сошлются на общественные дела, которые якобы их всецело занимают; а когда их уличают в общественной бездеятельности, они прячутся за личную жизнь, которая якобы полна лишений и невзгод... Повторяю, эти лицемеры неуязвимы, а потому-то они так ненавистны мне... И никогда мне не придет в голову принимать за настоящую монету их истасканные фразы: «общественные интересы», «личная почва»...

— Ты, я вижу, раздражена, Саша... и потому умолкаю, — пробормотал трусливо Хордин.

— Да, раздражена!.. Но какого свойства раздражение людей, которые начинают говорить об общественных делах потому только, что забыли заправить их суп?

Хордин, почувствовав направление этого выстрела, покраснел и бросил злобный взгляд на жену, но промолчал.

С этой поры между ними возникли тяжелые отношения.

Александра Яковлевна круто изменилась. Прежде всего, с той поры никто не видал слез на ее лице и ни с кем никогда она не говорила о погибшем своем мальчике. Она поняла, что и образ его и слезы, вызываемые им, посторонний взгляд может только оскорбить. А потом мысли ее приняли другое направление. Она глубоко задумалась над своею и окружающею жизнью, задумалась не над вопросами, а именно над жизнью, и притом личной.

Когда нет общей жизни, тогда мысль, до этих пор витавшая где-то далеко от ее носителя, упорно сосредоточивается на себе, на своей личности... А общей жизни действительно не было. На кого из знакомых она ни смотрела, общественного человека нигде не находила, а замечала только личного, обособленного, порвавшего связи с обществом. И вот когда на нее посыпались сюрпризы, она, раздумываясь над беспорядочною и неряшливою жизнью каждого, кого встречала, как будто в первый раз открыла глаза. Изумление ее было тем сильнее, что до этой поры она жила более трех лет в чистой сфере детской любви, а когда не стало ребенка, благородный образ его все же неизменно жил в ней и окружал ее исключительною атмосферой страдальческой любви. Теперь она в упор посмотрела на эту обыденную жизнь и почувствовала брезгливость, перешедшую скоро в отвращение. Сначала как женщина, для которой чистота обыденных отношений стоит всегда на первом плане, а потом как думающий человек она пришла к убеждению, что безупречность жизни — первый долг и что только непорядочные люди могут ставить в противоречие свою и общую жизнь. Александра Яковлевна часто с изумлением спрашивала: «Да чем же мы отличаемся от темных людей?»

Это настроение заняло ее всецело; тяжелая потеря мало-помалу теряла свою острую боль. Образ ее мальчика неизменно жил в ней, но оставался невидимым и неосязаемым; он навевал на нее светлые мысли, чистые желания и жажду исправления. Иногда ей приходила в голову черная и скверная мысль, она подавляла ее, но не во имя чего-то отвлеченного, а в память милого мальчика. В другой раз, во время внутренней борьбы, образ его совсем не являлся ей, но она чувствовала, что удержал ее от дурного слова или поступка кто-то милый, любимый...

Только по временам далекий образ, скрывавшийся во мгле прошедшего, вдруг вставал перед нею с плотью и кровью, и

тогда она переживала невыносимое страдание. Так случилось и в эту минуту. Она сидела под деревом голого леса, и слезы градом катились по ее лицу. И вдруг все — и ее мысли, и ее наблюдения, и ее возрастающее недовольство мужем, и вся эта жизнь, из которой она ищет выхода, но не находит, и самые эти поиски выхода, решительно все показалось ей таким ничтожным и ненужным перед какою-то необъятною пустыней.

Когда слезы утихли и острое страдание прошло, она поднялась с места и пошла по направлению к дому, равнодушная и холодная, как то небо, которое висело над ней, как этот мертвый лес, где она сидела.

Дома она машинально принялась за исполнение обязанностей хозяйки. Часы показывали близость обеда, и она вместе с прислугой тотчас же стала накрывать на стол. Устанавливая приборы, она спросила сестру Буреева, приехавшую погостить сюда:

— Маша, вы не знаете, приедет кто-нибудь сегодня из города?

Молодая девушка имела привычку при всяком разговоре немного краснеть, но от этого вопроса хорошенькое, свежее лицо ее залилось густою краской.

— Право, не знаю... может быть... Сегодня воскресенье! — с детским волнением лепетала она в ответ Александре Яковлевне.

— Кажется, обещал Мизинцев быть? — почти про себя заметила Александра Яковлевна.

— Да, он приедет! — подтвердила девушка ее предположение, притом с такою поспешностью, что окончательно сконфузилась, обливаясь кровью вся, вплоть до ушей, и растерянно отвернулась в сторону, а в глазах ее появилось выражение ребенка, который тайно лизнул варенье и был накрыт на месте этого преступления.

Но Александра Яковлевна не обратила внимания на ее замешательство и равнодушно уставляла стол. Через несколько минут на дворе послышались голоса возвращавшихся с охоты Хордина и Буреева. Они шумно вошли, и с их приходом весь дом как будто заговорил, зашумел, задвигался. Громкими восклицаниями они выразили радость при виде накрытого стола. Потом, наскоро умывшись, они уселись за дымящийся обед, утоляя добытый на охоте голод. Хордин, с раскрасневшимся лицом, ел так аппетитно, что у сытого человека мог вызвать желание еще раз пообедать. Буреев не отставал от него, хотя не очень был голоден. В то же время они оба шумно говорили, перебивая друг друга; разговор вертелся исключительно на эпизодах только что происходившей охоты. Буреев, не бывший охотником и сопровождавший Хордина от ужасающей скуки, в юмористическом виде представил картину, как Хордин полз

в траве и как вдруг слетел вниз, в какую-то яму, закрытую кустами, потом вдруг, приняв притворно мрачное выражение, он обратился к Александре Яковлевне:

— А знаете что, ведь супруг ваш чуть было не застрелил своего Султана!

— Нечаянно? — спросила равнодушно Александра Яковлевна.

— Какое нечаянно! Просто прицелился и — бац! К счастью, осечка...

Девушка вдруг заволновалась при этих словах брата; Александра Яковлевна с интересом взглянула на мужа.

— За что же это? — спросила она.

Хордин вдруг озлился точно так же, как он озлился, должно быть, на охоте.

— Да, негодяй все время спугивал у меня дичь.

— Это хваленая-то собака!.. Это Султан-то, которым он гордится и которого считает особенно породистым! — дразнил со смехом Буреев. — А он оказался самого плебейского происхождения, не лучше любой уличной бродяги, которая при виде утки бросается с открытой пастью, чтобы поймать и сожрать ее! — и Буреев залился добродушным смехом.

Хордин злился.

— Ну, теперь, брат, как красно ни говори о его породистости, я не поверю, — добавил он.

Эти слова были началом длинного спора про собак. Буреев подсмеивался, а Хордин, задетый за живое, горячился. Когда первый стал доказывать низкое происхождение Султана, Хордин подробно и с раздражением опровергал. Спорщики забыли о присутствующих и подняли шум. Самый же предмет этого спора сидел на задних ногах недалеко от стола, рабски хлопал по полу хвостом и горящими глазами смотрел на некоторые блюда.

— Ты посмотри на его уши! — говорил Хордин убежденно и указывал на большие, эластичные уши Султана.

— Ну, что же уши? Обыкновенного легаша! — возразил Буреев.

— Нет, не обыкновенного!.. Таких длинных, шелковых ушей не бывает у непородистой собаки... А хвост... ты знаешь, что такое хвост? — разгоряченно спросил Хордин.

— Хвост есть принадлежность большинства животных и некоторой части людей, — возразил Буреев.

— А ты знаешь, какое его назначение у хорошей собаки? — переспрашивал Хордин, не обращая внимания на смех товарища.

— Да я думаю, просто вилять.

— Я тебя серьезно спрашиваю... Значение руля, вот что такое хвост для собаки. И вот где отличие породистой собаки

от непородистой... породистая управляет этим рулем артистически! Когда она делает стойку, хвост ее вполне вертикален, как палка, а если она ищет, хвост ее делает правильные боковые движения... Непородистая же собака умеет только мух гонять этим рулем.

Дальше Хордин разбирал какую-то шишку на голове собаки, которая обозначала особую ее талантливость, какие-то изгибы на лапах, какой-то угол на морде его. Султан слушал, слушал и, не дождавшись подачки со стола, вдруг судорожно разинул пасть и дико завыл. Александра Яковлевна закричала на него и выгнала его за дверь, чем и кончился спор об аристократическом его происхождении.

Встретив холодный и укоризненный взгляд жены, Хордин немного смутился и с озабоченным видом спросил:

— А что, привезли сегодняшнюю почту?

Как будто журналы и газеты ему были крайне необходимы!

— Привезли.

— Посмотрела? Ничего нового нет? — с тою же озабоченностью узнавал он.

Александра Яковлевна молча пожала плечами.

Он, по-видимому, удовлетворился этим и перевел разговор опять на сегодняшнюю охоту.

А когда обед кончился, он пригласил Буреева в дальнюю комнату отдохнуть, то есть попросту выспаться. В этой комнате, растянувшись на кушетке, с лицом, сияющим послеобеденным довольством, он вспомнил молодую бабу, которую они сегодня встретили по дороге. «Ах, хороша, шельма!» — проговорил он и захохотал. Буреев также засмеялся, не потому, что ему было весело, а просто по доброте душевной. Насчет этой встречи между ними моментально началась игривая беседа, невозможная в дамском обществе, и Хордин с замирающим смехом развивал ее, а Буреев вторил ему, и опять не потому, что любил скверные разговоры, а по доброте и мягкости душевной, из нежелания нарушить веселое настроение товарища.

Хордин действительно любил на эту тему «пошутить», но только, разумеется, в подходящем обществе, потому что, как образованный человек, он держался двух политик — внутренней и внешней. Эти две политики он имел во всем. Дома у себя он был один, в обществе — другой; с детьми вел себя иначе, чем со взрослыми, с женой иначе, чем с посторонней женщиной, в дамском обществе не так, как в мужском, и между холостыми иначе, нежели с женатыми. Оттого некоторым он казался крайне неискренним, даже лживым, но это совсем не так. Он не лгал, а просто имел два лица и попеременно их показывал, смотря по обстоятельствам. В обществе он считался человеком крайне свободных мнений, а дома у себя превращался, без всякого

усилия со своей стороны, в самого обыкновенного мещанина, живущего исключительно ради куска; в дамском обществе он производил впечатление приличного и скромного молодого человека, а когда оставался в мужском обществе, то поражал всех поганым воображением и скверными словами. С детьми он вел себя наставительно и твердо, а между взрослыми бывал легкомысленно веселым. Защитник женских прав повсюду, на Александру Яковлевну он смотрел глазами господина, имеющего полное право не принимать в расчет ее убеждений. И все это он делал без малейшего усилия, ибо имел два лица.

Через некоторое время, оборвав на полуслове какую-то скверную фразу, он вдруг со свистом захрапел.

Буреев, из нежелания противоречить товарищу, также захотел было уснуть, но не мог. В комнате было дымно от выкуренного табаку; храп товарища резал по нервам, как звук пилы; вся комната показалась ему какою-то скучной и мрачной. Тогда он на цыпочках, чтобы не разбудить Хордина, выбрался за дверь и пошел отыскивать дам.

В зале он нашел только Александру Яковлевну. Она сидела за пустым столом и, облокотившись на него, смотрела в одну точку. Буреев остановился в дверях и долго смотрел на нее. Ее лицо показалось ему в одно и то же время прекрасным и несчастным; а может быть, оно и показалось ему прекрасным потому, что на нем лежала печать страдания. И доброе сердце его заныло. Он порывисто шагнул вперед и сказал с волнением:

— Эх, Александра Яковлевна!.. Тоскливо вам здесь?

— Что же делать, Нифонт Алексеич? — выговорила она с усилием, вздрогнув от неожиданного обращения.

— Знаю, что ничего не поделаешь, да все-таки не с нами бы вам жить... Уж больно мы здесь задичали...

— Ну, уж это неправда! — сказала Александра Яковлевна.— Если есть сознание, то близко и исправление.

— Что вы, бог с вами! Сознания-то у каждого из нас довольно, да лень и эта, знаете, непреоборимая привычка влекут к грязи...

Добродушное лицо Буреева вдруг стало негодующим, а в смеющихся глазах его показался огонек. По-видимому, что-то накипело у него, и он желал поделиться с Александрой Яковлевной, которую сильно уважал. Но ему помешали высказаться.

В эту минуту в комнату вошли сначала Маша, вся красная от волнения, а за ней Мизинцев.

— А вот он и сам, наш моралист! Он вот знает, как надо очистить грешную нашу жизнь! — закричал Буреев при виде вошедшего.

Мизинцев, однако, не ответил на замечание и сначала молча со всеми поздоровался, потом ушел обратно в прихожую, очистил

от дорожной пыли свое платье и пригладил сбившиеся на одну сторону свои густые волосы; без этого он не мог бы сказать слова. Вся фигура его, начиная с платья и кончая лицом, здоровым и чистым, производила впечатление какой-то свежести.

Стряхнув последнюю пыль, приставшую к сапогам, он тогда только подсел к столу и принял участие в разговоре. Но на обращенные к нему вопросы он не отвечал беспорядочно и торопливо, как это делают люди, не видавшиеся целую неделю, а обдуманно и по порядку. Сначала рассказал, почему он не приехал к обеду, потом перешел к передаче новостей городских и, наконец, стал по порядку расспрашивать о том, как кто жил за эту истекшую неделю. Однако на этот раз он изменил своей натуре; в то время как Буреев отвечал на какой-то его вопрос, он неожиданно перебил его:

— А я, Александра Яковлевна, хотел к вам привезти одного нового знакомого, — сказал он с оживившимся лицом.

— Что же не привезли? — возразила машинально Александра Яковлевна.

— Да усумнился, будет ли это удобно.

— Разве ваш знакомый из тех людей, принимать которых может быть неудобно? — спросила с улыбкой Александра Яковлевна.

— Совсем напротив! Когда вы увидите его один раз, то пожелаете увидеть и в другой... Но все же я счел нужным предварительно спросить вашего согласия... А где ваш муж?

— Спит... Но кто же это такой? — живо осведомилась Александра Яковлевна.

Мизинцев назвал Чехлова и в нескольких словах рассказал, как с ним познакомился.

— Должно быть, ваш единомышленник? — возразила Александра Яковлевна в ответ на описание и засмеялась.

— Это вы сами рассудите... Я только смело могу уверить вас, что вы встретите человека, какого раньше нигде не видали, услышите слова, которых никогда не слыхали, и убеждения, сущность которых поразит вас до глубины души, — сказал с восторгом Мизинцев.

— Любопытно! И мне можно присутствовать при появлении сего сказочного мужа? — вдруг спросил полуиронически-полусерьезно Буреев.

— Чем больше народу, тем охотнее он говорит...— отвечал Мизинцев.

В эту минуту вошел проснувшийся Хордин, а прислуга внесла самовар. В компании беспорядочно засуетились.

Александра Яковлевна должна была встать и приготовить все к чаю. Этим приготовлением воспользовалась Маша и увела Мизинцева в сад. А когда они оба воротились из сада, надо было

торопиться напиться чаю, так как до обратного поезда оставался всего час, усадьба же от станции отстояла версты на две. Благодаря этому о Чехлове никто больше не вспоминал.

Между тем Александра Яковлевна была очень заинтересована словами Мизинцева и всю следующую неделю провела в каком-то ожидании. «Вот в воскресенье приедет Чехлов», — думала она. Имя это резко врезалось в ее память.

III

В этот день Александра Яковлевна с утра должна была пережить неприятную сцену. Причиной был сам Хордин.

С раннего утра во дворе, на службах, в саду и в самом доме слышалось его ворчанье, брань, резкие окрики. Это он объяснялся с многочисленною барскою прислугой. Завтра, по его решению, следовало начинать полевые работы, а приготовиться никто не успел. Всюду он нашел беспорядки и явные следы лени, недобросовестности и глупости наемного люда. Он торопливо, с озлобленным лицом обходил всю усадьбу и ворчал, ворчал без конца. А некоторых бранил по-извозчичьи, не стесняясь присутствием баб. Да и самых баб он распылил. Встретившуюся ему кухарку с помоями, которые она намеревалась выплеснуть среди двора, он послал туда, куда невозможно добраться. А когда удивленная баба, разиня рот, поставила свою лохань на землю, чтобы подумать, куда, собственно, нести ее теперь, он в бешенстве опрокинул ее ногой, розлил все содержимое и закричал не своим голосом:

— Я тебе, дура, сколько раз говорил не лить здесь свою дрянь?

— Чай, это чистая вода, а не дрянь! — возразила кухарка, озлившись от неожиданной головомойки.

— Если чистая, так ты бы и выхлебала ее, а не плескала сюда!

— Чего мне из лохани-то хлебать!.. Чай, я не свинья!

— Убирайся к черту! — закричал вне себя от гнева Хордин.

И, плюнув по тому направлению, где валялась опрокинутая им лохань, он быстро удалился и набросился на мужичонка в кумачной рубахе, который тщетно искал потерянный им ключ от железного хода.

— Ну что, нашел? — закричал Хордин.

Работник в смущении шарил руками в сору, но шарил только для видимости, потому что ключа тут ни в каком случае не могло быть.

— Стало быть, нету его! — проговорил он с искривленною усмешкой.

— Нет, так надо отыскать!

— Да може его и вовсе не было на свете-то?

— Что-о! Не было?! — крикнул Хордин. — В таком случае сейчас получай расчет, сейчас!.. Сию минуту иди, получай и убирайся. Сейчас же с глаз долой!.. Ах ты, наглый дурак! Я на той неделе своими глазами видел, а он говорит: «его на свете не было»! Сию минуту вон!

Выпалив все это, Хордин быстро пошел по направлению к дому, но по дороге еще несколько раз приказал, чтобы работник шел за ним. Работник, заинтересованный внезапным окриком, тупо улыбаясь, покорно шел следом за барином. Не прошло и нескольких минут, как расчет был сделан, работник получил деньги и пошел собираться, провожаемый не то сочувственными, не то насмешливыми взглядами других батраков. Хордин также вышел из дому за ним и наблюдал, как он под сараем перевязывает кушаком свои вещишки. Он сразу успокоился. Выместив злобу на мужичонке, он перестал кричать. Но зато по отношению к этой жертве своего гнева он до конца оставался неумолимым; он с удовлетворенною злобой наблюдал, как тот перевязывает вещишки, как переобувается. Когда работник, видимо, собрался и только еще не решался сделать первый шаг к воротам, все еще оглушенный этим неожиданным расчетом, Хордин с хладнокровною злобой выговорил:

— Ну что, готов?.. С богом!

Работник поплелся с искаженною улыбкой на лице вон со двора, но за воротами он сразу как бы встряхнулся, передернул плечами, засверкал своими бесцветными глазами и зарычал:

— Мы уйдем!.. Нам тут делать нечего в эфтом безобразном доме!

— Проваливай, проваливай! — насмешливо возразил ему Хордин.

Работник медленно шел от ворот, озираясь, как собака, за которой идут с палкой. Но недалеко от забора он вдруг остановился и в свою очередь принялся отругиваться. Хордин ему односложно возражал. Позиции их были такие: мужичонко стоял по ту сторону плетня, а Хордин по эту, но чтобы видеть друг друга, им надо было значительно вытягивать шеи. И они вытягивали шеи и переругивались. Сначала, впрочем, с обеих сторон была подробнейшим образом разобрана пропажа ключа и другие инциденты, а затем уж они ругались — работник с яростью, Хордин насмешливо.

— Да! Хорошие господа через ключ не обижают работников! — кричал мужик.

— А хорошие работники не теряют хозяйских вещей! — возражал Хордин.

— Да! Хорошие господа из такого пустого дела и разговаривать-то не станут, а не то что... Ключ! Что такое ключ? Тьфу! Срам один!

Работник при этом ожесточенно плюнул.

— Ты и не потерял его, а пропил, в этом я уверен! — сказал Хордин насмешливо.

— Ключ-то? Пропил? Да тьфу! Чего он стоит? Шкалика не дадут!.. Хороший господин, а не жулик, внимания бы что есть не взял, а не то чтобы...

— Ну, брат, проваливай, не проедайся! — сказал Хордин, и вдруг опять лицо его нахмурилось.

— Мы не проедаемся! Нам даром чужого добра не надо! А вот прочие, которые на барском жалованье, тем, например, чужое добро очень желательно! — ядовито возразил работник.

— Я тебе сказал, убирайся! Вон отсюда, пока я не догнал тебя да не поколотил! — закричал Хордин.

У работника при этих словах барина лицо сделалось вдруг насмешливым; он так ругнулся, что взбешенный Хордин полез было через плетень, чтобы привести в исполнение свою угрозу, но мужичонко со всех ног бросился улепетывать, только болтались вещишки его, перекинутые за спину.



Александра Яковлевна видела из окна всю эту сцену, со включением финала, и лицо ее залито было краской. Жгучий стыд подступил к ее сердцу, как весть о несчастии. Она не знала, куда деть глаза.

Ей стыдно было и за себя и за мужа. Как ни дурно она думала о нем в последнее время, но она знала, что он, в сущности, не злой человек; тем более не могло быть речи о злобе к жалкому батраку. Он просто попал в некрасивое положение и потерял такт. Отсюда его возмутительные поступки.

Хордин, по-видимому, в самом деле не понимал той неверной почвы, на которой стоял. За последнее время он непременно желал показать себя практичным. Когда он только брал место управляющего, товарищи предсказывали ему не-

удачу, говорили, что его на каждом шагу будут надувать, рисовали ему картину гуманного дурака, которого все водят за нос. И вот он теперь всеми силами старается отвязаться от «гуманности» и выказать себя практичным; но, как всякий новичок в незнакомом деле, он пересолил, подозревая в каждом человека, который хочет его надуть. «Практичность» так овладела им, что его теперь можно было как угодно назвать, обвинить в измене, — он не сильно бы обиделся; но видеть себя одураченным — это стало теперь для него кровным оскорблением. И чтобы прослыть за практичного человека, он путался в мелкие делишки с работниками, учитывал, сколько горстей отрубей выходит на каждую свинью, куда девалась пара гвоздей, и, конечно, злился. Но злым он не был; он только стал в такое положение, где злость необходимое средство удачи, — разные бывают положения!

Александре Яковлевне вдруг сделалось так тяжело и так захотелось помочь ему в уразумении положения, что она с пылающим лицом бросилась ему навстречу.

— Василий! да неужели ты не понимаешь, что, ругаясь с рабочими, ты себя ругаешь? — вскричала она взволнованно.

— Что прикажешь делать? Прощать — небрежность и подлость; это только поощрять их. Не могу же я позволить дурачить себя! — возразил он хмуро.

— Да разве нельзя без этих взаимных оскорблений? А если нельзя, то зачем ты стал в такое положение?

— Отчего же нельзя? — стоит только разинуть рот. Да, наконец, я не желаю больше говорить об этом и прошу не вмешиваться не в свое дело.

Хордин сказал это грубо. Александра Яковлевна бросила на него холодный взгляд и замолчала. С пылающим от негодования лицом она бросилась в дверь, хлопнула ею изо всей силы и почти бегом пустилась из дома. Муж грубо попал в больное ее место, и она вдвойне страдала — за него и за себя. Она всегда болезненно чувствовала, что не могла установить правильных и чистых отношений к окружающим людям, в особенности к прислуге.

В сердце ее была бездна нежности, мысли ее были гуманны. В жизни вокруг себя она даже не замечала безусловно дурных людей. В теории она знала, что где-то там существуют такие, целая тьма их; но на практике, при живых сношениях, она ни одного из них не видала. Мысленно она боролась против всего несправедливого и гибельного, в книгах или газетах она часто натыкалась на что-нибудь ненавистное, но все это происходило где-то там, вне ее круга жизни; в своем же круге жизни, своими собственными глазами, она не могла увидать ни одного негодного человека. Где бы и с кем бы ни встречалась она, никто не казался ей безусловно дурным, — с недостатками — да, но

совсем без кривды — нет, не бывает людей! И всякому она тепло улыбалась, старалась услужить, чем могла. Но зато к ней самой не все относились с такою же человечностью, в особенности прислуга. Так что не она обыкновенно обижала прислугу, а прислуга обижала ее на каждом шагу подозрительностью, грубостью и фальшью. Это и было больным ее местом; она много терпела неудач в личных отношениях.

Прогулка на чистом воздухе в лесу не успокоила ее. Нравственно подавленная беспорядочными мыслями, она нервно переходила от одного места к другому и никак не могла прийти в себя. В этом состоянии застала ее горничная девушка, посланная звать ее домой.

— Барыня, вас ждут; гости приехали.

Тогда она вспомнила все и пустилась бегом домой. Гости застали ее, таким образом, врасплох, с рассыпавшимися мыслями, крайне смущенною. Когда она вошла в комнату, там уже все собрались: муж, Буреев с сестрой, Мизинцев с незнакомым гостем. Она подала приехавшему руку, но ни на одном лице не могла сосредоточиться, вся занятая внутренним смятением.

А тут как раз подошла минута обеда, и она еще более растерялась от хлопот вокруг стола. К довершению несчастия, обед был из рук вон плох: одно засохло, другое подгорело, третье осталось сырым. В этот несчастный день (впоследствии Александра Яковлевна считала его самым счастливым), когда все перебранились и обозлились, ни одно дело никому не удалось, даже стряпня кухарки.

Александра Яковлевна сидела за столом и не знала, что делать и говорить. На нового гостя, Чехлова, сидевшего на конце стола, она не смела поднять глаз, и его образ смутно рисовался ей, как это бывает с тем наблюдателем, который никак не может развязаться со своими мыслями, беспорядочно загораживающими поле зрения. Она только заметила его низкий рост, крупное лицо с маленькими черными глазами, густую шапку черных волос на голове и крупные пальцы на руках, которыми он брал от нее кушанья.

Не одна Александра Яковлевна находилась в таком настроении, — ни у кого разговор не клеился. Все с необыкновенным рвением принялись за обед, как будто в нем, в этом обеде, и заключалось все дело. Только один Чехлов спокойно сидел и едва прикасался к пище. Глаза его попеременно с острою пытливостью переходили с одного присутствующего на другого, но на лице его лежал холодный покой. По-видимому, он и не думал говорить, не удивляясь в то же время и молчанию окружающих.

Между тем кое-какие беглые и случайные фразы, которыми обменялись Хордин, Буреев и Мизинцев, еще более подчерк-

нули безмолвие, воцарившееся, казалось, навсегда в этой комнате. Тогда Александра Яковлевна не выдержала такого холода. В смущении передав с чем-то тарелку Чехлову, она резко нарушила молчание:

— Вы извините, пожалуйста... обед наш никуда не годится, — сказала она.

— Я не замечаю, — возразил Чехлов необыкновенно спокойно. — Впрочем, я могу чувствовать только голод, а чем надо удовлетворить его — это безразлично для меня.

— Так что вы не можете отличить хлеба от мякины? — заметил Буреев, обрадованный случаю сострить.

— Я всегда говорю в пределах разговора и намеков не понимаю, — возразил новый гость. При этом все как-то сконфузились. Сказал он это внушительно и покойно, как взрослый человек говорит ребенку, который сшалил. Буреев действительно почувствовал себя в положении мальчишки, которому сделали строгий выговор. Наступила тишина.

Одна Александра Яковлевна, не заметившая общей озабоченности, продолжала бороться против молчания.

— Вы, конечно, шутите... Но, вопреки вашему уверению, есть сегодня в самом деле нечего. Это уже по милости прислуги... С самого утра сегодня мы все ссорились, и вот результат ссоры с кухаркой — у нас обеда нет!

В ответ на это Чехлов в первый раз улыбнулся, но так снисходительно, что Александра Яковлевна смутилась неизвестно отчего. Она поторопилась объясниться.

— Вы не подумайте, что моя прислуга в самом деле дурная и я с ней ссорюсь. Кухарка в особенности хорошая женщина, но, видно, дурное расположение ее духа было очень сильно, если она испортила обед.

— Разве у кухарки бывает дурное расположение духа? А если и бывает, то разве можно с ним считаться? — возразил вдруг Чехлов холодно, без малейшей улыбки.

— Еще бы!.. Мы, положим, поссорились, встревожились. Но мое расположение духа ни на чем не могло отразиться, так как я ничего не делаю, а она испортила мясо. Но едва ли я имею право жаловаться. Она была только в дурном расположении духа, и оно причинено мной. Невольно приходится считаться с настроением кухарки, иначе впереди грозит голод. Из этого вытекает мораль: не надо ссориться с кухарками и раздражать их.

Александра Яковлевна говорила это полушутливо, полусерьезно. Но Чехлов слушал внимательно, и когда Александра Яковлевна кончила, на лице его мелькнуло непонятное злорадство.

— Из ваших слов я вижу, что вы всегда довольны отношениями к прислуге? — спросил он.

— Напротив. Эти отношения причиняют мне много горя, обид! — вскричала Александра Яковлевна, вспоминая нынешнее утро.

— Почему же? Разве прислуга обманывает?

— Бывает и это. Но самое обидное и мучительное — это недоверие с ее стороны, фальшь и неопределенность обоюдных отношений... Часто просто не знаешь, как себя вести!

— С прислугой надо вести себя твердо. Обман уличать, воровство наказывать, за грубость выгонять.

Говоря это спокойно и медленно, Чехлов не сводя глаз смотрел на Александру Яковлевну.

Та не знала, что это такое, и с недоумением посмотрела на собеседника, стараясь понять значение его слов. В первый раз она прямо посмотрела на него и заметила его жесткие черты и холодный взгляд.

— Но ведь так можно дойти до жестокости, — заметила она с недоумением.

— Разве по отношению к прислуге может быть жестокость? — спросил он.

— Как же не может быть? Преследуя свои интересы, можно нечувствительно дойти до дикой несправедливости! — сказала с волнением Александра Яковлевна, задетая за живое.

— «Жестокость, несправедливость»! — сколько непонятных слов! — выговорил Чехлов и улыбнулся, но это была злая улыбка.

Александра Яковлевна с еще бо́льшим недоумением посмотрела на него.

— Что же тут непонятного? Мы на каждом шагу видим и сами допускаем жестокость и несправедливость. А отсюда тяжелые отношения для обеих сторон, но в особенности тяжелые прислуге.

— Прислуге?

— Ну да, прислуге.

— Жестокость и несправедливость к прислуге? — переспросил Чехлов. — Воля ваша, извините, но я ничего не понимаю, — добавил он, и тон его вдруг сделался резким и самоуверенным.

Александра Яковлевна покраснела. К недоумению в ней присоединилось еще негодование.

— Да разве прислуга не человек? — воскликнула она, оскорбленная.

— Разумеется, человек! — ответил Чехлов опять спокойно.

— Значит, к этому человеку можно относиться мягко или жестоко, справедливо или несправедливо?

— Опять ничего не понимаю! То вы говорите о человеке, то о прислуге. Извините меня, но я не понимаю такого легко-

мысленного смешения прислуги с человеком! Это значит намеренно играть словами!

Чехлов, говоря это, резко и оскорбительно жал плечами.

Александра Яковлевна обвела глазами всех присутствующих, но недоумение и чувство оскорбленности были на всех лицах. Только один Мизинцев сиял; на лице его рисовалось величайшее удовольствие, а его взор, попеременно переходящий с одного обедающего на другого, как будто говорил: «А вот погодите, он вам и не такой еще урок даст!»

— Вы, по-видимому, задались намерением не понимать самых простых слов, — сказала сдержанно Александра Яковлевна. — Но в таком случае не можете ли вы сами потрудиться объяснить ваш взгляд?

— Мне бы хотелось ваш взгляд уяснить рàди вашей пользы, но вы почему-то стараетесь уклониться от моих добрых намерений. Однако я попытаюсь, если вы позволите, объяснить вам ваши слова. Вы позволите предложить вам несколько вопросов? — спросил Чехлов.

— Сделайте одолжение, — резко сказала Александра Яковлевна. Лицо ее покраснело от негодования. Да и все присутствующие, кроме Мизинцева, сидели нахмуренные, почти озлобленные против незнакомца. Все забыли, что он гость, и не скрывали своего негодования — до такой степени слова его были вызывающими, оскорбительными.

— Вы думаете, что с прислугой можно обращаться жестоко и несправедливо? — начал Чехлов свои вопросы с загадочною улыбкой.

— Думаю, — ответила Александра Яковлевна.

— Но, по вашему мнению, дóлжно обращаться мягко и справедливо?

— Дóлжно. А разве по вашему иначе?

— Обо мне нет речи. Вы великодушно позволили исследовать ваш взгляд, — это я и делаю и прошу вас продолжить это позволение, — возразил скромно Чехлов, хотя с прежним злорадством во взоре.

— Сделайте одолжение! — повторила Александра Яковлевна.

— Итак, по-вашему, с прислугой дóлжно обращаться мягко и справедливо. Но, может быть, вы ставите какие-нибудь границы справедливости, обращенной на прислугу? Может быть, есть справедливость специально кухарская, кучерская, лакейская? Или же к прислуге вы считаете возможным применить ту справедливость, которую вы оказываете купцу, чиновнику, барину?

— Справедливость одна!

— То есть вы считаете возможным относиться к прислуге с такою же справедливостью, как ко всякому другому человеку?

— Непременно.

— И относитесь так?

— Да, отношусь, насколько это позволяют мои недостатки. Отношусь вообще так же, как ко всякому другому, — сказала Александра Яковлевна.

— Вы так уверенно утверждаете ваше равенство с прислугой, как будто это чистая правда. Но я все-таки, из боязни сделать неверное заключение о вашей правдивости, еще раз спрашиваю вас: неужели вы действительно относитесь к прислуге как ко всякому другому человеку?

Александра Яковлевна побледнела при этих ядовитых словах. Остальные присутствующие, кроме Мизинцева, сделали нетерпеливые, негодующие жесты. А Буреев так прямо сказал:

— Господин Чехлов! Дерзость — не доказательство!

Чехлов на мгновение скромно потупился, но вслед за тем спокойно, ласковым голосом возразил:

— Я никогда не говорю дерзости людям, которых люблю. Я и вас, господин Буреев, люблю и во имя этой любви прошу позволить мне продолжать мое исследование предмета, ошибочно показавшееся вам оскорбительным, — Чехлов при этом вопросительно посмотрел поочередно на всех.

Все с недоумением переглянулись: «Что это, мол, за юродивый?»

— Продолжайте, — за всех ответила Александра Яковлевна, ответила мягко и с доброю улыбкой, подавляя усилием воли чувство негодования против гостя.

— Итак, вы считаете, — начал Чехлов, — прислугу равной себе и утверждаете, что к ней вы можете относиться и относитесь как к себе или к своему ближнему. Я выразил сомнение на этот счет, а господин Буреев обиделся на это, как будто он и в самом деле относится к прислуге как к человеку (Чехлов при этом бросил насмешливый взгляд в сторону Буреева). Во избежание дальнейшего взгляда господина Буреева и вашего, — Чехлов обратился к Александре Яковлевне и дальше уже исключительно к ней одной обращался, — я согласился поверить вам на слово и представить вам изумительную по своей правдивости картину равных отношений господ к прислуге. Я вижу, как сейчас, вы только что наняли кухарку. Она вам понравилась, и вы ей. Заключив условия, вы пожали друг другу руки и стали жить в одном доме, исполняя каждый свои обязанности. В первую ночь кухарка переночевала в указанной ей комнате, то есть в кухне, но на следующее утро она заявила вам, что в кухне ей неудобно спать, что там и сыро, и холодно, и беспокойно, и просила вас отвести ей другую комнату. За неимением таковой согласилась спать пока хоть на диване, в зале. Вы извинились за свою оплошность и поспешили поместить ее в зале, а когда

она сообщила вам по секрету, что у ней нет ни простыни, ни подушек, ни байкового одеяла, вы тотчас же снабдили ее всем этим. Потом, пообедав несколько раз одна, она на третий день изъявила желание обедать с вами вместе, так как обедать одной и скучно, да и невыгодно, — за эти дни по недосмотру ей на обед остались одни только щи с кислою капустой и каша с бараньим салом, между тем ей очень хотелось покушать цыпленка, которого она сама жарила, и пирога со стерлядью. Кроме того, она признавалась вам, что любит торт из фруктов, и весьма была недовольна, когда ей не осталось ни кусочка его. Вы, конечно, опять извинились за этот странный недосмотр с вашей стороны, и с следующего дня кухарка стала обедать за одним с вами столом, подобно тому как вот я, незнакомый вам человек, обедаю с вами. Далее она обратила ваше просвещенное внимание на недостаток у ней книг, за которыми ей так же, как вам, хотелось провести свободное от работы время; по неимению средств она могла читать только купленную за две копейки сказку о том, как мужик черта обманул, возмутительно глупую, между тем как вы после обеда читали занимательный роман, и вы на следующий день поправили свою небрежность и передали ей все романы, которыми сами наслаждались. Затем кухарка, вследствие дурного расположения духа, иногда портила обед, и когда вы однажды гуманно выразили свое недовольство этими странными случаями, она резонно вам ответила, что у ней нет развлечений и что котлеты она обратила в твердый уголь потому, что у ней тяжело было на душе. И чтобы не оставаться без развлечений, успокаивающих нервы, она предложила вам брать ее с собой в город на драматические и оперные спектакли, как вы брали туда Буреeву. Разумеется, вы не могли отказать ей в такой пустой просьбе, и на следующей неделе вы слушали с ней «Руслана и Людмилу». Что касается нравственных отношений, то в этом смысле вы обращались с кухаркой с таким же почтением, какое вы оказываете, например, Михаилу Егоровичу Мизинцеву, когда он проводит с вами дни. Одним словом, что бы кухарка ни попросила, — конечно, в пределах возможности и сообразуясь с вашим образом жизни, — вы не отказывали ей. Заметьте, вы и не имели права отказывать ей в том, чем сами и ваши близкие пользовались. Вы не могли назвать ее наглою бабой и не имели права прогнать ее только за то, что она желала быть равной с вами, пользоваться почтением, слушать «Руслана и Людмилу», кушать мороженое. Если бы вы вздумали кому-нибудь жаловаться на ее невыносимое поведение, всякий имел бы право с негодованием отнестись к вашей неосновательной жалобе. Вы сами отрезали себе всякое отступление, когда заключали с кухаркой условие равных отношений, и вашу жалобу всякий последовательный человек назвал бы жестокой

и вероломной. Я не назову вас таковою, но мне всегда больно слушать ложь!

При этих словах Чехлов возвысил голос и уже не понижал его до конца; и каждое слово его раздавалось с такою силой, словно он бил молотом по куску железа.

— Мне больно вообще находить ложь в таких вещах, которые сверху прикрыты дымкой истины и справедливости. Вы упорно настаивали, что вы можете, должны и на самом деле относитесь к прислуге как к человеку, между тем после беглого анализа ваших отношений оказалось, что вы заблуждаетесь. Оказалось, что прислуга для вас только прислуга, а не человек, и что вы относитесь к ней не как к себе, а как к иному, низшему существу. И не можете иначе относиться! Сколько угодно вы можете говорить, что она для вас человек, я не поверю этому! Не человек вам нужен в ней, а рабочая машина. Когда вам нужно человека, вы пойдете искать его всюду, но только не в кухню, не на двор, не на конюшню. В кухне вы находите прислугу, а не человека. Ваше уверение, что в прислуге вы видите равного себе человека, двойная ложь. Во-первых, это логический фокус, то есть просто обман вроде того, когда магистр магии на глазах у всех глотает шпагу. Нанимая себе прислугу, вы этим самым устанавливаете факт рабства; вы нанимаете человека, но ставите его в положение раба, который должен исполнять вместо вас работу. Вы нанимаете раба не для того дела, которое вы считаете высоким, но которого не в силах исполнить, а на дело неприятное, грязное, оскорбляющее ваши просвещенные чувства и мешающее вашим тонким потребностям!.. Во-вторых, прикрывая совершенную вами покупку раба лживыми словами, как гуманность и справедливость, вы даже себя обманываете, отрезывая у себя возможность видеть голую истину. Истина же такова: или вы пользуйтесь трудом прислуги (но не человека), то тогда не обманывайте себя и других насчет ваших справедливых отношений, которые могут быть только по отношению к человеку, а не к прислуге, или откажитесь от обладания людьми, которых вы не должны ставить в нечеловеческое положение, но тогда вам самим придется исполнять весь труд, необходимый для вашей жизни. Но не забрасывайте истину красивыми и ложными обольщениями, ибо придет день, когда разум раскроет ваш обман, сорвет покрывало со лжи и заставит сердце ваше затрепетать от ужаса.

Последние слова Чехлов окончил таким потрясающим голосом, словно говорил из трубы. Но лишь только он это протрубил, как тотчас же принялся оканчивать обед, причем лицо его моментально сделалось спокойным и холодным.

Но все прочие, сидевшие за столом, давно забыли об обеде, ошеломленные словами гостя. Александра Яковлевна была

бледна и взволнована, но не от негодования, как недавно. Напротив, лицо ее имело виноватый вид, словно ее уличили в преступлении. Хордин ожесточенно комкал малые и большие шары из хлеба, и руки его дрожали, глаза же беспокойно бегали с предмета на предмет. Буреев давно перестал есть и только нещадно курил, не отодвигая стула; над столом, исходя от него, плавали густые тучи дыма, а окурки его появились повсюду, где можно было только воткнуть их; он сначала тушил их в своей тарелке, но потом стал втыкать их в куски хлеба, в салатник, в блюдо из-под соуса, в ложки, наконец просто швырял некоторые за окно. Всегдашний насмешник, он теперь мрачно хмурил брови.

Это был своего рода разгром.

Минуты через две все беспорядочно бросили свои места за столом и заходили по комнате, причем со стороны Хордина и Буреева послышались бессвязные возражения. Но Чехлов со снисходительною улыбкой уничтожал эти возражения, словно добивал последние деморализованные остатки разбитого им неприятеля. Трудно было опомниться разбитым; он ведь говорил с их точки зрения; распространив понятие равенства широко, он их же орудием колотил их. Когда он в немногих словах доказал, что в жизни они и не думали считать мужика равным себе, то поражение было полное. Все чувствовали себя глупо, и всем было совестно, все считали себя умными, передовыми людьми, и вдруг незнакомый человек указал им место в прихожей.

Никому даже в голову не пришло спросить этого человека, как же он сам-то думает и живет? Все были заняты приведением в порядок собственных мыслей.

Чехлов между тем тотчас после обеда стал собираться обратно в город. Он спросил, сколько времени, и, ни к кому не обращаясь, сказал, что ему пора отправляться на поезд, и тотчас же стал прощаться. При прощанье, поочередно всем пожимая руку, он каждому сказал какую-нибудь любезность, холодно и спокойно, но все-таки любезность. Этим все были окончательно обезоружены, как обыкновенные пленники, примирившиеся с врагом. К Александре Яковлевне Чехлов подошел после всех и уже протянул руку ей, но она вдруг ответила, что пойдет проводить его.

— Тогда мы лучше дойдем пешком! — сказал Чехлов, и неподдельная радость озарила его лицо.

Через минуту они уже шли по дороге к станции, а отряженная Хординым лошадь шла позади их, чтобы довезти Александру Яковлевну обратно до усадьбы.

Идя рядом с гостем, Александра Яковлевна сначала не могла успокоить поток мыслей, вызванный бывшею сейчас беседой.

Но мало-помалу свежий воздух, обвевавший ее пылающее лицо, освежил и ее голову. Тогда она с внезапно проснувшимся любопытством поглядела на Чехлова. К ее изумлению, тот Чехлов, который сидел за столом, не совсем походил на того, который теперь шел рядом с ней. Жестокое выражение его лица смягчилось улыбкой, взгляд его острых глаз потерял свое злорадство, жест был прост, голос тихий, а не трубный, каким был там. Он заботливо отвечал на все ее вопросы, не выказывая пренебрежения, как там, за обедом. Радость, мелькнувшая по его лицу в тот момент, когда она изъявила желание проводить его, светилась и теперь. Но эта радость еще ярче засветилась на его лице, когда Александра Яковлевна стала просить его заезжать к ним; не одна радость, но еще какая-то благодарность выразилась во взоре при этом приглашении. Они условились, что он приедет в следующее воскресенье с Мизинцевым, и на этом расстались. Он крепко пожал ее руку, перед тем, как садиться в подошедший поезд, а когда поезд двинулся, долго смотрел на нее из окна.

Возвратившись домой, Александра Яковлевна вошла в залу. Но там были только муж и Буреев; Маша и Мизинцев, оставшийся до ночного поезда, пошли гулять. Она на минуту присела в дальний угол и прислушалась, о чем говорят двое товарищей.

Хордин ходил из угла в угол, а Буреев сидел около окна, под цветами; вокруг него по-прежнему носились тучи дыму, а окурки он ожесточенно топтал ногами, предварительно, впрочем, насовав десятка два их в цветочные горшки. Он был так взбудоражен, таким казался суровым и диким, каким Александра Яковлевна его не знавала. При входе в комнату она, между прочим, застала такой диалог:

— Чувствуешь, Васильич? — спрашивал Буреев у Хордина.

— Что ж, не лишено остроумия! — возразил последний, шагая по зале.

— Да, быть может, ничего не чувствуешь, а только спать хочешь?

— Спать я пойду...

— Ну, а я, брат, чувствую себя так глупо, словно я обратился в стадо свиней!

— Да. Надо ему отдать справедливость, оригинальный субъект! — сказал на это снисходительно Хордин.

— И ведь правда! Но в то же время я чувствую, что он напустил на меня какого-то туману!.. Чад какой-то!

— В таком случае пойдем лучше спать, — предложил Хордин и зевнул.

Но на этот раз Буреев так был занят какими-то мыслями и так взволнован, что не последовал за Хординым, а стал беспорядочно торопиться домой.

Через минуту все разошлись.

IV

Всегда аккуратный, как хронометр, Михаил Егорович Мизинцев, приехавши в усадьбу к Хординым в воскресенье, оставался затем целый день и часть ночи и с ночным поездом возвращался в город. Но на этот раз он неожиданно приехал с субботним вечерним поездом.

— А Чехлов разве не приедет? — первым делом спросила Александра Яковлевна.

— Завтра непременно приедет, — ответил Мизинцев.

И тотчас же разговор пошел о Чехлове, сделавшемся героем дня. Александра Яковлевна с нескрываемым любопытством расспрашивала, кто он, откуда, какова его прежняя жизнь и ради чего он сюда приехал. Мизинцев очень мало мог рассказать из прошлой жизни Чехлова, но очень много распространился про его взгляды, про его проницательный ум, про его влияние.

Разговор этот повлек за собой непостижимый курьез: каждый приписывал Чехлову вещи, которые тот, по мнению другого, не говорил.

— Раньше он был таким же, как и все, — сказал Мизинцев в ответ на любопытство Александры Яковлевны, — пил водку, кутил, безобразничал, но вдруг разом изменился!..

— И это, по-вашему, все, чем он отличается от других? — воскликнула Александра Яковлевна.

— Ну, зачем же?.. Глубину его взглядов вы увидите... Хотя, признаться, я многого не понимаю в его словах... Но главная его цель — личность. Личность он ставит на недосягаемую высоту, от каждого требуя, чтобы он произвел переворот в своей жизни... Он говорит...

— Да это вы говорите!.. Опять все старое: водка, табак, безобразия... Как это вам не надоест долбить одно и то же?.. И можно ли представить себе, что это Чехлов говорит? — воскликнула Александра Яковлевна.

— Никогда не надоест! Как же это может надоесть, когда главное?.. Поймите, ради бога!.. Сообразите... там вы можете иметь какие угодно вышние или завиральные идеи, но вы обязаны быть лично безупречно чистой... Как вы не поймете меня?..

Они сидели в саду. Настали глубокие сумерки; приближалась тихая, черная ночь. Звезды только кое-где, как будто из любопытства, выглядывали, но тотчас же скрывались за облака. Но воздух был нежный и теплый; под его тихою, безмолвною негой убаюканная природа уснула глубоким сном. Только два существа (Маша молча сидела в темноте), сидя под распускающимися деревьями, шумели, с яростью фанатиков понося друг друга гневными словами.

Мизинцев обыкновенно говорил тихо, мерно и рассудительно. Когда он говорил, то производил на слушателя такое впечатление, будто все небо нависло тучами и каплет дождь, каплет тихо, с однообразным бульканьем по лужам, с монотонными ударами капель, падающих с крыши... Но тут, при споре о том, что сказал Чехлов, и он точно сделался сумасшедшим, выбежавшим из-под надзора. Самое имя Чехлова, по-видимому, способно было производить во всех возбуждение, раздор и непримиримость.

— Как вы не поймете, что так именно он и должен говорить, а не иначе? Для общественного дела нужны люди, — откуда же их взять-то? Какое право вы имеете требовать от человека, чтобы он взялся за общественное дело, если он свинья? Неужели он может принести пользу?.. Даже наши общественные люди... что ни видный человек, то либо пьяница, то распутник, то либо с женой развелся, то с чужими путается... Неужели это не отражается на общественной жизни? Прежде всего это пагубно отражается на женщине... Она ни мать, ни воспитательница, ни жена, а какая-то кукла, назначение которой носить корсет и турнюр, курить папироску, читать новую книжку и жить на счет мужа, обязанного, чтобы у нее был турнюр, таскать казенные деньги... а ведь она мать будущего поколения, — каково же это поколение-то будет?.. Мужчина еще гаже. Он, видите ли, общественными делами занимается и не обязан быть честным человеком у себя дома: после общественных непосильных трудов ему нужно отдохнуть, то есть напиться, переменить несколько жен, соблазнить несколько девушек, гоготать по театрам... Я вас спрашиваю, может ли быть, например, пьяница общественным деятелем или развратник благодетелем людей?! Может ли свинья, облепленная всяческою грязью у себя в хлеве, сделать что-нибудь хорошее по выходе на улицу?

Это кричал Мизинцев, оглашая тихую, скромно спящую ночь, и сад, и воздух дикими звуками. Положительно он как будто взбесился. Но Александра Яковлевна возмутилась не тем, что он говорил, а тем обстоятельством, что свои слова он приписывал Чехлову.

— Позвольте... но ведь это ваши, а не Чехлова слова! И я их сотни раз слышала! — сказала возмущенная этим обстоятельством Александра Яковлевна.

Действительно, это были его слова, и он сотни раз их долбил.

Обыкновенно этим начинал и этим оканчивал Мизинцев. С Александрой Яковлевной они никогда не могли ни до чего договориться. Он говорил: «Личность». Она говорила: «Общественная сфера», «А разве дурная личность может хорошо влиять на общество?» — спрашивал он. «Но разве человек, обративший все взоры на себя, может остаться человеком?» — спрашивала Александра Яковлевна. Выходил заколдованный круг.

Иногда, раздосадованная однообразною долбней собеседника, она вдруг спрашивала:

— Ну, ладно!.. Пусть будет по-вашему... Но что ж делать?

Мизинцев этим нимало не смущался. Он снова, после некоторых окольных рекогносцировок, принимался долбить сначала и все то же: водку не пить, турнюров не носить, на чужих жен не заглядывать... Он перечислял десятки таких деяний, которые трудно было подвести под нечто высшее. Опять выходил заколдованный круг.

Часть таких разговоров производила на спорщиков благодетельное действие. Александра Яковлевна апатично зевала, сам Мизинцев становился сонливым и деревянным, словно оба просидели год в остроге, в одиночном заключении.

Поэтому беседа их всегда оканчивалась колкостями, не относящимися к делу, но необходимыми для обоюдного оживления, как необходим толчок сонному.

— Вы непременно хотите, чтобы каждый, отнюдь не поднимая головы, смотрел только под ноги себе... «Но если б вверх могла поднять ты рыло, тебе бы видно было...» что там звезды! — говорила вдруг Александра Яковлевна со смехом.

Мизинцев также смеялся, но говорил:

— Ради бога, смотрите на звезды, если уж это вам нужно! Но не забывайте и под ноги заглядывать, в противном случае «рыло» постоянно будет в грязи...

В сущности, они и не могли понять друг друга. Александра Яковлевна родилась под глубоким и светлым небом и жила в светлое, горячее время, когда о себе почти некогда было думать; она на опыте знала, как в огне общественного дела очищается сама собой личность. И сама она до этого времени никогда не задавалась исключительною целью очищать свою жизнь, потому что жизнь ее без ее усилий была чиста, как и вся ее натура... Мизинцев же воспитывался на одной из тех улиц, какие существуют в азиатских городах, где каждый домохозяин, поддерживая образцовый порядок на дворе, на общественную улицу выбрасывает дохлых собак и кошек, грязь и помои, — одним словом, сознательная жизнь его началась при полной мерзости запустения, и вся его жизнь сосредоточилась на азиатском идеале — чисто обставить свой частный двор.

Но это не было только идеалом в нем. Все, что он говорил и доказывал, все, во что он верил и чему молился, все это была сама жизнь его. Воплощенный практик, он говорил о деле уже после того, как совершил его. Мысли его никогда не простирались дальше частной жизни каждого, а убеждения и верования — дальше святости и чистоты. Когда он доказывал: водку не пить, табак не курить, чужих жен не увозить, то это не только было его «убеждение», но и настоящая действительность. Широких

мыслей он не то что не знал, а инстинктивно не доверял им, в нем неизгладимо вкоренилось чувство, что кто широко размахивает языком, тот непременно бездельник, да еще и грязный. Его идеалом был только тот факт, который он завтра будет совершать; если что он говорил, то значит и делал. Водки он не пил, табак бросил курить в восемнадцать лет, женщин не знал. Это был чистый, благородный юноша, питающий отвращение к бездельной жизни.

Будучи практиком до мозга костей, но в порядочном смысле этого слова, он не искал по свету широкого дела, а брал всякое дело, об которое нельзя выпачкать руки. Хорошо образованный специалист, отличный техник, он служил в городской управе и умело вел порученное ему дело. Умело, в величайшем порядке и до конца он вел всякое взятое дело.

В те минуты, когда Александра Яковлевна не спорила с ним, она с удовольствием глядела на его лицо и в конце концов, ближе познакомившись с ним, должна была сознаться себе, что среди неряшливых людей, встречаемых ею на каждом шагу, он производил светлое, чистое впечатление.

— Раньше, кажется, таких людей я не видала, — однажды созналась она ему открыто.

— То есть каких? Узких, хотите вы сказать? — спросил с грустною улыбкой Мизинцев, привыкший слышать от нее одни только насмешки.

— Нет, нет!.. таких прямых! — поспешила объяснить Александра Яковлевна.

Мизинцев был действительно прям. Он, например, так часто стал ездить к Хординым из-за того, что там гостила Маша, и не скрывал этого. А когда он с девушкой вдвоем уходил или уезжал гулять, то Александра Яковлевна была уверена, что они пошли читать какую-нибудь тоненькую книжку и рвать цветы, ни более, ни менее. Ей, напротив, смешно было смотреть на этот небывалый роман. Мизинцев привозил Маше целые кучи книг, отличавшихся, к ее удивлению, каким-то особенным тощим видом. Александра Яковлевна спрашивала, почему они, книжки эти, такие худые, плоские на вид? Однажды она поинтересовалась этим вопросом и взяла в руки одну кучку, аккуратно перевязанную веревочкой. Открывая по очереди корешки, она читала: «О влиянии на организм алкоголя», «О сыроварении», «Физиология хлебных злаков», «О сохранении в свежем виде яиц», «Искусственное кормление детей»... Недоставало только брошюры о приготовлении кислой капусты!.. Перевязывая тощие книжки снова веревочкой, Александра Яковлевна громко рассмеялась.

Мизинцев был не только прямой, но он смело высказывал свои взгляды. О том, что он считал существенным в жизни (водку не пить, турнюров не носить, чужих жен не прельщать и т. д.),

он считал необходимым говорить всякому. Порочных же людей он открыто порицал. Увидев на барыне турнюр и разные другие глупости, которыми дамы украшали себя, как дикари, он недовольным тоном упрекал.

— И что это вам за охота позорить себя всеми этими шпильками? — брезгливым тоном говорил Мизинцев и показывал пальцем на безделушки.

Встречая юношу студента, одетого с иголочки, то есть в сапоги с севрюжьими носами, в узкие панталоны и пр., Мизинцев при всех с негодованием говорил:

— Ну, посмотрите, ради бога, на эту мартышку!.. Как вам не совестно думать, что из него выйдет общественный деятель?.. Удивляюсь!

В этот вечер он, по обыкновению, высказал с начала до конца все свои убеждения, вплоть до той поры, когда у слушателей его стали слипаться от сонливости глаза. Вечер был по-прежнему тихий, воздух ласковый, но темнота все более и более сгущалась в саду. Александра Яковлевна уже ничего не видела впереди, устремив остановившийся взор на пне погибшей в прошлом году ветлы, который теперь торчал безобразным силуэтом перед ее глазами. Нечто подобное этому пню сидело и в голове ее. Она уже не один раз зевнула, слушая слова Мизинцева, падающие в ночной темноте подобно каплям тихого дождя. В свою очередь, Мизинцев, задолбив до гипнотического сна уважаемую им женщину, в недоумении замолчал, так как весь запас своих теорий уже высказал; этого запаса у него хватало часа на два. Если же разговор его затягивался дольше, то всем слушающим вдруг приходило непреодолимое желание съесть и выпить чего-нибудь острого, например кусок селедки с луком и рюмку водки. Что касается Александры Яковлевны, то она в таком случае просто торопилась поскорее прилечь и забыться во сне.

— Пора и спать, господа! — сказала она теперь, когда гнилой пень в ее глазах разросся в безобразное черное чудовище, протянувшее свои лапы во все стороны.

— Пожалуй, пойдемте! — согласился Мизинцев и поднялся со скамьи.

На прощанье, впрочем, Александра Яковлевна заметила сонно:

— Ну... если Чехлов в самом деле точно это самое проповедует, то, право, не стоит его слушать.

— А вот увидите! — возразил на это Мизинцев в виде угрозы.

Александра Яковлевна рассмеялась, и на этом они расстались.

Но когда она собиралась уже отправиться в спальню, внезапно на двор приехал урядник Любомудров и робко просил прислугу доложить о нем барину. «Барина», то есть Хордина,

в эту минуту дома не было, он ушел на село, и объясняться пришлось Александре Яковлевне. А всякое такое появление расстраивало ее до невозможности, на нее нападал неосновательный страх и беспричинная злоба. Так случилось и на этот раз. Выйдя в переднюю, где стоял урядник и дальше которой она не пустила его, она почувствовала сильное раздражение, и, чего с ней нигде не бывало, голос и слова ее сделались грубыми. «Что вам нужно?» — со злобой спросила она. Урядник пришел по какому-то пустому делу, относящемуся к имению, и никакого дурного умысла не имел, хотя по профессиональной привычке с интересом заглянул в зал и дальше, в столовую, вытягивая шею, но Александре Яковлевне все это представилось возмутительным. «Разве у вас нет дня? Зачем вы приходите в такое время, когда уже все спать ложатся?» — крикнула она вне себя дрожащим голосом. Бедный малый, очевидно, не ожидал такой нахлобучки, сконфузился, забормотал что-то несвязное и, попятившись к двери, нырнул в темные сени, а через минуту уже раздавался топот его клячи, которую, как слышно было, он немилосердно стегал.



Но Александра Яковлевна уже расстроилась. Ей припомнились бесчисленные оскорбления в прошлом, а потом полезли в голову неприятные мысли в счет будущего. Через некоторое время пришел муж, и из его разъяснений оказалось, что Любомудров приезжал просто затем, чтобы попросить, по примеру прежних лет, «лужок» на сенокосе, которым экономия даром его снабжала... Но Александра Яковлевна уже не могла подавить расходившиеся мысли. Черные и мучительные, они всю ночь не давали ей отдыха и только под утро она забылась.

На другой день, после бессонной ночи, в продолжение которой перед ее глазами прошла вся ее поистине мученическая жизнь, она казалась раздражительной и заболевшей. Мизинцеву во время дня она наго-

ворила множество колкостей, между прочим, с не свойственною для нее грубостью обозвала его «божьей коровкой», когда он вздумал распространиться насчет одной из любимых своих тем — ношения женщинами непристойных костюмов. Маша обиделась за Михаила Егоровича и застенчиво стала его защищать. Тогда Александра Яковлевна раздражительно насмеялась над обоими, описав жизнь «божьих коровок» с большими подробностями: как они сидят под лопухом, видя в нем целый мир, как они чисто и нравственно устраивают свои щели, как их доят муравьи и как они оканчивают свою жизнь, убиваемые дождевою каплей.

За час до обеда приехал Буреев, веселое настроение которого всегда оживляло общество, но сегодня Александра Яковлевна почти не слушала его, да и сам он был хмурый. Она ожидала Чехлова, но и это ожидание кончилось только нетерпеливым раздражением. Чехлов с поездом не приехал.

Обедали без него.

Вдруг его увидал кто-то вдали идущим с палкой в руках. Все поднялись с места и смотрели в окна. Когда он близко подошел, все опять уселись по местам, а Александра Яковлевна вышла в переднюю встретить его и вместе с ним вошла обратно в комнату.

Он молча подал всем руку, молча занял стул и оглянул поочередно всех находившихся в комнате, как бы говоря: «Я пришел». Это не понравилось Александре Яковлевне. Но все, главным образом, обратили внимание на его наружность: он был одет в длинную блузу наподобие крестьянской рубахи, подпоясанную каким-то обрывком от бывшего ремня, и в большие сапоги, сплошь покрытые пылью; да и сам он весь, с лицом и руками, покрыт был густою пылью, что придало его жесткой фигуре еще более мрачный вид. В углу он поставил сук, служивший ему палкой.

— Да не шли ли уже вы пешком от города? — воскликнула оживленно Александра Яковлевна.

Он отвечал:

— Ноги нам даны затем, чтобы ходить...

— А рот назначен затем, чтобы изрекать такие истины! — добавил насмешник Буреев.

Чехлов не ответил, а только пристально взглянул на него, и веселый Буреев под этим тяжелым взглядом смутился. Всем стало неловко, и больше всех Александре Яковлевне. Однако она на этот раз не возмущалась и вся ушла в интерес каждого его слова. Она уже заметила, что он обладает дьявольскою способностью заставлять себя слушать и, с чего бы ни начался разговор, направлять его по своему желанию. Она теперь спросила себя, к чему это он сказал? Быть может, хочет проповедовать физический труд.

Но тут произошла случайность, мгновенно изменившая общее настроение. Расстроенная предыдущею ночью, Александра Яковлевна вдруг почувствовала, как у ней застучало и зажужжало в голове; она побледнела и схватилась за виски.

— Что с вами, Александра Яковлевна? Вы нездоровы! — вскрикнул вдруг Чехлов, и с лица его сбежала суровая, казавшаяся всем искусственною, тень; на нем теперь отразилась простая заботливость, искренняя тревога.

Через минуту Александра Яковлевна уже оправилась и улыбнулась.

— Что с вами? — повторил тревожно Чехлов.

— Да она у нас целый день нынче дурит, — ответил за нее Мизинцев. — Целый день бранится... И все это наделал урядник Любомудров! Пришел и расстроил.

И Мизинцев, говоря это, с улыбкой рассказал, как вчера ночью внезапно пришел Любомудров, как Александра Яковлевна его встретила и что потом произошло.

— Хоть вы, Денис Петрович, вразумите ее! Ругается!.. А мы разве в чем виноваты? Виноват дурак Любомудров! — продолжал смеяться Мизинцев.

— Как можно вразумить человека, ум которого воспитан в ужасе перед жизнью, который боится палки и обоготворяет бездушную силу? — выговорил Чехлов жестким голосом.

Александра Яковлевна с недоумением посмотрела на него.

— Это про какого же человека вы говорите? — спросила она.

— Я говорю про вас и про тех, которые также поклоняются палке! — сказал Чехлов.

— Как же это я поклоняюсь палке, обоготворяю какую-то бездушную силу и... еще что-то? — спросила она с волнением.

— Но ведь это вы расстроились от появления Любомудрова? Про вас говорил Михаил Егорович? — спрашивал Чехлов, и в его острых глазах появилась радость, как тогда.

— Да, про меня... ну, так что же?

— Ничего. Я также про вас сказал, что вы поклонились Любопыт... Любомудрову, обоготворили его!

При этих словах Хордин с крайним любопытством вытянул шею по тому направлению, где сидел гость; Буреев с негодованием встал с места и враждебно посмотрел по тому же направлению, как будто там засел злейший его враг. Александра Яковлевна покраснела, но покраснела не от негодования, как в первое знакомство с Денисом Петровичем, а от предчувствия, что она и на этот раз глупо попадется в какую-то западню, расставленную им.

— Это, однако, любопытно! — возразила она и смутилась, боясь сказать что-нибудь больше.

— Да, я утверждаю это! Мало этого, вы не только поклоняетесь бездушной палке, обоготворяете мертвую, ничтожную силу, но вы сами и создали ее. Вы, именно вы создали палку, и благодаря вам она существует!

Каждое слово Чехлов произносил резко и медленно, словно опять язык его обратился в молот, которым он ударял по наковальне.

— Но объясните, как случился этот курьез? — спросила Александра Яковлевна с интересом.

Чехлов немного помолчал, провел взором по вытянутым лицам присутствующих и вдруг тихим голосом стал предлагать вопросы.

— Я вижу, здесь все удивлены, а господин Буреев озлоблен, хотя я его люблю. Но исследуем истинное положение дела... Вы испугались вчера господина Любомудрова? — обратился Чехлов к Александре Яковлевне.

— Не могу сказать, чтобы испугалась... Скорее озлилась.

— Значит, вам неприятно его видеть, как всякого неприятного человека?

— Да, неприятно, но не как всякого неприятного человека, а несколько больше. — Александра Яковлевна отвечала с крайнею осторожностью в выражениях.

— То есть господин Любомудров больше вам неприятен, чем другие неприятные люди?

— Но ведь мне не Любомудров неприятен, — он, может быть, добрый человек, — а та власть, которою он может злоупотреблять.

— Разве господин Любомудров имеет власть? — сказал насмешливо Чехлов.

— Что вы за наивные вопросы предлагаете! Вы сами отлично знаете, что власть у него есть, хотя и небольшая, но которой достаточно, чтобы причинить мне страдание, когда он употребит ее во зло.

— И что же, эта власть и над вами?

— Да, и над вами, хотя бы вы были святой, — заметила с улыбкой Александра Яковлевна.

— Извините, я не служу и не поклоняюсь никому!.. Но, однако, продолжим нашу беседу: если господин Любомудров, к моему крайнему изумлению, имеет над вами власть, то значит, он вам может причинить действительно много неприятностей.

— Это вы сами знаете! Знаете, что власть можно употребить на зло! — сказала Александра Яковлевна.

— На зло?

— Ну да, на зло.

— Господин Любомудров разве может принести зло? —

возразил Чехлов, как бы крайне удивленный. — Но, в таком случае, он и добро может вам дать!

— Это опять же наивность! — возразила осторожно Александра Яковлевна.

— Значит, это уже не недоразумение с моей стороны. Вы упрямо настаиваете, что господин Любомудров может делать добро и зло. Вы, следовательно, думаете, что он одарен какою-то непонятною силой?

— Да, думаю, — решительно сказала Александра Яковлевна и чувствовала, что Чехлов добывает из нее такие ответы, какие ему нужны.

— И большая это сила? — с злою насмешкой спросил Чехлов.

— Смотря по обстоятельствам, иногда огромная.

— Даже огромная! Это любопытно. Я видел сегодня на станции господина Любомудрова и до этой минуты не обращал внимания на этого жалкого беднягу, который по бедности взял хлопотливую должность пугать робких барынь и господ, который ездит на бедной умирающей кляче и по ночам, чтобы никто не видал, приходит просить барина подарить ему немножко сенца... Но оказывается, что он одарен, этот «бедный черт», огромною силой? По всей вероятности, сила его больше злая, чем добрая, потому что добра никто не боится...

— Иногда злая.

— И вы действительно боитесь ее?

— В этом смысле — да, боюсь.

Чехлов вдруг пожал плечами и обвел всех присутствующих недоумевающею улыбкой. Но, не встретив сочувствия, опять обратился к Александре Яковлевне. Все с нескрываемою враждебностью следили за его словами и теперь насмешливо ждали, как он выпутается. У всех чувствовалась необходимость унизить и осрамить его, потому что весь его тон, вся его фигура смотрели вызывающе. Но он, по-видимому, нисколько не смутился этим враждебным настроением. Напротив, по лицу его разлилась радость торжества.

— Однако мы пришли к неожиданным вещам, — начал он после минутного молчания: — во-первых, господин Любомудров — сила; во-вторых, это сила часто огромная; в-третьих, такая сила, которая бывает злой; наконец, такая сила, которой следует бояться... Кажется, я верно передал вашу мысль?

— Верно! — отвечала Александра Яковлевна коротко, но в сильнейшем волнении.

— В таком случае, не прав ли я был, — начал Чехлов, внезапно усиливая голос, — когда утверждал, что вы сами создали эту силу, поклоняетесь ей и приносите человеческие жертвоприношения? Бедный малый вашим страхом превращен в могущественную силу! Жалкому чувашу, разум которого блуждает среди

детских представлений, простительно, когда он лесной пень обоготворяет, приносит ему дары и умилостивляет его гнев молитвами, чтобы он, лесной пень, не наказывал его за грехи, но непростительно, когда люди, считающие себя разумными, возводят вдруг ничтожество в непреодолимое могущество, трепещут перед ним и с полным забвением рассудка совершают идолослужение! И естественно, бедный малый, служащий ради куска хлеба, становится поистине огромною величиной в жизни, как тот лесной пень, которому молится чуваш. Ибо кого люди мыслят силой, тот становится действительно могучим; кого боятся, тот сам начинает считать себя страшным; кому приписывают способность добра и зла, тот и творит его. Вы до такой степени потеряли прямые пути, что сами свои мысли считаете преступными и свою жизнь — нарушением человеческих законов. И естественно, что бедный малый, темный бедняга, считает вас преступными. Ибо кто бежит, чтобы скрыться, того догоняют. Кто боится, того еще больше стращают. Кто верит в силу палки, того палка эта и бьет. Вы так загипнотизированы, ваша душа так пуста, и ум столь несамостоятелен, и разум ничтожен, что вы, подобно чувашу, завидев среди ночи чернеющийся пень, бледнеете, сердце ваше дрожит и вы готовы пасть ниц... Не то возмутительно, что палка вас бьет, а то, что эту палку и множество других ничтожных, бездушных вещей вы одарили не свойственною им силой. Вы до такой степени рабы, что верите только в силу хитрости, лжи и коварства, в силу скрытности... ваша душа до такой степени рабская, что ей понятны только или грубое физическое торжество, или страх дикаря. Но поверьте же, ради бога, что ваши ужасы неосновательны! Если вы обладаете истиной, не скрывайте ее, а несите ее открыто, и вас никакая темная сила не одолеет, —истина живет и растет при свете солнца! Ежели же вы прячете ее под полу, то значит, это не истина, а ложь, за которую вас по справедливости надо наказывать. Не верьте в палку и ни в какую неразумную бездушную вещь — и она не будет страшна вам; верьте только в силу любви и разума — и вы будете сильны, как боги. И согласитесь, что в тот час, когда вы перестанете бояться, ненавидеть и ругать несчастного малого, темного и жалкого Любомудрова, он моментально потеряет всю навязанную ему силу, как потерял силу лесной пень после того, как чуваш, ставши христианином, убедился в неосновательности своего ужаса, вынул из земли пень и сделал из него полезную в домашнем быту колоду. Будьте же и вы христианами!

По обыкновению, Чехлов говорил все это громко и сильно, словно ударял молотом, но последние слова его раздавались тихо, едва слышно, только каждое из них он размеренно отчеканивал, как будто молот его делал последние удары,

долженствующие придать окончательный вид выковываемой им истины.

Но лишь только он остановился, как в зале поднялся невообразимый шум; стулья задвигались, послышался топот ног, кругом раздались громкие, негодующие крики. Последние, впрочем, принадлежали Бурееву и отчасти Хордину, которые бросились со своих мест и разом заговорили. Оба они были до самозабвения раздражены, но не столько самою речью Чехлова, сколько неслыханно-самоуверенным тоном, каким она была сказана.

Хордин беспорядочно заходил по разным направлениям и с пренебрежением начал было говорить.

— Это все старо! Это мы все давным-давно слыхали!

Но Буреев перебил его. Добродушный Нифонт Алексеевич, вечный остряк, теперь до последней степени почему-то был взбешен, но это ненормальное негодование придало ему нелепый вид: глаза его были глупо вытаращены, подбородок дрожал, пальцы его были сжаты в кулаки. В таком чудовищном виде он и подступил к Чехлову и начал ему что-то кричать.

— Позвольте, позвольте! Вы в прошлый раз напустили на меня туману, да и нынче то же самое!.. Позвольте, надо этот туман рассеять!.. Вы слишком любите парадоксы, — это я не «обожаю», как говорит мой дворник, когда ему предлагают выкурить вместо картузного табаку махорки!

Сам Мизинцев, никогда не выходивший из себя, поднялся с места, весь красный, и принялся что-то кричать Бурееву, а этот не слушал и только несколько раз махнул рукой, словно сгонял муху, севшую на ухо. Даже застенчивая Маша взволновалась и, взяв за рукав Мизинцева, что-то скоро говорила ему, а тот также не слушал ее, обратив главное внимание на Буреева.

Одна только Александра Яковлевна осталась на месте и не присоединилась к всеобщей сумятице. Она была потрясена словами Чехлова и не обратила внимания на грубую их форму. Даже и не мысли его поразили ее душу, а какое-то общее их настроение, утраченное, но и теперь новое. Едва ли Чехлов имел в виду то, что теперь происходило в ней, и, во всяком случае, он никак не ожидал, что смысл его слов произведет такое действие на нее... Она впервые в эту минуту почувствовала уверенность в своей силе, давно утраченную или забытую. Лицо ее вдруг сделалось гордым и счастливым, как будто она праздновала какую-то победу, в которую она не верила, но которую неожиданно подарила ее судьба. Это была победа над собой...

Между тем в зале продолжалась беспорядочная сумятица. Как всегда бывает в тех случаях, когда общество чем-нибудь взбудоражено, никто никого не слушал, и все разом говорили.

При этом каждый не знал, что́ он сию минуту скажет и зачем скажет, что намерен доказать и против чего восстает. Слова Чехлова привели всех только в неистовство и на первых порах произвели только столпотворение вавилонское.

Хордин продолжал быстро ходить по разным направлениям залы и что-то громко говорил, никем не останавливаемый и сам никого не слушавший, и только от времени до времени враждебно взглядывал по тому направлению, где сидел Чехлов. Буреев продолжал стоять в чудовищной позе перед Чехловым и говорил много, но так несвязно, что сам себя не понимал; при этом он то и дело выхватывал из портсигара папиросы, закуривал их обратным концом, со стороны мундштука, бросал на пол и яростно топтал их ногами, вследствие чего над ним стоял едкий смрад горящей бумаги... можно ли было в таком состоянии что-нибудь доказать?

А Мизинцев и Маша, удалившись в уголок, громко там ссорились между собой, забыв об остальных и о Чехлове.

А он сидел на прежнем месте и насмешливо слушал Буреева. Когда же этот наговорил очень много вещей, связанных только одним языком, который их произносил, Чехлов вдруг пожал плечами и насмешливо выговорил:

— Во́-первых, я не могу отвечать разом на сотни ваших вопросов. Во-вторых, я совсем перестаю отвечать, когда мне грозят сжатыми кулаками, и только говорю: «На, бей!»

Буреев от этих слов инстинктивно разжал пальцы, несколько попятился от Чехлова и вдруг расхохотался.

— Эк вы меня одурачили! Даже забыл, что из-за понятия «любовь» не следует драться! — сказал он сконфуженно и направился вслед за другими в столовую.

Там в это время уже готов был самовар и накрыт стол. Все с шумом и удовольствием уселись по местам, и разговор, взволновавший всех, прекратился. Чехлов также замолчал. Когда Александра Яковлевна подала ему стакан с чаем, он вдруг робко попросил дать ему чего-нибудь поесть, так как он с утра, когда отправился сюда пешком, ничего не ел еще. Тут только все заметили, что вид у него страшно утомленный: глаза ввалились, лицо осунулось, губы потрескались.

Моментально враждебное настроение против него заменилось у всех состраданием. Было ли это заранее им рассчитано, или он не думал производить впечатления пешим хождением, только эффект получился в высшей степени благоприятный для него. Ни у кого из присутствующих не повернулся больше язык сказать ему какое-нибудь досадное слово и причинить ему, настолько утомленному, еще бо́льшую усталость.

Александра Яковлевна торопливо сделала необходимые распоряжения, и через несколько минут он уже молча и сосредоточенно

закусывал. Потом принялся за чай. Прочие болтали о мелких, ежедневных делах.

Но это продолжалось недолго.

Буреев, после какой-то смешной выходки в сторону Мизинцева, вдруг обратился к гостю и уже серьезно спросил его:

— Вы, по-видимому, насколько я заметил, придаете какое-то особенное, своеобразное значение двум вещам — «разуму» и «любви», — значение, до сих пор мне неизвестное.

Спросил он это не только серьезно, но еще сочувственным тоном и с улыбкой симпатии к Чехлову.

— Да, вы угадали и поняли меня. В моем веровании — это две силы, не только главные, но существенные, управляющие миром, — подтвердил Чехлов.

— Миром людей, конечно? — осведомился Буреев.

— Нет, миром, как вселенной... Разум — это творческая сила мира, совершившая и совершающая все нами видимое. Любовь — это сила охраняющая, связывающая, придающая всему красоту. Все остальные так называемые «силы природы», открытые так называемою «наукой», только частные проявления этих двух...

— Та-ак! — вдруг протянул двусмысленно Буреев, и на лице его, помимо его желания, снова появилось недоброжелательство и возбуждение.

— Вас удивляют, очевидно, все мои разговоры? Это естественно. Я сам еще недавно отнесся бы с насмешкой к своим нынешним словам, но эти слова перевернули все мои прежние понятия. И скажу вам секрет, почему я вас удивляю. Я просто прикладывал к каждому явлению эти две силы и получал неожиданные результаты. И то, что я еще вчера, наравне с другими, считал разумным и хорошим, нынче для меня это неразумно и нехорошо. Разум осветил для меня весь механизм жизни, любовь же объяснила мне все отношения, все связи, все основы жизни.

Чехлов выговорил это смягченным против прежнего тоном, но было в нем что-то такое, что мгновенно, лишь только он раскрывал рот, производило всеобщее раздражение и вражду к нему. Раздражала ли присутствующих его наружность — это крупное, с жесткими линиями лицо, эти острые, неприятно-проницательные глаза, жесткие волосы, торчавшие на его голове подобно скошенному, но неубранному сену, — или его звучный, но с резкими нотами голос, или, быть может, тон его речи, необыкновенно самоуверенный, догматический, вызывающий, — только после сказанного им тотчас же появилось снова желание бороться с ним и непременно победить... После его слов, по-видимому, нисколько не оскорбительных, сказанных притом мягко, опять послышались озлобленные возражения со стороны

Буреева и Хордина. Снова посыпались на него вопросы, причем не скупились на пренебрежительные эпитеты по его адресу.

— Любовь и разум!.. Вот поистине пошехонское открытие Америки! — воскликнул Хордин.

Чехлов в первый раз при этом восклицании вышел из себя. Лицо его вспыхнуло, глаза сверкнули ненавистью. Но это было мгновение. Через мгновение его лицо снова стало холодным. А когда он стал разговаривать с Буреевым, то еще более оправился. Он видел, что всеми предыдущими своими словами он произвел впечатление, равносильное победе; знал, что ни он сам и никто из окружающих не в силах подорвать это впечатление, и потому к дальнейшим спорам относился равнодушно. На его лице, напряженном в продолжение его речи, теперь играла довольная улыбка; выражение его глаз потеряло свою неприятную проницательность, и взгляд его был счастливо-блуждающий; ответы его стали небрежны и действительно парадоксальны.

Это еще более раздражало Буреева.

— Позвольте, важно не то, чтобы признать разум и любовь единственными силами, совершающими все хорошее, а то, как этим знанием воспользоваться, — говорил он, едва сдерживаясь от брани.

— Скажите только: люблю! — и весь мир мгновенно перед вашими глазами обратится в праздник, в любовный пир! — ответил равнодушно Чехлов.

— Вот этого-то и мало! О любви без вас тысячи лет люди говорят... И важно не то, чтобы знать эту истину, а то, какое употребление ей дать... Часто важна не самая истина, обратившаяся в общее место, а метод ее добывания и способ ее употребления. Мало сказать: живи разумом и любовью, — надо знать, как и откуда взять разум, куда и зачем его деть, что и как любить! Иначе можно возлюбить свинью, посадить ее за свой стол и вместе с ней хрюкать! — возражал сдержанно Буреев, но бледнел от усилия сдержать себя.

— Разум не имеет границ, любовь не должна отливаться в формы. Границы создают глупость, формы создают идолов. Но идолам, наравне с вами, я не поклоняюсь, — возразил Чехлов.

Буреев чувствовал, что сдержанности его и на две минуты не хватит.

К счастью его, в эту минуту вмешался неожиданно Мизинцев. Он вдруг объявил, что ему пора ехать на поезд, так как ночного поезда ему, по каким-то делам, нельзя ждать.

На мгновение все стихли, но стихли от неприятного сожаления, что приходится обрывать разговор на полуслове. В особенности недоволен был разгоряченный Буреев, — его лицо вдруг

сделалось скучным и угрюмым, когда Мизинцев своим напоминанием оборвал его мысли.

Чехлов заметил это и сделал предложение, которого никто не ожидал, — остаться в усадьбе на весь следующий день.

— Если уважаемые хозяева мои ничего не имеют против, я остаюсь? — сказал он вопросительно.

Все наперерыв друг перед другом объявили о своем удовольствии по этому поводу. Но Чехлову доставляло как будто удовольствие раздражать.

— Собственно, мне надо сегодня возвратиться в город, где назначено собрание людей, пожелавших слушать меня, но, я вижу, жажда истины и здесь велика, — сказал он спокойно.

Присутствующие были мгновенно взбешены этими самоуверенными словами. Однако Хордин по рукам и ногам связан был своею ролью гостеприимного хозяина и должен был промолчать. Зато Буреев, как человек посторонний, не мог оставить самообожающего человека в заблуждении.

— Поверьте, Денис Петрович, мне лично желательно продолжение наших с вами бесед совсем не потому, чтобы я надеялся услышать из ваших уст истину, а затем, чтобы обратить ваше внимание на неслыханное смешение правды и лжи в каждом вашем слове! — сказал он с негодованием.

Это было началом дальнейшей «беседы», которая скорее напоминала безобразный гвалт, поднятый сборищем крючников. Мизинцев ушел никем не замеченный; Хордин забыл даже распорядиться о лошади для него, чтобы довезти до станции, и гость должен был отправиться пешком, что, однако, едва ли было неприятно ему, так как его сопровождала Маша.

Безобразный гвалт стоял в комнатах до позднего вечера. Чехлов по-прежнему возражал, равнодушно возражал, а Хордин и Буреев продолжали все больше и больше воспламеняться. Наконец оба они так ошалели, что перестали понимать друг друга и уже сцепились между собой, забыв о противнике. Чехлов воспользовался этим и обратился к Александре Яковлевне с просьбой прекратить разговор до следующего утра.

— Умоляю вас, помогите мне уйти в комнату, где бы я мог отдохнуть... У меня кружится голова! — сказал он утомленно. В самом деле, запыленное, усталое лицо его было страшно болезненно.

Александра Яковлевна бросилась, чтобы сделать кое-какие приготовления, и тотчас же возвратилась назад. Затем ей достаточно было сказать несколько слов, чтобы спорщики прекратили свой крик. Чехлов знал, к кому обратиться и кто из всех находящихся тут пользуется бесспорным авторитетом. Хордин, по указанию жены, тотчас же повел гостя в отведенную ему комнату, гостеприимно предложил ему свои услуги

во всем, что только он пожелает, и радушно простился с ним до утра.

В доме мгновенно воцарилась тишина. Только в дальней комнате, куда ушли Буреев и Хордин, по временам слышались сдавленные восклицания и смех.

Оставшись одна, Александра Яковлевна растворила все окна и долго сидела одна в темноте. И ей не хотелось спать. Она переживала настроение глубокого счастья. Случайно сказанные слова случайного гостя стали источником внезапного воскресения ее мужества и уверенности в своей правоте. Вчера еще она считала себя слабой и *неправой* во всем. А год тому назад с ней был случай, о котором никто, кроме нее, не знал, но который, как тогда казалось ей, навсегда ее уничтожил. После одной из тех ссор с мужем, когда гнев ослепляет рассудок обоих, когда с обеих сторон раздаются ужасные, оскорбительные слова, когда глаза светятся ненавистью, а вслед за тем хлопают двери и в уединенной комнате раздаются рыдания опозоренной, побежденной стороны, Александра Яковлевна решила разорвать десятилетнюю связь, бросить оскорбляющие условия жизни и бежать. Она наскоро, трепещущими руками, собрала свои вещи, уложила в чемодан и хотела уехать. Но вдруг ее, как внезапный удар, поразила мысль: а чем она будет жить? Вынесет ли она новые годы бедности и материальных лишений, всю жизнь, как проклятие, висевших над ней?!. Немного прошло времени после того, как она себе задала эти вопросы, а руки ее уже бессильно опустились и взор потух. Устрашила ее бедность. Она испугалась потерять покойную обстановку, которой добился ее муж, и, испугавшись своего решения, стыдясь в то же время своего бессилия и малодушия, с поспешностью, как преступник, принялась уничтожать следы своих приготовлений к бегству. И никто никогда не узнал этого. На следующий день она смотрела холодно, равнодушно и покорно.

И вот теперь воскресло ее мужество. Радость, изумление и гордость наполняли ее подавленное сердце, давно уже не бившееся так быстро. А в голове ее велся разговор, в котором принимал участие кто-то невидимый, но заботящийся о ней и любящий.

— Чего ты боишься? — спрашивал он заботливо.

— Я знаю, что это малодушие... — отвечала она.

— Не бойся ничего, кроме мертвой жизни! Материальные лишения могут быть страшны только тем, кто рабски подчинялся бездушным вещам! Человек может быть трусливым рабом или богом... Жизнь — его собственность, и он может распорядиться ею произвольно, и только жалкий боится ее, — говорил ей этот твердый, гордый собеседник, и она слушала его, понимая самые темные слова его.

Когда весь дом уже спал, она все еще сидела перед раскрытым окном, устремив взор на слабый свет звезд. Вдруг в ночной тиши раздался дрожащий, но нежный голос, запевший какую-то песню, — это запела Александра Яковлевна, не певшая уже несколько лет; она запела в порыве птицы, вдруг выпущенной на волю.

V

Чехлов с удивлением раскрыл глаза, — где он?

Было еще рано. Солнце только что поднялось из глубины горизонта, но ни одного луча его еще не было видно. Над местом его восхода возвышалась тяжелая серо-грязная туча и гасила своею огромною массой все лучи его, какие пытались пробиться сквозь ее мрачную толщу. И света не было кругом; все предметы тускло были освещены и вид имели скучный и хмурый. Чехлов долго лежал в постели, не имея энергии встать; он проснулся с какою-то тяжестью на душе и тоскливо оглянул незнакомую ему комнату чужого дома. Но вдруг один тонкий, как стрела, луч, тайком, боковым ходом, проскользнул мимо грозной твердыни и разом вырвался на простор, а за ним целою гурьбой ринулись другие лучи, взбежали на самый верх темной стены, овладели всеми ее выходами, пробили бреши повсюду и окружили ее с четырех концов. И эта темная масса, за минуту казавшаяся неприступной, запылала красным пожаром и исчезла в радостном сиянии поднявшегося солнца. Ослепленный ворвавшимися в комнату веселыми лучами, Чехлов мгновенно соскочил с постели и поспешно стал одеваться, стыдясь минутной слабости, ленивой тоски и беспричинной хандры.

Он тихо прошел сенями, выбрался на двор, отсюда за ворота и очутился в саду, но, не останавливаясь, пошел дальше, перелез через ограду и очутился в перелеске над оврагом, по дну которого бойко бежал ручей. Ручей тотчас же напомнил ему об умыванье; он спустился по откосу вниз и с наслаждением стал мочить голову, лицо, руки холодною водой. Вытерся он отчасти платком, отчасти рукавами блузы и тотчас же подумал: «Как, в сущности, не нужны все наши культурные удобства!..» В последнее время он следил за своею жизнью и постоянно выбрасывал за борт все ненужное, несущественное, фальшивое, как модное или общепринятое платье, мягкие стулья, воротнички, глупейшие галстуки и пр. Границы этим преобразованиям не может быть, и кто однажды убедился в порочности людской внешности, тому на всю жизнь может хватить борьбы с галстуками, с пуговицами и с бесчисленным множеством других вещей. Понимая этот абсурд, он решился бороться только с фальшивым и неестественным, но что значит жить естест-

венно, он еще не обдумал. Прежде всего, он решил рано ложиться и рано вставать.

И теперь он думал, что в доме еще все спало, а он раньше всех поднялся. Но через несколько минут, прогуливаясь по единственной дорожке запущенного сада, он должен был убедиться в неосновательности своего самомнения: не только в деревне, лежащей недалеко от барской усадьбы, но даже в самой усадьбе до свету все проснулись и кричали всеми голосами, какие кому свойственны: гуси возбужденно о чем-то трактовали, свинья хрюкала, рабочие обменивались отрывочными фразами.

Между ними толкался и Хордин. До сада его голос доносился с разных концов: то со двора, то из леса, то из кухни, из чего Чехлов заключил, что управляющий не на шутку распоряжается. Об этом свидетельствовал и его голос, то и дело переходивший в отчаянный крик, словно на дворе случилась какая-то катастрофа, и энергичные его выражения, заканчивающиеся часто ругательствами. По временам за деревьями сада мелькала в разных направлениях и самая фигура его, одетая в какое-то ветхое пальто с висящими клочьями ваты, в грязные большие сапоги и в рыжую шляпу, из-под которой виднелись непричесанные волосы, — а до сих пор Чехлов видел его только в виде джентльмена. Одним словом, налицо было все, что у русского человека неразрывно связывается с представлением об энергичном деловом человеке: ругань, разносившаяся далеко по окрестности, неумытое лицо, непроспавшиеся, бессмысленно вытаращенные глаза.

Чехлов ходил или сидел в саду и прислушивался. Хордин больше не представлял для него интереса. С первого же пристально брошенного взгляда Чехлов проник в его существо, вытащил основания его и бесповоротно определил. Для него это был человек, который не сводил концы с концами. Вчера он еще произносил громкие слова, а сегодня исключительно объяснялся при помощи площадных звуков; сейчас он переругивается с рабочими, а через час перед благородною публикой будет вести благородные разговоры. И это все делается просто, почти наивно.

Сидя под деревом или прогуливаясь по дорожке, Чехлов пожимал плечами; в нем был оскорблен тонкий наблюдатель, любивший распознавать только сложный механизм мудреных субъектов, — это было его наслаждение, подобно наслаждению механика, разбиравшего разные машины. Бывают, например, замысловатые часы, в которых играет какая-то прекрасная музыка, наконец, раздается — раз, два, три!.. — и наступает мертвая тишина, только маятник продолжает куда-то идти, осужденный на бесконечное путешествие. Встречая человека, похожего на эти часы, Чехлов с восторгом наблюдал и разбирал. Но когда ему попадался человеческий механизм вроде деревян-

ных часов с грубыми колесами, с грязным циферблатом, свирепо хрипящих вместо чистого звона и наивно показывающих четыре в то время, когда в действительности идет шестой час, он равнодушно проходил мимо него. Слишком уж это дико и неотесанно!

Хордин долго ходил по разным направлениям усадьбы и выкрикивал свои распоряжения. Наконец, бросив случайно взгляд в сад, он заметил Чехлова, и направился в его сторону. Вид его был довольный и здоровый. Он дружески улыбнулся гостю, когда пожимал ему руку и говорил доброго утра. Чехлов, напротив, равнодушно встретил его, как будто он для него совсем не существовал. Впрочем, сидя с ним рядом, он вдруг задался вопросом, считал ли Хордин хотя бы желательным сводить концы с концами? Ради этого он тотчас же приступил к «исследованию».

— Я вижу, вы сильно заняты устройством имения? — спросил он.

— Еще бы! Вы не можете себе представить, что тут до меня делалось, денной разбой!.. Владелец, живущий в Петербурге и Париже, взвыл! Имение не только перестало давать доход, но требовало безвозвратных приплат... Можете судить, до чего дошло дело: с роскошных лугов богатого именья не хватало сена для домашнего употребленья.

Говоря это, Хордин счастливо захохотал.

— И вы все это исправили?

— Не все еще, но многое уже удалось, — ответил самодовольно Хордин.

— Мне, собственно, любопытно узнать, как вы работаете... — сказал Чехлов вдруг с загадочною улыбкой. — То есть мне интересно знать, как, собственно, согласуется работа на господина, мотающего деньги по парижским кабакам, с теми планами, которые, несомненно, вы стараетесь проводить в жизнь, судя по прекрасным словам об идеалах, слышанным мною вчера!

— Это, конечно, интересно... — возразил Хордин сердито, хотя не знал, сердиться ему или смеяться, но, во всяком случае, он вдруг с одушевлением заговорил: — Вы правы, планы кое-какие есть у меня... Здесь я временно. Но раз я нахожусь здесь, я выполнил все свои обязательства перед владельцем, которые я взял на себя, и думаю, что каждый честный человек... Но у меня есть мечта, или, если хотите, план, который я надеюсь осуществить, — это завести собственное именье... вот тогда другое дело! Со своею землей я сделаю все, что мне вздумается... Впрочем, ничего фантастического я не предполагаю... Я должен был сказать, что считаю идеалы и культуру несравнимыми величинами! Идеалы сами по себе, а культура — сама по себе. Идеалы имеют назначение облагораживать нас, давая нам высо-

кое эстетическое наслаждение, а культура удовлетворяет требования жизни... понимаете? Идеал — это мечта о прекрасном, культура — это жизнь!.. Друг другу они не мешают и должны существовать рядом, не вторгаясь в чужую область... Вот почему я считаю неправыми тех, которые презрительно относятся к мечтам, — дико это, невежественно! Но, с другой стороны, и отвлеченные мечтатели всем опротивели... именно за то, что суются не в свое дело, в жизнь! Их дело — эстетически прекрасное, а не жизнь. И, по-моему, ты сколько угодно ширяй по небесам, — это прекрасно! — но не мешай сажать картошку... не твое это дело! А у нас нет середины ни в чем: то мы хотим жить одними заоблачными мечтами и называем подлецом всякого практика, то по уши погружаемся в житейскую дрянь... печальное положение! Я же признаю и то и другое, только каждому отвожу свое время и место.

Хордин произнес эту непривычно-длинную для него речь с большим воодушевлением и по окончании ее взволнованно встал с места и принялся ходить взад и вперед по дорожке.

Чехлов пристально следил за его шагами, словно по ним хотел что-то узнать... Его неожиданно заинтересовали слова хозяина... Однако это не простые деревянные часы, наивно показывающие четыре, вместо шести, а «с секретом», вроде кукушки!.. Чехлов обрадовался случаю заглянуть внутрь механизма Хордина, который совсем было потерял для него интерес.

— Вы простите меня, что я трогаю, быть может, больную рану... Я совсем не считал себя вправе касаться личных планов... Но меня интересует одно общее положение. Я давно уже хочу разрешить себе общий вопрос: какое отношение существует в жизни между убеждениями и делами? Я давно, повторяю, изучаю это, много наблюдал, еще больше мучился и только после долгих попыток пришел к некоторым результатам...

— К каким же, интересно знать? — спросил Хордин равнодушно, занятый все еще своею речью.

— Я пришел к выводу, что все душевное или умственное богатство людей делится на два рода: убеждения и взгляды. У одних людей есть убеждения, у других взгляды только; но бывает и так, — это самый частный случай, — что у одного человека есть и взгляды и убеждения. Разницы с первого взгляда тут нет никакой, но на самом деле разница громадная. Разница приблизительно такая же, какая существует между необходимым платьем, прикрывающем наше тело, и платьем, служащим не только для прикрытия наготы, но и для изящества, красоты и изысканных вкусов. Взгляды — это то же, что красивая принадлежность нашего костюма, выработанная цивилизацией, а убеждения — это то же, что необходимое одеяние. Первые, то есть изящные, цивилизованные костюмы, как можно легко

убедиться, не являются существенною и необходимою принадлежностью человека, — их выработала цивилизация. Ходит же везде мужик в одной рубахе, и никто не считает этого ни безнравственным, ни даже неприличным. Но без рубахи нельзя ходить, — и холодно и срамно... Взгляды ни к чему не обязывают, — можно иметь самые благородные взгляды и остаться самым неблагородным из животных. Можно их бросить когда угодно, как снимают изящный редингот, приходя домой. Убеждения же неумолимо переходят в действие, и раз человек носит в себе убеждения, он не может ни забыть их, ни сбросить их, как не может мужик снять рубаху. Нельзя снять рубахи, во-первых, потому, что это физически мучительно; во-вторых, нелепо; в-третьих, срамно. Только в пьяном виде или будучи сумасшедшим человек может сбросить с себя безусловно необходимое одеяние. В жизни я встречал больше людей, ходящих в изящном костюме. Поэтому на практике трудно различить эти два платья, — цивилизация их страшно перепутала. Однако я нашел один признак, по-моему безошибочно указывающий, носит ли данный человек платье ради необходимости или ради красоты и изящества...

Чехлов на мгновение остановился и бросил на собеседника один из тех неприятно-острых взглядов, которые выражали у него чувство злой радости и превосходства.

— Какой же это признак? — спросил Хордин с довольною улыбкой.

— Если вы станете перед каким-нибудь человеком жаловаться на несогласие слов и дел и если этот человек присоединится к вам и с жаром будет негодовать вместе с вами, то вы смело можете сказать, что у него нет убеждений.

— Что же, это вы метко! — возразил Хордин и радостно захохотал, сам не зная, над чем тут, собственно, хохотать.

Чехлов незаметно передвинул плечами, и лицо его вдруг стало опять равнодушным, словно он разочаровался... Да, это поистине деревянные часы, показывающие четыре вместо шести и не имеющие никакой кукушки!.. Он до такой степени почувствовал равнодушие к собеседнику, что не счел нужным вежливо окончить беседу, а просто оборвал ее и сказал:

— Какое нынче чудесное утро!

Хордин несколько опешил от этих неожиданных слов и в первое мгновение готов был заподозрить в них некоторый иносказательный смысл; но когда убедился, по равнодушному виду гостя, что тот в самом прямом значении слова заговорил о погоде, успокоился. Ему с некоторого времени невыносимо было поддерживать разговор, не касающийся практических дел, он становился тогда угрюмым и раздражительным и чувствовал боль в верхней части лба и за ушами, и тогда на него нападала та зе-

вота, которую он мог удержать только страшным напряжением челюстей.

Обрадовавшись внезапному прекращению разговора, он вдруг весело и радушно напомнил Чехлову, что пора пить чай, хотя внутри ощущал какую-то смутную досаду против него. Чехлов и на это не счел нужным ответить; он молча поднялся со скамейки, молча пошел рядом с хозяином и молча сел в столовой за самовар. Самовар был готов и чай сделан, но в комнате никого не было; хозяин и гость одни принялись за чай. Хордин пытался несколько раз заговаривать, но Чехлов едва давал себе труд отвечать: «да» и «нет», — это была уже не только невнимательность, но полное пренебрежение. В столовой, наконец, наступила мертвая тишина, только слышалось клокотанье пара в самоваре и звуки чаепития двух людей.

К счастью, немного погодя в комнату подошли один вслед за другим Буреев, его сестра и Александра Яковлевна. У всех были оживленные лица, хотя по разным причинам и в противоположных окрасках. Александра Яковлевна смотрела с живым, как бы проснувшимся интересом ко всему свету, Буреев глядел угрюмо и враждебно. Казалось, он никогда не был смехотворным забавником, — так мрачно и сосредоточенно было его лицо. Подавая руку Чехлову, он так посмотрел на него, как будто говорил: «Я тебе подаю руку только из вежливости, но ты враг, и я буду бороться с тобой...» Чехлов, однако, с улыбкой симпатии поздоровался с ним, хотя заметил мгновенно настроение всех собравшихся.

Столовая тотчас же оживилась.

— Вы, вероятно, рано поднялись? — спросила Александра Яковлевна, обращаясь не то к Чехлову, не то к мужу. Ответить поспешил последний.

— До свету!.. Так и подобает нам вставать... Мне — как хозяину, Денису Петровичу — как пророку.

Чехлов не удостоил эти слова ответом.

— И вы, кажется, уже успели поспорить? — продолжала с любопытством Александра Яковлевна.

— Немножко, — поспешил ответить Хордин. — Денис Петрович очень тонко высказался насчет убеждений... Ну, конечно, не забыл мимоходом намекнуть о цивилизации, которая производит будто бы пустых людей, носящих убеждения подобно модному костюму... — Говоря это, Хордин ехидно улыбнулся. Он с удивлением излил этими словами смутную досаду против Чехлова, которая явилась у него в саду, и, кроме того, имел в виду натравить Буреева.

Буреев действительно был уже, что называется, готов.

— Странное мы время переживаем! — вдруг воскликнул он с возбужденным смехом. — Появилась целая тьма каких-то

неумытых, нечесаных людей, которые галдят о ненужности цивилизации... И черт их знает, откуда столько смелости у этих неграмотных головотяпов!

И добродушный, но теперь негодующий Буреев оглянул поочередно всех присутствующих. Все неловко замолчали, а Маша так сконфузилась резкими словами брата, что ее лицо испуганно вытянулось. Но Чехлов с прежнею симпатией смотрел на говорящего, хотя тоже молчал. Не встретив ответа, Буреев уже прямо обратился к предмету своей вражды.

— Вы, конечно, по пути уж заодно и науку долой? Отрицаете? — спросил он со злою насмешкой.

Чехлов положительно с любовью взглянул на Буреева,— с тою любовью, с какою охотник смотрит на показавшуюся вдали дичь.

— А разве можно отрицать то, чего не существует? — спросил он с притворным изумлением.

— То есть как это не существует?.. Это наука-то не существует? — заметил сдержанно Буреев и засмеялся злым смехом.

— Это, должно быть, опять какой-нибудь идол... Но ведь я же вас предупредил раньше, что никаких идолов не признаю, каким бы именем они ни назывались и сколько бы народу ни стукало перед ними лбами!

— К чему столько темных слов? Я вас спрашиваю ясно и просто: существует ли для вас наука или ради истины вы считаете более удобным не замечать ее? — спросил Буреев, причем торопливо выхватил из корзинки булку, разорвал ее на куски и бешено стал пожирать ее, как будто это она его оскорбляла.

— Что такое наука? — спросил между тем спокойно Чехлов.

— Наука, милостивый государь, — сказал Буреев, отчеканивая каждое слово, — есть собрание всех знаний, какими только обладает человек.

— Каких же знаний? Истинных или ложных?

— Научных.

— Не понимаю! — сказал Чехлов, и жесткая радость разлилась по его лицу. — Итак, наука есть собрание научных знаний?

— Да, научных, — подтвердил Буреев назло.

— Что же это такое — «научные знания»? Истинные ли это знания или не истинные, или, наконец, нечто третье, то есть нечто такое, что не истина и не ложь?

— Без сомнения, наука дает и ошибочные знания и истинные, — возразил Буреев и, к ужасу своему, начал понимать нелепость своего положения.

— Но вы, разумеется, из научных знаний берете только истинные? Или верите и в ложные, лишь бы их давала наука?

— Конечно, истинные! — сказал растерянно Буреев.

— А ложные отрицаете?

— Несомненно...

— Но вы сейчас сказали, что наука для вас существует, и выразили негодование, когда я усомнился в этом. Теперь, однако, я несколько понимаю вас... Говоря о науке, вы разумели ту ее часть, которая дает истину, а не ложь? — спросил Чехлов с улыбкой.

— Кто же вас заставлял принимать все ошибки?

— Следовательно, вы снисходительно заставляете меня признавать только истинную науку, как и я ожидал... Но зачем же вы раньше не сказали этого, а с непонятною для меня злобой хотели непременно принудить меня поверить вообще в науку? Оказывается из ваших же слов, что науки по меньшей мере две, причем одну надо признать, а другую отвергнуть... То есть оказывается, что науки, как однородного целого, как некоторого идола, которому надо кланяться, не существует.

Буреев сконфуженно давился чаем; лицо его, всегда здоровое, теперь болезненно побледнело, руки дрожали. В глазах виднелось полное смущение. Пораженный, он уже не отвечал обдуманно, а наугад, что на язык попадет.

— Из факта, что наука дает истинные и ложные показания, нисколько еще не вытекает вопрос об ее существовании, — сказал он дрожащим голосом. — Истины, даваемые ею наряду с ошибками, все же истины.

— Позвольте и в этом усомниться, — возразил Чехлов и уже уверенно, как господин разговора, посмотрел на всех окружающих. — Временно я согласился с вами признать истинную науку... но теперь позвольте усомниться и в этом!

— Смелости у вас много, и вы можете без моего позволения сомневаться в чем угодно, но надо же обставить свои сомнения! — возразил Буреев.

— Я это и сделаю, если вы потрудитесь вместе со мной подумать... Прежде всего, подумаем и решим следующий вопрос: та часть науки, которая дает будто бы истины, дает ли их по одной на каждый предмет или по две истины?

— То есть, попросту говоря, есть ли в науке бесспорные истины? Есть!

— И они всегда были неоспоримы? — спросил Чехлов.

— Нет, зачем же!.. Они стали бесспорными только после того, как наука их открыла.

— А раньше они не признавались?

— О них даже не подозревали, пока на них не указала наука.

— И эти истины, не подозреваемые в прошедшем, теперь бесспорны?

— Да, бесспорны.

— И в будущем останутся таковыми?

— Непременно!

— Это вот очень смело! — сказал Чехлов с злою радостью.— Вы не только хотите навязать ваши истины настоящим людям, но чтобы и будущие не смели думать... Прошедший человек с негодованием поносил тех людей, которые осмеливались сомневаться в существовании хрустального неба с горящими лампадами, а вы даже у будущих людей отнимаете право считать «всемирное тяготение» вздором... Очень смело! Но допустим, что истины, ныне бесспорные, таковыми же вечно останутся, — разве из одних бесспорных истин состоит наука?

— Нет, конечно... в науке много положений, не доказанных бесспорно. Что же из этого?

— То есть, находится много вещей, о которых в науке несколько мнений?

— Есть.

— И эти мнения взаимно исключают друг друга?

— По большей части. Ну, так что же?

— И этих взаимно исключающих мнений часто существует множество?

— О некоторых предметах — множество...

— Одним словом, наука состоит из некоторых штук бесспорных истин и из бесчисленного множества взаимно исключающих друг друга истин... Какие же истины надо признать и какие отвергнуть и что в таком случае останется от нашего идола, разбитого на бесчисленное множество кусков?

— Метод! — сказал угрюмо Буреев, но так был ослеплен, что не воспользовался этим словом, которое могло уничтожить всю самоуверенность Чехлова.

— То есть просто орудие. Но ведь раньше вы науку определили не как полезное орудие, а как собрание всех истин? — спросил Чехлов зло.

— Но ведь такую операцию можно совершить и с тою верой, о которой я еще ничего не знаю, но которую вы признаете единственною истиной! — вскричал Буреев с внезапною энергией, которая, казалось, окончательно покинула его. — Ведь перед таким бесшабашным нигилизмом всякая истина обратится в прах, даже и ваша!

Взор Чехлова беспокойно скользнул по сторонам, но это было одно мгновение, которое заметила одна Александра Яковлевна. Тотчас же оправившись, Чехлов заговорил, возвышая голос:

— Извините, истина одна! Истина не только одна, но она вечна и безусловна. Она написана в вашем сердце и в вашем разуме, и даже в вашем теле. Только вы заслонили ее идолами, ради которых забыли ее голос. И один из этих идолов — наука. Вы забыли и долго еще не вспомните, что наука создана разумом и что, создав ее, он же может и разрушить ее. Но я не забыл

этого, и никакие идолы для меня не существуют, хотя бы они назывались наукой. Я выбираю из нее только то (и какая это ничтожная крупица!), что истинно, а остальное бросаю и ложь называю ложью, хотя бы это была научная ложь!.. Пусть наука мне докажет, что я состою из микробов и должен вести себя, как огромный микроб, — я не сочту нужным принять этот совет. В сущности, и вы то же делаете иногда, выбирая вашим разумом из так называемой науки лишь то, что вам кажется истинным, но только вы думаете, что это наука делает выбор, а не вы сами и не ваш разум. Последний вы так поработили им же созданной вещью, что он не смеет больше прикоснуться к ней, а рабски, низко ползает перед идолом, слепо признавая всякую ложь, соглашаясь с бесстыдными выводами, потворствуя гнусным целям ее жрецов! Вы так поработили разум перед этим идолом, что он перестал служить истине, а служит лжи и обману, преступлению и кровавым бойням, злу и насилию! Разум, единственный источник света, стал служить мраку. Единственная его цель — познание истины и забота о счастье людей, но вы отняли у него эту цель, самого его отдали в рабство бездушной науке, а она изобретает пушки, бездымный порох, машины, ломающие тело и душу работников, машины, порабощающие миллионы людей...

В этом направлении Чехлов долго еще громил. Жестокое лицо его стало совсем диким, голос обратился в трубу, слог мало-помалу принял грубый, но сильный библейский оттенок. Это было воплощенное вдохновение, вся сила которого направлена была на разгром языческого идола. Но вдруг он оборвал речь, и лицо его моментально стало холодным и спокойным.

Чай давно уже все бросили и вышли из-за стола. Разговор сделался беспорядочным. Хордин скоро ушел по хозяйству, сестра Буреева также вышла. Сам Буреев не мог больше связно говорить, слишком взволнованный для обдуманного разговора.

Зато Александра Яковлевна в этот день удивляла всех. В ней, видимо, совершался какой-то крутой переворот, обративший внимание прежде всего мужа. Он смотрел на нее во все продолжение спора Буреева с Чехловым и как будто не узнавал. Встретив однажды случайно ее взгляд, смелый и спокойный, он вдруг почему-то смутился и после того уже больше не осмеливался встречать ее взор. Ее страдальческое, испуганное лицо, каким он его привык видеть, светилось теперь уверенностью и энергией, как будто она приняла какое-то огромное решение, — это еще больше смутило Хордина, словно он сознавал себя в чем-то виноватым перед ней.

Когда он вышел из комнаты, то же впечатление перешло и на Чехлова. Он смотрел на нее по временам и не узнавал. Пытливо вглядываясь в ее глаза, он не открыл там ни пугливого удивле-

ния, как в первый раз, ни раздражительности, как накануне. Лицо ее было одушевлено улыбкой, но не жалкой, а твердой и самоуверенной. Чехлов открыл там, в этой улыбке, даже насмешливость и, как человек самолюбивый, мысленно отнес ее тотчас к себе и внутренно переполошился... не сказал ли он в самом деле какой глупости.

Оба они ошибались. Ни об одном из них Александра Яковлевна не думала. Ее мысли исключительно заняты были собой и тем своим настроением, которое возвращало ей утраченное счастье, вчера еще считавшееся ею безвозвратно погибшим. Когда она утром вошла в комнату, ей не хотелось даже говорить. И она действительно ни разу не вмешалась в разговоры. Ей как будто совсем не было дела до этого спора; в ней самой совершалась такая работа, ради которой некогда было брать еще чужую. Она слушала Чехлова внимательно, а в некоторых местах с удовольствием, но слушала не затем, чтобы услышать его истину, а чтобы подкрепить лишними доводами свое настроение, чтобы усилить свое жизнерадостное, энергичное чувство, так внезапно воскресшее в ней. И когда какая-нибудь мысль Чехлова подходила к этому настроению, лицо ее вдруг озарялось улыбкой. А Чехлов эту улыбку приписывал себе.

Тем сильнее был его переполох, когда он заметил на ее лице насмешку. Смеяться она и не думала над ним, напротив, за многое была благодарна ему. Но это не помешало ей подметить в его словах одну слабость — противоречие... По всей вероятности, и сам Буреев обратил бы внимание на эту слабость, будь он менее ослеплен враждой и раздражением, но теперь он был способен только на крайне шаблонные возражения, да и эти ему нужно было припоминать, — так сильно он одичал за последние годы. Александра Яковлевна оставалась спокойною, и это дало ей возможность точной оценки слов Чехлова.

Она начала с того, что с интересом стала расспрашивать Чехлова о его прошлой жизни. Обрадованный ее участием, он рассказал ей, где родился, кто его родители, как он учился, по каким местам путешествовал и где жил. Когда его рассказ не удовлетворял ее, она предлагала ему вопросы. Вышел целый ряд вопросов, задаваемых, по-видимому, только из участия и любопытства к его жизни и нимало не подозрительных для Чехлова. Он с горячею охотой отвечал и на те вопросы, которые касались его образования. Ничего не подозревая, он с жаром рассказывал, как много он читал, с какими выдающимися людьми был знаком и как занимался самообразованием, когда бросил университет, внушавший ему отвращение бездушною шаблонностью... «Только одно самообразование создает разумного человека», — кончил он.

И вдруг Александра Яковлевна заметила как бы про себя:

— Интересно, что бы из вас вышло, если бы отец сделал вас своим приказчиком и если бы после его смерти вы остались с братьями торговать лесом?..

— То есть что тут, собственно, интересного? — спросил Чехлов, все еще ничего не подозревая.

— Да откуда бы вы разум-то взяли, если бы стали торговать бревнами?

Чехлов моментально оценил этот неожиданный и мастерской удар, и взор его беспокойно пробежал по комнате, но он хладнокровно ответил:

— При мне бы и остался, если только он во мне вообще есть!

— Но вот это-то и любопытно: выходит, что можно как угодно жить, чем угодно заниматься, хотя бы грабежом на больших дорогах, как есть ничему не учиться и все-таки, несмотря ни на что, носить в себе какой-то разум, то есть высшее понимание всех вещей! — сказала Александра Яковлевна, но без ехидства, с доброю улыбкой.

— Для вас это невозможным кажется, но это потому, что вы верите не в силу человека, а его положения и ему рабски подчиняетесь! — возразил Чехлов, но уже с явным раздражением.

— Быть рабом положения, конечно, нехорошо. Надо всеми силами бороться против оскорбляющих человека положений. И вы отлично сделали, что после смерти отца не остались торговать бревнами, а ушли от этого положения... Если бы вы остались, то мы, по всей вероятности, не имели бы удовольствия... не только слышать ваши блестящие слова о разуме, но едва ли бы услыхали пару добрых слов от вас...

— Но ведь я же ушел от этого положения! Значит, оно меня не поработило! — вскричал Чехлов и в первый раз вышел из себя.

— Потому, что вы имели средства бросить его, тогда как миллионы людей не могут оторваться от приковавшей их цепи... Во-вторых, потому, что вы кое-чему учились, прежде нежели бросили его, имели возможность и дальше учиться и размышлять, тогда как миллионы не только не могут чему-нибудь учиться и о чем-нибудь размышлять, но часто и потребности такой не сознают... К ним-то откуда разум придет?

— Вот такие вещи я понимаю! — вдруг вскричал с восторгом Буреев, до этой минуты угрюмо сидевший в стороне. — Это сказано по-нашему! А то разум... да что это за саврас без узды? Ведь должно же быть место, где он (то есть разум-то, а не саврас) обитает? Если его нет в науке, нет в добытом людьми методе мышления, то где же он? По воздуху, что ли, носится и сходит на людей, как молния? Объясните, пожалуйста, вы-то хоть откуда его заполучили? Может, и мне тогда легко будет попользоваться им?..

Буреев оправился, захохотал и принялся основательно, в остроумной форме, возражать. Он как будто вспомнил целую область своего ума и знаний, забытых среди апатичной, мелочной жизни, как будто сам себя открыл, и в восторге приветствовал забытые мысли. Но зато Чехлов раздражался; он уже не был господином разговора. Нервно, с болезненно сверкавшими глазами он попробовал ошеломить резкою, библейскою речью, но это уже было «не из той оперы», как выразился Буреев. Наконец, чувствуя крайнее утомление, Чехлов совсем стал говорить вяло; на его усталое лицо легла тень глубокого равнодушия. Он почти не слушал, что ему говорят, и отвечал не на чужие вопросы, а на свои.

Да и все устали. Спор сам собою утих. Александра Яковлевна кончила его шуткой.

— Знаете, Денис Петрович... Одному вашему единомышленнику я сказала, что он напоминает то неблагодарное существо, которое, вдоволь накушавшись плодов прекрасного дерева, от безделья вздумало подкапывать его корни... «Но если б вверх могла поднять ты рыло, тебе бы видно было», — сказала я ему. Но теперь я не отказалась бы от удовольствия, повторить это вам...

Никому не простил бы Денис Чехлов такой шутки, но из уст Александры Яковлевны он выслушал ее спокойно; он неопределенно засмеялся, и его смех не выражал ни оскорбленности, ни желания бороться за свое достоинство. Его усталое лицо смягчилось, и взор его, устремленный на Александру Яковлевну, потерял свою острую проницательность, даже в голосе его, всегда жестком, теперь слышались нежные тоны, мягкие оттенки.

Буреев, до сих пор озлобленный против него, враждебно встречавший каждое его слово, возмущавшийся его жестами и фигурой, теперь добродушно говорил с ним и с удивлением смотрел на его смягченные черты. Впрочем, говорили о разных простых вещах, смеялись, шутили, и такое мирное настроение продолжалось до обеда. А после обеда Чехлову надо было ехать, что уже само по себе отбивало у всякого охоту снова поднимать длинный спор.

Чехлов задумчиво сидел за столом во все время обеда и едва участвовал в разговоре. Только когда все вышли из-за стола, он вдруг сделал предложение:

— Сегодня, господа, в городе назначена небольшая беседа... не угодно ли кому из вас отправиться со мной? Для меня это было бы приятно. Сейчас мы заговорили и не кончили разговора о «положении». Я считаю чрезвычайно важным этот вопрос и буду именно о нем говорить... Но для меня, по моим понятиям, он не сам по себе важен, а по тому значению, какое люди ему придают. По всей вероятности, мне не удастся убедить вас, — это

дело настроения, — но по крайней мере я постараюсь бросить свет туда, где теперь одно только мрачное отчаяние... Итак, что вы думаете? Ехать надо сию минуту, поезд уже близко...

— Извольте, поедем! — сказал первым Буреев весело и ласково. Потом, обратившись к сестре, он спросил: — А ты, Маша, хочешь ехать?

Маша с чувством величайшего удовольствия ответила утвердительно. Вслед за ней согласился и Хордин, притом выразил свое согласие шумно:

— Едем, так едем!.. Что, в самом деле?.. Кстати, там теперь оперетка приехала, послушаем музыку!

Чехлов не обратил внимания на это курьезное сопоставление «беседы» с опереткой, хотя в другой момент зло воспользовался бы, — он вопросительно смотрел на Александру Яковлевну. В сущности, делая свое предложение, он имел в виду только ее одну, мысленно он почему-то считал очень важным, чтобы она поехала с ним. Согласие Хордина и Буреева с сестрой он принял совершенно равнодушно и ждал только ответа Александры Яковлевны. И вдруг, неожиданно для него, в ответ на его вопросительное лицо она покачала отрицательно головой.

— Я останусь дома, — с спокойною улыбкой сказала она.

— Почему? — вскричал Чехлов, — так было это неожиданно для него.

Она задумалась, но тотчас же решительно сказала:

— Нет, не поеду! — и уклонилась от объяснения.

Он мрачно сконфузился. Если бы она бросила в его сторону насмешку или брань, он стерпел бы, но это простое «нет, не поеду» внезапно причинило ему оскорбительную боль. Он сконфуженно и в то же время тяжело улыбнулся, как улыбается человек, которому отказали в очень важной для него просьбе.

Однако до поезда оставалось немного времени, и все шумно принялись собираться, а через некоторое время Буреев с сестрой и Хордин пошли. Чехлов подошел проститься к Александре Яковлевне, сильно сжал ее худую руку и с тревогой поглядел ей прямо в глаза; но эти глаза только добро улыбнулись ему, и больше он ничего не мог заметить.

Он вышел последним из дома и догонял раньше ушедших. Но когда он вышел за ворота усадьбы, сердце его вдруг сжалось непонятною тоской, какую он не знал никогда, и, по мере того как он удалялся от дома, тоска все шире и глубже, до боли, чувствовалась им. Ему показалось совсем неважным то, что от он едет на поезд, неважно то, что с ним едут три лица, неважное и то, что вечером он будет говорить на большом собрании людей, и неважным это показалось *потому, что* с ним не поехала Александра Яковлевна и не будет слушать того, что он скажет.

В сильной тревоге он стал искать причину, почему она отказалась ехать. Не обидел ли чем он ее? Не сказал ли чего такого, что внушило ей нерасположение к нему? Да и чем она может оскорбляться? Что вообще она любит и чего не любит?

При этом он вздумал было разобрать ее, исследовать и понять, как он разбирал каждого человека, но с тревогой и изумлением бросил. Всюду чуткий и проницательный, разбиравший самые сложные человеческие механизмы, перед фигурой Александры Яковлевны он внезапно остановился, ничего не понимая. Как будто внезапно острые глаза его ослепли, тонкий слух закрылся и наблюдательный ум превратился в тупое и никуда не годное орудие. Когда он встречал незнакомого человека, он без всякого усилия с своей стороны следил за выражением, за малейшими оттенками его голоса, за тончайшими изгибами его слова и мысли и по этим следам проникал в самую глубину существа незнакомого человека и понимал его. Точно с такою же наблюдательностью, помимо своего желания, он заметил неопределенный цвет волос Александры Яковлевны, различные выражения ее больших глаз, все черты ее худого лица, заметил и то, как она выражается, как мысль ее работает, — все заметил, только ничего не мог разобрать и понять. Как будто он никогда не видал такого человека и в особенности такой женщины, и его острый, разъедающий ум оказался здесь не только тупым, но бесполезным. Когда он видел всякого другого человека, он тотчас же знал, что в нем гадко и что хорошо. А здесь он ничего не мог разобрать; что дурно и что хорошо. Даже разбирать по частям тут нечего было, как бессмысленно разбирать предмет, в котором все изумительно просто, наглядно и цельно. Представляя ее черты, ее слова, он только чувствовал, что видеть ее приятно, не видеть — тоска, говорить с ней — удовольствие, говорить там, где ее нет,— не сто́ит.

И когда он молча сидел в вагоне между Буреевым и его сестрой, в его голове неискоренимо засела явно нелепая мысль: «Да сто́ит ли там говорить, — ведь она не будет слышать?»

VI

Поезд тихо лязгал по рельсам. Из окон вагона открывались необъятные степные дали, кое-где перегороженные лесистыми холмами. День был теплый, чисто майский. Позеленевшие поля сверкали бархатом. Лес позеленел. Воздух насыщен был ароматом возродившейся жизни.

Чехлов замолчал с самой первой минуты прихода в вагон и отвернулся к окну от спутников. Но по мере того как он смотрел в окно, суровые черты его распускались в какой-то неопре-

деленной печали. Весенний ли аромат, врывавшийся волнами в окно вагона, голубое ли небо, открывавшее всю свою глубину, тоска ли по чему-то неизведанному, только в жестких складках его лица появились новые черты, а острый взгляд его поминутно заволакивался влажною пеленой. Он сам чувствовал, что слезы затуманивают ему глаза и сердце сжимается от неведомой истомы. Он пробовал стряхнуть с себя эту тоскливую негу, хотел сделать какое-нибудь внезапное движение, крикнуть резкое слово — и не мог. Он неподвижно сидел на месте, все тело его застыло в истоме, и взоры смутно блуждали по широкому простору полей, мимо которых катился поезд.

Буреев посматривал на него и все более поддавался чувству доброжелательства к этому суровому человеку, все слова которого так враждебно принимались им. Он в эту минуту так был настроен, что ему хотелось встать с своего места, подсесть к нему и пожать ему руку, за что — он и сам не сказал бы.

Незаметно для себя, он поддавался влиянию всякой силы, какая находилась возле него. В ранней молодости он поддался непреодолимому стремлению посидеть в кутузке — и посидел не потому, чтобы злоумышлял преступные деяния, а потому, что все близкие его непременно отсиживались, просто за компанию. Немного спустя он проникся другим настроением, выражавшимся — «око за око и зуб за зуб», и опять не потому, чтобы в натуре его лежала потребность ставить кому-нибудь фонари под глазами, а просто за компанию; его широкому, добродушному лицу решительно не свойственны были злоба и вражда. Вслед за тем пришло время, когда все кругом него стали называть потолок небом, идеалы — дурацкою сказкой, мечтателей — скучными болванами, и Буреев поддался этому. Наравне с другими он стал остроумно вышучивать мысли и дела, за которые сам недавно распинался.

Последнею слабостью, которой он отдался, был Хордин. В деревне они поселились почти одновременно. В то время, когда Хордин взял управление богатым имением, Бурееву нежданно досталось от дальнего родственника небольшое наследство. Достаточно помыкавшись по белому свету, Буреев с удовольствием переселился в свое имение, выписал сестру из Петербурга, где та училась, и спокойно зажил. В хозяйстве он ничего не смыслил и потому всю землю стал сдавать в аренду мужикам. Дело это до такой степени оказалось нехитрым, что на него напала страшнейшая скука. Бывало, целыми днями он слонялся по усадьбе и не знал, как убить дьявольски длинные дни. От нечего делать, в один год он вздумал заняться хозяйством, для чего на первых порах засеял десятин двадцать ржи. Но, к его негодованию, вместо ржи, на лето у него уродился чертополох. Он страшно тогда озлился на мужиков, которые столь наглым

образом надули его; но потом, рассказывая об этом случае, он заливался добродушным смехом.

В это время он и познакомился с Хординым, имение которого лежало по соседству с его участком. Почти наверное можно сказать, что он при первом же знакомстве с Александрой Яковлевной поддался бы ее влиянию, но она, на несчастье, в это время казалась такою подавленной и разбитой, что с ней тяжело было даже говорить. Поэтому Буреев поддался Хордину. Хордин проповедовал практичность — и он также стоял за практичность, Хордин ругал мужиков — и он их ругал; только все это у него выходило мягче. В сущности, ему не было ни охоты, ни интереса ругать мужиков; ругал он их только отвлеченно, а в действительности со всеми своими мужиками отлично жил; ругал просто потому, что сердце его было мягкое, характер нежный, так что когда Хордин что-нибудь говорил, он по доброте соглашался с ним, чтобы не обидеть его. Он так мало придавал значения себе и так много всякому другому, что соглашался видеть хорошее там, где было одно только дурное. Случалось, что Хордин в городе напивался до одури пьяным, и Буреев старался быть с ним в одном градусе, хотя водка на его вкус казалась гадкою. Быть со всеми в одном градусе — таково было существенное и неизменное желание его.

Поэтому же самому он продолжал думать, что принадлежит к чему-то целому, вроде партии, и носит строго определенные убеждения; он считал себя неотъемлемою частью какого-то *мы* и делил людей на *наших* и *не наших*. Впрочем, Хордин также по старой привычке считал себя в числе *мы* или каких-то *нас* и думал, что имеет какие-то *наши* стремления. Но у Хордина это происходило потому, что он обладал двумя лицами, а у Буреева просто от беспамятства и слабости. На самом деле он имел кое-какие искренние убеждения, но только придавал им различные цвета, смотря по окраске окружающего. Когда кругом господствовали розовые цвета — и он окрашивал себя в цвет радости; когда кругом было серо и пусто — и он обесцвечивался; если же повсюду стояла осень и мгла закрывала небо, а земля превращалась в топкое, зловонное болото, и он погружался по уши.

И все-таки в каждую данную минуту он смутно носил в себе образ полного человека и веру в его реальное существование.

По приезде в город, Хордин и Буреев на короткое время расстались с Чехловым, — не было еще условленных восьми часов, когда ожидалось собрание. Чехлов же прямо отправился в дом, хозяева которого любезно предоставили в его распоряжение свою большую квартиру. Хозяин принадлежал к хорошо обеспеченному служилому сословию и, в сущности, давно похоронил душу свою под грудами казенных истин, но вместе с тем отличался чисто бабьим любопытством ко всему новому. В городе

он слыл за человека, назначение которого «оживлять» всякое общество. Он участвовал во всех сборищах, записывался членом всех обществ, распоряжался на всех юбилеях и похоронах и всюду оживлял. Не было предмета, о котором бы он не мог произнести прекрасной речи; и все вопросы, кажется, были знакомы ему, начиная с вопроса о вывозе за границу русской свинины и кончая вопросом о конце мира. Когда заговорили о Чехлове, бабье любопытство его и здесь нашло почву. Раза два он встретил Чехлова в других домах, а потом пригласил его к себе.

Встретив его сию минуту в прихожей, он пламенно потряс его руку, повел его в залу, где уже гудела большая толпа собравшихся, и предложил немедленно познакомить его со всеми. Но Чехлов холодно отказался от этой церемонии.

— Зачем знакомиться? Разве люди непременно должны знать свои ярлыки, чтобы говорить по-человечески? — заметил он.

Хозяин сначала оторопел от этой выходки, но тотчас же пришел в восторг.

— Дико, но оригинально! — говорил он шепотом, обходя через минуту гостей и всем сообщая о словах Чехлова. Так что Чехлова мгновенно вся зала узнала, и все глаза обратились на него.

Между тем он сел на первый попавшийся стул от входа и обводил глазами незнакомые лица. Мало-помалу мягкая тень, лежавшая на его лице, сошла, и черты его опять стали жесткими, как всегда. Еще за минуту перед тем он ощущал страшную слабость и с неприятным, тяжелым чувством думал об этом собрании, где он должен говорить, но лишь только он очутился в толпе, энергия его моментально возродилась. Глаза его зловеще сверкнули, в лице появилось вызывающее, боевое выражение.

Несколько человек, уже знакомых ему раньше, поздоровались с ним, а остальных он открыто, не стесняясь, наблюдал и прислушивался к разговорам. Этого бесстрастного, молчаливого наблюдения ему было достаточно, чтобы приблизительно оценить многих из присутствующих. Он заметил тут рослую фигуру местного газетчика с крупным и жирным, но скопческим лицом; недалеко от него сидела огромная дама, напоминающая по своим размашистым движениям лошадиного барышника, — это была самая рослая по величине фигура. Другие подле них казались мелкими, бледными и бесцветными. Но Чехлов на них-то и направил все свое внимание. Он по опыту знал, что самыми опасными противниками могут быть только эти бледные, маленькие люди... Вот тот, например, газетчик с лицом скопца, в сущности, ничтожество; каждый знает, что газета для него — коммерция, слова его — базарные ценности, хорошие слова — хорошая базарная ценность и язык его без костей. Но вот эти благовоспитанные, приличные люди, побледневшие над книгами,

официальные носители истины, представители свободных искусств, — вот их-то более других ненавидел Чехлов... В них с детства вытравлена какая бы то ни была вера и убита воля, но они — признанные жрецы истины и в их руках все орудия ходячей правды... вот их-то надо подорвать!..

И в душе Чехлова закипела злоба и мгновенно вызванное этою злобой сознание своей силы. Он, обводя глазами собравшихся, угадывал нравственное состояние этой толпы, ничем не связанной между собою, разбитой на множество отдельных эгоизмов, потерявшей веру в нечто целое и потому страшно порочной. Это одушевило его. Одни люди воодушевляются состраданием и любовью, но он принадлежал к тем, сила которых — в негодовании; его ум только тогда сильно работал, когда открывал заблуждения и ложь; сердце его воспламенялось только в виду порока.

Прошло минут двадцать с прихода его, и он уже чувствовал, что готов к разговору, и знал, о чем ему говорить. В зале стоял беспорядочный шум; все разбились на кучки. Казалось, все с намерением откладывали цель, ради которой собрались, и говорили обо всем на свете, только не об этом. Предоставляли начать «серьезный разговор» самому Чехлову, причем ждали от него формальной речи, реферата или чего-нибудь вроде этого. Но он, по-видимому, не думал начинать и молча продолжал наблюдать лица, прислушиваясь к разговорам.

Вдруг к нему обратился господин, сидевший подле него, обратился с любезною улыбкой, так как и сам представлял воплощенную любезность, хороший тон, порядочность.

— Извините меня... вы господин Чехлов? — спросил этот изящный и любезный господин.

— Я.

— Извините... Я сейчас слышал, как вы отказались знакомиться с присутствующими здесь, и хотя рискую получить такой же отказ на свой счет, но все-таки позвольте познакомиться... Малахов, — и любезный Малахов протянул руку Чехлову.

Последний пожал плечами и тотчас же воспользовался случаем. Но сначала он с наслаждением решил обратить иронию на того, кто ее первый пустил в ход.

— Не знаю, чем вы могли рисковать в данном случае? — спросил он небрежно.

— Вы могли не принять протянутой руки, руководясь неизвестным мне правилом, — продолжал иронически любезный, улыбающийся Малахов.

— Я бы позволил себе сделать это в том лишь случае, если бы знал вас за человека, не заслуживающего уважения, — сказал Чехлов холодно, но уже с смеющимися глазами.

Любезный Малахов перестал улыбаться.

— Следовательно, ваше правило — подавать руку только тем, которые с вашей точки зрения заслуживают уважения? — спросил серьезно Малахов.

— Не знаю, зачем это непременно правило на каждый предмет? — возразил Чехлов уже насмешливо. — Никакого правила я не имею.

— Но ведь почему-нибудь отказались же вы знакомиться?

— Да потому и отказался, что у меня нет на этот счет никаких правил. Если бы я познакомился со всеми, то ведь это нисколько не помогло бы нам понять друг друга и не связало бы нас...

В это время в зале разговоры стихли. Заметив, что Малахов о чем-то говорит с Чехловым, все стали с любопытством прислушиваться.

— Все-таки выходит, что вы против общепринятых приличий? — продолжал настаивать Малахов.

— А вы не против них? — в свою очередь, спросил Чехлов, и та внутренняя радость, которая появлялась у него всякий раз, как собеседник его попадался в ловушку, ярко засветилась в его глазах.

— В принципе, против... Но если человек желает иметь дело с людьми, то он не должен оскорблять их нарушением общепринятых правил. Тем более, что это бесполезное дело...

— Так что если бы в это почтенное собрание появился простой человек, который не знает, что надо быть представленным, вы бы удалили его? — спросил Чехлов.

— Этот пример не идет сюда... Вы ведь не тот простой человек, который не знает этого обычая, — возразил опять с улыбкой Малахов, но уже раздражаясь.

— Почему же не тот?.. Я именно тот самый простой человек, не знающий, как себя вести в обществе, и прошу вас научить меня приличиям. Быть может, вы находите, что и костюм мой неподходящий и сапоги грязные, — я не знаю!

Любезный Малахов покраснел, в душе проклиная себя за начатый разговор. Когда-то он почти теми же словами говорил о бессмысленности многих «общепринятых» вещей, а вот теперь забыл... «Черт меня дернул!» — думал он с досадой. Но в то же время сильное раздражение закипело в нем против Чехлова.

— Вы напрасно придали моим словам такой курьезный смысл, — заговорил он быстро и уже без всякой тени любезности. — Я не придаю никакого значения приличиям, но я знаю положения, когда ради успеха дела надо подчиниться пустякам.

— Например, каким же? — спросил Чехлов.

— Да хотя бы тому же костюму. Есть такие положения, которые заставят вас надеть известный костюм.

— Извините, никто меня не заставит надеть чистые сапоги, если я не придаю им значения. Я согласен зависеть от вашей

истины, но, извините, не могу заставить себя подчиниться вашим убеждениям относительно сапогов. Никогда я не буду зависеть и от своих сапогов... С другой стороны, я не нахожу никакого соотношения между каким-либо хорошим делом и сапогами... Впрочем, простите меня, может быть, я ошибаюсь, но тогда потрудитесь напомнить мне великие дела, которые можно совершить при помощи чистых сапогов и изящного костюма.

Доведя разговор до этой бессмыслицы, Чехлов вдруг замолчал и обвел глазами всю залу. А в зале в это время поднялся смех, шутки, остроты. Никто не счел нужным хорошенько вдуматься в слова Чехлова, все видели в них просто чудачество оригинала, который не может обойтись без забавных выходок. Никто не подозревал, зачем все это говорил Чехлов и почему говорит так, а не иначе. Тем менее кто-либо подозревал, что именно эти чудаческие слова и есть то, что хотел сказать Чехлов. Но последний знал, зачем говорить и чем поражать эту веселую толпу, обрадовавшуюся случаю весело провести время... Он молча слушал этот хохот.

Между тем любезный и вежливый Малахов вышел из себя. Приняв раздавшийся смех на свой счет, он вспыхнул, побледнел, губы его задрожали, и судорога прошла по его лицу. Потеряв не только улыбку, но и душевное равновесие, он раздраженно принялся возражать.

— Я признаю долю остроумия в ваших словах, но чудачеством, хотя бы и остроумным, трудно доказать что-нибудь, — сказал он дрожащим голосом. — Я вам поставил серьезный вопрос, а вы возражаете чудачеством!

— В таком случае, извините мою невежливость, но я искренно не нашел в ваших словах никакого серьезного вопроса, — ответил Чехлов тем тоном, который всех так раздражал.

— Я указал вам, в сущности, на следующий вопрос: человек зависит от окружающих условий... как бороться против них, если они вредны? А вы позволили себе ответить остротами.

Последние слова Малахов выговорил взбешенным тоном. Но Чехлов только пожал плечами и молчал.

— Вы не признаете роковую силу окружающих условий? — вскричал Малахов.

— Отчего же не признать? Это можно. Я, например, признаю, что вот это стена, но зависеть от нее не следует. Я завишу от своего разума и совести, но не от стены или другой какой бессмысленной, неразумной вещи. — Некрасивое лицо Чехлова озарилось при этих словах светлою улыбкой.

— Какая наивность, позвольте вам сказать! — презрительно сказал Малахов. — Разве вы не можете представить себе положения, когда даже ваша невинная проповедь будет сочтена за нарушение тишины на улице и может кончиться... ну, хоть кутуз-

кой? Вы и тогда будете твердить, что не зависите от окружающих условий?

Чехлов опять с улыбкой пожал плечами.

— Что меня посадят в кутузку, это может быть, но это не мое дело! — возразил он насмешливо.

Раздался взрыв хохота. И опять никто не мог понять всей серьезности этих слов.

— Вот это мило! Сторож уличный ведет его в кутузку, а он говорит: «Это до меня не касается!» — с торжеством закричал Малахов.

— Да, это меня не касается. Кутузка не находится в моем распоряжении. В моем распоряжении только разум и совесть, но кутузка у меня их не отнимет.

Тут только Малахов начал понимать, на какой высоте стоит его противник, и внутренно смутился.

— Но как же проявится, интересно знать, ваша совесть в кутузке? — спросил он с наружною иронией.

— Я постараюсь убедить сторожа, что он впал в грубую ошибку, приняв меня за нарушителя тишины, и что он сделал не только дурное, но и бесполезное дело.

— И он будет убежден и послушается вас?

— Если он не послушается, то это уж его дело и меня не касается. И пусть он продолжает дело кутузки, а я буду продолжать свое дело, дело разума и совести. Потому что только это и есть мое дело, кутузками же я не заведую!

— И вы думаете, что из этого что-нибудь выйдет? — все еще иронически спросил Малахов, хотя чувствовал, что почва с ужасающей быстротой ускользает из-под его ног.

— А вы думаете, что из этого ничего не выйдет? В таком случае, о чем же мы с вами говорим? Если разум и совесть, или, как вы это называете, идеалы и убеждения, для вас пустяки и ничтожество перед кутузкой, если вы верите в непреодолимую силу сапогов, кутузки, стены, окружающих условий, о чем же нам с вами говорить? Мы стоим так далеко друг от друга, что не можем ни слышать, ни видеть друг друга, и голоса наши будут раздаваться в пустыне...

В зале поднялся неопределенный шум. Многие поднялись с мест. Но в особенности заволновалась молодежь, которая тут была; свежие лица этих юношей и молодых девушек с восторгом обратились в сторону Чехлова. Было мгновение, когда казалось, что они все враз заговорят.

Но голоса почтенных людей заглушили бы их голос. Послышались с разных сторон возражения. Потерявший равновесие, изящный Малахов также продолжал говорить и возражать.

— Позвольте, позвольте! — кричал он, между прочим. — Мы еще не кончили вопроса!

— Не понимаю, о чем нам с вами говорить? — сказал холодно Чехлов.

— Но позвольте... Прежде ведь, чем вы успеете убедить сторожа в ошибке, вы можете лишиться самой возможности убеждать!

— То есть это что такое? — спросил Чехлов с любопытством.

— Смерть!

— Меня может постигнуть смерть? Быть может. Но это опять не мое дело. Я не распоряжаюсь смертью — она вне моей воли, и распоряжаться ею — не моя обязанность. Моя обязанность только разум и совесть, ими я могу распоряжаться. Но зато ими я и могу распоряжаться с бесконечным произволом и не знаю того положения, которое бы отняло их у меня.

Любезный господин замолчал. Честный и прямой, он даже не пожелал воспользоваться каким-нибудь благовидным предлогом, чтобы смолкнуть; он без всякого предлога замолчал и с тоскливою тревогой ушел в себя. Он был очень образованный человек и когда-то сам стоял на таких же высотах мысли, но потом, незаметно для себя, спустился вниз и погрузился в практичные болота и даже забыл, что на земле существуют высокие горы, гордые вершины которых первыми встречают розовые лучи солнца и последними провожают их в ночной мрак. Но сейчас он вспомнил прошедшее, задумался и замолчал, даже не скрывая, что ему пока нечего говорить.

Овладев не только вниманием залы, но и предметом разговора (тогда как у всех остальных внимание ни на чем цельном не было сосредоточено и никто хорошенько даже не знал, зачем сюда собрались люди), Чехлов с внезапным воодушевлением заговорил о том, что хотел сказать.

Он начал с любимого и действительно поразительного положения всех стоиков, что человек силен, счастлив, свободен и справедлив только до тех пор, пока распоряжается тем, что ему принадлежит, — разумом и сердцем; но раз он ставит свою жизнь и счастье в зависимость от какой-нибудь посторонней вещи — будет ли это богатство, власть, мнение других людей, он тотчас становится жалчайшим рабом всего, что не находится в его распоряжении, и доходит до такого унижения и несчастия, что страдает от неимения совершенно ненужного, но общепринятого предмета... Дама, не имеющая возможности приобрести известного фасона шляпу, может сильно страдать и действительно невыносимо страдает... Господин, которому не удалось обставить свой дом так, «как у всех», может ради приобретения бессмысленной обстановки заработаться до чахотки и действительно погибает, истекая кровью... Юноша, не успевший заучить мертвые слова погибшего языка, может пулей раздробить свою голову и действительно раздробляет... Честная девушка, по увлечению

родившая незаконного ребенка, может, ввиду мнения окружающих, бросить маленькое, невинное существо в яму и бросает, хотя сердце ее разрывается на части... Все эти несчастные люди несомненно страдают, но страдают только оттого, что отдаются в рабство таким вещам, которые от них не зависят, которые сильнее их...

Подготовив слушателей, Чехлов дальше заговорил о человеке и среде, о личности и об окружающих условиях. Лицо его при этом загорелось страшною враждой. Он переводил взоры с одного присутствующего на другого, угадывал инстинктивно недостатки и слабости каждого, и его злой ум воодушевлялся страстною злобой. По-видимому, обрисовывая отвлеченный вопрос, он на самом деле только рисовал этих людей, среди которых он стоял, которые его слушали и по лицам которых блуждал его взгляд. Все обвиняют, говорил он, что-то внешнее, но только не себя. Один обвиняет каких-то могучих людей, которые мешают ему что-то делать, другой обвиняет среду, которая будто его съела, третий не стесняется взвалить вину за свою пошлость на невинную семью, которая отнимает все его время. Четвертый жалуется на тупых и косных людей, окружающих его со всех сторон и мешающих его энергичной деятельности. Пятый не стыдится объяснить свою грубую, бессмысленную жизнь тем, что так другие живут... И никто не хочет себя обвинить, и никто не желает над собой поработать, научить себя, воспитать и сделать из себя справедливого, любящего, благородного человека. Все хотят бороться со злом «положения», со злом «окружающих условий» и «внешнего давления», никто не борется только с собой; каждый видит кругом зло, только в себе ничего не замечает... Оттого кругом слышится вопль взаимных обвинений, содом взаимного побоища, ад грешников, с остервенением грызущих друг друга... Разум каждого позорно пресмыкается перед всякою внешнею силой, часто ничтожною, иногда совсем вымышленною. И жизнь сделалась постылым делом, дело превратилось в ремесло, ум в машину, убеждения в механические слова, слова в обязательное отправление неуправляемого языка...

— Пусть мне укажут положение, — закричал Чехлов, — где бы разум должен замолчать, совесть заглохнуть! Говорят, верность своей внутренней правде, верность до конца свойственна только героям... Какое изумительное заблуждение! Как раз обратно, — герои-то и неверны себе никогда! Герои идут войной на окружающие условия, побивают врагов, — это уже их дело воевать с тем, кто сильнее их, и добывать то, что им не принадлежит. Простой человек за ними не может идти; в его распоряжении только он сам, его собственная совесть; но зато с своею совестью он может распоряжаться с бесконечным произволом... И здесь он может проявить такую силу, что смутит самих героев, воюющих с тем, что им не принадлежит...

Чехлов продолжал еще много говорить о силе личности. Это было лучшее и самое высокое, во что он только верил. Он говорил на этот раз не холодно, как всегда, а с пылающим лицом и со взором, полным гордой уверенности. Это были не доказательства, не отвлеченная теория, не слова, а торжественный гимн, вырвавшийся из глубины его собственного существа, которое сознавало свою силу и верило в свою власть. В его устах личность принимала колоссальные размеры, покрывающие собой целый мир; человека он наделял могуществом бога.

Он говорил бы долго на эту тему, но чисто физическое утомление, выразившееся крайне упавшим голосом, заставило его замолчать. С разных сторон к нему посыпались вопросы, но он отговаривался усталостью и попросил перерыва. Во время перерыва в зале воцарился шумный беспорядок; он этим воспользовался и через полчаса вышел в смежную комнату, где был свежий, прохладный воздух. За ним последовал туда Буреев, весь отчего-то сияющий.

— Как бы мне хотелось уйти отсюда! — тихо прошептал Чехлов, не обращаясь к своему спутнику.

— Что ж, уйдем! — ответил весело Буреев и, взяв его за руку, провел его другим ходом в прихожую.

Там они наскоро оделись и незаметно вышли на улицу.

Был уже поздний час ночи. Уличная пыль улеглась; дышалось свободно. Чехлову, после душной залы, разгоряченному речью до опьянения, не хотелось говорить. Он вздохнул глубоко, снял шляпу и, блуждая улыбающимся взором по темному небосклону, где уже зажигались звезды, молча шел рядом с Буреевым.

Но зато Буреев был в таком восторженном настроении, при котором нельзя молчать. Когда они только что вышли из дома, сияющее лицо его поминутно обращалось в сторону Чехлова, словно он собирался что-то ему сообщить. Наконец он весело захохотал и заговорил:

— Отлично!.. Крепче бейте!.. Из всей мочи бейте по освинелым башкам!.. Это, очевидно, ваше призвание!— кричал он и сдержанно хохотал.

Чехлова покоробила эта грубая форма похвалы, но он все-таки с чувством удовлетворенной гордости улыбнулся, слушая восторг недавнего врага.

— Я чувствовал, какое впечатление производят ваши слова... бесподобно вы умеете разить врага!.. Но вы не смущайтесь, бейте по освинелым головам! Так и нужно! Это я на себе узнал! Когда вы треснули меня по затылку, я сначала, конечно, заревел от боли, но так и нужно было!.. Мы все за это время так освинели, что вместо разговоров стали только хрюкать... И тут,

очевидно, только хорошею затрещиной можно привести в себя одичалого человека... превосходно, бесподобно!..

Чехлов, слушая этот курьезный восторг, продолжал думать, что идущий с ним рядом человек сделался его учеником, только странно выражается.

— Наконец вы поняли меня и соглашаетесь со мной? — сказал он вопросительно, но не сомневаясь в положительном ответе.

Но Буреев вдруг ошеломил его.

— Я соглашаюсь? Откуда вы это взяли? Ничуть не бывало! — весело заметил Буреев.

— Да ведь вы же сейчас говорили?.. — спросил Чехлов, растерявшись и нахмурив брови.

— Я только изумлен вашим искусством разить... Это меня привело в восторг... Превосходно!.. прелесть!.. Бейте по озверелым головам, возвращайте к жизни мертвецов... Это настоящая ваша роль, призвание, огромное дело! В этом смысле все мои симпатии — ваши, берите мой восторг и удивление! Но я не могу быть вашим последователем и не советую вам заниматься моралью — это не ваше дело... Ваше призвание разить врагов, а не проповедовать. Вы похожи на того легендарного ксендза, который однажды, будучи возмущен пороками паствы, начал свою проповедь в костеле следующим образом: «Возлюбленные братья! Я знаю, что вы плуты и негодяи...» Вот ваше назначение!

Буреев выговорил это в сильнейшем возбуждении и как нельзя более серьезно. Но Чехлов принял его слова за наглость шута. Он побледнел, а из-под нависших бровей его смотрели на Буреева озлобленные глаза. Однако он еще сдерживался.

— А я думал, что вы в самом деле поняли! — сказал он презрительно.

— Думаю, что понял... Ваши положительные взгляды, откровенно говорю, возмущают меня! Но зато ваше искусство разить освинелые головы — просто чудесно! Это настоящее ваше призвание — приводить каждого *в себя*, — пьян ли человек, одурел ли от мелочей или изнаглел в свалке за кусок хлеба... Вы способны каждого возвратить *к себе*, заставить вспомнить *свои* мысли. Но именно поэтому, мне кажется, у вас и не будет последователей... Ваше дело толкнуть ногой и сказать: «Эй ты, скотина! вставай, что ты тут в грязи-то валяешься?!» И он встанет и пойдет *своею* дорогой. Но не за вами.

Взволнованный собственными словами, Буреев дружески обращал свои взоры на спутника, к которому внезапно воспылал искреннею любовью. Он говорил искренно и на самом деле был увлечен Чехловым. Он хотел и дальше распространиться на этот счет, но Чехлов вдруг повернулся к нему спиной

и пошел по незнакомому переулку, ничего не сказав, не простившись.

Обескураженный Буреев остановился на месте и сначала ничего не понимал. Он смотрел вслед удаляющемуся Чехлову и колебался. Сообразив, наконец, в чем дело, он хотел пуститься вдогонку за ним, но только махнул рукой.

— Обиделся!.. вот чудак!.. А еще проповедует любовь! — прошептал он и пошел один своею дорогой.

Он был встревожен и опечален этим случаем и решил завтра же увидать Чехлова и попросить извинения, если только он действительно оскорбился.

А Чехлов оскорбился. Он не только оскорбился; но с этой минуты питал мстительную вражду к веселому Бурееву. Буреев же на другой день нарочно отыскал его у Мизинцева и открыто, при посторонних, попросил у него извинения, сам не понимая, в чем извиняется. Но Чехлов, наружно примиренный этим извинением, в душе не принял его.

Он не забывал обид.

VII

Прошло более месяца.

Чехлов своей квартиры не имел и с самого приезда жил у Мизинцева, который с величайшею готовностью отдал в его распоряжение всю свою холостую квартиру и готов был служить ему, — сначала, как гостю, явившемуся к нему с рекомендательным письмом, а потом как единомышленнику.

Сам Михаил Егорович не считал себя способным распространять в обществе учение свое, а когда делал попытки в этом роде, то с грустью убеждался, что все над ним только смеются. И вот теперь появился смелый, красноречивый оратор, одаренный всеми способностями, чтобы рельефно выразить дорогие для Михаила Егоровича истины, такой человек, слово которого было послушным орудием его тонкого ума. Где нужно насмешливый, всегда вдохновенный, иногда неумолимый до жестокости и откровенный до цинизма, Чехлов в первый же день знакомства произвел потрясающее впечатление на Мизинцева. Последний с его приезда совершенно успокоился насчет своих убеждений и однажды сказал собравшимся у него знакомым:

— Вы не хотите меня слушать... смеетесь? А вот, погодите, Чехлов вас заставит себя слушать! Над собой будете смеяться!

И хотя эти слова также вызывали только смех веселой компании, но Мизинцев чувствовал, наконец, свое торжество, ибо верил, что Чехлов действительно обратит смех на самих смеющихся.

Простому Михаилу Егоровичу не понравилось только одно в приезжем госте, это — его склонность к библейскому тону, в который тот часто впадал. К чему он? — удивлялся Мизинцев. — Истина не нуждается ни в трубных звуках, ни в кричащих тонах, ни в барабанном бое; но вначале он снисходительно отнесся к этому, — слишком крупны были другие черты Чехлова, чтобы стоило замечать такую мелочь.

Честный Михаил Егорович имел более прочную оценку людей. «Ты говоришь? Но покажи, как ты живешь!» — внутренно говорил он перед каждым человеком. И этою мерою он, более или менее строго, мерял и себя. Он говорил, что водку не надо пить — и не пил; он считал курение табаку вредным — и не курил; он считал развратом косить глаза на женщину — и не только не заглядывался на женщин, но даже отплевывался от одной этой дурной мысли, за малым, конечно, исключением. Он говорил, что в жизни не надо ничего возбуждающего, пьяного, излишнего, бесполезного. И он был во всем умерен. Из возбуждающих напитков он пил только чай, да и то жидкий, — это ничего. Самым лучшим кушаньем он считал самое простое, где не было ничего раздражающего; впрочем, он допускал употребление лука, — как это ни подло, но по слабости он не мог отказаться от этого. И потом он еще любил кисель с ванилью; отказаться от этого и других подобных вещей было выше сил.

По его мнению, для человека нужен чистый воздух, удобная, но дешевая одежда, здоровая пища — это в физическом отношении. Что касается умственных потребностей человека, то он на этот счет не пришел ни к какому определенному заключению и хотя сам любил худые, тощие книжки, говорящие о практических предметах, но не считал чтение их обязательным для других людей. Вообще относительно умственного развития он находился в безвыходном положении человека, на кончике носа которого выросла шишка, фатально отражающаяся в глазах, куда бы он ни смотрел и как бы ни старался забыть ее.

Самым симпатичным взглядом из всех прочих его мыслей был тот, который касался воспитания детей. Он в этом случае выходил из себя и с заслуженным негодованием громил матерей, которые, в лучшем случае, отдают детей на руки наемных людей, а то так просто бросают их на произвол судьбы.

«Наша семья как бы нарочно устроена для вывода никуда не годных, тряпичных людей и темных деятелей... и надо удивляться не тому как много кругом пошлости, а потому, как еще могут попадаться хорошие люди!» — говорил он. Однако хорошо он знал только то, как надо воспитывать детей дома; когда же его спрашивали, как же это разумное воспитание распространить дальше, за пределы дома, он начинал говорить такие вещи, хоть зажимай уши и спасайся, если позволят ноги.

Тем не менее у Михаила Егоровича было еще особого рода чутье, благодаря которому он почти верно отделял дурных людей от хороших. Это чутье не находилось в зависимости от убеждений; по всей вероятности, оно было бессознательным у доброго и чистого человека, каким он был. Благодаря этому чутью он иногда и пьяниц должен был считать хорошими людьми и, наоборот, не пьяниц часто презирал.

То же чутье в скором времени понадобилось ему и для странного гостя, но его оказалось мало.

Чехлов в первое же время несколько удивил Мизинцева.

Заметив, что в указанной для него комнате стоит мягкая мебель, он тотчас с раздражением попросил хозяина ее вынести. Мизинцев подумал было, что гость просто не любит вещей пыльных и, следовательно, вредных, но Чехлов сам пояснил.

— К чему это? — сказал он с пренебрежением. — Лучше всего, разумеется, сидеть на земле, как назначила природа, но если этого нельзя, то по крайней мере не следует садиться на пружины.

Но Мизинцев не знал, серьезно это говорит Чехлов или смеется. По-видимому, серьезно.

Вслед за тем он велел прислуге вынести из комнаты все лишнее, вплоть до матраца с кровати, пояснив мимоходом, что он спит на полу. Мизинцев вздумал было критически отнестись к этим странностям и заспорил, но Чехлов со свойственною ему диалектическою ловкостью принудил его замолчать, уверив, что это прямой вывод из его же, Мизинцева, взглядов.

— Вы убеждены, что человек должен отказаться от всего лишнего, бесполезного, развращающего? Но зачем же вы останавливаетесь на полдороге и, отвергая корсет, допускаете пружинный стул? Это вещь бесполезная, следовательно, она вредна, ибо вы заставляете мастера убивать время на выработку предмета, который вам не необходим.

Мизинцев растерялся при этих словах и замолчал.

Во время чая, который он предложил гостю в первые минуты приезда, этот последний отказался от булок, а попросил черного хлеба, и Мизинцев тогда был неприятно удивлен этим, но впоследствии он не смел высказывать свое неодобрение такому поступку, хотя это ему не нравилось.

Однажды рано утром, когда они оба уселись за чайный стол, Чехлов вдруг пристально начал вглядываться во двор, куда выходили окна квартиры. Двор был огромный и весь застроен крошечными флигелями, в которых целыми кучами гнездилась ремесленная бедность. Около одной такой избушки старая старушонка возилась около какого-то чурбана, держа в руках топор; ей надобно было, очевидно, расколоть этот чурбан на несколько поленьев, но она нелепо, по-бабьи, шлепала топором по обрубку,

а он только катался вокруг ее ног, как какой-то живой зверь, с которым играл ребенок. Поглядев пристально на все это, Чехлов вдруг поднялся из-за стола и молча вышел из комнаты. Через минуту Мизинцев уже видел, как он взял из рук старухи топор, вонзил его в обрубок, легко приподнял его, повернул над головой и грянул об порог избушки. Чурбан разлетелся на две половины; их Чехлов опять расколол, потом опять, пока не получилось беремя дров. Он тогда обратился к старухе и спросил, не нужно ли ей еще наколоть дров? Старуха с радостью заковыляла своими дряхлыми ногами под сарайчик и выволокла оттуда другой такой же чурбан. Чехлов расколол и его. Больше у старухи колоть было нечего; эти два чурбана представляли все ее дрова.

Чехлов вернулся в комнату, тщательно вымыл руки и принялся за чай с черным хлебом, причем заметил, что два чурбана произвели отличный аппетит у него. Мизинцев молча все это принял, не зная, как ему думать на этот счет. Не нравилось ему тут что-то, но он не смел разузнавать.

Немного спустя, в этот день, в квартиру вошло несколько молодых людей, и Чехлов тотчас же заговорил с ними.

Он заговорил о том, что было его, так сказать, «второю частью» — о любви. Говорил он хорошо, хотя общими местами, и привел Мизинцева в восторг, так что тот забыл о неприятном чувстве.

С ним заспорили. Один из молодых людей, большой скептик, спросил его, что надо делать, чтобы в действительности любить, и почему эта истина, известная людям уже несколько тысяч лет, не вошла в сердце всех и каждого. Чехлов сначала уклонился от прямого ответа и стал задавать, в свою очередь, вопросы, причем через короткое время превратился из ответчика в обвинителя.

— Откуда вы заключаете, что любви нет, что действия ее незаметно, что это выдуманная мечтателями ложь? — спросил он, и обычная торжествующая улыбка осветила его холодное лицо.

Молодому человеку пришлось признать дилемму: или любовь есть и должна быть всюду распространена, но тогда был бы прав Чехлов, или ее нет и быть не может. Молодой человек, взволнованный загадкой, выбрал средний путь. Он указал на кровавые войны, борьбу сословий, убийства, борьбу за существование и сказал:

— Вы видите и сами знаете, из чего слагается жизнь! Если есть действительно любовь, то она живет в единицах и ничтожна по своим размерам!

— Но ничтожная сила производит и ничтожное действие? — спросил Чехлов.

— Конечно. Это я и говорю.

— А ничтожное действие незаметно?

— Разумеется, незаметно... Да я с этого и начал!

— Почему же эту ничтожную силу, производящую ничтожное действие, заметили несколько тысяч лет и с тех пор каждое мгновение говорят о ней на разных языках? — спросил Чехлов с злою радостью.

— Потому, что она желательна для всех, — ответил неловкий спорщик.

— Но желаемая всеми вещь может ли быть ничтожной? Она уже потому не ничтожна, что существует в душе всех. А по-вашему, выходит, что всеми желаемое никому в то же время незаметно!

— Я не так выразился... Любовь для всех выгодна, но этого большинство людей не понимает, — возразил поспешно противник.

— А война выгодна? — спросил Чехлов.

— Нет, конечно.

— И что она невыгодна — это понимают?

— Понимают.

— И все-таки воюют, все против каждого и каждый против всех? Следовательно, вы утверждаете, что война существует потому, что она невыгодна, а любовь не практикуется потому, что она выгодна? Или, быть может, вы что-нибудь другое хотели сказать? — с презрением заметил Чехлов.

У противника появился пот на кончике носа, впрочем, быть может, оттого, что он одним махом выпил стакан горячего чая. Однако он был упрямый и самолюбивый юноша и не хотел уступить. Он продолжал спорить. Но Чехлов окружил его такою мелкою сетью вопросов, что он, давая на них противоречивые, часто нелепые ответы, совсем запутался и ошалел, как рыба, выброшенная на берег. Наконец, вскочив с места, он бешено топнул ногой и закричал:

— А я все-таки утверждаю, что любовь в настоящей жизни ничтожна!

Тут Чехлов сурово, с зловеще смотревшими глазами, принялся уничтожать бедного молодого человека.

— Да, для вас она ничтожна, вы забыли о ней, не верите в нее! Вы верите в машину, в пушку, в сенокосилку, в микробов, в телефон, но только перестали верить в то, что и есть ваша жизнь. Вы занимаетесь политикой, «вопросами», реформами, но всеми силами стараетесь забыть ту силу, которая все это вызвала на свет. Самих себя вы всеми силами стараетесь обратить в машину и механически стремитесь усвоить все взгляды, которыми снабжает вас книжная мудрость, и носите свое образование, как пищу в мешке, но основу жизни вы уже утратили. Нет, не совсем утратили! Даже вы любите и, только благодаря крупице любви, в вас сохранилась крупица жизни. Бо́льшая часть этой жизни уже омертвела, пораженная гангреной меха-

нически сделанного образования, но все-таки и вы еще любите... не смогли еще истребить любви! Когда после долгого одиночества вы стремительно бежите в общество себе подобных — это любовь вас погнала. Когда вы видите движение ребенка, слышите его лепет, и улыбка появляется на вашем лице — это улыбнулась любовь ваша... Когда вы, механически, как машина, скорбящие о народе, видите слезы врага ваших взглядов и сердце ваше сжимается состраданием — это любовь ваша сострадает... А когда вы, нагруженные до изнеможения вопросами, оглушенные свистом машин, вы, сами обратившиеся в бездушную машину, берете в руку револьвер с твердым намерением разбить вашу холодную голову и вдруг рука ваша бессильно опускается, — какая сила отдернула вашу руку? Это вспомнилась ваша любовь. Вы живете ею, дышите, она одна оберегает вас от смерти заживо. Вы ее всеми силами стараетесь истребить, но только потому, что вы не всю ее истребили, вы еще живете. Не истребляйте же ее до конца; это будет день вашей смерти, когда удастся вам растоптать ее! Не истребляйте любви машинными идеалами, мертвыми убеждениями, хитрыми, но бездушными делами! Не тушите огня! Для того чтобы огонь горел, не нужно непременно знать теорию пламени, не нужно ни хитрых «вопросов», ни машинных дел, ни бездушного служения каким-то идеям, не вами выдуманным, не нужно каких-то преобразований общества, на которые вы можете оказаться совсем бессильными, — ничего не нужно, кроме воспитания в себе любви... Не думайте, чтобы какое-нибудь громкое, но машинное дело, без участия вашего сердца, спасло вас от смерти заживо, — это бесполезно! Любить надо просто, помогать просто, прямым трудом, а не наподобие богача, который, бросив нищему деньги, думает, что он сделал доброе дело... Отыщите оставшуюся в вас крупицу любви и отдайте ее людям, и она к вам возвратится увеличенною в сотни раз...

Не поднимая головы от стола, только слушая эту речь, Мизинцев чувствовал, что он любит говорящего, но когда он встретился с его холодными глазами и взглянул на это жесткое, невозмутимое лицо, он задумался. Он больше не слушал, что кругом говорили, занятый своими мыслями. Только один раз он уловил несколько отрывочных слов из всего сказанного здесь. Кто-то спросил:

— А как вы смотрите на веру?

— Это только организованная и обезличенная любовь... — отвечал Чехлов.

Вслед за тем Мизинцев снова опустил глаза на стол, и рука его, державшая карандаш, тщательно выводила на белой скатерти какой-то сложный рисунок. Ему не хотелось поднимать от этого рисунка головы и встречаться с холодными глазами, чтобы не потерять иллюзии. Он бы хотел услышать эти слова, волнующие

его как музыка, из другого источника, из уст другого человека, лицо которого не было бы так жестко, во взоре которого не было бы столько презрения, а в словах не слышалось бы такой ненасытной жажды торжества.

В комнате стоял шум, раздавались возгласы, смех, восклицания, а Мизинцев не хотел поднимать головы. После шумного разговора молодые люди стали один по одному расходиться, и он каждому подавал руку, мельком при прощании взглядывал, но опять низко наклонялся к рисунку и спешно чертил, как будто это была срочная работа, которую следовало очень скоро кончить. По уходе всех молодых людей, в комнате настала мертвая тишина, а Михаил Егорович торопливо, с величайшим старанием рисовал на скатерти. Наконец, когда рисунок был кончен и он приподнял голову, со скатерти смотрело на него отвратительное чудовище, состоящее из одной головы, в середине которой торчал единственный глаз, и прямо от головы начинался толстый хвост, безобразно закручивающийся вверх; из головы же во все стороны тянулись длинные и тонкие отростки... Это было гнусное животное, какое создает только больная фантазия во время бреда...

«Нет! Я не имею права так относиться к нему!» — мысленно воскликнул Мизинцев, посмотрел на Чехлова, и раскаяние овладело им. Лицо Чехлова было не только вдумчиво, но мягко и с своеобразною печалью. Это, очевидно, толпа производила на него такое действие, что он становился злым, ненасытно самолюбивым и холодным, а когда он оставался наедине с собою, он мгновенно изменялся.

Мизинцев обрадовался, словно к нему возвратился оклеветанный друг.

Но проходили дни. Чехлов продолжал жить с ним. Происходили беспрерывно вечера, собрания, беседы, на которых говорил Чехлов, всюду вызывая горячие разговоры и волнение. Мизинцев даже редко и видал его у себя. Они встречались с ним только в большом обществе. И там опять Мизинцев наблюдал своего гостя в таком виде, что симпатии его раздваивались.

Они встречались, между прочим, каждую неделю у Хординых в деревне, но нигде не говорили между собою, хотя были единомышленниками, по крайней мере их убеждения исходили из одного и того же источника. Чехлов как будто игнорировал Мизинцева, не считая нужным разговаривать с таким серым человеком. А Мизинцев боялся обнаружить свои темные мысли и подозрения.

Между ними установились странные отношения; будучи единомышленниками, они не знали, что сказать друг другу, и тягостно молчали, когда оставались с глазу на глаз.

Не нравился Мизинцеву гость. Он часто старался подавить свою антипатию к нему, уничтожал первые признаки раздражения против человека, речи которого приводили его в восторг. Но эти честные усилия не приводили ни к чему: не нравился ему Чехлов.

Но почему, он не мог бы сказать. С его, Мизинцева, точки зрения он был во всем прав. Михаилу Егоровичу не нравились люди, у которых дело расходится со словом, но Чехлов был верен себе. Когда ему предлагали белый хлеб, он ел черный; имея возможность съесть за обедом кусок дичи, он ограничивался мясом... Когда ему предлагали матрац, он спал на полу. Если предстояло совершить путешествие в вагоне, он предпочитал сделать его пешком, а когда он мог бы ехать во втором классе, он садился в третий. Он однажды сказал Мизинцеву, что он, подобно Диогену, желает победить самое злое и хищное из животных — *наслаждение*. И Михаил Егорович видел воочию, что желание свое он приводит в исполнение...

Чехлов говорил о любви. И Мизинцев видел воочию, что Чехлов относится ко всем людям ровно и благожелательно. Наколол же он старухе дров. Быть может, этого мало... быть может, в другое время, занятый своим делом, он и дров бы старухе не наколол. Но ведь за это и нельзя его осуждать. Он практикует любовь уже тем, что повсюду говорит о ней, напоминая забытые идеалы... И все-таки не нравился ему Чехлов!

В особенности ему не нравился тон его со всеми — грубый, злорадный, презрительный. Словно все люди уж такие жалкие подлецы, а он один призван научить их истине и спасти от низости. Чем научить... словами? Но слов в продолжение жизни человечества столько наговорено и записано, что составленный из них столб коснулся бы своей вершиной звезд. Нет, не словами, а жизнью!.. Жизнь великих учителей никогда не ограничивалась одними словами. Даже маленькие, но убежденные люди прежде всего на себе проверяют свою веру и бесстрашно, с счастливым лицом, идут по своей дороге, хотя бы на конце ее вырыта была их могила. Правда, Чехлов верен себе: он спит на полу, ест черный хлеб, ведет умеренную, порядочную жизнь, а когда увидал беспомощную старушонку, то наколол ей дров, — это отлично, так и нужно с точки зрения Михаила Егоровича. Но в то же время Михаилу Егоровичу это отличное не нравилось, когда его делал Чехлов. Ему даже стыдно было, что Чехлов все это делает!

И Мизинцев не мог объяснить себе это непостижимое противоречие в отношениях своих к гостю. Он по складу своего ума не мог понять, что когда человек говорит большие слова, а подтверждает их ничтожными поступками, то это жалкая профанация, постыдное кощунство, осквернение храма слова.

Не понимая этого, Михаил Егорович раздвоился. Он должен был сознаваться на каждом шагу, что его гость поступает так, как нужно, но в то же время его прямая натура возмущалась каждым движением того. И чем больше они встречались, тем все сильнее натура Михаила Егоровича возмущалась Чехловым. Это было смутное недовольство.

Не понравилась ему также и сцена с Буреевым, когда тот пришел извиняться за свои неудачные выражения. Мизинцев часто сам брюзжал против веселого Буреева, открыто порицая его ленивую, беспорядочную жизнь; но он знал, что Буреев честный человек и добрый товарищ. А Чехлов презрительно его выслушал и холодно молчал. Когда же Буреев ушел, он вслед ему послал несколько ядовитых замечаний. Неужели можно быть таким мстительным?

Однажды Михаил Егорович был свидетелем невиданной суеты.

Было утро. Он и Чехлов оставались одни в квартире и, по обыкновению, молчали, не зная, о чем говорить друг с другом. Мизинцев закрылся газетой. Чехлов с нетерпением то ходил по комнате, то садился к окну и барабанил пальцами по подоконнику. Он пробовал перелистывать какую-то книгу, но после минуты беглого чтения молча захлопывал ее. И опять вставал и ходил. Ему, видимо, было не по себе; грызла, быть может, скука. Бездеятельность всегда отражалась на нем таким образом, а сегодня до позднего вечера, когда было назначено собрание, ему совсем нечего было делать. И он скучал. Скука же его выражалась острою потребностью говорить.

Вдруг дверь отворилась, и в прихожей остановился какой-то мужик.

— Будьте милостивы, господа, подайте переселенцу! — сказал он испуганно и смотрел то на Чехлова, то на Мизинцева.

Последний думал, что это нищий, и уж встал, чтобы выпроводить его. Но, взглянув, он убедился, что то не был нищий. Одетый, по-мужицки, чисто, с лица здоровый, он даже приблизительно не напоминал нищего. По его манерам казалось, что он редко и в городе бывал. Тут, кстати, Мизинцев вспомнил, что в это время по улицам города бродили десятки этих переселенцев и своими просьбами надрывали ему сердце. Он быстро опустил руку в карман, вынул оттуда какую-то монету и отдал ее мужику. Мужик с чувством благодарности поклонился и уже повернулся к выходу, чтобы молча удалиться, но в это мгновение его окликнул Чехлов.

— Эй, дядя... постой-ка! Переселенец, говоришь? — спросил он, не поднимаясь со стула.

— Точно так, ваше степенство!

— Я вовсе не степенство.

— Благородие!.. — испуганно поправился мужик, встретив жесткий взгляд Чехлова.

— И не благородие... Ну, да все равно. Отчего же ты переселяешься?

— Земли нет, господин.

— А твоя изба стоит на земле?

— Как же... само собою, — и мужик улыбнулся смешным словам господина.

— И дальше той земли, на которой стоит изба, тоже земля? — спросил Чехлов.

— Дальше мирская земля идет... стало быть, пашни.

— Значит, земля есть. Как же ты сказал, что нет?

— По десятине, господин, только... Что тут промыслишь-то?

— По-твоему, это мало. Пусть будет по-твоему. Но разве кругом больше и земли нет?

— Само собою, нет!.. Что есть поросенка не пущай, — некуда! — ответил мужик.

— Но дальше мирской земли есть что-нибудь или там море, вода, а может быть, край света? — спросил сурово Чехлов.

Мужик выпучил глаза и улыбнулся было, но, встретив серьезный взор господина, подавил улыбку и уже серьезно сказал:

— Там дале идет земля господина Булатова.

— Это кто же такой господин Булатов?

— Известно, Александр Петрович... Земли у него, чай, тыщ десять!

— Так вот ты у него и возьми! — серьезно сказал Чехлов.

— Больно уж ренда-то большая... двадцать целковых! — возразил мужик.

— Да зачем ренда?.. Ты так возьми земли и работай... без всякой ренды...

Мужик опять выпучил глаза и посмотрел на Чехлова.

— Как же можно?.. За это таких горячих влетит!.. не по закону.

— Ну, уж если ты так загипнотизирован страхом, так пойди к господину Булатову и проси: «Позвольте, мол, мне земли, господин, я работать хочу». И он даст.

Чехлов говорил серьезно, но в то же время глаза его смеялись.

— Где же... невозможно это! — возразил мужик и недоумевал, смеяться ему или отвечать.

— Почему же он не даст? Разве господин Булатов сам обрабатывает свою землю?

— Кою сдает, а кою и сам...

— Сам? Своими руками?

— Зачем руками! Чай, у него годовых батраков никак десятка два, да наймовает, — возразил мужик и, будучи не в состоянии

больше удержаться, широко улыбнулся; в уме, очевидно, он изумлялся возможности таких дураков из господ, как этот.

Чехлов засмеялся и обратился к Мизинцеву.

— Посмотрите, как люди поражены страхом перед жизнью!.. — потом, обращаясь к мужику, он сурово проговорил: — Значит, земля есть. Так вот ты и ступай к господину Булатову и скажи ему, что так как у тебя земли нет, а у него ее десять тысяч, из которых своими руками он может сработать только пятнадцать десятин, после же смерти вам обоим понадобится только по сажени, то пускай он даст тебе восемь десятин. И он даст, уверяю тебя. Если хорошенько скажешь ему и убедишь, то он непременно даст. Ступай и попробуй сказать так!

Чехлов засмеялся. Потом, обращаясь к Мизинцеву, он заметил:

— Я уверен, что он ни одного слова не понял.

— Признаюсь, и я ничего не понимаю... Иди с богом, милый! — сказал Мизинцев с негодованием.

Мужик поспешно ушел.

— Значит, вы думаете так же, как этот мужик? — спросил насмешливо Чехлов.

— Я ничего не думаю... Я только понять не могу, как можно издеваться над темным человеком! — возразил с прежним негодованием Мизинцев и заходил по комнате.

— Вольно же вам думать, что я издеваюсь!

Чехлов злобно засмеялся и принялся развивать целую теорию истинных отношений между людьми. Мизинцев слушал и удивлялся. В словах говорящего была глубокая правда и в то же время нелепая дичь. Если его слова принять, как отвлеченную веру, необходимую для эстетического созерцания, то они — правда, но если целиком применить их к жизни, как она есть, то они — простое барское издевательство над человеком. В последнем смысле Мизинцев и понял его слова и долго не мог подавить негодования. Он замолчал.

А Чехлов с этой минуты никогда уже не простил негодующих слов Мизинцеву. В свою очередь, Мизинцев с возрастающею антипатией относился к единомышленнику.

С некоторого времени он уже не боролся против этой антипатии. Он заметил, что Чехлов и с другими так же поступил, как с ним: оттолкнул их холодом и презрением. Что́ это за человек? По-видимому, он нарочно каждого встречного старается обратить в своего врага. Из всех, с кем он встречался и говорил, кого учил, кому давал советы, у кого жил, — из всех них не нашлось человека, которого он мог бы назвать своим другом. От каждого он холодно отвертывался, никому не выразил даже тени уважения. Просто он и говорить-то, кажется, не умел; он умел только обвинять, презирать и учить. Происходили собра-

ния, но ни с одним из участников их он не говорил без задней мысли, без желания поставить в тупик. В каждом человеке он, казалось, отыскивал только недостатки и слабости, а отыскав их, торжествовал...

Но бывали минуты, когда Михаил Егорович считал себя виноватым и несправедливым к гостю. Оставаясь один в своей комнате, Чехлов, видимо, отчего-то страдал. Михаил Егорович видел тогда, как он, положив голову на руки, по часу сидел в такой позе; а иногда лицо его было открыто и взор его устремлен был в какую-то неопределенную даль; и тогда лицо это носило на себе след такой муки, что, казалось, слезы потекут по щекам и в комнате раздастся стон. Михаил Егорович в такие минуты несколько раз порывался подойти к нему и заговорить задушевным тоном. Но он этого не мог сделать: едва его глаза встречались с холодными глазами гостя, как мгновенно у него пропадало желание дружбы.

Потом, месяца через два после приезда, с ним произошла какая-то новая перемена. Михаил Егорович стал замечать, что Чехлов чем-то озабочен. Раньше никогда нельзя было увидеть этой озабоченности на его холодном лице. Он часто волновался, забывал в каком-то смятении простые и необходимые вещи, например отвечать на предложенные вопросы приходивших к нему людей, забывал часы назначенных свиданий. И в такие минуты с его лица сбегали холодные тени; он уже не казался самоуверенным, а, напротив, испуганным, колеблющимся, изумленным. Чем-то встревоженный, он иногда порывисто обращался к Мизинцеву с вопросом:

— Который час? — и забывал в это мгновение, что он Мизинцева терпеть не может.

Только после ответа последнего он как будто вспоминал свою вражду к Михаилу Егоровичу, бросал на него жесткий взгляд и уходил из дома.

Или вдруг лицо его освещалось горячим и светлым лучом, и он весь казался счастливым и мягким.

VIII

Была глухая ночь. В квартире огни были потушены. Воздух казался знойным, удушливым. Чехлов, задыхаясь, встал с постели, где он лежал с открытыми глазами, устремленными в темноту, собрал ее в одну кучу к стене, а сам подошел к окну, порывистым движением растворил его и подставил свою горящую голову дувшему ветру.

Но ветер не освежил его. Это был горячий, удушливый ветер, гнавший по небу безобразные тучи, то разрывая их в лохмотья,

то сгущая в черные непроницаемые массы. Давно уже не было дождя; с земли поднималась пыль. С обезображенного неба по временам падали редкие, крупные капли, но сухой воздух, казалось, мгновенно пожирал их. Что-то свистело кругом; деревья в палисаднике шумели как будто испуганными листьями и низко гнули свои верхушки; где-то близко стучала жесть крыши. Иногда мелькала молния и освещала страшную картину борьбы в воздухе, но лишь только она потухала, борьба как будто с бóльшим остервенением продолжалась; и трудно было сказать, кто победит, — горячий ли ветер разгонит тучи и снова наполнит воздух ядовитым удушьем, тучи ли ветер смирят и, грозя громом, бросая снопы молнии, выльют потоки давно ожидаемого дождя, напоят задыхающуюся землю и самый ветер усмирят, сделав его ласковым, теплым и влажным.

Чехлов выставился наполовину из окна и жадно вдыхал, но это не освежило его. Он отошел от окна и намочил голову водой из графина, потом стал ходить по комнате, ощупью отыскивая направление. Мысли его неугомонно продолжали свою бесконечную работу, но в сердце его было полное отчаяние. Это отчаяние самой мысли его залило тоской, и она превратилась в сплошной вопль.

Он вспомнил последние месяцы беспрерывных сходок, вечеров, разговоров; везде его сопровождало изумление, бессильный гнев, растерявшаяся глупость и торжество. Кругом него или холодные, чужие лица, или враги. Если жизнь — борьба, то он насладился ею; но разве душа его от этого стала спокойнее, а сердце счастливее? Он задыхается от отчаяния, коченеет от холода, как будто смерть приближается к нему.

Но если жизнь — покой, то где же его найти и почему вместо поисков его он вызывает нарочно кругом себя злобную вражду? Если бы был хотя один друг у него, он сейчас отдал бы ему всю свою душу и вздохнул бы полною грудью; встретив его добрый взгляд, он отдал бы ему свою улыбку, свои смеющиеся глаза, а теперь эти глаза устремлены в темноту, где не на чем остановиться. Если жизнь — любовь, то почему нет ее у него? Почему только злые чувства окружают его, сжимая и без того гневное его сердце? Почему ни одно сердце не отдается ему и не наполнит его мрачной жизни теплотой, улыбками, светлыми лучами любящих глаз, музыкой дружеских слов?

Вдруг он вспомнил что-то и остановился.

Потом с нервною торопливостью стал шарить на столике, по стульям, на полу и между книгами на полке, отыскивая коробку спичек. Долго не находя ее, он пришел в страшное раздражение и уже готов был броситься в соседнюю комнату, разбудить Мизинцева и потребовать огня. Но вдруг случайно на подоконнике ему попалась коробка, он резким движением о косяк зажег

спичку и осветил ею лежавшие на столике часы Мизинцева. Было без нескольких минут двенадцать. А ночной поезд идет в час без десяти. Он бросил спичку и в темноте, с величайшею торопливостью, стал одеваться.

Решение ехать к Александре Яковлевне явилось у него мгновенно, мгновенно же он и исполнил его. Он мог бы подождать до утра завтрашнего дня и уехать в усадьбу с дневным поездом, как это он делал всегда; но теперь нельзя было ему ждать. Он чувствовал, что если останется до утра в этой темной комнате, то мысли его, как хищные звери, разорвут его сердце. Ему нельзя было ждать даже несколько часов.

Не зажигая огня, в полном мраке, он наскоро оделся и тихо, стараясь не разбудить Мизинцева, вышел в сени, а оттуда на двор и на улицу.

Его тотчас окружил хаос, в который, казалось, превратилась вся природа. Ветер рвал его одежду, бросал горстями пыль в его лицо, легкие его вдыхали удушливый, горячий воздух, но он почти бегом шел по направлению к вокзалу.

На половине дороги он испугался, что не поспеет к поезду. Тогда что есть мочи, насколько хватило его голоса, он стал кричать извозчика; но в ответ ему только гудел ветер, да пыль крутилась вокруг него, залепляя ему глаза. Не переставая кричать, он быстро шел. И когда показались огни вокзала, вдруг откуда-то вынырнул извозчик и предложил свои услуги. Весь мокрый от быстрой ходьбы и удушья, с дрожью в ногах от нервного потрясения, он вскочил на пролетку, хотя вокзал был в десяти минутах ходьбы, и скоро уже бежал по зале к кассе. До поезда, оказалось, еще целых полчаса. Узнав об этом, он сразу опустился, ослаб и присел на лавку, чтобы отдохнуть. В висках его еще стучало, дыхание было тяжелое, но на лице появилась счастливая улыбка, словно он, после долгого и мучительного путешествия среди опасностей, вдруг приехал к цели.

В тусклом свете вокзала сонливо двигались одинокие пассажиры, скучные артельщики, еще более скучные сторожа; около пустой кассы дремал жандарм; в зале первых классов скучились возле буфета лакеи и сонливо о чем-то разговаривали. Даже вокзальные часы, казалось, задремали и во сне лениво передвигали стрелки. Наконец на пустынной платформе прозвучал второй звонок. В гул его, разорванный ветром, Чехлов вслушался внимательно, как будто своими ушами хотел убедиться, что это действительно второй звонок; внимательно отсчитав два удара, он с счастливою улыбкой вышел на платформу, а отсюда в вагон.

Но в вагоне он оставался всего одну минуту; там было много пассажиров, и в тесном пространстве стоял тот характерный воздух, который окружает спящих мужиков. Брезгливо плюнув

на пол, Чехлов вышел на площадку и решился не заглядывать больше в вагон до самой станции.

Когда поезд двинулся, ветер как будто мгновенно стих. Но это оттого, что поезд мчался по одному направлению с ветром. Все небо, казалось, двигалось, гонимое страшным ветром. Верхние слои туч ветер гнал в одну сторону, нижний их пласт — в противоположную, причем от тех и от других отрывал огромные куски, перепутывал их между собой, низвергал вниз или бросал вверх. В воздухе носилась тоже густая пыль, резавшая лицо; деревья, изредка мелькавшие мимо поезда, печально гнули вершины, и листья их испуганно трепетали. Но он уже не задыхался. Выставив голову далеко за перекладину барьера, он с застывшею улыбкой удовольствия наблюдал этот хаос и спокойно отмечал расстояние, с каждым мгновением уменьшавшееся.

Так он простоял до самой станции, где ему следовало слезать. Был уже полный рассвет, когда поезд подъехал к этой станции. Чехлов слез и решился посидеть здесь, прежде чем двинуться пешком дальше. Александра Яковлевна встает сравнительно поздно, часов в семь, теперь было только начало пятого. Но усидеть на станционной лавочке он не мог и нескольких минут. Однако, прежде нежели отправиться в путь, он прошел в крохотную комнатку первых классов, умылся, оправил себя и только тогда вышел на дорогу к усадьбе.

Солнце только что встало. При его восходе ветер незаметно стих; от ночной бури остались только слабые следы, — по небу в разных направлениях тихо плыли кучки разогнанных туч. Но воздух был свежее вчерашнего, и Чехлов бодро шел по дороге, прислушиваясь к пению птичек, вдыхая аромат хлебных полей, между которыми вилась дорога. Постепенно, не замечая того, он так ускорял шаги, что начинал почти бежать; тогда он круто останавливался и старался идти как можно тише. Александра Яковлевна еще не встала, а без нее что ему там делать?

Вдруг на одном повороте дороги он взглянул по направлению к усадьбе и остановился в изумлении. Не доверяя глазам, он прикрыл их рукой и пристально вгляделся... Да, это была, несомненно, она! И он быстро бросился по дороге.

Через четверть часа он уже приближался к Александре Яковлевне и чувствовал, как к его глазам подступают слезы. Та давно заметила его, остановилась за решеткой сада и с улыбкой ждала его. Но когда он приблизился к ней, на него вдруг напала какая-то робость и смущение; он подумал, что она тотчас же спросит его: «Откуда это вы так рано?» — и смутился. Но она на самом деле нисколько не удивилась. Предложив ему, действительно, такой вопрос, она прибавила:

— Вы с ночным поездом?

— Да.

— Устали в городе?

— Я сегодня ночью задохнулся было.

— То же и здесь... какая ужасная была ночь! Я почти не спала... Едва забрезжило утро, я встала. Но у нас все-таки лучше... Вы отлично сделали, что приехали. Отдохните здесь.

Александра Яковлевна ласково улыбалась. И Чехлов чувствовал, как от этой ласки горячие слезы опять подступают к его сердцу. Но он сдержался от необузданного порыва радости. Он молча смотрел на Александру Яковлевну и сознавал, что этого ему довольно.

— Но что же мы стоим? Пойдемте, я вас пока напою чаем. А когда управлюсь с работами, мы отправимся в лес, — сказала она и повела гостя в дом.

Лицо ее было живое, движения бодрые и твердые. На щеках ее появился румянец, которого Чехлов ни разу не замечал раньше. В таком виде она казалась еще чище и проще. Идя немного позади ее, он не сводил с нее глаз. Горячая и глубокая радость так наполняла его, что он, казалось, лишился дара слова, холодных наблюдений, злых мыслей и острых взглядов; когда в столовой он наткнулся на Хордина, то порывисто пожал ему руку и засмеялся, как будто никогда не чувствовал пренебрежения к нему.

Александра Яковлевна усадила их обоих за чай, а сама ушла, чтобы исполнить все утренние работы по дому. Чехлов сидел за столом, перекидывался словами с Хординым, но слух его с напряженным вниманием следил за невидимыми для него движениями Александры Яковлевны. Как иногда одинокая, но поразительная нота шумного оркестра внезапно наполняет все наше существо и мы с восторгом следим за ней среди грома и треска других звуков, так он прислушивался к невидимым движениям Александры Яковлевны. Он пил чай, но слушал, как где-то вдали раздаются ее мягкие шаги, как звучит к кому-то обращенный ласковый голос ее, как поминутно слова ее чередуются с тихим смехом. Потом где-то вдали он услыхал, что она тихо запела какую-то песенку, и ее звук отозвался в его сердце страстным изумлением. Но вдруг где-то хлопнула дверь, пение ее внезапно оборвалось, и Чехлов с тревогой оборвал на полуслове какую-то фразу, которую машинально говорил Хордину.

Хозяин с улыбкой посмотрел на него.

— Вы, кажется, удивляетесь, что Саша может петь? — спросил он.

Чехлов вздрогнул от этого вопроса и выговорил что-то несвязное.

— Я не меньше вашего удивлен... она стала весела и жива! Целый день что-нибудь с увлечением работает и поет, а по вечерам садится за свои медицинские книги и до глубокой ночи занимается...



Хордин говорил с радостью.

— Какие медицинские книги? — спросил Чехлов.

— Да разве вы не знаете?.. Она уже переходила на четвертый курс академии, но тут внезапно карьера ее изменилась... Мы поехали на Восток, потом смерть нашего сына... эта смерть, казалось, убила ее наповал!.. Глядя на нее, и я измучился... И вдруг жизнь как будто опять воротилась в ее исстрадавшееся сердце, и она стала такою, как вы ее видите сейчас... Вы спрашиваете, какие медицинские книги? Я сам не знаю, зачем она теперь ими занялась... и не спрашиваю. Боюсь каким-нибудь грубым словом спугнуть ее светлое настроение... пусть ее отдохнет.

Хордин высказал все это несвязно, но в каждом слове его, сказанном со счастливым волнением, слышалась любовь. Чехлов смотрел на него и внезапно похолодел, чувствуя, как неизвестно от чего сжалось его сердце. Когда Хордин после чая торопливо ушел по делам, он скучно обвел глазами комнату.

Но немного спустя вошла Александра Яковлевна. Он живо поднял голову, как будто сюда внезапно ворвался целый поток солнечных лучей.

— Вот я и готова! Если хотите, идем! — сказала она оживленно и с раскрасневшимся от работы лицом.

Чехлов порывисто поднялся с места, и через несколько минут они уже вышли из дома. Солнце стояло высоко и немилосердно жгло.

— Опять духота, как вчера!.. Но я проведу в такое место, которое, надеюсь, вам понравится. Если же оно вам не понравится, то вы, значит, ничего не понимаете в красоте... А, может быть, я ничего не понимаю... — говорила она со смехом.

В другое время Чехлов воспользовался бы этими словами, чтобы обнаружить всю силу своей диалектики. Но теперь он молчал и только улыбался; он молча смотрел на спутницу, лишен-

ный воли и забывший про свое огромное «я». Он шел рядом с ней, слабо отвечал на ее слова и видел только ее фигуру. Иногда его взгляд блуждал по сторонам, не на нее обращенный, но он все-таки знал каждое ее движение и чувствовал малейшее изменение на ее лице. Невидимая, она рисовалась перед ним вся целиком.

Окружающее исчезло с его поля зрения. Они сначала проходили между двух стен созревающих хлебов, потом шли по густым кустам перелесков, среди осиновых рощ, проходили и по заросшим бурьяном прошлогодним жнивьям, но он ничего не замечал. В блуждающем взоре его не отразилось ни жгучее солнце, ни голубое небо, ни эти перелески, ни далекий горизонт, куда, по-видимому, он смотрел. Все поле его зрения занято было одним образом, который закрыл собою даже собственную его самолюбивую душу. Он совсем забыл о себе и где он.

Но вдруг Александра Яковлевна остановилась на крутом возвышении внезапно открывшегося оврага и, указывая рукой, живо сказала:

— Смотрите!

Чехлов с изумлением обвел глазами указанное пространство; то было дикое «разбойничье гнездо». Глазам оно открывалось внезапно, — не знавший его человек за минуту не мог бы и заподозрить его близости. Чехлов не знал о нем и теперь с изумлением оглядывал эти глубокие впадины и коридоры, покрытые страшною путаницей деревьев и кустов.

— Ну, что, нравится? — спросила с озабоченным видом Александра Яковлевна, как будто ей хотелось услышать из его уст восторг перед ее любимым местом. Но, не дожидаясь ответа, она прибавила: — Впрочем, сойдем пониже, тут жарко!

Она быстро, привычными шагами стала спускаться вниз по гребню. Внизу виднелась крошечная лужайка, закрытая от солнца широко раскидавшимся вязом и с трех сторон обрезанная глубокими обрывами.

— Идите сюда... Теперь смотрите! — говорила она, когда оба уже стояли на маленькой площадке под вязом.

Отсюда видны были все разветвления оврагов, все высокие, резко оборванные стены и все причудливые лесные заросли, деревья которых низко нагибали свои вершины куда-то вниз, как будто все были заинтересованы, что́ там такое на дне. И, как бы в ответ на их любопытство, со дна раздавалось журчанье ручьев, неизвестно о чем шептавших.

— Нравится? — переспросила еще раз Александра Яковлевна и с удовлетворенною гордостью осматривала свое любимое гнездо.

Чехлов пристально смотрел по сторонам, прислушивался, потянул влажный, прохладный воздух и с улыбкой высказал свое восхищение.

— Удивительно!.. Даже и подозревать нельзя, чтобы мог быть в этой плоской равнине такой причудливый уголок!.. Да и сам он... ведь это просто несколько диких, безобразных ям, а между тем какая сила впечатления!

Он говорил спокойно. Взгляд его глаз стал холоднее, наблюдательнее. По-видимому, он стряхнул с себя очарование, произведенное присутствием Александры Яковлевны, и пытливо, с полным самообладанием осматривал оригинальный уголок. Как знаток красоты, он теперь сознательно оценивал это неожиданное, причудливое местечко.

— Очень рада... А я уже думала, что только одной мне, ничего не понимающей в эстетике, нравится «разбойничье гнездо»!

— Разве эстетика может научить пониманию прекрасного? — спросил Чехлов, и обычная насмешливость послышалась в его словах.

— Говорят, может...

— Не верьте! Ложь... Вы любите вот это гнездо?

— Люблю! — ответила с улыбкой Александра Яковлевна.

— И любите. Больше ничего и не надо. Любите — это и есть прекрасное. Другой красоты нет. И все, что в каждом другом человеке вызывает любовь, все то и будет для него прекрасным. Но не более!

— А если человек любит нечто безобразное?

— Значит, такая же и душа его, безобразная. Каждый человек может вместить и понять прекрасное только в той мере, в какой прекрасное в нем самом существует. Мера эта точная, как весы. Сколько в тебе прекрасного, столько же ты найдешь и вне себя, не более!

— Но как же так?.. — возразила Александра Яковлевна с живым любопытством, — а разве не бывают случаи, когда человек по неведению не понимает красоты в художественном произведении, но после разъяснения понимает и наслаждается?

— Тут может быть два случая... Или в душе этого человека нет прекрасного, и тогда никакими объяснениями он не поймет и то прекрасное, которое вне его. Или в душе его есть подходящие струны, но он их должен сам натянуть, прежде нежели получить просветление; прежде чем он поймет данное вне прекрасное, он должен его иметь в своей душе... А эстетика и ее мнимые законы — это один из тех проклятых мертвых идолов, который создан жрецами искусства на погибель этого искусства. Творчество не имеет ни форм, ни границ; скованное неизменными законами, оно погибает, как свободная душа человека в рабстве... потому что источник прекрасного — та же любовь.

Чехлов совершенно оправился от недавней слабости и смотрел сурово, проницательно.

— А где нет любви, там нет и прекрасного? — спросила с возрастающим любопытством Александра Яковлевна.

— Нет и быть не может! Прекрасное — это любовь. Сколько в человеке любви, столько он видит и прекрасного вокруг себя. Здесь точная мера красоты для каждого данного человека и для каждого момента его жизни: сколько любишь, столько ты и видишь прекрасного... Если же многие люди признают прекрасное в одних и тех же предметах, это значит, что большинство из них только притворяются, будто эти предметы доставляют им наслаждение, притворяются, чтобы не показаться смешными и невежественными. Так называемые законы эстетики создают только особого рода лицемеров — лицемеров прекрасного... Если вы встретите жестокого, развратного человека наслаждающимся вашим прекрасным, то вы скажите ему: ты лжешь! Ты лжешь, потому что можешь понять только жестокую, развратную красоту, и для тебя ее создают похожие на тебя художники! И если вы встретите жестокого, развратного художника, думавшего создать прекрасную вещь для любящих, чистых, милосердных людей, то вы скажите ему: прочь мертвые, развратные руки!

«Вот теперь он опять похож на Чехлова», — думала Александра Яковлевна.

— Некоторые выводят чувство прекрасного из потребности человека украшать себя... Свирепый дикарь, рыскающий в лесной чаще, говорят, все же обладает чувством прекрасного, — он украшает свое тело татуировкой, в нос втыкает кусочек палки... Спрашивается, неужели и у этого жалкого зверя потребность украшения зависит от любви? — спросила Александра Яковлевна и лукаво улыбнулась.

Чехлов нахмурил брови, но тотчас же засмеялся.

— Непременно! Этот дикарь обладает чувством прекрасного в той мере, сколько в нем любви. Любовь его, грубая, звериная, направлена исключительно на себя, а не на природу и людей; таково же и его прекрасное. И если он втыкает в нос рыбью кость, морду свою разрисовывает ножом и думает, что это прекрасно как в нем, так и в ближнем его, то здесь точная мера его любви...

В это время где-то на дне одного из оврагов послышался треск и прозвучал эхом по всему «гнезду». Александра Яковлевна живо поднялась с лужайки, где они сидели, бросилась к самому краю обрыва и, держась за ветку вяза, наклонилась вниз, чтобы посмотреть, что там такое.

Чехлов, в голове которого уже толпился целый рой мыслей, вдруг разом их забыл и обмер. Потом он бросился к Александре Яковлевне и крепко схватился за ее руку.

— Что вы делаете?! — закричал он, пораженный ужасом.

Александра Яковлевна отступила немного от края и посмотрела на него, удивленная его криком.

— Таким ужасным криком вы действительно могли втолкнуть меня в овраг!.. Чего вы испугались? — сказала она и, заметив испуг на его лице, громко расхохоталась.

Чехлов уже сконфуженно глядел ей в лицо, стыдясь своего необъяснимого порыва. В то же время лицо его светилось радостной улыбкой. Он вдруг опустился на лужайку и пригласил то же самое сделать и Александру Яковлевну.

— Не глядите больше туда, вниз... Давайте лучше говорить о прекрасном... мы не кончили, — сказал он и пытался восстановить насмешливый тон.

Александра Яковлевна уселась. Но Чехлов уже не говорил больше так энергично, как за минуту перед тем. С его языка срывались фразы до такой степени плоские, что он сам застыдился и замолчал. Как будто все его острые мысли провалились в бездну, ум стал тупым и безоружным. Он только чувствовал, как томительно бьется его сердце и душа полна неосязаемым и невыразимым образом. Взгляд его блуждал по вершинам леса, не смея остановиться прямо на лице Александры Яковлевны, но невидимыми взорами он видел только ее одну. И сознание ее страшной близости лишило его самообладания; ум его, питающийся враждой, она обезоруживала одним своим присутствием, а сердце его наполнила предчувствием любви. Он молчал, как утром, лишенный воли, очарованный.

Александра Яковлевна одна поддерживала разговор, а он только отвечал, да и то слабо. Так они просидели далеко за полдень. Когда она напомнила, что пора уходить, он как будто очнулся от какого-то сна, тяжело поднялся с места и с опущенной головой пошел вслед за ней.

Обедали они втроем. При этом между Чехловым и Хординым роли переменились. Видя Чехлова задумчивым и безоружным, не слыша более от него ядовитой, торжествующей речи, Хордин незаметно перешел в роль поучающего, самодовольного человека, вся фигура которого дышала сознанием глупости всех окружающих людей. Незаметно его слова окрасились в догматический оттенок. На здоровом лице его играла насмешка, слова выражали одни советы. Он учил.

— Нет, милый человек, нельзя так! Нельзя несколькими словами уничтожить цивилизацию... Если кто хочет успеха своему учению, пусть тот воспользуется этою самою цивилизацией, а не прет против рожна... нелепо это, милый человек!

Говорил он, между прочим, во время обеда необыкновенно самодовольным тоном, облизываясь и вытираясь салфеткой после какого-то кушанья.



Александре Яковлевне стыдно стало за эти плоские слова мужа, и она ждала с тайною нетерпимостью хорошего урока самодовольному человеку. Но, к ее удивлению, Чехлов с видимым усилием отвечал на поучения Хордина; не то апатично, не то с досадой он возразил и на эти слова хозяина, ни к кому не обращаясь:

— Человечество имело уже много цивилизаций, но от них теперь осталось по нескольку кирпичей, которые ревностно разыскиваются учеными могильщиками... Мертвое умирает и разрушается бесследно.

Когда он говорил это, на его лице была досада. «Да отстань ты от меня, некогда мне!» — как будто думал он. От дальнейшего разговора он совсем уклонился. Это дало возможность Хордину до конца обеда говорить отменно рассудительные и практические речи. Не слушая его, Чехлов только по временам утвердительно кивал или отрицательно качал головой, что удовлетворяло самодовольство Хордина или возбуждало в нем охоту говорить дальше, и он, не переставая, говорил... «Ну, мели, мели, шут с тобой!» — думал Чехлов и в первый раз добродушно слушал.

После обеда Александра Яковлевна ушла ненадолго, но вскоре опять вернулась и застала Чехлова сидящим в саду. Она тотчас пригласила его опять идти в поле, только в другую сторону. Они ушли и оставались там до позднего вечера.

IX

Хордин, по обыкновению, спал тотчас после обеда, но когда проснулся, пошел было в сад искать жену и Чехлова. Не найдя их там, он спросил, куда они ушли? Прислуга отвечала — в поле. В первый раз ему стало до боли неприятно. Но он постарался свое мрачное настроение объяснить дурным тяжелым сном. Это бывало. Особенно когда много покушаешь, ужасно бывает тяже-

лый сон: в голове какая-то бурая мгла, в горле саднит, все окружающие предметы принимают досадный, противный вид. Однако сегодня было не так; когда он совсем оправился от сна, неприятное чувство еще более утвердилось в его душе. Это еще не была ревность, а только тревога, беспокойство, предчувствие семейной бури, не поддающаяся определению словами злость. Он раздраженно напился чаю один, с раздражением вышел из-за стола, но никак не мог понять, на какой предмет вылить злобу. Он думал идти по хозяйству, но вернулся, не дойдя до порога выходной двери, подошел к окну, выходящему в открытое поле, сел тут и стал ждать. Ждал он с нетерпением, когда они вернутся, и в то же время сознавал, что это ожидание бессмысленно. Разве этим ожиданием у окна можно что-нибудь изменить? Ничего. Но он все-таки сидел, смотрел с возрастающим нетерпением по опушкам леса и, не видя там никого, бесился. И в то же время опять сознавал, что это бешенство, увеличивающееся с каждым мгновением, бессмысленно. Разве Чехлов или жена сделали что-нибудь дурное, чтобы вызвать его злобу? Но он все-таки продолжал сидеть, раздраженно барабанил пальцами по стеклу и горевшими от нетерпения глазами оглядывал все опушки леса.

Вдруг на краю одной из рощ он заметил две фигуры, мелькавшие между деревьями; он их тотчас узнал; они быстро шли по направлению к дому. Одну минуту Хордин наблюдал за ними; потом он бросился от окна, прошел через все комнаты почти бегом, как вор, похитивший какую-то вещь, и вышел на двор с таким перепуганным лицом, как будто за ним гнались. Он торопливо старался скрыть все следы своего сиденья у окна, и ему это удалось. Когда Александра Яковлевна и Чехлов вошли через калитку во двор, он встретил их ленивым, равнодушным взглядом и ленивым голосом выговорил:

— А, это вы! Что же вы так мало гуляли? Вечер чудесный.

— Как мало? Почти половину дня! Заговорились и не заметили, как подкрался вечер, — ответила просто Александра Яковлевна.

Хордин бросил пристальный взгляд на ее открытое лицо, и мгновенно ему стало стыдно за ту бессмысленную тревогу, с которой он сидел перед окном. Он готов был приласкаться к жене, если бы не молчаливое присутствие Чехлова, но вместо этого закричал на прислугу, чтобы она поскорее подогрела самовар. Александра Яковлевна не обратила внимания на виноватый вид мужа и прошла в комнаты.

А Чехлов скоро ушел на поезд. Хордин, с его уходом, забыл о неприятном чувстве.

Но на следующий день Чехлов опять приехал, на третий день также. Наконец его посещения стали регулярны, изо дня в день. Тревога Хордина также стала проявляться регулярно, как пере-

межающаяся лихорадка. Когда Чехлов уезжал, тревога его мгновенно падала; но лишь тот появлялся на следующий день, как мгновенно в Хордине поднималась мука ревности. Да, это уже была ревность.

Она возрастала до мучительной боли в те часы, когда жена и Чехлов уходили на отдаленную прогулку по лесу.

Александра Яковлевна продолжала исполнять все свои и домашние работы, но лишь только освобождалась от них, тотчас приглашала Чехлова, и они вдвоем уходили в поле, в лес или к «разбойничьему гнезду».

Чехлов держал себя на этих прогулках по-прежнему молчаливо и безответно. Зато Александра Яковлевна как будто нарочно старалась развернуть все свои умственные силы. Она с интересом расспрашивала Чехлова о малейших подробностях учения, докапываясь до самых интимных основ его, и ни одной мысли Чехлова не оставляла без ответа. Иногда ответы были очень резкие, бесповоротные. Так, однажды она расспрашивала о практических путях. Чехлов распространился, но было ясно, что мысли его никогда не работали в этом направлении. В каждой фразе его слышалось изумительное легкомыслие, напыщенное пустословие.

— Все это мне ужасно странно, — однажды заметила Александра Яковлевна. — «Любить... жить просто...», «отдавать людям свой труд» — где я об этом слыхала? А где-то уже слыхала, только страшно давно, в смутном прошедшем, безвозвратно исчезнувшем. Это прошлое оставило в моей душе какое-то смутно-радостное чувство, но я в то же время знаю, что его уже нет! Оно не вернется. Быть может, эти слова мне говорила мать, когда мне было три-четыре года, а быть может, я их переписывала нетвердою рукой из прописи, но только я знаю, что их я уже больше ни от кого не слыхала в такой наивной, детской форме! Неужели у вас больше ничего нет?

— Люди и должны быть просты, как дети, — возразил Чехлов.

Он смотрел в лицо собеседницы и искал в нем следов ядовитого юмора, с каким она, казалось ему, говорила.

Но она и не думала смеяться. Ей было просто досадно за его безответность.

В другой раз, когда он заговорил о том, как легко каждому человеку перевернуть свою жизнь и как просто дойти до совершенства, она сильно задумалась, но вдруг возразила:

— Ваше учение только для богатых...

Чехлов неприятно изумился.

— Это почему? — спросил он.

— Да ведь только богатому и праздному легко исполнить какую угодно фантазию. Только богатый, почувствовав отвраще-

ние к рябчикам, может вдруг воспылать желанием кушать кашу с постным маслом или любовью к лаптям! Все ваши мысли направлены только на то, чтобы помочь богатому, потерявшему от пресыщения всякий вкус к жизни, возобновить свои жизненные аппетиты. А бедному вы не имеете права сказать, что бедному и убогому легко и просто выполнить ваше учение. Чему вы его будете учить? Чтоб он ел кашу, а не рябчика? Но он ее одну только и ест. Чтобы он помогал трудом ближнему? Но весь его труд содержит человечество. Чтобы он любил ближнего? Но он и без вас его любит, любит этим самым трудом. Или чтобы он сделался в вашем смысле разумным и совершенным? Но кто по временам умирает с голода, кто всю жизнь должен проводить в грязи, у кого каждый текущий день — судорожная погоня за куском хлеба, кто безвестно умирает от нелепой случайности, — тот не имеет сил быть чистым, разумным, совершенным. А если вы все-таки требуете от него совершенства, то как же вам не стыдно?

Один раз они, после длинной беседы, долго молчали, затеряв мысль разговора. Но вдруг Александра Яковлевна посмотрела куда-то далеко и сказала:

— Ваше учение, кажется, все имеет, что нужно для каждого учения: и разум, и любовь, и совершенство, и пути к нему, все! Нет только одной, но зато самой необходимой вещи — бога. То есть того объединяющего центра, вокруг которого можно было бы расположить все эти прекрасные вещи — любовь, совершенство, простоту. Оно мне напоминает одежду босяка-золоторотца, сшитую из бесчисленного множества кусков, случайно находимых. Тут и ситцевая заплата московского производства, и обрезок сукна, сделанного, быть может, на иностранной фабрике, и дерюга, сотканная в глухой деревне; нет только в этом ужасном платье единства замысла. В случае горькой нужды, оно все же платье, конечно; но никто без нужды не наденет его... Никто из нуждающихся в вере не примет вашего учения, потому что в нем именно веры-то и нет! Оно холодно, умно и бесчеловечно!.. Задуманное только ради богатых, для нуждающегося бедняка оно дает только угрозы, жестокие обвинения и скорпионы и ни одного луча надежды!

Это было сказано Александрой Яковлевной без злобы, без малейшего желания оскорбить Чехлова, но все-таки резче нельзя было сказать.

А он ограничился в ответ на это только несколькими парадоксами. Ей делалось досадно. «Неужели это тот самый Чехлов, который недавно громил притворство, глупость, ложь? Почему же все его ответы теперь такие жалкие, ребяческие?» — спрашивала она себя. «Бывают такие сильные, но бесплодные умы, которые могут громить, но не создавать...» — смутно догадывалась

она. Но и после того для нее оставалось много темного в нем. Почему он с некоторого времени, в разговорах с ней, не только перестал учить своему учению, но даже не желает больше защищать его, как будто ему все равно, будут ли слова его любить или презирать?

Ему, действительно, было все равно, как относятся к его словам, но ему было не все равно, как Александра Яковлевна относится к нему самому. Лишь только он приезжал в усадьбу и видел лицо ее, весь ум его поглощался мыслями о ней. Он следил за выражением ее лица, подмечал, когда она весела и когда чувствует досаду; наблюдал, как она хмурится или как улыбка расправляет ее черты. Он изучал ее слова, жесты, выражения; угадывал, что ей нравится и чего она не любит, кто ее друзья и кого она не любит. И все это изучал больше всего по отношению к себе. Когда она весело смеялась, он старался угадать, какие его слова вызвали в ней этот смех; когда на ее лице выражалось недовольство, он спрашивал себя, чем он вызвал его. Как она к нему относится: смеется над ним или уважает, негодует или сочувствует?

Он разбирал, следил, изучал все, что говорит или делает Александра Яковлевна по отношению к нему, и за этою утомительною работой ему некогда было думать о защите своего учения. Оно смутно рисовалось ему, когда он сидел перед Александрой Яковлевной. Только в редкие минуты ум его освобождался от поработившего его образа и жестоко указывал на факт измены. «Ты изменил первому закону твоего учения — быть свободным всюду и поработил себя женщине!» — говорил ему ум. Но проходило мгновение, и этот ум уже покорно, не возмущаясь, начинал работать над тем, что приказывало ему сердце.

Сердце сделалось господином. Чехлов любил.

Но какая это была странная любовь! В то время как сердце его праздновало весну и билось от неизведанного счастья или сжималось от беспричинной тоски, ум его холодно, как добросовестный счетчик, отмечал каждый его удар. Сердце стало его господином, а ум рабом; но какой это был лукавый, подлый раб! Ни одного шага господина он не пропускал без того, чтобы не присутствовать при его исполнении, ни одного движения господина не ускользало от него. Он все знал, во все вмешивался, всюду следовал за своим господином и везде, при всех деяниях того, подавал советы, читал нравоучения, замечал ошибки, указывал выходы.

Так что, в сущности, Чехлов и не Александру Яковлевну изучал, а себя и те новые ощущения, которых он не знал раньше. Иногда он рассуждал практически и заранее пытался угадать, как ему в будущем придется жить, что надо сделать, чтобы устранить Хордина, просто ли разорвать старую связь или путем

развода, как к этому отнесется Хордин, как он будет думать и что все они будут *тогда* думать?

Только в некоторые мгновения чувство широкою волной заливало все холодные и лукавые соображения ума. Чехлов смотрел тогда диким и необузданным, каким был его отец. Сидя в лесу рядом с Александрой Яковлевной, он иногда в порыве восторга желал бы взять ее на руки, пронести через этот лес, пробежать по полю, перепрыгнуть последний овраг, добежать до станции и при свисте паровоза увезти ее туда, в бесконечную даль, по ту сторону горизонта. Приезжая в усадьбу, он в первую минуту свидания готов был броситься к Александре Яковлевне со всех ног и сказать ей про все; а уезжая от нее, он чувствовал, что сердце его разрывается от тоски.

Но это были только мгновения. В остальное время ум его, хотя и порабощенный, без устали считал каждый удар сердца и зорко следил за всем, что он делает.

X

Александра Яковлевна долго не видала Буреева. Мельком встречая его, она замечала в нем какую-то хорошую перемену, но не могла отгадать, откуда она идет. До недавнего времени он проводил жизнь лениво и безалаберно. Что только ни делал он: сидел ли за обедом, ехал ли в город по домашним делам, говорил ли или слушал — все это совершалось с явною неохотой, весь его вид как будто говорил: «Да разве я обязан жить? вот еще!» Но с некоторого времени в фигуре его появилась необычайная живость, в словах — горячее волнение, в мыслях — пытливость. Он куда-то торопливо ездил, вел какие-то хлопоты, на каждом шагу и со всеми затевал буйные споры.

И вот однажды в таком буйном настроении он приехал из своей усадьбы к Хординым.

— Где это вы пропадали? — спросила его Александра Яковлевна.

— Да так, разные делишки. Кое-что устраивал... Видите ли, я пришел недавно к заключению, что много спать довольно вредно. Спишь, спишь, а проснешься — и ничего не понимаешь... Темно. Озираешься эдак спросонья по сторонам и думаешь: где это я? Дверь-то где, и с которой стороны солнце-то заходит? Не понимаешь! Кажется, ложился спать днем после обеда, а теперь, кажется, утро? Озираешься по сторонам, в груди тяжело, мозг работает как у осла, которого перед тем били палками, и долго ничего не понимаешь, только какая-то свирепая жестокость появляется в душе, сам себе противен!..

Вслед за тем он с одушевлением заговорил о своих планах и о том, какого рода «делишки» занимали его в последнее время. Александра Яковлевна с полным сочувствием слушала и уже хотела со своей стороны поделиться планами. Но Буреев не дал ей сказать ни одного слова.

— Впрочем, я не за тем приехал... Вы не знаете новость? Ведь мои-то женятся! — сказал он внезапно и вдруг расхохотался.

— Какие ваши? — спросила Александра Яковлевна.

— Да божьи коровки-то!

И еще добродушнее расхохотался, так что глаза его наполнились слезами. Но вдруг он сам себя прервал и уже задумчиво прибавил:

— В сущности, лучше мужа, как наш Михаил Егорович, нельзя в целом свете сыскать!

Высказав это уверенно, он вслед за тем рассказал, как было дело, и просил Александру Яковлевну принять участие в свадьбе. По желанию Мизинцева и Маши, обвенчаются они в сельской церкви той деревни, где жили Хордины, проведут время до поезда у Хординых, а с последним поездом отправятся в город.

— Само собою разумеется, никаких скверных принадлежностей свадьбы быть не должно при сем! Вина ни капли. Табак не курить. Воспрещаются бесовские игрища, руками плескания, головой помавания и песни поганские! Так хочет Михаил Егорович. Завтра мы к вам под вечер съедемся, побываем в церкви, напьемся жидкого чайку вприкуску на чистом воздухе — и свадьба готова! По крайней мере двумя влюбленными дураками на свете будет меньше!

Передавая желания Мизинцева в такой шутовской форме, Буреев опять залился смехом до слез. А немного погодя он уже простился и поспешно поехал в село, к священнику.

Как желал Мизинцев, так все и случилось.

В саду был накрыт чайный стол. Стоял теплый, августовский вечер. Возвратившись из церкви, все с оживлением заняли места вокруг самовара. Кроме знакомых, тут сидели еще двое не знакомых с Хординым товарищей Мизинцева, исполнявших обязанности шаферов. Но их присутствие нисколько не мешало общему живому настроению. Свадьба совершилась так скоро и просто, что ни одному из участников ее не было нужды настраивать себя на какой-то особенный свадебный лад. Каждый чувствовал себя дома, за простым делом, с обыденным строем мысли. Это было настроение будничное и бодрое. Только на лицо Маши по временам набегали тени задумчивости, и румянец на ее щеках то бледнел, то сильнее разгорался, да сам Михаил Егорович чего-то немного конфузился.

Но этих мелочей никто не замечал под перекрестным огнем шуток и смеха. В особенности был в ударе Буреев. Он произнес несколько курьезных спичей и все время потешал публику. Хордин так хохотал, что потом стал смеяться уже без всякой причины; взглянет на него Буреев, и он хохочет...

Веселое настроение маленького общества поддерживалось еще чудным вечером. Жара спала. С полей доносился аромат сжатых хлебов. Воздух застыл в неподвижном покое. Деревья в саду замерли в беззвучной истоме. Последние лучи солнца с мягкою любовью ласкали все предметы, играя на дремавших листьях, на перламутровых перьях голубей, собравшихся на крыше, в золотистых волосах невесты, в ее влажных глазах, в ее горящем лице; но, прощаясь последними поцелуями с землей, солнце с багровою краской гнева смотрело назад, в ту сторону, откуда надвигалась ночь. И ночь, как будто стыдясь себя, тихо и бесшумно надвигалась, незаметно занимала оставленные светом уголки и робкими тенями подкрадывалась к столу, где раздавались веселые голоса. Когда сумерки закрыли прозрачною пеленой дальние уголки сада, а в воздухе чувствовалась уже влажная свежесть, за калиткой вдруг показалась фигура Чехлова. Он хотел пройти, минуя садовую калитку, но когда услышал позади себя голоса, вдруг обернулся, пристально вгляделся в кучку людей, сидевших за столом, и нахмурил брови. Он приехал из города, чтобы видеть только Александру Яковлевну, но, наткнувшись на целую компанию чужих, неприятных людей, он сначала оторопел, а потом желчная досада разлилась по его сердцу. С тяжелым выражением на лице он подошел к столу, под деревья.

Мгновенно произошло всеобщее замешательство. Протягивая гостю руку, каждый чувствовал какое-то недоброжелательное чувство к нему. Лица у всех вытянулись. У Хордина дрожала рука, мешавшая ложечкой чай в стакане; Мизинцев низко нагнулся над столом. Маша с необъяснимою тревогой прижалась к Александре Яковлевне. Только последняя с прежнею непринужденностью обратилась к Чехлову с предложением присесть. Чехлов взял стул, но сел несколько поодаль от стола.

— Приехали к нам на свадьбу? — заметила Александра Яковлевна, ничего не подозревая.

Чехлов удивленно оглянул всех присутствующих. Было очевидно, что свадьбы он даже и не подозревал. Мизинцев между тем вдруг покраснел и в замешательстве заговорил, обращаясь к Александре Яковлевне:

— Денис Петрович не знает, что тут свадьба... Хотя мы и в одном доме живем, но я не счел нужным сообщать ему и не пригласил. Он слишком занят, чтобы заниматься еще свадьбами...

Мизинцев сказал это торопливо, весь красный, и без всякого желания сказать колкость по адресу Чехлова. Но последний пристально оглянул его, и вдруг насмешка заиграла на его губах.

— Действительно, мне решительно не могло прийти в голову, что Михаил Егорович женится. Иначе я, незваный, не посмел бы показаться сюда! Тем более, свадьбы не мне устраивать... — сказал он жестко.

— Почему же? — спросила Александра Яковлевна и засмеялась.

— Не могу.

— Будто свадьба дурное или неприятное дело?

— Зачем дурное!.. Я только никогда не участвую ни в каких обрядах, — заговорил Чехлов прежним, злорадным тоном. — Досадно и грустно. Человек каждый свой акт облекает в священнодействие и всю жизнь что-нибудь празднует. Подошли ли именины — и праздник, исполнилось ли двадцать лет ленивой и вредной деятельности — опять праздник. Женится ли он или разводится с супругой, умирает или родится, переходит ли в новый дом или поправляет старый — опять все праздники, с речами и обедами. Даже самый обед у «порядочных людей» обставляется такою торжественностью, словно желудок — величественный бог. Самым низким, животным актам человек старается придать святость, которой быть не может в них, и самые низкие свои поступки хочет облагородить... Как священнодействует женщина, наряжающаяся выйти на прогулку! Каким гордым чувствует себя мужчина, которому удалось в первый раз напиться пьяным!.. Когда люди идут на войну, они предварительно освящают ножи, которыми будут резать горла других людей. Если устраивается новая бойня для скота, она сначала освящается торжественным актом. Часто человек от животного отличается только тем, что видит священное в том, что́ совершает только по необходимости. Как же не избегать всяких торжеств? Свадьба ли, именины ли, рождение ли где совершаются, я бегу как можно дальше... Мне досадно и больно участвовать в торжестве, где нет ничего торжественного, на празднике, от которого непременно кто-нибудь плачет.

Звук его голоса, раздававшийся в сумерках, наводил положительно ужас на молодую девушку, принявшую сегодня имя любимого человека; она с широко раскрытыми глазами смотрела на него, в то же время прижимаясь к Александре Яковлевне. Всем остальным стало неловко и досадно. А Хордин вдруг поднялся из-за стола, злобно двинул стулом, на котором сидел, опрокинул его на траву и молча ушел в глубину сада, не желая даже извиняться каким-нибудь предлогом.

Но сам Чехлов оставался насмешливо холодным. Впрочем, он прекратил свою речь, когда заметил общую подавленность.

Прошло несколько минут в совершенном молчании. Слышался невнятный шелест листьев, которыми шевелил неуловимый ветер; над головой пели мошки; самовар, застывая, жалобно допевал какую-то одну тонкую ноту; из деревни доносился лай собак. Как будто у всех пропал дар слова, — так неприятно было каждому из сидящих за столом.

Первым заговорил Мизинцев.

— Не пора ли, господа, нам перебраться в комнаты? Кажется, довольно свежо, — сказал он и, взяв со спинки стула платок, накинул его на плечи Маши.

Досада, почти злоба сверкала в его добрых глазах, когда он слушал слова Чехлова, но когда он накидывал Маше платок и заглянул ей в глаза, мгновенно это выражение растаяло. Он забыл о Чехлове и его словах, отравивших этот вечер.

Все поспешно отозвались на его приглашение, в том числе и Хордин, возвратившийся из темной глубины сада, и направились в дом. Последними шли Чехлов и Александра Яковлевна. Но Чехлов, по выходе из сада, когда уже все ушли, вдруг остановился, дотронулся рукой до руки Александры Яковлевны и сказал глухо:

— Прощайте!

— Куда же вы? — спросила та с удивлением.

— Я приехал только вас видеть... Только с вами мне нужно было говорить... Но теперь... не могу! Прощайте.

Все это Чехлов выговорил с внезапным волнением, замирающим голосом. Потом схватил руку Александры Яковлевны, пожал ее до боли и бросился по дороге к вокзалу. Александра Яковлевна смотрела ему вслед, пока фигура его не исчезла в ночной мгле. Тогда она направилась домой, изумленная и в первый раз встревоженная тяжелым подозрением. В темноте лицо ее загорелось краской, а сердце сжалось от какого-то предчувствия. Но когда она вошла в освещенную комнату, никто не заметил испуга на ее лице.

Там продолжалось то самое неприятное молчание, которое произвел Чехлов. Даже веселый Буреев никак не мог настроить себя на живой лад. Но лишь только он узнал, что Чехлов ушел, как моментально засмеялся.

— Что это за странный человек! — вскричал он оживленно.— Кажется, его прямая и единственная обязанность отравлять каждую минуту человеческой жизни!.. Ей-богу, когда он появился, я тотчас почувствовал, что совершил какое-то преступление... не то украл что, не то кому-то голову отрезал... Ведь может же уродиться такой чудак!

— Просто бездельник! — вдруг возразил на это Хордин и с яростью сверкнул глазами.

Александра Яковлевна слушала задумчиво и с тою же задумчивостью возразила, обращаясь исключительно к Бурееву:

— Вы говорите — странный? По-моему, несчастный! Я еще не видала человека с бо́льшим преобладанием головы над сердцем... Такие люди не живут, а только думают, да, пожалуй, и не думают, а только наблюдают свои думы. Ум его не из тех умов, которые строят цельные и удобные здания мысли, а только разрушают, — ум его сильный и в то же время ничтожный. Мысли его не дают плода, они только борются между собою... Мне кажется, в душе у него, вместо цельных образов, пустынные развалины, в которых холодно и жутко... Большая голова и маленькое сердце — это ужасное дело! Мне иногда кажется, что когда он выражает какую-нибудь мысль, сзади нее уже стоит другая мысль и подкарауливает первую, чтобы убить ее. Нет, это не странный человек, а ужасно несчастный...

— «Несчастный»... просто бездельник! — вдруг опять бешено вмешался Хордин. — Я бы таких... Проповедует труд, а сам без дела слоняется! Проповедует любовь, а не пропустит ни одного человека, чтобы не оскорбить его... скотина эдакая!

Хордин злобно поводил глазами по лицам, но вдруг встретился с глазами жены и обмер. Лицо Александры Яковлевны в это мгновение покрылось пятнами, в глазах светилось негодование, сжатые руки ее хрустнули.

— Ты никак не можешь обойтись без ругани, к которой привык на дворе, — сказала она тихо, но с страшным презрением. — Это ты-то ругаешь Чехлова? Опомнись... Пусть его ругают кто угодно, но не вам, не вам, практичным людям, кого бы то ни было обвинять!.. Пусть судьями мыслящих будут те, за кем не числится... практичности! Это не ваше дело! Молчите и продолжайте устраиваться потеплее и погрязнее!

Хордин обмер. Он смотрел на жену, бледный и растерявшийся. Его не слова жены оскорбили, он только с страшною тоской думал: «Значит, это правда!»

Между тем Александра Яковлевна быстро вышла из комнаты.

Немного погодя, тяжело ступая, вышел из комнаты и Хордин. Оставшиеся в зале так были поражены всем случившимся, что боялись взглянуть в глаза друг другу. Буреев отвернулся к растворенному окну, высунул на воздух голову, да так и остался в этой позе. Он понял, что в доме кончается какая-то драма, но не желал угадывать, в чем она. Маша несколько минут судорожно улыбалась, но вдруг громко заплакала. Мизинцев от этого еще более растерялся; он подошел к ней и хотел успокоить ее, но не знал, чем; он неясно понимал, отчего она плачет. Постоял, постоял он в нерешительности и вдруг молча начал целовать ее слезы.

До прихода поезда все трое мучительно провели время. Александра Яковлевна вышла их проводить, но лицо ее вдруг так

осунулось, что ее приветливые слова, сказанные на прощанье, казались мрачными. А сам Хордин совсем не вышел.

Так кончилась эта, начатая просто, свадьба.

Хордин сидел один в своей комнате, положив голову на руки. Он был убит и почти ни о чем не мог думать. Только одна мысль бесчисленное число раз повторялась в его уме: «Так это правда!» Он почти шептал ее губами и так много раз повторял ее, что она, наконец, потеряла свой острый смысл. Это успокоило его бешенство, уже выплывавшее откуда-то из глубины. Бесчисленное число раз повторяя одну и ту же мысль, он успокоился до апатии. Ему вдруг стало скучно, в теле чувствовалось изнеможение, глаза слипались. Тогда он перешел от стола к кушетке, лег на нее и почти мгновенно уснул.

Но зато он проснулся, когда еще было темно. Проснулся оттого, что во сне ему показалось, будто кто-то ударил его, он закричал от боли и раскрыл глаза. Мгновенно вчерашняя мысль громко раздалась в его уме: «Так это правда!» Только теперь она предстала перед ним в живых образах, которые взволновали его, и он вскочил с постели. «Так это правда, что она бросает меня!» И она предстала перед ним, как живая, и не в один какой-нибудь момент, а в целой картине событий их жизни. Она наполнила его воображение и сердце до краев, ослепила все его мысли своим образом и превратила его существо в один порыв; если бы она в эту минуту появилась здесь, он упал бы к ее ногам и, умоляя, отдал бы себя в ее распоряжение. «Делай что хочешь со мной, но не уходи, не уходи!» Но ее не было, и страстный порыв его принял другую форму.

Ужасная мысль опять повторилась: «Так это правда, что она избрала *того!..*» При этом в его воображении встал вдруг образ, вид которого вызвал всю ревность, все бешенство его. Он забегал по комнате, шептал ругательства, сжимал кулаки. О ней он забыл; она ему рисовалась в каком-то тумане; он не думал о ней. Ее образ во всю их жизнь оставался таким чистым, что он и теперь, в припадке бешеной ревности, не мог приписать ей ничего грязного, — она всегда поступала так, как велела ей совесть. Она и теперь так поступит, и притом бесповоротно. И теперь также. Она решила, и — все кончено! Тут не о чем думать! Конец! Это правда, что их жизнь кончилась... И он не думал больше о ней.

Он думал о *том.* Что он за человек? Зачем он отнимает у него любовь, зачем разбил его жизнь? Кто он, честный или подлец? Если честный, его надо убедить, что он делает подлость. Пусть выстрадает, пусть поборет свою любовь и уйдет, если может, или останется, если не может... А если не может? А если не захочет? Если такой прекрасный на словах, он на самом деле низкий человек, который не остановится ни перед чем ради удовлетворения собственных желаний... И у Хордина, как луч

света, вдруг мелькнула надежда, нелепая, ложная надежда, но на мгновение потушившая его бешенство. Он вспомнил все, что говорил Чехлов, представил себе весь его крупный образ, и у него мелькнула надежда, что такой человек не может не быть великодушным. Хордин мысленно подошел к Чехлову и стал убеждать его, чтобы тот подумал, прежде нежели разбить его жизнь... Он ему сказал, что она, эта женщина, в продолжение многих лет была для него единственным источником света, любви, справедливости... в будущем — единственный его идеал, радость, правда... Другим многое дано, а у него, Хордина, выше ее ничего больше нет. Если она оставит его, у него ничего не останется... Постылая работа из-за куска, бесцельные хлопоты, грязь, ненавистная жизнь!.. Ничего другого не останется! Она все унесет с собою!.. Он долго и пламенно говорил и убеждал, обращаясь к великодушию противника, и сердце его так страдало, что он плакал слезами, не стыдясь присутствия врага. Напротив, он плакал, чтобы вызвать в нем сострадание...

Но вдруг он остановился и потрогал рукой лицо; на нем текли по щекам действительные слезы. Только Чехлова здесь не было, и пламенной речи он не слыхал, да и речь эта глупая. Оглянув всю комнату (он не заметил, как рассветало), он вдруг с бешенством понял, что все это только фантазия. В действительности, Чехлов сегодня приедет и уйдет с ней гулять, а завтра, быть может, они уедут.

И он опять забегал по комнате, но теперь в нем уже не было слепой злобы. Вместо нее его сознание наполнено было обдуманною местью. Он уже не фантазировал, сочиняя пламенные речи, а обдумывал, как ему поступить. Злоба подсказывала ему, а он повторял за ней и решил. Он решил увидать Чехлова и... что он сделает, он еще не знал. Ему было только ясно, что он должен увидать его, и не с глазу на глаз, а с ней. Когда он приедет и они будут гулять, надо незаметно последовать за ними, подслушать, своими глазами убедиться и вдруг предстать перед ними. А дальше что делать, это все равно. Быть может, он убьет его палкой, как злую собаку, может быть плюнет ему в лицо или даст ему пощечину, собьет с ног, наступит ногой на это ненавистное лицо и будет душить.

На мгновение опять им овладел припадок бешенства.

Солнце взошло, и лучи брызнули прямо ему в лицо, но он с бешенством отвернулся от них и бегал в теневой стороне комнаты. Потом припадок прошел, и он снова с холодною злобой обдумывал, как он поступит. Злоба вызывала из глубины души все самые низкие человеческие силы — хитрость, притворство, обман, и с их помощью он обдумал. Он не выйдет из комнаты. Притворится спящим. Будет звать она — он не пойдет; не надо вызывать ее подозрения. Придет горничная звать его к чаю, он

нарочно сонным голосом скажет, что он хочет спать. В этих видах он подошел к двери и запер ее на задвижку. Он выйдет отсюда, только когда они отправятся гулять. Но они могут не пойти, а остаться в комнате. Тогда он подождет, потом неслышно выйдет через коридор, прислушается и вдруг отворит дверь. Тогда!.. быть может, он схватит его за ворот и выбросит за окно, в канаву, где крапива и кирпичи от прошлогодней стройки, выбросит прямо вниз этим подлым лицом на кирпичи!..

Снова порыв бешенства затемнил его рассудок, и он забегал по комнате. Так несколько раз чередовались слепое бешенство и злобное обдумывание того, что он сделает. Он то бегал по комнате, то садился к столу.

Было уже позднее утро. Но он не замечал, как шло время.

Вдруг, в одну из тех минут, когда бешенство бушевало в самой крови его, он услыхал голос Чехлова, раздавшийся в передней. Кровь остановилась в его сердце, он, казалось, перестал дышать и чувствовал только ужас. Дальше он слышал, как на вопрос Чехлова дома ли Александра Яковлевна, горничная ответила — дома, как он тяжело прошел по коридору в залу, как оттуда послышались голоса. Он поднялся с места из-за стола и, дрожа, пошел к двери. Но от всего его хитрого плана, по-видимому, ничего не осталось. Он только успел осторожно отодвинуть задвижку своей двери... но затем, дальше ему следовало, как раньше он думал, немного подождать, тихо отворить дверь, неслышно пройти в коридор, остановиться там, прислушаться... потом вдруг войти. Так он обдумал, и так следовало ему поступить, но от всего этого плана ничего не осталось, когда он невнятно услыхал ее голос. Стоя посредине комнаты, он посмотрел на свои руки, которые дрожали, пощупал горящую голову — и ничего не хотел. Все желания, подсказанные местью, пропали. Перед ним вдруг встал образ его Саши, ударил по его ослепленному рассудку и рассеял весь его план. И все, что было в нем порядочного и чистого, поднялось, возмутилось и заговорило благородными словами: «Боже мой! Да неужели я буду шпионить за ней? Она уходит, но пусть хоть в последний раз убедится, что я честный человек!» Он шептал это и отвернулся от двери. Потом, лишенный всякой воли и обессиленный, он подошел к кушетке, лег вниз лицом на нее и заплакал.

Между тем в зале в это время происходила глухая сцена, в которой два лица говорили не тем языком, каким хотели.

Приход Чехлова в такой ранний час для Александры Яковлевны был неожиданностью, тем более ужасною, что ей было не до него. Когда она услыхала его голос в передней, сердце ее так сжалось, что несколько минут она считала невозможным выйти. Но это показалось ей малодушием, которое надо было подавить. И она подавила и вышла в залу, твердая, с светлым лицом.

Чехлов стоял посередине комнаты. Здороваясь, он избегал встретиться с ее глазами, но через мгновение взгляды их встретились, и они оба почувствовали состояние друг друга. Она увидала, зачем он пришел, и в ужасе спрашивала себя: чем она могла подать повод для такой любви? А он понял, что она увидала его любовь. Она наскоро решила, как ей поступить, а он решился — ни одним словом не намекнуть о своей страсти («пусть она думает, что ошиблась!»), но зато все узнать, и непременно сейчас, о своей судьбе, иначе сердце его не выдержит испытания. И, подавив страшным усилием свое волнение, он сделал лицо почти насмешливым.

— Неужели вы из города? — сказала Александра Яковлевна первое, что пришло ей в голову.

— Нет, я переночевал в деревне у мужика... Вчера мне не дали поговорить с вами, и я решился дождаться утра, — сказал Чехлов насмешливо.

— Но теперь-то уже нам никто не помешает. В чем дело? — спросила Александра Яковлевна и вся замерла от ожидания.

— Да дела-то, кажется, никакого... Я пришел проститься с вами, потому что уезжаю надолго... Впрочем, мне хотелось узнать, как вы обо мне думаете. Ведь я очень самолюбив, когда дело идет о вашем мнении. Но, кажется, я и сегодня попал не вовремя?

Он опять насмешливо улыбнулся, хотя лицо его было страшно бледно.

— Мы как будто с вами сговорились... Ведь и я также уезжаю и также хотела проститься с вами, — ответила Александра Яковлевна.

Мгновенно вся кровь бросилась ему в лицо, а глаза запылали страстною надеждой. Он пытливо смотрел на Александру Яковлевну.

— Куда уезжаете? — сказал он слабым голосом и чувствовал, что сейчас все будет кончено.

Волнуясь и путаясь, с величайшею поспешностью Александра Яковлевна рассказала свое решение. Она уезжает оканчивать курс. В эти годы она забыла обо всем на свете, убитая горем, но теперь то же горе подсказало ей, что надо делать. Она кончит курс на врача. Если ей нельзя будет сделать этого в России, она немедленно уедет за границу. Дальше что будет, она не знает. Но, по всей вероятности, она поселится в деревне и будет лечить детей. Во имя умершего своего мальчика она изберет своею специальностью детские болезни.

— Не подумайте, — кончила она взволнованно, — что я смотрю на все это как на прекрасную мечту! Это простое дело, и я его выполню. В эти годы я убедилась, как страшно оставаться без цели, хотя бы и маленькой.

По мере того как Чехлов слушал эти слова, сердце его умирало от холода. Почувствовав внезапную слабость, он опустился на первый попавшийся стул и с минуту сидел с закрытыми глазами. Александра Яковлевна еще раз спросила себя при виде Чехлова: «Боже мой! Неужели я сама могла подать повод для такого страдания?»

Но лишь только Чехлов заметил жалость на ее лице, как еще раз овладел собою. Еще раз, при помощи закричавшего самолюбия, он победил волнение и страсть и вызвал холодную насмешку на свое лицо.

— А я-то думал, что вы действительно пойдете по моему пути! А вы только идете «окончить курс»! — заметил он ядовито.

— Какой же ваш путь?

— Мой путь тот, где правда и любовь!

Александра Яковлевна отрицательно покачала головой.

— Вы вдвойне, Денис Петрович, заблуждаетесь, — сказала она торопливо. — Относительно меня и относительно вашего пути... Ответ на первое вы уже знаете, а второе...

Александра Яковлевна остановилась. Она от всей души хотела дружески проститься с человеком, которому за многое была глубоко благодарна, и ни одного резкого слова ей не хотелось бы в эту минуту сказать ему. Но он холодно переспросил:

— Какое же второе заблуждение?

— Вам очень многое дано, но только не любовь... именно любви-то к людям и нет у вас! — выговорила она с усилием.

В другое время эти слова поразили бы его, как внезапное оскорбление; но теперь ему было не до того; он выслушал и ничего не сказал. Он только наблюдал, что делается у него внутри и как смертельно холодеет его сердце.

Раскаиваясь за свои слова, исполненные сострадания, Александра Яковлевна вскричала:

— Простите мне, Денис Петрович! Я благодарна за все, за все!.. Сами вы и не подозреваете, как много вы для меня сделали... Но только не любовью... Я за другое благодарна вам.

Чехлов чувствовал, что еще мгновение — и все его самолюбие, вся гордость и насмешливость пропадут, и он потеряет последние силы. Он быстро встал и, протягивая руку, холодно сказал:

— Ну, довольно, Александра Яковлевна! Пора. Прощайте!

И, почти не пожав ее руки, он быстро вышел из дому.

Александра Яковлевна долго следила за ним глазами, когда он шел по дороге к вокзалу, и ждала, когда он оглянется, чтобы еще раз проститься с ним, но он ни разу не оглянулся. Напротив, чем дальше он шел, тем, казалось, быстрее были его шаги. Наконец опущенная голова его скрылась за поворотом.

Тогда Александра Яковлевна отошла от окна, постояла несколько мгновений посередине комнаты, с печальным от сострадания лицом, и вдруг решилась разом уж все кончить.

Хордин лежал ничком на кушетке и не мог поднять головы, страдая от какого-то душевного безразличия; он лежал без цели, без желания, без мыслей. Но вдруг он услыхал, как кто-то отворил его дверь, быстро подошел к нему и нежно положил руку на его голову. Он вскочил с места и очутился перед женой. Он смотрел на нее и ничего не понимал. Она первая заговорила:

— Я обидела тебя вчера... прости!

Он продолжал смотреть и не понимал.

— Может быть, и ты виноват, но зачем теперь это разбирать? Прости!.. Нам нечего больше делить и не о чем спорить!.. — продолжала взволнованно Александра Яковлевна.

Он молча слушал и опять не понимал, к чему это.

— Я хочу уехать на днях. Не от тебя, но чтобы кончить давнишнее мое дело. Для меня это неизбежно, а может быть, и для тебя будет лучше, — продолжала Александра Яковлевна и поспешно, но с мельчайшими подробностями стала рассказывать о своих намерениях и решении. При этом она тихо усадила мужа на кушетку, села сама с ним рядом и гладила своею рукой его руку. Она долго говорила и кончила только тогда, когда упомянула имя Андрюши.

Хордин все молчал, смотрел в пол и болезненно улыбался, как будто говоря: «К чему это? Все это я уже знаю!» Наконец он спросил с больною улыбкою:

— Ты с ним уезжаешь?

Александра Яковлевна вспыхнула, но без злобы, и отрицательно покачала головой.

Он недоверчиво посмотрел на нее и повторил свой вопрос:

— Разве ты не с ним уезжаешь?

Она могла бы притвориться не понимающей вопроса, но она просто сказала:

— Ты не должен так думать! Чем я подала тебе повод заподозрить меня во лжи?

Тогда он широко раскрытыми глазами посмотрел на нее с минуту, потом покраснел до корней волос и закричал:

— Так это неправда?!

И, еще раз взглянув в ее открытое, честное лицо, он с восторгом бросился целовать ей руки, лицо, голову. Она уезжает — это правда, но только не с тем... Мысль о Чехлове так была ненавистна и мучительна для него, что теперь он от счастья не знал, что делать и говорил:

— Поезжай, поезжай!.. Ради бога. Ведь я сам знаю, что твое место не здесь... Тебе было скучно, тяжело, отвратительно. Разве это я сам не понимал?.. Но ведь я не мог же за тебя решить...

Уезжай, ради бога. Работай. Это бы давно нужно сделать... Отчего ты раньше, милая, не сказала? Неужели ты думала, что я не соглашусь? Неужели уже так низко упал я в твоих глазах, что ты не верила в простую порядочность мою? Ради бога, моя милая, ступай, работай, я только тогда счастлив буду, когда увижу тебя счастливою.

Он обезумел от радости и говорил бессвязно.

Через час в доме все успокоилось.

А через два дня Александра Яковлевна уже ехала на станцию с вещами. Ее провожали муж и Буреев. Настроение всех троих было счастливое. Хордин сиял тем же восторгом, как и в тот час, когда она сказала ему, что едет не с *тем*. Он с любовью смотрел на ее лицо и был вполне доволен ее отъездом.

Только когда они в последний раз простились, и поезд ушел, и он остался один, внезапная грусть овладела им. Буреев с полдороги повернул в свою усадьбу, и он совсем одиноко возвращался домой. Он верил каждому слову жены; он верил, когда она говорила, что будет приезжать, но как же он станет проводить целые месяцы? Разве это не тяжело? Он теперь вечно будет один.

И он грустно смотрел на желтые поля. Кругом, во всей природе, казалось, разлилась такая скука, что не хотелось смотреть ни на что. Но вдруг, неизвестно почему, ему вспомнилась хорошенькая бабенка, которая то и дело в последнее время попадалась ему на глаза. Она была солдатка, жила в деревне, часто нанималась в усадьбу на работы, и — ах, бестия, хороша! — подумал он, улыбнулся, и грусть его немного успокоилась.

XI

Когда Чехлов шел через поле к вокзалу, насмешка все еще рисовалась на его лице. Это была та насмешка, которая появляется у человека в то время, когда он внезапно был выруган или споткнулся, упал на землю, больно ушибся и, торопливо поднявшись, оглянул прохожих, не смеется ли кто?.. За такою насмешкой всегда скрывается мука и ярость. Эта насмешка — плод того лицемерия, с которым человек не может расстаться даже перед самим собой.

Чехлов лицемерил.

Идя через поле, он низко опустил голову, но презрительно улыбался. Он смеялся над тем, что *она* поставлена им в такое глупое положение... Она, конечно, уже приготовилась слушать его признание, а вместо этого услыхала от него лишь несколько ядовитых колкостей! Она ждала, быть может, что он в целой речи выскажет ей свою любовь, а он только смеялся, глядя на нее! Она, наверное, ждала слез, волнения, мольбы, бурного отчаяния,

а он тихо и холодно ушел!.. Пусть теперь она ждет его! Пусть глупцы плачут перед женщиной, для него это только один из тех идолов, которых он сбрасывает с их пьедесталов!

Опустив голову, Чехлов быстро зашагал по дороге, продолжая презрительно улыбаться.

Он всегда презирал женщину, а теперь в особенности. Было время, когда она была только самка, как у животных. Потом раба. Потом божество. Теперь источник наслаждений. Сообразно с этим мужчина играл по очереди роли животного, разбойника, язычника и развратника. Какие презренные роли! Но ведь иначе и быть не может. Кто видит только наслаждения, тот кончит развратом; кто увидит в женщине нечто священное, тот забудет о других богах; кто подчиняет себе ее физическою силой, тот рабовладелец. Между мужчиной и женщиной естественны только животные отношения... но как это гнусно! Разум протестует против всех животных деяний, и надо слушаться его протестов. Наслаждение — хищный зверь, которого надо убить, и худшее рабство, из которого надо вырваться...

Еще ниже опустив голову, Чехлов ускорил шаг и мысленно уже клеймил злыми эпитетами женщину, которая сделала его таким несчастным.

Он подыскивал мысленно пороки ее и придумывал позорнейшие названия, чтобы ими забросать поработивший его образ. Она кокетка! Каждое слово ее было рассчитано, чтобы произвести известное впечатление; ее улыбка, ее грусть, ее слезы, ее смех — все это только средства нравиться. Слова и мысли женщины никогда не выражают ее убеждений; она смотрит на них так же, как на прошивки и бантики, украшающие ее наружность... Слова и мысли — это только ее средства нравиться. Она эгоистка. Она может понять только боли своей семьи, своих детей, до остальных ей нет дела. Она всегда продажна. Она любит человека только за то, что тот дает ей средства к праздной жизни, удовлетворяет ее грубые вкусы, потакает ее низким привычкам...

Он дошел до вокзала.

Пассажирского поезда в эти часы не было. Тогда он потребовал у начальника станции посадить его на товарный поезд, который должен был прийти через час. Начальник станции хладнокровно отказал бы в таком несообразном требовании в другое время и другому человеку, но требование Чехлова было так повелительно, а на лице его рисовалась такая ярость, что начальник неизвестно чего струсил.

Получив позволение ехать с товарным поездом, Чехлов стал быстро ходить по единственной зале станции и мысленно продолжал ругать, ненавидеть и позорить любимую женщину. Он не обращал внимания, где он и кто около него. Но когда заметил,

что на него смотрит сторож, он круто повернул к выходной двери и прошел в садик, разбитый возле вокзала. Там он сел и продолжал подбирать позорнейшие названия для той, которая живет там, за холмом, где лес над оврагом...

Взгляд его обратился туда, где была усадьба. Усадьбы не было видно, от нее виднелись только две верхушки берез, под которыми они так часто сидели. Он стал смотреть на эти верхушки, как будто в них что-то скрывалось, и вдруг почувствовал, что сердце его наполняется какою-то горячею волной. Ярость его мгновенно пропала. В голове его еще звучало последнее бранное слово, но из глубины души уже поднималась и росла другая мысль, мгновенно затопившая всю его злобу. «Но ведь это же неправда! — кричала новая мысль. — Эти добрые глаза не могут быть лживыми! Эта чистая улыбка не лицемерна! Это бледное лицо с чертами страдания может быть только у глубокого человека! Этот прямой, светлый лоб может выражать только ясность мысли и чистоту помыслов! Она ему улыбалась, когда другие обращали к нему свои злые лица; она дружески пожимала ему руки, в то время как другие гнали его от себя. Она до последней минуты оставалась его единственным другом посреди врагов его, и он за это теперь ее позорит! И в последнюю минуту он не захотел даже проститься с ней!»

Ему было так невыносимо стыдно, что он уже порывался броситься снова в усадьбу и в последний раз проститься с ней. Ведь он больше никогда не увидит ее. Ее уже нет, она умерла для него. Но в эту минуту подошел товарный поезд, свистнул, и Чехлов машинально зашагал к вагонам, а через небольшой промежуток времени он уже ехал в город, невольно увлекаемый от тех мест, куда направлены были все его мысли. В голове и сердце его настал такой хаос, что он потерял власть над сердцем. За минуту перед тем он проклинал любимую женщину; теперь ее образ вызвал в нем восторг и отчаяние; он желал еще раз увидать ее и проститься, но с каждою минутой уезжал все дальше и дальше. Он уезжал неизвестно куда, не знал, что́ должен делать сейчас, и не имел ни одной определенной мысли. Весь его разум сделался игрушкой какой-то неведомой силы, которая неизвестно куда увлекала его. Он стоял на площадке вагона, подставляя лицо ветру, и уже ни о чем не думал; из хаоса его души нельзя было извлечь ни одной определенной мысли, ни одного цельного желания.

Но мало-помалу в затуманенной, полной безобразными обрывками голове его стало выделяться одно желание; оно сначала появилось в странном виде, но чем более оно разрасталось, тем разумнее казалось ему. Наконец оно сделалось настоятельною, неизбежною целью, ради которой он только и едет на этом поезде. Он желал увидеть карточку Александры Яковлевны, взять ее

в руки и тщательно рассмотреть. Тогда, как ему казалось, он все поймет; поймет, что́ ему думать и что делать. Взять в руки карточку и взглянуть на нее — это было нужно и неизбежно.

До города осталось полчаса, но он с нетерпением провел это время, то садясь на лавочку, то вставая. Однако первое нетерпение не мешало ему тут же обдумать, что он должен сделать тотчас по приезде в город; напротив, с помощью возбуждения он скорее все решил. Он сам не зайдет на квартиру к Мизинцеву, а придет в гостиницу, займет номер и оттуда пошлет слугу за своими вещами. Видеть ему никого не нужно. Он должен быть один. Да от этого ведь никто и не загрустит, — кроме враждебных или равнодушных людей, здесь никого у него не было. Только она одна была его другом.

Он так и сделал. Войдя в первую попавшуюся гостиницу, он занял номер, затем написал записку, адрес и после устного объяснения отрядил слугу за своими вещами. При этом тщательно разъяснил, какие книжки надо было взять, потому что карточка была положена именно в одной из этих книжек. Карточку эту он выпросил у Александры Яковлевны с месяц тому назад, между шутками, и не придавал ей тогда значения, но теперь он с нетерпением ждал, когда слуга принесет ее.

Чтобы убить время, он заказал обед, но когда ему принесли, он почти не притронулся ни к одному кушанью. Он ждал карточки. Наконец слуга приехал с вещами, втащил их в номер, а книги, особо перевязанные веревочкой, подал прямо ему в руки. Кроме того, подал еще несколько писем на его имя, накопившихся за последние дни. Чехлов наскоро расплатился с слугой, бросил письма на стол и принялся перелистывать книги.

Карточка тотчас же нашлась. Он схватил ее в руки и вперился в нее взором. На него смотрели оттуда добрые, вдумчивые и тоскующие глаза, а лицо улыбалось ему дружески. У него оборвалось сердце от этого взгляда и от этой улыбки. Так вот кого он потерял! И, вне себя от отчаяния, он поцеловал карточку, быстро завернул ее в попавшуюся бумагу и уложил в карман.

Для него теперь все стало ясно: он не может навсегда расстаться с ней! Пусть она не будет его женой, пусть их будет разделять другой человек, сотни других людей, и время, и пространство, но он должен жить ею и для нее. Хотя бы только дружбой ее, но он должен пользоваться. Она победила. Все его помыслы ей принадлежат. У него больше нет ни гордости, ни самолюбия, ни идеи, ни учения для нее, только она, любимая, существует. Нет ничего, ни гордости, ни сознания превосходства, ни чувства удовольствия, ни упоения идеями, если ее не будет подле него. Все важно только потому, что она существует. Она победила. Он не может ее ни забыть, ни возненавидеть.

Он ходил большими шагами по комнате и в сильных выражениях унижал себя. Подобно тому, как несколько часов назад он подыскивал бранные и презрительные названия любимой женщине, так теперь с тою же силой он клеймил себя. Перед ним в живом образе стояла она и ярко обнаруживала свою сердечность, простоту, добрые глаза, тоскливое лицо, а он перед ней казался злым, суетным, тщеславным, лицемерным. Он припомнил все свои вины и позорил себя всеми способами и в этом унижении находил ужасное счастие.

И самое огромное унижение — это невозможность забыть ее, выбросить ее из памяти и успокоиться. Он не мог, это было ясно, не думать о ней и не мог без страха представить свою жизнь без нее. Но это ужасное унижение было в то же время и самым счастливым. Он с каким-то восторгом смотрел на свое решение — во что бы то ни стало жить ею и подле нее и упиваться мыслью, что сам он исчез в другом человеке, жизнь которого отныне будет его целью, его душой, его бытием.

Шагая по комнате до самого вечера, он не чувствовал ни усталости, ни душевной муки. Принятое им решение ни в каком случае не расставаться с любимою женщиной дало ему не только счастие, но и нечувствительность ко всему другому. Он забыл, где он и что с ним происходит. Только твердо помнил, что надо делать впереди.

Во-первых, он больше не станет добиваться невозможного, — придет время, она оценит его. Во-вторых, он ни одним словом не скажет ей ничего о своем чувстве, которое пусть молчит, пока не придет время. Он только поедет туда, где будет она, и восстановит ее дружбу.

С этою мыслью он сел писать ей письмо, но, помимо его воли, письмо вышло слишком длинным и выражения его слишком пламенными. Тогда он разорвал его и написал коротенькую, сухую записку, в которой просил Александру Яковлевну дать ему свой адрес.

Когда эта записка была написана, он вдруг увидал, что уж поздно. И тут только почувствовал, как он устал и разбит. Он в изнеможении лег на кровать. Но эта усталость и это изнеможение вливали в его сердце невыразимое счастье. Он чувствовал общую слабость — душевную и телесную, но в то же время упивался этою слабостью, прекратившею болезненное напряжение его воли. В таком состоянии он заснул.

Спал он одетый. Проснулся очень рано от какой-то щемящей боли во всем теле. Вскочив с постели, он тотчас же припомнил все, о чем передумал вчера, и почувствовал то же душевное изнеможение, но уже без восторга и счастия. Утро как будто рассеяло туман, он ясно сознавал, что вчерашнее его решение — иллюзия, которою нельзя жить. Для него стало также ясно, что он разбит и ему надо оправиться от погрома.

Поборов усилием воли малодушную слабость, он бросился к умывальнику и стал лить на голову холодную воду. Потом позвонил слугу и велел дать чаю. Это освежило мрачные его мысли. После того слуга принес прибор; он, сидя за чаем, снова вынул карточку, пристально вглядедся в нее, и мало-помалу в его голове прошел весь тот ряд мыслей, который вчера взволновал его. И немного спустя он уже опять верил, что не все для него пропало, что он тотчас начнет переписку с Александрой Яковлевной, восстановит ее дружбу и поедет за ней всюду, где будет она. Разве он чем связан? Он может жить там, где хочет. Ни от кого и ни от чего он не зависит, почему же ему не поехать туда, куда она поедет? Он пытливо вглядывался в черты лица на карточке и хотел, как вчера, прильнуть к ним губами, но не сделал этого, удержанный какою-то стыдливостью при утренних лучах солнца...

Снова страстная грусть и счастливая слабость овладели им. Он уже опять верил, что принятое им решение — не иллюзия, а единственное и неизбежное дело. Только теперь, утром, соображения его были более практичны. Он обдумывал ближайшее дело, какое ему предстоит. Прежде всего, он вспомнил о написанном письме, запечатал записку в конверт, надписал адрес и для выигрыша времени решил тотчас же отнести его прямо на поезд. Но в это время он заметил несколько писем, принесенных вчера от Мизинцева и брошенных им на стол. Надо было теперь пересмотреть их, и он стал поочередно раскрывать конверты.

Первое письмо, раскрытое им, было от знакомого единомышленника, на двух мелко исписанных листках. Все письмо состояло из теоретических споров об учении, которое еще несколько дней назад он считал самым важным и единственным делом своей жизни. Но в эту минуту, читая знакомые споры о знакомых идеях, он с трудом следил за мыслью автора; эта мысль казалась ему такою чужой и неважной, как будто прошло уже много лет, в течение которых он пережил другие мысли. Нетерпеливо пропуская строчки, он спешил поскорее дочитать скучные споры до конца. Он сознавал, что не должен с таким равнодушием относиться к мыслям, которые были его собственные мысли, в то же время не в силах был подавить это нетерпеливое равнодушие и осторожно свернул письмо. Не учение его теперь занимало и не до теории ему было.

Чувствуя, что в душе его начинается какой-то вопиющий разлад и борьба, следующие письма он уже разрывал раздраженно, наскоро прочитывал их и бросал. То же самое он хотел сделать и с последним заказным письмом, разорвал его конверт и уже хотел отбросить от себя, чтобы поскорее отправиться на поезд, но внезапно глаза его остановились на нем.

Оно было написано на бланке знакомого банка, где лежали на текущем счету все его деньги, и состояло всего из нескольких строчек; перечитав эти строчки, он сначала ничего не понял. Скверный официально конторский язык его был так темен, что свежему человеку действительно трудно было понять его в одно мгновение, а Чехлову, душа которого целиком была занята другим образом, в особенности. Он еще раз перечитал единственный период письма и опять ничего не понял. Но на этот раз не понял от изумления, равносильного испугу... Какое-то управление извещало («имею честь известить») господина Дениса Петровича Чехлова, что ввиду приостановки действий банка г. Н., объявившегося несостоятельным, и назначении судебного расследования, начатого вследствие незаконности его операций, выдача вкладчикам и кредиторам причитающихся им сумм прекращена впредь до выяснения актива и пассива банка... Вслед за этими скверными строчками была какая-то подпись, которую, по обыкновению, нельзя было разобрать. Больше ничего.

Чехлов еще раз сначала прочитал, причем убедился, что это вовсе не бланк его банка, а какой-то другой. Потом его поразила мысль, что ему не прислали ожидаемых денег. Неделю тому назад он послал требование в банк о присылке ему небольшой суммы денег, и вот, вместо этих денег, пустое письмо с каким-то скверным содержанием. Не в состоянии будучи еще понять весь размер содержания письма, он только поражен был фактом неимения денег, которые были крайне необходимы для него сейчас. У него нечем было расплатиться за номер и обед, а между тем ему надо ехать. К кому обратиться? Здесь у него одни только недоброжелатели, которых он сам презирает. Всякий из них только обрадуется его глупому положению и скажет: «Да вам зачем деньги-то? Ведь вы считаете их развратом!» Если же он скажет, что ему надо ехать, то ему возразят насмешливо: «Да вам зачем ехать-то? Ведь вы предпочитаете ходить пешком!»

Но эти мысли смутно пронеслись и не остановили его внимания. Внимание его приковано было к поразительному факту: он не может ни выбраться из гостиницы, ни уехать из города, потому что нет средств. Ни пешком, ни на лошади, ни в вагоне он не может уйти отсюда, потому что нет нескольких рублей... Он стал быстро ходить по номеру и ломать голову, как быть, к кому обратиться. Положение смешное, но отвратительное!

Вдруг на память пришел к нему Буреев. Почему Буреев — неизвестно. Он еще вчера презрительно смотрел на Буреева, как на всех. Но сейчас один только Буреев сосредоточил на себе его внимание.

Но он долго колебался, прежде нежели отправиться с просьбой к Бурееву. Самолюбие его вдруг заныло при мысли, что он явится униженным просителем перед этим насмешником. Несколь-



ко времени он нерешительно стоял у окна. Потом он взял опять скверное письмо в руки и еще раз внимательно перечитал его. И тут только понял весь огромный смысл его. Оно, наконец, объяснило ему, что, быть может, все средства его пропали вместе с банком, что он теперь голый бедняк.

Он остолбенел от такого открытия и с искаженною улыбкою рассматривал письмо.

Но это же открытие заставляло его решиться на что-нибудь. Он решился идти к Буреевy. Вне себя от возбуждения, он бросился из гостиницы, взял извозчика и поехал искать по городу Буреева. Последнего могло в городе совсем не оказаться; но он тут же, сидя на извозчике, решил, что поедет к нему в усадьбу. Но у него могло не хватить нескольких копеек на билет до N-ской станции. Он тут же, на извозчичьей пролетке, пересчитал свои деньги. Оказалось, на билет хватит.

Он подъехал к крыльцу дома, где всегда останавливался Буреев. Через минуту после его звонка ему сказали, что Буреева нет дома. «Но он в городе?» — спросил Чехлов. Оказалось, в городе, но где — неизвестно и когда придет — тоже неизвестно. «Но хоть к вечеру он приедет?» — спросил взволнованный Чехлов. Сказали, что, быть может, придет, но может и до утра не прийти. «А завтра утром он во всяком случае будет здесь?» — спросил Чехлов, выходя из себя от возбуждения.

— Да кто его знает! Надо быть, утром застанете. Но бывает — он прямо возьмет да уедет в деревню... всяко бывает! — лениво говорила кухарка и лениво же поглядывала на незнакомого барина, который, видимо, отчего-то осерчал. Но вдруг она с некоторым интересом спросила:

— Да вы чьи будете?

— Свой! — в бешенстве сказал Чехлов, отпустил извозчика и пошел, сам не зная куда.

На самом деле он был далеко не свой. Он так мало в эту минуту принадлежал себе, что даже не сознавал, что с ним творится. Он сознавал только идиотское положение, но где его начало, откуда оно, это идиотское положение, идет и чем кончится, он не понимал. Да и некогда было добираться. Он быстро шел по улице и не знал, зачем именно по этой улице идет и куда спешит. В голове его вертелась сутолока мыслей, сердце обливалось злобой и раздражением. Он смело шагал неизвестно куда.

Вдруг на одном повороте он почти нос к носу столкнулся с Буреевым; он сначала остолбенел, но вслед за тем порывисто пожал ему руку. Еще через мгновение он уже стыдился этого радостного порыва, как выражения эгоизма, и, насколько мог, спокойно обратился к Бурееву с словами:

— А я у вас был сейчас.

Буреев приподнял брови от удивления.

Но Чехлов, не останавливаясь, сквозь зубы рассказал, зачем он приходил. Он ничего не сказал ни о письме, ни о скверном положении, в котором очутился внезапно, а прямо обратился с просьбой денег, крайне ему необходимых в эту минуту.

Буреев перестал улыбаться и заволновался.

— Вот так штука!.. А у меня, как назло, ни копейки! — сказал он торопливо.

Потом еще пуще заволновался, метнулся рукой в карман, но тотчас же выдернул ее оттуда.

Чехлов угрюмо смотрел на него.

Под этим подозрительным взглядом добродушный Буреев окончательно потерялся.

— Да вам скоро нужно?

— К поезду, — глухо выговорил Чехлов и смотрел в лицо Буреева.

Буреев вытаращил глаза, очевидно ломая голову над вопросом, что тут делать. Но через мгновение он вдруг засмеялся весело, свистнул и, схватив Чехлова за руку, потащил его назад.

— Идем!.. Надо что-нибудь делать... Мы вот что сделаем: вы идите ко мне и посидите малость, а я толкнусь к одному тут человеку... бо-ольшая скотина! ну, да черт с ним, надо поклониться!.. Идите и успокойтесь... живо все устроим!

Буреев выговорил это торопливо, несвязно и пустился почти бегом по другой улице.

Чехлов машинально шел назад. Он отыскал тот дом, в котором за несколько времени назад стучался, вошел в квартиру, сел и стал ждать. Раздражение и испуг его на время прошли, но зато сердце его сжалось от какой-то новой тоски. И не настоящая тоска это была, а какой-то унизительный срам. Он ярко представил себе взволнованное, горячее лицо Буреева, внезапно принявшего участие в чужом человеке, и почувствовал себя настолько униженным, что гордая голова невольно опустилась, пока он дожидался прихода хозяина.

Немного погодя последний с шумом ворвался в комнату.

— Дал-таки, подлец! — с радостью крикнул он и передал Чехлову пачку денег.

Смеющееся лицо его было красно, — видимо, он торопился и бежал.

Чехлов вскочил с места и стремительно пожал ему руку. Но, взволнованный, он не нашел ни одного слова благодарности. Назначив срок уплаты долга, Чехлов простился и ушел.

В гостинице он быстро собрался, заплатил по счету и поехал на вокзал. Несколько часов тому назад, сжигаемый любимым образом женщины, он только о ней одной думал и свою дальнейшую жизнь обдумывал только вместе с ней и ради нее; она сделалась необходимым центром, вокруг которого вертелись все его

мысли. Но сейчас этот образ потемнел в его душе, вытесненный другим представлением, — представлением подлым и безобразным, но сильным и живучим. Он даже забыл бросить в ящик письмо, казавшееся утром таким важным. Когда по дороге он вспоминал о нем, то твердил себе: «После, после, когда вот это устроится...»

Это — были его денежные средства. Их внезапное расстройство нанесло ему такой удар, что все внимание его сосредоточилось на других образах и мыслях. Решение ехать в тот город, где был его банк, явилось у него внезапно, как внезапно пришло к нему и само известие о крушении его средств. Он, не думая, тотчас убедился в необходимости ехать и на месте выяснить свое положение.

Дорога длилась более суток, и во все это время голова его занята была подлым делом. Он потерял хладнокровие, покой и сознание своей силы. Низкое дело, которое он должен был обдумывать под лязг и свист поезда, придавило его. Он давал себе слово не думать об этом, и, сидя в вагоне, среди незнакомого общества, он иногда забывался и дремал под невнятный говор окружающих его пассажиров, но лишь сознание возвращалось к нему, как низкое, подлое несчастие, обрушившееся на него, овладевало всеми его мыслями и принижало его гордость.

Он почти не сомневался уже, что средства его безвозвратно погибли. Он бедняк. Отныне он должен будет думать о квартире, об одежде, о хлебе и о том, как все это добыть, — прежде и больше всего об этом. Отныне он будет жертвой всех и всего. Потому что бедняк — это сплошная жертва людей и обстоятельств, которые всецело распоряжаются им... И мысли Чехлова принимали мрачный цвет.

С ним рядом в вагоне сидел какой-то лохматый, грязный мужичок, с выцветшими глазами, но с довольным выражением на черном лице; он, впрочем, больше спал, чем бодрствовал; для этого он залезал под лавку, чтобы никому не мешать, и громко храпел там; когда приходило время поесть, он живо садился на лавку, вынимал белый хлеб и с наслаждением жевал его, поглядывая на Чехлова; но лишь только он клал в рот последние крошки, упавшие на колени, как опять залезал под лавку, несколько минут счастливо икал и засыпал. Во время осмотра билетов кондуктор будил его ногой; мужик испуганно вскакивал, каждый раз долго шарил, разыскивая билет в единственном своем мешке, но лишь только билет простригали, он опять успокоивался, и беззаветно глаза его отражали равнодушное довольство.

Ни одного разу Чехлов не заговаривал с ним, но много думал о нем, впрочем, не о нем, а по поводу его и о себе. «Ведь вот это — жалчайшее существо, а доволен собой и жизнью! — думал Чехлов. — Зачем же мне-то бояться? Можно быть водовозом, батра-

ком, но все-таки гордо держать голову и сохранять все черты человека». Но когда он вспоминал, зачем едет, какая подлая беда на него обрушилась, он забывал об идиллической жизни водовоза. А когда опять вспоминал эту мысль, то она казалась ему уже не серьезной, лицемерной и глупой. Нельзя быть батраком и полным человеком! Можно на всю жизнь посмотреть с презрением, растоптать ногами все ее мнимые и в существе презренные блага, можно даже отказаться от материальной обеспеченности и досуга, но тогда сделаешься отшельником, а не работником, не водовозом. Водовоз — раб, а не человек, — раб хозяина, которому возит воду, раб лошади, на которой ездит, раб куска хлеба, получаемого за воду, раб всех рабов, которые сильнее его. Нельзя быть жалким работником и носителем разума... Недаром Сократа поносила жена именами бездельника и лентяя; для нее и Диоген, предпочитавший вместо работы собирать милостыню, был только негодным бездельником... И кто скажет, что жизнь водовоза самая лучшая из всех возможных жизней, тот или обманщик самого себя или лицемер перед другими.

Но эта главная мысль пробегала мимолетною полосой. Он занят был обдумыванием только того безобразного положения, в которое поставил его лопнувший банк. При имени хозяина этого банка в уме его раздавались проклятия и всею его душой овладевало такое бешенство, что только привычка всегда владеть собою удерживала его в молчаливой позе. Эта привычка еще не покинула его. В то время как в воображении проходил длинный ряд гневных образов и картин, в то время как одно имя хозяина банка вызывало ярость в нем, — лицо его оставалось невозмутимым, застывшим.

В таком двойственном состоянии он приехал на место. Не останавливаясь в гостинице, он отдал свои вещи на хранение артельщику и прямо отправился в банк. Он оказался запертым. Швейцар дал ему адрес, куда обратиться за справками. Он пошел туда. Но там ему ничего определенного не сказали.

— Осталось ли хоть что-нибудь? — спрашивал он с холодною улыбкой, вызвать которую он еще имел силу.

— Неизвестно пока ничего...

— Но, быть может, ничего не осталось, тогда я и разговаривать не буду...

— Может быть... копеек двадцать на рубль как-нибудь наскребем. Оставьте свой адрес, — когда все выяснится, мы вас известим.

Чехлов не стал больше расспрашивать и ушел. Он окончательно убедился, что средства его погибли. Если даже он получит эти двадцать копеек, то жить нечем будет через полгода. Когда он вышел из правления по делам лопнувшего банка, ему вдруг пришла мысль повидаться с самим банкиром. Тот был на свободе

благодаря крупному денежному поручительству. Не то из любопытства, не то из чувства ненависти, но Чехлов решил повидаться с банкиром и пошел на его квартиру, в которой раньше бывал.

Банкир сидел дома. Это был кругленький, чистый, с сахарным лицом старичок; выражение глаз его всегда было невинное. Он весело встретил Чехлова; розовое, счастливое лицо его сияло. Он гостеприимно усадил гостя в бархатное кресло и тотчас предложил ему кофе, сигар или чего господин Чехлов хочет. Последний грубо от всего отказался и принялся в резких словах допрашивать приятного и невинного старичка. Последний, однако, на все вопросы только улыбался и отговаривался незнанием отнятого у него дела.

— Теперь не мое дело!.. Если бы не вмешались, я блестяще окончил бы операции, но теперь... ничего, ничего не знаю! Пускай вам объяснят те, кто вмешался в мои дела!

Чехлов едва сдерживался. Пытливо рассматривая розовое лицо и невинные глаза приятного старичка, он внутренно дрожал от бешенства. Он соображал в эти минуты, как можно уничтожить таких людей. А что их нужно уничтожать всеми средствами, как клопов, в этом он не сомневался. И ему вдруг пришло сильнейшее желание поколотить этого приятного мошенника, и еще одна минута — и он бы удовлетворил свое желание... Но в это время банкир сказал:

— Все люди, господин Чехлов, воры. Только одни воры ничтожны, другие крупнее...

Чехлов, не дослушав, что дальше хочет сказать старик, вскочил с места и вне себя от злобы проговорил:

— Ну, довольно! Вы — подлец, а с подлецами я не вступаю в споры!

— Ай, ай, ай, как вы дурно выражаетесь, господин Чехлов! — возразил спокойно старичок, но в невинных глазах его мелькнула пугливая злость, как у пойманного зверька.

Чехлов между тем был уже у двери, хлопнул ею и вышел на улицу. Он опять не знал, куда так быстро идет. Но в том возбужденном состоянии, какое он переживал, решения создаются внезапно. У него также явилось внезапное решение. Еще не доходя до вокзала, он вспомнил о родине, о матери, о братьях и тотчас решил ехать к ним. Если здесь у него пропали все средства, то там ему снова дадут. Он попросит настойчиво. Это было новое унижение: уже около восьми лет он не был на родине, и ни разу за это время ему не пришло желания повидать мать и братьев; он не нуждался в них; теперь он вспомнил о них лишь потому, что больше не к кому обратиться за помощью... Это новое унижение, новый стыд, но он должен его вынести, чтобы по крайней мере на будущее время освободиться от низких помыслов и страхов за кусок хлеба.

Когда он пришел на вокзал, в его голове был уже целый план поездки и тех переговоров с родными, которыми он убедит обеспечить его. Он рассчитал, что ему лучше ехать по железной дороге только до М-ской станции, а оттуда на пароходе, удобства которого поправят его нервы. План успокоил его. Он даже вспомнил о хорошем обеде и заказал на вокзале несколько порций. Во рту у него был медный осадок; во всем теле чувствовалась страшная слабость; сильный организм его, видимо, подвергся жестокому потрясению. Надо было успокоиться, отдохнуть.

Но покоя-то он и не мог добиться. Он потерял власть над собой. Когда через несколько часов он снова уже мчался на поезде, в голове его опять воцарился хаос, а сердце наполнялось попеременно то гневом, то отчаянием. При этом образ любимой женщины, три дня назад еще такой яркий и могучий, теперь едва мелькал в его воображении. То, что было третьего дня, теперь казалось ему невозвратно прошлым. Он раз вынул карточку из кармана, бережно развернул ее, но взгляд милых глаз причинил ему острую боль, подобно тому как причиняет боль любимая рука, прикоснувшаяся к ране. Он поспешил спрятать карточку. Даже и любить можно только тогда, когда есть здоровье; больная душа не может любить; в напуганном сердце нет места для счастия. Гадкие мелочи загрязнят самые чистые источники наслаждений... А теперь у него только эти гадкие тревоги и были.

На другой день он сел на пароход. Ему нестерпимо показалось общество людей; по привычке, он все еще поддерживал на лице холодное спокойствие, даже улыбку, когда был между людьми, но это усилие не могло долго продолжаться. Чтобы остаться одному, он занял отдельную каюту.

Очутившись один, он дал полную волю чувствам; разнузданные, они целою толпой ворвались в разбитый строй его мыслей и стали производить опустошение в его голове. Ему уже нечем сдержать ни раздражение, ни гнев, ни тоску, ни отчаяние; он отдался им: терзайте! — находя какое-то наслаждение в положении безоружной жертвы. При этом им очень сильно овладело одно предчувствие, которое он старался подавить насмешкой, но вскоре бросил, поняв бесполезность борьбы. Это предчувствие и раньше его посещало и всегда сбывалось. Он заметил, что за периодом гордости у него всегда и неизбежно следовал период унижения; заметил также, что величина унижения всегда точно соответствовала величине гордости; чем больше, бывало, он возносился, тем ниже вслед за тем падал. Как будто какая-то невидимая рука наносила ему, слишком возгордившемуся, удар и пригибала его к земле... Так и теперь. Весь последний год прошел для него в сознании торжества, и он так вырос, занесся в собственном мнении на такую недосягаемую высоту, что все остальные люди казались ему какими-то букашками, которые

боязливо ползают по земле и среди которых он должен с трудом пробираться, чтобы как-нибудь нечаянно не раздавить какую-нибудь из них. Но вот теперь появилась невидимая роковая рука и стала наносить ему удар за ударом, низвергая его вниз... Он уже испытал целый ряд унижений, но кончатся ли они?

Он предчувствовал, что нет. Он предчувствовал, что самый сильный удар ждет его еще впереди. Он пытался угадать его, приготовиться, но эти бесполезные попытки привели его только к тому, что в сердце его тайно поселилась боязнь чего-то.

Он вышел из каюты подышать свежим воздухом только тогда, когда настала ночь и пассажиры попрятались по каютам или сидели в общей зале. Были первые дни сентября; дул свежий, холодный ветер. Но Чехлов не обращал внимания на холод и долго ходил взад и вперед по опустевшей палубе. Только когда дрожь стала нестерпимо пробирать его, он возвратился в каюту. Чтобы согреться, он велел подать себе чаю. Но озноб и после того не прошел. Тогда он позвонил и приказал принести рюмку коньяку, смешал ее с чаем и выпил. У него закружилась голова, и он задремал. В середине ночи он проснулся. В голове был жар, тело нестерпимо зябло. Для него стало ясно, что во время прогулки он захватил какую-то болезнь. На него напала вдруг страшная слабость, — слабость не только тела, но и сознания. Он перестал раздражаться и думать. Это доставило ему положительно приятное ощущение. Завтра к вечеру он должен был приехать к родным, и у него уже мелькнула мысль, что если он явится домой больным, то это и лучше.

Наутро ему захотелось тотчас встать, и он оделся и вышел даже в общую залу. Но слабость в ногах, нестерпимая ломота в спине, шум в ушах и общая тяжесть во всем теле заставили его вернуться в каюту и лечь. Лежа ему было хорошо. Тело его опять зябло, голова горела, но удивительное спокойствие снизошло на его душу. Физическая болезнь загасила жгучий жар его мыслей, и он ощущал необыкновенно приятное чувство, как человек, с которого вдруг сняли какую-то тяжелую ответственность. Он ощущал озноб, жар, слабость, но только одно это и ощущал, а все другое, еще вчера мучившее его, не появлялось больше и не мучило. Он чувствовал себя так же хорошо, как утомленный работник, которого положили в больницу и сразу освободили от каторжного труда.

Только к вечеру приятное чувство покоя заменилось какою-то смутной тревогой.

Лежа на койке, он дремал с открытыми глазами, и в таком состоянии вдруг однажды ему показалось, что потолок его каюты расширяется, удлиняется и, наконец, исчезает в далеком пространстве, а на его месте стоит огненное пятно. Он тогда сделал усилие, приподнялся и тотчас понял, что с ним бред. Им овладел

неопределенный испуг. Он решился более не ложиться и сделал усилие, чтобы не бредить. От этого напряжения голова его еще сильнее стала гореть, и шум в ушах сделался нестерпимым.

Он с болезненным напряжением стал ждать, когда пароход подойдет к пристани. Тот час, в который пароход по расписанию должен был остановиться, давно прошел. Настала уже ночь. Волны реки усилились, подгоняемые холодным осенним ветром. Пароход шел полным ходом, но весь корпус его дрожал от напряжения. Когда совсем потемнело и пароход осветили, Чехлов вышел из каюты, сел в отдаленное кресло залы и с нетерпением прислушивался к ударам колес и грохоту машины. Поясницу ему ломило, по всему телу пробегали мурашки, он едва сдерживал стоны и едва сидел, но в каюту не хотел идти. Он боялся остаться один, да и вообще чего-то боялся. Часто у него не было силы держать голову прямо; он опускал ее на спинку кресла и дремал, но через некоторое время делал страшное усилие, открывал отяжелевшие веки и давал себе слово не бредить, не терять сознания, не поддаваться неведомой болезни.

Он боялся, что с ним начинается какой-то тяжелый недуг; боялся тем сильнее, что не мог понять, что с ним делается. Ему представилось, кроме того, что в забытьи он пропустит свою пристань, пароход уйдет дальше и увезет его неизвестно куда. На этот случай он подозвал матроса и наказал ему, чтобы тот пришел за его вещами на М-ской пристани. Потом опять на него напала дремота; в голове мелькали безобразные видения и давили его...

Наконец в полночь пароход дал характерный, заунывный свисток и скоро пристал. Матрос немедленно подошел к Чехлову, разбудил его и спрашивал позволения насчет переноски вещей на извозчика. Чехлов с трудом поднялся и с трудом сошел с парохода; но приезд на родину на время оживил его сознание и бодрость. Но зато на него напала глубокая тоска. Темная ли ночь, воспоминания ли детства или представление близости родных, с которыми он не имел ничего общего, только тоска глодала его во все время, пока он на извозчике ехал по улицам. А затем еще хуже затосковал. Подъехав к своему дому, он стал стучаться в массивную калитку; долго стучал; наконец весь дом поднялся на ноги, но ему еще пришлось долго вести переговоры с сонным дворником и с не менее сонною кухаркой. На дворе рычали четыре цепные собаки, дворник что-то кричал, кухарка тоже почему-то голосила; где-то завизжал ржавый железный засов. Чехлов продолжал при помощи извозчика стучать в калитку, и тихая, заснувшая улица огласилась безобразным шумом. А он-то хотел приехать неслышно и спокойно!.. Кругом все так переполошилось, как будто невесть что случилось. Злость и щемящая тоска давили его.

Наконец ему отперли калитку. Но вслед за тем по всему дому началась суматоха, от которой у него зарябило в глазах. Узнавшая его прислуга завопила и заохала. Потом вошла мать с испуганным лицом, потом братья, и жены их, и дети — вся эта большая семья за время его отсутствия страшно расплодилась... Все это соскочило с постелей, лохматое, изумленное и кричащее, как на пожаре. И без того мучимый бредом, Чехлов тут почти совсем потерял сознание и с слепою яростью целовал какие-то толстые щеки, которые окружали его. Долгое время он не мог ни сесть, ни сказать, ни даже понять, что тут делается. Наконец ему удалось с волнением выговорить, чтобы не кричали так, иначе он совсем свалится с ног. Тогда старшие, при помощи крепких слов и тумаков, удалили в спальни всю мелюзгу и уселись. Но от этого уменьшилось только число голосов, сами же голоса не сделались спокойнее и приятнее приезжему гостю. Ему со всех сторон предлагались вопросы один другого безалабернее, и никому он не имел возможности отвечать; он едва успевал говорить «да» и «нет» и только смотрел кругом себя. При этом он чувствовал себя так, как будто попал в чужую страну, к неведомым людям и слушал незнакомый язык. Быть может, это чувство вызвано было его болезнью, но, быть может, за последние семь-восемь лет его родные стали для него какими-то непонятными дикарями. От этого тоска его еще сильнее росла.

Он смотрел вокруг себя и с трудом понимал, что вокруг него говорится. Мать в эти года поздоровела, необычайно пополнела, и лицо ее, всегда бывшее наивным, теперь казалось еще проще. Братьев он едва признавал. Их лохматые, раздобревшие лица сплошь заросли шерстью; только глаза, да нос, да ничтожные местечки лба избегли общей участи и не покрылись бурьяном. Какие вопросы ему предлагали!

Тоска разливалась по самым укромным уголкам его сердца. «Боже мой! зачем я сюда приехал?» — спрашивал он себя.

И, просидев с час среди забытой своей семьи, он не выдержал и попросил мать отвести его в какую-нибудь комнату. При этом он сказал, что ему сильно нездоровится. Мать, указав ему постель, захлопотала около него, но он уговорил ее идти спать и через несколько времени остался один в пустой комнате. Стуча зубами от наступившего вновь озноба, чувствуя, что голова его пылает огнем, он кое-как сбросил с себя платье, лег на постель и старался заснуть.

Но это ему не удалось. В душу его подползало неотвязное предчувствие, что недаром он приехал на родину и что, видно, не выбраться уже ему отсюда. Когда в доме потухли огни и все живое вновь заснуло, давая знать о своем существовании только разнообразными тонами храпа, он один не мог забыться и широко раскрытыми, воспаленными глазами старался пронизать мрак

комнаты; но мрак ничего ему не говорил, только еще более ужасал сердце. Мало-помалу подкравшееся предчувствие приняло живой образ... Недаром он захворал! и недаром, больной душой и телом, он притащился сюда, как раненый зверь, в свое родное логовище!.. Видно, здесь его будет конец.

Он то забывался в сонном бреду, то снова широко раскрывал глаза и со страхом вглядывался в темноту. Неужели ему здесь суждено умереть?.. Он зажег лампу, поставленную около него.

Утром он не мог подняться с постели. Рано к нему наведалась вся семья, и все выражали сожаление по поводу его болезни. Но сожалели как-то вяло и спокойно. Вот приехал, мол, человек в гости и захворал!.. И немного погодя все разошлись по своим делам. Только одна мать приняла к сердцу болезнь сына. Она тотчас дала ему выпить какой-то травы, поплакала около его постели и все время следила за его удобствами; не надо ли чего покушать, не выпьет ли он смородинной настойки? Впрочем, выражение лица толстой старушки было бодрое и безбоязное; она не сомневалась, что все это пройдет. Однако на всякий случай, оставшись одна в зале, она крепко помолилась на образа за здоровье сына.

А сам Чехлов с каждою минутой падал духом. Он верил, что здесь его конец, метался по постели, стонал и вглядывался в пустое пространство широко раскрытыми глазами... Да, это смерть к нему идет! Он во всех презирал страх и смеялся над теми, которые, чуть заболеют, уже думают о смерти. Но теперь тот же ужас и на него напал. Он вглядывался с необъяснимым страхом в пространство, словно там, в пустоте, надеялся увидать и предупредить идущую смерть... да, это смерть идет! Он не сомневался в этом, когда щупал рукой горящую голову, когда его тряс озноб, когда в сознании он улавливал какое-то роковое расстройство. Только когда на него находила дремота, он забывался.

Так прошли весь этот день и вся ночь.

Наутро и сама старушка немного обеспокоилась. Она еще дала выпить больному какой-то травы. Но не очень полагаясь на это лекарство, решила немедленно прибегнуть к более верному средству. Она тихонько оделась в чистое платье и платок и не спеша отправилась к знакомому священнику, прося его немедленно прийти с причтом отслужить молебен с водосвятием. Немного погодя священник, два дьячка и сторож уже входили в дом, приготовили в зале все необходимое для службы и начали петь молебен.

Чехлов перед этим задремал и забылся. Но вдруг в его ушах раздалось монотонное чтение и пение. Он вздрогнул всем телом, в ужасе приподнялся на постели и увидал в соседней зале зажженные свечи, дым, ризу и молящуюся семью. От панического ужаса голова его снова упала на подушку и лицо помертвело.

Что ему представилось — бог его знает, только когда в ушах его раздалось звучное пение, когда обоняние его поражено было запахом ладана и горящего воска, он помертвел от страха. Он не сомневался более, что умирает. Это смерть идет!.. Но в то же время во всем теле он чувствовал такую силу, а в душе такую энергию воли, что готов был бороться за жизнь с сотнями смертей. Он схватился обеими руками за железные перекладины кровати, схватился так, что железо затрещало, и в такой позе замер.

Так и застал его батюшка; он окропил святою водой бледное лицо его, приложил к его побелевшим губам крест и с благодушною улыбкой сказал, что теперь, бог даст, он скоро поправится. Но Чехлов в ужасе смотрел на священника и молчал. Сознание его словно окоченело. Он только сознавал одну идею и не мог оторваться от одного образа. У него не было ни движения, ни слова.

Но лишь только молебен кончился и причт ушел, лишь только к нему подошла мать, как он крикнул со всею силой здорового человека:

— Да позовите доктора, ради бога!

Докторов в доме не уважали, но повелительный крик сына заставил старушку исполнить его желание. Отрядили одного из братьев к доктору. Брат, видно, наговорил последнему бог весть какой нелепости, потому что доктор явился в комнату больного с торжественным лицом и не без тревоги стал исследовать и расспрашивать. Щупал больному голову, поставил термометр, смотрел язык, мял живот, постучал в грудь и только после тщательного осмотра пожал плечами и весело улыбнулся.

Чехлов с напряженною пытливостью смотрел в лицо доктора.

— Ну, барин мой, пустяки... хины придется покушать! — сказал между тем последний. Но, встретив ужасный взгляд больного, он вдруг громко расхохотался.

— Да вы чего на меня так смотрите? Или хины испугались?

И опять расхохотался. Потом уже серьезно прибавил:

— Два порошка по десяти гран. Впрочем, если угодно, еще кое-что вам пропишу. Завтра можете встать и погулять. А через несколько дней можете не только сесть на пароход, но даже везти его на буксире!..

И врач еще раз расхохотался. Сказав затем, что делать ему здесь больше нечего, он радушно простился с Чехловым и стыдливо взял из рук матери ассигнацию. Он в это время думал: «Эдакое поганое ремесло! Придешь к человеку, который совсем не болен, пропишешь лекарство, которое он сам может себе прописать, и — пять рублей!»

А Чехлов, тотчас после ухода врача, еще слыша в своих ушах его веселый хохот, в изумлении приподнялся на кровати, сел и почувствовал, что он уничтожен.

Простой лихорадки испугался, как последний трус, дрожащий за каждую мелочь жизни!.. Не смерть, а сознание срама — вот что неведомая рука приготовила ему, как последний свой удар!.. Он даже застонал от чувства смертельной обиды. Потом лег на кровать, закрыл голову одеялом и не хотел ни на что смотреть.

На другой день он действительно встал с постели и гулял по комнате. Но ему здесь все так опротивело, что он в этот день хотел ехать обратно. Только просьба матери оставила его на следующий день.

Но на третий день он не мог больше оставаться. О деньгах он вяло заговорил с братьями и, получив немного на дорогу, не добивался того, зачем ехал сюда. «После, после об этом!» — говорил он себе.

Ни до денег и ни до чего подобного ему сейчас не было дела. В душе его был полный погром. Учение его перестало служить ему оружием, оно выпало из его рук. Он чувствовал, что ему предстоит немедленно работа над созданием мыслей, ибо вчерашних мыслей уже не было в наличности, — он их сам разрушил...

Еще больной, с слабостью во всем теле, но уже восстановивший власть над собою, он уехал на пароходе. Там он сел в уединенный угол, где никто не мог ему помешать, смотрел, как крючники гурьбой таскали десятипудовые ящики, прислушивался к шумным голосам суетящейся толпы, среди которой кто-то плакал, прощался, где-то смеялись, откуда-то из глубины раздавался хор крючников: *Ой, еще!* — а в уме его резко звучал знакомый вопрос: «Что же такое жизнь?»

ОЧЕРКИ





ТОРГОВЛЯ ТЕЛОМ И ДУШОЙ

(Сибирские нравы)

Приближается знаменитая Ишимская ярмарка. Ишимские обыватели просыпаются, встают от годовой спячки, расправляют свои окоченевшие мускулы.

Боже мой! Как опасно тут иметь с ними дело человеку постороннему, чуждому ярмарке! Обыватель спросонья, да еще голодный, страшнее зверя, опаснее сумасшедшего, отвратительнее хавроньи домашней. За грош, и даже просто так, он может повалить, загрызть, разорвать в клочки и сожрать всякого, кто ему покажется помехой его ярмарочным интересам. Недавно один обыватель побил своего квартиранта, положил ударом кулака его беременную жену, разогнал детей — единственно из-за того, что ему предложили рублем дороже за его квартиру. А перед ярмаркой все обыкновенные порядки, все человеческие связи и отношения прекращаются, уступая место беспорядку, разгулу, жадности. Сам обыватель залезает в нору, квартиранты изгоняются, каждый дом превращается в трактир, в постоялый двор, в дом терпимости, в притон воровства. Нижегородская ярмарка и все те ярмарки, которые совершаются летом, не имеют ничего общего с нашей; там нет нужды съехавшимся людям брать с бою каждый теплый угол

и гнездиться в домах; там и распутство не так заметно, а потому и обывателю нет возможности пускать в обращение каждый свой угол; у нас же, в нашем гнилом, ничтожном, скверном городишке, во что бы ни стало надо разместить сотни тысяч съехавшегося народу. И вот является торговля теплом. И зараза этой торговли так велика, что перед ней не могут устоять ни бедные, ни богатые. Богатый купец торгует вдруг местами на дворе, собирая с обозчиков пятачки. Протоиерей, священник, судья вдруг превращаются в хозяев постоялого двора и самолично торгуют калачами. Житель, отдав внаймы весь свой дом, ютится сам где-нибудь в кухне и продает мороженые пельмени. Все спешат воспользоваться ярмаркой, как удобным случаем сразу заполучить хорошую добычу.

Вследствие того и нравы у нас самые необыкновенные. Ярмарка кладет на наших обывателей неизгладимую печать глупости, жадности, лени и легкой наживы. И если счесть все выгоды и невыгоды для нас этой знаменитой ярмарки, то последние в нашем жизненном «баланце» займут первое место. Несмотря на ярмарку, несмотря на тысячи способов как нажиться, они бедны, как жулики, глупы, как последние дураки, и бесстыдны, как животные. И было бы гораздо лучше, если бы этой ярмарки совсем не было; тогда наши обыватели стали бы правильно работать, правильно наживаться, вообще правильно жить. А теперь...

— Позвольте вам доложить, — говорил мне недавно один старичок, заброшенный сюда лет десять тому назад из России «несчастной судьбой», — позвольте вам доложить, что такое наша ярмарка. Оно, конечно, ярмарка, — обмен, миллионные обороты, в газете пишут... говорят про наш город, ждут нашей ярмарки во всей России... Это так. Но позвольте спросить вас, какая же польза нашему обывателю от этого! Никакой. А даже вред один, разврат. Возьмите вы нашего обывателя, из купцов ли, из мещан ли, из других ли народов — и что же это за человек!.. Купчишка-то наш, например, что это такое! Он целый год торгует на два с полтиной, а как придет ярмарка, торгует пельменями, мерзавец; обращает в конюшню весь дом свой, бегает, как собака, хватает кости, да какой же это купец?! Да ему я гроша не поверю, потому он чистый жулик. Да у нас в Расее больше амбиции у каждого последнего пьяницы, который днем собирает милостыню, а ночует на навозной куче, — ей богу! О купчишке здешнем я такого рассуждения: дай ты ему хорошего леща по физиономии и посули за это рупь — и он ничего, доволен будет. Какую же пользу ярмарка ему приносит? Окромя сраму — ничего; денег у него, капиталу, как у настоящего купца, нет, ума нет, — ибо незачем ему его, совести нет, ничего нет, только жадность... Да что уж купчишка... А вот наш-то почтенный

Федул Карпыч... полон дом напустит охальников, плюнуть некуды, да еще сам продает калачи обозчикам! А что касается до бедняков, то для них ярмарка чистая погибель! Оно со стороны-то кажется, что ярмарка дает им пропитание, а как поглядишь — нет! распутство одно. От работы они отвыкли, ждут только ярмарки, как бы сцапать, что плохо лежит, ну и выходит одна бедность... Да вот вы сами увидите.

И я действительно увидал.

Теперь у нас только приближается ярмарка, а возня в городе уже началась.

Мороз. Ветер. По улицам двигаются обозы. На площади ставят балаганы. В домах приготовляются к встрече гостей, которые привезут деньги. От первого богача и до последнего бедняка в городе — все обыватели уже проснулись, позевывают, разевают рты, а сердца у всех тревожно бьются: что-то бог пошлет. В желаниях полное равенство. Во время ярмарки все обыватели походят один на другого, да и дела у всех решительно одинаковы: продать у кого что имеется — дом, руки, тело, душу, во что бы ни стало продать... Перед приезжими гостями все одинаково держат себя низко, вероломно, отвратительно. Последнему, глупейшему дураку предстоит возможным заработать кучу денег...

Наудачу берем несколько примеров.

Есть здесь один купец (таких здесь много, но за недостатком места приходится говорить об одном), который в продолжение целого года не знает, куда себя деть и что делать. Есть, правда, у него торговля, но грошовая, ничтожная, а потому целый день он скучно слоняется где-нибудь. Выйдет за ворота, посмотрит зачем-то на улицу, зевнет и опять удалится домой. Иногда сидит на лавочке, хлопая глазами, а то вдруг велит запрячь застоявшегося мерина, и выскочит на нем за ворота, и поскачет сломя голову по улице, раздавит колесами подвернувшегося щенка, а через час уже лениво подъезжает к своему дому, везя в тележке телячью кожу, которую он отдавал на выделку скорняку и за которой он, собственно, так и поскакал, хотя кто-нибудь мог подумать, что дело было у него важное. Слоняется, слоняется он — и ничего не может придумать; торговля его по-прежнему грошовая, сообразить он ничего не может, а если что и придумает, то непременно выйдет нелепость. Пришло ему раз на ум построить каменную лавку; навозил он кирпичей, нанял рабочих, выкопал для извести посредине улицы яму, в которую по ночам падали свиньи и обыватели, и совсем уже построил лавку, но вспомнил, что у него для лавки нет никакого товару, и бросил; выстроенную кожевенную лавку прикрыл землей и бросил ее, решив, что кому-

нибудь, во время ярмарки, она и понадобится. Словом, ярмарка всю его голову заняла.

Но зато во время ярмарки он показывал необычайную юркость вместе с нечувствительностью.

Раз он деятельно что-то принялся возиться около дома. Копал какие-то ямы, ставил какие-то столбы, подобно телеграфным, а на столбы вешал фонари.

— Зачем это вы делаете? — спросили у него.

— А чтобы светло было около дома, — возразил он.

— Зачем же?

— Хочу отдать дом под...—И он откровенно сказал, под чего он отдает свой дом.

— Вроде как бы гостиницы с женским полом?

— Вот-вот. Так чтобы освещение хорошее было, привлекательность. А то прошлый год тоже думал отдать под... Ну, так, говорят, темно, привлекательности нет. А вот я как поставил фонари на эдаких телеграфах, так мне уж и сейчас дают триста рублей.

И во время ярмарки, действительно, дом его, освещенный фонарями, поставленными на высоких столбах, был сдан под гостиницу с женским полом.

Но, кроме того, каждую четверть своего двора он утилизировал, сдавая все пространство его извозчикам. Кормились извозчики также на его счет. Но ему этого было еще мало. Однажды стал строить какую-то постройку под сеновалом; над крышей сеновала он пробуравил дыры, вставил стеклышки, а посередине сеновала прорезал дыры — и вышло нечто необыкновенное, вроде как бы собачьих конур, хотя собачьи конуры невозможно строить так высоко...

— Что это вы делаете?

— А это я хочу для возчиков приспособить. Во флигеле тесно бывает, так вот я на сеновал их...

— Это туды-то! А не высоко будет им?

— Ничего, влезут. Лестницу снаружи приставим.

— Как бы холодно им там не показалось, на крыше-то...

— Ничего, тепло будет. Вишь, окошечки провертел, а все прочее замазал, заколотил.

Действительно, когда настала ярмарка, извозчики наполнили весь двор, и вновь приезжие лезли на сеновал. И вот всю эту кучу народа наш обыватель держал и кормил, помещаясь с семейством где-то в подземелье; там же и обеды готовились на купцов и извозчиков. Какие это были обеды — об этом постоянно заявляла нарочно для ярмарки нанятая стряпка.

— Недовольны кушаньем-то купцы... — говорила она хозяину, возвращаясь из комнат приезжих. — Ругаются...

— А как ругаются? — спрашивает равнодушно хозяин.

— Подлец, говорят...

— Ну, и дьявол с ними! Поругаются и уедут. — Хозяин так и держал себя перед квартирантами; когда те ругали его в глаза всякими словами, он хладнокровно мигал, говоря всем своим видом: мне бы только деньги-то с вас получить, а там наплевать, лайтесь.

Это равнодушие к обидам и неравнодушие к рублю он практиковал и в неярмарочное время. Деньгами все его можно было заставить сделать.

Между тем в городе он числился богачом, купцом, заседал в думе в качестве гласного; ему снимали шапки. Его уважали...

А бедняку можно простить и большее.

Это дает мне возможность сказать несколько слов о другом сорте здешних людей.

Существует в городе некто Дергачев... Не живет, а именно существует, потому что обыкновенно определенного местожительства у него не было. Ночевал он, где случится, — у того, кто внезапно сжалится над ним. Промышленность его заключалась в том, что он делал и сам разносил дрожжи и квас. Но главный источник его жизни заключался в некоторого рода факторстве. Он знал весь город, мог сказать наверняка, кто вчера бил свою супругу, кто нынче пошел в баню и кто вот сию минуту кушает налима; знал, одним словом, каждый шаг каждого обывателя. Поэтому к нему часто обращались за советами и с разными поручениями. Особенно много ему не верили, потому что он часто врал; избегали также оставлять его одного в доме, потому что он склонен был к воровству; но с поручениями все охотно обращались к нему.

— Не знаете ли, Дергачев, какому бы портному мне отдать шить шубу? — спрашивал, например, кто-нибудь Дергачева, который только что вошел в дом с дрожжами.

— Позвольте, барин... Вы сказали шубу? Ну так лучше отдать Чижову... ох, мастер шубы шить... как вылитая!.. Поверьте: лучше Чижова нет в этом разе.

— А не украдет?

— Нет-с! Честное слово! ведь крестьянин... Можно, конечно, Иванову отдать, да тот у вас обрежет и полы, и спину, и рукава. А Чижов уж нет! Малость разве какую... Честное слово.

Тогда Дергачеву поручали привести Чижова, за что давали ему пятачок.

А другой раз кто-нибудь спросит у Дергачева:

— А не знаешь ли, Дергачев, нет ли где в ваших краях подержанного самовара?

— Позвольте, барин, дайте мне подумать... — И Дергачев принимался вслух думать.

— Ежели у Аникина... да нет, он еще не пропился... Вот тоже Петров валяется в кабаке без просыпу, — ну, только до самовара дело еще не дошло, а дойдет уж... Да, вам скоро нужно... Мишка-кузнец запил и беспременно заложил самовар... вот вы к кому идите — дешево! Заложил он его не больше как за рубль, да вы рубль прибавите — отдаст!

Таким образом пробавлялся Дергачев. Собственно, существовал он не один, а с одной женщиной, которая была под стать ему. Им иногда удавалось найти определенное пристанище, — тогда они жили вместе, но больше врозь, каждый добывая пищу только про себя. Тем не менее они были по-своему привязаны друг к другу, не изменяли друг другу и нередко помогали друг другу.

Во время ярмарки Дергачев играл роль также фактора, но только в усиленных размерах. Терся он больше всего около приезжих купцов, а поручения ему давались больше всего на счет женского пола. Дергачев, знавший весь город, удовлетворял купеческие вкусы, за что получал иногда крупные для него куши.

Но однажды с ним случилась оказия, погубившая его бодрость. Взяв на себя обязанность «предоставить» особу, он никак не мог найти. А между тем купец обещал пять рублей за хорошую доставку, в противном случае — грозил избить. Дергачев метался, расспрашивал, обезумев от страха. Невзначай попалась ему на глаза его неизменная подруга. Ему вдруг пришла в голову несчастная мысль ее послать.

— Иди, Даша... купец богатый... Сделай милость, выручи меня... Ну что там, лишь до утра.

Во время ярмарки все безумцы. Даша эта также обезумела и пошла.

Только когда уж дело сделано было, Дергачев опомнился. Как он послал! И он упал духом. В «ту» ночь он напился, пропив все деньги. А когда со светом Даша пришла от купчины, они оба напились. Пьяные, они плакали, укоряя друг друга.

— А, ты с лабазниками нынче уж! — говорил Дергачев, рыдая.

— А кто меня послал, жулик ты эдакий! — говорила Даша, также рыдая.

Так в этом и прошла вся ярмарка. Чтобы забыть свою подлость, он пропивал деньги, взятые у купцов, а потом плакал, рыдал и дрался с Дашей, которая также напивалась, плакала, дралась. Но все-таки они не расставались, укоряя друг друга.

Если бы только продажа этого рода захватывала одних городских обывателей, то не было бы большой беды; но все окрестные деревни сплошь заражены этой страстью нести на ярмарку все, что попадет под руку. Крестьяне ближайших деревень смотрят на ярмарку с той же жадностью, как и городские жители, и так же беснуются во время ярмарки, как и действительные

торговцы. Барышничество так развито между ними, что нельзя встретить мужика, который тем или другим путем не примазался бы к торговле, но так как торговать мужику нечем, то ему приходится облизываться около чужого стола, а это только пуще развивает его аппетит.

Один знакомый пишущему эти строки крестьянин каждый год на время ярмарки нанимается к купцам не то в качестве приказчика, не то для роли ищейки, потому что его обязанность состоит в том, что он должен озираться по сторонам и подмечать — кто хочет купить, а кто только украсть; но в то же время, в отсутствие хозяина и приказчиков, он обязан продавать; и вот за это он получает в неделю три-четыре рубля.

— И нынче ты наймешься на эту должность?

— Как бог пошлет. Да наймусь, надо быть. Меня принимают с охотой.

— Почему? Разве ты ловко торгуешь?

— Не то что торгую хорошо, а главное мое качество — глазастый я...

— Как глазастый?

— А так и глазастый. Потому что у меня глаза подозрительные, уж я не пропущу в лавку жулика, я его издали вижу! Оттого и берут меня, что будто подозрительность у меня большая...

Кроме глаз, продающихся таким образом, на ярмарке нужны и уши, и руки, и все прочие части крестьянского тела; вследствие этого здешнему крестьянину, при всех человеческих отношениях и делах, приходится отказывать в доверии; он так много и в таких разнообразных видах продавался во время ярмарки, что в нем остался только ничтожный кусочек человека и крестьянина, и торгашество сделалось для него необходимой стихией. Взгляды на это дело у него очень просты: продать — значит обмануть.

До какой первобытной простоты доходит торговля во время ярмарки, показывает судьба здешних крестьянских девушек. На ярмарку собирается их многое множество из деревень; одни нанимаются в кухарки, горничные, но большинство идет в качестве «женского пола» — что выгоднее.

Живет такая деревенская в городе на месте в кухарках и довольствуется ничтожной месячной платой. Да другой платы она и не стоит, потому что ничего не умеет делать. «Свари рис», — скажут ей, а она сварит лавровый лист, положив его целый фунт, и не из любви к рифмам, а просто потому, что слово рис ей решительно незнакомо; одним словом, с городской точки зрения, она полная дура, способная только болтыхаться в помоях. Таким образом, во время ярмарки она продать ничего не может, но, однако, это ровно ничего не значит.

Лишь только приближается ярмарка, как «дура» начинает соображать; по хозяйству делается еще глупее, на язык грубее и с необычайными претензиями. В конце концов она заявляет, что просит прибавки, иначе грозит уйти.

— Куда же ты уйдешь?

— Известно, на ярмынку...

— Как на ярмарку... наймешься?

— Известно, наймусь.

— Сколько же ты хочешь прибавки?

— Ежели пять рублей дадите за ярмынку, так останусь.

— Убирайся к черту! — говорит ей хозяйка.

— И уйду. Телятников набирает, к нему и пойду (Телятников держит гостиницу и домик с женским персоналом). Там я пятнадцать целковых в неделю получу.

— Расчет, конечно...

— Известно, расчет — рупь у вас в месяц получать или там пятнадцать в неделю...

И действительно «дура» уходит, и уходит именно к Телятникову.

Бывает хуже!

Многим в городе известна одна уже пожилая женщина, нанимающаяся осенью обмазывать дома глиной, — эта специальность ее и единственный, кажется, источник пропитания. Как она живет на свете — одному богу известно. Природа страшно оделила ее, не дав ей никаких орудий существования. Вид ее всего больше напоминает сову, нечаянно вылетевшую на солнечный свет и сразу потерявшую способность что-нибудь соображать: у Лукерьи, — так ее зовут, — лба нет, рот тонкий и беззубый, нос клювом, загнут книзу, а глаза большие и неподвижные; когда она говорит, то кажется, что она хочет напугать суеверных людей. Одеяние ее вполне соответствует ее породе — оно пестрое, потому что состоит из разных лоскутков. Живет она в лачужке, в которой вместо стекол на окнах натянуты пузыри. Некогда она торговала пряниками (тем родом пряников, который можно, конечно, раскусить, но когда раскусишь, то сейчас же покажется, что над тобой кто-нибудь глупо подшутил), но проторговалась благодаря несчастному качеству. Дело в том, что она умеет считать только до семидесяти, и если при размене рубля ей дать семьдесят одну копейку, то этим поставите ее в безвыходный тупик. Покупатели пользовались этим несчастием Лукерьи и обманывали ее.

Теперь эта Лукерья еще беспомощнее. Во время ярмарки она также пускает себя в продажу, но пользы ей мало от этого. Извозчики, которым она продается, зная ее слабости, обманывают ее и платят ей плохо, так что жить ей и после ярмарки обыкновенно нечем. И вот это несчастное существо, по ошибке

брошенное на солнечный свет, медленно спускается в гроб, являясь жалкой жертвой ярмарки.

Сотни тысяч жертв требует наша ярмарка! Говорят, что она необходима простому народу, давая ему заработок в виде извоза...

В самом деле, за полмесяца до ярмарки по всем дорогам, ведущим в наш город, движутся тысячи возов, а возле самого города тянутся вокруг беспрерывные ленты саней, нагруженных товарами. Но если взглянуть с другой стороны на эти сотни тысяч возов, если посмотреть, какой ценой достается каждому крестьянину ничтожный заработок, то вся промышленная поэзия пропадет.

Извозчику, прежде чем получить извозную плату, приходится испытать множество приключений, свойственных сибирским дорогам. Страшные морозы, случающиеся в это время, губят много людей и лошадей. Когда встречаешь обоз в дороге, то делается не по себе: измученные лошади едва передвигают ноги по изрытой дороге. Людей почти не видно: страшный мороз загнал их под кошмы, а если подле иного воза и идет человек, то он так замерз, что движется, как автомат, как ком снега, — и эти лошади, сани, люди, покрытые инеем, кажутся покрыты саваном. Но все это медленно движется, потому что если товар не представлен вовремя, то возчики платят неустойки.

Иногда во время дороги нападают грабители и отбивают несколько возов, и если наступает ночь, люди держатся настороже, сплочивая непрерывной цепью свои воза как бы в боевой порядок и поминутно перекликаясь между собой тем печальным и тревожным криком, который всем сибирякам знаком; крик этот похож на крики журавлей во время их перелета в темные осенние ночи. Грабители все-таки очень часто успевают отбить несколько возов, — тогда ограбленные возчики пропали.

Но если и получит крестьянин, наконец, свои деньги, то ярмарка поглотит их почти без остатка. Ночью в это время в каждом доме, в каждой лачуге идет безобразный разгул, против которого редкий устоит; деньги, таким образом, пропиваются и разбрасываются по разным притонам. Возчик, вынесший страшную дорогу, вымерзший, без всего едет домой, проклиная ярмарку.

Впрочем, мы имели в виду не эти материальные убытки, — бог с ними! Но ярмарка все здешнее население развратила; оподление здесь так глубоко проникло, что выработался особый тип здешнего обывателя, тип жадного, бесстыдного и пустого человека, который за грош готов продать — и действительно продает — все, что вообще есть у человека.

Плохая нынче была Ишимская ярмарка. Съезд был не такой огромный, как в прежние годы, да и товар привезен плохой; даже сделок на жирных товарах было меньше, тогда как и значение-

то нашей ярмарке придают именно эти жирные товары. В прошлые годы продавались без остатка миллионы кож, миллионы скотских туш, сотни тысяч пудов масла и сала и все десять тысяч наших обывателей. Ныне все это сократилось на одну треть, если не больше. Мужиков наехало мало, да и те слонялись по ярмарке без всякой надобности, ибо продать им было нечего, ввиду прошлогодних неурожаев, и купить им было также не на что; а так как мужики представляют собой сырье и это сырье есть единственный смысл нашей ярмарки, то ясно, что нынешняя ярмарка ни в каком случае не могла удасться; мужик не приехал.

Прежде наш город на неделю превращался в столицу и доставлял нам все развлечения, начиная с самых острых, назначенных, чтобы прошибить шкуру купцов, и кончая увеселениями благодушными; наезжали к нам хоры певчих, труппы артистов, музыканты, жулики из Москвы, шулера из Нижнего и головорезы со всей России. Нынче ярмарочнику негде было ночь провести.

Была, правда, гостиница с арфистками, но почему-то мало привлекала народу...

Приезжала откуда-то и труппа драматическая, но большинство актеров были настолько захудалыми и больными, что когда на сцене шла комедия, зрители готовы были рыдать.

Даже убили в нынешнем году только двух купцов — одного за городом, другого подле публичного дома, тогда как в былые годы убивали у нас за ярмарку по крайней мере десяток разного народа.

Но что никогда не бывало — это пустование многих домов. До нынешнего года каждая комната в каждом доме бралась с бою, причем за теплые углы платились баснословные цены; и никогда нашему обывателю не приходило в голову, что может прийти время, когда его дрянной домишка никому не будет нужен, кроме как ему одному, а ныне такое время пришло, — хотя едва ли обывателю пришла идея бросить, наконец, надежду на свои голые стены и приняться за действительную работу. Точно так же едва ли нынешняя ярмарка внушила обывателю мысль перестать, наконец, продавать себя и не торговать больше всем своим существом; он так сжился с ярмаркой, что и не может представить себе другой жизни, — в обыкновенной жизни он так слаб и беспомощен, что отними у него ярмарку — он сразу почувствует, что у него под ногами нет земли.

Один знакомый пишущему эти строки домовладелец был просто только поражен результатом нынешней ярмарки, решительно недоумевая, что сей сон означает. Как и в прошлые годы, он приготовил весь свой дом к сдаче, постоянных жильцов выгнал и с спокойным сердцем стал ждать купцов. Но проходит день — купцы не едут; проходит другой день — нет купцов! Настает

и самая ярмарка, а дом все стоит пустой. Домохозяин встревожился: он прислушивался к каждому звону колокольчиков, выбегал радостно на крыльцо, как только слышал приближение тройки, но тройки проезжали мимо. Пораженный обыватель, наконец, целый день стал торчать около своих ворот, снимал шапку, когда мимо него скакали купцы с покрытыми снегом физиономиями, посылал работника заманивать жильцов в свой дом, но ничего из этого не вышло, — дом так и простоял всю ярмарку пустым. А что касается другого рода продажи, то и она ему не удалась.

И в таком положении очутились многие обыватели, которым не удалось сдать ни дома свои, ни самих себя.

— Конец скоро вашей ярмарке, — сказал я одному из этих несчастливцев.

— Ну, уж этому не бывать! Как у нас началась ярмарка, так она и всегда будет. Неладно вы изволите говорить... — сердитым тоном возражал обыватель.

— А вот плохая же нынче ярмарка; не лучше она будет и в будущем году.

— Это случай такой подошел... а чтобы совсем мы без ярмарки остались — нет это вы неладно...

— Да, она, быть может, и долго будет еще существовать, только кормить-то вас она уж не будет.

— Как не будет! Ярмарка-то?! Да чем же нам тогда кормиться-то, как не ярмаркой! Сторона наша гиблая, занятиев у нас нет, так вот нам и послал бог ярмарку... Истинно бог послал, потому что других промышленностей, окромя ярмарки, у нас не водится... А вы говорите — не будет ярмарки — очень это мне любопытно!..

И обыватель смотрел на меня уж не только сердито, но прямо как на человека, который от природы глуп. Напрасно я ему доказывал неизбежность падения ярмарки с развитием путей сообщения, когда из Тюмени сюда дойдет железная дорога, когда улучшатся другие пути сообщения, когда разовьется правильная торговля и установятся быстрые сообщения с Россией; напрасно я убеждал его, что всякая ярмарка есть беспорядок, а наша сибирская ярмарка в особенности, потому что на нее собираются наобум, не зная, что из этого выйдет; напрасно я уверял его, что эта ярмарка только губит обывателя и что без нее он был бы честнее и совестливее, да и в материальном отношении жил бы лучше; совершенно напрасно я доказывал, что знаменитая наша ярмарка — сплошное распутство в общем значении и торговый разгул в экономическом смысле; все это обыватель выслушал с нескрываемым презрением и продолжал упорно возражать:

— Нет, это вы неладно...

И хотел, очевидно, этими словами сказать: «Нет, это вы даже глупо...»

Но из вежливости не говорил этого. Беспорядочность наживы, безделье в остальное время года, бедность — это такие черты здешнего обывателя, которые невозможно спрятать, да он и не скрывает их, считая все это неотъемлемыми свойствами человеческой природы. Мы говорим, впрочем, не о бедности экономической, материальной, которая каждому понятна, но о бедности душевной. И причина ее опять-таки ярмарка. Продав всего себя, обыватель ничего для себя не оставляет: ярмарка все у него купила — дом, стыд, гордость, двор, сердце, амбар, тело, так что ему самому для обихода ничего не осталось. Ярмарочники в десять дней загадят пивом и водкой стены его дома, опозорят его кровать, навалят кучи навозу во все углы его двора, забросав грязью его душу, и обыватель по окончании ярмарки чувствует себя по уши в грязи...

Здесь есть обыкновение после ярмарки поздравлять друг друга с ярмаркой, причем устраивают попойки и кутежи, оканчивающиеся иногда ужасным пьянством. Но мне кажется, что в этом случае обыватель пьет не от радости, а чтобы залить вином ту срамоту, какую оставила ярмарка во всем существе его.

Впрочем, лучше на живом лице показать, что у нас делается после ярмарки.

Знакомый мне старик имеет два хорошие дома, которыми во время ярмарки выручает рублей двести, а всего, с другими родами продажи, ярмарка дает ему до четырехсот рублей. Но, видно, деньги эти сколачиваются не особенно честными средствами, потому что у старика, сейчас вслед за ярмаркой, является страшнейшая хандра и скука, а затем — неодолимое желание пить. С течением времени у него образовался послеярмарочный запой, преодолеть который он не в силах.

Пьет он до самого рождества, а иногда и рождество проводит в полнейшем безумии, разговаривая с чертями. Домашние отбирают от него все деньги и дают ему только водку, потому что было несколько случаев, когда он «пропивал и разбрасывал все деньги, какие только он заработывал» во время ярмарки. Несколько раз домашние пытались лишить его и водки, в полной уверенности, что, собственно, запоя у старика нет, что старичишка просто блажит. В самом деле, запой у него случался только после ярмарки, а во все остальное время года не повторялся. Но когда лишали его водки, с ним делались ужасные вещи. Он плакал, ползал на коленях у дочери и у жены — прося водки, и если получал отказ, то шел на улицу, падал на колени и просил одолжить ему, ради бога, двугривенный на водку.

Но проходила хандра, и старик делался самым трезвым человеком. Он был крайне работящим, хотя все его работы, как

у большинства обывателей, поражали своей нелепостью. Однажды, в бурный зимний день, когда была вьюга, а снег густыми хлопьями валился на землю, я вошел во двор старика и поражен был, заметив, что он чистит снег. На мой вопрос, что это ему вздумалось чистить двор в то время, когда снег валится, он серьезно возразил, что он любит, чтобы у него везде было чисто на дворе. Эта нелепая работа продолжалась несколько дней; снег валится, а старик его сгребает в кучу, вывозит, потом метет метлой двор... А снег все сыплется, а старик все сгребает его лопатой и метет метлой... Ведь вот не пришло же ему в голову убрать сразу весь снег по окончании бурана! Ярмарка отняла у него способность даже к таким нехитрым соображениям.

Другие просто в это время пьянствуют, пропивают ярмарочную добычу, а в остальное время года колотятся кое-как.

Но большинство свой заработок прячет и перебивается на счет его круглый год, ничего не делая. Скряжничество и мелочность вследствие этого здесь небывалые; обыватели на грош не верят друг другу, и когда дело касается трех копеек, они делаются просто отвратительными по своей мелочности. На днях только жена посадила мужа в каталажку за то, что он выкрал из ее тряпицы рубль серебром. Вообще отношения между горожанами невозможные, — каждый из них подозревает в другом мошенника и по всякому поводу обзывает его жуликом. И надо отдать справедливость этому убеждению: оно точно и истинно.

Это будет истинным счастием для здешнего жителя, если наша безобразная ярмарка изведется измором, после чего исчезнет и этот отвратительный тип человека, пускающего в продажу все свое существо.



ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ

(Из поездок по Уралу)

При первом удобном случае мы отправились на один из ближайших приисков, там и сям рассеянных по Екатеринбургскому уезду. Было раннее утро. Извозчик наш сначала никак не мог понять, зачем мы едем на Н-ский прииск.

— Стало быть, на прогулку? — допытывался он с какою-то иронией.

— Пожалуй, на прогулку... да, кстати, посмотрим на прииск, на работы, на старателей... — возражали мы.

— Ничего там хорошего нету! Смотреть-то там нечего... пески, глина, накопали ямы, срам один! А ежели старателев посмотреть, то больше ничего, как народ дикий... чего его смотреть-то? — Извозчик как будто был обижен, что мы едем в это глухое место. Обыкновенно проезжающие считают своим долгом посетить богатый Березовский прииск, где можно осмотреть машины, толчею кварца, шахты, разрезы и пр., но чтобы кто-нибудь вздумал посетить глухое место — старый заброшенный рудник, — это, вероятно, нашему извозчику никогда не приходилось наблюдать.

— Сами увидите, что ничего нет... пески, глина, дикий народ, который ежели намоет золотник в месяц, и то рад... чего

же там смотреть? — несколько раз спрашивал он, а когда заметил упрямое с нашей стороны желание попасть в глухое место, то умолк до самого места нашей поездки и только от времени до времени иронически улыбался.

Уже по дороге, проторенной по лесу, то и дело попадались канавы, ямы и неглубокие штольни — это все пробные раскопки; но чем ближе мы подъезжали к старательским работам, тем все больше попадалось признаков золотых приисков. Во многих местах деревья были с корнями повалены, и на их месте возвышались желтые бугры глины. Ни одного работника еще не было видно.

Наконец мы подъехали к самому месту работ. Извозчик наш завел лошадь под тень старого, разрушающегося сарая и сам завалился спать к забору, как бы протестуя таким наглядным способом против всей нашей поездки. Мы отправились одни по разбросанному прииску.

Когда-то здесь стоял завод, возвышались огромные каменные здания служб и трубы завода; когда-то здесь был медный рудник, дававший богатую добычу хозяевам его; но теперь вокруг нельзя было заметить хотя бы ничтожного следа некогда шумной жизни. Все заросло травой, кустами и лесом. Некогда тут был огромный пруд, образованный из горной речки, шумели шлюзы наливных колес. С глухим журчанием вода рокотала в турбинах, двигая целые системы машин, а сейчас мы заметили только небольшое озерко, по краям заросшее камышом, а на середине покрытое лопухами. Вода в озерке была прозрачна, как стекло; на дне его видны были стаи лениво плавающих окуней и плотвы. В воздухе кружилось несколько чаек. В камышах копошились дикие утки. Нигде и никакого человеческого жилья.

Только внизу, за плотиной, образующей озерко, вдоль ручья устроены были несколько желобов и корыт для промывки золота. Но людей не было. Мы попали в такой день сюда, когда все старатели поголовно ушли на уборку сенокоса, побросав свои корыта и станки. Место было действительно глухое и заброшенное; а в этот день оно производило впечатление пустыни. Впрочем, следы работ везде были заметны. Повсюду виднелись желтые бугры глины, канавы, ямы и разрезы.

Долго мы с спутником бродили посреди этих бугров; наконец полдневный жар истомил нас жаждой и усталостью, и мы пешком пошли к небольшому поселку, находящемуся в полверсте от озерка и сплошь населенному старателями. Скоро мы дошли туда, обошли все его домишки в поисках за питьем и только в одном из них наткнулись на старика, который напоил нас. Древний человек этот доживал последние дни и с трудом отвечал на наши вопросы. Но так или иначе мы внимательно слушали все, что́ он нам говорил.

Он еще помнит то время, когда в этих местах кипела жизнь; повсюду производились раскопки; в одних шахтах добывалась медь, в других золото. Сотни рабочих жили здесь, добывая для хозяев завода десятки пудов золота и сотни пудов меди. А рядом с этой неустанной работой шел вечный пир. Управление состояло из многочисленного штата: конторщики, управляющие, смотрители кишели около золотого места. То и дело из города приезжали гости, — разодетые дамы и мужчины, — и по целым дням шел пир. Раскупоривались целые ящики шампанского; играла музыка, разносимая эхом по соседним лесам; по ночам устраивались пикники с факелами.

— Весело у нас было о ту пору... — добавил старик равнодушно.

— Ну, а потом что? Куда же все это делось?

— Все ушло. Золота стало маловато уж, особливо ежели кому нужна музыка, а медь не больно чтобы уж так занятный металл, — ну, и ушло все, и золото, и завод, и люди с музыкой, и господа с шампанским. Пожили, попировали на своем веку — и будет.

Затем уже падение пошло быстро. Главное управление уменьшило штат служащих, распустило половину рабочих и махнуло рукой. Место стало пустеть. Под конец же это хищное гнездо просто было разграблено. Добыча золота прекратилась, медный рудник заброшен, заводские здания и служба растащены. Кто тащил к себе мебель, кто отдирал двери от домов, кто выдергивал заслонки от печей, кто вынимал самые кирпичи из стен. Когда главное управление решилось закрыть завод и сделать опись инвентарю, то завода в действительности уже не было, инвентарь разграблен, и самые стены всех зданий разрушались. Стихии довершили опустошение: ветер рвал на части крыши, дождь размывал кирпичи, черви лесные точили дерево; от веселого места, построенного из железа и камня, населенного сотнями народу, не осталось звания; камня на камне не осталось.

Единственный живой памятник недавнего пира — это тот поселок из десяти дворов, в котором мы находились в эту минуту.

— Чем же вы живете?

— Да так, кое-чем. А все больше насчет золота же. Старатели у нас все живут. На хлеб добываем. Да и отстать нашим ребятам трудно от золота. Золото-то, оно заманчиво. Кто его раз увидит, тот уж ослепнет на всю жизнь. Теперь у нас все на сенокосе. Окромя же сенокоса, наши ребята ничем не занимаются... Да и сено-то требуется для золота, потому без лошади никак нельзя... Лошадь подвозит глину...

Таким образом, весь поселок копал глину, промывал ее, подбирал крупицы золота и тем кормился. Вся местность

принадлежит Н-ским заводам; но сами заводы уже не эксплуатируют заброшенные прииски, предоставляя копаться в земле старателям. Старатель — это своего рода кустарь. Он работает на свой риск, своими собственными орудиями, для себя. Но его отношения к заводам — владельцам земли, не свободны. Он может сколько и где угодно промывать пески и глину, но все добытое золото обязан сдавать в заводскую контору, получая от последней немного более половины стоимости золота. А чтобы он не воровал в свою пользу, чтобы не припрятывал части золота в свой карман, ему заводское управление выдает запертую кружку, расчетную книжку и приставляет к нему штегера. В кружку он ссыпает золото, в расчетную книжку записывается его количество, а штегер наблюдает за правильностью всей этой операции. На нашем прииске жили по назначению от завода два штегера.

Пока мы расспрашивали обо всем этом старика, в некоторых местах уже началась промывка. Несколько семей побросали сенокос и принялись за обычную работу. Мы отправились к одной из групп старателей...

Действительно, народ дикий! Когда мы подошли к месту, работающие, видимо, перепугались, приняв нас, кажется, за какое-то начальство с завода. Мы поспешили уверить их, что не принадлежим к заводским служащим и приехали только посмотреть, как промывают золото. Старатели успокоились.

Их было трое — муж, жена и племянник их. Племянник из лесу подвозил пески, муж работал ручным насосом, жена бросала лопатой песок на чугунную доску с дырами и здесь в струе воды размешивала его; она же удаляла с доски промытую породу. Все трое были сплошь замазаны глиной; рубаха и порты мужика покрыты были желтыми пятнами так густо, что трудно было разобрать первоначальный цвет их. У бабы костюм находился в бóльшем порядке, но это, быть может, потому, что юбка ее была поднята до самых колен, причем голые ноги окрашены были в тот же цвет глины. Лица их также не носили на себе следов человеческой кожи, которая, по-видимому, никогда не освобождалась от толстого слоя золотоносной жилы. Все кругом окрасилось в этот ужасный цвет: вашгерд, лопаты, лошадь, телега, лужа... Промывку они производили около лужи, вода которой, от постоянного притока свежей глины, приняла кроваво-желтый оттенок.

Мы с интересом наблюдали процедуру промывки. Глина привозилась парнем издалека и сваливалась возле вашгерда; мужик накачивал деревянным насосом на чугунную доску воду из кроваво-желтой лужи, другой рукой он помогал разбивать куски глины, которые бросала баба с земли. Так и шла беспрерывная работа, промывался воз за возом. Все как будто старались как можно больше пропустить через вашгерд глины и не обращали

внимания на тщательность промывки. От этого большая доля золота ускользала из рук работников. При нас промыли шесть возов, то есть около ста пятидесяти пудов. «Когда же вы будете снимать золото?» — спросили мы. «Надо ждать штегера». А он или спал, или был пьян, или бродил возле дальних старателей. К счастью, два первые предположения были неосновательны, потому что через некоторое время он явился на место и позволил, удовлетворяя наше любопытство, снять золото.

Тогда глину перестали набрасывать на доску и пустили более слабую струю воды; через некоторое время спустили в остатки золотоносной мути ртуть и еще раз промыли породу едва заметной струей; на доске ничего не осталось — ни глины, ни воды, ни золота... по крайней мере мы ничего не могли заметить. Тем не менее баба соскребла что-то невидимое железной лопаткой, смела, кроме того, доску щеткой, и на середине доски оказался ничтожный комочек ртути. Это и было золото, только амальгамированное. Дальше стоило только отделить ртуть, и все кончено. Последняя операция была проделана еще грубее, вызвав громкий смех у моего спутника. Мужик положил комочек золотого песку в коробку из-под сардинок, пошарил руками вокруг себя на земле и собрал щепочек, потом поджег их спичкой, вынутой из кисета с махоркой, и несколько минут держал коробку над огнем, ртуть испарилась, и на дне жестянки из-под сардинок остался маленький желтоватый комочек золотого песку.

— И все! — воскликнул мой спутник с хохотом.

— Больше ничего... — возразил старатель и, высыпав песок к себе на ладонь, некоторое время посмотрел на него и, наконец, спустил его в кружку.

— Да это золото? — недоверчиво спросил спутник.

— Конешно, золото.

— Сколько же его тут было?

— Да долей семь, чай, есть...

— Да из-за чего же вы, наконец, работаете? Промыли полтораста пудов земли и намыли всего семь долей!

— Когда и поболе... как счастье выпадет. У нас, в нашем деле все от счастья. Азарт! Ведь когда моем-то, так не думаешь, что ничего не намоешь. Совсем напротив! Все думаешь, авось бог пошлет жилу... У нас счастье — первое дело.

Отдохнув, рабочие опять принялись за промывку.Парень подвозил землю, баба подбрасывала ее на решетку, мужик качал насос; струйки кроваво-желтой жидкости стекали в лужу, лужа крови тихо волновалась, отражая солнечные лучи.

Мы отправились бродить по окрестностям, осматривая разрезы и ямы. В некоторых местах разрезы были так обширны, что с трудом верилось в возможность такой каторжной работы. Между тем факт был налицо; там и сям в них копошились люди,

отыскивая «жилы». Труд здесь ценился ни во что; каторга старателями принималась добровольно. Заработок почти не принимался в расчет, потому что он был ничтожный. Четверо работников, необходимых для каждого вашгерда, все вместе намывали от двадцати до тридцати рублей в месяц, что едва хватало на хлеб. Тут больше играло воображение, поддерживая жгучие надежды отыскать «жилу». Иногда старатели припрятывали часть намытого золота, и это знали все, но все понимали, что при всеобщем хищничестве надо и старателю что-нибудь утащить.

Но эти припрятывания не много помогали. После осмотра раскопок мы заходили в несколько домов поселян и удивлялись цыганской обстановке всех старателей. Ни хозяйства, ни порядка нигде не замечалось. В домах рядом с предметом роскоши (шерстяное платье, висевшее на гвозде) лежала вещь поразительной бедности; рядом с гармоникой деревянная чашка с какой-то нехорошей пищей. Я несколько раз потом встречал старателей и не мог сначала объяснить происходившие с ними метаморфозы. Проработав, как лошадь, в продолжение месяца, старатель часто спускает все в несколько часов в городских и других кабаках; получив деньги, он нередко покупает совершенно ненужную вещь, например часы, и щеголяет в них день-два, а потом куда-то спускает их. Несколько раз мне приходилось видеть такую картину: человек одет в драповое пальто, на голове фуражка, но ноги босые, а вместо панталон болтаются холщовые порты, местами выпачканные в глину, — это старатель. Вид его производит такое впечатление, как будто за минуту перед тем его ограбили, — сняли с него панталоны, сапоги и крепкую рубашку, но почему-то оставили драповое пальто.

Только к вечеру мы отправились назад. Извозчик наш уже с нескрываемою иронией обратился к нам с упреком:

— Видите... сами видели, что тут ничего нет... дикие места! Народишко все перемогается, да и то больше насчет как бы чего стащить... дикий народ!

Но мы оба были довольны, осмотрев это заброшенное и расхищенное место. Все здесь пустынно; пруд зарос камышом и лопухами; тишина царит повсюду по кустам. Не слышно более криков сотен народа; не раздается музыка, и не визжат колеса приводов. Все замолкло. Люди разбежались, сняв сливки с природы. Такова история, быть может, и всего Урала. Первая волна хищников, пировавших в девственных горах, успела уже растащить все, что легко досталось, и схлынула дальше, в глубь гор. Но и там то же повторилось. Теперь настал перелом, «кризис», который можно поправить только заграничными пошлинами! Одни старатели еще копошатся, чуть не голыми руками вырывая свой хлеб из недр земли.



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Говорю не об исключительных людях, — слава богу, хорошие люди и у нас не переводятся! — а о том типичном представителе нашей общественной жизни, который наполняет своим гамом и суетой улицу. Вот он-то и плох, плох безнадежно. Он поистине напоминает собой выгребную яму; еще находясь у себя дома, в своей семье, за своими домашними делами, он — ничего, выносим и терпим; но стоит ему выйти на улицу и показаться на людях, как выгребная яма, составляющая его существо, начинает тотчас же издавать невыносимый запах. Весь сор, накопившийся в нем, тотчас же посыплется из него без всякого стыда.

Зависит ли это от непривычки к общественной жизни, потому ли, что он не обладает надлежащим количеством образования, или причину этого надо искать во внешних условиях, — но верно одно: в общественной жизни наш обыватель может совершать только сорные делишки и мелкие скандалы. Так, за последние годы, когда круг общественных интересов сузился, в нашем обществе явилась мода на разные «общества любителей»; в огромном списке этих обществ вы видите всевозможных любителей: любителей астрономии и любителей игры на балалайках,

любителей естествознания и любителей охоты с гончими, любителей российской словесности и любителей езды на велосипедах... Тут чего хочешь, того и просишь. Надоело вам быть членом общества вспомоществования литераторам, можете поступить в общество покровительства малолетним преступникам; не хотите слушать реферата о заржавленном гвозде и разбитых черепках в обществе археологии, идите в заседание общества любителей шахматной игры; опротивели вам доклады в юридическом обществе о правовых нормах, бросьте слушать их, записывайтесь членом яхт-клуба при высохшей речке, садитесь в шлюпку с парусом и катайтесь по луже сколько вашей душе угодно; а если, будучи любителем лошадиного спорта, вы вдруг благодаря тотализатору, обчистившему ваши карманы, почувствовали себя нехорошо, то вы можете не ходить больше на конское ристалище без ущерба для своей страсти, ибо есть общество скороходов, где вы можете сами изображать из себя в некотором роде рысака или иноходца. Мало ли теперь каких обществ? Можно выбрать из них такое, которое вполне соответствует вашим склонностям и талантам.

Обществ всяких и теперь много, а в недалеком будущем их окажется еще больше. Это понятно. В человеке существует неизгладимая потребность выходить на улицу и сообща с себе подобными делать какое-нибудь дело, хотя бы бегать взапуски наподобие лошадей. Те, которые проповедуют уничтожение общественной жизни, забывают основное человеческое свойство и борются против рожна; вытравить у общества потребность в общественной жизни — это такая нелепость, которая может уживаться только в темных головах и обозленных сердцах. Выгнанная в дверь, эта потребность влезет в окно; заприте человека какими угодно замками у себя дома, он найдет все-таки щель, через которую и вылезет на улицу; отнимите у него все общественные интересы, он создаст себе другие, уродливее, глупее, но все-таки по существу общественные.

С этой стороны возникновение за последние годы множества любительских обществ понятно, естественно и симпатично. Нужды нет, что в большинстве случаев задачи возникающих обществ ничтожны и смешны, — что же поделаешь? Жить как-нибудь надо. И потому всем обществам любителей я искренно желаю преуспеяния. Господа любители игры на балалайках! я и вам сочувствую. Совершенствуйтесь и твердо идите вперед, неутомимо развивая свои благородные таланты.

К сожалению, общественный наш человек еще плох в своих общественных делах; на людях он еще не умеет себя держать; он неуживчив, мелко самолюбив, раздражителен, груб. Критическое отношение к делу он принимает за личное оскорбление. Появляясь в обществе любителей, он прежде всего заботится

не о задачах общества, а о том, как на него смотрят другие члены, достаточное ли уважение к нему питают, не смотрят ли на него, как на прохвоста; благодаря этому тотчас же возникает подозрение. А затем на сцену является микроскопическое самолюбие, и тогда все члены вообще и каждый в отдельности начинают опорожнять публично, на улице, свои выгребные ямы. После такого невежества общество обыкновенно распадается, и если в его среде случайно не отыщется несколько лиц твердых и разумных, то общество прекращает свое существование.

Недавно (в прошлом году, осенью) в Уфе был такой курьезный случай. Задумали несколько лиц основать в городе «потребительное общество» и горячо принялись за дело. Надо было прежде всего написать устав, — нашлись люди, которые взяли тотчас же на себя труд написать устав. Дальше следовало хлопотать об утверждении общества, — и за это немедленно принялись. Но вот, когда устав был уже написан и его предполагали послать на утверждение г. министра внутренних дел, одним из членов общества, уфимским старожилом, случайно найден был печатный устав потребительного общества, открытого в городе Уфе еще в 1876 году. Когда наведены были справки, то оказалось, что общество точно существует, но только официально, на бумаге, в действительности же его нет, ибо члены все разбежались, кроме двоих, которые забыли о его существовании. Производило ли таинственное общество когда-либо и какие-либо операции — неизвестно. Тайну эту так никто и не раскрыл.

Между тем мне очень ясно рисуется картина заседаний этого фантастического общества. Когда, по утверждении устава, члены собрались на заседание, то лица у них были торжественные и радостные; председатель сказал торжественную речь о великом будущем общества и пригласил выпить и закусить, и все члены выпили и закусили; и когда расходились по домам, то были очень довольны, что принадлежали к обществу. Затем следующее заседание было посвящено выборам должностных лиц, причем после выборов председателя, вице-председателя и секретаря, а также членов распорядительного комитета и ревизионной комиссии оказалось, что многих членов никто не ставит в грош, вследствие чего это собрание кончилось для многих искренним изумлением. Наконец, когда на третьем собрании пришлось впервые говорить о делах общества, между тем никто ничего не знал, то все члены, один вслед за другим, принялись опорожнять свои выгребные ямы, вследствие чего в зале собрания образовался такой смрад, что многие заткнули носы, а немного погодя — разбежались. Четвертое собрание уже не состоялось за неприбытием законного числа членов, а пятое не состоялось вследствие осенней распутицы, во время которой жители города Уфы не рискуют плавать не только на фарватерах, но даже

и по берегам улиц, и хотя общество спасания на водах в Уфе существует, но еще не было случая, чтобы оно спасало кого-либо из утопающих. Так и кончилось «потребительское общество», и только через тринадцать лет его открыли, да и то случайно.

А жаль. Какого бы характера ни было общество, оно все же общество, и лучше участвовать в заседаниях любителей астрономии, чем нигде и ни в чем не участвовать. Дело совсем принимает дурной оборот, когда основанное общество попадает из рук «любителей» в руки грабителей; тогда общество превращается в большую дорогу, где работают разбойнические шайки.

В этом смысле весьма поучительную историю рассказывает самарский корреспондент «Волжского вестника». Рассказ его так хорош, что я не решаюсь передавать его своими словами, а привожу буквально:

«Какой-то злой фатум тяготеет над кредитными учреждениями нашей Самарской губернии. Некоторые из них уж давно сделались жертвами современного недуга, именуемого «расхищением», а другие едва влачили свое жалкое существование, с каждым днем приближаясь к той же участи, к роковому концу. Причина упадка сельских банков и ссудо-сберегательных товариществ, как показывает дело, заключается «в полном отсутствии правильной организации управления по операциям». Несмотря на то, что комитетом о ссудо-сберегательных товариществах в семидесятых годах издавалась масса брошюр с разъяснениями, как вести дело по этим операциям, как достигать цели, назначенной ссудо-сберегательными товариществами, и содействовать к устранению нужд народонаселения, — заправилы кредитных учреждений, вскоре же после принятия на себя «благородных» обязанностей, стали злоупотреблять великим делом...

Известно, что пример заразителен, и в каждом деле стоит только сделать инициативу, как явятся и последователи, и, как говорит г. Михайловский, какая-то непреодолимая сила *гонит* людей к подражанию, как в делах добрых, так и в самых мерзопакостнейших, ввергая иногда народные массы в какую-то страшную эпидемию.

Такой страшной и антигуманной эпидемией были поражены и наши попечители и представители ссудо-сберегательных товариществ и крестьянских банков».

Далее автор приводит целый мартиролог банков и товариществ... Умирали они одно вслед за другим, и все неестественною смертью. Одно товарищество было выпущено в трубу каким-то Плехановым, бывшим в большом почете у мелкого начальства; другое расхитили волостные старшины, третье — волостной писарь, а четвертое — даже какой-то «интеллигент», сельский учитель, запутавший счеты товарищества так основательно,

что после него никто ничего не понимал. Такая же участь, по словам корреспондента, ожидает и самарское ссудо-сберегательное товарищество, действовавшее в самом городе.

Как видно, дело серьезное, и недаром корреспондент рисует его трагическими словами, вроде «фатум», «эпидемия», «гипноз». Конечно, вторжение воров в такие места, которые предназначались для «благородных обязанностей», в своем роде фатум. Но нельзя допустить, чтобы воры, прежде нежели расхитить кассы товариществ, были кем-либо загипнотизированы и шарили по сундукам вследствие способности к «подражанию». История совершалась проще. Когда, основанные «любителями», товарищества едва возникли, как уже «любители» покинули их и разбежались, а дела попали в руки грабителей. Вместо общественного человека, честного, хотя и неумелого, общественное дело попало в руки «чумазого».

И вот почему можно сочувствовать всякому обществу «любителей». Пускай в этом обществе будет совершенствоваться игра на балалайках — это ничего. Во-первых, это общество — все же общество, вырабатывающее будущего общественного человека, который поныне не обладает у нас еще общественным тактом и которому надо много еще учиться, чтобы выработать этот такт, как вырабатывают ребята разные практические приемы, играя в лошадки. Во-вторых, жить как-нибудь надо, а так как общественность — невытравимое условие жизни, то приходится записываться хотя бы членом общества скороходов и бегать взапуски рысью, лишь бы только бега эти устраивались на людях.

Итак, основывающиеся теперь многочисленные общества любителей — явление симпатичное. Следует только желать, чтобы любители не разбегались после первых же своих заседаний, ибо за бегством любителей всегда следует приход расхитителей; а что же хорошего, если последние даже и балалайки расхитят? Тогда будет совсем скучно.



БУМАЖНЫЕ МУЖИКИ

У нас есть одна застарелая иллюзия, существование которой трудно помирить с вопиющей действительностью. Иллюзия эта не есть плод заблуждений ума и не находится в зависимости от незнания, а является каким-то стихийным инстинктом, коренящимся в глубине нашей жизни и до сих пор не проверенным критикой.

Дело идет о нашем «пролетариате». Путем каких соображений отрицается существование «четвертого класса», вопреки всякому здравому смыслу — нельзя было бы объяснить, если бы в нашем обществе не заложен был в глубине души смутный инстинкт, дающий нам веру в наше богатство, силу и могущество. Само собой предполагается, что у нас видимо-невидимо земли, вод, птиц небесных, зверей земных, неоглядного простора, неописуемой широты и неисчерпаемых благ всех родов; из этого описания само собой предполагается, что у нас нет ни пролетариата, ни капитализма, ни безземельных, ни помирающих по улицам с голода; причем происходит странный психологический курьез: когда жизнь от времени до времени показывает нам и голод, и смерти, и нищих, и лишенных какого бы то ни было угла людей, мы начинаем убеждать себя, что это все явления временные, нелепые и не вытекающие из основ

нашего строя; в Западной Европе пролетариат — основа жизни, а у нас его нет и в помине... у нас много земли и простора, «община»... «земельные наделы»... «мужицкое царство»... Если же и попадаются кое-где на широком пространстве нашего отечества толпы одичалых бродяг, то они капля в море, притом вызваны они внешними условиями, при изменении которых и они исчезнут, как дурной сон.

Надо отдать справедливость крепости и распространенности этого удивительного инстинкта; он не поддается никаким опровержениям и широко распространен сверху донизу, от последнего мужика до образованнейшего интеллигента; разница только в словах, формулирующих инстинкт; мужик говорит, что «у немцев жрать нечего», а образованный говорит, что там царство пролетариата; мужик глубоко верит, что в православном царстве всего довольно, а образованный бормочет что-то про «общину», про «мир», про наделы, которые, вместе взятые, все устроят отличнейшим образом, — и буржуазию прекратят и пролетариату не дадут развиться; пролетариат — западная язва, а у нас «царство мужиков».

С инстинктами трудно бороться, а с массовыми инстинктами — невозможно; иллюзия об отменном нашем богатстве и материальном всемогуществе столь же тверда, как былая теория — «шапками закидаем», и может исчезнуть после такого же грома, какой в один миг уничтожил и пресловутые шапки. Тут ничего не поделаешь; приходится ждать только воли божией; пускай до поры до времени люди тешатся ребяческими фантазиями; придет время, когда раскроются глаза и уши, и свет озарит темные углы наших инстинктов.

Между тем в ожидании этого момента надо же что-нибудь делать тем, кто по какой-либо случайности не верит больше в миф нашего земельного крестьянина; по крайней мере надо же хотя исподволь рассеивать туман, напущенный нашим доморощенным самохвальством; непременно надо один за другим предлагать следующие вопросы.

Почему несметные толпы народа бегут куда глаза глядят с своих якобы наделов? Как эти толпы доходят до места и сколько их переходит в разряд бездомных бродяг, когда они до места не доходят? Какое отношение между фактическими владельцами наделов, с одной стороны, и фиктивными «душами», скитающимися неизвестно где по свету, с другой? Откуда падают густые толпы оборванцев, наполняющие по городам ночлежные дома и целые улицы, и почему, при отсутствии пролетариата, на каждом шагу попадаются шайки золоторотцев, не знающие, где их родина? Наконец, что же такое пролетариат? Быть может, это особый привилегированный класс, а не бездомные бродяги, разодетые в живописные костюмы золоторотцев?

Со временем на все эти вопросы мы, по силе возможности, будем отвечать, а пока коснемся только двух последних.

Что наш пролетарий отличается от западного — это не подлежит сомнению. Под именем западного пролетария разумеется существо, имеющее «свободные руки», не владеющее никакой на земле собственностью. Наш же пролетарий, в сравнении с этим несчастным, просто богач. На бумаге, по паспорту, он всегда или крестьянин, или мещанин; в первом случае он имеет на бумаге земельный надел, во втором очень часто он наследник усадебного места в городе или посаде; но, в сущности, все это миф; он нередко смутно даже помнит, что где-то там у него числится земля с домом. По своей дальнейшей жизни он также не напоминает западного пролетария; тот, западный-то, занимается определенной работой и живет в определенном месте, а наш определенного ремесла не имеет, а живет в навозных жижах, какие только случайно встречаются на его пути, переходя из одного города в другой. Называется он также отлично от своего западного собрата: то пролетарий, а это «босяк», «золоторотец», «навозный жук» и пр.

Но разница эта во внешности, в названиях и в национальной обстановке; по существу же он составляет частицу той армии, которая принимает в себя всех бездомных, безземельных и безродных и которая на глазах ежегодно растет, наполняя собою ночлежные дома и специальные улицы, а нередко и навозные кучи.

Чтобы убедиться в этом, достаточно взять охапку, первую попавшуюся охапку волжских газет; говорим это не иносказательно, а буквально, — достаточно взять любую горсть газет, чтобы натолкнуться на целые столбцы описаний бумажных крестьян и мещан, обитающих в чужих местах.

«На днях нам пришлось посетить несколько ночлежных домов... говорится в одном из номеров случайно взятой нами охапки газет. — Пройдя не совсем опрятный двор, мы поднялись по деревянной лестнице во второй этаж; картина, представившаяся нашим взорам, была отвратительна; на длинных нарах, расположенных вдоль и поперек комнаты, валялись люди, как попало: кто на голых досках, кто на подосланном изорванном кафтане, а многие так просто на грязнейшем полу. Кое-где, в особенности по углам, можно было видеть отдельные группы ночлежников, ведущие интимные разговоры между собой; тут же присутствовали и женщины. При отсутствии всякой вентиляции, воздух был невозможен: табачный дым, вонь и копоть чуть мерцающих ламп образовали вокруг себя такую атмосферу, в которой, по меткому выражению, можно было «повесить топор». Прибавьте еще к этой обстановке блуждающие тени полупьяных субъектов, крики, возгласы и пьяные голоса — и вы невольно

подивитесь тому, как может существовать человек в такой обстановке» («Астраханский справочный листок»).

Это описание бледное: в волжских газетах можно встретить на каждом шагу более яркие картины. Но, быть может, и эта картина читателю покажется исключительной?

Но для этого стоит только перевести взгляд на другой столбец того же номера той же газеты, чтобы успокоиться...

«Безобразная улица». Известно, что пятый полицейский участок изобилует множеством явных и тайных «притонов»... В особенности это относится к первой Армянской улице, которая на местном жаргоне стала известна под характерным прозвищем *«акцизной»*...

Далее идет описание улицы, кишащей босяками, и нравов, царствующих здесь; репортер оканчивает наивным приглашением «пристава пятой части обратить на это безобразие внимание». Разумеется, такое явление, как целая улица, кишащая босяками, бросается в нос, но что тут может предпринять «пристав пятого полицейского участка» — и сам репортер не знает.

Густые толпы босяков, золоторотцев и прочей братии сделались столь внушительными, что даже фельетонисты местных газет начинают брать их материалами для своих «бесед с читателями» (хороша беседа!).

«Начались темные, глухие ноченьки, — беседует фельетонист «Астраханского вестника» с читателями, — кончилась промысловая «путина», показался в городе босоногий, ободранный люд — исчадие ночлежных приютов, и стал обыватель покрепче запирать окна и двери... Излишняя предосторожность против этих несчастных, которые не хотят дождаться устройства благодетельных фанакстерий, долженствующих доказать правильность социальных теорий об уничтожении пауперизма. Это превосходные объекты для различных экспериментов научного свойства, — гг. золоторотцы скоро поступят на иждивение доброхотных дателей, преимущественно лавочников. Рано утром, подгоняемые морозцем, пролетарии, облаченные в специально изготовляемые для них ростовщиками ватные кофты, с живописным убором на голове, фасоны «фантазия золотой роты», согревая руки в некотором отдаленном подобии рукавиц, а ноги аккуратно закручивая в национальную, радующую своей дешевизной патриотическое сердце, обувь — лапоточки не первой молодости, — пролетарии, говорю я, будут гуськом, друг за дружкой, поторапливаясь, трусить от магазина к магазину, чтобы в одном месте раскрыть объятия мешочка навстречу благотворительному крендельку, в другом — протянуть ладонь за лептой... Кончена утренняя экскурсия, — пролетарий, именуемый в своем же сословии золоторотинцев презрительной кличкой халупа, погружается снова в чад и грязь горозовского или же

зембмомовского притона, где производится метаморфоз собранных кусков в разбавленную водою кровь сатаны!!.»

Игривый фельетонист возрожденного «Астраханского вестника» описывает тем игривым тоном дальнейшие дневные приключения халупов, «но нам незачем следовать за ним, — читатель благодарен за открытие новой клички нашего пролетария — халуп».

Но кто такой этот халуп? Быть может, «исчадие ночлежного дома» в городе? Но тогда почему халупов так много по всей Волге, что нигде — ни в Самаре, ни в Астрахани, ни в Нижнем, ни Саратове — от них не скроешься? Неужели они только продукт городской жизни? Родятся, живыми и умирают в мрачных улицах городов?

Но на этот счет каждый из поименованных и других попутных городов сейчас же просветит вас, лишь только вы обратитесь за разъяснением к тому или другому представителю халупов. Кто он? крестьянин. Впрочем, ради такого ответа нет нужды делать личные расспросы; можно ограничиться сообщениями той охапки газет, которая случайно попалась под руку.

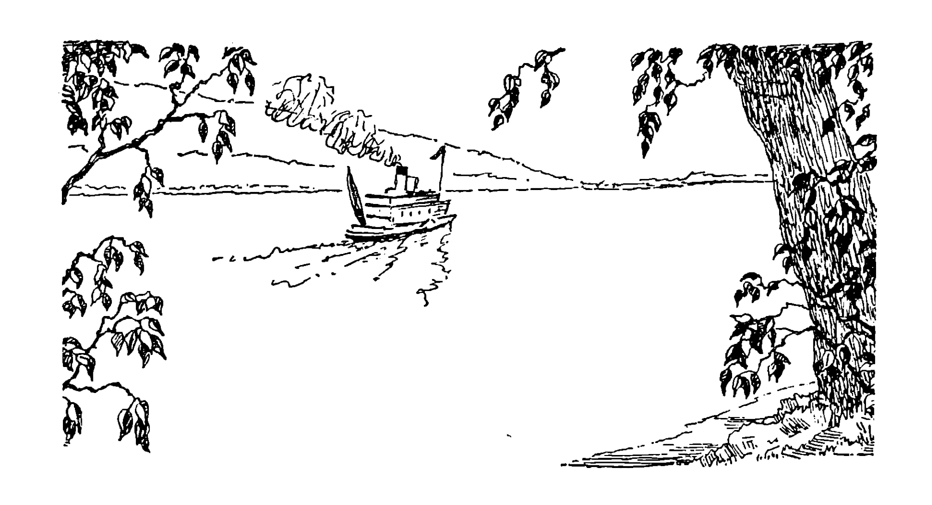
«Саратов, 31 октября. Вследствие неурожая хлеба и трав в Самарской губернии в нынешнем году, в Саратов теперь прибывают ежедневно много крестьян из Николаевского, Новоузенского и др. уездов, чтобы поденной работой прокормиться здесь в течение зимнего времени. Большинство крестьян (между ними много татар) приезжают с семьями, так как дома у них положительно нечем кормиться, причем домашний скот некоторыми распродан или же отдан к более зажиточным крестьянам на прокорм в течение зимы, за что владельцы скота обязуются в течение полевых работ так или иначе отработать условленную за прокорм скота плату. Вид этих скитальцев самый плачевный — в рубищах и с исхудалыми лицами» («Саратовский листок»).

Вот что такое халупы, и вот кто наполняет ночлежные дома, безобразные улицы, загородные развалины, площади, тротуары и пр. Без сомнения, большая часть этих крестьян, при первом дуновении весны, возвратится к своим брошенным очагам и земельным наделам; но также несомненно, что некоторая часть наиболее ослабшая, окончательно запишется в золотую армию. А таких «случайных несчастий», как неурожай, великое множество в деревне, и после каждого такого случая наиболее пострадавшая от случая часть бросает дом и землю и притащится в город и поселится здесь навсегда, от времени до времени переходя лишь из одной трущобы к другой, из одного города в смежный.

И в то же время народ этот номинально приписан к известному обществу, владеет якобы домом и считается якобы землевладельцем; но от бумажного крестьянина очень далеко

уж до действительного; раз сделавшись бумажным, он переходит в армию босяков, золоторотцев, халупов и прочих наименований пролетариев.

Как в настоящее время велика эта армия — невозможно представить себе. Общегосударственной статистики еще не существует, земская же статистика пока еще слишком крупный бредень, чтобы уловить халупов и босяков — бумажных мужиков; к услугам наблюдателя находится лишь нематематическое наблюдение, дающее смутные размеры и рост их. Однако даже и такое несовершенное наблюдение, раз оно сделано, не дает возможности ублажать себя ребяческими фантазиями вроде того, что «там пролетариат, а у нас земельные наделы».



ОЧЕРКИ ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА

I

Сначала мне пришлось проехаться по Дону. Путь был выбран такой: Царицын, Калач, Ростов, Таганрог, Славянск и Святые горы, а отсюда уже предстояли поездки по заводам и копям. Весь путь, начиная с Калача, был для меня совершенно новым, и те места, которые я должен был проехать, в полном смысле оказались неведомыми; как истинно русскому человеку, знающему с большими деталями, что делается в Америке, и не знающему, каково живется в соседнем уезде, мне также, начиная с Калача, пришлось только изумляться своему неведению...

Это произошло еще в Царицыне. Собралось нас четверо путешественников, и ни один не знал, что нас ожидает в Калаче на Дону, — есть ли там пароходы, когда они отходят благодаря обмелению реки, о котором мы смутно слыхали еще в верховьях Волги, — ничего не знали.

В Царицыне нам пришлось ждать поезда целый день, и это время мы употребили на собирание справок. Самый деятельный из нас, доктор, отправился с пристани в город, откопал там старого своего знакомого, товарища по университету, также доктора, и привез его к нам в качестве «достоверного свидетеля».

Этот достоверный свидетель тотчас же принялся посвящать нас во все подробности путешествия по Дону. Надоела ли ему скучная жизнь в отвратительном городе, известном по всей России своим убийственным климатом, под влиянием ли катара желудка, о котором мы узнали при первом же знакомстве, или просто ему стало весело в новой для него компании, только свои сообщения он приправил таким юмористическим соусом, что нам стало жутко. У нас на руках был маленький ребенок да больной товарищ, с которыми немыслимо было отправиться на пароходе по Дону...

— Да почему? — допрашивали мы.

— А вот вы сами увидите! — говорил веселым тоном скучающий царицынский интеллигент. — Это вы на Волге-то избаловались, а по Дону не так... Пароходишко крошечный, вонючий. Душно, тесно. Не только во втором классе, но в первом места нет! Прилечь негде... По вашему путеводителю, вы в Ростове будете на другой день? Как бы не так! Не на другой, а на пятый день вы попадете в Ростов... И притом теснота, вонь, есть нечего, буфет — отрава, прислуга одичалая... Воды для чаю велишь принести — не слушается; если начнешь ругаться — грубит. Только и добьешься чего-нибудь, если в морду дашь. Честное слово! Уверяю вас, всю дорогу едешь с протоколом... А капитан держит себя полным хозяином. Пароходишко то и дело садится на мель. И как только сел на мель, капитан сейчас командует: «Третий класс в воду!» И третий класс прыгает в воду и начинает стаскивать судно с мели. Если пассажирам удастся быстро столкнуть с мели свое суденышко, им дается из буфета по рюмке водки, а то бывает и так, что бьются в песке целый день...

— Да не может быть!

— А вот вы увидите... Честное слово! Иногда по целому дню стоишь на мели. Пассажиров второго и первого класса просто высаживают на берег, чтобы как можно облегчить пароходишко, и там они остаются до тех пор, пока он не снимется. Ну, конечно, есть нечего, кругом голая пустыня. Я в третьем годе ехал — жизнь свою проклял! Поезжайте-ка лучше по железной дороге, через Грязи... А, впрочем, попробуйте, оно для первого раза занятно...

Вот какого рода известия принес нам случайный наш знакомый. Слабая и больная половина нашей компании положительно возмутилась ввиду предстоящих ужасов путешествия по Дону. Мы, более стойкие, уговаривали все-таки ехать, но уговаривали нерешительно, сами не доверяя своим аргументам, ибо, как настоящие русские люди, не знали, правду говорит царицынский обыватель или от скуки фантазирует. Говоря теоретически, можно было допустить возможность всего им рассказанного: и это битье по морде, и следующие за сим протоколы,

и команда капитана, чтобы третий класс прыгал в воду, и путешествие вместо двух дней — пять, — все это по-русски мыслимо, но, с другой стороны, слишком уж фантастично допустить все эти ужасы скученными в одном и том же месте, тогда как в действительности они всегда довольно равномерно распределяются по русской земле.

К нашему общему удовольствию, оцененному только впоследствии, нерешительные аргументы в пользу путешествия по Дону перевесили, и мы отправились по Волго-Донской ветке на Калач. И все обошлось как нельзя лучше. В Калаче мы должны были прожить в ожидании парохода целые сутки, но это время провели отлично, поселившись в пловучей гостинице, устроенной на берегу Дона, рядом с пароходной конторкой. А когда заняли места на прибывшем пароходе, то уже почти совсем успокоились; только даму с ребенком, более всех напуганную рассказами царицынского обывателя, поместили вместо второго класса в первый.

Мне и до сих пор непонятно, зачем скучающему царицынскому доктору понадобилось скучить, как в сказке, столько ужасов, рассеянных по нашей родине, но редко сгущающихся в одном месте так сильно, как он сгустил. Только кое-что из его слов оказалось правдой. Плата за проезд была вдвое дороже платы на волжских пароходах; удобства же было вдвое меньше. Но чтобы пассажир из-за чайника с кипятком должен был заезжать в морду, чтобы третьему классу капитан приказывал прыгать в воду и тащить на себе пароход — этого не было, просто выдумка! Пароходик наш был маленький, не очень чистый, с хриплым свистком, но вез нас исправно и привез в Ростов действительно на другой день. Капитан и помощник, матросы и прислуга были вежливы. И не только вежливы, но обязательны до последней степени. Даже жалко было смотреть, в особенности на прислугу, оборванную, с бледными, изморенными лицами, запуганную. Откормленные, одетые во фраки лакеи на волжских пароходах здесь совершенно неизвестны. Видно, что донской прислуге работы много, а есть нечего.

Во все время путешествия не было ни одного из тех случаев, о которых рассказывал царицынский обыватель. Только однажды утлая наша машина сплоховала на одном из бесчисленных крутых поворотов, — рулевой не успел повернуть руль, и пароход, как карась, выпрыгнул на берег. Стоп! Один бок судна стоял на берегу, а другой в воде. Но это никого не смутило; несколько матросов с помощником перелезли через борт на берег, посоветовались, как лучше спустить пароход в воду, и решили: дать задний ход, авось машина не поломается. Решив это, перелезли обратно через борт, и помощник сказал машинисту: «Ну-ко, идите, попробуйте задний ход!» Машинист дал

задний ход, вал двинулся, колесо шлепнуло несколько раз по сухой земле, пароходик как-то вздохнул всем телом и сорвался в воду. «Вперед!» — скомандовал капитан, и мы пошли как ни в чем не бывало. Только несколько плиц колеса, обломанных о берег, поплыли по реке, но их вставили на следующей пристани.

Вообще, хотя вонючий и с виду гадкий, но в работе наш пароходик был терпеливым и выносливым созданием. Спад вод уже начался, мели обнажились, и пароходик то и дело зарывался носом в песок; случалось, совсем обессилеет и встанет, но достаточно капитану сказать «вперед!» — как он, подобно доброму мужицкому мерину, двинется, задрожит весь, тяжко вздохнет, зароется глубоко в песок, а вывезет-таки! Капитан, по-видимому, хорошо знал своего конягу и безусловно верил в его выносливость и терпение. То и дело по берегам подсаживались пассажиры, не с лодки и не с конторки, а так, просто с берега. Завидит капитан, что впереди на берегу машут платком, и направляет свой пароходик по тому направлению. Пароходик смело бежит на берег, тыкается носом в землю, затем один из матросов перелезает через борт и держит его за веревку, как за поводья узды, до тех пор, пока пассажир перетаскивает с берега свои вещи. «Вперед!» — кричит капитан, лишь только пассажир сел, и добрый коняга, повернув в сторону, снова начинает загребать колесами.

Странное впечатление производит Дон после Волги, точно попал с шумных улиц большого города на тихую деревенскую улицу, поросшую муравкой, по которой кое-где бродят куры да гуси с утками. Пароходик беспрестанно виляет по бесчисленным закоулкам и излучинам степной реки; иногда кажется, что впереди уже нет ему прохода: только виднеются луга, пески да камыш; но вдруг крутой поворот, словно переулок, — и пароходик снова загребает колесами по этому переулку. Расстояние между берегами часто всего несколько саженей. А на берегах деревенский мир: кое-где полощутся в воде гуси и при проходе парохода сторонятся ближе к камышу; тут же плавают утки, и по тропинкам берега куда-то спешит целая семья свиней, состоящая из почтенных размеров матери и штук двенадцати детей. Иногда конь понуро стоит около воды, помахивая хвостом, иногда бегут рядом с пароходом телята.

Кругом стоит необыкновенная тишина. Шлепанье колес нашего пароходика раздается глухо, беззвучно; эхо не отражает звуков, ибо и берега ровные, плоские. По ту и другую сторону реки тянутся необозримые луга, изредка только украшенные кустарником, те самые казацкие луга, на уборку которых стекаются косари со всех концов России. Вот тогда, видно, Дон оживляется. А теперь, во время нашего путешествия, глубокая

тишина и лень охватили его неизмеримые пространства. Людей редко видишь; даже по пристаням, в больших станицах, возле конторки сидят две-три бабы, — одна с воблой, другая с семечками, третья с хлебом, да тут же, неизвестно зачем, толчется казак. Но зато часто вдали от жилья вдруг покажется кучка народа: то казаки тянут невод во всю ширину реки, и пароходик наш перескакивает без всякой церемонии через верхнюю веревку...

Самые станицы, там и сям показывающиеся по обоим берегам, кажутся погруженными в ленивую дремоту. Все они как две капли воды похожи одна на другую, и дома в каждой из них совершенно одинаковы, точно строил их один хозяин: непременно каждый домик в три окна, непременно с балкончиком и непременно выкрашенный в желтую краску. Сходство поразительное, и я, как ни старался, но не мог на другой день припомнить, которая станица Константиновская, которая Аксайская. Поэтому никак не могу вспомнить, с которой станции характер Дона несколько изменился. Дело в том, что, начиная с какой-то станицы, на правом берегу, под защитой от северного ветра, начали зеленеть виноградники, а раньше, ближе к Калачу, их не было. С первого взгляда Дон остался прежним; но на самом деле, при более пристальном взгляде, картина сильно изменилась: вместе с холмами и виноградниками появилось что-то нежное и веселое, и скучающий взор уже не терялся больше в необозримых зарослях и лугах. Начиная с этой станции, виноградники потянулись почти беспрерывно вплоть до самого Ростова.

Но это не изменило мирного, почти сонного вида реки и раскинувшихся по ее берегам станиц. А ведь когда-то здесь кипела жизнь, только не такая, как в шумных городах, а дикая и кровавая. Каждый клочок этих, ныне спящих, берегов полит кровью; тут всюду некогда раздавались выстрелы, вопли и стоны, брань и клики торжества победившей стороны. С левого берега стреляли татары, а с правого — казаки. Когда казачка шла с ведрами за водой, за ней следовал провожатый с заряженным ружьем. Безоружный погибал, оплошавший попадал в плен к «поганым». Резня была ежедневная и беспощадная... Когда наш пароход проходил мимо Старочеркасской станицы, несколько пассажиров обратили внимание на часовню, стоящую далеко от станицы, прямо в лугах. На свои расспросы они получили обстоятельный рассказ о значении часовни от ехавшего с нами казацкого полковника. «Видите ли, как было дело. Казачье войско возвращалось с победоносного азовского похода в Старые Черкасы, которые в ту пору были еще донской столицей. Время близилось к вечеру, приближались сумерки, а войску не хотелось войти к себе домой ночью; ему хотелось показаться у себя при свете солнца, с триумфом, при бое барабанов, с победными песнями, гарцуя на конях. И решено было остановиться на ночь вот в этом

самом месте, где теперь стоит часовня. Решили и остановились; разбили стан и полегли спать мертвым сном, в ожидании завтрашнего торжества. Но судьба не то им сулила. За войском все время, по другому берегу, незаметно следили татары; как проклятые волки, они тайно следовали за войском и как только увидали, что казацкое войско уснуло, не расставив даже часовых (потому, что, как видите, ведь дело было перед самою станицей!), тотчас в глухую полночь переправились через реку и вырезали все войско дочиста, за исключением нескольких казаков, которые спаслись и прибежали в станицу, чтобы известить своих о бесславной смерти воинов. Тут впоследствии черкасцы и поставили часовню «за упокой душ».

Вот какие тогда были времена. А теперь Дон тихо спит. Война кончилась. Воцарился мир. Сонно катит он свои воды среди бесконечных лугов и никогда уже не проснется. Не будет здесь, по всей вероятности, и того бойкого торгового пути, о котором мечтали составители проектов. Виноградники да луга — вот, вероятно, что в будущем ожидает тихий Дон.

Вытравится в недалеком будущем и тот казацкий дух, про который так много говорили. Поддерживался и воспитывался он татарами, и когда татар не стало, нет больше места и этому духу... Нынешний казак любит свои луга, поля и виноградники. Только на людях он воинственно охорашивается, а лишь только приходит домой к себе, как превращается моментально в доброго селянина... С нами ехало в третьем классе несколько татар с муллой во главе; отправлялись они в Мекку. При восходе и закате солнца они тихо поднимались наверх рубки, расстилали коврики и с обращенными к востоку лицами начинали молиться. Капитан не гнал их, хотя, как пассажиры третьего класса, они не имели права подниматься на мостик; пассажиры также не мешали им, не оскорбив их молитвы ни одним жестом. Только один старый казацкий полковник однажды вздумал развеселить нас. Показав пальцем на кучку молящихся, он с притворным гневом сказал нам:

— И зачем только капитан пускает их сюда?.. Ишь, подлецы, тоже молятся! Хорошего бы арапника влепить им, перестали бы вертеть своими бритыми башками!

Но, не встретив ниоткуда одобрения своим словам, добродушный полковник ужасно сконфузился. К его удовольствию, в это время вдали показался Ростов, и всеобщее внимание отвлечено было от плохой шутки мирного полковника. Характер Дона круто изменился: как-то незаметно он вдруг стал громадной глубокой рекой. В это время дул сильный ветер, и волны его вдруг выросли в целые холмы, шумно ревущие вокруг нашего утлого суденышка. Впереди на водном горизонте показался лес мачт. Где же Дон? Он неожиданно влился в море и потерял все свои особенности сонной степной речки.

II

Дорога от Ростова до Святых гор, которые должны были послужить мне центральным пунктом, откуда я намеревался делать поездки по разным направлениям, промелькнула быстрее, нежели кто-нибудь из нас ожидал; тем более, что ради посторонних соображений мы должны были остановиться дня на три на одной из маленьких станций, в центре погибающего сахарного завода. Так что впечатление от всей дороги было свежее, но не сильное. Кругом ширилась степь, местами бурая от бездождия, местами зеленеющая; изредка попадется долина, по которой расположились хутора и села; изредка мелькнет в глубокой впадине хуторок или сверкнет, как полоска стали, степная речонка, обросшая густой травой; но сейчас же тянется во все стороны бесконечная степь, изрезанная по всем направлениям сухими и бурыми морщинами. Степь и степь, сзади и впереди, по ту и другую сторону, без начала и конца, не дающая ожиданий и не оставляющая воспоминаний, ровная и скучная, — таково единственное впечатление, оставшееся у меня лично от дороги.

И так до самых Святых гор. От места остановки мы оставили железную дорогу и ехали ради избежания пересадок на лошадях. Расстояние было не менее сорока пяти верст. И опять всю дорогу по всем направлениям тянулась степь, то бурая, то зеленеющая, но всегда скучная и какая-то дряхлая, и усталый взор тоскливо отворачивался от нее, словно это была старая-престарая старуха, много жившая, видавшая всякие виды и наконец одряхлевшая и беззвучно умирающая. Но вдруг все это изменилось: незаметно вырос с одной стороны дороги лес, затем с другой стороны показался лес. Дорога поползла вверх, на гору; лошади тяжело тащили экипажи; горизонт впереди сузился до нескольких сажен. Наконец мы на гребне горы, и картина мгновенно изменилась. Лошади понесли нас вниз; а там, внизу, разбросалось по глубокому оврагу село; а за селом, еще где-то глубже, засверкало целое море леса. Словно по волшебству, это чудное место выросло из-под ног, облило нас новым светом, мгновенно заставив забыть все, чтó осталось позади, и приковав внимание всецело к себе.

Лошади проскакали через село, ворвались в тот дом, где мы должны были остановиться, и не успел я опомниться и оглядеться в чужом доме, как доктор уже потащил меня почти насильно куда-то со двора, по улице, по переулку, через огород, мимо садочка. По дороге он, от нетерпения за мою медленность, бросил меня и побежал вперед, хотя энергичными жестами не переставал торопить меня. Я, как только мог, торопился, бежал, прыгнул через забор, бросился по огороду, очутился в вишнях и остановился, сердитый на всех любителей природы, около

какой-то беленькой хатки с одним маленьким окном, которое, как мне показалось, напряженно заглядывало куда-то вниз... И доктор смотрел вниз, и я стал туда же смотреть... А там, под крутым обрывом, расположился Донец...

Были уже сумерки. Вода Донца приняла густо-зеленый цвет. С левого берега в него заглядывали столетние дубы, а с правого, на котором мы стояли, высокие сосны. Там, на левом берегу, конец леса скрывался из глаз, — это было зеленое море, ровное, неподвижное, а правый берег возвышался крутыми горами, на котором густо лепились стройные сосны. И между этими соснами расположился Донец, и не то ленивой негой, не то грустью веяло от его зеленой воды. Нам открывалась только небольшая его полоса; по левую руку от нас он вдруг таинственно скрывался за крутым утесом, также покрытым соснами, а с правой стороны он, казалось, манил за собой, в те лесистые горы, откуда белелись церкви.

— Вот это и есть Святые горы! Смотрите, какая там игра света и красок! — сказал восторженно доктор.

Но уже было сумрачно. Горы уже покрывались ночной мглой, и хотя они стояли всего в трех верстах от монастыря, но от него до нас достигали только какие-то неопределенные, беловатые контуры. Угасавший свет только ближайшие к нам предметы освещал достаточно ясно; все остальное — и горы, и оба конца грустной реки, и лесное море — все это уже накрыто было сумеречной мглой.

Но мы еще долго стояли возле хатки, заглядывавшей единственным своим окошечком с крутизны вниз на Донец; стояли и смотрели, очарованные. И когда глаз уже повсюду останавливался только на темной мгле, не различая отдельных предметов, мы все-таки продолжали стоять... потому что в это время картины сменились звуками. Сзади нас, со стороны села, доносился рев возвратившихся стад, отражающийся эхом от гор и лесов, а с противоположной стороны, из глубины леса, слышался неопределенный гул, производимый лесным царством, — свистел соловей, кукушка отсчитывала последние удары, глухо мычал болотный бычок, пищали и стонали какие-то неизвестные звери, а все это покрывал собою оглушительный, перекатывающийся волнами среди ночи, концерт миллиона лягушек. «Место это чудно, и даже звери, кто как может, поют и прославляют красоту его», — подумалось мне. А доктор, как бы угадывая мою мысль, вдруг сказал:

— Хорошо? Благодать? Это нам-то, избалованным всякими красотами... А каково же впечатление простого человека, который прямо из голой и голодной степи или прямо из навоза очутился здесь! Чувство святости и божеской благодати — вот какое чувство вдруг охватывает его здесь!.. Для нас это только

красиво, а ему свято... Нам эстетика, а ему божеская правда... А впрочем, до завтра, — вы сами все увидите.

Действительно, пора было идти домой и заняться ночлегом.

На следующий день мы долго собирались, так как желающих побывать в Святых горах было много, в том числе человек пять детишек, и кое-как к двум часам собрались. Решено было ехать на лодке. Гребцами выбраны были двое работников: один докторский кучер, а другой — батрак в том доме, где мы остановились. Последний был сильный, здоровый малый; но зато докторский возница никуда не годился: во-первых, он был слаб от природы, а во-вторых, по доброте хозяйки так основательно был угощен «горилкой», что требовал за собой особого присмотра. Но об этом обстоятельстве мы узнали только тогда, когда изменить его уже было поздно, то есть когда мы были на середине реки.

Лишь только лодка наша поплыла, как всех нас охватило чувство неги и счастия. На этот раз, при блеске солнца, впечатление было совсем не то, как вчера, во время сумерек, когда от всего этого чудного места веяло тихой грустью. Напротив, теперь все блестело и смеялось. Смеялись леса левого берега, играя листвой на своих старых, но еще бодрых дубах, мягко улыбались горы правого берега, очертания которого теперь не выглядели такими, как вчера; самые сосны на них уже не были суровыми великанами, неподвижно висящими в воздухе по крутым берегам; напротив, веселой и живой толпой окружили они берег реки и, цепляясь за уступы, бежали вверх до самого гребня гор, где сплошной массой закрыли собою горизонт. Кое-где гора обнажалась, и тогда на солнце блестел меловой обвал. Сам Донец, вчера такой лениво-грустный, сегодня смеялся благодаря мелкой ряби, поднятой ветром. И звуки, идущие со всех сторон на нас, тоже были веселее, бодрее...

Но зато в лодке нашей всю дорогу неблагополучно. Всему виной был Николай, докторский кучер. Он с самого начала был мало куда пригоден, в особенности для роли гребца ко «святым местам». От работы веслом его еще больше разобрало; он без толку, не в такт бурлил им воду, качал лодку, обдавал брызгами близко сидящих. Кругом против него раздавался ропот, хотя большинство смеялось над его неуклюжестью. В особенности восстал на него сам хозяин, — всю дорогу он ругал его.

— Ты опять, болван, напился?

— Ничего не напился... поднесли трошки — и напился...

— Ну, вот, посмотрите на этого болвана!.. У него большая семья, жена, дети, и он близок к чахотке. И все-таки, скотина, возьмет да нажрется, а потом несколько дней стонет!.. Греби хорошенько, а не то пошел вон с лодки! — кричал вне себя от гнева доктор, обращаясь попеременно то к нам, то к своему вознице.

Это продолжалось до самых святых мест. Николай бухал в Донец веслом, бурлил воду, брызгал, раскачивал лодку; а доктор бесился, страдал, ругался. Пришлось их обоих успокоивать.

— Ах, не могу я выносить пьяных! Эта скотина все нам отравит, все эти чудные места! — с огорчением кричал доктор. Один раз он окончательно потерял хладнокровие и умолял нас подъехать к берегу

— Зачем?

— Высадить этого черта на берег. Пошел вон!

Но Николай еще больше от этих упреков опьянел и поглупел. С выпученными глазами, с красным лицом, по которому пот крупными каплями катился вниз, он судорожно бил воду веслом и раскачивал лодку... Несколько раз ему предлагали сесть на одно из свободных мест, причем на его весло находилось несколько охотников, но он с пьяным упорством отказывался уступить свое место и продолжал немилосердно бороться с лодкой. Надо сказать, что он никогда не был в Святых горах, и когда выезжал из дома, то имел в высшей степени довольный вид, что, наконец, и он поклонится святым местам. И нужно же было случиться такому греху, что он за четыре версты от этих мест в лоск напился! Поэтому-то он и греб так немилосердно, отказываясь уступить свое место.

— Чай, я не был в святых местах!.. Охота поклониться! — бурчал он на брань и упреки.

— И для святых мест ты напился? — спрашивали у него со смехом.

Николай долго не мог найти себе оправдания и только глядел на всех выпученными глазами. Но, наконец, он нашелся.

— Пийду и поклонюсь... и буду молыть, шоб боже спас мене от горилки!.. А вин мене лае!

Раздался дружный смех, и сам хитрый хохол засмеялся. Этим он примирил с собой всех нас, и о нем скоро все позабыли.

И пора было. В возне с Николаем мы и не заметили, как лодка наша приблизилась к пристани у монастыря. Монастырь был уже весь перед нами. Через минуту лодка причалила, мы торопливо повыскакали из нее и гурьбой пошли осматривать Святогорскую пустынь. За нами шел Николай и всюду, с непокрытой головой, держа шапку под мышкой, крестился, кланялся и прикладывался.

Не стану описывать самую пустынь; есть прекрасные описания ее, например описание г. Немировича-Данченко, и фотографические снимки, продающиеся самим монастырем во многих местах России. Да я и не ставил себе в обязанность осматривать монастырь; меня интересовали только богомольцы, тысячами стекающиеся сюда со всех концов России.

Но тем не менее, под настоянием доктора, мы систематически обошли и осмотрели все, что полагалось обойти и осмотреть: гостеприимный двор, лавку, храмы, площади и паперти. Доктор был восторженным поклонником красоты этих мест и с увлечением показывал нам все оригинальное, чудесное и прекрасное, что́ только тут было. Когда нижние здания были обойдены нами, он повел нас вверх по ступеням, на ту меловую скалу, в которой наделаны пещеры и которая в целом представляет собою самый оригинальный и прекрасный храм, какой только могли создать природа и человек, соединив свои труды, свои творчество и силу.

Ступеней более пятисот. Подъем утомительный. Но по всему подъему, через короткие промежутки, наделаны площадки со скамейками для отдыха. Но, увлекаемые доктором, мы почти нигде не отдыхали и безостановочно, тяжело дыша, торопились вверх; только изредка, бросая взоры, смотрели через пролеты на все шире и шире раскрывающийся вид. Наконец, совершенно задыхаясь, мы взобрались на последнюю площадку, где прилепилась маленькая церковка. Держась за скалу, мы стали отдыхать. В то же время и взор отдыхал, — для него вдруг открывался необъятный простор. Широкое море леса, несколько сел и деревень, а внизу, глубоко под горой, зеленый Донец; даль покрыта была дымкой, и ближайшие места ярко блестели, залитые горячим солнцем. Мы долго не могли оторваться от ветхих перил, отделяющих гору от пропасти, на дне которой сосны казались плотной и низкою густиной.

Потом мы вошли в церковку. Там с десяток богомольцев, одетых в армяки и с котомками за плечами, усердно молились, кладя земные поклоны. На всех лицах было восторженное благоговение, и одна молоденькая женщина в лаптях и в пестром платке молилась и улыбалась, и в то же время слезы катились по ее жизнерадостному, молодому лицу...

Мы тихо удалились, не желая нарушать своей шумной толпой настроение молившихся. Да и как-то неловко, почти стыдно стало стоять среди этих людей, у которых чувство красоты природы неразрывно слилось здесь с чувством святости. Доктор был прав. Смотря на эту белую скалу, вырубленную самою природой и за десятки верст сверкающую на солнце, — скалу, высоко поднятую над этим морем леса, — простые люди говорят, что сам бог пожелал иметь здесь место свое...

На этот раз я не имел ни малейшего намерения ближе подойти к толпе богомольцев, тем более что и времени осталось немного: мы должны были вернуться к сумеркам в село, а солнце уже висело над верхушкой дальней горы, и сосны, ее покрывающие, уже горели в его золотой мгле.

Потолкавшись еще немного по другим монастырским уголкам, мы стали спускаться к берегу, где стояла наша лодка. Там уже

ждали нас гребцы, в том числе и Николай. Он выглядел трезвым. Лицо его было светло и разумно. Но доктор не мог ему простить, что за два часа перед тем он отравил ему все прекрасное.

Через день я был опять в пустыни и познакомился уже с настоящими паломниками.

III

Был жаркий полдень, когда я, перейдя мост с луговой стороны, стоял у самого подъема на Монастырскую гору. Захотелось отдохнуть, прежде чем бродить по Святогорской пустыни. Облокотившись на перила, я в изнеможении от зноя стал смотреть на воду вниз. Кругом царила благоговейная тишина. Монастырские здания и церкви, залитые солнцем, точно уснули от истомы. Лениво прошли мимо меня два монаха. По мосту проехала грузная телега, запряженная парой волов. Прошел еще на гору какой-то дачник, укрытый зонтиком. По набережной мостовой в разных местах кучками полегли богомольцы, свалив в одну груду свои котомки и посохи. Все молчало, подавленное жарой.

Только под мостом на берегу, прямо против того места, где я стоял, копошились какой-то старик и баба; копошились и вели между собой оживленный разговор. Судя по этому разговору и по костюму, оба они пришли из Курской губернии. В то время как я обратил на них внимание, они заняты были полосканием каких-то тряпиц, в которых с трудом можно было угадать их белье. Баба полоскала и выжимала, а старик развешивал на перекладинах моста. И все это сопровождалось обменом мыслей по поводу того, что́ каждый из них заметил чудесного на Святых горах.

— Наверху-то была ты? — спросил дед с веселым лицом.

— На шкале? Была, была!.. Только в пещеру не угодила... — отвечала баба оживленно.

— В пещеру-то, касатка, не отсюдова заходят, а снизу...

— Ой? Как же туда угодить-то? — сказала баба, вся встрепенувшись.

— Снизу. Монах проведет. Со свечами надо идтить. И как войдешь — темень, сырость, страх! И все поднимаешься выше, и все темень и страх, а кругом пещеры накопаны, — это, значит, в которых допрежь святые жили. И опять все вверх, и темень, холод! И дойдешь ты до той пещеры, коя выкопана руками Ивана святаго, и там увидишь вериги его, эдак, примерно сказать, с полпуда... Это уж высоко, на самом верху под шкалой...

— Родной ты мой, ведь я там не была! — почти с отчаянием вскричала баба и сорвалась с места, побросав тряпицы. — Побегу, ты уж тут сам помой! — торопливо выговорила баба.

Но дед, не возвышая голоса, с благожелательной улыбкой остановил ее:

— Погоди! Куда ты, глупая, побежишь? Ничего не знамши, как и когда, — куда ты сунешься? Два раза на дню только монах водит показывать, а ты одна для чего сунешься? Вот вечерня будет, пойдут люди с монахом, тогда и ты с ними... Давай домоем уж рубахи-то...

Говоря это, дед улыбался снисходительно и продолжал развешивать свои рубахи и порты. Все лицо его, окруженное седыми кудрями, светилось всецело этою снисходительностью и какой-то особенной радостью. Заметив меня стоящим наверху у перил, он с такою же светлой улыбкой обратился и ко мне:

— Вишь, господин, хурдишки свои моем... Уж какое это мытье, а в дороге, с устатку-то, оно все же чистенько...

— На богомолье пришли? — спросил я, пользуясь случаем завязать разговор.

— Господь сподобил побывать на святых местах. Слава богу, побыл тут денька три, помолился, поблагодарил, насмотрелся, и завтра утречком, на зорьке, с божьей помощью, домой... — ответил старик с веселым довольством.

— А это разве не твоя баба?

— Какое! На пути встрелись! Ну, она и говорит: «Возьми, говорит, дедушка, меня с собой, потому женскому сословию боязно в дальней дороге...» Так мы и шли досюда вместе...

— Да ты издалека?

— Из Курской губернии. Из-под Белостока. Чай, знаешь? Оно далеконько для моих старых ног, ну да, слава тебе господи, потрудился, идучи, для бога!..

— По обету пришел сюда? — спросил я, но светлый дед сначала не понял.

— Ну, уж какой тут обед! В трапезе дадут в чашку малость борща, ну, с хлебцем и похлебаешь...

— Я не то спрашиваю, дедушка... Я спрашиваю, отчего ты сюда пришел — по обещанию, вследствие болезни или несчастия?

Дед, поняв мои слова, вдруг даже привстал с берега, где он сидел.

— Что ты, что ты! У меня несчастие! Что ты, господин! Да разве я могу роптать на бога, гневить его! Никакого несчастия в дому у меня не было! Всю жисть хранил господь, помогал мне, достаток мне дал, снисходил к нашим грехам. Вот я и пришел потрудиться для него, поблагодарить за все милости... Дом у меня, господин, согласный, двое сыновьев, снохи, внуки и старуха еще жива. И все мы благодаря создателю сыты, спокойны и не знаем несчастия. Хранит нас господь! Примерно сказать, хлеб? — Есть. Или, например, мелкой скотины, овец,

свиней, птицы? — Очень довольно. Ежели, например, спросишь о лошадях. И я тебе скажу: четыре! Ежели ты спросишь у меня: «Есть, Митрофанов, пчелы у тебя?» Есть, скажу я, пеньков до сорока! Всем благословил господь! Вот я и надумал потрудиться для бога. Жисть наша, господин, грешная. Все норовишь для себя, все для себя, а для бога ничего. И зиму и лето все только и в мыслях у тебя, как бы денег побольше наколотить, да как бы другого чего нахватать. Лето придет, — ну, уж тут совсем озвереешь. Мечешься, как скотина какая голодная, с пара на сенокос, с сенокоса в лес, из лесу в поле на жнивье, и все рвешь, дерешь, хватаешь, да все нацапанное суешь в амбар, запихиваешь под клети, да под сараи, да в погреб!.. И все опосля это пойдет в брюхо да на свою шкуру. И, прямо тебе сказать, озвереешь и недосуг подумать, окромя сена или овса, или муки, ни о чем душевном или божеском... Вот я и надумал. Всю жисть хранил меня господь и всем благословил, и от бед соблюл меня... и, окромя того, стар уже я стал, к смерти дело подходит... вот я и говорю себе: «Будет, Митрофанов, брюху служить, пора послужить богу, потрудиться для него!..»

И на веселом лице деда, обвитом белыми кудрями, выразилось полное восхищение.

— Слава тебе господи, сподобил меня творец побывать у своих святых мест... Ну, уж и точно святые места! Стало быть, бог для себя это место приуладил, коли ежели так чудесно оно. Войдешь ли на эту шкалу, откуда глядит на тебя вся эта божья премудрость, а либо под землю, в пещеру сойдешь, в темень эту и холод, где святые живали в старые времена, или там со шкалы пойдешь еще выше на хутор...

— А это что такое, Митрофаныч, хутор?.. чего там такое? — с жадным любопытством спросила баба, перебив деда.

— Ай ты не была? А я побыл, сподобил меня бог... Стало быть, видишь ту вон церковь? Ну, это вот там и есть. Со шкалы ты лезь опять во-он туда! Там и будет хутор, служат там панафиды...

Но не успел дед хорошенько объяснить, куда надо лезть, как баба уже сорвалась с места и с отчаянием воскликнула:

— Касатик ты мой! ведь не была я там еще!.. Ох, грехи наши, побегу!

— Постой, постой, дура! Дай, я тебе хорошенько растолкую!

Но сгоравшая любопытством баба уже не послушала его на этот раз; она торопливо вскарабкалась с берега реки на мостовую, юркнула оттуда во вторые ворота и скрылась из наших глаз...

Дед добродушно засмеялся, и веселые глаза его вдруг закрылись целою сетью юмористических морщин.

— Вот они, господин, все такие, бабы-то эти!.. Придет во святые места, — ну, кажись, надо бы одуматься, позабыть всякие ихние пустяки, окромя... Так нет, она только из любопытства и суется тут. Пощупает полукафтанье у монаха, — из какой, мол, материи слажено... ежели бы ей дозволить, она бы всего монаха ощупала, в рот ей каши!.. А вот эта самая баба... не успели мы дойти до святых мест, не помолились еще хорошенько, а она уже сунулась на трапезный двор и зачала любопытствовать, лягай ее комары, из чего тут квас варят, сколько выдают борща от монастыря... То есть, самая это безбожная тварь, эта баба!..

Дед опять засмеялся и принялся свертывать высохшее белье, укладывая его в котомку. Немного еще поговорив с ним, я оставил его и отправился бродить по пустыни. Среди кучек богомольцев я опять встретил курскую бабу. Она уже слазила на «хутор», удовлетворив любопытство, и теперь стояла под шатром великолепных каштанов, которые небольшой группой раскинулись в углу двора. Дерево для бабы было незнакомо, и она долго дивилась на него. Потом сорвала несколько листьев с нижней ветки и торопливо спрятала их за пазуху.

Там, за пазухой, у нее были уже и другие святые вещи: нитка четок, большой кусок мела, вода в бутылочке, черный крестик со стеклышком, в который, ежели посмотреть, увидишь Святые горы. Все это она жадко нахватала и бережно понесет домой, в курскую деревню, где она тотчас, среди других баб, будет рассказывать, что видела и чего не видала... Пришла она в Святые горы по тому случаю, что у нее все родятся девчонки, а мальчика ни одного не родилось, за что муж ее укоряет беспрестанно; она все средства перепробовала, и все ни к чему. Наконец какая-то странница посоветовала ей сходить в Киев или на Святые горы, и она, с согласия мужика, пошла...

Но тут жадное любопытство деревенской бабы, которая ничего никогда не видала, но все хочет посмотреть, взяло верх над всем; она совалась с беспокойным любопытством по всем углам и всюду глазела, щупала, узнавала, выпытывала, забывая святость места; она забыла даже ту специальную цель, ради которой пришла, — вымолить себе рождение мальчиков. Когда я через час сидел на скамейке под густой аллеей, ведущей в скит, она также там очутилась. Подойдя к воротам, всегда запертым, за исключением четырех дней в году, и охраняемым ангелами и суровыми святыми, она с недоумением приложилась к ликам. Потом обратилась ко мне с вопросом:

— А туда не пущают?

— Нет.

— Ишь ты! — недовольно выговорила она и все-таки старалась просунуть голову сквозь решетку, чтобы хоть чуть-чуть,

одним глазком, поглядеть, что́ делается там, за запертыми воротами, в этом таинственном полумраке.

Из скита назад в монастырь мы шли вместе с ней и беседовали; тут-то она и сказала мне, откуда она и зачем пришла. Когда она оставила меня у ворот гостиного двора, я старался угадать, что она будет рассказывать по приходе домой. А что рассказывать там она будет много и с засосом — в этом я не сомневался, потому что и раньше встречал баб, побывавших в Киеве или в другом «святом месте». Обыкновенно в словах их нет вранья, но зато все так преувеличено, что никто, ни даже она сама, не поймет, что она видела и чего прилгнула. Так же будет разговаривать и курская баба. Теперь вот суется она по укромным уголкам святых мест и собирает материал в виде вещественных предметов и в виде невещественных картин; а когда придет домой и ее окружат соседки, она употребит в дело все, что набрано в пустыни. Листья с каштанов, воду с Донца, мел с донецких гор она по крохотным кусочкам будет раздавать тем, кто болеет лихорадкой, горячкой или с глазу, кто попорчен и кому надо излечиться от неизлечимой болезни. А кроме того, станет рассказывать, что видела и слышала. «Спустилась я, — скажет примерно, — в подземную пещеру и пошла в темени и холоде... Свечи горят, и ладаном пахнет, и со стен глядят лики столь жутко, что сердце замирает... И в каждой пещере вериги в три пуда весу...» Очень много и долго будет рассказывать и в течение по крайней мере года сделается героиней всех баб деревни, которые, подперев щеки рукой и раскачивая головой в полном сознании своего греха, неустанно будут слушать ее.

В последний раз я видел ее на гостеприимном дворе; она заглянула в дверь пекарни, а потом и совсем скрылась там. От души пожелав ей, чтобы она побольше набрала для своей скучно-каторжной жизни материала, я окончательно потерял ее из вида и стал бродить среди двора.

Весь двор был полон народа, который кучами толкался по разным направлениям, а многие лежали на земле и отдыхали. Тут же стояли телеги и привязанные к ним лошади. Было время обеда. Монастырь кормил в это время своих богомольцев. В столовой накрыты были длинные столы с деревянными чашками и ложками. Но так как места для всех было мало, то впускали партиями; впустят одну партию к столу и дверь запирают, а перед запертой дверью уже стоит и дожидается еды другая партия, сбившаяся в плотную массу. Тем же, которые почему-либо не захотели пообедать в столовой, просто наливали в чашки борща, давали хлеб и ложки, и они разбредались по двору, садились наземь и хлебали. Над двором висел сплошной говор, как на базаре; как на базаре же, лица у всех казались суетными и мелкими. Это всегдашнее настроение толпы... Отдельный

человек способен быстро идеально настроить себя; толпа всегда криклива, суетна и прозаична, и только страшная катастрофа может привести ее в идеальное настроение.

Потолкавшись еще немного среди этой будничной толпы, я вдруг почувствовал страшную усталость и немедленно пошел по направлению к выходу. Когда я проходил по мосту, глаза мои невольно обратились вниз, на тот угол берега, где я познакомился с курским дедом. Дед, очевидно, совсем собрался в дорогу. Подложив увязанную котомку под голову, он спокойно спал под тенью моста. На лице его, полузакрытом теперь белыми кудрями, мне показалась та же светлая радость, какая блестела часа два тому назад, когда он пояснял мне, зачем он пришел в святые места.

Да и как ему не радоваться! Он много потрудился на своем веку, без устали и со страшною жадностью добивался мужицкого благополучия. И добился: нажил хлеба, скота, пчел и согласную семью. Все это он добыл с неимоверным трудом и был доволен. И теперь ему удалось исполнить последний долг, лежащий на нем как на крестьянине: прийти собственными ногами к святым местам и здесь, на особо избранном месте, поблагодарить господа бога за все то благополучие, какое ему было дано... Исполнив последний свой долг, он на зорьке завтра отправится обратно доживать уже недолгий, но покойный век свой...

Я должен был торопиться домой, хотя от сильной усталости ноги мои с трудом повиновались. В воздухе было такое удушье, что, казалось, вот-вот задохнешься. По небу плыли незаметно белые облака, а на востоке, из-за той горы, где стоял монастырь, медленно ползла темная туча, скоро завалившая своей массой половину горизонта. Ожидалась, видимо, гроза... А пока царила мертвая тишина; сосны на горе неподвижно застыли; вода в реке отливала свинцовым блеском. Спасаясь от дождя, я торопился, как мог, и пришел в деревню в полнейшем изнеможении; хотя пришел вовремя, потому что в скором времени рванулась гроза. Налетел вдруг ветер, застонали горные сосны, с гулом зашумели дубы луговой стороны, и затрещал крупный дождь. Наконец дождь полил, среди грома и молнии, такой сплошной, что все вдруг — и горы, и леса, и монастырь — скрылись из глаз до следующего утра.

IV

Однажды я пешком пошел в Святые горы по луговой стороне. Луга еще не были скошены, накануне выпал сильный дождь, солнце еще не сильно жгло, воздух, всегда здесь чистый, был в это утро влажно-ароматичным, и четыре версты, предстоящие мне, я надеялся пройти с величайшим наслаждением. Дорога

бежит то по ровному лугу, усеянному цветами, то забегает в лес и, извиваясь между стволов под тенью густой листвы, вдруг снова выбегает на открытый луг и глубоко зарывается в траву, едва заметная для глаза. Идешь по ней и ничего не видишь, кроме того, что она хочет показать... Вот уже скрылось село, из которого я вышел; не видно больше лесистых гор с их белыми скалами, выглядывающими, как привидения, из-за сосен: скрылся Донец; сами Святые горы пропали из виду. Извивающаяся между деревьями тропинка не хочет показывать ничего, кроме столетних дубов и высокой травы, как бы желая, чтобы все внимание сосредоточилось на этих столетних дубах и на этом густом, сочном луге. И внимание действительно сосредоточивается; это особенный уголок, которого нигде больше не встретишь; едва сюда попадаешь, как сразу видишь себя среди какой-то кипучей и веселой жизни, где поют на сотни голосов, лепечут, болтают, жужжат, хохочут лесные обитатели всех видов; под этими густыми зелеными шатрами происходит сплошной бал, дается гигантский концерт, играющий свадебный марш.

Но это было в мае. А теперь был конец июня. Тропинка вела меня все дальше и дальше, а майского торжества я не слыхал. Даже приблизительно не было ничего подобного тому, что́ здесь я слышал в мае. Лес умолк, луга бесшумно волновались от легкого ветерка; они были те же, что вчера, но я с трудом узнавал веселый уголок... В нем именно веселья-то и не было. Бал кончился, певцы смолкли, сыграна свадьба, поэзия любви заменилась прозой... Жена, дети, кормление и воспитание, забота ради куска хлеба, карьера — вот за что принялся шумный лесной уголок... Каждая птичья пара, приобревшая детей, озабоченно шныряет по всем направлениям, разыскивает корм, хватает добычу и торопливо тащит ее в гнездо, где ждут разинутые рты. Где-то слышится писк — это дети зовут; где-то воркуют лесные голуби, но в их голосе слышится утомление и недосуг. Прокричал в глухой чаще копчик, но тотчас же и смолк, занятый высматриванием добычи. Насекомые умолкли; кое-где под цветком еще вьется одинокая бабочка, но часы ее уже сосчитаны, — к вечеру, быть может, она умрет, оставив под листом свое потомство. А это потомство, в виде личинок и куколок, уже совсем безгласно; оно безмолвно и с хищной жадностью пожирает листы, вгрызается в древесную кору, истребляет корни, пьет кровь и ест тело животных. Еще вчера здесь был шумный пир, а сегодня здесь только хлопоты, работа, борьба на жизнь и смерть, взаимное истребление, кровавое побоище, и все это совершается в зловещем безмолвии. Я сидел некоторое время в тени и прислушивался, но только изредка из отдаленных углов до меня доносились какие-то звуки. Лес замолк; вместо веселого пира пришла страда.

То же самое меня ждало и в Святых горах. Когда тропинка, нырнув еще раз между несколькими дубами, вдруг поставила меня на широком лугу, прямо перед монастырем, последний тотчас же показался мне каким-то будничным и скучным, а лишь только я перешел мост, как сразу меня охватило чувство житейской суеты. Слышался стук топоров, визг пилы, грохот от свалившихся дров, скрип телег; в одном месте плотники и каменщики строят какое-то здание; тут же рядом с ними выгружают с барж дрова и складывают их перед самым монастырем в длинные стены, загораживающие вид; а по набережной мостовой в ту и другую сторону тянутся пары волов, запряженные в грузные телеги, на которых везутся в монастырь доски, кули с углями, зачем-то песок, мешки с мукой, какие-то тюки, зашитые в рогожи. Это все монастырь хлопочет, пользуясь отсутствием богомольцев, хлопочет, как хороший и запасливый хозяин. Как большинство наших знаменитых монастырей, Святая гора является крупным промышленным предприятием, ведущим широкое хозяйство и делающим огромные денежные обороты; а так как предприятие это исключительно сельскохозяйственное, то летнее время для него самое рабочее и страдное. Запас дров, сенокос, жатва, расплата с рабочими, расчет с арендаторами на его обширных землях, забота о стадах скота, запасе плодов, овощей и хлеба — все это превращает монастырь в крупное имение на время летних месяцев. И вот я попал в один из таких дней, когда святое место узнать нельзя, — не слышно красного звона, не видать монахов, опустели церкви, не раздается в них служба, а вместо всего этого отовсюду слышится шум кипучей летней работы.

Богомольцев не было. Гостеприимный двор был совершенно пуст; двери в столовые, пекарни и квасоварни заперты; солнце жгучими лучами заливает все это вымершее, пустынное место. А еще недавно тут кишели сотни богомольцев, ранней же весной здесь перебывают десятки и сотни тысяч. В нынешнем году в среду, на страстной неделе, одних исповедников было семнадцать тысяч, а в день успения, 15 августа, толпы народа сплошной массой двигаются на протяжении нескольких верст.

А теперь настала страда, и святое место опустело. Некогда думать о боге, о душе, о совести. Хорошо еще, выдался урожайный год, а если бог послал наказание, поразив поля солнечным огнем, тогда прощай все идеальные мужицкие стремления! Я только в этот день понял всю глубину слов веселого старика, который пришел в Святые горы поблагодарить господа бога за свое благополучие. До сих пор ему некогда было отдаться богу; он всецело поглощен был судорожным вырыванием хлеба из земли, судорожной уплатой податей, судорожным воспитанием детей, и вся его душа всю жизнь была наполнена мыслями

о хлебе, об овчинах и холстах, о лаптях и повинностях, о сене и о скоте... И вот только под конец судорожной и суетной жизни своей ему удалось вырваться из дома и явиться в то святое место, которое одно может удовлетворить его идеальные потребности.

Что это место идеально и единственно — в этом не может быть сомнения. Нет у крестьянина другого места, где он мог бы удовлетворить требования души, где успокоилась бы его совесть и где он мог бы бескорыстно послужить богу. Везде его преследует нужда, немощь, ожидание голода, обида и суета, и только здесь ему удается воспользоваться досугом и наполнить этот досуг мыслями о боге, о душе, о правде и совести... При этом он не смешивает это святое место с теми людьми, которые владеют им и физически представляют его; к последним часто он относится с полным отрицанием, хотя и снисходительно. Идет он не к монахам, а к святым местам, которые созданы богом так прекрасно затем, чтобы люди могли хоть раз в жизни забыть мелкую, грешную сутолоку насчет сена, податей, овса и овчин и хотя раз в жизни в этом чудесном месте вспомнить о подавленной стороне человека, о разбитых желаниях идеала...

Обойдя все пустые дворы, я поднялся по лестнице главного собора и присел на одной из ступенек под тенью портика. Внизу, на траве под акациями, спали две старухи-богомолки, и больше вокруг никого не было. Эти две старухи — единственные богомольцы, которых сегодня я встретил. Но, посидев с полчаса, я вдруг заметил под аркой другой церкви еще какого-то богомольца. Издали я не мог заметить его лица. Видно было только, что он одет в белую рубаху, в такие же штаны и без шапки; сзади виднелась тяжелая котомка, с которой он и молился перед иконами, украшавшими все своды арки. Помолившись там, он вышел из-под свода и остановился в задумчивости на дворе... Тут я уже хорошо разглядел его странную, ни на что́ не похожую фигуру. Голова его была наголо выбрита, и черные волосы на ней торчали выщипанною сапожною щеткой; самая голова казалась большою и круглою; лицо выглядело черным и с необыкновенною печатью задумчивости. Но всего резче выделялись глаза, черные, круглые и большие; они смотрели неопределенно, но с большою силой и блеском.

Стоял он неподвижно на дворе минут пять, о чем-то, казалось, раздумывая, и потом твердо пошел ко мне, поднялся по ступенькам лестницы, где я сидел, и вошел в открытые двери храма. Там в это время несколько послушников длинными метлами сметали пыль, которая густо носилась по церкви и целыми тучами вырывалась из дверей на чистый воздух. Но богомолец не обратил внимания ни на послушников с метлами в руках, ни на поднятую ими пыль. Он твердо пошел в храм, остановился

перед иконой спасителя, оправил руками рубашку, передернул плечами котомку и стал молиться. И молился он так странно, как я никогда не видал...

Прежде всего своими большими, круглыми глазами он впился в глаза Христа и с минуту так стоял, совершенно неподвижный, и только после этого медленно перекрестился. Затем лицо его вдруг воодушевилось какою-то мыслью или целым рядом мыслей и чувств, и он громко заговорил молитву, представлявшую смесь своего собственного изобретения с церковными текстами. При этом, пожирая своими широкими глазами глаза Христа, он прикладывал руки к сердцу или поднимал их вверх, как делает священник во время «херувимской». И долго он так молился, пожирая глазами Христа и громко разговаривая с ним.

Когда он кончил и вышел на лестницу, где я сидел, задумчивость опять, казалось, охватила его всего, и он неподвижно остановился на месте.

— Откуда ты? — вдруг спросил я его.

Он, видимо, не ожидал этого вопроса и вздрогнул. Но все-таки ответил:

— Я? Издалека... Армавир — вот откуда. Армавир слыхал?

— Как же, слыхал... Так ты оттуда? Как же ты, такой молодой, бросил работу и пошел сюда?

— Работу? От работы бог меня отвергнул... Больной я.

— Какая же у тебя болезнь?

— Падучая. Не гожусь в работу, бог меня к себе призывает, вот я и пошел. С детства я все читал книги, и господь берет меня к себе. Значит, не гожусь я к работе, а гожусь только, чтобы молиться за всех... Там брат у меня живет, и я с ним жил, но он не неволил меня к работе, потому я на жнивье не однова падал, и меня било об землю... Вот он и говорит мне: «Не неволь, брат, себя, говорит...» Он женить меня хотел нынче, и девушка была, но это дело не вышло. Мы пошли однова к реке, а я зараз пал, и меня зачало бить об землю... Вот я и говорю девушке: «Не жених я тебе, говорю, не гожусь я в мужья». Плачет!.. Но как же мне-то жить? Пришел я к брату и стал просить его: «Пусти меня, братец, к святым местам... сам видишь, не гожусь я и в мужья». Он отпустил. «Ступай, говорит, Егор (Егором, слышь, меня зовут), все одно — дома ты ни к чему, а там, по крайности, помолишься и за нас, потому нам некогда и помолиться-то хорошенько... Ступай, говорит, ты теперь все одно как птица божья: ни тебе жать, ни тебе косить, ни думать о податях неспособно... Бог с тобой, иди!» Вот я и пошел...

— А отсюда домой пойдешь?

— Нет, в Кеев, там помолюсь...

— А из Киева куда?

— Куда бог пошлет... Я с людьми все, куда люди — туда

и я. Одному боязно. Вот те женщины спят — так это я с ними завтра в Кеев пойду... Добрых людей много, один не останусь.

Сказав это, он снова задумался, погладил свою бритую голову и стал спускаться с паперти на двор. Там через минуту он уже лежал на траве, поодаль от богомолок, свернувшись калачиком.

Этот странный человек был последним живым впечатлением, оставленным мне Святыми горами.

Я был там еще несколько раз, но уже монастырь совсем затих. На все время страды горы обращаются в обыкновенное дачное и увеселительное место; культурные господа, турнюрные барыни, скучающие землевладельцы, тощие чиновники, толстые купцы— все это часто толпами кишит в этих чудных местах, любуется видами, вырезывает свои темные имена на скалах обители, пьет, ест, купается и катается на лодках по Донцу, а богомольца нет. Разве попадутся специалистки-странницы, да мелькнет изредка больной человек вроде упомянутого выше Егора, которого бьет о землю и который не годится ни в работники, ни в солдаты, ни в мужья. А настоящий, коренной богомолец теперь разбрелся по Ивановкам и Степановкам и отправляет свою страду. «Теперь идет больше купец да господин, а черный народ повалит сюда с успения», — сказал мне однажды лодочник, состоявший при Святых горах.

Но едва ли в нынешнем году богомолец повалит сюда; едва ли у него найдется нынче достаточно времени и душевного покоя, чтобы помолиться в святых местах.

Когда Святые горы совсем опустели, превратившись в самое шаблонное дачное увеселение, я перестал туда ходить и отправился на рудники и копи.

V

Опять степь. Едва белые скалы Донца, скученные около Святых гор, скрываются из вида, как со всех сторон снова тянется выжженная солнцем, безлесная, безводная, изрытая морщинами равнина. В дождливый год здесь, вероятно, волнуются хлебные поля и своими красивыми переливами смягчают безотрадность степной полосы; но ныне, после некоторых надежд, и хлебов нет: поправившиеся было от майских ливней, в июне они сгорели от солнца, скрючившись от горячих ветров. В конце июня было уже ясно, что все погибло. Жары стояли такие, что по дорогам падали волы, а рабочие на полях замертво увозились по домам, поражаемые солнечным ударом.

В такое-то страшное время я и выехал в первый раз на донецкие копи. Последние начинают мелькать уже по Курско-Харько-

во-Азовской дороге. Из окон вагона, по ту и другую сторону рельсов, в разных направлениях возвышаются черные, курящиеся массы, — это и есть шахты и копи. Видишь странную картину: кругом нет ни гор, ни других каких-нибудь признаков горнозаводской страны, — все та же кругом степь, безлюдная, безлесная, изрытая сухими балками, — между тем по обеим сторонам дороги курятся шахты; где же так называемый Донецкий бассейн, донецкая горная цепь? Да ее совсем не существует; обычное представление о горном массиве здесь надо отбросить. Горы в Донецком бассейне существуют только по самому Донцу, именно по правому его берегу, сопровождая реку в виде меловых скал и возвышений на десятки верст. Дальше же за этим крутым берегом они как будто скрываются под землю, куда и надо углубиться, чтобы отыскать их богатства. Там, под землей, они образуют массивные толщи кварцита, известняка и песчаника, заключающих в себе железо, ртуть и другие минералы; там же, под землей, тянутся и слои каменного угля и каменной соли. На поверхности же ничего не видно; вокруг все та же бесконечная степь, изрезанная в разных направлениях сухими балками и такими же возвышениями, нисколько не напоминающими собой горной цепи. Всюду тянутся бурые, выжженные пространства, желтые хлебные поля и зеленые луга, боязливо приютившиеся по крошечным степным речонкам. Надо много воображения или знания местных условий, чтобы увидеть на этой гладкой поверхности горы горнозаводскую деятельность, копи и горные заводы...

Прежде всего я посетил Никитовский ртутный рудник. И первый мой вопрос, лишь только поезд высадил нас на станции Никитовке, был — где же тут рудник? — потому что кругом ничего не было видно, кроме хлебных полей, сухих выгонов и степных залежей, да нескольких сел (в их числе виднелась и Никитовка), попрятавшихся в углублениях широких, безводных оврагов. Но скоро мое любопытство было удовлетворено. Едва нанятый нами старик-крестьянин из Никитовки провез нас с полверсты, как показались здания знаменитого рудника, дымящего всеми своими трубами; а кругом по степи виднелись каменноугольные шахты, между прочим, и Горловка. По мере того как лошадь наша бежала вперед, ртутный рудник все более и более вырисовывался, а через несколько минут мы уже были возле главной конторы.

Стоит он в версте с небольшим от станции, на совершенно ровном и по сравнению с окрестностями низком месте. Благодаря такому характеру местности ртутный завод можно было поставить непосредственно возле самого рудника, что не часто случается в горной промышленности. Посредине всего завода возвышается большое здание (из дикого камня), в котором

поставлены паровые котлы и подъемная машина; в центре этого-то здания и находится рудник. Получив разрешение управляющего, в сопровождении штегера мы подошли к его отверстию, ступили на площадку подъемной машины и через минуту, после данного сигнала, понеслись куда-то вниз, среди абсолютного мрака, сразу охваченные сырым, затхлым холодом, и не успели хорошенько опомниться, как уже стояли на дне главной галереи, по которой там и сям мелькали огоньки. Нам также дали по лампочке в руки, и мы отправились по этой галерее. Всюду мелькали огоньки, где-то раздавались удары, слышался грохот бросаемой руды; в воздухе было сыро и смрадно. Сыростью несло, конечно, от мокрых каменных стен; смрад же происходил от масляных лампочек, с которыми работали рабочие и образчики которых были у нас в руках.

Шли мы возле самой стены, пробираясь по глыбам щебня, на каждом шагу спотыкаясь, потому что посередине узкой галереи проложены рельсы, по которым мимо нас то и дело катились вагончики, нагруженные доверху породой. Иногда нас останавливали в тот момент, когда мы проходили под отверстием, пробитым из верхней галереи на нашу, и когда оттуда сыпали с грохотом щебень породы в стоящий около нас вагончик. Рабочих, сыпавших этот щебень сверху и стоявших около вагончика, также останавливали, все прекращали на мгновение работу, но лишь только мы проходили, как за нами слышался снова грохот падающих камней или лязг вагончика, который покатили рабочие.

Пробираясь все вперед, мы по дороге завертывали в боковые ходы и забои. Всюду кипела работа: в одном месте рабочие тяжелыми кирками долбили стены, в другом происходило сверление отверстий, куда вкладывается заряд динамита и рвет массивную толщу; добытый щебень рабочие лопатами бросали в вагончики и катили их по рельсам до отверстия рудника, где их поднимали машины вверх.

Из главной галереи мы прошли в другую, параллельную ей. Там опять заходили во все темные закоулки, поднимались вверх, на верхнюю параллельную галерею, и намерены были по лестнице спуститься еще ниже, на глубину тридцати трех сажен, но сопровождавший нас штегер отсоветовал, так как в самом низу много воды. Всего пути под землей мы прошли не более трехсот сажен, но я так наломал себе ноги об камни, так тяжело дышал в смрадной атмосфере и в общем так физически и душевно устал от всей этой тяжелой, необычной обстановки, что был очень рад, когда по другому ходу мы пошли обратно к выходу. По дороге доктор, неизменный мой спутник, несколько раз останавливался перед тем или другим рабочим, бесцеремонно и молча раскрывал пальцами ему рот и, пощупав десны и зубы его, шел дальше.

Я, разумеется, раньше знал о ртутном отравлении, но не представлял себе ясно размеров его. С этим я познакомился не здесь, в глубине рудника, а наверху, на самом заводе.

Вступив опять на площадку, мы через минуту снова были наверху, при блеске солнечного света, который на мгновение болезненно резал глаза. Отсюда нас повел другой служащий осматривать завод. Пропуская разные технические подробности, я скажу лишь только в общих чертах о тех мытарствах, которым подвергается руда, прежде нежели из нее получится ртуть. Когда подъемная машина поднимает нагруженный вагончик на верх рудника, здесь его берут другие рабочие и катят на завод, отстоящий от шахты в десяти-пятнадцати саженях и соединенный с нею открытой галерееей, по которой проложены рельсы. Затем вагончик поступает в сортировочное отделение, где бабы и мальчики сортируют породу: пустую породу отбрасывают, содержащую ртуть складывают в желоба; в то же время недалеко от сортировочного места стоит дробильная машина, в которую то и дело лопатами насыпали руду: мелкий щебень высыпают в одну пасть машины, крупные камни швыряют в другую пасть, более широкую, и обе эти пасти беспрерывно чавкают, грызут и пережевывают эту кварцевую пищу, отчего во всем отделении раздается беспрерывный грохот, лязганье и хрустенье. Вслед за тем пережеванная таким путем порода поступает в другое отделение, в плавильное. Но на заводе есть несколько систем плавильных печей. При одной системе, менее опасной, изобретенной недавно одним из служащих, нагруженный рудой вагончик механически высыпается в жерло: подходя к печи, он надавливает сам пружину, — массивная крышка печи поднимается, вагончик опрокидывается, высыпает свое содержимое, и крышка снова захлопывается. По другой, первобытной системе, рабочие просто лопатами высыпают руду в открытое жерло, устроенное наподобие воронки, отчего беспрерывно вдыхают в себя страшную атмосферу... Наконец, после поступления породы в печи (а в этих печах настоящий ад) вместе с коксом, ртуть испаряется, переходит в виде паров в холодильники, — и дело окончено.

По всему этому отделению, где печи, поистине страшная атмосфера; в раскаленном воздухе носятся пары ртути, мышьяка, сурьмы и серы. Все это вдыхается рабочим. Доктор снова начал раскрывать рты, щупал десны, шатал зубы и приказывал горизонтально вытягивать руки. Здесь только я убедился в широких размерах болезни. Правда, некоторые рабочие служат по целым годам, но это какое-то невероятное исключение. Большинство и года не выдерживают, а некоторые могут остаться при работе только неделю, две, месяц. Насыщенная ядами атмосфера быстро производит действие: появляется красная полоса на деснах,

зубы шатаются и выпадают, челюсть отвисает, руки и ноги начинают дрожать. Заболев таким образом, рабочий часто через неделю просится в отпуск. При нас подошел к водившему нас служащему какой-то другой служащий и стал проситься отпустить его.

Мы проходили по заводу несколько часов; внимание так утомилось, что я запросился вон с завода. Мы вышли. Там и сям вокруг заводских зданий построены длинные мазанки, сколоченные из камня, выброшенного рудником, и глины, — это казармы для рабочих. В одной из них мы просидели с полчаса, но ничего любопытного не нашли, так как час был рабочий, и все население толпилось вокруг плавильных печей, в рудниках, на дворах. Да и трудно было в несколько часов расспросить о житье-бытье, тем более что заводское население представляет собою страшный сброд, сошедшийся сюда из отдаленных губерний — Рязанской, Орловской, Воронежской, Курской, не говоря уже о Харьковской и Екатеринославской, да и это сбродное население беспрерывно меняется: одни уходят, заболев ртутным отравлением, другие приходят попытать счастия.

Оставив казарму, мы отыскали нашего старого возницу на выгоне, сели на его самодельный экипаж, похожий на грабли, брошенные зубьями вверх, и отправились обратно на станцию. И опять та же картина: бесконечная степь, хлеба, села с белыми церквами. А только что осмотренный нами завод, едва мы повернулись к нему спиной, стал представляться какой-то мечтой, бредом больной фантазии, — так мало напоминала вся окружающая страна о какой бы то ни было горной промышленности.

Сразу, едва очутившись на экипаже-граблях, мы почувствовали себя в первобытной степи, среди коренных земледельцев, на диком раздолье сухих выгонов и балок. Старик наш еще более усилил наше впечатление, рассказав нам про свои чисто крестьянские дела. Говорил он и не только на вопросы наши, но и от себя, на свои собственные вопросы. Так, он рассказал нам, что у него пять сыновей, что двое из них с ним живут и уважают его, что, кроме того, с ним же живет и солдатка, забеременевшая не от солдата, и что осенью придет солдат, но ему не позволят бить жену, потому с кем грех не бывает. Кроме того, старик с гордостью прибавил, что, несмотря на свою старость, он все-таки робит, зашибая копейку, а копейку тратит не на себя, как он имел бы право, а на всех; поедет в Бахмут, купит бубликов или калачей и разделит всем.

— Сколько же тебе лет? — спросил доктор.

— А я не знаю, — равнодушно возразил дед. — Неужели же помнить-то (дед при этом добавил несколько энергичных фраз). Года как вода, — сколько утекло, того не пересчитаешь!

— Ну, а примерно все-таки? — приставал доктор.

— Да «черный год» помню. Никак годов семнадцать в ту пору было мне...

«Черный год», памятный по своим последствиям, как самый страшный из всех голодных годов, был 1833 год. Здешние жители передают о нем ужасные вещи, разумеется, по преданию; старики с него ведут летосчисление.

— Это тебе, значит, лет семьдесят с хвостиком?

— Надо полагать...

— Ну, что́ же тогда было, в черный-то год?

— А чего же еще?.. Травы сгорели, хлеба сгорели, земля почернела, листья по лесам что есть опали, скот дох, люди остались живы.

— Чем же кормились-то?

— Чем ни то кормились. Кору с дубьев лупили, отруби мешали, мякину толкли, — чем же больше-то? Назем не станешь есть.

— Ну, а нынче как? Как бы не был опять черный год? — спросил доктор.

— Нынче что! Вон горловцы углем кормятся, что им? Лишь бы уголь был.

— А вы чем кормитесь, ртутью?

— Нет, со ртути много не возьмешь. Наши никитовцы также больше углем живут. И другие прочие без хлеба могут проболтаться... Тут теперь везде пошел металл, железо ли, соль ли, другая ли какая руда, все из-под земли... ну, и питаются!

— Ну, а вы также, говоришь, углем?

— Все больше углем.

— А ртутный-то рудник разве мало дает вам?

Надо заметить, что Никитовский ртутный рудник стоит на крестьянской земле. Владельцы его платят никитовцам ежегодную аренду, что-то около двух тысяч рублей. Но владельцы предлагают продать им землю под рудником в полную собственность. Однако и аренда и предполагаемая покупка основываются больше на водке да на карманах мироедов. Общая же масса никитовцев только хлопает глазами.

— Чего он дает-то? Черта лысого он дает, — выговорил равнодушно старик.

— Объехали вас?

— Объехали.

— На сколько лет?

— Да никак лет на двадцать. Ну, да теперича и мы хотим принажать!

— Хотите все-таки?

— А то как же!

— Думаете объехать?

— Сделай одолжение!

— Объедете?

— Будьте покойны! Будет задарма-то копать, попользовались, а уж теперь мы попользуемся. Тут ведь дело-то миллионное!

Говоря это, старик как будто на кого-то рассердился и как будто дал слово, вместе с прочими никитовцами, твердо вступиться за свои права на ртутный рудник.

— Это было бы хорошо для вас. А все-таки я думаю, — вдруг иронически сказал доктор, — что и опять вас объедут!

Старик вопросительно посмотрел на нас обоих и заметил рассеянно:

— А что ты думаешь, ведь и впрямь объедут, сделай одолжение! Отличнейшим манером объедут!

— И вы будете смотреть? — спросил доктор.

— А чего же? Да как же с ними совладаешь-то? Да нас можно очень просто водкой накачать, а мироедов задарить, и тогда из нас, пьяных истуканов, хошь веревки вей... Да ну их!.. Грех один промеж нас идет из-за этого самого рудника!.. Ну их!..

Старик при этом добродушно выругался. А на наш смех он повторил:

— Да право! Что нам с ними тягаться-то! Силы у нас мало, то есть совсем силы супротив их у нас нету! Самый мы мякинный народ, ежели касательно, чтобы права свои отыскивать, то есть вот какие мы гороховые людишки насчет этого рудника!.. Ну их!..

Старик начал было рассказывать историю открытия и разработки рудника, но в это время мы были уже возле станции, и нам предстояло через несколько минут уехать из Никитовки.

На следующий раз мне предстояло познакомиться с Брянцевскими соляными копями и с Деконовскими каменноугольными копями, но почему-то я решил прежде всего поехать на крестьянскую угольную разработку, производимую самими мужиками на свой страх и счет. Должно быть, это мое решение явилось незаметно, благодаря словам старика, что народ здесь больше всего на счет металла болтается, — одни кормятся углем, другие солью, третьи ртутью...

Пища эта не зависит от урожая, но какой ценой она достается — это еще мне предстояло узнать.

VI

Если я не попал в Лисичанск или в Нелеповку, или в другое какое место, где существуют крестьянские шахты, а приехал в Щербиновку, находящуюся близ станции Петровской, то это совершенная случайность, — случайная встреча с человеком,

который посоветовал мне ехать именно в Щербиновку... Но я потом был благодарен этой случайности, так как попал в самое типичное место, в самое каменноугольное гнездо, со всеми его оригинальными особенностями, и мог узнать то, чего я не узнал бы ни в Лисичанске, ни в другом каком-либо месте.

Было позднее утро, когда я приехал на станцию Петровскую Донецкой дороги. Несколько минут я колебался, что́ мне делать: идти ли пешком до Щербиновки, или поискать лошади, и где остановиться — у русского или у еврея, у скупщика или у крестьянина. Когда я накануне перед тем наводил справки, мне не советовали ни в коем случае (боже вас сохрани!) объявлять своей профессии и цели приезда. «Иначе вам ничего не покажут, и вы ничего не узнаете». Советовали лучше всего явиться не в своем виде, например в виде покупателя угля или агента, но, главным образом, настаивали на том, чтобы я не имел дел прямо с мужиками, а отыскал жида... Жид в таких случаях незаменим; он все знает, все может показать и рассказать, всем услужить и сделать вообще то, чего никто не в силах сделать... без жида не обойдешься! И я уже внутренно почти согласился поступить сообразно с советами опытных людей.

Но теперь на станции никого не было, не только жида, но и самого немудрящего жиденка. Пришлось обходиться своими средствами. С твердым намерением отыскать жида я отправился, с подушкой и пледом в руках, по дороге в Щербиновку; предстояло идти версты две. Солнце уже немилосердно жарило; раскаленный воздух стоял неподвижно над голой степью, которая широко раскинулась перед глазами, лишь только я вышел со станции; а на мою беду, в эти дни я заболел приступами своей мучительной болезни. Но делать было нечего, пришлось идти. Немного пройдя, я вышел на пригорок, а отсюда передо мной сразу развернулась широкая впадина, в которой и залегло громадное село; засверкали на солнце разнообразные крыши домов — железные, соломенные, черепичные, и сразу, не входя в село, можно было определить, где живет простой мужик, где скупщик, где русский и где немец; нельзя было только заранее определить, в каком доме засел жид-скупщик, а в каком — русский скупщик; да это, пожалуй, и вблизи трудно распознать...

После довольно тяжелых усилий я, наконец, добрался до села́, спустился в первую попавшуюся улицу и пошел посредине ее, в полном недоумении, куда зайти. Но тут-то в первый и в последний раз мне и сослужил службу жид. Идя по улице, населенной вперемежку мужиками и евреями, я оглядывался по сторонам, как вдруг слышу сзади меня голос:

— Господин, господин! Позвольте! Остановитесь, пожалуйста!

Я остановился и оглянулся. В мою сторону спешил одетый в брюки и жилет еврей и махал правой рукой, а левой рукой он придерживал щеку.

— Извините, господин, — говорил с сильным жидовским акцентом догнавший меня, — у меня зубы болят.

— Ну так что же? — ответил я, ничего не понимая.

— Да я увидал, что вы идете, и думал: вот доктор. Побегу зубы показать...

— Нет, я не доктор.

— Очень плохо. Може, фершал?

— Нет, и не фельдшер.

— Очень плохо. А позвольте спросить, для какой потребности прибыли? — спросил еврей, поддерживая щеку.

— Да это уж мое дело.

— Так. Очень плохо. Може, уголь купить?

— Может быть.

— А жито не покупаете?.. Боже мой, как зуб болит!.. Жито вам не надо?

— Жита я не беру, — ответил я смеясь.

— Так. Плохо, плохо. Зуб меня беспокоит... Шахты не будете покупать?

— Ничего мне пока не нужно. А вот если бы вы указали мне, где можно выпить молока, я был бы очень благодарен вам.

Еврей живо оглянул всю улицу и тотчас же закричал вдали идущей с ведрами бабе:

— Эй, Перепичка! вот господин молока хочет выпить, дай ему молока... Идите, господин, вот в этот дом. Она вам даст молока.

И еврей довел меня до ворот, куда в эту минуту входила та, которую он назвал Перепичкой, вежливо попросил извинения и отправился, все продолжая придерживать щеку, в ту сторону, откуда он догонял меня. А через минуту я сидел уже в сенцах, пил молоко и разговаривал с бойкой Перепичкой. Немного спустя после моего прихода вошел в сенцы муж Перепички, с которым мы также разговорились. Оба Перепички были такие умные, смышленые и знающие, что я в сенцах их просидел часа два и благодарил еврея, что он сюда меня направил. В эти два часа, в разговоре с мужиками, я узнал больше, чем в целый день разговора с опытными людьми.

Перепички еще недавно сами держали шахту на крестьянской земле, знали все процессы добычи и сбыта угля, знали всю историю Щербиновских шахт как владельческих, так и мужицких, но, главное, до мельчайших подробностей, с тонкими оттенками могли рассказать про все, что касалось угольного дела не только в их Щербиновке, но и по другим местам. Приехал я в Щербиновку с крайне смутными представлениями о деле,

которым интересовался, а здесь, в мазаных сенцах, в разговоре с двумя Перепичками (по-русски Перепичка — значит лепешка), в течение лишь двух часов, я так ясно стал представлять себе вещи, как будто изучал их в течение месяца. Говорили мы про окрестных владельцев шахт, про арендаторов, про устройство самих шахт, про добывание и сбыт угля, про скупщиков и торговцев, про евреев и маклеров; не забыли даже такой высокой материи, как «угольные кризисы» и их причины. Но так как я, отправляясь сюда, больше всего интересовался мужицкими шахтами, то о них больше и речь шла. Но тут мои случайные знакомые, смышленые Перепички, оказались уже положительно на высоте авторитетных знатоков. Однако я передам не только то, что мне рассказывали Перепички, но и все то, что мною узнано из других источников.

В Щербиновке, в Нелеповке и во многих местах земля, содержащая каменноугольные пласты, принадлежит крестьянским обществам. В большинстве случаев крестьяне эту землю на разных условиях сдают в аренду крупным владельцам и компаниям; но в некоторых местах, как вот в этой Щербиновке, мужики, наряду с отдачей в аренду, сами пробовали и до сих пор пробуют разрабатывать уголь. Содержащая уголь земля, как и всякие другие мужицкие угодья, делится по душам, причем приходится на каждую душу, например, по сажени (разумеется, по сажени поверхности, а не глубины), и эти-то кусочки затем и поступают под разработку. Говорят, что для разработки раньше составлялись артели из нескольких человек, которые собственными средствами и добывали уголь, внося каждый капитал и рабочие руки; бывало это и в Щербиновке. Но я артелей уже не застал. Разрабатывают шахты в настоящее время не артели, а отдельные крестьяне-домохозяева, то есть произошло разделение между капиталом и трудом, хотя еще очень неопределенное. Делается это таким образом. Тот или другой крестьянин побогаче или половчее скупает угольные души на себя, причем платит за это право аренды от пяти до десяти рублей, смотря по тому, у кого покупает: если вышеупомянутые сажени принадлежат бедняку, то стоимость покупки падает даже ниже пяти рублей, падает даже до нескольких бутылок водки, потому что для бедняка доставшаяся ему угольная сажень бесполезна и разрабатывать ее он не в силах, между тем деньги ему нужны всегда до зарезу, и вот он готов спустить свой надел за безделицу; если же надел принадлежит состоятельному домохозяину, то цена покупки возрастает вместе с состоятельностью его; у богатого же крестьянина и совсем нельзя купить его надел, потому что если он теперь не разрабатывает свой уголь, то надеется приступить к его разработке в другое время. Таким образом, у покупщика оказывается во владении несколько десятков душ. Такую же

покупку может совершить и другой крестьянин; вследствие этого, угольные наделы в конце концов скопляются в очень немногих руках. Так, в Щербиновке в настоящее время только с небольшим двадцать шахт, принадлежащих почти такому же числу владельцев, причем каждая шахта составлена из многих десятков душевых наделов и содержит до двухсот сажен поверхности.

Сделав покупку, крестьянин приступает к разработке. Но здесь опять несколько способов разработки. Иногда хозяин скупленных наделов сам начинает хозяйничать: нанимает рабочих, покупает орудия, сам работает и надзирает, сам продает вынутый уголь; и для этого не нужно даже ему больших денег, потому что орудия на первых порах он покупает самые, что называется, мочальные, а что касается платы рабочим, то она совершается часто через месяц и более после найма их, а этого времени совершенно достаточно, чтобы добыть уголь, продать его и получить деньги; если же и по истечении этого времени он не добывает денег, то рабочие без ропота забирают лопаты, котлы, тачки и все, что можно захватить, и убегают. Но до такого скандала может довести свою шахту только дурак, не умеющий вовремя извернуться, ибо есть всегда возможность извернуться, именно, взять денег у еврея. Но тогда выйдет уже другой способ разработки, состоящий в следующем. Мужик-владелец, не имеющий денег, обращается за ними к еврею и, получив их, покупает орудия, нанимает рабочих, закладывает шахту и добывает уголь; но добытый уголь он сбывает уже не куда хочет, а тому самому еврею, у которого взял деньги, сбывает, конечно, по условленной цене. Этот способ тем невыгоден, что хлопот владельцу много, а барыша ему перепадает самая малость. Третий способ гораздо выгоднее, но по крайней мере владельцу при этом способе нет почти никаких хлопот. Совершается это таким образом. Накупив душевых наделов, крестьянин сдает все скупленное в аренду еврею, и тот уже от себя, на свои деньги и при личном своем надзоре, покупает орудия, нанимает рабочих, следит за разработкой, сам не брезгует никакой работой, а крестьянин-владелец получает только арендную плату. Наконец, четвертый способ состоит в том, что крестьянин — владелец шахты все работы сдает подрядчику, также в большинстве случаев еврею, а сам берет на себя только вывоз готового угля с шахты на станцию и продажу его.

Читатель сам, конечно, заметил, что еврей всюду присутствует: он скупает у мужика уголь, он, в другом случае, арендует шахту, он же является, в третьем случае, подрядчиком и, наконец, во всяком случае снабжает деньгами всякого шахтовладельца. Но это говорилось для краткости. В действительности, всеми перечисленными ремеслами (арендатора, подрядчика,

скупщика и банкира) занимаются и русские; только мужик — владелец угольной шахты предпочитает иметь дело с евреем. А почему предпочитает — это мне опять разъяснил Перепичка. Я в разговоре с ним упомянул о том, что евреев теперь отовсюду гонят, и спросил, довольно ли будет население Щербиновки, если и отсюда их погонят.

— Хуже будет! — сразу ответил Перепичка.

— Без жида-то?

— Хуже будет без жида! — твердо сказал мужик.

— Это почему? — спросил я, немного удивленный.

— Да потому же! Видите ли, оно как... Жид примерно понимает деньгу, а наш брат нет. Это раз. Другое, он сам гроши пускает в оборот... Ежели хоть малая ему выгода, он уж даст тебе, а у нашего брата, который, например, имеет, Христом богом не выпросишь, хоть ты умирай с голоду. Третье я вот скажу так примерно: жиду, например, только гроши твои и нужны, ничего другое ему не требуется от тебя, и ежели он вынет у тебя тихим манером из кармана портмонет, то он больше ничего уж не возьмет у тебя; если же наш брат, который побогаче, так не только портмонет твой отнимет, но еще и надругается над тобой, опоганит душу твою, в ногах заставит валяться, накуражится вволю, да все еще благодетелем твоим будет считаться... Я, мол, мерзавец, тебя выручил, а ты меня не уважаешь?.. Тут вон у нас много таких-то... Вот примерно Попасенко, — ну, я вам скажу, это такая ядовитая штука, что двести жидов супротив него не выдержат... И уголь скупает, и гроши дает, и арендует, но все от него плачут, кто только ни свяжется с этим чертом! Вот почему я и говорю: хуже будет!

Долго мы с Перепичкой говорили о жидах; Перепичка сам года три назад держал шахту, имел дело и с русскими богачами и с жидами, и против первых у него, видимо, много накопилось горечи. Между тем мне пора уже было ехать на шахты. Я спросил у Перепички лошади, так как до шахт считается не менее четырех верст. Но при этом Перепичка мой так вдруг изменился в лице и манерах, что я не узнал его; лицо его стало загадочно-надутым, словно он вдруг на что-то осердился, глаза его отвернулись в сторону, как будто он стыдился чего-то. «Что такое?» — думал я, ничего не понимая, и снова переспросил, даст ли он лошадь и сколько за это возьмет. Тогда он свирепо выговорил такую цифру, словно мне нужно было на его лошади проехать пятьдесят верст. Я засмеялся и стал стыдить его. Он сконфузился, но настаивал на своем, бормоча что-то про богатых покупателей шахт и про то, что если с них не взять лишнего, то больше и взять не с кого. Мне стало ясно, что меня принимают за кого-то другого, но я не знал, как приступить к объяснению цели своего приезда. Наконец меня выручила сама Перепичка.

«Да вы, собственно, зачем шахты-то будете осматривать, покупать, что ли?» — спросила она. И я должен был всеми мерами отказываться от роли покупателя и объяснять цель моего приезда, или, лучше сказать, бесцельность. После долгих убеждений оба Перепички сразу поняли и расхохотались, причем лица их опять просветлели и выглядели добрыми.

— Да боже ж мой! А ведь мы думали, что вы приехали шахту покупать... Ну, мы и думаем, как не слупить лишних грошей с эдакого человека! А вы только из любопытства... да сделайте одолжение, поезжайте за пятьдесят копеек сколько угодно!..

И Перепичка велел своему сынишке запрячь лошадь. Пока тот закладывал в дрожки лошадь, я напомнил хозяину о жидах и заметил, что с русскими действительно хуже иметь дело в этих местах...

— Да и верно! — весело сказал Перепичка. — Ведь вот мне втемяшилось, что вы покупатель, и я одурел... С нашим братом, чертом, дураком, нельзя насчет грошей дела делать... не понимаем! А жид понимает, сколько какая вещь стоит... Ну, вы уж простите дурака, потому наш брат беда какой непонятливый насчет, ежели что с кого взять...

Перепичка, сильно сконфуженный, теперь оправился от смущения, и мы расстались друзьями.

Дорога к шахтам шла через поля, скошенные и сжатые. Со всех сторон к деревне тянулись рыдваны со снопами, запряженные волами; по дороге валялись упавшие колосья. На гумнах повсюду шла молотьба, кое-где в воздухе виднелись столбы мякины, — кто-то уж торопился веять. А на горе десяток ветряных мельниц дружно вертели крыльями, торопясь приготовить муку из свежего жита. Это была чисто деревенская картина, и если бы не кирпичная башня, поставленная над шахтой верстах в трех от села и принадлежащая ныне какой-то компании, то нельзя было бы и подумать, что здесь повсюду добывается каменный уголь. И в особенности нельзя было представить, чтобы здешние крестьяне занимались чем-либо другим, кроме хлебопашества.

Только совсем близко подъехав, я увидал на пригорке ряд каких-то черных бугров, а над ними какие-то постройки вроде колодезных журавлей. Это и были крестьянские копи. Когда я подъехал к одной из них совсем близко и слез с дрожек, то минутного взгляда было достаточно, чтобы понять все это немудрое сооружение. Выкопана в виде колодца яма, в глубину не более десяти сажен; над ямой, на перекладине, утвержденной на двух столбах, приделана пара блоков, а сажени на две в сторону, на расчищенном наподобие тока кругу, стоит ворот; под воротом лошадь. Только и всего. Тут и вся машина. Лошадь, погоняемая подростком, ходит в одну сторону, ворот вертится, тянет веревку на одном блоке и поднимает из глубины ямы конец

этой веревки, на котором прикреплена бадья; но в то же самое время другая бадья на другом блоке опускается вниз и наполняется там углем; тогда лошадь повертывается обратно, обратно начинает двигаться и вся машина, и вторая бадья вылезает из глубины шахты. Чтобы высыпать уголь из выползшей бадьи, рабочий берет ее прямо руками, усиленно, словно за шиворот, тащит ее к себе, вытаскивает и, наконец, после некоторой борьбы опрокидывает из нее уголь. А чтобы снова бросить ее в яму, это уже дело подростка-погонщика; он бросает лошадь, подбегает к веревке между воротом и блоками, цепляется за нее руками и ногами и тащит ее собственной тяжестью к земле; веревка подается, бадья поднимается с края шахты, где до сих пор она беспомощно лежала набоку, и падает в яму. Таким образом, мальчишке в продолжение дня столько раз приходится болтать в воздухе руками и ногами, сколько вытягивается из ямы бадей, то есть примерно штук двести. Игра серьезная.

Что же делается в самой яме? Надо сказать, что мужичья шахта по вертикалу вниз ни в коем случае не бывает более десяти сажен; некоторые шахты из осмотренных мною простирались вглубь до пятнадцати сажен, но в таком случае вся машина была лучше и вместо одной лошади их была пара. Далее, с десяти сажен, идет забой по наклонной плоскости, а не горизонтальными галереями, для укрепления которых у мужика нет ни уменья, ни средств. Динамит никогда не употребляется. Вместо него рабочие-забойщики просто долбят пласт угля кайлами и этим путем добывают его. Надолбленный уголь другие рабочие лопатами насыпают в вагончик и подвозят его к месту опускания бадьи; здесь бадью насыпают, дергают за веревку (это значит— тащи!) и ждут, когда вместо насыпанной бадьи к ним спустится другая. Вагончик, впрочем, я видел только в первой осмотренной мною шахте; в других вместо него употреблялась другая посуда, вроде ящика из-под макарон или вроде салазок, на которых ребята катаются с гор. Такую посудину тащат просто волоком по земле до самого отверстия шахты.

Рабочих минимум полагается шесть. Один, подросток, управляет лошадью и болтает руками и ногами на веревке; другой принимает из шахты бадью и борется с ней; двое внизу шахты насыпают уголь в посудину, а затем нагребают его в бадью; двое других добывают уголь. Это число по большей части удваивается, когда работа происходит день и ночь; тогда смена равняется двенадцати часам. Но это у более состоятельного хозяина-мужика или у состоятельного арендатора. У бедного как придется.

Но у тех и у других устройство самой шахты одинаково. Одинакова и «сбруя». Все это буквально состоит из обломков и обрывков. Ворот, кое-как сколоченный на треснувшем столбе,

немилосердно ревет; канат с бесчисленными узлами то и дело путается и зацепляется на худом колесе; блоки плачут над ямой.

Здесь я должен бы был рассказать о самих рабочих в мужицких шахтах, но так как впечатления мои, вынесенные из Щербиновских копей, смешались с другими впечатлениями, полученными от других мест, то и о рабочих я скажу особо.

VII

Был обеденный для рабочих час. Все были наверху. Арендатор-еврей сидел у себя в землянке в одной рубашке, перепачканной угольной пылью, и делал на бумаге какие-то вычисления, в то же время закусывая хлебом и холодным куском мяса. Я вошел к нему затем, чтобы попросить позволения спуститься в его шахту. Но из короткого разговора с ним оказалось, что это невозможно и бесполезно.

— У вас есть другой костюм? — спросил он, оглядывая меня с ног до головы.

— Нет, — ответил я. Я действительно забыл захватить блузу и сапоги.

— Так как же вы спуститесь? Вы все перепачкаете, живого места на вашей одежде не останется, вымокнете... там ведь воды по щиколки.

— Да неужели рабочие в течение двенадцати часов находятся в луже?

— Что же делать? Бывает, что и по пояс заливает, ежели не успеем выкачать.

Тут я поинтересовался, когда же воду выкачивают? Сам я вокруг шахты не заметил никаких признаков откачивания.

— Отливаем в свободное время... Когда уже совсем нельзя работать, все затопляет, тогда и откачиваем. А потом опять работать.

— Да разве этак возможно? — сказал я.

— Отчего же? А вы думаете, на больших шахтах лучше? Там, правда, паровая машина беспрерывно выкачивает, ну, и зато уж если зальет, так все дочиста, едва люди спасаются... Вообще не советую спускаться: и грязно, и мокро, да и любопытного ничего нет. А если вы хотите узнать, как работают, так вон пойдите к рабочим, — они вам и расскажут.

Пришлось послушаться совета. Я вышел из землянки (землянка эта зимой служит единственным местом, где рабочие обедают и отдыхают) и направился к кучке молодых, безбородых юношей. Они сидели кружком вокруг ведра с водой и обедали, то есть кусали краюхи черного хлеба и запивали его водой. «Всегда вы так обедаете?» Оказалось, нет. Вся эта кучка состояла

из хлопцев соседних сел. Ночевать они уходят домой, где и едят горячее, а на шахту приносят с собой только хлеб. Другие рабочие, из дальних мест, нанимают артелью стряпку, которая и готовит им обед, состоящий большею частью из соленой рыбы, иногда из мяса. Но те в это время уже пообедали и отдыхали по разным местам: один лежал под бочкой с водой, другой засунул голову под ворот, прикрыв часть колеса какой-то хламидой, отчего образовалась тень; третий залез в шалашик, сделанный из поленьев дров и прикрытый бурьяном, тут же, около шахты, вырванным. Таких шалашиков я насчитал штук шесть.

Вообще картина нищеты и оголтелости была полная. В особенности первое впечатление было невыгодно. Каждому, конечно, известны угольщики, продающие по улицам городов древесные угли? Ну, так вот, если представить себе такого угольщика, да притом снять с него одежду, оставить его в изодранной рубахе и почти без оных, то получится верное изображение рабочего на каменноугольной шахте. У первого рабочего, который мне попался на глаза, рубаха на брюхе совсем отсутствовала; у другого дела были еще хуже. А когда я увидал их в куче, в количестве десяти человек, то получил еще более сильное впечатление, — это была куча лохмотьев, облитых жидкой сажей.

— Отмывается эта грязь с тела? — спросил я.

— Как же, отмывается, — ответили мне.

— Ну, а эта одежда рабочая на вас?

— Известно, рабочая. А есть которые эти ризы почитай что и николи не снимают, — так и ходят чертями!

— Это почему же?

— Да так, значит, — в шинке прочая-то одежда...

Справедливость этих слов я понял только впоследствии, разузнав поближе о жизни копей.

— Ну, а работа тяжелая? — спросил я еще, хотя был заранее убежден в ненужности такого вопроса.

— Нет, ничего, мы привыкли. А впрочем, одно слово — Сибирь!

Но какова работа шахтера, я лучше приведу рассказ одного молодого человека из интеллигентных, попробовавшего работать в шахте. Он оканчивал курс в штейгерском училище и нанялся в качестве рабочего в вакационное время.

«...Как вам известно, у нас в училище очень часто бывают практические уроки в шахтах. На таких уроках я всегда чувствовал себя весело, много работал и всегда прежде всех изучал приемы разных работ. И мне не казалось трудной жизнь в шахте... Вот я однажды задумал провести лето на одном руднике, в качестве простого забойщика. Задумал и сделал. Манили меня две цели — практическая и, если хотите, идейная. Практически мне положительно необходимо было зашибить за лето рублей сто, а на шахте, где поденная плата минимум семьдесят копеек,

а то поднимается для ловкого рабочего и до двух рублей, мне казалось легко зашибить такие деньги, причем, по моим расчетам, я ни в чем не буду себе отказывать — ни в отдыхе, ни в пище. Ну, словом, мне улыбалась жизнь шахты с этой стороны. Что касается идейной, то вы поймете меня сами, в чем дело: желание сблизиться с народом, гордость сознания тяжелой работы, мечты о будущем... Мечтал я ни более, ни менее как бросить свое привилегированное положение и сделаться простым работником. Ни более, ни менее!..Так вот я и поступил на шахту. На первых порах мне назначено было рубль двадцать копеек в день — чего же больше? Принялся я работать. Обстановка мрачная. Работают при масляном освещении, которое производит удушливый смрад. По щиколки в воде. В лучшем случае, если нет воды, кругом по стенам и под ногами стоит какая-то ослизлая сырость. Но в первый день я чувствовал себя ничего; только руки от тяжелого кайла висели, как веревки, да спина мозжила. В голове тупость какая-то. Но все-таки урок свой я исполнил. На другой день в шахту я спускался уже без всякой охоты, и дрожь пронизала меня, когда я очутился на том же самом месте забоя, где вчера долбил. Но и в этот день урок свой я кончил с грехом пополам. Только все время был в каком-то сонливом настроении, не то от усталости, не то от чего другого. Проспал я после этого раза десять с половиною часов и окончания смены ожидал с каким-то раздражением. Раздражала меня ослизлая, грязная блуза, бесил вид черного угля. Но я все-таки упрямо полез и в третий раз. Но в этот день на меня напало такое мрачное настроение, что я ежеминутно порывался бросить кайло, молоток и долото и вырваться на свет... Вы не можете себе представить, как тяжко лишение света! По крайней мере я до сих пор не мог представить себе, чтобы солнце было так необходимо человеку! Когда я в этот день спустился в шахту, беспричинная и страшная тоска овладела мною. И я чувствовал, что это именно тоска по солнцу. Если бы солнечный луч ворвался туда, на глубину пятидесяти сажен, я бы, казалось, закричал от радости и принялся бы весело и с удвоенной силой работать. Но солнца там не могло быть, и я чувствовал, как сжималось от давящей тоски мое сердце, а ум как-то обозлялся... Только сонливость помогла мне. Работая кайлом, я в то же время сознавал, как глаза мои слипаются и все тело изнемогает от жажды сна, беспробудного сна. И я уснул, не кончив работы... Эта сонливость, вероятно, происходит также от отсутствия солнца. Нет света, и тело жаждет покоя, лишенное своего возбудителя, своей творческой силы... Но в то же самое время сонливость — единственное спасение от тоски. Если бы не нападала эта сонливость, то можно бы было, казалось, с ума сойти, так что на четвертую смену я уже ожидал сонливого состояния, как нечто

приятное, и когда оно напало на меня, я уже работал, как машина. И все-таки опять уснул, на этот раз еще раньше, чем вчера, уснул прямо в ослизлой, сырой одежде, положив голову на глыбу угля и лежа боком прямо в холодной луже... Пятую смену я пропустил, просидел целые сутки на квартире и все время испытывал какую-то одурь. На шестой день я пошел, но, не проработав и трех часов, уснул с молотом в руке, повалившись в сырое углубление забоя, и бог знает, сколько времени проспал бы, если бы товарищи рабочие по окончании смены не растолкали меня. Этим и кончилась моя попытка зарабатывать деньги кайлом и жить вместе с чернорабочими. Конечно, я мог бы и дольше остаться, — вы видите, я человек сильный и выносливый, — но тогда мне нужно было бы выучиться пить, пить со страшным разгулом и дебошами, пить вплоть до пропоя последних штанов, как пьют только наши рабочие. Я теперь уверен, что жизнь шахтера может проходить только между двумя состояниями — сонливостью и разгульным пьянством...»

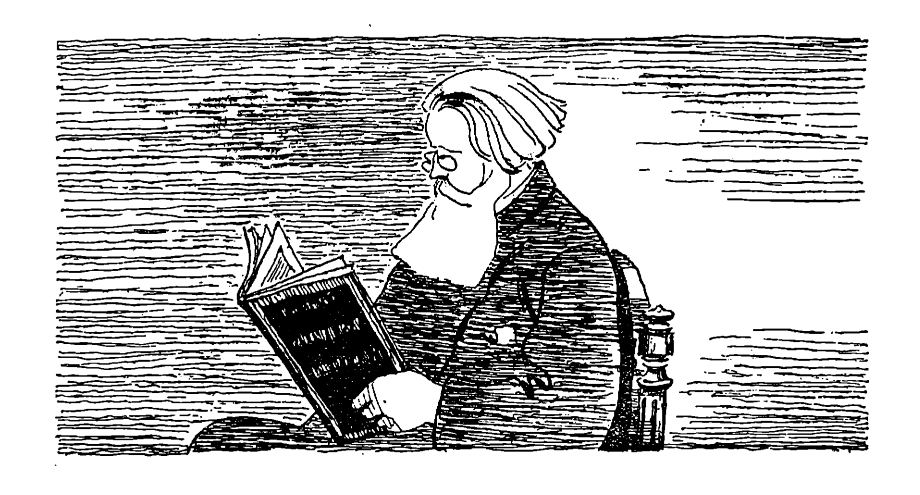
Действительно, слова юноши я вскоре сам проверил и в значительной степени нашел их справедливыми. Как работают люди в глубине шахт и что они чувствуют там, об этом я, конечно, не могу судить, — для этого пришлось бы очень долго с ними жить в очень близком общении, — но как они живут на поверхности земли, при свете солнца, это я мог и сам наблюдать, но, главное, слушать их собственные рассказы про себя.

Неделю кое-как шахтер просидит в шахте, а в праздник уж непременно напьется; при этом он горланит песни, бьет посуду, устраивает драку, разбрасывает по полу деньги, если они есть, а если нет, то закладывает шинкарю все, что́ имеет, — фуражку, шаровары, пиджак, сапоги, рубаху. И пропивает часто решительно все, что имеет, кроме той ослизлой и грязной рвани, в которой работает. Так он и живет всю жизнь, ничего не добиваясь. Весь его заработок уходит, с одной стороны, на собственное прокормление, — за все с него дерут вдвое дороже, — с другой — на водку и разгул.

И мне после близкого знакомства с рабочими и после разговоров с ними понятно стало, почему в таких селах, как Щербиновка, так много всяких лавочек и кабачков, — все это кормится на счет шахтера. Таким образом, выгоды донецкой промышленности исключительно выпадают на долю хозяев да темных паразитов, содержащих питейные, бакалейные и другие лавочки. Самому ему ничего не остается. Семья его еле колотится со дня на день. Идет он из близких губерний — Харьковской, Екатеринославской, Орловской и Курской, идет в надежде поправить какой-нибудь недочет в хозяйстве, но, пробыв год на шахте, он так тут навсегда и остается, а хозяйство его пропадает. Что касается настоящего крестьянина, то он не прочь

попользоваться от шахты: он возит уголь, подвозит материалы, мечтает свою собственную шахту завести и иногда действительно заводит ее, но в шахту забойщиком не пойдет, а если случится у него крайняя нужда, то поработает немного, но при первой возможности убежит к своему хозяйству, к работе на воле и при свете солнца.

Так что во всех донецких копях и заводах уже и теперь образовался особенный класс подземных людей — буйных, безалаберных и пропащих. Нет у них ни дома, ни определенной цели; много, каторжно работать и много пить — вот и вся их жизнь.



ПО ПОВОДУ ТЕКУЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Заметки

I

Все, кому не чужды интересы литературы, помнят не давнее время, когда на литературную сцену выступили многочисленные поэты. Надвинулись они густыми тучами и закрыли небо... Читающая публика, впрочем, не могла иметь надлежащего представления о размерах этого стихийного явления, потому что своевременные меры редакций и всех лиц, прикосновенных к литературе, в значительной степени уменьшили последствия этого бедствия; зато сама литература в лице своих представителей подняла переполох и в первое время несколько растерялась при появлении новой египетской казни; портфели редакций, письменные столы литераторов-публицистов, критиков и беллетристов завалены были грудами стихов, и не хватало времени на просмотр их; напрасно каждое периодическое издание на задней обложке печатало суровые, драконовские законы против поэтических преступлений, объявляя, что рукописи со стихами не возвращаются авторам, а по истечении известного времени предаются уничтожению, — напрасно! Пришло время, и поэты появились.

Время это настало в те дни русской жизни, когда из общественного сознания изъята была большая часть идеалов и обязанностей, благодаря чему сознание это настолько опустело, что в нем образовалась неприятная пустота. Но природа общества не любит пустоты, и на место старого содержания явилось новое, на место старых деятелей пришли другие, именно поэты.

Читатель, надеюсь, не заподозрит меня в ненависти к поэзии и в отрицании поэтов, а если кто и заподозрит в такой глупости, то это будет читатель слишком проницательный, чтобы с ним надо было считаться. Я говорю исключительно о тех поэтах, которые явились в названное время, переживаемое нами и сейчас. Это поэты особого рода. Представьте себе такой невозможный случай, что в один прекрасный день встаем мы, развертываем газеты и журналы и читаем точные копии с заборов и с отхожих мест, — каково будет наше впечатление! Точно так же представьте себе такое положение, когда на место истинной поэзии, которой мы привыкли наслаждаться, нам дают в руки другую поэзию, где безграмотность еще самый невинный проступок, где цинично и грубо воспеваются «розаны», найденные автором у женщин, и предаются проклятию на извозчичьем жаргоне «смутьни», появившиеся на «Святой Руси» (передаю одно четверостишие гадкого сборника, появившегося в провинции), — что тогда делать?

Именно такое было недавно положение, ибо такого рода появились поэты. Некоторые из них были, очевидно, народ смирный и ушли со сцены без шума; но большая часть их, вломившись с улицы на литературу, не захотели без рукопашной оставлять ее. Сурово выпроваживаемые из редакций периодических изданий, они появились в отдельных сборниках; другие устраивали скандалы; был один и такой чудак, что подал жалобу на высочайшее имя, где просил принудить обидевшую его редакцию силой напечатать его стихи или же взыскать с нее какие-то расходы! Чудак успокоился, кажется, только после того, как дал подписку местной полиции не писать больше стихов.

Вот какое было положение. Конечно, у полиции есть власть брать подписки с поэтов не печатать стихов, а у литературы ведь нет никакой власти; она может только укрощать их словами. Так дело и происходило. Почти в каждой книжке журнала и во многих номерах газет появлялись рецензии на сборники со стихами; вся рецензия обыкновенно состояла в том, что автор ее грубо ругался, плевал, бесился. И нельзя было иначе: ворвавшегося в квартиру пьяного нахала нельзя иначе выпроводить обратно на улицу, как только грубыми средствами, взяв его примерно за шиворот и, например, спустив его с лестницы. Литературу постигло бедствие в виде нападения темной силы:

надо было так или иначе обороняться, обороняться всеми средствами, как говорится, «чем попало».

К счастью, литературе долго не пришлось пачкать себя возней с темным стихоплетством; стихоплетство само собой стало исчезать, потому что оно не было явлением самостоятельным, а вызвано было другими темными силами; эти же силы к нашим дням значительно ослабели, открыв в разных точках горизонта просветы; а вместе с этим и темное стихоплетство, наполненное заборными мыслями, стало исчезать.

Остались только слабые следы его в виде нескольких десятков сборников, да в самой литературе образовался гнилой угол... Мы, разумеется, не хотим смешивать гг. Ясинского, Мережковского и Андреевского с заборными поэтами — их поэзия зато и небольшая, но все же поэзия. Мы настаиваем только на том, что те мысли, которые они теперь так развязно высказывают, могли возникнуть лишь в наше время, отмеченное темной поэзией, и лишь в нашей теперешней литературе, допустившей образоваться в себе гнилому углу. Раньше они не посмели бы, да и просто не могли бы давать такие критические опыты, какие дают они теперь. Потому что раньше (и как еще недавно!) в том месте литературы, которое называлось «критикой», работали убежденные люди, с определенным складом идей и с большим запасом общественных идеалов, а нынче они принуждены были оставить это место, и там скоро образовался гнилой угол, в котором можно творить, что угодно.

А само по себе соединение в одном лице поэта и критика недурно, да в таком соединении нет ничего и нового. Лессинг дал «Натана Мудрого», Добролюбов пробовал свои силы (и с большим талантом) в лирике. Поль Бурже не менее блестящий критик, как и романист. В худшем случае каждый поэт выработает невольно свою собственную систему творчества, свои собственные законы поэзии, и если не может быть критиком чужого творчества, то во всяком случае должен знать себя и приемы своего творчества. В данном случае от гг. Мережковского и Андреевского, сделавших ценные вклады в нашу поэзию, вправе требовать, чтобы они зато себя-то хорошенько узнали бы. Но им эта задача показалась пустою, и они прямо взялись за разбор чужих произведений: Мережковский в «Северном вестнике» принялся за Чехова и Короленко, а Андреевский в «Русской мысли» — за Гаршина.

Не представляя сами по себе ничего выдающегося, все эти статьи служат характерным образчиком нынешней критики и представляют своего рода знамение времени, что, собственно, и вызвало в нас желание начать наши заметки с них, с этих курьезов. Но прежде несколько шагов назад придется сделать.

Года три-четыре тому назад г. Ясинский (Максим Белинский) в маленькой газетной статейке, со свойственной ему откровен-

ностью, признался, что из почитателя науки он сделался врагом ее и что выше романа нет ничего на свете; развивая дальше свою мысль, он доказывал, что ничто так прямо и быстро не служит счастью людей, как художественная литература, ибо только она одна дает прекрасное в готовом виде. Что г. Ясинский разумел под именем прекрасного и как надо понимать, по его теории, художественное творчество — осталось неизвестным; из статейки ясно было только одно: г. Ясинский осердился почему-то на науку, а по пути и на всю художественную литературу, которая занимается волнующими человечество вопросами. Г-н Ясинский выражал полное свое презрение к такой литературе и смело утверждал, что единственной целью художества должно считать наслаждение; наслаждение же должно служить и критерием всякого произведения. Таким образом, по теории г. Ясинского выходило, что Максим Белинский и клоун — одно и то же: как клоун, прыгая на голове, доставляет почтенной публике наслаждение, точно так же и Максим Белинский, издавая свои романы, дает наслаждение той же почтенной публике. Быть может, это так на самом деле и есть — спорить не станем, тем более что откровенная нелепость г. Ясинского была по достоинству оценена Н. К. Михайловским и г. М. Пр.

Мы упомянули г. Ясинского потому только, что он первый из поэтов начал писать критические опыты, а во-вторых, потому, что наше время началось как раз в тот момент, когда г. Ясинский писал свою статейку. С того момента много воды уже утекло, и поэты в своих критических опытах сделались если не откровеннее, то смелее.

Г-н Мережковский дебютировал как критик статьею о г. Чихове в «Северном Вестнике». Статью эту читатели, конечно, помнят, и нам незачем цитировать ее. Передадим только сущность ее. Специально для г. Чехова автор принужден был создать своеобразную теорию творчества, которая заключается в том, что одни художники «накопляют», а другие «распределяют» сокровища поэзии; сообразно с этим и творчество разделяется на накопляющее и распределяющее. Накопляющие поэты не заботятся о прямом служении обществу; им нет дела до идеалов, которыми волнуется бедное человечество; их дело, их единственная забота состоит только в том, чтобы создавать форму прекрасного и давать чистые образцы изящества; низкая и грязная обязанность заниматься идеалами и путаться в общественных вопросах лежит всецело на распределяющих художниках, что они неукоснительно и выполняют, пользуясь теми формами прекрасного, какие выработаны накопляющими деятелями; они распределяют поэзию по глупым рядам глупой массы, причем, конечно, они должны спуститься до уровня этой массы, то есть волноваться идеалами, какими волнуется масса, и путаться в общественных

вопросах, разрешения которых ждет человечество. Г-н Мережковский для большей доказательности приводит в пример науку, которая, по его мнению, так же разделяется на накопляющую и распределяющую; высшая наука занимается теориями и витает в областях чистой мысли, а низшая заботится приложить эти теории к жизни и распределить их среди серой массы. Вот и все. Из этого для г. Мережковского ясно, что больше и говорить не о чем; одни художники накопляют, другие распределяют — только и всего; те и другие правы; требовать, чтобы накопляющие распределяли, а распределяющие накопляли — бесполезно. Бесполезно требовать от Анакреона серьезности, от Фета содержания, от г. Чехова убежденности, потому что все эти вещи вовсе не входят в число их обязанностей: они только накопляют. Распределять же накопленные ими сокровища лежит на обязанности другого сорта художников, об именах которых г. Мережковский благоразумно умолчал, умолчал потому, что в число их входят почти все художники, которых мы называем великими.

Для чего понадобилось г. Мережковскому ломать голову над придумыванием такой мудреной теории — неизвестно. Мысль так стара и дело так просто, что незачем было ломать голову. Художники работают, как известно, для почтенной публики, а почтенная публика состоит из разношерстных особей и слоев, из которых каждый требует себе художества по своему вкусу. Интеллигентный слой требует Салтыкова; курские и тамбовские помещики больше склонны к Фету; любители оперетки полюбят г. Чехова; дворник Онисим в свободное время с наслаждением почитает поэму о том, как русский мужичок черта обманул. Всех надо удовлетворить, и художники по силе возможности удовлетворяют. Причем тут накопление и распределение—трудно понять. Салтыков ничем не позаимствуется у накопляющего Фета; г-н Чехов не поможет ничем безвестному автору, которого читает Онисим. С другой стороны, Салтыков, несмотря на свою распределяющую роль, так много накопит прекрасного, что его хватит на сотни лет, а г. Фет и г. Мережковский, хотя они и считаются накопителями, ничего не могут накопить, кроме нелепостей.

Зачем же понадобилась г. Мережковскому эта диковинная теория? Мы ответим сами за него. Г-н Мережковский выступил на борьбу с ненавистными для него вопросами и идеалами, вторгавшимися в литературу; по своему глубокому убеждению он презрительно относится ко всякой тенденции, окрашивающей литературные произведения; для него слово «тенденция» — ругательное слово, и он готов выйти на борьбу с враждебными силами. Но, вероятно, по своему характеру г. Мережковский очень несмелый человек и боится лицом к лицу очутиться с врагами; и вот он начинает заметать след своих слов. Вместо того чтобы

прямо высказать свои задушевные убеждения, он путается среди сотни противоречий, которыми раскрашены все его статьи; он убежден, что всякие завиральные идеи достаточно уже натворили бед и надо отделаться от них в чистой области поэзии; он убежден, что чистая поэзия единственный род поэзии, который ему нравится, а все остальное низко; но у него не хватает смелости прямо высказать это, и он придумывает мудреную теорию и под шумок подталкивает на самый верх Парнаса г. Фета, г. Чехова и всех своих ближних.

И все это напрасно. Г-н Мережковский смело может говорить то, что он думает; господство принадлежит теперь именно той части почтенной публики, которая одинаково думает с г. Мережковским; следовательно, бояться своих мыслей нечего: они получат одобрение от господствующей публики. Вот собрат г. Мережковского, г. Андреевский, — смелее; тот взял Гаршина, да и разобрал его. Мы, принадлежащие к иной части публики, привыкли считать покойного Гаршина выразителем поколения семидесятых годов; мы были уверены, что покойный являлся в литературе высшим воплощением этого поколения, — та же энергия, та же беззаветная готовность бороться за свои убеждения, те же страшные ошибки и тот же трагический конец, — и ждали критика, который бы показал нам эту связь между писателем и его временем, их взаимное влияние и их судьбу. Но г. Андреевский проще и смелее. Он взял Гаршина и подробно разобрал его, как разбирает гимназист IV класса на уроке «словесности», и от несчастного Гаршина осталось то, что обыкновенно остается от писателей, попавших в хрестоматию, то есть осталось столько, сколько нужно, чтобы с трудом припомнить знакомого писателя. Этот фокус получился потому, собственно, что г. Андреевский «разобрал» Гаршина с точки зрения «словесности», «разобрал» подробно и хорошо, как прилежный ученик IV класса.

Словом, г. Мережковскому не было причины бояться своих мыслей. Публика и время самые подходящие для этих мыслей, так что г. Мережковский смело может проповедовать «словесность», князь Мещерский будет хлопотать о розгах, третий возьмет на себя еще какую-нибудь реставрацию; такое уж наше время: сиди и накопляй.

II

В октябрьской книжке «Русской мысли» кончился, наконец, роман г. Эртеля «Гарденины». По величине это произведение, каких давно уже у нас не было. Разумеется, трехтомных романов и посейчас великое множество, но это особого рода литература, требующая особых литераторов и свою собственную публику;

это область «Нивы», «Всемирной» и прочей иллюстрированной журналистики, где рядом с кухонными советами печатается лирическое стихотворение, а рядом с «историческим романом» можно видеть выкройки для дамских костюмов; читатель (и надо сказать, многочисленный) этой литературы получает за каких-нибудь шесть рублишек роман, политику, обозрение русской жизни, кухонный совет, как начинять фаршем репу, вырезки для жениной юбки, бесчисленное множество ребусов и шарад и, наконец, еще премию, в виде «олеографии в 20 красок», а к картине рамку из золоченого картона. Одним словом, это особый мир, где среди писателей есть свои знаменитости, а между читателями — свои поклонники, фактически преданные своим знаменитостям. Теперь как раз такой сезон начинается, когда эта своеобразная литература поднимает необыкновенный шум и страшную возню, завывает на все голоса и зазывает своих верных читателей всевозможными манерами, начиная с огромных объявлений и кончая цветными, надушенными конвертами. И читатель (тот, своеобразный читатель) валом валит и несет шесть рублишек, оставаясь по гроб жизни верным своей любимой литературе. Только изредка здесь нарушается доброе согласие между писателями и читателями, но и то по недоразумению. «Караул! — вдруг заорет какой-нибудь читатель: — обокрали! Заместо рамки из черного дерева прислали мне картонную!» Но ему скоро внушают, что он безобразничает напрасно, так как в объявлении издатель совсем даже и не обещал рамку из черного дерева, а сулил только «изящную рамку», а изящную рамку можно сделать и из папки. В свою очередь, и лучшие литературные силы, какие только можно найти в России (так обыкновенно говорится в объявлениях), из всех сил стараются, чтобы угодить своему читателю: г-н Вс. Соловьев приводит читателя в неописанный восторг историческим романом, повар из гостиницы Палкина снабжает его секретами кулинарного искусства, г. Полонский дарит его поэмой и «правде истинной и кривде лукавой», г. Мак. Белинский угождает ему больше всего насчет порнографии, г. Чехов в крошечном и остроумном рассказике заставляет задуматься над глупостью вообще людей, м-ме Жюли посылает ему выкройку турнюров и прочих секретов дамского костюма, а сами руководители этой литературы, г. Маркс или г. Вольф и другие, дарят его изящными рамками, нарисованными на листе бумаги, готовые по первому его желанию подарить и более полезные вещи, например картонные сапоги. И читатель так всем этим доволен, что другой литературы, кроме этой, своей, картинной, знать больше ничего не хочет.

Нет, не об этой своеобразной литературе мы говорим, а о той, к которой принадлежит г. Эртель. Вот в ней-то давно уже и не появлялось ничего по размерам такого же, как «Гарденины».

Зависит ли это от бессилия современной беллетристики, не способной на что-нибудь крупное (как думают одни), или мы живем в такое нервное и мучительное время, когда нет возможности мирно и долго работать, когда на работу остаются лишь короткие минуты, а все остальное время убивается на бесплодную борьбу с обстоятельствами, не имеющими ничего общего с литературой, — трудно сказать; но мы склонны больше придерживаться последнего мнения.

Посмотрите, например, на «Гардениных». Роман как роман, — и любовь, и природа, и быт, и общественные течения — все тут есть, но романа все-таки нет. Выдерите из «Гардениных» наудачу несколько листиков и прочитайте их, — вы будете заинтересованы и убеждены, что листики принадлежат перу опытного и даровитого художника; в этих листиках вам понравится язык, изложение, обрисовка характеров и описание бытовых сцен; в выдранном куске вы найдете какой-нибудь эпизод и бойкую живопись, и хорошенькую сцену, которые вас если не поразят, то заинтересуют, и если не удовлетворят, то раздразнят ваше эстетическое любопытство. Тогда вы начинаете читать роман сначала и с нетерпением от книжки до книжки ждете, «чем это кончится»; но вот получаете вы октябрьскую книжку «Русской мысли», прочитываете последние главы «Гардениных», читаете — «конец» и приходите в изумление. Неужели это конец! А где же роман-то? Романа нет. Автор взял множество эпизодов и бесчисленное множество фигур, механически соединил их все в одно огромное место и назвал это романом. Каждый взятый сам по себе эпизод живописен и производит впечатление; каждая фигура нарисована тщательно и представляется живым человеком с телом и кровью, с мускулами и нервами; но зачем все эти эпизоды соединены вместе и к чему, ради какой цели нагнано в одно место столько народа — хорошего, здорового, отличного народа, — вы не знаете. И сама толпа этого прекрасного народа, приглашенного совершать роман, недоумевает, зачем она приглашена в это место; некоторые ребята из этой толпы от нечего делать начинают забавляться; другие принимаются за свои обычные дела; третьи топчутся на одном месте и ждут, когда же, наконец, войдет г. Эртель и заставит их совершать роман, но он не входит. Толпа долго стоит и ждет; но, наконец, потеряв терпение, уныло начинает поглядывать по сторонам и мало-помалу расходиться в разные стороны. Конец.

Читателю кажется после всего этого, что автор, измученный другими какими-нибудь обстоятельствами русской жизни, каждый кусок «Гардениных» обдумывал особо и выполнял его в те редкие минуты душевного покоя, когда действительная жизнь на мгновение переставала его мучить; дальше кажется читателю, что автору некогда было позаботиться о внутренней связи этих

кусков, и он их механически помещал один вслед за другим. От этого и произошло, что в романе нет ни центральной мысли, ни центральных фигур, которые бы неразрывно связывали кусочки описываемой жизни и придавали ей известный тон и окраску. Это не значит, чтобы автор должен был навязать свои куски на какую-нибудь тенденцию, — от этого «Гарденины» сделались бы только невыносимыми; это значит лишь то, что роман, как роман, должен представлять собою нечто целое, органически выросшее в фантазии автора и производящее на читателя впечатление логически необходимого явления. «Гарденины» же — это не органически целое, где каждая часть является только придатком, а механическое сцепление отдельных частей, ничем не мотивированное.

Не станем входить в дальнейший разбор романа г. Эртеля,— это завело бы нас к деталям, из которых состоит роман; между тем мы говорим только по поводу текущей литературы, говорим постольку, поскольку она выясняет «признаки нашего времени», и, в частности, о романе г. Эртеля мы заговорили потому, собственно, что он показался нам наглядным примером одного из этих признаков...

Не найдя в романе центральной мысли и центральных фигур, которые оправдывали бы это название, мы не хотели сделать автору ни малейшего упрека; кроме того, лающих борзописцев, занимающихся «критическим разбором» журналов, так много сейчас, что присоединяться к их хору, даже чисто внешним образом, у нас нет никакого желания. Нам показалось только, что отсутствие в «Гардениных» связующей мысли и «героя» — очень знаменательный признак времени. По-видимому, автор так испугался всякой тенденции, что преднамеренно лишил свое произведение даже общей идеи, объединяющей отдельные кусочки жизни; по-видимому, он так разочаровался во всякого рода героях, что забоялся даже романического героя; по-видимому, от окриков современных литературных дельцов он так вообще заробел, что решился описывать жизнь «просто как жизнь», нимало не заботясь о том, зачем все это и ради чего.

Это характерно. Сегодня нельзя даже сказать, что «наше время не время широких задач», ибо наше время, вот то самое, которое мы сейчас переживаем, есть время темных задач, нелепых вопросов и бесстыдных ответов. Виноваты ли после этого те люди, у которых остались, как у г. Эртеля, еще кое-какие задачи и кое-какие решения их, в том, что они заробели, разочаровались в своих героях и не находят больше возможным помещать в свои романы центральную мысль и руководящую идею?

Всякие мысли и идеи, а тем более центральные, в большом нынче подозрении. Если вы скажете, что дважды два четыре, то непременно найдется несколько бесстыдных лоботрясов, которые

будут опровергать эту мысль; если вы скажете, что невежество вредно, то найдутся другие лоботрясы, которые будут стараться убедить вас в противном. Нет такой мысли, еще недавно обязательной для каждого порядочного человека, которая не встретила бы в наши дни сомнения, корректива или полного отрицания.

«Странное время мы переживаем: приходится выступать на защиту таких истин, которые еще недавно считались азбучными; приходится опровергать такие взгляды, которые прежде поражали своей нелепостью и являлись чрезвычайным исключением, — говорит г-н Т. в «Русской мысли». — Надвинулся какой-то период атавизма, настало воскрешение схороненного было невежества и дикости... Поднимаются и отрицательно решаются вопросы о пользе образования вообще и женского в частности».

И так далее, прибавим мы.

Подозрение всеобщее и ко всему. Вместо руководящих идей, которые еще недавно светили людям в их обыденной жизни, теперь господствуют инстинкты дикарей. Вместо идеалов, придававших всей жизни известный план, на сцену выступили какие-то откровенные и бесстыдные цели. Откуда же литературе брать руководящие идеи, если их нет в действительной жизни, а все бывшие признаются ненужными? Откуда было г. Эртелю взять для «Гардениных» руководящую идею, при помощи которой он связал в одно целое жизненные куски? Великий художник, без сомнения, нашел бы центральное положение и в том соре, который составляет нашу современность, но ведь великие художники родятся не для каждой журнальной книжки?

С другой стороны, если нет в «Гардениных» центральной фигуры, воплощающей в себе всю окружающую жизнь, то ведь ее нет и в жизни. Неужели кн. Мещерский может быть, подобно Каткову, центральной фигурой! Великий художник, быть может, из кн. Мещерского сделал бы фигуру столь типичную, что мимо нее нельзя было бы пройти без хохота; а может быть, — и это всего вероятнее, — с такой мелкой фигурой и великий человек ничего не мог бы поделать. А художнику дарования г. Эртеля и подавно ничего не поделать: сор его одолеет, пигмеи, мелькающие на передней части жизненной сцены, оглушат его своим гамом, и он оставит свою картину без центральной фигуры.

Но как жаль это. В романе г. Эртеля много жизни и движения, и как жаль, что для читателя все это пропадает бесследно, лишь только закрывается последняя страница.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ДИКАРЬ
(Рассказ)

Впервые опубликован в «Русской мысли», 1887, № 5. В собрание сочинений включается впервые. Примыкает к ранним произведениям С. Каронина, в которых рассказывается о стремлении темных мужиков к знанию. Вместе с тем рассказ является как бы подступом к произведениям конца 80-х годов, в центре которых стоит вопрос — народ и интеллигенция.

PERPETUUM MOBILE

Впервые опубликован в «Русской мысли», 1887, № 12. В издание 1890—1891 гг. включен автором без существенных изменений.

В мае 1887 г. писатель из Казани ездил в Пермь, а оттуда в Екатеринбург, где 21 мая открывалась Промышленная выставка. Жил на Верхне-Исетском заводе более двух месяцев. Посещал Промышленную выставку, был на Березовских золотопромывочных заводах, спускался в рудники, знакомился с рабочими. Впечатления, полученные во время поездки, Каронин изложил в очерках: «Урал, представленный на Екатеринбургской выставке» (1887), «Золотоискатели (Из поездок по Уралу)» (1887). Во время поездки он познакомился с одним кустарем-ремесленником, явившимся прототипом героя рассказа «Perpetuum mobile».

Хорошим комментарием к этому рассказу является очерк С. Каронина «Урал, представленный на Екатеринбургской выставке». В очерке писатель подробно рассказывает о жалком состоянии промышленности Урала. «Вы здесь не найдете, — пишет С. Каронин о выставке кустарных изделий, — ни одного грамотного ярлыка на кустарном экспонате, а если вы вздумаете поговорить с самим кустарем, то поразитесь наивностью и темнотою его; в большинстве случаев он не может объяснить свое изделие и не скажет вам, как он его произвел.

Это в особенности надо сказать о тех случаях, когда кустарь начинает фантазировать, изобретая нечто новое. Тут он ходит в совершенных потемках; для него в этом случае ничего не составляет ломать голову над per-

petuum mobile или отыскивать квадратуру круга, — разве он знает, что это нелепо? Он верит, что вечную машину можно придумать, если иметь хорошую «башку», о законах механики он, разумеется, не имеет ни малейшего понятия и потому не связан никакой сдержанностью. Действительно, башка у него большая и действует здорово, но ни в какой школе она не была и не имеет решительно какого бы то ни было материала для своей работы.

Благодаря этому сильная и большая, но пустая кустарная «башка» работает над такими вещами, которые давно выработаны, и придумывает такие изобретения, которые давным-давно изобретены. Кустарь вырезывает простым ножом деревянные часы или чуть ли не топором обтесывает дрянный герофон, который ревет как стадо свиней...» Тут же с гневом С. Каронин говорит о том, что путь даже к начальному техническому образованию для простых людей все еще закрыт. «Тяжело смотреть, — пишет он, — что в стране такой напряженной заводской и ремесленной деятельности нет ни одного ремесленного училища, ни одной технической школы, доступной для всех, ни одного нормального реального училища, которое было бы центром специального образования».

Стр. 23. *Ксантиппа* — жена великого греческого философа Сократа. Согласно легенде, имела тяжелый характер; ее имя стало нарицательным.

ЖИВОЙ КЛЮЧ

(Предание)

Впервые опубликован в журнале «Эпоха», октябрь 1888, № 1. Здесь С. Каронин, используя легендарный сюжет, утверждает характерную для его творчества мысль о служении народу, видя в этом настоящую радость и цель бытия.

МОЙ МИР

Впервые опубликован в «Русской мысли», 1888, №№ 2, 3, 4. В издание 1890—1891 гг. включен автором без существенных изменений.

Мысль написать роман о современной интеллигенции возникла у Петропавловского рано, еще в период его пребывания в тюрьме после второго ареста. Тогда же был определен круг основных тем, которые писатель позже осуществил в ряде своих произведний, в том числе и в повести «Мой мир». Об этом своем замысле Петропавловский рассказал в письме к В. М. Линьковой от 27 июня 1879 г. В этом письме, говоря о задуманном романе, он определяет его главную идею как «противоречие современной мысли с современной действительностью». Иллюстрируя эту идею примером, он пишет: «Есть, Варя, эпохи в развитии обществ, когда накопление знаний, принципов и идеалов идет так неравномерно с ходом жизни, что для всех становится ясным неумолимая необходимость примирить эти два элемента (цивилизацию и культуру); но бывает время, когда примирение делается уже невозможным, когда мысль стремится уничтожить жизнь,

а эта последняя задавила первую. Тогда нет другого исхода, кроме падения которого-нибудь из двух взаимно исключающих друг друга элементов. Это явление несколько раз повторялось, с более или менее разнообразными вариациями, в истории человеческого развития. Но всего рельефнее такой конфликт разыграла сцена французской истории. Вообрази себе, Варя, следующее положение: Людовик XV, господство в политике его бесчисленных любовниц; придворный разврат; чудовищная трата общественных сумм; господство монополий и монополистов; глупо-униженное положение Людовика XV и его правительства при иностранных дворах; прогрессивное возрастание налогов на предметы первой необходимости; отвратительная бедность крестьян; периодические голодовки, опустошавшие ежегодно несколько провинций Франции, постоянные мелкие бунты; наконец, могущество мелких чиновников и кулаков; если к этому прибавить несчастные, в высшей мере унизительные войны Людовика XV, то получится довольно подробная картина тогдашнего состояния Франции. С другой стороны: Вольтер, изливающий свой жгучий яд на иезуитов, придворных и клерикалов; Ж.-Ж. Руссо, провозглашающий принцип равенства и свободы; Монтескье, захлебывающийся английской конституцией; энциклопедисты, отрицающие основы всего существующего при них порядка; физиократы, воочию показывающие нерассудительность существовавших налогов, наконец общество, жадно прислушивающееся ко всем этим новым школам, — и состояние мысли для тебя будет понятно. Идеалы так противоречили жизни, что столкновение этих двух элементов было неизбежно. Кто победил, это показал 1789 год, когда Франция задрожала под ударами новой мысли. Идея, Варя, имеет свою логику. Надо ли приводить примеры Греции, показавшей, к чему ведет накопление знаний, не распространяющихся вширь, и Рима, задушившего мир и задохнувшегося от чрезмерного наполнения в немногих руках материального и умственного богатства? Так я понимаю несоответствие мысли и жизни. Но я этот пример привел только для иллюстрации своей мысли. Мне гораздо интереснее следить не за теми партиями, которые взаимно уничтожаются, — обе эти партии — силы, — а за теми, которые стараются примирить два враждебных элемента — идеал и действительность. У нас, Варя, есть такая партия; носит она разные названия, более или менее громкие, но я бы предложил ее назвать мифическим Тришкой, который (всему миру это известно) старался положить заплату на кафтан, от которого остался один ворот. Вот этих-то Тришек мне и хочется изучить. Понять, каким образом эти люди дохитряются сшивать свой идиотский костюм из разноцветных лоскутьев, чем, какою умственной окрошкой питаются эти лоскутники, как они переваривают столь неудобную пищу и какими путями лавируют между двумя полюсами, — вот непосредственная задача и тема моей новой повести. Я не ошибся прошлый раз, когда сказал, что для выполнения подобной задачи мало и двух жизней».

Таким образом, в этот период, находясь в тюрьме, писатель предполагает сосредоточить свое внимание лишь на одном аспекте «противоречия современной мысли с современной действительностью» — на взглядах и деятельности людей, «лавирующих между двумя полюсами». Результатом

этого замысла явился написанный тогда же «Грязев». Почему Петропавловский сосредоточивал тогда свое внимание именно на таком виде проявления усмотренного им общего противоречия, понять нетрудно. Выдвинутая им тема, как это видно из его письма, есть тема обоснования неизбежности революции. Непосредственно касаться такой темы, находясь в тюрьме, было, конечно, невозможно.

Во второй половине 80-х годов общая мысль С. Каронина о «противоречии современной мысли с современной действительностью» нашла свое отражение в ряде произведений, в первую очередь в повестях «Мой мир» и «Места нет» (см. об этом вступительную статью).

БАБОЧКИН

Впервые повесть опубликована в «Северном вестнике», 1888, №№ 4 и 5. В издание 1890—1891 гг. вошла без особых изменений.

Повесть была написана в Казани в 1886 г. В феврале 1887 г. С. Каронин ездил в Петербург, где вел переговоры с Плещеевым по поводу опубликования ее в журнале «Северный вестник». Позже по этому же поводу вел переговоры и переписку с В. Г. Короленко и Н. К. Михайловским.

При переговорах с В. Г. Короленко возникли споры, в ходе которых выявились особенности литературно-эстетических взглядов одного и другого писателя.

В 1887 г. В. Г. Короленко написал С. Каронину письмо, в котором содержался критический разбор «Бабочкина» и высказывался ряд пожеланий автору. Письмо это до нас не дошло. С. Каронин ответил В. Г. Короленко обширным письмом, в котором полемизировал с некоторыми принципиальными установками Короленко. С. Каронин, в частности, писал:

«Мои персонажи — конкретные явления, и у меня даже не хватает фантазии, чтобы изменить их. Я беру их такими, каковы они в действительности, но только оставляю за собой право комбинировать их положения. Вымысел у меня состоит в том, чтобы искусственно соединять лица в одно место, приурочивая их к одному времени и события их в один фокус.

...Вы, с помощью вымысла, создаете такую комбинацию явлений, которой в реальном порядке вещей может и не встретиться, но от этого ваша комбинация не будет фальшивой, все дело зависит от степени таланта, от умения делать из иллюзий убедительные для людей реальности.

Кроме того, содержание зависит еще много от душевных настроений и убеждений. Вы делаете из людей и явлений одну комбинацию, совпадающую с Вашим душевным настроением, а другой создаст иную комбинацию, выражающую его взгляд на вещи и его душевное настроение... Важно здесь только то, чтобы каждый рисовал именно так, как он думает, чувствует и видит, — это дело простой честности.

Повторяю — вся суть в таланте и уменье искусно комбинировать явления; один возьмет реальнейшие явления, но рисует их так грубо и аляповато, что убедительного ничего не получится; другой возьмет малореальный, сомнительный случай, но облечет его в такую форму, что произведет иллюзию

полнейшей реальности». (Письмо хранится в архиве В. Г. Короленко. Сообщено нам Г. А. Бялым.)

Получив это письмо, В. Г. Короленко написал ответ, но не отправил его, сделав на письме пометку: «Не отослано. Переговорил лично». Письмо это частично утрачено, но отрывки его сохранились. В своем ответе В. Г. Короленко давал развернутый критический анализ повести и в заключение писал: «Бабочкин, конечно, будет напечатан, и я дам в этом смысле свой отзыв, как Вы просили — тотчас же» (В. Г. Короленко. Избранные письма, т. III, М., 1936, стр. 21—23).

В. Г. Короленко сдержал свое слово. Редактору-издательнице «Северного вестника» А. М. Евреиновой он писал: «Теперь еще о «Бабочкине», рассказе Каронина, который известен Алексею Николаевичу ⟨Плещееву⟩. Петропавловский здесь, мы сговорились насчет поправок и сокращений, а так как Алексей Николаевич, под этим условием, в принципе рассказ одобрил, то, значит, его я могу считать теперь принятым» (там же, стр. 24).

Спор, отраженный в переписке Короленко и Каронина, дает возможность лучше понять взгляды С. Каронина на искусство. Каронин считал, что художник должен изображать «одни типы общественных явлений, пользуясь для этого людскими типами лишь как средством, очерчивая их слегка, поскольку это нужно для главной цели» (см. вступительную статью). Об этой же установке Каронина упоминает в своем письме и Короленко. Для Короленко же главною целью является создание именно людских типов — «конкретных психических индивидов»; что же касается общественных явлений, то они действиями таких героев могут и характеризоваться, но могут и не характеризоваться. «Если они не дадут общественных мотивов, то, быть может, — пишет он в том же письме, — и их личные горе и радости все-таки имеют интерес» (там же, стр. 22). Такой подход для Каронина был принципиально исключен.

Разные взгляды на цели и задачи искусства обусловливают и различное отношение к определенным композиционным принципам. Короленко критикует Каронина за подчеркнутую тенденциозность построения повести, в которой автор во главу угла ставит показ определенных общественных явлений («Иллюстрируется донос и уходит, иллюстрируется общественное воровство... и уходит...»). И, со своей точки зрения, он прав. Однако не следует думать, что произведение, построенное по этому принципу, непременно должно быть слабым. Нет, подобная творческая установка сама по себе не может привести ни к успеху, ни к художественной неудаче. Действительно, достаточно вспомнить, что критикуемый Короленко художественный принцип лег в основу такого шедевра мировой литературы, как «Мертвые души». Широко пользовался этим, условно говоря, гоголевским методом и Салтыков-Щедрин. Последовательно осуществлял его в меру своего таланта и С. Каронин. Вот почему замечания Короленко были для него принципиально неприемлемы и не привели к сколько-нибудь существенным изменениям «Бабочкина».

Стр. 142. *Вельзевул* — в христианской мифологии злой дух, властелин ада.

Стр. 146. *Отдел диффамаций* — отдел, занятый опубликованием сведений, материалов, призванных кого-нибудь опорочить. Название у Каронина ироническое, имеющее целью обличение низменных нравов реакционной прессы.

Стр. 181. *Амфитрион* — персонаж древнегреческой мифологии. Зевс добился любви жены Амфитриона, приняв его облик.

НА ГРАНИЦЕ ЧЕЛОВЕКА

(Естественноисторический очерк)

Впервые опубликован в «Русской мысли», 1889, № 1. В издание 1890—1891 гг. включен автором без существенных изменений.

28 октября 1887 г. Петропавловский с семьей переселился в Нижний Новгород. В рассказе нашли свое отражение наблюдения писателя над жизнью босяков на так называемой Миллионной улице. В рассказе описан крутой волжский берег — вид на Волгу. Свидетелем пробуждающегося интереса С. Каронина к нижегородским босякам явился М. Горький, встречавшийся с писателем в Нижнем Новгороде.

В своих воспоминаниях о Каронине М. Горький рассказывает о тех мыслях, которые пробудились у писателя в связи с наблюдением над жизнью «диких» людей.

В самом факте существования «диких» людей С. Каронин усматривал прежде всего характеристику современного социального строя. «Вот — сзади нас семинария, — говорил он М. Горькому, — немного далее — гимназия, против нее — дворянский институт, а под горою, в полусотне шагов от всех этих великолепий — почти доисторическая жизнь в ямах, под открытым небом, и дикие люди. Над этим стоит подумать, юноша! Надобно подумать» (М. Горький. Собр. соч., т. 10, М., 1951, стр. 297). Эти же мысли волнуют и героя рассказа — Зернова, который приходит в конце концов к вопросу: «Неужели на таком безграничном пространстве нашей родины для большинства все-таки места нет?»

Босяки наводили С. Каронина и на мысли о том, почему так неустойчив современный ему русский человек, вновь возвращали к оценке общей обстановки реакции 80-х годов.

«Вот, вы рассказывали, — обращается С. Каронин к Горькому, — об этих людях под горой. Но — почему, подумайте, почему у нас люди так легко п'огибают? Ведь ужасно легко: жил человек, и — ничего, а вдруг — «сбился с пути». Смотрите — это невольно сказалось: жил, и — ничего! Все ходят как будто по скользкому месту; идет — пошатнулся — упал и не за что придержаться — ничего нет подкрепляющего душу. И ведь если падают, то разбиваются до полусмерти, непременно — до неизлечимых увечий, хотя падают не бог весть с какой высоты...»

Мысли о том, что в жизни нет ничего «подкрепляющего душу», вновь приводили писателя к общей характеристике эпохи, но на этот раз уже с идеологической стороны. «И с великой печалью, — рассказывает М. Горький, —

он заговорил о сложной болезни того времени, — я не помню точно его слов, но, мне кажется, он повторил их в рассказе «На границе человека».

«Время это было вот какое: отвращение ко всем иллюзиям, смех над всем, чему еще недавно верили, холод и душевная пустота» (там же, стр. 297—298).

Так открывается писателем еще один аспект «босячества», являвшегося результатом не только несправедливого социального устройства, но и следствием идейного безвременья. Это и дает основание герою рассказа Зернову признаться, что и сам он является босяком, «только в другом смысле», «босяком, которому нечем жить», но имея в виду не хлеб, а идеи, которые связывали бы его с миром, людьми.

М. Горький приводит еще одно направление мыслей писателя в связи с теми же босяками. С. Каронин иронически слушал рассказы Горького о босяках, называл его по этому поводу романтиком, когда же Горький сказал, что он лишь передает их собственные рассказы о себе, Каронин заметил:

«Врут. Вы им не верьте. Русский человек любит мечтать, и поэтому незаметно для себя врет, путая действительность с игрою своего ума...

Это, знаете, у нас черта серьезная, глубокая черта — под нею, может быть, скрыто бьется жажда иной жизни, под нею святое недовольство самим собою человек прячет. Развяжите-ка ему руки, и он перестанет мечтать, возьмется за дело — возьмется, это верно. Ведь те, которые перестали мечтать, уже теперь обнаруживают огромные силы, умеют побеждать чудовищные препятствия... Нет, русский народ — хороший народ, чудесный народ, я вам скажу» (там же, стр. 296—297).

Стремление увидеть в человеке искалеченном, даже погибающем, признаки того источника жизни, который все же поддерживает его существование, и составляет пафос рассказа «На границе человека». Зернов, наблюдая за жизнью босяков, приходит к заключению, что «не обыденные мелочи привлекательны, не пустяками живы люди... Наоборот, привлекательно все необычное, не мелкое...» По-разному проявляется эта черта, потаенная в душе героев рассказа. У босяков высшим проявлением этой живой души явилось бегство «бывшего Петрунькина отца» от городовых, когда он предпочел «лучше погибнуть, чем потерять несколько дней свободы». У Зернова таким взлетом его подавленных человеческих чувств и мыслей было уничтожение своих пустых литературных безделок и обретенное убеждение, что «только справедливость делает литературу дорогой для людей...»

Таким образом, и в одном и в другом случае потаенные в глубине души человека мысли оказываются мыслями о свободе, только «бывший Петрунькин отец» думает о своей свободе, а Зернов — о свободе для всего угнетенного народа. Вот почему в своей путаной заметке, показавшейся редактору «не статьей, а буреломом», Зернов говорит и о том, что «голые люди» вышли из деревень, и о смертности детей, и о сибирской тайге и т. п. Нетрудно видеть, что и эти еще смутные мысли Зернова также являются отражением ясного и твердого взгляда на подобные проблемы самого писателя, для которого вопрос о «голых людях» был частью проблемы «кочевых народов» (см. об этом вступительную статью и примечание к произведению «В лесу»).

Обычно в литературе о Каронине принято указывать, что своим рассказом «На границе человека» он начинает горьковскую тему о «бывших людях» — людях человеческого дна. На самом деле эта близость более существенна, так как для Каронина, как позже и для Горького, босячество есть лишь частное проявление широкого социально-экономического процесса, происходившего в это время в России.

Стр. 213. *Аполлон* — в древнегреческой мифологии бог солнца и света, покровитель искусства.

МЕСТА НЕТ

Впервые опубликована в «Русской мысли», 1889, № 9. В издание 1890—1891 гг. повесть была включена без существенных изменений. Об этом произведении смотри вступительную статью и примечание к повести «Мой мир».

Стр. 252. *Пучок куги* — пучок камыша.

ПЕРВАЯ НЕПОГОДА
(Из детских рассказов)

Напечатан в «Саратовском дневнике» 6 декабря 1889, № 262. В собрание сочинений включается впервые. Единственный известный нам рассказ для детей С. Каронина.

БОРСКАЯ КОЛОНИЯ

Впервые повесть опубликована в «Русской мысли», 1890, №№ 4, 5, 6. В издание 1890—1891 гг. была включена автором без существенных изменений.

Повесть писалась в годы широкого увлечения идеями «опрощения», призывов к организации интеллигентских земледельческих колоний. Большую роль в этом движении сыграл Л. Н. Толстой со своей критикой городской цивилизации, предпринятой им с позиций патриархального крестьянства, своей проповедью «опрощения» и самоусовершенствования. Земледельческие колонии организовывались чаще всего так называемыми «толстовцами». Однако проповедь Толстого подкреплялась и народнической пропагандой, усиленно стремившейся доказать, что земледельческий труд несет человеку гармоническое развитие. Эта идея лежала в основе «теории прогресса» Н. К. Михайловского — видного критика и публициста либерального народничества, а также теории «власти земли» Гл. Успенского. Последнему принадлежит также нашумевшая в 1884 году публикация в «Русской мысли» рукописи крестьянина Бондарева «Трудолюбие, или Торжество земледельца», вызвавшая резко саркастические замечания Щедрина. Здесь Успенский прямо пропагандировал «жизнь трудами рук своих». Со своих откровенно мещанских позиций звал интеллигентов в деревню и орган правого крыла либеральных народников — «Неделя». Публицисты «Недели» сулили своим

читателям не только душевное спокойствие, но и чисто материальные выгоды, старательно доказывая, насколько жизнь в деревне дешевле и здоровее.

Общее увлечение захватило и юношу Пешкова, который переживал в это время период напряженных идейных исканий. Он также решил вместе со своими друзьями «сесть на землю». Стремясь осуществить это свое намерение, Горький в Нижнем Новгороде встретился с Петропавловским, к которому у него было письмо от одного знакомого народника. По свидетельству М. Горького, эта встреча произошла осенью 1889 года, однако в это время С. Каронин жил уже в Саратове. Встреча, следовательно, могла произойти не позже весны 1889 г. С. Каронин в это время работал над «Борской колонией». Воспоминания М. Горького являются интересным комментарием к этой повести С. Каронина.

Рассказав о встрече с писателем, М. Горький так передает состоявшийся позже разговор:

«— Хотите, значит, сесть н'а землю? — с усилием спросил Каронин, отделяя каждое слово секундой паузы. — Сколько же вас?

— Двое телеграфистов, я и девушка, дочь начальника станции.

— Н-ну, и влюбитесь вы в нее все трое, а п'отом начнете драться, и выйдет скандал, а не к-колония.

Он наклонился ко мне, размахивая листом письма, и, усмехаясь, заглянул в глаза мне.

— Давайте говорить начистоту. Знаете, что пишет Василий Яковлевич? Он пишет, чтоб я отговорил вас от этой затеи.

Я удивился.

— Он одобрял меня и обещал помочь.

— Да? Ну, а пишет, чтоб я отговорил... А я не знаю, как отговаривать, у вас вон такое упрямое лицо. И вы — не интеллигент. Интеллигенту я сказал бы: брось это, друг мой; это нехорошо — идти отдыхать туда, где люди устают больше, чем ты... И это искажает хорошую идею единения с народом. Несомненно — искажает. К народу надобно идти с чем-то твердо, на всю жизнь решенным, а так, налегке, потому что тебе плохо, — не ходите. Около него вам будет еще хуже...

Он осмотрел пустые стены комнаты и продолжал оживленнее:

— Я как раз вот описываю историю одной колонии — историю о том, как пустяки одолели людей и разрешились в драму...

— Знаете — зачем вам колония? Не нужно это вам. Ведь вы ищете идеального, смотрите — придется вам спросить себя, как уже теперь спрашивают многие, и в том числе мой герой, — я его не выдумал, это живой, современный, преувеличенный человек — зрелище очень печальное, — он сам каялся мне. Вот, — и... порывшись в своих листках, он прочитал с одного из них: «Что идеального в том, если человек душу свою закопает в землю, окружив себя миллионами пустяков? Человек должен бороться против пустяков, уничтожать их, а не возводить в подвиг и заслугу». Вот о чем вам придется думать, это — наверняка!

Провел в воздухе рукою длинную линию и разрубил ее посредине убедительным жестом, а потом сморщил лицо, вздохнув:

— К-колония — эх! Р'азве это нужно?

Более тысячи верст, — заключает Горький этот эпизод их встречи, — нес я мечту о независимой жизни с людьми-друзьями, о земле, которую я сам вспашу, засею и своими руками соберу ее плоды, о жизни без начальства, без хозяина, без унижений, я уже был пресыщен ими. А тихий, мягкий человек взмахнул рукой и как бы отсек голову моей мечте. Это явилось неожиданностью для меня, я полагал, что мое решение устойчивее, крепче. И особенно странно — даже обидно — было то, что не слова его, а этот жест и гримаса опрокинули меня» (М. Горький, там же, стр. 292—293).

Высказанные М. Горькому мысли С. Каронин и развивает в повести, показывая полную несостоятельность всего комплекса идей, связанных с пропагандой пресловутых земледельческих колоний.

Стр. 318. «*Гугеноты*» — опера немецкого композитора Дж. Мейербера (1791—1864).

Стр. 331. *Апокалипсис* (греч. — откровение) — часть так называемого Нового завета, входящего в состав библии — «священной книги» иудеев и христиан. Содержит «пророчества» о «конце света».

Стр. 341. «*Снегурочка*» — пьеса А. Н. Островского (1873), опера Н. А. Римского-Корсакова (1881). Впервые опера поставлена в Петербурге в 1882 г.

УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ

Впервые повесть опубликована в «Русской мысли», 1891, №№ 1, 2, 3, 4. В издание 1890—1891 гг. включена автором без существенных изменений.

Как и предшествующая повесть, направлена против увлечения толстовскими идеями, широко пропагандировавшимися в 80-е годы. Возникла в результате личных наблюдений писателя за деятельностью проповедников-толстовцев. Об одной из таких встреч С. Каронина с толстовцем рассказывает М. Горький в уже приводившихся выше воспоминаниях:

«Однажды, — пишет М. Горький, — я видел его на людях: в город прибыл с целью пропаганды нового учения толстовец, собралась публика послушать его, пришел и Каронин с женою.

Пропагандист был молодой парень, одетый в пестрядинную рубаху и штаны, в тяжелых, неудобных сапожищах; он артистически чесал бока, встряхивал волосами, как настоящий мужик, двигался по комнате вразвалку, эдакой особенной походкой трудового человека и смотрел на всех людей как человек, обладающий универсальной истиной, — снисходительным и в то же время равнодушным оком, точно говоря:

«Ну-с, все загадки жизни разрешены мною, и, если вы хотите, я, пожалуй, сообщу вам решения!»

Он был явно доволен тем, что ему удалось «опроститься», но, однако, в нужных случаях употреблял носовой платок. Говорил «по-нашему, попросту, по-деревенски», смачно подчеркивая настоящие слова — «брюхо»,

«негоже», «стал быть», «не замайте», вообще играл роль простого мужика с хорошей выдержкой и не без любви к делу. Начал он с того, что рассмотрел критически все условия социального бытия и доказал слушателям, что во всех несчастьях жизни они сами виноваты, потому что трусы, лгуны, лицемеры и лентяи. Люди в этот день жаждали истины, суровый нагоняй пророка ее был ими принят смиренно и без возражений, но, к несчастью оратора и публики, в числе слушателей оказался бывший студент духовной академии... Он стал возражать толстовцу, и через полчаса оба они начали яростно швырять друга в друга цитатами из евангелия, творений отцов церкви и религиозных книг Л. Н. Толстого... вихрем взвеялась крикливая скука, и все слушатели поблекли.

Каронин сидел в углу комнаты, тесно набитой людьми, насыщенной табачным дымом; он согнулся, изредка негромко кашлял и, казалось, не слушал спора, разбирая пальцами волосы бороды. Казалось, что происходящее чуждо ему и себя он чувствует чужим здесь, среди обиженно нахмурившихся или угнетенно покорных людей, в кругу которых неутомимо ратоборствовали два философа. Сутулая спина писателя изогнулась дугой, волосы, свесившись, закрывали его лицо; я все ждал, что он встанет, разогнувшись немного, чуть-чуть выступит вперед и убеждающим голосом скажет:

«Довольно!»

— Это квиетизм! — кричал студент толстовцу, а тот его называл «позитивистом, который стыдится позитивизма».

Каронин незаметно поднялся и вышел в соседнюю комнату, где сидело несколько человек, утомленных спором; кто-то из них спросил:

— Что — все еще скучно?

— Как в семинарии на уроке гомилетики, — ответил Каронин.

Его спросили, как ему нравится проповедник?

Поглаживая рукою горло, он ответил, не сразу и неохотно:

— Посылки сильные и верные, а выводы ничтожны и наивны. По-моему, это значит, что у него — одновременно — и логика плохая и чувства нет. В учителя он записался не потому, должно быть, что людей жалко и добра им хочется, а потому, что приятно для него учить людей. Холодная душа» (там же, стр. 302—303).

Взгляд С. Каронина на толстовских проповедников, высказанный в этом разговоре, лег и в основу его повести «Учитель жизни».

Стр. 403. *«Но если б вверх могла поднять ты рыло...»* — неточная цитата из басни И. А. Крылова «Свинья под дубом» («Когда бы вверх могла поднять ты рыло...»).

Стр. 451. *Диоген* (ок. 404—323 до н. э.) — древнегреческий философ.

Стр. 493. *Сократ* (469—399 до н. э.) — великий греческий философ-идеалист. Был приговорен к смертной казни. Исполняя приговор, выпил кубок яда.

ОЧЕРКИ. СТАТЬИ

Уже находясь в ссылке, С. Каронин начинает сотрудничать в волжских газетах — «Волжском вестнике» и «Казанском биржевом листке». В «Казанский биржевой листок» его, видимо, привлек товарищ по ссылке С. Л. Гисси, ставший издателем этой газеты. В этих изданиях сотрудничал С. Каронин и позже, вернувшись в 1886 г. из ссылки. В 1889 г. он является постоянным сотрудником «Саратовского дневника». По уходе из этой газеты в январе 1890 г. помещает свои произведения в газете «Саратовский листок». Печатается в эти годы С. Каронин и в московской газете «Русские ведомости».

По свидетельству современников, многие корреспонденции — статьи и очерки С. Каронина публиковались в газетах без подписи, другие он подписывал псевдонимами. Некоторые псевдонимы писателя раскрыты, однако какая-то часть его произведений, видимо, так и остается до сего времени затерянной на страницах волжских газет.

Произведения, которые С. Каронин помещал в газетах, были самыми различными по своему характеру. Наряду с рассказами он публиковал очерки, статьи и заметки. Статьи и очерки, помещаемые в этом разделе, дают представление об основных мотивах и жанрах публицистического творчества С. Каронина.

ТОРГОВЛЯ ТЕЛОМ И ДУШОЙ
(Сибирские нравы)

Впервые опубликован в «Казанском биржевом листке», 1885, №№ 144, 145, 1886, № 5, за подписью Н. Е. Сибиряк.

Очерк посвящен описанию растлевающего влияния капиталистических отношений на сибирских крестьян. По своей теме перекликается с такими произведениями С. Каронина, как «В лесу», «По Ишиму и Тоболу» и др.

ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ
(Из поездок по Уралу)

Впервые опубликован в «Русских ведомостях», 1887, № 343. В издание 1890—1891 гг. включен не был.

Как и ряд других произведений, написан в результате поездки на Урал в 1887 г. (см. примечание к рассказу «Perpetuum mobile»).

Общее впечатление от уральских заводов С. Каронин высказал в очерке «Урал, представленный на Екатеринбургской выставке». Прежде всего он отмечает, что порядки на заводах еще во многом сохранили пережитки крепостной поры. Заводская иерархия представлялась Каронину в следующем виде: «наверху — маленькая кучка «неунывающих» инженеров, которым собственно заводскими делами некогда заниматься; под ними стоит странный, но многочисленный штат темных, невежественных «служащих», не обладающих самыми посредственными знаниями в деле, около которого они кормятся; в самом же низу стоит рабочий люд, не обеспеченный заводом и относящийся к его интересам с полнейшим равнодушием».

Характерной особенностью уральской горной промышленности Каронин считал хищничество. Ярким примером такого хищнического снимания «сливок с природы» является и тот заброшенный прииск, который рисует С. Каронин.

Стр. 521. *Штегер* — штейгер, мастер, ведающий рудничными работами. *Вашгерд* — приспособление для промывки золотоносного песка или ила.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

Напечатан в «Саратовском дневнике», 14 октября 1889, № 220, за подписью: К-нъ. В собрание сочинений включается впервые.

Представляет собой пример фельетонов на общественно-политические темы, которые С. Каронин в конце 80-х годов помещал в волжских газетах: «Казанском биржевом листке», «Волжском вестнике», «Саратовском дневнике».

Направлен против идейного безвременья и реакции 80-х годов. С одной стороны, С. Каронин высмеивает здесь упадок общественных интересов и общественной активности, мелкотравчатую деятельность различных либеральных «обществ». В этом отношении фельетон С. Каронина является этюдом к его сатирическому произведению «Общество грамотности», начало которого было опубликовано в «Северном вестнике», 1892, № 9. (Смерть прервала работу писателя над этим произведением.) С другой стороны, как и в других произведениях, С. Каронин говорит здесь, что невозможно убить в человеке общественные идеалы. «Отнимите у него все общественные интересы, — пишет С. Каронин, — он создаст себе другие, уродливее, глупее, но всетаки по существу общественные».

БУМАЖНЫЕ МУЖИКИ

Опубликован в «Саратовском дневнике», 11 ноября 1889, № 243, за подписью: К-нъ. В собрание сочинений включается впервые.

В статье С. Каронин продолжает рассуждения по поводу важных общественных вопросов, которые он поднял в серии фельетонов под заглавием «Волжские картины», печатавшихся в том же году в «Саратовском дневнике». В одном из этих фельетонов, опубликованном 28 октября 1889 г. в «Саратовском дневнике», № 231, С. Каронин издевался над той «заботой» о простом человеке, которую проявляли реакционные и либеральные деятели. В частности, он пишет о школьных программах, признанных всеми негодными. Их решили исправить, введя занятия по гимнастике. Такие занятия проводили и в захолустье. И при этом находились люди, подобные князю Оболенскому, который с серьезным видом утверждал, что после занятий гимнастикой крестьяне станут менее неуклюжими. Издеваясь над подобными «отцами» своего народа, С. Каронин напоминает о лебеде́, которой питаются русские мужики. Отсюда не только неуклюжесть, но и страшные эпидемии, высокая смертность, бегство из деревень, все новое и новое пополнение армии «кочевых народов».

В «Бумажных мужиках» С. Каронин специально обращается к затронутой ранее теме. Писатель высмеивает избитые народнические представления о некоем особом пути России, потуги народников оградить Россию от капитализма и развития пролетариата. Статья является еще одним доказательством, что антинароднические убеждения С. Каронина в последние годы его деятельности не только не ослабли, но, напротив, стали еще более твердыми и определенными.

Стр. 532. *Фанакстерия...* — очевидно, искаженное слово «фаланстер» (франц. phalanstére), особый тип зданий, в которых утопический социалист Фурье предполагал расселить общины.

ОЧЕРКИ ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНА

Впервые опубликованы в «Русских ведомостях», 1891, №№ 209, 217, 224, 244, 273, 284, 295. В издание 1890—1891 гг. включены не были.

В мае 1891 г. С. Каронин поехал отдыхать в Харьковскую губернию. В Святых Горах писатель жил на даче, но отдых был отравлен жандармами, которые продолжали следить за каждым шагом писателя. По требованию харьковских властей С. Каронин в июне вынужден был выехать из Харьковской губернии. Конец лета провел в Курской губернии у своего приятеля Долгополова.

Впечатления от поездки в Святые Горы и в Донбасс описаны в публикуемых очерках.

ПО ПОВОДУ ТЕКУЩЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(Заметки)

Были опубликованы в «Саратовском дневнике», 1889, №№ 199, 211, 225, 237, 258. Здесь мы приводим две статьи помещенные в газете 19 сентября 1889 г. (№ 199) и 4 ноября 1889 г. (№ 237).

Статьи были названы С. Карониным «По поводу текущей литературы» не случайно. Этим подчеркивался их не столько литературно-критический, сколько публицистический характер. Сам писатель специально оговаривал, что своей задачей считает разговор «только по поводу литературы» постольку, поскольку она выясняет «признаки нашего времени». Таким главным и основным «признаком времени» 80-х годов С. Каронин считает идейный упадок, оживление реакционных течений в русской литературе. Против этих характерных явлений реакции 80-х годов и направлены в основном заметки С. Каронина.

В своей статье от 19 сентября 1889 г. С. Каронин выступает против зарождавшейся в 80-е годы упадочнической (декадентской) буржуазно-дворянской литературы. Деятели этого направления демонстративно порывали с демократическими идеалами, оплодотворявшими великую русскую литературу критического реализма, пропагандировали антиобщественное, оторванное от жизни искусство. Именно эту литературу имеет в виду С. Каронин, когда говорит о «гнилом угле» в современной литературе.

К указанному направлению принадлежал Дмитрий Сергеевич Мережковский(1865—1941) — поэт и критик, позже автор многочисленных романов. Упоминаемая С. Карониным статья Мережковского, посвященная творчеству А. П. Чехова, называлась «Статья по поводу нового таланта» («Северный вестник», 1888, № XI).

К реакционному литературному лагерю примкнул в середине 80-х годов и Иероним Иеронимович Ясинский (Максим Белинский, 1850—1930), до того выступавший как писатель демократической ориентации.

Для того, чтобы до конца разоблачить реакционную сущность проповеди так называемого чистого искусства, С. Каронин сближает это литературное направление с деятельностью князя Мещерского (1839—1914) — одного из идеологов дворянской реакции, крайнего монархиста, с 1882 по 1914 г. издателя и редактора реакционно-охранительной газеты «Гражданин». Мещерский был неизменным сторонником крайних репрессивных мер правительства против демократического движения.

Что касается упоминаемого в статье С. А. Андреевского, юриста, известного оратора, а также поэта, переводчика и критика либерального направления, то причисление его С. Карониным к реакционному лагерю объясняется аполитичностью статьи Андреевского о Гаршине. Говоря о Гаршине, критик старательно обходил все острые общественные и политические вопросы, которые, как справедливо считал С. Каронин, и составляли сущность творчества Гаршина. Такая позиция критика, нашедшая отражение в его статье о Гаршине, и дала основание С. Каронину сблизить его с лагерем поборников антиобщественного «чистого искусства».

Иначе обстоит дело с оценкой творчества А. П. Чехова, которого С. Каронин также причисляет к лагерю Мережковского. В данном случае С. Каронин совершает явную ошибку и, по существу, оказывается на поводу у того же Мережковского, который упорно пытался в своих критических рассуждениях опереться на творчество Чехова, соответствующим образом искажая его смысл и содержание. Впрочем, С. Каронин в данном случае лишь повторял ошибку либеральной критики 80-х годов, не сумевшей дать правильную оценку творчества А. П. Чехова.

Стр. 577. *Лессинг* — Готхольд-Эфраим Лессинг (1729—1881), великий деятель немецкого просвещения, критик и драматург. «Натан Мудрый» — драма Лессинга, написана в 1779 г.

Стр. 578. *Н. К. Михайловский* — Михайловский Николай Константинович (1842—1904), один из крупнейших социологов, публицистов и литературных критиков либерально-народнического направления.

...г. М. Пр. — Протопопов Михаил Алексеевич (1848—1915), литературный критик либерально-народнического направления.

Стр. 579. *Анакреон* — Анакреонт (около 570—478 до н. э.), древнегреческий лирический поэт, воспевавший чувственную любовь, вино, праздную жизнь.

Фет — Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892), талантливый русский поэт, певец любви и природы. Начиная с 60-х годов, тематику своей

поэзии демонстративно противопоставлял общественной теме, решительно им отвергаемой. Такая позиция поэта была выражением его реакционных политических взглядов, которые он прямо высказывал в своей публицистике.

Статья С. Каронина от 4 ноября 1889 г. посвящена роману русского писателя-демократа Александра Ивановича Эртеля (1855—1908). Впрочем, как об этом прямо говорит сам С. Каронин, роман является для него лишь прологом для разговора о «признаках времени». Статья и посвящена главным образом обличению общей атмосферы реакции восьмидесятых годов.

Стр. 581. *Вс. Соловьев* — Соловьев Всеволод Сергеевич (1849—1903), старший сын известного русского историка С. М. Соловьева. Известен как автор многочисленных романов на исторические темы.

...г. Полонский — Полонский Яков Петрович (1819—1898), русский поэт.

Стр. 584. *Катков* — Катков Михаил Никифорович (1818—1887), реакционный публицист, издатель журнала «Русский вестник».

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ С. КАРОНИНА (Н. Е. ПЕТРОПАВЛОВСКОГО)

«Отрывочные заметки одного из осужденных по процессу 193-х. — «Начало», 1878, № 4.

«Безгласный». — «Отечественные записки», 1879, № 12.

«Ученый». — «Отечественные записки», 1880, № 1.

«Фантастические замыслы Миная». — «Отечественные записки», 1880, № 2.

«Союз». — «Отечественные записки», 1880, № 3.

«Подрезанные крылья». — «Слово», 1880, №№ 4, 5, 6.

«Вольный человек». — «Отечественные записки», 1880, № 5.

«Последний приход Демы». — «Отечественные записки», 1880, № 6.

«Бебе». — «Отечественные записки», 1880, № 9.

«Как и куда они переселились». — «Отечественные записки», 1880, № 11.

«Судья Илья Савельев». — «Отечественные записки», 1881, № 4.

«Грязев» («Голова», «Неутомимый деятель»). — «Отечественные записки», 1881, №№ 1, 3.

«Мешок в три пуда». — «Слово», 1881, № 4.

«Братья». — «Отечественные записки», 1881, № 7.

«О чем он думал» («Праздничные размышления»). — «Отечественные записки», 1882, № 1.

«Две десятины». — «Отечественные записки», 1882, № 7.

«Больной житель» («Пустяки»). — «Отечественные записки», 1882, № 8.

«Несколько кольев». — «Отечественные записки», 1883, № 3.

«Счастье Ивана Чихаева» («Солома»). — «Отечественные записки», 1883, № 7.

«Деревенские нервы». — «Отечественные записки», 1883, № 9.

«Молодежь в яме». — «Отечественные записки», 1883, № 11.

«Легкая нажива». — «Отечественные записки», 1883, № 12.

«Без головы». — «Казанский биржевой листок», 1885, №№ 115, 118.

«Запачканная рубашка». — «Казанский биржевой листок», 1885, №№ 134, 135.

«Загадочный человек». — «Казанский биржевой листок», 1885, № 161.

«Торговля телом и душой (Сибирские нравы)». — «Казанский биржевой листок», 1885, №№ 144, 145, 1886, № 5.

«По Ишиму и Тоболу». — «Записки западносибирского отдела русского географического общества», кн. VIII, вып. 1, Омск, 1886.

«Схема истории Сибирской общины». — «Сибирский сборник», кн. 2, Приложение к «Восточному обозрению». СПб., 1886.

«Корреспонденция из Ишима». — «Русские ведомости», 1886, № 167.

«Карьера сельского администратора (Сибирские легенды)». — «Казанский биржевой листок», 1886, №№ 42, 43, 44, 45, 63, 64, 77, 89, 90, 113, 114, 115.

«Снизу вверх» («Раб», «Игрушка», «Чего не ожидал»). — «Северный вестник», 1886, №№ 6, 7.

«Перелетные птицы Сибири». — «Казанский биржевой листок», 1886, № 150.

«Пустой поселок». — «Казанский биржевой листок», 1887, №№ 63, 66, 71, 72.

«Сочинения Чернова». — «Русские ведомости», 1887, №№ 83, 88.

«Светлый праздник». — «Русские ведомости», 1887, № 221.

«В лесу». — «Русские ведомости», 1887, №№ 114, 116, 140, 266.

«Урал, представленный на Екатеринбургской выставке». — «Волжский вестник», 1887, №№ 238, 242, 243.

«Золотоискатели (Из поездок по Уралу)». — «Русские ведомости», 1887, № 343.

«Дикарь». — «Русская мысль», 1887, № 5.

«Perpetuum mobile». — «Русская мысль», 1887, № 12.

«Мой мир». — «Русская мысль», 1888, №№ 2, 3, 4.

«Бабочкин». — «Северный вестник», 1888, №№ 4, 5.

«Живой ключ». — «Эпоха», 1888, № 1.

«На бою» (Отрывок из «Борской колонии»). — «Русские ведомости», 1889, № 22.

«На границе человека (Естественноисторический очерк)». — «Русская мысль», 1889, № 1.

«Из долговой книжки образованного класса». — «Саратовский дневник», 1889, № 41.

«Места нет». — «Русская мысль», 1889, № 9.

«По поводу текущей литературы». — «Саратовский дневник», 1889, № 199, 211, 225, 237, 258.

«Наши выставки». — «Саратовский дневник», 1889, № 204.

«Волжские картины».—«Саратовский дневник», 1889, №№ 206, 231, 264.

«Саратовское сомнение. Письмо редактору». — «Саратовский дневник», 1889, № 217.

«Общественный человек». — «Саратовский дневник», 1889, № 220.

«Бумажные мужики». — «Саратовский дневник», 1889, № 243.

«Первая непогода (Из детских рассказов)». — «Саратовский дневник», 1889, № 262.

«Нынешний читатель». — «Саратовский дневник», 1889, № 270,

«Счастливое открытие». — Сб. «Памяти В. М. Гаршина», СПб., 1889.
«Конец мира (Святочное видение пессимиста)». — «Саратовский дневник», 1890, № 1.
«Письмо в редакцию». — «Саратовский листок», 1890, № 13.
«Случай (Из рассказов знакомого лесничего)». — «Саратовский листок», 1890, № 186.
«Борская колония». — «Русская мысль», 1890, №№ 4, 5, 6.
«Учитель жизни». — «Русская мысль», 1891, №№ 1, 2, 3, 4.
«Житейская сутолока». — «Казанский биржевой листок», 1891, № 1.
«По поводу одной книги. Запросы народа и обязанности интеллигенции в области умственного развития и просвещения. Л. Пругавин. М., 1890». — «Казанский биржевой листок», 1891, № 173.
«Отчего?.. (Разговоры и размышления)». — «Казанский биржевой листок», 1891, №№ 217, 245.
«Роковая ошибка (Этюд)». — «Казанский биржевой листок», 1891, № 252.
«Очерки Донецкого бассейна». — «Русские ведомости», 1891, №№ 209, 217, 224, 244, 273, 284, 295.
«Общество грамотности». — «Северный вестник», 1892, № 9.

ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

Рассказы (три тома). М., 1890—1891.
«Счастливое открытие». М., «Посредник», 1892.
Биографический очерк и посмертные произведения. М., 1893.
Собрание сочинений (два тома). С портретом, факсимиле и биографическим очерком. Ред. А. Л. Попова. М., изд. К. Т. Солдатенкова, М., 1899.
«Счастливое открытие». М., «Посредник», 1903.
«Снизу вверх». СПб., «Общественная польза», 1905.
«Снизу вверх». Лит. изд. отд. НКП, 1920.
Сочинения (один том). Редакция, вступительная статья и примечания А. Г. Цейтлина. М.—Л., «Academia», 1932.
Избранные произведения. Саратов, 1936.

ИЗБРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ

Александровский А. А. Памяти Н. Е. Петропавловского. — «Самарский вестник», 1893, №№ 54, 55, 56, 57, 67, 69.
Бух Н. К. Воспоминания. М., изд. всесоюзного о-ва Политкаторжан, 1928.
Буш В. В. Материалы к биографии Каронина. В сб. «Литературные беседы», вып. II, Саратов, 1930.
Буш В. В. Творчество Каронина. В том же сборнике.
Головина-Юргенсон Н. Мои воспоминания. — «Каторга и ссылка», 1923, № 6; 1924, № 1.
Гольцев В. А. Заметки о современном романе. «Русская мысль», 1891. № 7.

Горький М. Н. Е. Каронин-Петропавловский. Собрание сочинений в тридцати томах, т. 10, М., 1951.

Гущин М. П. Н. Е. Петропавловский-Каронин (Опыт биографии) «Научные записки Харьковского гос. педагогического института», т. III, Харьков, 1940. [1]

Гущин М. П. Материалы к биографии Н. Е. Петропавловского. — «Научные записки Харьковского гос. педагогического института», т. VII, Харьков, 1941.

Еголин А. М. С. Каронин. — История русской литературы, т. IX, ч. I, М.—Л., АН СССР, 1956.

Иванчин-Писарев А. И. Из моих воспоминаний. — «Сибирские записки, № 1. Красноярск. 1916.

Колпенский В. Памяти Н. Е. Петропавловского. — «Каторга и ссылка», 1923, № 6.

Мачтет Г. Памяти Н. Е. Петропавловского. — «Русские ведомости», 1892, № 133.

Племянникова В. В. Архив Н. Е. Петропавловского. — «Литературные беседы», вып. II, Саратов, 1930.

Плеханов Г. В. С. Каронин. Собрание сочинений, т. X, или сб. «Искусство и литература», М., Гослитиздат, 1948.

Протопопов М. Народник-идеалист. В кн.: «Критические статьи». М., изд. С. Скирмунта, 1902.

Процесс 193-х. М., изд. В. М. Саблина, 1906.

Пыпин Л. Н. Деревня. Рассказ Каронина. — «Вестник Европы», 1893, № 4.

С—К.Д. (Мамин-Сибиряк). Н. Е. Петропавловский (Каронин). — «Мир божий», 1892, № 7.

Скабичевский А. М. Мужик в русской беллетристике (1847—1897). — «Русская мысль», 1899, №№ 4, 5.

Слепцов А. А. Н. Е. Петропавловский (Каронин). — «Русское богатство», 1893, № 6.

Цейтлин А. Г. Деревня в изображении Каронина. Вступительная статья к кн.: С. Каронин (Н. Е. Петропавловский). Сочинения. М.—Л., «Academia», 1932.

Чудновский С. Л. Из давних лет. М., изд. всесоюзного о-ва Политкаторжан, 1934.

Ясинский И. И. Литературные воспоминания. — «Исторический вестник», 1898, февраль.

---

[1] Настоящая работа М. П. Гущина является первой сводкой обширных материалов, в том числе и архивных, по биографии С. Каронина. Несколько дополняет эту работу диссертация А. П. Поморцева: «Н. Е. Каронин-Петропавловский. Жизнь и деятельность». Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена, 1951. В этих же работах содержится наиболее полный библиографический указатель литературы о Каронине.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ОЧЕРКИ. СТАТЬИ

С. КАРОНИН
(ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ)

Сочинения в 2 томах, том 2

Редактор П. Кочурин

Художественный редактор
Л. Чалова

Технический редактор
Л. Крючкина

Корректор О. Семенова-Тян-Шанская

Сдано в набор 3/II 1958 г.
Подписано к печати 19/VII 1958 г.
Бумага $60 \times 92^1/_{16}$—38 печ. л. = 38
усл. печ. л. 37,91 уч.-изд. л.
Тираж 75 000 экз. Заказ № 1364.
Цена 11 р.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградский Совет народного хозяйства.
Управление полиграфической промышленности.
Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.